Константин
ЛЕОНТЬЕВ
ИЗБРАННЫЕ
ПИСЬМА
1854-1891
Константин Леонтьев
ИЗБРАННЫЕ
ПИСЬМА
1854-1891

Леонтьев стоял головой выше всех русских философов.

Лев Толстой

Константин Леонтьев

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

1854-1891

Константин Леонтьев

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

1854-1891

«ПУШКИНСКИЙ ФОНД»

Санкт-Петербург

1993

Публикация, предисловие и комментарий
Д. СОЛОВЬЕВА

Оформление художника
В. ВЕСЕЛКОВА

ISBN 5-87180-018-3

СУДЬБА ИДЕЙ КОНСТАНТИНА ЛЕОНТЬЕВА

В. В. Розанов, достаточно коротко, хотя и заочно (по интенсивной и откровенной переписке) знавший Леонтьева-человека и Леонтьева-мыслителя — обмен серьезными письмами без, скажем, житейской на то необходимости более всего напоминает долгую, растянутую, как бы прерывистую во времени беседу наедине, когда вариации идей и суждений слиты с течением жизни и, стирая одни настроения, нагоняя новые, позволяют увидеть, как живет человек со своими идеями, внутри собственного миросозерцания,— так вот, Розанов, с обыкновенной своей проницательностью к живым чертам лица идей и миросозерцаний, к их душевному источнику, писал в статье о Леонтьеве: „С Леонтьевым чувствовалось, что вступаешь в „мать-кормилицу — широку степь", во что-то дикое и царственное (все пишу в идейном смысле), где или „голову положить", или „царский венец взять". Еще не разобрав, кто он и что он, да и не интересуясь особенно этим, я по всему циклу его идей, да и по темпераменту, по „метам" безбрежного отрицания и нескончаемо далеких утверждений (чаяний), увидел, что это человек пустыни, конь без узды; и невольно потянулись с ним речи, как у „братьев-разбойников" за костром„.*

То, что было, в глазах Розанова, увлекательной безбрежностью идей и натуры Леонтьева — вольно-„степным" в его душевной организации, гордо-необузданным,— на самом деле скорее связано с леонтьевской способностью быть везде и всюду только самим собой (редкое, кстати, у нас качество), чем с некой особой размашистостью личности

* Памяти Константина Николаевича Леонтьева. Литературный сборник. СПб, с. 169.

Леонтьева. Леонтьев не был стихийным человеком — типа, например, любимого им Ап. Григорьева,— он не очень поклонялся буйной разинщине (хотя и ценил в ней, как и во всем, энергию и силу). Многие годы Леонтьев и свою жизнь жестко сковывал аскетизмом, мечтал и весь мир сковать властью *авторитета*, железной рукой покорности низших высшим, беспрекословием подчинения человека византийски всесильному и священному государству. Свобода, без торжества которой не бывает безбрежных просторов — ни духа, ни даже природы (бескрайняя степь, безбрежный океан, где до далекого горизонта — вольное колыхание степных трав или размашистый бег океанских волн, ничем не сменяемые, нескованные),— не принадлежала к кумирам Леонтьева: в свободе он всегда видел прежде всего беспорядок, иногда — однообразие хаоса, иногда — нахальство „расшнуровавшейся" жизни, презирающей красоту и святость порядка во имя наглого „хочу".

Обычно, когда мы видим человека, идущего в своих суждениях и идеях только „от сих до сих", нам кажется, что что-то ему мешает — предрассудки, непререкаемые авторитеты, требования „хорошего тона". В действительности мешает такому человеку только недостаток оригинальности: кончается запал своих идей и начинается повторение общих мест, пересказ чужих мыслей, которые вовремя приходят на помощь, заполняют вакуум быстро исчерпавшего свою далеко не бездонную глубину сознания. Конечно, иногда люди боятся говорить, что думают (и причин тому — множество), но чаще они ничего особенного не думают, а если вдруг и придумают, то именно сочинят — прикроют „одеждой умствования" наготу обыденного сознания, ничего глубокого собой не представляющего. Леонтьев был иным. Оригинальные (порой — для современников — шокирующе оригинальные) идеи Леонтьева были выражением его своеобычной и мощной личности. И казалось, что летят эти „степные" идеи в дальнюю даль, что нет им границ или каких-то разумных, предусмотрительно расставленных ограничений.

Леонтьеву не было надобности что-либо сочинять, расцвечивать бесцветную реальность: если говорить о его письмах, то по значению они вполне равны его произведениям, хотя бы уже потому, что он всюду выражает свое естественное мировосприятие и нигде, собственно, не разрабатывает его намеренно, специально, в тепличных условиях изощренной творческой лаборатории. В этом был, кстати говоря, и свой

трагизм: Леонтьев так и не стал прославленным сочинителем, писателем, чего очень хотел в молодости. Творчество (написание прекрасного романа или, например, построение прекрасного дворца) — акт создания ценностей почти из ничего: вот была обыкновенная жизнь, а написан на ее основе удивительный роман-шедевр; вот был голый берег простой реки, а воздвигнут на нем, преобразовав, „зачеркнув" былую пустошь, сказочно красивый дворец-шедевр. В этом смысле в Леонтьеве не было творчества — он не создал и не мог создать ничего на пустом месте,— не случайно так и не стал великим русским писателем. С юности влюбленный в эстетику и невнимательный ко всему остальному в жизни и культуре, Леонтьев стал выдающимся политическим мыслителем и христианским философом — признанным авторитетом в сферах жизни и проблемах, по общему признанию, внеэстетических. Свою любимую эстетику Леонтьев вносил в политику, в христианскую мораль — это было необычно, бросалось в глаза, настораживало и привлекало одновременно,— но эстетика, став политикой или нравственностью, как бы изменяла самой себе, бесповоротно перевоплощалась и именно в этом перевоплощенном виде оказывалась выгодной для восприятия, ошеломляюще значительной.

Идеи Леонтьева — как бы буквальны. Та искренность, откровенность, которую Леонтьев высоко ценил в людях (она крупным планом отражена в письмах Леонтьева, за неискренность он не любил многих, например Н. Н. Страхова, и особенно нетолерантен был к неискренности бессознательной, не сводимой к нужной иногда, неизбежной хитрости). Эта искренность тоже, в сущности, есть тяготение к буквальному: равенству сказанного или сделанного и подразумеваемого. Это, конечно, благое стремление, но, философски обобщая его всегдашнюю неудачливость, можно сказать, что и человек, и сама жизнь не терпят прямоту, не терпят именно потому, что сопричастны эстетике. Метафора, которой в значительной мере живо искусство, и есть иносказание, да и в жизни — если с вами холодно здороваются — это верный знак, что добра вам не желают и беспокоиться о вас не будут. Видимая любезность — иносказание о безразличии, близком к недоброжелательности. Обойтись без нее ответившему вам ледяным поклоном невозможно: откровенно изъясняться в своем безразличии слишком долго, а вовсе не кивать — значит уже воевать. Во всех пóрах жизни разлит эликсир иносказания,

косвенных, побочных, неявных значений сделанного и сказанного. Яд неискренности? Не совсем: иносказание в целом приятнее, учтивее и красивее, созвучнее воображению. Мужчине порой приятнее угадывать линии тела женщины в соблазнительных складках и складочках платья, чем видеть ее обнаженной. Эффект иносказания, полутайны метафоры и использует искусство — описывая, скажем, волнующееся море, поэт-романтик передает прежде всего свое душевное состояние, свою взволнованность, и разве он при этом „прикидывается морем"? Идеи Леонтьева и сама послужившая им основой и первоисточником убежденность его в том, что все ценности жизни измеряются только красотой и только ею мы вправе определять достоинства явления или человека, оказались пригодны для философского употребления (в общественной мысли, в христианской этике) лишь в виде метафор, в образе иносказаний о человеке и мире.

Не только литературные произведения Леонтьева времен его молодости, такие, как роман „Подлипки" (1861), в целом справедливо не поразили русское общество, но и, скажем, статья о любимом Тургеневе и любимой эстетике „Письмо провинциала к И. Тургеневу" не без оснований (как и другие первые опыты Леонтьева в критике) не была особо замечена. Как писатель Леонтьев невольно „списывал" с жизни или (что, конечно, хуже) с уже созданного в литературе — предпочитая действительное выдуманному, не умел творить „новых вселенных", носивших бы, естественно, отчасти призрачный, словесный характер. А для критики одного упоения эстетикой, которым дышала та же упомянутая статья о Тургеневе, было мало — восхищение, даже и заслуженное (скажем, прозой Тургенева), не есть суждение, объяснение и осмысление, которых ждут от критики. Прекрасное, в конце концов, создал Тургенев, самому же критику, чтобы заслужить внимание, оказаться нужным в литературном процессе, надо создать что-то свое: использовать созданное писателем для дальнейшей художественно-философской работы чувства и мысли. В ранних опытах Леонтьева роковым образом не происходило трансформации уже существующего в нечто новое, неожиданное и незнакомое. Можно сетовать на то, что подверженное прогрессивной мании русское общество 1850—1860-х гг. с его страстью к разоблачительной и вообще „полезной" литературе (бич утилитаризма, который так чувствовали на себе, скажем, Афанасий Фет и Константин

Случевский) оказалось просто не готовым понять и принять Леонтьева, но дело не только в этом — наслаждаясь эстетикой жизни, любя ее, Леонтьев оставался лишь гениальным жизнелюбом, одареннейшим ценителем красоты. Само по себе это было пассивное дарование, дар понимания, а не творческий дар в готовом виде. И когда леонтьевская любовь и красота неожиданно предстала в обличье принятия, например, исторической ценности форм средневековой жизни,— тогда произошло открытие. Леонтьев сумел взглянуть на историю, политику, мораль с новой точки зрения — со стороны эстетики жизни, вынужденно гримируя эстетику в историософию и этику.

Сам Леонтьев — это так видно по его письмам, где есть сетования на безвестность, оттенки обиды на современников (от раздражения до демонстративного смирения),— был в некотором недоумении, почему его не замечали в 1860—1870-е годы и ценить стали только позднее, когда и жизнь-то подошла к закату, и слава вроде стала не так уж ценна и приятна (выработалась привычка без нее обходиться). Но закономерность в позднем прозрении публики относительно выдающегося дарования Леонтьева была — нерано написал он свой главный историософский труд „Византизм и славянство" (1872), лишь в зрелые годы стал публицистом,— пусть первоначально Леонтьева заметили преимущественно как странного мыслителя, но заметили именно тогда, когда он наконец действительно проявил свою необычайность.

Личные ощущения Леонтьева, как бы застывая, оказывались суждениями, мыслями, а если были устойчивы и сильны — и идеями. Всепоглощающее — и очень интимное, и космическое одновременно — ощущение Леонтьева в зрелые годы — чувство всеобщей старости, ощущение старения, дряхления человечества: „*Все человечество старо.* И недаром у него сухой рассудок все растет и растет, а воображение, чувство, фантазия и даже воля — все слабеют и слабеют".* У Леонтьева не было и традиционной для отечественной культуры XIX века веры, что Россия — страна молодая, этакий задиристый, хотя и неловкий подросток на фоне европейской зрелости, мудрости и усталости: „*Не молоды и мы*. Оставим это безумное самообольщение! Быть в 50 лет моложе

---

* Леонтьев К. Собрание сочинений, т. 1—9, СПб, 1912—1914, т. 7, с. 416.

70-летнего старика — еще не значит быть юным".* Леонтьев готов признать, что Россия не так „изнощена" историей, как Европа, но это в его глазах ничего не решает. Нравилось Леонтьеву в России прежде всего то, что ход истории в ней задерживают, оттягивают наступление „последних времен". Он так и писал: „Важно и спасительно для стареющей России не только то, что государство у нас не отступается от церкви, но и то, что Восточная Православная Церковь монархическую форму правления вообще почитает за наилучшую для *задержания* народов на пути безверия, для наиболее позднего наступления последних времен".** Леонтьев как будто хотел „арестовать" исторический прогресс и, представляя поток истории то ли в виде некоего наводнения, то ли в образе вражеского нашествия, мечтал поставить на разрушительном пути истории что-то вроде стены — пусть не навсегда, но хоть на время, чтобы оттянуть печальную развязку. Неудивительно, что, читая эти мысли прямым текстом (в выражениях Леонтьев не особо стеснялся) или даже в подтексте, современники, видя незаурядность его дарования, считали его гениальным безумцем.

Леонтьев сетовал, что его идеи и миросозерцание именуют то „больными", если уважают, то как выдающуюся странность, как достойную музея аномалию. Но сам он любил прежде всего своеобразие, и именно своеобразие не отрицаемо в его миросозерцании. Каждый мыслитель инстинктивно мечтает найти верную мысль, а находит чаще всего — своеобразную. Если же изначально рассчитывает лишь на эффект оригинальности, то становится парадоксалистом, роняет высокий сан мыслителя. Леонтьев не хотел „в парадоксалисты", слишком верил в истинность того, что утверждал, но оригинальность прирастала к его идеям, а их отношения с истиной были по крайней мере прохладными и запутанными. Это и есть судьба идей Леонтьева — становиться и оставаться прежде всего оригинальными, приносить не столько „головокружение" от истины, сколько глоток новизны. Новизна и оригинальность — то, чего ждут от творений художника (не бывает „правильных" повестей, стихотворений, романов, хотя бывают — и должны быть — правильные суждения, мысли, идеи). Художником Леонтьев становился в публицис-

---

* Леонтьев К. Собрание сочинений, т. 1—9, СПб, 1912—1914, т. 7, с. 416.

** Леонтьев К. Указ. собр. соч. Т. 7, с. 417.

тике, в историософских построениях, но — в значительной мере помимо собственной воли и в достаточно трагическом смысле; оригинальные суждения и идеи смыкались с как бы декоративными. И что ж, это было закономерно — навеянные эстетикой, эстетическим мировосприятием, они несли в себе всю „бесполезность красоты“.

Леонтьев не менее остро, чем поэты классовой борьбы, предвидел чреватые революцией битвы труда и капитала. Революцию он не терпел как порочное всесмешение, которое непременно лишит мир красок, уравняет все и вся — красивое и некрасивое, юношеское и старческое, умное и глупое: „Европейская революция есть всеобщее *смешение*, стремление уравнять и обезличить людей в типе *среднего*, безвредного и трудолюбивого, но безбожного и безличного человека,— немного эпикурейца и немного стоика“.* Страстно — устойчивая российская традиция — ненавидел Леонтьев мещанство, благополучный средний класс, живущий, как ему казалось, некой усредненной жизнью. Эстетически любя необычайное, Леонтьев готов был принять необычайную бедность, необычайное богатство, необычайное рабство и необычайную власть — лишь бы не торжествовала так называемая золотая середина, которую Леонтьев воспринимал как что-то бескрасочное, как, в сущности, этакое бескачественное качество или, выражаясь нагляднее, бесцветный цвет. Но не так просто было отдать предпочтение красочной, но неблагополучной жизни не в идеях, а как ежедневное личное существование — в письмах Леонтьева много горьких слов о безденежье, хотя, живя в монастырях или при монастырях в старости, а тем более служа дипломатом на „пряном“ Ближнем Востоке или участвуя как военный врач в Крымской кампании в середине 1850-х годов, он жил жизнью колоритной, и надо признать, именно к такой жизни тянулся. Расставание с „презренным благополучием“ не оказывалось слезным прощанием, но, иапример, месту цензора — конечно, как чувствовал сам Леонтьев, казенно-пошлому — он был рад. В конце концов, на экзотику личной жизни в зрелые годы Леонтьеву просто не хватало физических сил — после 1872 года он много болел и (некая связь здесь проглядывает) много тосковал и о своей, и о всемирной старости.

Мировосприятие Леонтьева ценно как тонкий и точный барометр

---

* Леонтьев К. Указ. собр. соч. Т. 7, с. 416.

жизненной пошлости — стоит появиться на горизонте европейской жизни сытому и самодовольному „человеку во фраке“, как Леонтьев от имени всей эстетики жизни приходит в понятное негодование: не похож этот человек ни на чудного своей живописностью восточного вельможу, ни на гордого средневекового рыцаря, ни на трогательно смиренного крестьянина, ни даже на разухабистого самодура помещика, в которых была ощутима эстетическая изюминка. Не учитывал Леонтьев лишь того, что колоритен, скажем, восточный вельможа — для европейца, мечтательно живописен средневековый рыцарь — для человека нерыцарских времен, что — обобщая — эстетически живописно лишь то, что по крайней мере редко встречается (желательно же — уникально), то, чего не видит или не имеет человек в своей повседневности. Даже самая безупречная красота — надоедает, а скучное уже не прекрасно. Разлившись по жизни, красота, о которой тосковал Леонтьев, в значительной мере перестала бы восприниматься как красота — привыкнуть к красоте значит похоронить ее. Идеи Леонтьева неосуществимы потому, что красота — одно из измерений жизни, существующее, пока существуют и другие. Не стоит думать, что все относительно (хотя очень многое, увы, относительно — больше, чем люди согласны признать), и чтобы, например, оценить красоту прекрасной женщины, надо непременно быть коротко знакомым с уродливыми и т. п. Леонтьев в конечном счете мог быть даже прав в том, что красота может победить, что только к ней и стоит стремиться, что она даже и не надоест, если без „чревоточия“ — ведь есть же примеры неувядающей красоты художественных произведений, не надоедающей красоты вечных городов (таких, как Рим), и их можно посчитать прообразами бессмертной и победившей красоты. Но как бы то ни было, красота — вершина, за которой уже ничего нет. Рыцарь потому и кажется прекрасным, красивым красотой всего романтического (а не злым и грубым, к примеру), что он — в далеком прошлом и не в состоянии принести разглядывающему его где-нибудь на гравюре человеку ни вреда, ни пользы. Все хотят, допустим, украсить свой дом или город, а если они и так прекрасны? Лишь сохранить или прославить, удовлетворившись уже достигнутым, оберегая то, что есть. И на будничном, и на философском уровне ощутимо, что красота, обладание ею (как и само счастье) ставят точку на человеческих стремлениях, венчают жизнь и есть потому прообраз ее конца.

Надо отдать должное Леонтьеву — он чувствовал, что красиво уходящее, красивы отживающие свой век исторические эпохи, умирающие древние государства, чувствовал, наконец, безнадежность своих упований на поворот истории вспять. Однако, ощущая все это, продолжал требовать жертв красоте — сопротивлялся идее равенства прав, негодовал на принцип демократии, мечтал о красивых (неважно, что кровопролитных) войнах. Читая Леонтьева, его статьи и письма, создается впечатление, что пишет человек, борющийся за то (что-то дорогое ему), что у него упорно отнимают, вырывают из рук вопреки его отчаянному, иногда разъяренному сопротивлению. И невольные ассоциации — так не на жизнь, а на смерть сражается этот человек,— потому что борется он за свое собственное существование, против жестокого „демона небытия", который заведомо сильнее и подступает все ближе. Не отсюда ли монашеский аскетизм Леонтьева на закате жизни? Жажда сберечь слабеющие силы. Леонтьев безмерно любил жизнь — это наглядно видно, просто бросается в глаза во всех его сочинениях, часто переходящих (как, например, повесть „Исповедь мужа"— лучшее из его художественных произведений) в смакование чувственного восторга бытия. Старость и слабость человечества Леонтьев переживал как свою собственную старость и слабость, и думается, о них во многом и шла на самом деле речь даже в его теоретических трудах. Инстинкт жизни, сильнейший в Леонтьеве, заставил его говорить гиперболами — на фоне смерти отвратительным предстало европейское будущее и сладким показалось европейское прошлое, то, что уже прожито, что надо вернуть, но что уже никогда не вернется как пылкая юность.

Леонтьев все-таки всегда и всюду писал только о личном, действительио им самим ощущаемом и переживаемом. Даже жаль, что столь часто образ личной старости и личной боли об уходящей жизни скрыт им в образе всеобщей старости, всеобщего старения. Леонтьев — поэт-философ и более лирик, чем философ. Тщетно требовать от него бестрепетного объективизма, для поэта оио — только бесстрастие, только холод, имеиуемый в поэзии безжизненностью. Для Леонтьева сама его жизнь — лирический материал экзистенциальиого философствования. Все, что он создал ценного, теснейшим образом связано с тем, что было — в его личных чувствах, в его судьбе, как факт его действительной жизни. Этим жизнь Леонтьева — и, кстати, его письма — и ценны

нам. Леонтьев недолюбливал „бумажную поэзию“ и всегда предпочитал ей поэзию жизни, завидовал, скажем, лишь славе поэтически жившего Байрона, а не „бумажной“ славе какого-нибудь маститого стихотворца, живущего самым обыкновенным образом и заработавшего признание одними печатными листами. Понять Леонтьева, не зная его жизни,— невозможно. Письма Леонтьева, публикуемые в данном издании, и есть „авторское“— каждый человек (на то и свобода воли) есть автор своей жизни, нарисованной им на фоне эпохи и обстоятельств,— повествование о ней.

С. Носов

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1812 году, еще до нашествия французов, дочь богатого и родовитого смоленского помещика Феодосия Петровна Карабанова была выдана замуж за Николая Леонтьева, отставного прапорщика гвардии, который не выслужил большего по причине многих шалостей и неоплатных долгов. Семейство Леонтьевых жило еще по старине: дочери едва знали русскую грамоту, младшие сыновья до двадцати лет сидели дома в недорослях. Зато генеральские дочери Карабановы обучались в Екатерининском институте и разговаривали между собой по-английски. Сама Феодосия Петровна кончила курс с шифром и была лично известна императрице Марии Федоровне. Выдающиеся ее способности проявились, например, в том, что она оставила записки об Отечественной войне. Образованность и тонкий вкус соединялись у нее с энергическим характером и гневливостью. Когда один из ее сыновей, уже офицер, слег в тифозной горячке и его повезли домой, он перепугался, что маменька прогневается — как осмелился заболеть столь опасно и, может быть, по неосторожности причиниил столько горя и беспокойства.

Константин Николаевич Леонтьев родился 13 (25) января 1831 года в потомственном имении отца, калужском сельце Кудинове и был последним, седьмым ребенком. Он появился на свет семи месяцев; опасаясь за жизнь новорожденного, первые дни его подвешивали, завернутого в заячью шкурку, к потолку бани.

Домашнее воспитание он получил всецело под руководством матери, глубоко повлиявшей на всю его жизнь. С ней всегда сохранялись у него отношения самой близкой дружбы. Отец же, напротив, „был из числа легкомысленных и ни к чему не внимательных русских людей“. Младшим своим сыном он совершенно не занимался.

После выпуска из калужской гимназии Константин Леонтьев поступил в ярославский Демидовский лицей, но там „так мало занимался“, что он „испугался и соскучился“ и среди зимы перешел по желанию матери на медицинский факультет Московского университета. Поселился он у родственников, совсем по-барски — в трех комнатах с отдельным подъездом и прислугой, но „знакомство в Москве было большей частью в богатом кругу, а денег не было. Я был очень самолюбив, требовал от жизни многого, ждал многого и вместе с тем мучился, что у меня чахотка“. К медицине он относился без горячности, хотя и занятия и лекции посещал усердно. Впоследствии, когда ему пришлось лечить, работал с увлечением. Во всяком случае, естественнонаучное образование принесло ему большую пользу. Не раз он с гордостью говорил, что именно этому образованию обязан выработкой своего логического мышления и тем, что в исторических исследованиях пользовался всегда методами опытных наук. Более же всего Леонтьев испытывал влечение к литературе и пробовал сочинять сам. Первые свои опыты он принес самому знаменитому писателю того времени — Тургеневу, который очень сочувственно встретил их и помог начинающему литератору. Однако предназначенные для „Современника“ и „Отечественных записок“ пьеса и главы повести были запрещены цензурой. Первой увидела свет повесть „Благодарность“. Литературным восприемником ее стал редактор „Московских ведомостей“ Михаил Никифорович Катков, отнесшийся к юному автору с не меньшим вниманием, чем Тургенев. В знак особого поощрения он сам вынес ему первый гонорар — простой нитяной кошелек, наполненный золотом.

С началом Крымской кампании Леонтьев, только что порвавший по собственной воле с любимой девушкой, сдал лекарский экзамен и отправился на театр военных действий. Его медицинская деятельность продолжалась семь лет (1854—1861): сначала в Белевском егерском полку, затем в керчь-еникальском и феодосийских госпиталях, Донском казачьем полку и, наконец, по окончании войны, в нижегородском имении барона Розена, куда его пригласили как домашнего доктора. Еще в 1855 году, в Феодосии, он похитил дочь мелкого торговца-грека, необыкновенно милую и очень красивую девушку, полную природной поэзии и грации. Их преследовала полиция, и похищенную пришлось возвратить. Но на этот раз чувство Леонтьева оказалось истинно глу-

боким — через шесть лет, невзирая на вопиющий мезальянс, он обвенчался с этой бедной, почти совсем безграмотной Золушкой.

Он постоянно писал и к тридцати годам опубликовал три повести, роман и несколько критических очерков. В 1963 году в поисках более надежных доходов, чем литературные гонорары, Константин Николаевич поступил на службу в Азиатский департамент и десять лет занимал консульские должности в европейской Турции (Крит, Тульча, Янина и Салоники). Карьера его складывалась очень благоприятно, но здоровье портилось. В грязных живописных Салониках Леонтьев тяжело занемог и, как врач, определил у себя холеру. На него напал невыносимый страх смерти. Он заперся, велел наглухо закрыть ставни, чтобы не видеть смену дня и ночи, никого к себе не пускал. Когда наступил кризис, он перед образом Божьей Матери дал обет: если останется жив, уйти в монахи. Через два часа ему стало лучше, а утром следующего дня он уже скакал в Афон, даже не озаботившись сдать консульство. Желание его, однако, не исполнилось. Не надо было обладать мудростью афонских старцев, чтобы видеть, сколь еще не подготовлен к монашеству человек, вчера только ездивший от француженки к тринадцатилетним одалискам и не представлявший себе ни одного дня без кофе и дорогих сигар. В монастырь его не взяли. Леонтьев пробыл на Святой Горе целый год. Там совершился в нем глубокий религиозный переворот, и с тех пор церковь навсегда стала для него не только источником национально-эстетических переживаний, но прежде всего спасительницей души.

С Афона Константин Николаевич поехал в Константинополь. Конечно, после бегства из Салоник надеяться на прежнее благоволение самого посла графа Игнатьева было нечего. К тому же и внутренне он твердо решил исполнить свой обет, а пока хотел просто пожить при посольстве, добывая деньги литературными трудами. Климат Босфора и константинопольское общество действовали на него благотворно. Именно в Константинополе был написан „Византизм и славянство“, в котором он с наибольшей полнотой и последовательностью раскрыл свое культурно-историческое мировоззрение. Уже тогда, за шестьдесят лет до Тойнби, Леонтьевым был сформулирован столь прославивший знаменитого английского историка закон трехстепениого исторического процесса.

Прошел еще год. Дела с редакциями шли плохо, как ему казалось,

из-за дальнего расстояния. Но и прежнего всепоглощающего поклонения эстетике не было. В Салониках он сжег несколько совершенно готовых романов из эпопеи „Река времен". Его все больше занимала историческая и политическая публицистика, но крайние его мнения пугали даже Каткова, который отказался взять „Византизм и славянство". Средства истощались, и кредиторы обложили его со всех сторон. Надо было ехать в Россию.

Но в Москве положение Константина Николаевича только ухудшилось. На его попечении оказались слуги, жившие в леонтьевском доме почти как члены семьи, и престарелые кудиновские дворовые, которым мать завещала платить пенсии. Кроме того, имение было заложено, и банк требовал проценты. Поэтому не только внутреннее желание, но и внешние обстоятельства влекли в монастырь. Он стал послушником подмосковной Николо-Угрешской обители. „Телесно мне через два месяца стало невыносимо, потому что денег не было ни рубля, а к общей трапезе я никак не мог привыкнуть... Ел только, чтобы прекратить боль в желудке, а сытым быть — и забыл, как это бывают сыты... Отец Пимен звал меня дураком и посылал в сильный мороз на постройки собирать щепки..."

Константин Николаевич не смог вытерпеть тягот монашеской жизни. Он заболел и возвратился в мир.

Пять лет (1875—1880) Леонтьев жил большей частью у себя в Кудинове, сильно бедствовал и занимался литературным трудом. Именно в эти годы были напечатаны самые лучшие его вещи: „Византизм и славянство", повести и рассказы о восточной жизни, вышедшие потом отдельно в трех томах под общим заглавием „Из жизни христиан в Турции". Среди них особенно выделяются по мастерству проникновения и чистоте языка „Воспоминания загорского грека Одиссея Полихрониадеса". Как писатель Леонтьев вполне оправдал рекомендацию Тургенева, а надежды Каткова были им на поприще публицистики многократно превзойдены по самобытности и смелости суждений. Большинство статей этого рода вошли в двухтомный сборник „Восток, Россия и славянство".

В 1880 году Леонтьев на полгода стал помощником редактора „Варшавского дневника", но вскоре покровитель и почитатель его государственный контролер Т. И. Филиппов выхлопотал ему место члена Московского цензурного комитета. Эта последняя служба Леонтьева про-

должалась семь лет, в течение которых Константин Николаевич часто и тяжело болел. Наконец, опять же благодаря Филиппову, он получил большую пенсию и мог удалиться на покой. Кудиново пришлось продать, зато Леонтьев приобрел дом за оградой Оптиной Пустыни, перевез туда свою екатерининскую мебель, портреты предков и стал жить полупомещиком, полумонахом. Духовным его руководителем уже давно был знаменитый оптинский старец отец Амвросий, без благословения которого Константин Николаевич не предпринимал буквально ничего. Самые последние годы его жизни прошли спокойно и не были отягощены каждодневными материальными заботами. Вокруг Леонтьева возник небольшой кружок молодых людей, с которыми он поддерживал обширную переписку и которые изредка навещали его в Оптиной Пустыни. В этот период им были написаны выдающиеся по глубине идей критические статьи: „О романах Л. Н. Толстого" и „Наши новые христиане", где он резко осудил религиозные умствования Достоевского и Льва Толстого.

Летом 1891 года по воле отца Амвросия Константин Николаевич переехал в Сергиев Посад и принял тайный постриг. На новом месте из-за неустроенной жизни и телесной слабости он простыл, получил воспаление легких и скоропостижно скончался 12 (24) ноября того же, 1891 года. Леонтьев был похоронен близ Троицкой лавры, в Гефсиманском скиту, на кладбище у церкви Черниговской Божьей Матери.

Д. Соловьев

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

1. Ф. П. ЛЕОНТЬЕВОЙ

25 ноября 1854 г.,* Еникале [1]

Вчера, мой друг, я получил ваше письмо (второе, первое пропало). Я уже подумал, что Вы не хотели мне отвечать, что все Ваше спокойствие и Ваше ласковое обращение со мной перед моим отъездом были только маской, под которой Вы скрыли до поры до времени решение прекратить со мной всякую близость и откровенность. В этом духе я писал к тетушке, прося ее уведомить меня о том, что с Вами делается. Простите мне такое несправедливое предположение. Оно было для меня гораздо сноснее мысли, что болезнь или новое горе мешает Вам писать. Вы говорили, что не можете быть никогда покойной, что близость военных действий вас тревожит. Я этого ожидал; но ради Бога, успокойтесь и поверьте мне, что я вполне безопасен. Неприятель сюда не будет; это верно. Они не могут теперь отделить 5 000 от своих войск у Севастополя; и зачем им нужно наше ничтожное местечко, когда дела им слишком много и там, где они теперь. Предположим даже (чего совершенно никто не предполагает), что Севастополь возьмут; и тогда что же? Нам придется сдаваться без боя, вероятно...

Что касается до службы, то поверьте, я Ваши правила хорошо помню и не спешу ничем, а стараюсь улучшить и свою методу лечить, и присмотр понемногу. Вы понимаете, что сначала было нелегко показать себя с выгодной

* Здесь и далее все даты приведены по старому стилю.

стороны, после того как, имея на руках не более 10 больных в течение последних 2-х годов, я на первых двух курсах почти ничего, по известному душевному состоянию, не делал! Однако, благодаря Бога, порадую Вас тем, что лицом в грязь не ударил до сих пор. Живу я по-прежнему у смотрителя и лажу с ним тоже по-вашему — без дружбы. Одним словом, взялся за гуж, так не кричи, что не дюж. Вот Вам все о себе.

Письмо Ваше обрадовало меня вдвойне своим откровенным и ласковым тоном. Не знаю, как благодарить Вас за этот тон! Для Вас самих, для общей нашей пользы будьте всегда так со мной, и вы не раскаетесь. Пусть только судьба не откажет мне в отраде увидеться еще с Вами и утешить Вас всем, чем может утешить человек, когда случай хотя немного ему помогает. Долго было бы объяснять Вам, какими путями и до какой степени я дошел до убеждения, что утешение не пустое слово, что радость и искренность в сношениях существуют; Вы не знаете, может быть, что, будучи студентом, я ничему этому не верил; так я был утомлен, и перемена, хотя бы и к худшему, была необходима мне как хлеб; а Вы ведь имеете религию истинную вдобавок; надейтесь же на то, что еще будет отрада, полоса счастья, сдается мне по какому-то неотступному инстинкту, если только грудь моя поправится.

Вы, может быть, думаете, что эгоизм, которым Вы исполнились и который Вы мне описывали, возмутил меня. Нисколько. Я вполне ему сочувствую и понимаю его не как низость, не как ожесточение, а просто как холодность усталого и обманутого в ожиданиях сердца. Это еще не беда для окружающих; люди с таким эгоизмом часто делают больше добра, нежели с горячими движениями; они не тратят доброты на всякого и холодным расчетом чести приносят пользу. Знаю, очень хорошо знаю, как Вы теперь смотрите на вещи, знаю также, что я и сам был невольной причиной Вашего охлаждения ко всему, и потому только извиняю

себе больше, нежели другим, что у меня есть искреннее желание вознаградить Вас, мой друг, чем поможет судьба.

К тетушке Катерине Борисовне[2] прилагаю записку и хочу просить Вас об одном предмете, довольно противоречащем тому эгоистическому направлению, в котором Вы теперь находитесь. Дело в том: не можете ли Вы вообразить, что я все еще в Университете и что Вы мне даете 10 руб. в месяц; отдайте их тетушке на покупку в Москве минеральных вод, которые ей советовал через меня пить Ротрофи[3]. Она и без того тратит рублей 5 сер⟨ебром⟩, я думаю, в месяц на лекарства; пятнадцать же будет вполне достаточно. На всякий случай приложу необходимую записку к Ротрофи с просьбой выслать эти воды, в случае Вашего согласия на это доброе дело. Я убежден, что они облегчат ее много, и так как с ее стороны Вы не видали неблагодарности, то я надеюсь, что Вы на это изъявите согласие.

Прощайте, целую Вас и благодарю за милое письмо.

Прощайте, мой дружок.

К. Леонтьев

Впервые опубликовано в кн.: Леонтьев К. Собр. соч. т. 1—9, СПб, 1912—14, Т. 9. С. 155—158.

Феодосия Петровна Леонтьева (урожд. Карабанова, 1794—1871)— мать К. Н. Леонтьева. Дочь богатого помещика, генерала. Получила блестящее образование в Петербургском Екатерининском институте. Оказала большое влияние на умственный склад и эстетические вкусы своего младшего сына. Часть ее записок, начатых по настоянию Леонтьева и относящихся к Отечественной войне 1812 г., была опубликована в „Русском вестнике“ (1883, кн. 10—12; 1884, кн. 2).

[1] *Еникале* — крепость на крымском берегу Керченского пролива.

[2] *...тетушке Екатерине Борисовне* — Е .Б. Леонтьевой, сестре отца К. Н. Леонтьева, всецело отдавшей себя заботам о детях своего брата.

[3] *Ротрофи* — неустановленное лицо. Вероятно, один из московских врачей.

2. Ф. П. ЛЕОНТЬЕВОЙ

23—24 декабря 1854 г., Еникале

Письмо ваше, дружок мой, от 23 ноября получил 23 декабря, т. е. вчера. Сколько перемен, может быть, случилось в наших странах с тех пор! А у нас самая лучшая и важная перемена, та что вчера выпал снег и за ночь его так подморозило, что окрестность совершенно стала похожа на русскую. Я с большим удовольствием погулял в поле и не раз восхищался тем, что купил себе дубленку. Дела по-старому; так по-старому, что даже журналы в Керчи до сих пор октябрьские, и я ничего не знаю о судьбах моего „Лета на хуторе"! [1] Конечно, мне уже не привыкать стать к разочарованиям, подобным тому, которое может постичь меня в лице этой повести; но не понимаю, что могут найти в ней предосудительного, безнравственного или непристойного. От Тургенева я имею два письма [2]; одно через Вас, другое прямо из Петербурга; но, кроме обещаний помощи, ничего до сих пор нет. Я и за это ему очень благодарен. Задача в том, чтобы прожить от января до мая (в мае я получу следующую треть жалованья), и я, слава Богу, нашел человека, который заранее уже взялся с 1 января поставлять мне кофе, сахар, свечи и табак; я имел случай оказать ему одолжение, и он очень охотно берется за это, тем более, что уверен в платеже: начальство уже вычтет из жалованья. Итак, с этой стороны я спокоен. Стол обходится мне около 2—3 руб⟨лей⟩ с⟨еребром⟩ в месяц, а иногда и меньше. Больше мне ничего не надо для существования; а будет здоровье в таком же виде, как и теперь (даже если и не лучше), сумею добыть из Петербурга! Практики здесь, конечно, нет и быть не может. Лечатся или небогатые офицеры в гошпитале, или кто-нибудь по знакомству. Был, например, один случай довольно забавный: лежал в гошпитале довольно пожилой казацкий офицер. Болезнь его была такого рода, что военной службы он продолжать не мог;

просил свидетельство и умолял о поправке временной (у него была застарелая грыжа, которая перестала даже вправляться); я повел дело довольно удачно, так что грыжа через несколько времени достаточно вошла и можно было носить обыкновенный бандаж. Я обещал ему похлопотать о свидетельстве у главного лекаря, и он, заметив, что дело продвигается не слишком скоро, поймал меня раз в сенях и протянул мне что-то в бумажке; я засмеялся и сказал, что в подобных ободрениях не нуждаюсь, что его дело законное и потому он может благодарить меня за лечение и за хлопоты после. Все устроилось, и мой герой улизнул на рассвете, чтобы не встречаться со мной. Вот какие гоголевские сцены случаются иногда со всяким. Однако я надеюсь, что перевод в Керчь (если он осуществится, так это будет к весне) даст, может статься, делам иное направление. 〈...〉

Поверьте же мне, что при том состоянии здоровья, каково мое, я не должен ничего так бояться, как дурного образа жизни и... особенно климата. Здешним я пока, за неимением лучшего, доволен; однообразная жизнь моя, конечно, скучна, но я утешаю себя занятиями и тою мыслию, что это все заплатится мне, как уже не раз было заплачено. Вы пишете, что одна капля крови моей заставит вас никогда не простить моего вступления в службу; а потом прибавляете тут же, что ваше одно желание видеть меня здоровым и счастливым. Счастливым и даже довольным я себя не назову, но назову себя спокойным пока, а кровь моя... что вам в ней? Во-первых, медиков никогда почти никто не убивает; а во-вторых, я сейчас дал бы себя ранить (даже в лицо! Конечно, не слишком уродливо), если бы знал, что за это буду в состоянии хоть несколько лет прожить немного по-своему. А главное дело — не думайте много обо мне, если можете; поезжайте в Москву, в Петербург, старайтесь рассеяться. А со мной что будет, то будет... Невозможно предполагать, чтобы вся жизнь была из одного труда и неудач. Бог даст, и выйдет что-нибудь. 〈...〉

Прощайте, дружок мой... Как бы я рад был с Вами

пожить, но только при хороших условиях с моей стороны! Вы думаете, что мне вздыхалось из корысти по вашему флигелю, напрасно! Просто о вас вздыхалось.

Прощайте, целую Вас. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Леонтьев, Собр. соч., т. 9, С. 158—161.

[1] *„Лето на хуторе“.*—„Была у меня тогда (в 1854 г.— *Д.С.*) начата другая повесть „Лето на хуторе“. ⟨...⟩ Тургенев прочел три главы из нее и хвалил не без строгих замечаний“. (Мои дела с Тургеневым, в кн.: Леонтьев, собр. соч., т. 9, с. 127). Повесть опубликована в журнале Отечественные записки (1855, кн. 5).

[2] *От Тургенева я имею два письма.*— И. С. Тургенев принимал деятельное участие в литературной судьбе Леонтьева, который познакомился с ним весной 1851 г., когда принес Тургеневу свою комедию „Женитьба по любви“. Тургенев передал рукопись в журнал „Отечественные записки“ (не была напечатана из-за цензурного запрета) и писал по поводу нее Леонтьеву: „...это сюжет не говорю антисценический, но антидраматический; интерес в нем даже не психологический. Но со всем тем это вещь замечательная и оригинальная“ (письмо от 12 июня 1851 г., см. Тургенев И. С., Письма, Т. 2, М.; Л., 1961. С. 30). Тургенев ввел Леонтьева в московский салон влиятельной писательницы Евгении Тур, где он познакомился с Т. Н. Грановским, М. Н. Катковым и многими другими московскими знаменитостями. Кроме того, Тургенев неоднократно возил рукописи Леонтьева в петербургские журналы. В январе 1853 г. Леонтьев побывал в имении Тургенева Спасском-Лутовинове. О своих отношениях с Тургеневым он оставил воспоминания „Мои дела с Тургеневым“ (Леонтьев, собр. соч., т. 9). Свое отношение к Леонтьеву Тургенев выразил в письме к П. В. Анненкову 10 января 1853 г.: „У меня гостил несколько дней Леонтьев. ⟨...⟩ Талант у него есть, но он весьма дрянной мальчишка, самолюбивый и исковерканный. В сладострастном упоении самим собою, в благоговении перед своим „даром“, как он сам выражается, он далеко перещеголял полупокойного Федора Михайловича, от которого у Вас так округлялись глаза. Притом он болен и раздражительно-плаксив, как девчонка“ (там же, с. 104). Впоследствии Тургенев переменил свое мнение относительно литературных достоинств Леонтьева и писал ему 4 мая 1876 г.: „Так называемая беллетрис-

тика, мне кажется, не есть настоящее Ваше призвание; несмотря на Ваш тонкий ум, начитанность и владение языком — Ваши лица являются безжизненными" (И. С. Тургенев. Письма, М.; Л., 1966, Т. 2, С.-258).

3. Ф. П. ЛЕОНТЬЕВОЙ

10 января 1855 г., Еникале

⟨...⟩ Теперь у нас, мой друг, установилась зима и довольно пока сухая, т⟨ак⟩ ч⟨то⟩ ходить вовсе не неприятно. Часто думаю о кудиновских снегах и приятно (хотя и не без досады) мечтаю о том времени, когда у меня будут средства хоть небольшие, да независимые, с которыми я мог бы хоть на несколько лет прижиться в милом Кудинове [1]. Чем пустее и беднее становится оно, тем больше является у меня охоты поправить и оживить его своим присутствием. Не хочу отчаиваться и думать, что эти года испытания в совершенно несообразном с моим духом образом жизни пройдут даром; эта-то надежда и делает то, что моя настоящая служба тоже нравится мне порой, как невкусное лекарство, от которого видишь пользу. ⟨...⟩ ...на днях посылаю еще одну рукопись в Петербург, несмотря на поражение, которое, должно быть, снова нанесла цензура моему „Лету на хуторе", должно быть, потому, что ни Тургенев, ни Краевский [2] не пишут ни слова. Нет, цензура не так-то скоро от меня отделается. Буду биться до последней капли крови. Под Севастополем ничего, кажется, нет особого; неприятельские солдаты, слышно, очень зябнут и часто перебегают к нашим бивачным огням. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Леонтьев, Собр. соч., т. 9, с. 163—164.

[1] *Кудиново* — родовое поместье Леонтьевых в Мещовском уезде Калужской губернии.

[2] Андрей Александрович *Краевский* (1810—1889)— известный журналист. Помогал Пушкину в редактировании „Современника".

С 1839 г. издавал „Отечественные записки“, а в 1852—1862 гг.— газету С.-Петербургские ведомости. В 1862 г. основал влиятельную либеральную газету „Голос“. После ее закрытия отошел от активной деятельности, сохраняя номинальное положение издателя „Отечественных записок“. Леонтьев был постоянным сотрудником этого журнала до перехода его к Н. А. Некрасову и М. Е. Салтыкову-Щедрину. В „Отечественных записках“ опубликованы его романы, повести, очерки и статьи: „Лето на хуторе“ (1855, кн. 5), „Сутки в ауле Биюк-Дорте“ (1858, кн. 8), «Письмо провинциала к Тургеневу по поводу романа „Накануне“» (1860, кн. 5), „Второй брак“ (1860, кн. 4), „О сочинениях Марко Вовчка“ (1861, кн. 3), „Подлипки“ (1861, кн. 9—11), „В своем краю“ (1864, кн. 5—7), „Ай-Бурун“ (1867, кн. 7).

4. Ф. П. ЛЕОНТЬЕВОЙ

24 января 1855 г., Еникале

⟨...⟩ Вчера, к неописуемому собственному удивлению, сделал ампутацию в первый раз и, пока еще не остыло первое ожесточение, постараюсь сделать на днях еще пару... Вот Вам разнообразие; и все в этом же роде, то побранишься с фельдшером, то порадуешься над выздоравливающим, то проклянешь медицину в неудачный час... Как переходную эпоху такую жизнь допустить можно, и, оглянувшись назад, я вижу все-таки, что, несмотря на первые трудности, скуку и совершенно несвойственный моим прежним привычкам образ жизни, вижу, что эти четыре-пять месяцев сделали свое дело, заставили забыть душевную постоянную тоску, придали опытности в житейских сношениях и обратили к какой-то простоте, которая хоть и не имеет старинной свежести, но не лишена своей ценности. Эти-то вещи имел я в виду, уезжая, настолько же, насколько и воздух Крыма, и достиг их; я чувствовал, что моей душе нужен крутой поворот, потому что в ней все было притупилось: вот Вам истинная цель моя и причина упорства, с которым

я стоял за этот отъезд! Теперь Вы не только из осторожности на словах, но и внутренне не можете осудить моего поступка. Если он не приведет к добру, если случится со мной какое-нибудь несчастье, то это, конечно, будет дело случая, от которого не уйдешь нигде (хотя, конечно, дома, в Кудинове, с Вами самая смерть была бы во сто раз сноснее!); но, одним словом, одна из главных целей, известная степень душевного излечения достигнута, остальные же надо предоставить судьбе! Быть может, не далее, как это лето, мы опять будем вместе?! Вы, конечно, сами понимаете, что настоящая моя жизнь может быть допущена только как лекарство, а не как постоянная пища; да я никак уже 3-й раз делаю это блестящее уподобление?!

Прощайте, мой милый дружок, пожалуйста, старайтесь быть веселее и не сердитесь ни на меня, ни на кого. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Леонтьев, собр. соч., т. 9, с. 164—166.

5. Ф. П. ЛЕОНТЬЕВОЙ

10 марта 1855 г., Еникале

⟨...⟩ ...Насчет же Вашего характера не думайте, ради Бога, ничего; он нимало не был причиною моего отъезда; в последнее время я ни в чем не мог упрекнуть Вас, кроме нескольких жестоких procedés* относительно той девушки [1], на которой думал жениться; но это все было простительно. Она осталась в моих глазах до сих пор тем же, чем была; а на Вас я и тогда за эти слова не сердился, зная, что любовь Ваша ко мне и, кроме того, ошибочные убеждения и незнание многих обстоятельств внушили их Вам. За это сердиться нельзя; несмотря на Ваши слова, Вы, может

* Поступки (*фр.*). Здесь и далее перевод иноязычных выражений и писем Д. Соловьева.

быть, помогли бы мне, если бы было чем, я знаю Вас и умею извинять от души минутный гнев любящего человека. За что же Вы нападаете на себя? Нападайте только на одно безденежье, которое всех нас связывает по рукам. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Леоньев, собр. соч., т. 9, с. 170—173.

[1] *...относительно той девушки...*—„По приезде в Москву он (Леонтьев.— *Д. С.*) поселился в доме Охотниковой, находившейся в свойстве с его матерью, познакомился там с родственницей хозяйки, барышней Зинаидой Яковлевной К-ой и полюбил последнюю. Отношения их длились около 5 лет и принимали разные формы „от дружбы до самой пламенной страсти“. Но их брак не состоялся; между прочим, этому браку противилась Феодосия Петровна, которой была неприятна эта девушка, годами старшая Константина Николаевича“ (Коноплянцев А. Жизнь К. Н. Леонтьева, Сборник „Памяти К. Н. Леонтьева“. СПб, 1911. С. 16). Других сведений о Зинаиде Яковлевне К. не обнаружено.

6. Ф. П. ЛЕОНТЬЕВОЙ

18 мая 1855 г.

Пока все благополучно, милый друг мой. Керчь сдана неприятелю — это правда. Еникале взят [1]. Но войска отступили вглубь полуострова, и я со своими донцами живу на биваках. Не беспокойтесь за мое здоровье; от простуды я предохранил себя, за седлом у меня ездит теплая шинель и большие сапоги на гуттаперче. А усталости я не чувствую никакой; скорее даже отдыхаю в этой свободе на чистом воздухе после гошпитальной жизни. В деньгах не нуждаюсь покамест. ⟨...⟩ Действительно, я случайно встретил казака, который только что отвез товарища в еникальский гошпиталь уже тогда, когда первый неприятельский пароход вышел из-за мыса в Керченскую бухту; у казака была лишняя лошадь, и мы вместе присоединились кой-как к

полку. Денщик мой с вещами тоже благополучно спасся. Мы каждый день встречаем керченских жителей, которых союзники выпускают свободно, и они рассказывают довольно согласно друг с другом про тамошние приключения. Говорят, турки и татары начали было шутить, но французский адмирал не стесняясь расстреливает и вешает их за всякие притеснения жителям. Англичане и французы вообще держат себя хорошо, входят даже в церковь, крестясь; только бы винный погреб им не открыли. 〈...〉

Впервые опубликовано в кн.: Леонтьев, собр. соч., т. 9, с. 176, 177.

[1] *Керчь сдана неприятелю... Еникале взят.*— Союзники заняли Керчь без сопротивления 13 мая 1855 г. (а не 12 мая, как утверждает Леонтьев). Воспоминания об этих событиях —„Сдача Керчи в 1855 г.“— Леонтьев впервые опубликовал в 1887 г. в газете „Современные известия“ (Леонтьев, собр. соч., т. 9).

7. Ф. П. ЛЕОНТЬЕВОЙ

Без даты [1855 г.]

〈...〉 О настоящем почти нечего больше сказать; жизнь однообразна довольно; проснулся в 5, в 6 часов утра, напился чаю; до полудня пролежал в палатке, покурил, в полдень пообедал, большей частью у полковника; а там опять то же до ужина. Поговорим лучше о будущем или о тех предприятиях, которые могут иметь на него влияние. Если не случится похода за границу или чего-нибудь подобного, могущего соблазнить, я полагаю осенью переправиться в Московский военный госпиталь с тем, чтобы попробовать подготовиться на доктора. Знаете, как вспомнишь, что уже 25 лет, а все живешь в нужде и не можешь даже достичь до того, чтобы хоть одетым порядочно быть, так и станет немного досадно, вспомнишь, сколько неудач на литературном поприще пришлось перенести с видимым

хладнокровием, сколько всяких дрязг и гадостей в прошедшем, так и захочется работать, чтобы поскорее достичь хоть до 1 000 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩ в год. В крымской моей жизни было много трудностей, много того, что зовут борьбой с обстоятельствами, но я не ошибся, предсказавши сам себе, что такая жизнь в глуши и посреди новой обстановки должна исцелить мою душу от прежней болезненности, от этого глубокого равнодушия ко всему, которое препятствовало мне жить в Москве; я благодарен Крыму до сих пор, хотя никогда в жизни я не был принужден отказывать себе во стольком, как в настоящую пору; оно и выходит на поверку, что человек, не лишенный ума и души, может переносить все, если только самолюбие его не оскорблено, уважение к себе не унижено завистливостью от пустых людей, а особенно если не видит около себя тех людей, которые слишком живо напоминают ему его недавние страдания. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Леонтьев, собр. соч., т. 9, с. 177, 178. Датируется предположительно по тексту.

8. Ф. П. ЛЕОНТЬЕВОЙ

7 октября 1855 г., Келешь-Мечети

⟨...⟩ Больных у меня не больше 10; есть хорошая, не читанная еще медицинская книга; может быть, и вдохновение посетит меня немножко, а то что-то не писалось все время; Вы знаете мою манеру задумывать 10 повестей разом, эта несчастная способность делает то, что конец любой какой-нибудь вещи пишется тогда, когда мысль или чувство сюжета уже остыли во мне. Я еще не решил, чему приписать то, что я так мало печатал; лени нельзя; это не наука, для которой достаточно рассудка и труда; больному самолюбию, которое, удовлетворившись первыми похвалами и собственным сознанием, хочет в печати или много, или

ничего; или, наконец, обстоятельствам: больной душе в России, множеству забот в Еникале, а по взятии Керчи, лагерному одеревенению разума... Я знаю, что говорю о предмете, когда-то для Вас враждебном, но, вероятно, теперь Вы помирились с ним, увидав, как мало мешает он моей медицинской службе, и не будете осуждать даже внутренне мою эгоистическую болтовню. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Леонтьев, собр. соч., т. 9, с. 178, 179.

9. Ф. П. ЛЕОНТЬЕВОЙ

6 марта 1856 г., Биук-Хаджилар

Сейчас, часа три тому назад, воротился я из одного аула верстах в пятидесяти от нас, где я провел двое суток с больным офицером нашего полка, он переломил себе ключицу. Погода скверная тем, что на возвратном пути (прямо от Вас) дует сильнейший ветер, снегу, однако, уже нет, так что я, отправившись в тулупе и в двойном сером пальто верхом, остался очень доволен. Трудно выразить, насколько свежий воздух и верховая езда после долгого сидения в хате обновляют меня всякий раз! Жаль, лошади нет своей, а покупать не стоит: деньги нужны теперь. Искал двух Ваших писем последних в бумагах и, перебирая их, навел на себя грусть; видишь исписанной бумаги много, много положено дорогого сердцу труда, а конечного ничего еще нет! Так как вспомнишь, что уже 26 год пошел, как-то словно страшно станет, что ничего капитального еще не сделал. Нет, надо, надо ехать домой и, посвятивши целый год тишине и свободе, написать что-нибудь определенное, которое могло бы мне самому открыть, до какой степени я силен и в чем именно слаб! А потом что Господь даст. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Леонтьев, собр. соч., т. 9, с. 179—181.

10. Ф. П. ЛЕОНТЬЕВОЙ

25 августа 1856 г., Симферополь

⟨...⟩ Вы говорите о службе моей, о том, чтобы я не оставлял ее, если хочу слышать Ваш совет. Вы согласны ли с тем, что лучше быть медиком, чем коллежским асессором? И хотя Вы почему-то думаете, что практическая медицина еще не по вкусу мне, однако какой-нибудь успех у постели больного (и конечно, еще лучше, если за ним следует выгода) больше в 20 раз радует меня, чем всевозможные асессоры. Я честолюбив, может быть, очень, но не на наши русские чины, которые можно принимать только как выгодное следствие службы, а не как цель ее. Самолюбие мое немного повыше целит, а деньги дороже генеральства самого, потому что с ними я могу удовлетворить своим вкусам. Чины — это к делу медицины все равно, что горчица к бифштексу: есть она — вкуснее, нету — черт ее побери, и без нее будешь сыт. А на конверте-то теперь все, кроме Вас, пишут мне „Высокоблагородие"! Ей-Богу, у меня есть вещи получше коллежского асессора в голове, до которого пришлось бы в военной службе тянуть еще лет шесть по крайней мере. Я слишком небогат, чтобы составлять непреклонные планы и вдобавок еще слаб здоровьем. Вы это знаете, и те планы, о которых я Вам писал, ничто больше, как желание так или иначе только бы устроиться. И что придется делать в Москве — совершенствовать себя в медицине или, отложив ее на время, стараться только заработать деньги на поездку в Италию, где вместе с климатом почище крымского для груди есть и университет для занятий,— этого я заранее решить не могу. Опять-таки смотря по деньгам и по здоровью.

Одно только верно, что побывавшему за границей совсем другая дорога в том самом деле практической медицины и денежного заработка, в которых Вы бы желали меня видеть молодцом. И все Вы не то говорите! Например, что

такое за беда, что Вы полнеете? Дай Вам Бог; а поехать куда-нибудь со мной это не помешает. И отчего же не сказать Вам о том, что мне мечтается иногда путешествовать с Вами? Какой тут вред? Поверьте мне, стоит Вам только немного быть поуступчивее, я бы ужился с Вами. Попробуйте, еще не поздно, Вы уже своим умом жили довольно, попробуйте пожить моим. Поверьте, не раскаемся оба, только бы здоровья Бог дал. Ведь уж, кажется, Вы давно убедились, что отношения Ваши ко мне не таковы, как к другим Вашим детям? Вникните в дело, разберите хорошенько, и Вы увидите, что в ссорах со мной вредило Ваше упорство. Вспомните, капризы Ваши я всегда сносил без злой памяти, когда Вы в них каялись. Капризы снести можно всегда, когда видишь, что человек не прав, а сознаться не хочет, потому что он родил другого, а не другой его. Да разве Вы из тех дюжинных матерей, которые дальше своего чулка ничего не видят?! То, что можно извинить Наталье Васильевне Охотниковой [1], потому что глухота остановила ее мысль навсегда, или Прасковье Васильевне Романовой [2], потому что она ничего не видала, Вам простить нельзя. Потому что я люблю в Вас не только мать, но и женщину, я убежден, что Вы так же понимаете, как и новое поколение, только не хотите в том сознаться из привязанности к некоторым старинным вкусам и воспоминаниям. Вы сами не видите этого, но, поверьте мне, Вы на моих глазах переменились во многом к лучшему! Последние месяцы, которые я с вами провел в Кудинове, я забыть не могу; никогда мы с вами так хорошо не жили. И если я в себе постараюсь отыскать, отчего мне было приятно, так сейчас вспоминаю несколько случаев, в которых вы как будто уступили мне, как будто боялись меня раздражить. Нечего описывать эти сцены, при свидании я напомню их Вам. Человек с трудом только может себе вообразить то впечатление, которое он производит на других, и Вы, быть может, не потрудились над этим, так вот что: Вы на детей (и на меня с малолетства) производили впечатление de haut

en bas*. Вы, нечего и говорить, умнее всех моих братьев и сестер, взятых вместе, образованнее их. Ваша настойчивость к тому же и Ваша вспыльчивость, которой все трепетали, которой и я боюсь до сих пор, заставляли смотреть на Вас совсем другими глазами, нежели я смотрю на Вас теперь. Теперь я вижу в вас пожилую, уставшую, обманувшуюся в себе и других женщину, которую мне от души жаль, а я так устроен, что люблю более или менее тех, кто мне кажется более достоин соболезнования, нежели я сам, потому что себя я очень жалею и по бедности, и по нездоровью. Поняли Вы меня? Согласны ли Вы, что, если Вы захотите, мы можем жить мирно, если придется жить вместе? При таких условиях я желал бы, конечно, и при перемене места быть с Вами. Вы говорите, что видите часто меня во сне, а я недавно видел, что Вы в талатановом платье с короткими рукавами и вечером в большой зале сватали мне бывшую Наташу Буланину [3], которую я очень крепко целовал (вероятно оттого, что на ночь наелся баранины с перцем), и мы вместе все трое ругали Аграфену Павловну [4].

Впервые опубликовано в кн.: Леонтьев, собр. соч., т. 9, с. 181—184.

[1] *Наталья Васильевна Охотникова* — хозяйка дома в Москве, где жил Леонтьев, учась в Университете.

[2] *Прасковья Васильевна Романова* — неустановленное лицо.

[3] *Наташа Буланина* — неустановленное лицо.

[4] *Аграфена Павловна* — неустановленное лицо.

11. Н. Ф. ЛЕОНТЬЕВОЙ

1 мая 1857 г., Феодосия

⟨...⟩ Выгод, повторяю, я здесь никаких не имею, и не хочу марать себя в мирное время военной службой. Итак, не беспокойтесь обо мне насчет Москвы. Что будет, то

* Высокомерие (*фр.*).

будет; если я не вынесу климата — пусть! Лучше совсем пропасть, чем пресмыкаться в неизвестности. Я имею такого рода религию: кто кому нужен — тот будет жив, а кто ни на что не пригодится Богу на земле, так и жалеть его нечего! Если московский климат будет труден, а дела хороши, то один год или полтора не убьют меня; в полтора года можно многое кончить и опять уехать. Самое пламенное мое желание провести 4—5 месяцев в Кудинове, кончить роман и тогда ехать работать в Москву. Насчет развлечений — не думайте об них; мне не до них, я их забыл. И что за развлечения с 20 р⟨ублями⟩ сер⟨ебром⟩ в месяц. Уж веселиться, так веселиться, а дешевые удовольствия не по нас! То есть это я к тому, что Вы за мою кудиновскую обстановку не беспокойтесь. Поверьте мне: после лишений крымских Кудиново будет для меня волшебным замком! Да неужели Вы примете за фразу, если я Вам скажу, что Ваше общество было бы мне истинно дорого! Когда тесно — мы ссорились, да и как же: Вы кропотливы и щепетильны, я небрежен в хозяйстве, Вы пуританка по образу мыслей, а я больше à la Беранже по нравственности. В Кудинове же мы редко ссорились, а приятных минут у нас много в памяти (т. е. у меня, по крайней мере). А что других членов семейства нет, так тем лучше! Покойнее! Вы, конечно, не сомневаетесь, что можно расходиться в образе мыслей и любить человека от души. Ваша неправда приятнее мне иногда, чем иная правда от других, к которым я совершенно равнодушен. Итак, молите только Бога, чтобы я был здоров и добрался бы до Кудинова, да устройте мне эти 150 р⟨ублей⟩ сер⟨ебром⟩ от Краевского. А тогда, Бог даст, и поправимся! Ничего!

Прощайте. Целую вас 30 000 раз.

Впервые опубликовано в кн.: Леонтьев, собр. соч., т. 9, с. 184, 185.

12. Ф. П. ЛЕОНТЬЕВОЙ

Весна 1857 г., Феодосия

⟨...⟩ До первого июля буду есть, курить и пить кофе на счет одной милой девушки [1], с которой мы всегда делимся, как можем: когда у меня есть деньги, она берет от меня подарки, а теперь она взяла шить наволочки и чехлы на стулья у кого-то, чтобы я мог есть и курить табак до июля. ⟨...⟩

Впервые частично опубликовано в кн.: Литературное наследство, тт. 22—24, М., 1935, с. 492.

[1] *...одной милой девушки...* — Имеется в виду Елизавета Павловна Политова, будущая жена Леонтьева (см. примеч. к письму 16).

13. И. С. АКСАКОВУ

7 марта 1862 г., Петербург

Милостивый государь Иван Сергеевич!

По газетам видно, что в славянских областях Австрии и Турции продолжается брожение [1]. Не угодно ли Вам к весне и даже сейчас, если нужно, человека туда? Агентом, корреспондентом, явным или тайным,— это мне все равно. Я Вас знаю давно лично, но Вы, вероятно, забыли меня. Фамилия моя Леонтьев. Последний раз Вы встретили меня военным медиком в Крыму у И. Н. Шатилова [2] в деревне (в Тамаке). Года $1^1/_2$ тому назад я оставил медицинскую службу, чтобы заняться в Петербурге литературой, к которой меня тянуло с малолетства. Не скажу, чтобы дела мои шли здесь особенно плохо, но я расположен писать длинные романы и не знаю, чем бы я не пожертвовал, чтобы они достигали до того эстетического идеала, который меня терзает! Поэтому-то я и не могу, и не хочу работать рома-

ны к спеху и считаю такое дело поруганием, какой-то подлостью. Стряпать же рутинные статейки в здешние периодические издания по части публицистики и т. п. мне тоже не по нутру. Я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что там под руководством коротко знакомых с тамошними делами людей можно сделать какую-нибудь пользу; больше, по крайней мере, чем сгнивая в Петербурге литературным пролетарием. А медленному созреванию больших романов (главной моей цели) походная жизнь скорей благоприятна, чем вредна. Бивачную жизнь я уже несколько испытал во время Крымской кампании. Исполнителя Вы во мне найдете искреннего и добросовестного — единственная вещь, за которую имеешь право сам ручаться. Славянскими языками я не занимался, но пробовал читать чешские, болгаро-македонские и малороссийские стихотворения и нахожу, что, взявши с собой по Вашему указанию какие-нибудь словари, можно легко и скоро начать объясняться с бедными славянами. Скажите, неужели нельзя пригодиться? Правительственного взыскания я не боюсь: что в нем страшного? Страшнее в 1000 раз петербургская пошлость и проза! Для меня страшно все то, что мешает вдохновению, и не страшно то, что благоприятствует ему. Хотя я немного поотстал от медицины в эти два года, но на те простые хирургические пособия, которые там особенно могут понадобиться, совершенно способен; значит, и это можно взять в расчет. Если бы я знал, что мое горячее желание ехать туда, где есть жизнь и поэзия, сбудется, я бы мог здесь повторить немного хирургию и хоть сколько-нибудь заняться тем из славянских наречий, которое бы Вы назначили. Что касается до содержания, так в этом бы я вполне положился бы на Вас, кроме только двух условий: рублей 500—600 в год доставлять матери моей по адресу, который я сообщу, а мне туда посылать столько, сколько нужно для содержания себя и лошади при каком-нибудь черногорском или сербском начальнике, к которому Вы меня пошлете. Если Вам угодно знать, как я пишу, посмотрите мой роман

„Подлипки" в „Отечественных записках" за сентябрь, октябрь и ноябрь 1861 года. Я знаю что дух моего романа Вам не понравится, по Вашему образу мыслей, я думаю, он должен Вам показаться несколько растленным, несмотря на отречение в конце, но не об духе его и речь, с этой стороны мы можем не сходиться, Вы можете порицать меня, это как Вам угодно, я указал Вам на него только для того, чтобы Вам легко было решить, могу ли я наблюдать и писать оттуда. Будьте так добры, ради Бога — ответьте даже „нет" поскорее, Вы не поверите, как мне мучительно будет ждать ответа.

Покорный слуга Ваш *К. Леонтьев.*

Публикуется по автографу (ИРЛИ).

Иван Сергеевич Аксаков (1823—1886) — один из вождей славянофильства. Сын писателя С. Т. Аксакова. Окончил курс Училища правоведения. Служил в Сенате, Калужской Уголовной палате и чиновником особых поручений при министерстве внутренних дел. С 1852 г. посвятил себя журналистике. Редактировавшиеся им издания подвергались систематическим цензурным преследованиям. Во время войны с Турцией 1877—1878 гг. деятельность Аксакова получила столь широкую известность, что его выдвинули кандидатом на болгарский престол. Влад. С. Соловьев писал об Аксакове: „...хотя Аксаков и разделял предрассудки и заблуждения своей партии, он стоял выше обыденных панславистов не только по своему таланту, но и по своей добросовестности, по искренности своей мысли и прямоте своих слов" (Соловьев В. Русская идея. М., 1911. С. 22).

[1] *...в славянских областях Австрии и Турции продолжается брожение.* — Имеется в виду Герцеговинское восстание 1861—1862 гг., к которому весной 1862 г. примкнула Черногория и которое было жестоко подавлено турками.

[2] Иосиф Николаевич *Шатилов* (1824—1889) — сельский хозяин и общественный деятель. Был председателем Московского Общества сельского хозяйства. Леонтьев вспоминал: „Я по заключении Парижского мира в 1856 и 1857 гг. гостил долго в прекрасном степном имении И. Н. Шатилова в Крыму. 〈...〉 У Шатиловых я жил не без дела; я был

годовым доктором* и лечил очень удачно его русских крестьян, татар и дворовых" (Лит. наследство. Т. 22—24, М., 1935. С. 459, 460).

14. Н. Н. СТРАХОВУ

20 мая 1863 г., Петербург

Милостивый государь!

Я просил А. А. Григорьева [1] передать Вам 2 статьи. Начало одной: письмо Обскурантова к Е. В. Базарову по поводу „Казаков" гр. Толстого и другую, писанную по поводу „Отцов и детей", прошлого года. В этой я хотел оставить только общее рассуждение об „идеале и средней величине", чтобы доказать, почему можно, не соглашаясь, напр⟨имер⟩, хоть с Добролюбовым и т⟨ому⟩ подобными, уважать их личность и верить в одностороннюю пользу их деятельности. А. А. Григорьев нашел эти статьи слишком большими для „Якоря" [2], и я просил его передать во „Время" [3]. Но я уже устал ездить к нему за решением и не могу тратить времени на исправление и окончание статей, пока не буду знать, есть ли им место. В умеренные органы их не примут. Мне бы естественнее всего помещать статьи во „Времени", если (скажу откровенно) оно решится напечатать то, с чем оно внутренне согласно (это видно между строками): т. е. 1) что прекрасное важнее полезного; 2) что широкое развитие важнее счастья; 3) что только на почве зла вырастает добро и великие личности; 4) что лучше война, поэтические суеверия и доблестные предрассудки, чем всеобщая бесцветность... 5) что народность (нам особенно) нужнее демократической гуманности (об этом есть уже большая статья) и т. д.

Прошу Вас об одном: если статьи у Вас — ответьте, когда приехать к Вам за решением. Времени потеряно уже

* То есть на годовом жаловаиье. (*Примеч. К. Н. Леонтьева*).

и без того много. Вот мой адрес: на Лиговке, в доме Фридерикса, Константину Николаевичу Леонтьеву. Последний подъезд на углу, коридор № 16.

Публикуется по автографу (ГПБ). Год установлен в соответствии с текстом.

Николай Николаевич Страхов (1828—1896)— известный критик, публицист славянофильского направления и популяризатор науки. Был близок с Аполлоном Григорьевым, Ф. М. Достоевским, Влад. Соловьевым и Л. Н. Толстым. Редактировал журнал „Отечественные записки". Член-корреспондент Академии наук. Миого занимался переводами, написал несколько книг по философии науки. Был убежденим сторонником теории Н. Я. Данилевского и защищал его книгу „Россия и Европа" в ожесточенной полемике против Влад. Соловьева. Современиками личность Страхова оценивалась противоположио. По мнению Л. Н. Толстого, „он был очень серьезный человек, умиый. Он был критик лагеря, не согласного с Михайловским, Добролюбовым. Человек очень умный, образованный, философской эрудиции" (Яснополянские записки Д. П. Маковицкого, М., 1979. Ки. 2. С. 364). С точки зрения Ф. М. Достоевского, у Страхова не было „никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости" (Лит.наследство, Т. 83, Неизданный Достоевский, М., 1971, С. 619). Страхов так оценивал Леонтьева в письме к В. В. Розанову: „Леонтьева я давно знаю, но не описываю Вам, чтобы не согрешить; он очеиь недурен был собой и великий волокита; несчастным он быть не способеи" (Р о з а н о в В. В. Литературные изгнаиники. Т. 1, СПб, 1913, С. 260).

[1] *Аполлон Александрович Григорьев* (1822—1864)— выдающийся критик славянофильского направления. Поэт. Сотрудиичал в журналах „Москвитянин", „Время", „Русская беседа", „Библиотека для чтения", „Якорь". Противостоял Н. Г. Чернышевскому, Н. А. Добролюбову и Д. А. Писареву. Леонтьев высоко ценил критический дар Григорьева: „Придет время, когда поймут, что мы должны гордиться им более, чем Белинским, ибо если бы перевести Григорьева на один из западных языков и перевести Белиского, то, без сомнения, Григорьев иностранцам показался бы более русским, нежели Белинский, который был не что иное, как талантливый перелагатель европейских идей к нашей литерату-

ре“ (Леонтьев. Собр. соч. Т. 7, С. 26). Леоитьев оставил воспоминания о Григорьеве (опубликованы в кн.: Григорьев Аполлон. Воспоминаиия. М.— Л., 1930).

[2] *„Якорь“*— ежемесячная политическая и литературная газета. Издавалась в 1863—1865 гг. в Петербурге. Ее первым редактором был А. Григорьев.

[3] *„Время“*— журнал, издававшийся в Петербурге М. М. и Ф. М. Достоевскими в 1861—1863 гг. Главными сотрудниками его были Н. Н. Страхов и А. Григорьев. Закрыт после опубликования статьи Н. Н. Страхова „Роковой вопрос“, посвящениой отношениям России и Польши.

15. И. С. АКСАКОВУ

16 июля 1863 г., Петербург

⟨...⟩ Я знаю, что люди с крайним направлением часто предпочитают самых безличных союзников, но как я уже говорил Вам, едва ли теперь время быть слишком исключительным и строгим. Остатку моему я найду место, и остаток этот состоит не в равнодушии к национальной религии или к народному быту (избави меня Бог!), а в большем, нежели у Вас, расположении к пышной стороне жизни (напр⟨имер⟩, Потемкин [1] или Пушкин столько же мне по сердцу, как и Вашему покойному брату; те экстензивны, Кон. Серг-ч Акс. [2] был и экстензивнее, но они все трое наши; и т. д в этом роде!). Неужели из-за этого Вы отвергнете искреннего друга Вашего направления? ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ИРЛИ).

[1] Григорий Александрович *Потемкин* (1739—1791)— государственный деятель, фельдмаршал. Жил окруженный азиатской роскошью.

[2] Констаитин Сергеевич *Аксаков* (1817—1860)— один из зачинателей славянофильства. Сын С. Т. Аксакова и брат И. С. Аксакова. Прославился как яростный полемист в московских салонах и гостиных.

16. Е. П. ЛЕОНТЬЕВОЙ

23 июля 1864 г., Константинополь

⟨...⟩ Я каждый день 20 раз думаю о тебе. У посланника [1] в доме и в саду очень хорошо, обед отличный, жене его 21 год, она очень мила, красива, умна, образованна, они богаты, но я спрашивал не раз у себя, желал ли бы я его дом, его жену — вместо Лизы и нашей небогатой, но дружной жизни. Нет! Нет! Кроме Лизы никого не желал бы иметь женой! Любовницу какую-нибудь на время — для фантазии, это другое дело, но другом и женой только тебя. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГЛМ).

Елизавета Павловна Леонтьева (урожденная Политова, род. ок. 1838—?) — жена К. Н. Леонтьева, который познакомился с ней в Феодосии в 1855 г., однако обвенчались они только через шесть лет. С начала 70-х гг. ее поразила душевная болезнь, но с длительными периодами просветления. После смерти Леонтьева жила с его племянницей М. В. Леонтьевой, умерла в Орле в глубокой старости, уже после Октябрьской революции.

[1] *У посланника...* — чрезвычайным посланником в Константинополе был гр. Н. П. Игнатьев (см. примеч. к письму 28).

17. К. Н. БЕСТУЖЕВУ-РЮМИНУ

30 ноября 1864 г., Адрианополь [1]

Добрейший тезка!

Как Вы поживаете? Хорошо ли прижимаете (спросил бы я, если бы мы оба были люди холостые,— теперь не смею!). Я живу — по консульству много дела, и я недавно открыл, что в некоторых местах (как, напр⟨имер⟩, здесь) консул в одно и то же время дипломат, мировой судья

и полицмейстер. Всего, конечно, понемногу. А я сверх того еще и поэт, как Вам, кажется, известно? Не жалуюсь на работу, жалуюсь на несчастную мою звезду в литературе — не везет! Конечно, в сравнении с идеалом, который носят в душе понимающие искусство, мой роман швах, но больше же он заслуживает критики и статей, чем Помяловский [2] и К°? Все молчат! Терпи казак — атаманом будешь? Не так ли?! С этой почтой пойдет в Петербург новая повесть „Исповедь мужа“ [3]. У Вас волосы встанут от ее безнравственности (а в душе будете сочувствовать, я ручаюсь, не фактам отдельным, а общему духу).

Я слышал, что Вы даете уроки великим князьям [4], так, пожалуйста, скажите им при случае, что в Адрианополе, мол, живет Леонтьев — больше ничего, только вот что живет и „баста“. Писатель знаменитый будет — это можно прибавить, если хотите...

А отчего бы Вам не написать статью обо мне? Все серьезность, специальность губит! Строгость требований от себя! А забывают люди, что хорошие старые критики мрут и исчезают и заменить их некому. Хороша великая, образованная страна девятнадцатого века без эстетической критики!

Лизавете Васильевне [5] мое почтение. А пробуют ли они мою литературную деятельность? Как-то понравится „Исповедь“? Варвару Васильевну [6] благодарю за участие, которое она обнаружила к некоторым лицам моего романа. Коку [7] помню и целую. А Вас обнимаю, желаю сделаться министром народного просвещения.

Преданный Вам нигилист *К. Леонтьев.*

Публикуется по автографу (ИРЛИ).

Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829—1897) — историк. Первоначальное образование получил дома. Еще до 11 лет читал Плутарха, Карамзина и Пушкина. Окончил юридический факультет Московского университета. С 1865 г. занимал кафедру русской истории в Петербургском университете. В 1878 г. основал в Петербурге Высшие женские

курсы, известиые под назваиием Бестужевских. Член Академии наук. Основной труд —„Русская история". Его учеиик, тоже академик С. Ф. Платонов вспомииал: „Как ученый и профессор, Бестужев был обаятелен. Никогда ие забыть тех впечатлений, какие переживались на его лекциях. Хрупкая, но изящная фигура, черный фрак вместо обычного сииего профессорского вицмуидира, явная печать светской благовоспитаиности в речах и манерах выделяли Бестужева внешним образом в разномастной среде факультетских преподавателей. Свободная, простая по форме, можно сказать, разговорная речь, остроумная, иногда даже шутливая, богатство содержания, цитат и дат, личных воспоминаний о памятных лицах и событиях, уменье подиять слушателей на высоты отвлечеииого мировоззреиия ⟨...⟩ (Русский исторический журнал, 1922. Кн. 8. С. 226). Н. Н. Страхов писал Л. Н. Толстому: „...профессор К. Н. Бестужев-Рюмии, конечно, самый образованный человек в Петербурге" (Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. СПб, 1914. С. 177).

[1] *Адрианополь* — ныне г. Эдирне, в европейской Турции, где Леонтьев был консулом в 1864—1867 гг.

[2] Николай Герасимович *Помяловский* — известный беллетрист, сын петербургского дьякоиа. Учился в Александро-Невском духовиом училище, которое впоследствии было им описано в знаменитых „Очерках бурсы". Был последователем Н. Г. Черiiышевского и Н. А. Добролюбова.

[3] *„Исповедь мужа"* — повесть К. Н. Леонтьева, опубликоваиа в журнале Отечествеиные записки (1867, кн. 7) под названием „Ай-Буруи".

[4] *...даете уроки великим князьям...* — По всей вероятности, речь идет о сыновьях Александра II, великих князьях Владимире и Алексее Александровичах.

[5] *Лизавета Васильевна* — по всей вероятности, жеиа К. Н. Бестужева-Рюмииа.

[6] *Варвара Васильевна* — по всей вероятиости, свояченица К. Н. Бестужева-Рюмина.

[7] Кока — по всей вероятиости, сын К. Н. Бестужева-Рюмииа.

18. ПРОСПЕРУ МЕРИМЕ

Апрель-май 1867 г.

Милостивый государь,

тысячу благодарностей Вам за доброту, с которой Вы мне ответили [1], возвращая рукопись. Многие другие на Вашем месте этого бы не сделали. Вы называете свою критику едкой. Может быть, она и такова, но так как на свете нет такой критики, которая могла бы меня заставить усомниться (хотя бы на мгновение) в истинности и своевременности идей, которые я предполагаю развивать в своих произведениях, то грубая откровенность Вашей оценки мне очень понравилась. Я люблю откровенность (даже когда она мне кажется ошибочной). Вы говорите также, что Вы боитесь, как бы я не был реалистом. Да, милостивый государь, я этого боюсь еще больше, чем Вы,— в отношении привычных форм. Я ненавижу реализм; но, к несчастью, я вырос на его лоне и, несмотря на все мое отвращение к нему, я все же до сей поры не могу от него отделаться.

Это же отвращение к реализму было причиной тому, что я был немного неприятно поражен выражениями „коровий навоз", „состояние рогоносца", встретившимися в Вашем письме. До сего времени я полагал, что последнее из поименованных выражений могло иметь применение только в водевилях и тому подобном, но никак не для высокого обожествления плотской любви.

Я говорю высокое, конечно, как тенденция, а не как выполнение (этим последним я никогда не доволен, в чем Вы можете мне верить).

С нетерпением буду ожидать Вашей оценки моего другого романа. Возможно, что, так как наши оценки столь расходятся между собой, этот роман Вам более понравится, чем „Исповедь" [2]. Что касается меня, то я его нахожу значительно ниже этой последней. Он не возвышается

в своих принципах над этой пережеванной вещью, так [нрзб.] определяемой, как мораль XIX века.

Ежели я ошибся в своих ожиданиях с точки зрения чисто литературной, я считаю себя вполне вознагражденным любезной точностью Вашего ответа. Я далеко не разделяю большей части из Ваших оценок, но так как я не сомневаюсь, что будущее за мной, то я просмотрел Вашу критику с некоторым любопытством, смешанным с удивлением. Ожидаю с нетерпением Вашего отзыва об моем другом романе.

Публикуется по черновому автографу (ГЛМ). Предположительная датировка по письму П. Мериме к К. Н. Леоитьеву.

Проспер Мериме (1803—1870)— французский писатель, член Фраицузской академии. Одним из первых во Франции оцеиил русскую литературу, изучал русский язык. Был большим почитателем и переводчиком А. С. Пушкина.

[1] Мериме написал Леоитьеву после присылки повести „Исповедь мужа“ следующее письмо.

11 апреля 1867 г., Париж.

Милостивый государь,

мое плохое здоровье заставляет меия проводить зимы иа юге Фраиции. Я возвратился сюда всего лишь иесколько дней тому иазад, вот почему я столь поздно отвечаю на письмо, которым Вы меня удостоили.

Я прочел с иитересом Ваш ромаи в сделанном Вами переводе. Я не стану Вам говорить ни об ошибках во французском языке, ии о неподходящих или малоупотребительиых словах, все это могло бы быть исправлеио в течение одного утра. Я хочу беседовать с Вами по поводу самой темы, которую Вы избрали, поэтому благоволите извиниить мои критические замечаиия. Они докажут Вам возиикшее во мие уважение к автору.

Парадокс имеет некоторую долю привлекательности, но его следует остерегаться. На мгиовение он забавляет читателя, но быстро утомляет. Кроме того, я иахожу в нем зиачительное неудобство для романа или драмы — имеиио его погрешности относительно правдоподобия. Вы мне,

коиечио, скажете, что иа свете есть много снисходительиых супругов. Я этого и ие отрицаю, ио они имеют на то свои основания: корысть, надоевших жеи, боязнь показаться смешным и т. п. Выведеииый же Вами муж, как мне кажется, не имеет иного побуждения, кроме влечения к состоянию рогоносца, и я его не поиимаю. Возможно, встречаются еще более необыкновенные вкусы, но когда в романе выведен подобного рода характер, автор обязан разъяснить его и сделать правдоподобным. Вы, может быть, встречали мужа, благосклонио относившегося к любовным похождениям своей жены, ничего этим не выигрывая, но разве Вы узнали тайную причину его поведения? Узнали его сокровенные мысли? Ни муж, ии жена не заинтересовывают, это две загадки, разрешить которые ие возиикает желания.

В Вашей повести есть подробности, которые указывают на привычку к наблюдеиию и талант описаиия. Мие кажется, подобного рода таланты в России очень цеиятся, так как за исключением Пушкина все ваши авторы любят пускаться в самые мелкие подробности. Многие из них достигли в этом совершенства. Я иесколько побаиваюсь, уже не принадлежите ли Вы к школе реалистов, имевшей у иас одио время успех. Что касается меня, я думаю, что цель искусства — выбирать в природе то, что в ней есть прекрасного и любопытного, и не обращать внимания на все низкое, которое встречается в ией. Можно иарисовать зеленый луг, не добавляя туда коровьего иавоза. Очень ли вы стоите за волосатые руки своей героиии? Таких рук встречается слишком много, описать их легко, и с этим справится первый встречный. Описать же изгиб красивой руки и различные оттенки нежной кожи представляет, иаоборот, уже серьезную трудиость, и если это описание удается, то оио само по себе уже иекоторая заслуга. Реалисты, за исключением Свифта в его описании Делии, останавливаются у известных граииц. Мне бы хотелось, чтобы они обходились без излишних тривиальиостей.

Я читаю по-русски с большим трудом, но я глубоко восхищаюсь вашим языком. Это единствеиный язык теперь в Европе, который еще годен для поэзии. Легкость, с которой одним словом можно выразить столько оттеиков, ие передаваемых в другом языке и длинной перифразой, для романа имеет не только преимущества, но и некоторые неудобства. Легко увлечься описаиием и затеряться среди мелких подробностей.

По-моему, большое достоинство Пушкиив именно в том, что он умел противостоять этому искушению. Владея чудесным инструментом и восхитительно играя на нем, он никогда не разменивался на вариации, а всегда искал настоящую мелодию. В этом его преимущество над Байроном. Пушкин в тридцати стихах создал „Пророка" и в шестидесяти „Анчара". Лорд Байрон сделал бы из этого два тома.

Мне остается еще, милостивый государь, извиниться за резкость моих критических замечаний. Можете считать их лишь частным мнением.

Я еще не читал „В своем краю", но примусь за него, лишь только покончу с делами, накапливающимися всегда ко времени возвращения.

Примите, милостивый государь, вместе с благодарностью выражение моего самого высокого уважения.

Пр. Мериме

Публикуется по автографу перевода неизвестного лица (ГЛМ).

Кроме того, Мериме дважды писал И. С. Тургеневу о К. Н. Леонтьеве:

„⟨...⟩ Некий г-н Леонтьев, приславший мне роман „В своем краю", а также „Исповедь мужа" (все это пришло из Адрианополя). Последний роман сопровождается *двумя* так называемыми французскими переводами. Герой — некий г-н, который живет в Крыму, женат и украшен рогами. Он весьма огорчен, когда его жена бежит с любовником. Мне это непонятно. Автор пишет, что знаком с вами, и вы покровительствовали ему в начале тернистого пути. Я вполне откровенно ответил ему, что не симпатизирую рогоносцам, даже добровольным" (письмо от 7 мая 1867 г.).

„Г-н Леонтьев, о котором, кажется, я вам писал, пишет мне из Адрианополя и благодарит за критику, хотя и не принимает ее, ибо говорит, что „будущее за ним". Его неколебимая уверенность в собственных талантах показалась мне чисто французской. Он вышел из школы Саламбо" (письмо от 16 июля 1867 г.).

Prosper Mérimée,
Correspondance générale, Toulouse,
1959, p. p. 500, 549.

[2] „Исповедь"— повесть К. Н. Леонтьева „Исповедь мужа".

19. К. А. ГУБАСТОВУ

19 апреля 1867 г., Адрианополь

⟨...⟩ Сегодня я в предместии Кынк танцевал под турецкую музыку с гречанками, несмотря на фанатизм кынских мусульман. А сейчас еду к m-me Блонт [1] читать громко Милля [2]. Завтра доканчиваю почту и танцую еще в другом предместье с недурными девицами (руки у них только очень толсты и грубы); а на днях у меня собрание болгар для совещания об отпоре пропаганде [3].

Во время танцев в предместиях я немного похож на уездного льва, перед которым жеманятся плохие барышни и который как „светляк сияет только в темном месте" (из Соллогуба [4]). Но что же делать? Такая тоска! Все бы это и службу самую отдал бы за возможность писать. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева, СПб, 1911. С. 191.

Константин Аркадьевич Губастов (1845—1913)— близкий друг и сослуживец Леонтьева по дипломатическому ведомству. Долгое время занимал консульские посты в европейской Турции, Константинополе и Вене. Был посланником при апостольском престоле в Риме, а под конец жизни — товарищем министра иностранных дел. По словам К. Н. Леонтьева, только Губастов и племянница Мария Владимировна хорошо знали и понимали его, благодаря взаимной симпатии, давнему знакомству и постоянной переписке. Губастов записал свои воспоминаиия, остающиеся одним из важнейших источников для биографии Леонтьева (сб.: Памяти К. Н. Леоитьева, СПб, 1911). В них он дал, в частности, такую характеристику: „По своей натуре Леонтьев был причудливый, деспотичный в домашней жизни русский барин с „нестерпимо сложными потребностями", которых он был, на свое несчастье, всегда рабом. После самого короткого с иим знакомства бросались в глаза черты русского помещика, родившегося и воспитывавшегося еще при крепостном праве. Неумение обходиться без многих слуг, любовь быть ими окруженным, патриархаль-

но-деспотическое обращение с ними, расположение к сельской жизни, к деревенским забавам и прочее" (с. 226).

[1] *М-те Блонт* — жена английского вице-консула в Адрианополе.

[2] Джон Стюарт *Милль* (1806—1873) — выдающийся английский мыслитель и экономист. В XIX в. был очень популярен в России; его „Основания политической экономии" перевел Н. Г. Чернышевский.

[3] *...об отпоре пропагенде.* — Имеется в виду Congregatia de propaganda fide, т. е. „Общество для распространения истинной веры", основанное в 1642 г. в Риме для распространения католичества и борьбы с еретиками, которыми Римская церковь считала и православных.

[4] Владимир Александрович *Соллогуб* (1814—1882) — писатель, повести которого положительно оценил В. Г. Белинский за хорошее знание среды. В доме Е. А. Карамзиной встречался с А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем, М. Ю. Лермонтовым, В. А. Жуковским и др. Сотрудничал в „Современнике" и „Отечественных записках".

20. К. А. ГУБАСТОВУ

Май 1867 г., Адрианополь

Ваше письмо меня бы больше порадовало, если бы Вы не употребляли гадких слов натуральной школы. К чему это слово „струсить"? Когда Вы при мне приедете в Адрианополь, я Вам покажу письмо Проспера Mérimée, в котором он обличает меня в излишнем реализме; я ему отвечаю, „это правда, и я не знаю, как избавиться от этой скверной привычки, вдруг нельзя; посмотрели бы Вы „наших". Так я бы Вам показался чище и изящнее Платона [1] в выборе выражений".

Возвращаю Вам Ваше письмо, выскоблите гадкие слова и напишите вместо них простые и благородные глаголы: пугаться, бояться и т. д.

Ваш К. Леонтьев.

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 164, 165.

[1] *Платон* (428 или 427—348 или 347)— древнегреческий философ.

21. К. А. ГУБАСТОВУ

12 августа 1867 г., Тульча [1]

⟨...⟩ Я здесь точно русский помещик. Сижу с утра в чистом белье, в брусском бурнусе [2], которым обязан Вам, усы подкручены, лицо, как у Павла Петровича Кирсанова („Отцы и дети"), вымыто душистым снадобьем, туфли новые, комната простая, но хорошая, кухарка русская, труд, так сказать, на поприще отчизны... Все у меня есть... и роман пишу... ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 192.

[1] *Тульча* (Тулча)— город в дельте Дуная в 50 км от Измаила, где К. Н. Леонтьев был консулом в 1867—1868 гг. Теперь на территории Румынии.

[2] ...в брусском бурнусе...— т. е. в белом арабском плаще. Брусса — резиденция турецких султаиов на побережье Мраморного моря.

22. Е. А. ОНУ

12 августа 1867 г., Тульча

Милостивая государыня Елизавета Александровна,

вследствие предписания мужа Вашего [1], я пишу Вам по-русски.

Если Вы интересуетесь моей судьбою, то я вам скажу, что я ее благодарю за то, что она привела меня в Тульчу. Я бы желал одного, чтобы, когда придет время повыше-

ния, меня бы здесь сделали консулом. Это город совершенно русский; дом мой на берегу Дуная принадлежит русскому раскольнику и самый лучший в Тульче; мебели хотя немного, но все прилично, так что хоть бы и вас с супругом Вашим можно бы принять с честью. Обед у меня тоже русский: щи, каша, пироги — я в восторге... Недостает только Вашей карточки. Если нельзя без Алеко [2] (все-таки как-то покойнее), то уж и с Алекой потрудитесь прислать. Мужу Вашему жму крепко руку, тетушке Вашей [3] свидетельствую мое искреннее почтение и, если нужно, при проезде ее в Россию готов служить чем угодно здесь.

Хитрову [4], пожалуйста, субъективный поклон. Подписка здесь на театр во Львове идет прекрасно. Как-то у него?

Остаюсь навсегда, милостивая государыня, покорный слуга Ваш *К. Леонтьев.*

Впервые опубликовано в кн.: Архимандрит Киприан. Из неизданных писем Константина Леонтьева. Париж, 1959. С. 9.

Елизавета Александровна Ону, урожденная Пети де Баронкур (?—1909). Внучка известного генерала эпохи наполеоновских войн, основателя Николаевской Академии генерального штаба барона А. Г. Жомини, жена М. К. Ону. Очевидно, под влиянием Леонтьева перешла из протестантства в православие. По воспоминаниям Леонтьева, „мадам Ону сверкала умом“.

[1] *...мужа Вашего...*— Михаила Константиновича Ону (1835—1901), дипломата, приятеля Леонтьева по посольству в Константинополе. Один из его сослуживцев так вспоминал о нем: „М. К. Ону был весьма интересным и оригинальным человеком. Службу он начал в качестве мальчика для поручений при канцелярии русского главнокомандующего во время венгерской экспедиции 1849 г. На него обратили внимание как на очень способного молодого человека, и он был взят в Россию, где и окончил гимназию, а затем Лазаревский восточный институт и стал большим знатоком не только турецкого, но также и греческого и арабского языков. Начав службу студентом посольства в Константинополе, Ону, подвигаясь там по служебной лестнице, сделался первым драгома-

ном. ⟨...⟩ Потом Ону был назначен, что бывало очень редко с драгоманами, советником того же посольства, а затем посланником в Афины ⟨...⟩. Ону великолепно знал Ближний Восток и в особенности Турцию и турок ⟨...⟩. Женат он был на образованной, но необычайно скучной женщине ⟨...⟩. Ону в своей дипломатической деятельности часто прибегал к совершенно восточным приемам, но применял их с тонкостью и изворотливостью настоящего левантинца (под это понятие подходит все разноязычное разноплеменное иностранное население прежнего Константинополя). Если Ону сплошь и рядом терялся на больших придворных и дипломатических приемах, зато он был блестящ в разговоре с одним или двумя собеседниками, делая иногда замечания, поражающие своей глубокой мудростью и точностью выражения мысли" (Соловьев Ю. Я. Воспоминания дипломата. М., 1959. С. 111—113).

[2] *Алеко* — Александр Михайлович Ону (?—1935), сын М. К. и Е. А. Ону, впоследствии приват-доцент Петербургского университета. Умер в эмиграции.

[3] *...тетушке Вашей...* — жене барона А. Г. Жомини Марии Иосифовне, урожденной княжне Юшковой.

[4] *Хитров* — М. А. Хитрово (см. примеч. к письму 25).

23. К. А. ГУБАСТОВУ

23 августа 1867 г., Тульча

⟨...⟩Я пишу утром и ночью. По службе тоже много занимаюсь. Время есть на все. И я желаю одно — свить навек мое гнездо в Тульче. Я Вам объясню почему. Где жить? В России вообще — для сердца, для привычек хорошо, но нет той живой политической деятельности. За границею — в Европе, спаси Боже, тошно подумать. В Петербурге хорошо для литературы, но нездорово, дорого, буржуазно, прозаично. В Москве — поэтичнее, но все же нет той службы, что здесь. В нашем Кудинове — здорово, есть поэзия, нет доходов и службы. Внутри Турции? Нет, другой раз калачом не заманишь. Я ужасно раскаиваюсь,

что, не зная Дуная, сказал Иванову [1], что желал бы вернуться в Адрианополь. Ни за что! Лучше вице-консулом останусь, если Тульчу не захотят повысить в консульство. Здесь есть и движение, и покой, и восток, и запад, и север, и юг, встречи беспрестанные на дунайских пароходах, можно устроиться помещиком, как в деревне, здесь и Россия, и Молдавия, и Турция, и Австрия, и простор деревенский, и вместе с тем как бы в центре Европы! Прелесть! ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 192—193.

[1] И. А. *Иванов* — по всей вероятности, один из чиновников русского посольства в Константинополе.

24. Е. А. ОНУ

9 октября 1867 г., Тульча

Милостивая государыня Елисавета Александровна,

я был очень тронут Вашим любезным ответом. Сообразно желанию Вашему, Хитрову написал простодушное письмо.

Мужа Вашего имел случай обнять в Галаце [1]. Не знаю, был ли он доволен или нет моей публичной демонстративностью. Но мне это было нужно для внушения другим здесь чиновникам. Ваш муж считается здесь тузом (да и я разделяю это мнение, все-таки, как хотите, рискует 1-м драгоманом стать!), так я бросился к нему на шею. Знай, мол, наших!

А он, как бы Вы думали, целый час простоял перед моим домом на пароходе на таком расстоянии, как стоит „Тамань“ [2] в Буюк-Дере, перед посольством,— и не зашел и мне не дал знать. А дом мой самый большой в Тульче и превеселый.

В надежде увидеть Вас в Петербурге и заказывая даже для этой цели в Константинополе новое платье, честь имею быть, милостивая государыня, покорный слуга. Ваш *К. Леонтьев.*

Впервые опубликовано в кн.: Архимандрит Киприан. Из неизданных писем Константина Леонтьева. Париж, 1959. С. 9—10.

[1] *Галац* — город в Румынии на левом берегу Дуная.

[2] „*Тамань*"— судно, постоянно стоявшее на якоре у летней резиденции русского посла в Буюк-Дере.

25. М. А. ХИТРОВО

9 октября 1867 г., Тульча

Душечка Миша! Голубчик ты мой! Ежедневно стараясь припомнить сладкие дни нашего обоюдного детства, когда еще мы с тобой, милый мой Миша, были невинными, и услаждаясь этими издалеко приносящимися воспоминаниями, я прошу тебя, душка, не поддаваться общей заразе, не походить на Сергея Карловича Пустомолова [1] и не отказываться от пособия созидающемуся Львовскому театру... Так-то Миша! Я уж, душенька, 46 рублей отсюда послал и еще собираю, а у Вас там ни Губастов, ни ты даже Игнатьеву [2] не напомните, что он обещал. Игнатьеву, крошка ты моя, простительно забыть: он трудится больше всех нас. Губастову тоже простительно: едва из яйца вылупился, где ж ему послу напоминать. Но ты, Миша, ты? Тебя кто устрашит?

Воззри в леса на бегемота,
Что мною сотворен с тобой,
Колючий терн его охота
Безвредно попирать ногой.
Как верви, сплетены в нем жилы,
В нем ребра, как литая медь.
Кто может рог его сотреть?

Вот ты какой, Миша! Все это знают. И при том взял и осанкой, и эквитацией[3], и службой государственной, и поэзией, и порочен настолько, насколько следует человеку с тонким вкусом.

Целую тебя в носик и прошу еще раз собрать хоть те деньги, которые при мне уже были записаны, и напомнить также послу о его обещании отправить их Аксакову (которому я уже написал, что и ты собираешь). Не осрамись же, дружок.

Твой навеки *К. Леонтьев.* ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Архимандрит Киприан. Из Неизданных писем Констаитина Леонтьева. Париж, 1959. С. 11.

Михаил Александрович Хитрово (1796—1896)— дипломат и поэт. Происходил из старинного боярского рода. Окончил курс в Школе гвардейских прапорщиков. Служил в гвардии, потом по министерству иностранных дел. С 1871 г.— генеральный консул в Константинополе. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг.— правитель дипломатической канцелярии при главнокомандующем. Позже — генеральный консул в Салониках, дипломатический агент в Болгарии и в Египте, посланник в Румынии, Португалии и Японии. Близкий гр. А. К. Толстому, писал много стихотворений, сборник которых выдержал два издания (СПб, 1892 и 1896).

Мнения о М. А. Хитрово весьма разноречивы. „Симпатичный, прекрасно воспитанный и интересный собеседник" (Глуховцев С. Наша старина, 1915. № 11. С. 1018). С другой стороны, один из руководителей русской дипломатии записал о нем в своем дневнике: „Мало хорошего, если этот пронырливый негодяй и беспринципный интриган станет нашим представителем в Греции" (Ламсдорф В. Н. Дневник, 1891—1892. М.; Л., 1934. С. 345).

[1] *Сергей Карлович Пустомолов* — иронический намек на неизвестное лицо.

[2] *Игнатьев* — русский посол в Константинополе (см. примеч. к письму 28).

[3] *Эквитация* — уравновешенность.

26. К. А. ГУБАСТОВУ

29 февраля 1868 г., Тульча

⟨...⟩ Письмо Ваше я получил сегодня и уже отвечаю. Не вижу я, во 1-х, чтобы мое влияние на Вас было сильно, уже потому, то Вам Courtois [1] не претит, а мне претит всякий француз. Потом, вероятно, Вы не едите постного, а я ем весь пост, конечно с рыбою, кроме сред и пятниц, а Лизу [2], которая только что приехала усталая и больная, посадил за постное, и это не помешало ей в 20 дней из изнуренной петербургской чиновницы стать здоровою и толстою Лизою.

Доволен я не только постом моим, но и по́стом и боюсь одного, чтобы меня на будущий год не услали бы с Дуная внутрь, главное боюсь Адрианополя как огня. Конечно, я против этого приму все меры. Я очень хорошо знаю, что и в Адрианополе есть много поэзии, но ею можно было бы спокойно наслаждаться, если бы приматы были наши не друзья, а враги. Поэзия Адрианополя в простом народе, в турецких кварталах, в мечетях, в кладбищах мусульманских, в банях, в хорошеньких девочках предместий и в madame Blont. Вы можете находить, что mademoiselle Blont [3] красивее ее, я готов это допустить, но только ухаживая за madame Blont и пользуясь хоть сколько-нибудь ее благосклонностью, можно постичь все силы и все дарования, которые в ней кроются. А ее царственный вид и оболочка мнимой холодности? А ее патриархальное обращение и доброта с прислугою? И т. д.

Чтобы вполне постичь поэзию Адрианополя, послушайте моих советов: 1, не откладывая, заведите себе любовницу, простенькую болгарку или гречанку; 2, ходите почаще в турецкие бани; 3, постарайтесь добыть турчанку, это уж не так трудно; 4, не радуйтесь вниманием франков и не хвалите madame Badetti [4]; 5, гуляйте почаще на берегу Тунджи [5] и вспоминайте меня; 6, подите когда-нибудь с кавасом [6] к мечети Султана Баязета [7] и устройте там на

лужайке, около киоска, борьбу молодых турок (пехлеванов [8]), под звуки барабана, это прелесть! Я все это помню и понимаю. Но рядом с этим Адрианополь оставил во мне и другие воспоминания, о которых лучше и не думать. Желаю, чтобы с Вами не случилось того же.

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 195—198.

[1] *Courtois* (Куртуа)— французский вице-консул в Адрианополе.

[2] *Лиза* — Е. П. Леонтьева, жена К. Н. Леонтьева.

[3] *Mademoiselle Blont* (Мадемуазель Блон)— дочь английского вице-консула в Адрианополе.

[4] *Madame Badetti* (Мадам Бадетти)— жена богатого адрианопольского торговца.

[5] *Тунджа* — река, впадающая в Марицу у Адрианополя.

[6] *Кавас* — турецкий жандарм.

[7] *Баязет* — по всей вероятности, султан Баязет II (1447—1512), скончавшийся в Адрианополе.

[8] *Пехлеваны* — люди, занимающиеся турецкой народной борьбой.

27 К. А. ГУБАСТОВУ

26 апреля 1868 г., Тульча

Вот видите, Губастов, как я держу обещания,— сказал, в мае пришлю Соломону [1] 300 р⟨ублей⟩, еще апрель на дворе, а я уже 150 р⟨ублей⟩ посылаю, остальные 150, конечно, тоже он в свое время получит. Как я их достаю — это другой вопрос. Кручусь на одном и том же месте: у одного займу — другому в срок отдаю. Это было бы еще не беда, если бы приезд жены и скромная отделка дома не прибавили к моему дефициту еще рублей 600. Но оставим этот унылый сюжет. ⟨...⟩ Вот уже три месяца муза моя умолкла. Приезд Лизы, мелкие заботы, к тому же она больна серьезно, и если корень зла не уничтожится, то

болезнь ее может перейти в помешательство. Можете судить, легко ли мне в это время. Но я покоен, потому что убежден в возможности излечения. Здесь приписывают ее болезнь ревности, но это неправда — она приехала из Петербурга уже больная. Много поумнела, но и подурнела. Не думайте, чтобы моя личная жизнь была бесцветна. К сожалению, она очень бурна.

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 198—200.

[1] *Соломон* — Соломон Нардеа, еврей-ростовщик в Адрианополе, главный кредитор Леонтьева.

28. ГРАФУ Н. П. ИГНАТЬЕВУ

Май — июнь 1868 г., Тульча

⟨...⟩ Журналисты и публика вообще были до сих пор несправедливы к моим литературным трудам, первые потому, что я не подчиняюсь ни одному из господствующих у нас направлений, вторые потому, что ждут от первых разрешения ценить или нет писателя.

На службе я счастливее. Министерство не виновато, что я поступил поздно, но, благодаря поддержке Вашей, я не завидую тем, кому от рождения даны были протекция и богатство.

Быть может, и на литературном поприще по многим столь солидным с моей практикой связям я найду в Вашем превосходительстве поддержку и хоть какое-нибудь облегчение в тяжкой борьбе, которую я веду во имя идей моих в моем уединении.

Время и 1000 мелких препятствий не позволяют мне кончить всего того, что я задумал. Я упомяну пока только об одном. К осени или этой зиме я думаю кончить на французском языке письмо к Дж. Ст. Миллю под заглави-

ем: „Что такое Россия и славянский мир и почему Россия может дать миру то, чего уже Запад не даст“. Этот гениальный писатель не раз порицал Россию, не зная ее и не догадываясь, что она уже и теперь более всякой другой страны соответствует тому идеалу разнообразия развития ⟨...⟩, который на Западе уже невозможен и которого [нрзб.] он горько оплакивает в своей книге „Свобода“ [1]. Если Бог поможет мне кончить этот труд (полезный и для самославян), то я его представлю прежде отправки на одобрение Вашего превосходительства.

Публикуется по черновому автографу (ГЛМ). Датировано по тексту.

Николай Павлович Игнатьев (1832—1908)— граф, сын петербургского генерал-губернатора и председателя Комитета министров. Учился в Пажеском корпусе и Академии Генерального штаба. В 1858 г. принял начальство военно-дипломатической миссией в Хиву и Бухару. С небольшим конвоем прошел из Оренбурга по мало или вовсе не исследованным путям. Задержанный ханом, самовольно вышел из Хивы, прибыл в Бухару и заключил торговый трактат, освободив при этом русских пленников. В 27 лет получил генеральский чин и назначение уполномоченным в Китай, который отказывался тогда признавать Айгунский договор. После одиннадцати месяцев переговоров понял, что ему недостает главного аргумента — военной силы. Как раз в это время в Китае высадился англо-французский десант. Ловко маневрируя между правительством богдыхана и недавними противниками России, сумел оказать услугу и тем и другим и представить себя спасителем китайской столицы. Так был заключен новый Пекинский договор, по которому Россия получала границу вдоль левого берега Амура и Уссури, а Игнатьев — генерал-адъютантские эполеты и пост директора Азиатского департамента. В 1864—1877 гг. Игнатьев был посланником в Констаитинополе. За ним прочно утвердилась всероссийская известность защитника славян и лидера панславизма. Он же заключил по окончании русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Сан-Стефанский договор, исходя только из интересов России, что вызвало европейский кризис. В Петербурге многим высокопоставлеиным особам, в том числе и канцлеру А. М. Горчакову, уже давно не нравились блестящие успехи Игнатьева. Саи-Стефанский

договор был заменен Берлинским трактатом, знаменовавшим дипломатический разгром России, а Игнатьев получил увольнение в деревню. По восшествии на престол императора Александра III Игнатьева снова призвали к власти, и он стал министром внутренних дел. На этом посту он находился ровно один год, успел провести антиеврейский закон 1882 г. и был заменен графом Д. А. Толстым. В оставшуюся ему еще четверть века жизни никогда более не возвращался на государственную службу. Был женат на княжне Екатерине Леонидовне Голицыной (1843—?).

[1]. „*Свобода*"— один из основных трудов Дж. Ст. Милля трактат „О свободе" (1859).

29. Н. Н. СТРАХОВУ

1869 г., Петербург

Знаете, что я придумал еще, многоуважаемый Николай Николаевич? Мне все недостает денег; выхлопочите-ка мне к пятнице от Кашпирева [1] рублей 400. Это уже не может обременить его. Так как Каткову [2] я не обязался положительно романом, то и могу обещать „Заре" один из двух: или „В дороге" или „Последнее звено".

Только чтобы в пятницу он бы мне дал по секрету. Скажу Вам по совести — страх как нужно! Ужасно был бы я рад, если бы мог достать!

Ваш *К. Леонтьев.*

Публикуется по автографу (ГПБ). Датировано по тексту.

[1] Василий Владимирович *Кашпирев* (1836—1875)— литератор. В 1869 г. основал в Петербурге журнал „Заря" умеренно-консервативного направления. Хотя Кашпирев потратил на него все свое состояние, за недостатком подписчиков журнал в 1872 г. прекратил свое существование.

[2] Михаил Никифорович *Катков* (1818—1887)— публицист и издатель. Входил в кружок Н. В. Станкевича и был близок с В. Г. Белинским. Читал курс философии в. Московском университете. После упразд-

нения философских кафедр в 1850 г. стал редактором сначала „Московских ведомостей“, а затем и „Русского вестника“. В начале своей деятельности выступал в пользу либеральных реформ. Пользуясь связями в высших сферах, успешно боролся с цензурными ограничениями и занял выдающееся положение как редактор. В „Русском вестнике“ печатались Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, Н. С. Лесков. Во время польского восстания 1863—1864 гг. перешел на резко националистическую позицию. Постепенно перемещался в сторону крайнего консерватизма, обличал не только реформы 60-х гг., а даже правительственные учреждения за дух зловредной либеральности. Среди интеллигенции прочно укоренилась неприязнь как к нему лично, так и к его идеям. Его называли „самым гадким и вредным человеком на Руси“. Во время пушкинского праздника 1881 года Тургенев отвернулся от протянутого Катковым бокала. С началом царствования Александра III влияние его усилилось еще больше, он оказывал уже непосредственное воздействие на администрацию, особенно в проведении контрреформ 1887 г. Катков скончался, оставив миллионное состояние. Леонтьев писал впоследствии: „... у Каткова я был какой-то пролетарий, труженик, подчиненный, ищущий его денег, бывающий только по делу“ (Лит. наследство. Т. 22—24, М., 1935. С. 441).

30. Н. Н. СТРАХОВУ

1869 г., Петербург

⟨...⟩ Я еду в четверг и, вероятно, во вторник или в среду приеду к Вам еще проститься и посоветоваться, чего Вы от меня критически хотите, я не боюсь, что Вы слишком думаете о читателях. Я нахожу, что для них не стоит делать ничего. Пусть учатся. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГПБ). Датировано по тексту.

31. К. А. ГУБАСТОВУ

15 октября 1869 г., Янина [1]

⟨...⟩ А главное, тоска такая на сердце, которой я еще в жизни не испытывал. Это какая-то новая тоска, спокойная. Я боюсь, не вхожу ли я в тот период, про который Вы в Царьграде [2] говорили мне: не хочу я вас видеть, когда вы постареете, и все вам будет противно; вы будете ухаживать за женщинами, что совсем старикам нейдет. Вспоминая это, я вздыхаю... Ах, как я вздыхаю! Поверьте, мне это нестерпимо больно. Не думайте даже, чтобы Янина была в этом главною виною. Главною виною моя внутренняя жизнь. Я с ужасом вижу, что в первый раз в жизни начинаю ничего не желать, кроме вещественных удобств. Они меня радуют только сознанием, что без них было бы еще хуже, как без руки или без ноги. Но может ли радовать то, что у меня есть нога и рука? Вы скажете, пройдет! Дай Бог, дай Бог! ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911, С. 207, 208.

[1] *Янина* — город в центральной Греции, где Леонтьев служил консулом в 1869—1871 гг.

[2] *Царьград* — то есть Константинополь (турецкое название — Стамбул).

32. Н. Н. СТРАХОВУ

26 октября 1869 г., Янина

⟨...⟩ ...У меня есть драгоценные данные, почерпнутые из восточной жизни, которая (т. е. жизнь на Востоке) вообще уясняет во многом поразительно взгляд и на Россию. Все это я говорил и в Петербурге, но Вы не потруди-

лись, кажется, обратить внимание на мои слова. Вы не хотели запомнить их. Душа моя вопиет, что некоторые из статей моих, полные живых, живописных, осязательных примеров, для умов некоторого склада будут доступнее, чем статьи самые дельные, но изложенные несколько сухо и абстрактно. Но у меня нет охоты писать их, когда я вижу, что даже и та статья, которую Вы обязались уже взять, не печатается. Напомню Вам (для куражу), что этот вопрос о грамотности был уже тронут в „Дне“ [1] Аксаковым в том же духе (но мимоходом, без подробностей и ярких осязательных изображений); и Аксаков говорил: хороша грамотность, но готовы ли мы учить народ?

Как я ни изворачиваю свой ум, как я ни подыскиваю, что может помешать напечатанию этой статьи, я не нахожу ничего.

Вы разве забыли, что уже читали ее в Петербурге? Вы забыли, что сказали мне тогда: „Прекрасно! Прекрасно! Эту статью мы возьмем, особенно это сопоставление русских, болгар, греков и т. д. Вы живете в таких странах, где эти примеры доступны; если бы вы прибавили еще подробности об этом!“? А я, дурак, обрадовался и поверил! „Дай, мол, Бог здоровья Николаю Николаевичу!“ И взял статью опять в Турцию, наполнил ее примерами и изображениями, подобных которым нелегко найти в нашей робкой литературе, и что же? Где статья?

Понимаете ли Вы, понимаете ли Вы, понимаете ли Вы, что особенность моего положения вдали от России может привести к двум результатам противоположным: если не будет у меня поддержки, я задохнусь в уединении, а если у меня будет поддержка в России, то никто, кроме меня, не может доставлять драгоценных сведений о Востоке; есть еще два человека: Кельсиев [2] и Гильфердинг [3]; но они пишут иначе и имеют свои приемы, а я свои; цель же наша общая (и Ваша, и моя, и отчасти Кельсиева, и Гильфердинга) так высока и план так обширен, что всякий помощ-

ник должен быть дорог. По-моему, мы не должны даже стоять очень строго за оттенки; мы служим не какой-либо презренной практической партии à l'anglaise*, мы Предтечи Великого Славянского Будущего; мы слуги учения столь широкого, что оно непременно должно распасться на ветви, но ветви этого учения должны обнять всю Россию и потом всех славян. И вот: моя жизнь на Востоке, плод моей практической деятельности, моя способность к изобразительности (на которую я в повестях даже из артистической, иконописной, так сказать, трезвости сам нередко накладываю узду) могут принести особые плоды, если меня не будут так жестоко, так гнусно томить, как томит меня эта беспутная редакция „Зари“! ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГПБ).

[1] *„День“* — еженедельная славянофильская газета, издававшаяся в Москве И. С. Аксаковым в 1861—1865 гг.

[2] Василий Иванович *Кельсиев* (1835—1872) — литератор. В 1857 г. сбежал с корабля в Англии к Герцену. Издавал при „Колоколе“ листок „Общее вече“, посвященный русскому Расколу, изучением которого он занимался. В 1862—1865 гг. находился в Тульче (где впоследствии Леонтьев был консулом) и вел среди русских раскольников-некрасовцев революционную агитацию. В 1867 г. добровольно сдался русским властям. Был прощен, после чего жил в Петербурге, издал несколько книг воспоминаний и сотрудничал в консервативных журналах.

[3] Александр Федорович *Гильфердинг* (1831—1872) — славист, этнограф и публицист славянофильского направления. Председатель Славянского благотворительного общества в С.-Петербурге.

---

* По английскому образцу (*фр.*).

33. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

10 декабря 1869 г., Янина

Володя, я получил вчера твое письмо и сегодня на него отвечаю. Ты знаешь мое мнение, что лучше бы всего поступить в военную службу. Я не знаю, почему ты этого не хочешь. Трусом я тебя не считаю, я думаю даже, что ты будешь молодец, значит, это или преувеличенные (представления? — *Д. С.*) о неудобствах и трудностях походной жизни или, что еще хуже, какие-нибудь дурацкие модные идеи, заслуживающие полного презрения. Нам нужны хорошие военные [нрзб.], а на других поприщах ползет нынче [нрзб.], как свинья. Вот тебе мое мнение. ⟨...⟩

А я, брат, все болею. Лихорадка изнурила меня до того, что я на днях, как только будет сила сесть на лошадь, уеду из Янины. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГЛМ).

Владимир Владимирович Леонтьев — сын брата К. Н. Леоитьева, В. Н. Леонтьева. Других сведений о ием не иайдено.

34. Н. Н. СТРАХОВУ

12 марта 1870 г., Янина

Я долго ждал от Вас письма, добрейший Николай Николаевич, и наконец понял, что жду напрасно. О чем, в самом деле, Вам писать мне? Если бы я был Тургенев или что-нибудь в этом роде, то, несмотря на все пренебрежение, которое справедливо возбуждают в Вас его последние выходки, Вы сочли бы, конечно, долгом вежливости поспешить ответом. Но ведь я, слава Богу, не Тургенев; мои мысли и произведения возбуждают в Вас сочувствие, а не пренебрежение... Поэтому и молчание Ваше я должен объ-

яснять в хорошем смысле, в смысле простительной небрежности и т. п. ⟨...⟩

А „Заре“ не мешало бы быть посмелее и посочнее. Хороша она, не спорю, и так; после сухости „Русского вестника“ [1] от нее и в таком виде, в каком она есть, веет свежим воздухом. Но, во 1-х, хорошо ли Вы сделали, что сбились с пути Ап. Григорьева на простое московское славянофильство? Хорошо ли Вы сделали, что связали себе руки [нрзб.] — немецким фамилизмом [2] и нравственностью? Зачем было нападать на идеи Авдеева [3], вместо того чтобы громить бездарность его, неумение его сделать идеи привлекательными? Что это — французское, что ли? Неправда. Многочисленных решений этому вопросу нет так же, как и государственному. Разнообразие реальное в разных нациях происходит не столько от разнообразного решения вопросов в принципе, сколько от разнообразных сочетаний одного житейского начала с житейскими началами, взятыми, так сказать, из других сфер. Пример: грек и русский. Грек: демагóг, православный, экономен, непостоянен в делах гражданских, постоянен в домашних, строг в семье, в литературе ритор, властей не любит, религиозен без энтузиазма и без „искания“. Великоросс: властям покорствует охотно, расточителен и беспечен, непостоянен в домашних делах, осторожен и скорее постоянен, чем изменчив, в делах гражданских, в семье довольно распущен, и не себе, и не другим. В литературе реалист, если религиозен, то или с энтузиазмом, или с „исканием“, как замечали Кельсиев и я, у русских на Дунае при сравнении их с другими соседями их*.

Соединение женолюбия с религиозностью не есть признак одного дурного воспитания и варварства или, напротив, развращенности и подражания. Это свойственная нам

---

* Таким образом, мы найдем, что у грека есть общие черты с русским, с французом, а француза с испанцем, с китайцем даже и т. д. (*Примеч. К. Н. Леонтьева*).

национальная черта, которой еще не сумела овладеть наша робкая литература. Она в сфере семейно-бытовой приближает нас больше к племенам романским [нрзб.], как наша умеренность и здравый смысл в целях государственно-гражданских напоминает скорее дух англо-саксонских и германских народностей.

Славянофилы московские (которых я, однако, высоко чту) с своей немецкой нравственностью скорее рисовали себе свой собственный идеал русского человека, чем снимали с него идеализированный портрет. Ап. Григорьев [нрзб.] это давно, Вы сами это знаете.

Ну, довольно об этом.

Другое. Кто позволил этому несчастному Антропову [4] (должно быть это он — А-в) унизить так Гончарова [5]? Как это умно! Как это кстати! От реалистической манеры давно уже начинает рвать людей со вкусом и начнет скоро рвать и публику — когда ей дадут что-нибудь иное. Как можно нападать на писателя, который, по крайней мере по манере, по приемам (если не по идеалу, не по сюжетам) менее груб, чем другие?.. Один язык его благороден до того, что заслуживает изучения. Объяснюсь примером. Откройте и посмотрите, как в иных местах он говорит о чувствах Обломова. Какой полет, какая теплота, какая трезвая и вместе с тем лирическая, воздушная образность. То же самое я найду и в 20 местах „Обрыва". Ваш Толстой хорошо рисует пунктиками на слоновой кости; но кисть его всегда мелка, как бы ни были велики события, за которые он берется. Теплоты у него, быть может, много в сердце, но он не умеет излить эту теплоту на бумагу широкими, воздушно-героическими чертами. Я не хочу унизить „Войну и мир". Я готов согласиться, что в своем роде это произведение гениально, и я буду в восторге, когда его переведут на все языки. Я готов повторить за Вами, что дальше по пути реализма идти нельзя. Но что же это значит? Не значит ли, что нужен поворот? Поворот к лиризму, к высокой несложности изображений, к чертам простоты, широким

и свободным, точнее даже, я скажу, к благородной бесцветности (примеры: Чайльд-Гарольд [6], Рене [7], потом — Пушкин местами, из романов Санда [8] — Лукреция Флориани [9] написана [нрзб.] в этом роде, Вертер [10], романы г-жи Крюднер [11], которых имя я забыл, и т. п.).

К тому же роду относится по манере и Марко Вовчок [12]. Именно то, за что Вы ее упрекаете, есть заслуга — эти общие, бледные, но теплые черты ее первых произведений напоминают общие и теплые черты народных песен и рассказов, никогда не имеющих грубой выразительности (хорошее выражение П. В. Анненкова) [13].

Хвалите Толстого за высоту выбора. Я рад, и все те, о которых стоит говорить, будут согласны с Вами.

Выбор, конечно, весьма идеальный, патриотический, религиозный, изящный — но изображение, форма реалистические до крайнего предела. Дальше нельзя идти — Вы сами говорите. Пойти еще дальше — будет литература тодыколды, над которой Вы справедливо издеваетесь. Потребность к повороту изящному, идеальному чувствуется уже давно во всем. У Толстого высокий выбор; у Григорьева есть местами фарфоровая чистота изображения, есть порывы высшего лиризма. У М. Вовчка проявилась хотя бы и мельком — пока ее не испортили — эпическая ясность и непритворная теплота, та елейность, о которой говорил Белинский и которой нет ни у Тургенева, ни у Толстого...

Соедините все вместе — высокий выбор Толстого и высокие приемы Гончарова и М. Вовчка, прибавьте к этому между строчками побольше смелости философской или исторической мысли — и наша литература даст наконец миру то, что мы желаем, — своеобразное, русское содержание в прекрасной форме... Содержание Пушкина — Вы сами знаете — не так своеобразно, как содержание у западных гениев. Он в этом не виноват.

Потом, — кто виноват, Вы или редакции, что к расколу относятся все ощупью, точно боятся обжечься? Еще это вопрос — что более народно (т. е. своеобразно), правосла-

вие или раскол? Что может больше дать для своеобразной культуры и т. д. Я не равнодушен к православию в церковном смысле, я исполняю многое, чего не исполняете вы там, в Петербурге, но подобно тому, как Гизо [14], сам протестант, признавал католичество необходимым для Франции, так и я спрашиваю себя: не культурнее ли, так сказать, влияет раскол? Я верю, что православие не сказало еще последнего своего слова. Оно может дать великих деятелей, великие произведения пластических искусств и слова, историческое значение его огромно... Но как Вы думаете — молокан [15], духоборец [16], скопец [17], двоевер [18] и т. д., воспитанный в университете или начитавшийся светских книг, то же он даст, что дали бы католик, протестант, православный, когда явится поэтом, мыслителем, гражданским деятелем и т. д.? Не смешите меня, говоря, что образованность приведет ведь к православию!.. Это говорят лишь здесь в разговорах с греками, с политической целью...

Всех воспитанных с детства в разных религиях может объединить физически лишь равнодушие и безбожие. Пока человек при всем своем образовании не безбожник и даже скептицизм его огорчает, а не радует, как радует людей ничтожных, он непременно внесет в свою мысль, в свое творчество, в свою гражданскую деятельность иные звуки, внушаемые ему глубоким впечатлением первого воспитания... Раскол есть одно из величайших благ России. Мы желаем, не правда ли, чтобы славянство было своеобразно, чтобы его культура разнилась от Запада? Но согласитесь, что ни одна культура — для полного развития которой нужны века — не была однообразна в своем своеобразии. Иначе разные элементы объединялись в одной, иначе в другой. Чем разнообразнее русский дух, тем лучше. Довольно об этом.

Еще. Отчего никто у нас не возьмется возвести принцип самодержавия в систему, оправдать его не только исторически, но и философски, со всеми пособиями экономическими, политическими и т. д.? Помните, я было хотел это

сделать. Вы были рады. Но после судьбы, постигшей статьи о женщинах и о грамотности, я не хочу отрываться от повестей и романов, которые по крайней мере печатаются. Жить остается немного — надо спешить. К тому же в Петербурге вы имеете кругом себя людей более, чем я, ученых по части государственных наук.

Статья Данилевского[19] превосходна; я ее прочел раза три и еще буду читать, но нельзя же успокоиться на ней... „Твердите истину ежедневно, ибо другие твердят ежедневно ложь". ⟨...⟩

Главная заслуга Данилевского, кроме исчисленных Вами в заметке против „Русского вестника",— это еще то, что он первый в печати смело поставил своеобразие культуры как цель. Московские славянофилы все как-то не договаривались до этого; они вместо того, чтобы сказать, что без своей культуры и жить России не стоит, говорят, что на Западе все ложь, или что у нас то или другое не привьется, неудобно и т. п. натяжки. Раз поставив это учение на основании —„культура для культуры", славянофилы будут впредь тверже на ногах и на вопрос: „а общечеловеческое благоденствие?" могут ответить спокойно: „Да кто вам сказал, что мы об нем забыли?"

Ну, довольно об „Заре".

Я думаю, что племянница моя[20] уже сказала Вам, что у меня почти готов для „Зари" роман „Генерал Матвеев"[21]. Я нарочно так назвал, чтобы дураки нашего времени подумали: вот, какие-нибудь насмешки! Открыли бы с радостью, а уж начнут — так кончат и увидят, что смеюсь я не над генералом, а над ними. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГПБ).

[1] *„Русский вестник"* — литературно-политический журнал, основан в Москве в 1856 г. М. Н. Катковым. В нем печатались крупнейшие произведения русских классиков („Губернские очерки" М. Е. Салтыкова-Щедрина, „Отцы и дети" И. С. Тургенева, „Преступление и наказание"

и „Бесы“ Ф. М. Достоевского, „Война и мир“ Л. Н. Толстого). Издание прекратилось в 1906 г.

[2] *Фамилизм* — учение секты фамилистов, возникшее в Голландии в середине XVI в., по которому сущность религии заключается в чувстве божественной любви.

[3] Михаил Васильевич *Авдеев* (1821—1876)— литератор. Был сотрудником журналов „Современник“ и „Дело“. В своих романах подражал М. Ю. Лермонтову и И. С. Тургеневу.

[4] *Антропов* — неустановленное лицо.

[5] *Гончаров* — По всей вероятности, имеется в виду писатель И. А. Гончаров (1812—1891). Сведений об упоминаемом эпизоде не обнаружено.

[6] *Чайльд Гарольд* — герой одноименной поэмы Дж. Г. Байрона.

[7] *Рене* — герой романа Ф. О. Шатобриана „Рене, или Следствие страстей“.

[8] *Санд* (Жорж Санд; настоящ. имя Аврора Дюдеван, 1804—1876)— французская писательница; пользовалась в России широкой популярностью.

[9] *„Лукреция Флориани“*— роман Жорж Санд, в котором она изобразила свои отношения с Фредериком Шопеном.

[10] *Вертер* — герой романа И. В. Гете „Страдания молодого Вертера“.

[11] Барбара Юлия *Крюднер* (1764—1825)— немецкая писательница и религиозная проповедница мистического толка, склонная к мистификациям. Занималась филантропической деятельностью. Была в дружеских отношениях с Александром I.

[12] *Марко Вовчок* (настоящ. имя Мария Александровна Вилинская — Маркович 1834—1907)— украинская и русская писательница. Ее рассказы из народного быта получили высокую оценку Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена, Д. И. Писарева, Н. Г. Чернышевского и др. Много занималась переводами научных трудов и художественных произведений.

[13] Павел Васильевич *Анненков* (1813—1887)— литературный критик и мемуарист. Был близок с В. Г. Белинским, Н. В. Гоголем, А. И. Герценом и И. С. Тургеневым. Сотрудничал в „Отечественных записках“ и „Современнике“. Подготовил первое научное издание сочине-

ний А. С. Пушкина, опубликовал ценные „Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина".

[14] Франсуа *Гизо* (1787—1874)— французский историк и государственный деятель. Основные труды: „История английской революции", „Общая история цивилизации в Европе", „Общая история цивилизации во Франции". Возглавлял министерства народного просвещения, внутренних и иностранных дел, недолгое время стоял во главе правительства. Проводил консервативную политику.

[15] *Молокане* — русская рационалистическая религиозная секта. Возникла во второй половине XVIII в. Сами сектанты объясняют это название тем, что их учение есть то „духовное млеко", о котором говорится в Священном писании. Совершенно отрицают православную церковь и признают только Ветхий и Новый заветы.

[16] *Духоборы* (духоборцы)— русская рационалистическая религиозная секта, возникшая в середине XVIII в. По их учению, в душе каждого человека пребывает Бог и наставляет его.

[17] *Скопцы* — последователи религиозной секты, возводящей на степень нравственной обязанности операцию оскопления. В России скопческая ересь появилась в царствование Екатерины II.

[18] *Двоеверы* — люди, которые и после принятия христианства сохраняют языческие обряды и верования.

[19] *Статья Данилевского...*— Николай Яковлевич Данилевский (1822—1885)— публицист, естествоиспытатель и практический деятель народного хозяйства. Сын генерала. Воспитывался в Александровском лицее, учился в Петербургском университете, специализируясь в ботанике. Одновременно увлекался социалистическими утопиями Ш. Фурье и был арестован по делу петрашевцев, но был освобожден от суда. Совершил множество экспедиций почти во все водные бассейны России. Выступал как непримиримый противник дарвинизма. Главный труд Данилевского „Россия и Европа" (1869) посвящен философии мировой истории. Центральная его идея заключается в том, что понятие человечества есть пустая абстракция и поэтому можно говорить лишь об особых, высших, в социальном смысле, общностях людей, называемых Данилевским культурно-историческими типами. Культурно-исторические типы проходят всю цепь эволюционного развития: рост, расцвет, дряхлость и гибель. Полагая, будто европейский тип уже распадается, а на смену

ему приходит новый, славянский, Данилевский писал: „Европа не только нечто нам чуждое, ее интересы не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны ⟨...⟩. Если невозможно и вредно устранять себя от европейских дел, то весьма возможно, полезно и даже необходимо смотреть на эти дела всегда и постоянно с нашей особой русской точки зрения, применяя к ним как единственный критериум оценки: какое отношение может иметь то или иное событие, направление умов, та или другая деятельность влиятельных личностей к нашим особенным русско-славянским целям; какое они могут оказать препятствие или содействие им? ⟨...⟩ Без ненависти и без любви, равнодушные к красному и к белому, к демагогии и к деспотизму, к легитимизму и к революции, к немцам и французам, к англичанам и итальянцам, к Наполеону, Бисмарку, Гладстону, Гарибальди, мы должны быть верным другом и союзником тому, кто хочет и может содействовать нашей единой и неизменной цели. ⟨...⟩ Европа не случайно, а существенно нам враждебна: следовательно, только тогда, когда она враждует сама с собою, может она быть для нас безопасной". С резкой критикой „России и Европы" выступил против защищавшего ее Н. Н. Страхова Влад. С. Соловьев, который, впрочем, говоря о личности Данилевского, признавал в нем „человека, самостоятельно мыслившего, сильно убежденного, прямодушного в выражении своих мыслей и имеющего скромные, но бесспорные заслуги в области естествознания и народного хозяйства".

В данном случае под статьей Данилевского, очевидно, имеется в виду его главный труд „Россия и Европа", печатавшийся в журнале „Заря" (1869. Кн. 5, 6, 8, 9).

[20] *...племянница моя...* — См. примеч. 1 к письму 48.

[21] *„Генерал Матвеев"* — так, по имени главного героя, Леонтьев называет свой роман „Две избранницы". Опубликована была только первая его часть (Россия. 1885, № 1, 3—10).

35. Н. Н. СТРАХОВУ

19 ноября 1870 г., Янина

Ну-с, вот и я Вам собрался ответить, добрейший мой Фабий Кунктатор [1], конечно, не через год, а через полтора месяца. Благодарю Вас за доброе слово Ваше и за бодрость, которую Вы мне придали надолго Вашими двумя строками о том, что, печатая в год по 10 листов, я через два года могу приобрести себе прочную славу.

В самом деле, было бы странно, если бы я не достиг [нрзб.] хоть не славы, а той известности, которой меня считали достойным все — и Тургенев, и Катков, и Дудышкин [2], и Краевский, и Феоктистов [3], и многие московские и петербургские писатели и ученые тогда, когда еще мне было 21—23 года, и считали не только на словах, но и в письмах ко мне, которые у меня целы. У меня еще борода не росла, когда М⟨ихаил⟩ Никиф⟨орович⟩ Катков (тогда еще скромный редактор скромных „Московских ведомостей" [4], до 53 года) провожал меня домой и подавал мне сам шинель. Краевский писал мне: стыдно Вам так долго ничего не присылать нам, и зарывать в землю Ваш дар Вы не имеете права. Тургенев, сидя (в 52 или 53 году) у мад⟨ам⟩ Евг. Тур [5] вместе со мной, сказал при Феоктистове, при Корше [6], при [нрзб.] Кудрявцеве [7], что он истинного нового слова ждет только от графа Толстого и от меня. Я тогда еще начал готовить и обдумывать „Подлипки" (и напечатал их в 1861 году, а Вы говорите, надо работать! О! Добрый, милый мой Фабий, Вы ошибаетесь — вины за мной нет никакой; разве только то, что я сразу захотел сесть на козлы, вместо того чтобы ехать на запятках за общественной модой); вот я помню еще: написал я первое письмо подлинно с восторгом и в тот же вечер прочел это описание зимы в деревне у мад⟨ам⟩ Тур. Выслушав, она

воскликнула: „Quel magnifique tableau du genre!* Самые лучшие из русских поэтов подписали бы под этим свое имя!..“ Профессор Кудрявцев сказал: да, это правда! (Мне же теперь это не нравится, ибо много реализма.) Дудышкин писал Тургеневу по поводу одной комедии моей [8], не пропущенной цензурой (и очень незрелой, как я нахожу теперь), что он, читая ее, хотел заплакать и что он не верит, будто автору всего 21 год.

Вот как я начинал, добрейший Николай Николаевич! Потом война, в которой я принимал участие как врач военный, искажение таланта научно-философскими ухищрениями мысли (этот период продолжался до 58—59 года, когда я опять стал возвращаться к конкретному и принялся за „Подлипки“ и работал [нрзб.], несмотря на медицинские занятия, на бездну чтения и даже несмотря на множество разных личных событий и впечатлений...). ⟨...⟩

Я сам, без помощи критики, без похвалы и осуждений, в молчании и забвении, всегда вдали от столиц наших, прежде в русских провинциях, потом в Турции, пробовал разные пути, разные приемы, разные манеры... Хорошо было Пушкину, Ж. Санду, Гёте, Тургеневу и другим меньшим и большим (это все равно) менять направления и приемы, когда 1000 голосов их руководили, увлекали, оскорбляли, радовали и т. д. Нет, Вы попробуйте наедине с самим собою — менять кожу, как я менял ее от 61 до 71 года!

Это трудно! И душа моя говорит мне, что я бы показал [нрзб.], если бы мне улыбнулось солнце хоть на 1/2, как оно улыбалось мне, когда мне было 22 года в Москве и когда я этой улыбки был еще недостоин. Помню, Катков за маленькую повесть „Благодарность“, напечатанную в „Московских ведомостях“ (в 52 или 53 году), прислал мне хорошие деньги с Феоктистовым и извинялся, что средств

* Какая великолепная жанровая сцена! (*фр.*).

у редакции очень мало и что Грановскому [9] столько же платят за столбец, сколько и мне. ⟨...⟩

⟨...⟩ ...Я надеюсь, что Майков [10], который начнет издавать другой славянофильский журнал с Нового года в Москве, будет менее гнаться за той доказательностью, которою меня преследует Страхов (хоть Ап. Григорьев был еще недоказательнее и, главное, темнее), но за которою читатели гонятся гораздо менее, чем он думает. Женщинам, я ручаюсь, напр⟨имер⟩ моя бездоказательность больше нравится, чем слишком пространные статьи, в которых половина содержания заключает вещи либо очень сухие, либо очень известные. Славянофилам вообще недоставало до сих пор легкости, жизненности, картинности в статьях. Чуть-чуть что-то подобное отрывочно мелькает у Хомякова [11]. Единственный славянофил, который обладает этим теперь, это Кельсиев; и, несмотря на то, что и он иногда бросает посреди рассказов и анекдотов своих смелые, но часто недосказанные мысли,— его статьи, конечно, более полезны для распространения известных чувств, чем даже Евангелие Данилевского [12], которое именно по крайней доказательности и отвлеченности своей немногим доступно.

Я боготворю его и зову Евангелие, а другие говорят „скука", и многие, которым я доказывал, не хотели кончать, хотя и не враги славянофильства и не совсем пустые люди. А Кельсиева с удовольствием читает и девица, и светский человек, и ученый. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГПБ).

[1] *Фабий Кунктатор* — Фабий Максим (275—203 до н. э.), прозванный Кунктатором, то есть медлителем, знаменитый римский полководец. Леонтьев имеет в виду задержки Страхова с ответами на письма.

[2] Степан Семенович *Дудышкин* (1820—1866)— журналист. После ухода В. Г. Белинского занимал ведущее положение в „Отечественных записках", а с 1861 г. фактически был их редактором.

[3] Евгений Михайлович *Феоктистов* (1829—1898)— литератор и государственный деятель. Сотрудничал в „Русском вестнике" и „Отечест-

венных записках". Был редактором „Журнала Министерства народного просвещения". В 1883—1896 гг.— начальник Главного управления по делам печати. С 1896 г.— сенатор. Сохранился отзыв Феоктистова о молодом Леонтьеве в письме к И. С. Тургеневу от 24 декабря 1851 г.: „Он мне решительно не нравится: знаете ли, ведь это тоже губитель женских сердец. 〈...〉 Признаюсь Вам, я не вижу даже в нем того ума, который Вы в нем находите" (Тургенев И. С. Письма. Т. 2, М.; Л., 1961. С. 427).

[4] *„Московские ведомости"* — газета, издававшаяся Московским университетом с 1756 г. Запрещена в 1917 г. Во второй половине XIX в. пользовалась большим влиянием в правительственных кругах.

[5] *Евг. Тур* — псевдоним писательницы Елизаветы Васильевны Салиас-де-Турнемир (1815—1892), сестры А. В. Сухово-Кобылина. Ее первые произведения получили сочувственные отзывы А. Н. Островского, И. С. Тургенева и Аполлона Григорьева. Герои ее повестей и романов — пустые светские люди. Одна из первых угадала талант Ф. М. Достоевского. Под конец жизни посвятила себя детской литературе.

[6] *Корш* — по всей вероятности, Валентин Федорович Корш (1828—1893), талантливый журналист и историк литературы. В 1864—1873 гг. издавал „С.-Петербургские ведомости" и сумел упрочить за ними одно из первых мест в тогдашней журналистике. Под его редакцией начала выходить многотомная „Всеобщая история литературы".

[7] Петр Николаевич *Кудрявцев* (1816—1858)— ученик, друг и преемник Т. Н. Грановского. Профессор истории Московского университета. С 1859 г. был одним из редакторов „Русского вестника". Писал небольшие повести.

[8] *...по поводу одной комедии моей...* — См. примеч. 2 к письму 2.

[9] Тимофей Николаевич Грановский (1813—1855)— профессор истории Московского университета. Прославился публичными лекциями по истории средних веков. Один из виднейших западников. Был близким другом А. И. Герцена.

[10] *Майков* — по всей вероятности, Аполлон Александрович Майков (1826—1902), славист, председатель Московского славянского общества, член-корреспондент Академии наук. В журнале „Русская мысль" вел отдел славянской жизни.

[11] Алексей Степанович *Хомяков* (1804—1860)— один из основоположников славянофильства, поэт. Служил в армии, но рано вышел в отставку. Отличался энциклопедическими интересами, в том числе в области богословия, но вследствие цензурных ограничений при его жизни появилось в печати лишь несколько статей. Подобно К. С. Аксакову, много занимался устной пропагандой славянофильства в московском обществе.

[12] *Евангелие Данилевского* — трактат Н. Я. Данилевского „Россия и Европа“, который высоко ценил К. Н. Леонтьев (см. примеч. 19 к письму 34).

36. ГРАФУ Н. П. ИГНАТЬЕВУ

28 августа 1872 г., Афон [1]

Частное

Милостивый государь Николай Павлович,
сверх моего официального ответа на предписание Ваше за № 843, позволяю себе сказать в этом письме несколько слов горячей и искренней благодарности за Ваши советы и за обещание поддержки, сообщенные в частном ответе Вашем. Ответ этот Ваш немного успокоил то волнение, в котором я был после ультиматума выехать со Святой Горы.

При всей искренней моей благодарности за Вашу доброту и Вашу ко мне снисходительность, позвольте мне сказать Вашему Превосходительству вот что: я хотел пробыть на Афоне до начала или половины октября, кончить для Каткова (который платит мне недурно за мои восточные повести) довольно большой роман из здешнего быта, так что мне бы проездом через Москву получить около 1000 рублей. Теперь приказание выехать с Афона расстраивает все мои расчеты и с этой стороны. Ваше Превосходительство укоряет меня за мои долги. Согласен, хотя не видал еще, чтобы они хоть какое-нибудь влияние имели на дела службы; согласен, что это нехорошо. Нехорошо для меня, но я не

понимаю и никогда не пойму, что службе от этого? Разве бездарность, которой мы так богаты на службе, и без долгов не в тысячу раз вреднее долгов без бездарности? А у нас на константинопольской и вообще на дипломатической службе долги — обычай. Кто же из наших не должен, если говорить правду? Я сказал „бездарность без долгов"; а то еще много есть примеров бездарности с долгами, напр⟨имер⟩ покойный Байков [2] и другие. Вообразим себе такой пример (я говорю „вообразим" себе)— М. А. Хитрово, которого я, по моему крайнему разумению, считаю одним из самых блестящих наших деятелей, вообразим себе, что он много должен, что такой человек много должен, но как-нибудь старается платить и не просить казну платить за него; а рядом с ним вообразим себе какую-нибудь жалкую посредственность... назовем какое-нибудь вымышленное имя, напр⟨имер⟩ Славонравов, Честолюбов, какой-нибудь Унтер-Шустер из наших дипломатов и консулов, не имеет долгов. Кто больше принесет службе пользы — такой человек, как Хитрово, или эти Унтер-Шустеры и Честолюбовы? Простите мне, Ваше Превосходительство, я человек теперь ненормальный, а правильнее — больной. За доброту и за протекцию — благодарность живую, горячую, искреннюю, за упреки — оправдания такие, не лишенные известной vivacité*! Угодить в этих случаях, Ваше Превосходительство, трудно. Я давал жене моей 150 р⟨ублей⟩ в месяц, когда она жила в Одессе и Цареграде. Она была довольна, я стеснялся — и вдруг узнал, что уже в Петербурге меня обвиняют в том, что я даю ей мало и что она постоянно нуждается. Я в 68-м году послал ей из Петербурга в Тульчу 1000 рублей, чтобы она отчасти уплатила долги и ехала бы комфортабельно до Янины. Она предпочла заплатить как можно больше долгов моих, оставила себе около 100 рублей, и ей недостало на путешествие до Янины. Что же?! Ей выдают из Посольства 10 лир (!!!), и Куманин пишет мне

* Живость (*фр.*).

преглупо-наставительное письмо, за которое, конечно, так как против него я не был связан никаким подчинением, я дал ему добрую сдачу. Видите, Ваше Превосходительство, как трудно угодить людям в этом случае: платишь долги — виноват, жене мало дал, говорят; жене много даешь — зачем долги не платишь! Поэтому и на этот раз Ваше замечание о моих долгах больше удивило, чем огорчило меня. Я вынужден даже предупредить Ваше Превосходительство, что так как Вы запрещаете мне жить до октября на Афоне, то я не буду в силах кончить покойно мой труд для г-на Каткова и придется мне именно вследствие этого изгнания занимать где попало еще лир сто, по крайней мере, ибо не могу же я, больной человек, по приезде в Россию me trouver sur le pavé*.

Прошу Ваше Превосходительство рассматривать, если угодно, это письмо как бред ненормального человека.

Доброту Вашу я ценю, Вы знаете, но о долгах не понимаю никаких замечаний, ибо это дело частное. 〈...〉

Мы, Николай Павлович, оба с Вами христиане не для восточного вопроса, а настоящие верующие (так я слышал везде об Вас); нас с Вами будет судить Бог, а не презренные газетные фигляры!

„Яко аще бы враг поносил ми, претерпел бых убо; и аще бы ненавидяй мя на мя велеречевал, укрылся бы от него. Ты же человече равнодуше, владыко мой и знаемый мой; иже купно наслаждался еси со мною брашен, в дому Божий ходихом единомышлением!“ (смотр〈ите〉 час шестый, псалом Давида!)

Простите мне, Ваше Превосходительство, мне, полумонаху, полуконсулу эти cris de l'âme!**

С глубочайшим почтением имею честь быть Вашего Превосходительства покорнейший слуга

К. Леонтьев.

---

* Оказаться на улице (*фр.*).

** Крики души (*фр.*).

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] *Афон* (Святая Гора) — узкий гористый полуостров в Греции, вдающийся в Эгейское море. Одно из самых святых мест восточного православия — своеобразное иноческое государство: в XIX в. там было 20 больших монастырей, несколько скитов, множество (до 700) отдельных келий. По преданию, русский монастырь св. Пантелеймона, в котором жил Леонтьев, был основан на Афоне во времена св. Владимира.

[2] *Байков* — неустановленное лицо.

37. ГРАФУ Н. П. ИГНАТЬЕВУ

Август 1872 г., Афон

Милостивый государь Николай Павлович,

Я имел честь получить предписание Вашего Превосходительства от 15 августа за № 843.

Из частных моих писем Вам уже известно, что самое здоровье мое (как я этим летом убедился окончательно) требует отъезда в Россию, поэтому я и без того долго бы не мог замедлить на Святой Горе. Теперь же я, конечно, употреблю все мои усилия для скорейшего исполнения воли императорского посольства; но при всем этом я осмеливаюсь просить, чтобы и Ваше Превосходительство благоволили войти в мое положение.

Во 1-х, во время летних жаров и после неудачного моего путешествия сухим путем в Константинополь здоровье мое ухудшилось и только теперь начало слегка улучшаться. Дальнее путешествие в настоящее еще жаркое время для меня решительно невозможно. К тому же, ко всему прочему, предстоящему мне, — в Одессе, Москве и Петербурге свирепствует холера, а я (как, может быть, Вы изволили слышать) страдаю и крайним малокровием, и совершенным расстройством пищеварения.

При таких условиях ехать сейчас же было бы безумием.

До получения Вашего предписания я думал выехать

в конце сентября или начале октября. Теперь я употреблю все усилия мои собраться в путь не позднее 10-го или 15-го сентября, когда время будет прохладнее.

Что касается до греков и до их клевет, то две-три недели больше или меньше, конечно, не ухудшат и не улучшат их политических о нас мнений, и я уверен, что начальство не захочет никогда в угоду им подвергать страданиям и без того изможденного и измученного человека.

Они преследуют теперь своими криками всех русских без различия, и Ваше Превосходительство, если угодно, можете узнать из частного моего письма г-ну Ону, каким гонениям подвергаются даже беззащитные русские монахини в [нрзб.]. И этим бедным и полуграмотным женщинам приписывают панславистические цели. Греческий гнев не утолится, если и я буду принесен им в жертву.

Вашему Превосходительству известно также из последних писем моих, что я на службу консулом возвратиться теперь не в силах и намереваюсь просить высшее начальство удостоить меня отставки с какой-нибудь соразмерной пенсией. Поэтому императорское посольство лучше всего в состоянии определить, на каком положении мне ехать в Россию и продлить ли мне отпуск до разрешения вопроса об отставке или принять иные меры, сообразные с законами и с моим положением. Насчет этого я буду ожидать предписаний.

Наконец, я должен еще сознаться, что именно в настоящую минуту достаточных средств для скорого предприятия столь дальнего пути ⟨у меня нет.— *Д. С.*⟩. Я мог бы, может быть, получить порядочную сумму от г-на Каткова, но по болезни моей не могу ручаться ни за срочность окончания работы, ни его высылки на Афон и боюсь, как бы, дожидаясь от него денег до октября (как я думал сначала), не возбудить неудовольствия Вашего.

Поэтому и позволяю себе просить почтительнейше о выдаче мне хотя бы взаимообразно (если иначе нельзя) около ста турецких лир из каких-либо сумм, имеющихся

в Посольстве, для того, чтобы я скорее мог удовлетворить выраженным в предписании Вашем требованиям.

Публикуется по автографу (ГМЛ).

38. К. А. ГУБАСТОВУ

16 января 1873 г., Салоники [1]

Нет! Видно, еще искра прежнего сочувствия есть в наших сердцах! Только что я написал Вам, как получил Ваше милое и менее обычного казенное письмо.

Не могу понять чувств, обуревающих П-ва [2], и потому, при всей искренней моей к нему приязни, как-то не могу его жалеть душевно. Вообще, я этим бракам, от которых много ждут, не сочувствую. Брак есть разделение труда, тяжкий долг, святой и неизбежный, но тяжелый, налагаемый обществом, как подати, работа, война и пр. Работа и война имеют свои поэтические и сладкие минуты, ими можно восхищаться, но надо помнить, что одна большею частью нестерпимо скучна, а другая очень опасна и тяжела. Отчего же на брак не хотят смотреть как на общественное тягло, которое иногда не лишено поэзии, но от войны и тяжелой работы отличается тем, что война опасна, но не скучна, а работа большею частью скучна, но не опасна физически? Брак же для женщины опасен физически, а для мужчины — скучен большею частью крайне. Я согласен с тем французом, который сказал: L'amour n'a rien à faire avec les devoirs pénibles et sévères du mariage*.

Если я ни разу не каялся, что женился, и если моя брачная жизнь дала мне много хороших минут, то это оттого, что я шел в церковь без очарования и кроме худа для

---

* Нет ничего общего между любовью и тягостными и жестокими обязанностями брака (*фр.*).

себя от брака ничего не ждал и все мало-мальски хорошее принимал за дар судьбы. Когда П-в написал мне летом свое восторженное письмо, где называл жену ангелом (!)[2], тогда как она гораздо более похожа на бойкого крепостного форейтора, то меня всего перевернуло и я почти предсказал ему, что добра тут не будет. Не понимаю и ревности к законной жене. Это что-то чересчур первобытное...

Ну, обнимаю Вас тысячу раз.

Ваш когда-то Л⟨*еонтьев*⟩.

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева, СПб, 1911. С. 212, 213.

[1] *Салоники* — крупный портовый город в Греции на берегу Эгейского моря.

[2] *П-в* — неустановленное лицо.

39. К. Н. БЕСТУЖЕВУ-РЮМИНУ

22 марта 1873 г., Константинополь

Милейший друг Константин Николаевич, здравствуйте!

Я жив и даже как будто здоров, чего и Вам желаю (несмотря на то, что Вы своей „Истории“ мне все-таки не прислали).

Ради Бога прошу и умоляю Вас, перешлите немедля и бережно „Генерала Матвеева“ в редакцию „Русского вестника“ прямо на имя Павла Михайловича Леонтьева [1]. Непременно на его имя. Не погубите меня какой-нибудь медлительностью или небрежностью. Помните, друг мой: 1) что у меня другой рукописи нет и 2) что теперь для меня литература есть хлеб, ибо службу я оставил. По правде сказать, ужасно я боюсь за эту рукопись, чтобы она не пропала. Считая по 100 рублей за лист, это ведь, может быть, больше 1000 рублей.

Не говоря уже о нравственной потере и так далее.

Пощадите же! Уж я знаю, как русские друзья способны вредить любя... Отчего?.. Кто знает?

Великая нация! Ей все нипочем! Что ни день, то великое произведение мысли и поэзии... Можно поэтому второстепенные вещи терять, бросать, не печатать и т. д.

Ну, обнимаю Вас. Читали ли мои статьи о панславизме в „Русском вестнике“? [2] Нравятся или нет?

Ваш забытый Вами друг *К. Леонтьев.*

Публикуется по автографу (ИРЛИ).

[1] *Павел Михайлович Леонтьев* (1822—1874)— известный филолог и педагог. Занимал кафедру римской словесиости в Московском уииверситете. Активио участвовал в „Русском вестиике“ с самого его основания. Был соиздателем „Московских ведомостей“, где опубликовал огромиое количество передовых статей, преимуществеино по преобразованию учебиой системы. Леоитьев видел спасеиие от „язвы материализма“ исключительио в изучении древних классиков и иемало способствовал гимиазической реформе 1871 г.

[2] *...мои статьи о панславизме...*— статьи о греко-болгарской религиозной распре, в которой Леоитьев склонялся на сторону греков: „Панславизм и греки“ (Русский вестник. 1873. Кн. 2) и „Паиславизм на Афоие“ („Русский вестиик“. 1873. Ки. 4). Обе статьи подписаиы псевдоиимом Констаитииов.

40. Е. А. ОНУ

Март 1873 г., о. Халки [1]

⟨...⟩ А я тружусь; теперь мне надобно спешить: других средств к жизни нет теперь, кроме *пера*! Может быть, это принуждение и к лучшему: заставит по *нужде* больше сделать.

Я нанял себе целый отдельный домик, очень чистый

и какой-то провинциально наивный, à la Turca*; он высоко на горе, почти совсем особо, и я доволен им; нанял на год за 40 лир: так выгоднее и покойнее. Вот не найдется ли у Вас какой-нибудь мебели лишней дать мне *на время*, потому что сначала мне очень трудно будет устроиться. Ведь, переезжая в Буюк-Дере, Вы оставите что-нибудь в Пере [2]? Я постепенно сам все заведу, но именно в начале моего переселения (15—16 сентября) из гостиницы беспорядок и пустота в доме могут отозваться очень невыгодно на моих занятиях. Теперь спех, благо здоровье лучше, дом есть, Вестник [3] на все соглашается, и государственные люди даже наши, при всей их *недогадливости* начинают принимать меня за Кумани. Вот до глухого вести дошли!.. Т. е. до Стремоухова!.. [4] Бог знает, что эти люди думают!

Как бы то ни было, с практической точки зрения было бы жалко портить пустяками теперь обстоятельства, которые недурны. Между прочим, Вы (если Вы не слишком больны и утомлены, я ведь хорошенько не знаю) спросите у мужа Вашего, о чем я ему пишу, может быть, вместе с ним что-нибудь придумаете для того, чтобы Ваш приятель Леонтьев не стал *Сизифом* греческой мифологии, который осужден был выкатывать большой камень на вершину крутой горы, и всякий раз в ту минуту, когда он достигал вершины, этот камень падал опять вниз. Вы сами сказали мне раз, что я после стольких страданий имею право надеяться на роздых и улучшение моих дел. Это правда: я надеюсь на милость и покровительство Божией Матери, Которая жребием указала мне *два раза* путь в Константинополь, и до сих пор, по крайней мере *сравнительно с прежним*, мне надо радоваться. В Салониках я был лишен вовсе и здоровья, и литературной деятельности, и друзей, и религиозной обстановки. Здесь как-то страшно иногда за хлеб насущный, но все-таки я имею это *все*!

Буду надеяться, что Божия Матерь, Которая привела

---

* На турецкий манер (*фр.*).

меня сюда, внушит и друзьям моим справедливость и искреннюю охоту *поддержать камень Сизифа у самой вершины, хотя на минуту*.

Жалею, что я не монах, не священник и что не имею права, ни возможности благословить Вас от *глубины сердца*. Катаризм [5] Ваш есть Catarismus versatilis*, *минутное падение* простительно даже и Вашему уму.

Ваш *К. Леонтьев*.

Вы поймите одно, что прогресс просто *глуп и неостер*. Это главное. Это убийственный mauvais... genre**...

Впервые опубликовано в книге: Архимандрит Киприан. Из неизданных писем Константина Леонтьева. Париж, 1959, 14, 15.

[1] о. Халки — остров в окрестностях Константинополя.

[2] *Пера* — европейская часть Константинополя.

[3] *Вестник* — журнал „Русский вестник", где печатались произведения Леонтьева.

[4] Петр Николаевич *Стремоухов* (?—1885)— дипломат, директор Азиатского департамента министерства иностранных дел. По его протекции Леонтьев (через своего брата В. Н. Леонтьева) был принят на дипломатическую службу.

[5] Катаризм — то же, что пуризм, то есть излишняя строгость в соблюдении правил.

41. Е. А. ОНУ

до мая 1873 г.

Madame, ma très chère et bonne amie! C'est aves le plus grand regret que j'apprends que vous êtes toujours souffrante et alitée... Dites moi seulement que vous ferez une exception pour moi; que vous me recevrez dans votre chambre à coucher et

* Живой катаризм (*лат.*).
** Дурной тон (*фр.*).

j'abandonnerai mes occupations pour venir vous voir. Souvenez vous de ce que je suis *médecin*, si vous ne voulez pas vous souvenir de ce que je suis pour vous un *ami plus sincère et plus dévoué*, que toutes ces femelles que vous recevez, sans doute, sans facon...

En attendant votre reponce *verbale* (qui me suffit) je peux me permettre de vous parler un peu sérieusement.

Ecoutez, vous êtes souffrante. Souvenez vous *des signes de croix que vous avez faits* lorsque vos chevaux furent un peu trop fringants lors de notre promenade de voiture? Eh bien? Je trouve qu'à ce moment vous aviez bien *plus d'esprit* que lorsque vous vous aplatissez ignominieusement devant le réalisme.

Croyez moi, il y avait un temrs où ne pas croire à Dieu, pouvait véritablement être une espèce de prevue de haute intelligence; (égarée ou non, mais haute)... La sciense était *nouvelle*, elle était *jeune* alors, elle *promettait beaucoup*... Qu'a-t-elle tenu? Que nous a-t-elle donné, excepté des sujets pour satisfaire notre curiosité, sujets très attrayants, mais au fond fort vains?

Toute cette fameuse science n'est qu'un éclatant mirage entre deux abîmes sans fond, entre les premières *hypôtheses*, les *mystères* improuvables des pseudo-fondements scientifiques et entre l'abîme sans limites du *futur*, de toute espèce de futur, de l'avenir personnel et de l'avenir du *genre humain*.

Toutes ces sciences, nommées supérieures par cette école *positive* que professe la racaille contemporaine, sont fondées sur la *physique et la chimie*. Eh bien, sur quoi sont assises à leur tour ces deux sciences fondamentales? Sur le système (sur le mystère) des *atomes* que personne n'a vu et ne *peut jamais voir* d'après l'idée de la science elle même. L'atome n'a pas de *dimension*; c'est donc un *zéro*. Un zéro multiplié par mille *zéros* peut il donner une quantité positive? Un *rien*, une abstraction, une invention toute métaphysique des savants... cet atome (multipliez-le tant qu'il vous plait)— comment peut-il produire des corps *étendus*, *palpables*, *visibles*, *immenses* quelquefois?

Pourquoi, ma très chère amie, serait-ce un *mystère* moins *mystérieux* que le dogme de la S. Trinité, du péché originel et de la Redemrtion?

Il y a une différence cependant entre les deux mystères... Le prêtre *avoue* que la Trinité est une *mystère*, il s'incline et vous *propose sincèrement d'y croire*... Le professeur *assure* que les *atomes sont une vérité réelle. „Je sais!“*, vous dit-il. Lequel des deux est plus honnête ou plus consequent? Votre bonne petite tête genevoise n'a pas besoin de tout de développement pour le reste. Voilà l'abîme des *fondements*...

Quant à l'abîme du présent (que au fond n'existe pas et qui n'est qu'une *intersection* impalpable dy passé immobile et irrémédiable et du futur inconnu...), disons donc quant à l'abîme du *moment qui va suivre*... La science qu'a-t-elle fait de positif pour ce présent et cet avenir? Rien que des promesses de bien-être que *personne ne peut*...

Ainsi donc une foi, une croyance à l'inconnu, à l'eudémonisme enfin privé et publique. Un *mystère* pour commencer, beaucoup de fracas et de clinquants avec beaucoup de prose au milieu,— et une *croyance à l'inconnu comme but final*... Je ne vois pas que cela soit plus logique que le Christianisme. Non! On a plus d'esprit lorsqu'on prie Dieu que lorsqu'on admire un laquais comme celui que je ne veux pas nommer dans cette lettre sérieuse.

Chère Mdame Onou! Croyez moi — devenez chrétienne et vous serez retablie.

Lorsque je vous dis chrétienne, je veux dire *orthodoxe* sans doute. Vous êtes trop savante et trop pensante pour ne pas savoir vous-même qu un moine comme Luther qui a jeté son froc aux orties et qui a très illogiquement inventé une nouvelle religion, n'était pas consequent. Pensez-y vous même. Souvenez vous bien de vos lectures, de toute votre connaissance à vous...

Appelez tout doucement le père Smaragde. Les *détails* lui sont plus familiers qu'à moi. Et puis un essai... Madame, qui *sait*?.. Qu'y perdrez vous *en tout cas, si rien y est*? Rien. Qu'y gagnez vous, si vous êtes dans l'erreur? *Tout*... Pour votre

prompt retablissement, je vous reponds... J'y crois, j'y crois! Je le sais. Et voila pourquoi.

Je vous envoie une image de la Sainte Vierge „Утоли моя печали“. Je vous envoie aussi une petite livre „Акафист Божей Матери Утоли моя печали“ qu'un pauvre ermite du Mont Athos m'a donné en me rencontrant par hasard sur la route. Il me l'a donné en me voyant malade et abattu. Depuis lors je l'ai eu toujours sous mon chevet et je ne m'endors jamais sans lire au moins un passage de ce petit livre.

Je ne vous fait pas présent de cette image; *pour le moment c'est impossible*; croyez-moi que ce n'est que pour une personne d'élite comme vous que j'ai le courage de m'en séparer pour *quelque temps*. Ecoutez moi, *écoutez moi*, je vous dis. *Pendez cette image devant vous* pour qu'elle soit toujours à la portée de vos regards. Faite un effort sur vous pour lire le petit livre jusq'au bout une fois. Cela suffit. Vous verrez la poésie sublime de ce lyrisme chrétien. *Faites un effort* pour commencer. Je sais que vous l'ouvriez presque avec aversion... Mais je sais aussi que vous changerez d'idées et de goût dans quelques jours...

Cette image est une copie d'une image miraculeuse qui se trouve au Mont-Athos. *Je connais la force*... La Divinité, la Sainte Vierge et les saints ont deux manières d'agir sur un homme qui s'incline devant eux — une manière *instantanée* que l'on nomme miracle et dont j'ai fait moi méme une expérience éclatante au Mont-Athos; et une autre *naturelle et lente*, mais fort sensible pour un esprit attentif. C'est à dire en grouppant les circonstances ordinaires de la vie d'une façon profitable pour notre rétablissement moral et physigue. Vous en avez aussi un exemple sur moi. J'arrive à Cple dans un état déplorable, sans argent sans aucune chance pour mon avenir, avec une espèce de terreur inférieure qui me dévore presqu'à chaque instant, méme au milieu d'une conversation animée et qui semble être fort gaie; avec une santé abimée... Mais j'arrive dans cette capitale avec la ferme conviction que c'est Dieu qui l'a voulu, que c'est la Sainte Vierge qui a bénit ce voyage. Qu'arrive-t-il? La santé se rétablie, les amis sont aimables et hospitaliers,

l'argent *arrive toujours* au moment où je ne sais plus que faire. Tantôt c'est le Ministère qui me donne tout un tierçal (=„Tierçon") d'une manière inattendue, tantôt c'est le „Русский Вестник" qui envoie 1.000 roubles. Maintenant je n'ai que 10 livres turques, je ne sais ce que (je) mangerai dans ma nouvelle maison et ce que j'enverrai à ma femme pour le mois de mai... *Mais je ne crainds pas.* Je sais que l'argent viendra de quelque part: car Dieu le veut et il rendra les hommes plus intelligents qu'ils ne paraissent, peut-être, dans un moment de doute...

La santé s'est rétablie la *terreur est passée*, la femme a été tout bien que mal nourrie et habillée tout le temps, le „Русский Вестник" me fait des avances, Chalky me plait, mes articles ont du succès, j'écris beaucoup...

Voila ce que je nomme *disposer* les circonstances en notre faveur, la seconde façon d'agir. Quant aux miracle, je vous ai raconté ce qui m'est arrive au Mont-Athos avec mon *bras malade* et avec les *deux évangiles.*

Hélas! Dois-je vous l'avouer? J'ai peur... La crainte du *ridicule* peut-être? Un homme comme tout le monde, un Léontiew que nous connaissons tous, un vieux débauché qui se fait mystique lorsqu'il ne peut plus être débauché (on *peut toujours l'être,* Madame, on trouve *mille moyens* de l'être) se prend à faire l'apôtre de l'Orthodoxie... C'est terrible le ridicule, n'est ce pas.

Allons donc, Madame, allons donc! Je me trompe... *C'est vous; c'est à vous que je me adresse... A vous!*

Que la bénédiction de Dieu soit avec vous; quant à mes humbles et mauvaises prières, elles ne manqueront pas...

Il y a encore de bonnes maisons à Chalky qui ne sont pas louées. Qu'en dites vous, ou qu'en disent les médicins „*tou* cosmou toutou"?

Votre dévoué: *Léontiew.*

П е р е в о д :

Сударыня, драгоценнейший и добрейший друг мой! С величайшим сожалением узнал я, что Вы все еще больны и не встаете с постели... Но скажите мне только одно: Вы сделаете для меня исключение и примете у себя в спальне. Я оставлю все свои занятия ради того, чтобы видеть Вас. И если Вы забыли, что имеете во мне *друга более искреннего и более преданного*, чем все те женщины, которых Вы принимаете, конечно же, безо всяких церемоний, вспомните, что ведь я врач...

А пока, в ожидании Вашего устного ответа (которого мне вполне достаточно), можно поговорить о более важных предметах.

Так слушайте. Помните, как Вы *крестились* во время нашей прогулки в коляске, когда лошади вдруг понеслись с излишней резвостью? Ведь так? Мне кажется, тогда Вас нашлось *более* разума, чем когда Вы недостойно аспластываетесь перед материализмом.

Поверьте, если раньше отрицание Бога еще могло быть в какой-то мере свидетельством умственного превосходства (истинного или нет, но превосходства)... Наука была тогда *внове* и еще *молода*, она *много* обещала... Но что из этого вышло? Что дала она нам, кроме предметов для удовлетворения любопытства, весьма, правда, привлекательных, но, в сущности, призрачных?

Вся эта хваленая наука есть не что иное, как блестящий мираж между двумя безднами, между начальными *гипотезами*, непостижимыми *тайнами* псевдонаучных обоснований и бездной *будущего*, как личного, так и всего *рода человеческого*.

Все эти науки, называемые объединившимся в *позитивную* школу нынешним сбродом *высшими*, выводятся из *физики и химии*. Ну а на чем же основаны сами эти фундаментальные науки? На системе (на тайне) *атомов*, которых никто не видел и, согласно понятиям той же науки,

никогда не сможет увидеть. У атома нет *размеров*, следовательно, это всего лишь *нуль*. Один нуль, помноженный на тысячу *нулей*, может ли он дать вещественную величину? *Ничто*, абстракция, метафизическая выдумка ученых... этот атом (сколько бы мы его ни умножали) — как он может произвести *протяженные*, *осязаемые*, *видимые*, а иногда *огромные* тела?

Почему, дражайший мой друг, *тайна* сия менее *таинственна*, чем догмат о Св. Троице, первородном грехе и искуплении?

Впрочем, между этими двумя тайнами есть некоторая разница... Священник *признает*, что Троица *непостижима*, склоняется перед нею и искренно *предлагает вам верить этому*... Профессор же *утверждает*, будто *атомы суть реальная истина*. *„Я-то знаю!“* — говорит он вам. Кто же из них честнее и последовательнее? Полагаю, для Вашей умной женевской [1] головки уже не требуются дальнейшие рассуждения. Вот где погибельная бездна так называемых *основ*...

Что касается бездны настоящего (ка́ковое, в сущности, не существует, ибо есть лишь неосязаемое *пересечение застывшего и бесповоротного* прошлого и неизвестного будущего...), то лучше говорить о бездне *ближайшего времени*... ⟨...⟩

Итак, мы имеем веру в неизвестное, а в конце концов — личный и общественный эвдемонизм [2]. Вначале *тайна*, потом много треска и мишуры с изрядным количеством низменной прозы и, *в качестве конечной цели*, *вера в неизвестное*... Я не понимаю, чем это более логично, нежели христианство. Нет! Разумнее молиться Богу, чем восторгаться лакеем, которого я не хочу называть в этом серьезном письме.

Дорогая мадам Ону! Поверьте мне, сделавшись христианкой, Вы исцелитесь.

Когда я говорю „христианкой“, то, конечно же, подразумеваю *„православной“*. Вы достаточно образованны и разумны и способны сами понять, что такой монах, как

Лютер [3], выбросивший свою рясу и придумавший без всякого складу новую религию, не был последователен. Подумайте об этом сами. Припомните то, что вы читали, и все, что уже знаете...

Пригласите потихоньку о. Смарагда [4]. Он лучше знает *подробности*, чем я. И наконец, надо пробовать... Мадам, *кто знает?.. Во всяком случае, пусть даже в этом ничего и нет*, что Вы теряете? Ничего. А выигрыш, если вы избавитесь от заблуждения? Выигрыш дает *все*... И я ручаюсь за Ваше быстрое исцеление.. Я в это верю, верю! Но не только верю, но и знаю. И вот почему.

Посылаю Вам образ Пресвятой Девы „Утоли моя печали". Также посылаю маленькую книжечку „Акафист Божьей Матери Утоли моя печали", которую дал мне случайно встреченный на дороге нищий отшельник с Афонской Горы. Он отдал ее, видя меня больным и удрученным. С тех пор я всегда держал эту книжечку у своего изголовья и не засыпал, хотя бы немного не прочтя из нее.

Я не дарю Вам этот образ, *сейчас* это *невозможно*; поверьте, лишь ради таких избранных, как Вы, у меня достает смелости расстаться с ним на *некоторое время*. Послушайтесь меня, *послушайтесь меня*, говорю я Вам. Повесьте этот образ так, чтобы он всегда был перед Вашими глазами. *Заставьте* себя хотя бы один раз прочесть эту книжечку до конца. Этого достаточно. Вы увидите возвышенную поэзию христианского лиризма. Для начала *принудьте* себя. Я знаю, Вы откроете ее почти с отвращением... Но знаю и то, что через несколько дней мысли Ваши переменятся...

Эта икона — список с чудотворного образа, находящегося на Афонской Горе. *Я знаю ее силу*... Божество, Пресвятая Дева и святые могут двояко действовать на того, кто склоняется перед ними — мгновенно, что называется чудом и чему я сам имел разительное подтверждение на Афонской Горе, и *постепенно, естественным образом*, но весьма ощутительно для внимающего ума. Это делается таким сочета-

нием обыденных обстоятельств нашей жизни, чтобы они были благоприятны в нравственном и материальном отношении. Перед Вами мой пример. Я приехал в К⟨онстантинопо⟩ль в плачевном состоянии, без денег и без малейшей надежды на будущее, с ощущением того внутреннего ужаса, который не оставлял меня ни на минуту даже посреди оживленной и с виду веселой беседы; здоровье мое было подорвано... Но приехал я в эту столицу с твердым убеждением, что этого хочет Бог; Пресвятая Дева благословила мою поездку. И что происходит? Здоровье поправляется, появляются добрые и гостеприимные друзья, деньги *всегда находятся*, как только я оказываюсь в безнадежном положении. То совсем неожиданно получаю их от Министерства, то „Русский вестник" присылает 1000 рублей. Сейчас у меня всего 10 турецких фунтов, и я не знаю, что буду есть в новом моем доме и что пошлю жене на май месяц... *Но я не страшусь*. Я уверен, что откуда-нибудь деньги появятся, *ибо Бог того хочет* и потому сделает людей более разумными, чем они кажутся в минуту сомнения...

Здоровье восстановилось, *страх прошел*, жена худо-бедно, но одета и имеет пропитание, „Русский вестник" делает мне авансы, Халки пришлись мне по вкусу, статьи мои имеют успех, я много пишу...

Вот это я и называю *расположением* обстоятельств в мою пользу, то есть второй способ действия. Что касается чуда, то я уже рассказывал Вам о приключившемся с моей *больной рукой* и *двумя Евангелиями* на Афонской Горе.

Увы! Признаться ли Вам, что я испытываю страх?.. Может быть, это страх показаться *смешным*? Такой же человек, как все, этот известный всем Леонтьев, старый развратник, впавший в мистицизм, когда уже не может более грешить (но это *можно всегда*, сударыня, к тому находятся *тысячи способов*), начинает изображать собою апостола православия... Вот такая насмешка и вправду страшна. ⟨...⟩

Да благословит Вас Бог; что касается моих смиренных и недостойных молитв, они будут всегда...

В Халках есть еще не занятые хорошие дома. Что Вы скажете об этом. ⟨...⟩

Преданный Вам *Леонтьев.*

Впервые опубликовано в кн.: Архимандрит Киприан. Из неизданных писем Константина Леонтьева. Париж. 1959, С. 16—19.

[1] *...для вашей умной женевской головки...*— Предки Е. А. Ону были швейцарцы; возможно, она родилась в Женеве.

[2] *Эвдемонизм* — этическая теория, согласно которой поступки человека определяются только стремлением к удовольствиям и благам жизни.

[3] Мартин *Лютер* (1483—1546)— немецкий религиозный реформатор, основатель протестантизма.

[4] Отец *Смарагд* (Троицкий, 1836—1886)— настоятель посольской церкви в Константинополе.

42. АРХИМАНДРИТУ ЛЕОНИДУ

8 июля 1873 г., остров Халки
(близ Константинополя)

Ваше высокопреподобие, отец Леонид!

Может быть, припоминая по очереди имена тех русских чиновников на Востоке, с которыми Вы встречались в Константинопольском посольстве, Вы вспомните и меня — К. Леонтьева.

Я не раз в бытностью мою (в 1867 г.) в Константинополе имел счастье беседовать с Вами и поэтому решаюсь теперь обратиться к Вам не только за советом, но и с почтительнейшею просьбой войти по-христиански в мое нравственное положение и помочь мне.

Вот в чем дело: я желаю жить при монастыре в России, и особенно при одном из подмосковных.

Не стану теперь обременять Вас, высокопреподобный отец мой, длинною повестью тех событий, которые постепенно укрепили во мне это неизменное решение. Не забудьте, что я уже не молод (мне 42 года), и верьте, что решение это — плод почти трехлетних дум и испытаний. При свидании, в котором я, с Божьей помощью, не отчаиваюсь, объяснения собственно духовные и нравственные будут легче. Но здесь я скажу Вам только вот что: я оставил службу, имею шестьсот рублей пенсии и в ожидании отъезда моего в Россию живу в величайшем уединении на известном, вероятно, Вам острове Халки.

Перед отставкой моей я был около полутора года консулом в Солуне [1]. Уже я и там давно думал о монашестве, но одно неожиданное обстоятельство так поразило меня, что я поехал на Афон с намерением даже и тайно и не дожидаясь отставки постричься, если уговорю монахов. Наши русские монахи отговорили меня спешить, но я, состоя еще на службе, взял отпуск и прожил около года на Афоне, изучая монашескую жизнь и испытывая себя, и вот убедился, что на первый раз для меня нет ничего лучшего, как пожить при хорошей обители и под хорошим руководством — как бы это сказать — в виде постоянного полумирского поклонника. Отец Иероним [2] и отец Макарий [3], известные Вам духовники Руссики [4], говорили, что мне нужно духовное подчинение и вместе с тем некоторая телесная свобода, потому что я болезнен, слишком привык к независимости и к тому же занимаюсь литературой. В этом смысле афонская келия в лесу и зависимость духовная от старца-руководителя были бы как раз по мне для начала. Но оставаться на Афоне по многим причинам теперь было бы неудобно. Упомяну только о политических обстоятельствах. Вы не поверите, какую бурю и без того причинило в греческих и турецких газетах мое временное поклонничество на Святой Горе! Игнатьев почти вынудил меня уехать оттуда для успокоения умов. Мирские греки образованного класса все очень нерелигиозны; у них нет, как

у нас, ни пламенных нигилистов, ни пламенных православных, ни Нечаевых [5], желающих разрушить все общество, ни образованных дворян и богатых купцов, идущих в монахи. Где им (т. е. и грекам и болгарам одинаково) понять чувство русского человека, пресыщенного западною мудростью, не верующего во все прелести прогресса и его обещания; где им понять, что русский человек, которого они считают дипломатом и писателем, предпочитает в горе и болезни Афон Баден-Бадену! [6] ⟨...⟩

И вот я, в ожидании отъезда моего на родину, нанял домик на горе, в уединении, на о. Халки, и живу. Срок же моего отъезда зависит от окончания некоторых сочинений о Востоке для „Русского вестника". Быть может, я буду готов ехать этой осенью. Но куда? Уверяю Вас, отец мой, что мне отвратительно и страшно оставаться день один в гостинице, в многолюдном городе. Я желаю приехать прямо в Новый Иерусалим [7] или в другую подмосковную обитель, если Ваш ответ будет неблагоприятен. Не имея ответов от Вас или от другого игумена, я не знаю, решусь ли ехать! В Москве я не хочу быть и дня одного. Благословите ли Вы приехать прямо к Вам и поселиться в виде опыта?

Скажу еще два слова о моих обстоятельствах. Я женат, детей у меня нет, с женой я брачно не живу уже около трех лет, впрочем, мы согласны, и она от всего сердца старается теперь вступить на мой путь. Я имею от нее письменное дозволение на пострижение, она дала мне его для Афона, ибо, как Вы знаете, на Востоке этого достаточно; в России, я знаю, это иначе, вследствие бюрократической премудрости, но духовный смысл такая бумага будет иметь и у нас. О вещественном своем положении скажу следующее: у меня 600 рублей пенсии, которая, пока я явно не пострижен, неотъемлема; у меня в Калуге есть имение, которое дает от 800 до 1000 рублей дохода; редакция „Русского вестника" платит мне круглым числом около 1800 рублей сер⟨ебром⟩ в год, а по возвращении моем в Россию,

вероятно, и больше даст. Литературные мои труды последнего времени благословлены духовниками. Если, с Божьей помощью, я пристрою жену при каком-нибудь женском монастыре, то имение хочу обратить как-нибудь на ту обитель, которая меня приютит. Вот все, что имел сказать. Буду, батюшка, ждать Вашего ответа и старческого благословения.

Остаюсь с глубочайшим почтением Вашего высокопреподобия покорный слуга и послушник *К. Леонтьев.*

Впервые опубликовано в журнале „Русское обозрение". 1893. Сентябрь. С. 319—323.

Архимандрит Леонид (Лев Александрович Кавелин, 1822—1893)— двоюродный брат историка К. Д. Кавелина. Приобрел известность трудами по археологии и истории. Был настоятелем посольской церкви в Константинополе. В 1874 г. управлял богатейшим Ново-Иерусалимским монастырем под Москвой. Перед самой смертью Леонтьева Леонид, бывший тогда наместником Троице-Сергиевой лавры, не разрешил Леонтьеву, уже принявшему тайный постриг, поселиться в Лавре. „Он не особенно благоволил к моему другу,— вспоминал Губастов.— Леонид был человек властный, мелочный и обидчивый" (Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 223).

[1] *Солунь* — Салоники, город в Греции.

[2] *Отец Иероним* (Иоанникий Павлович Соломенцов, 1803—1885)— духовник и старец русского монастыря св. Пантелеймона на Афоне. Происходил из мелких старооскольских купцов. Лично знавший его К. Н. Леонтьев писал о нем: „Это был не только инок высокой жизни, это был человек более чем замечательный. Не мне признавать его святым — это право Церкви, а не частного лица, но я назову его прямо *великим* человеком с великой думою и *необычайным* умом ⟨...⟩; не получивши почти никакого образования, он чтением развил свой сильный природный ум и до способности понимать прекрасно самые отвлеченные богословские сочинения, и до умения проникаться в удалении своем всеми самыми живыми современными интересами. Твердый, непоколебимый, бесстрашный и предприимчивый; смелый и осторожный в одно и то же время; глубокий идеалист и деловой донельзя; физически столь же

сильный, как и духовно; собою еще и в преклонные годы поразительно красивый, отец Иероним без труда подчинял себе людей, и даже я замечал, что на тех, которые сами были выше умственно и нравственно, он влиял еще сильнее, чем на людей обыкновенных" (Гражданин, 1889, 17 июля).

[3] *Отец Макарий* (Михаил Иванович Сушкин, 1821—1889)— архимандрит русского монастыря св. Пантелеймона на Афоне. Происходил из богатых тульских купцов. Значительно поднял благосостояние обители, построил несколько новых храмов. Был весьма популярен среди простого народа в России. К. Н. Леонтьев оставил воспоминания о нем, где, в частности, писал: „Это был великий, истинный подвижник и телесный и духовный, достойный древних времен монашества и вместе с тем вполне современный, живой, привлекательный, скажу даже, в некоторых случаях почти светский человек в самом хорошем смысле этого слова, т. е. с виду изящный, любезный, веселый и общительный" (Гражданин, 1889, 12 июля).

[4] *Руссик* — обиходное название русского монастыря св. Пантелеймона на Афоне.

[5] Сергей Геннадиевич *Нечаев* (1847—1882)— революционер-экстремист. По образованию учитель. В своей деятельности руководствовался тем принципом, что цель оправдывает любые средства. В 1869 г. участвовал в убийстве члена своей организации студента И. И. Иванова. Бежал в Швейцарию, но был выдан русским властям. В январе 1873 г. приговорен к 20 годам каторжных работ. Умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Процесс Нечаева послужил Достоевскому документальной основой для романа „Бесы".

[6] *Баден-Баден* — фешенебельный курорт в южной Германии.

[7] *Новый Иерусалим* — Истринский Воскресенский монастырь в Звенигородском уезде Московской губ. Основан патриархом Никоном в 1656 г. Главный собор представляет собой подобие Иерусалимского храма.

43. П. М. ЛЕОНТЬЕВУ

20 декабря 1873 г., остров Халки
(близ Константинополя)

Милостивый государь Павел Михайлович,
прошу вас не медлить более ответом на мое большое письмо и решить его судьбу. На днях Игнатьев уезжает в Петербург на свадьбу великой княжны [1]. Именно пока он будет в Петербурге, мне бы хотелось знать, что меня ожидает. Ибо если Вы не захотите или не можете устроить меня сносно в Москве или под Москвою, мне остается одно — возвратиться на службу и опять, опять забросить свои литературные занятия. Это будет для меня ужасно, и если бы я не был связан некоторыми обстоятельствами, я бы лучше сейчас же уехал бы жить на Афон, чем возвращаться на службу. Там молитва и общество стольких людей, сходных со мною по убеждениям и вкусам. Только бы хоть сколько-нибудь утешить и поддержать меня в том справедливом отчаянии, в которое я, поверьте, имею право иногда впадать, видевши, как вяло идут мои литературные дела, несмотря на всю добросовестность мою, на искренность, на страсть мою даже!.. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ИРЛИ).

[1] ...на свадьбу великой княжны.— Имеется в виду бракосочетание второй дочери Александра II великой княжны Марии Александровны (1853—1920) и герцога Эдинбургского Альфреда Эрнеста Альберта.

44. НЕИЗВЕСТНОМУ

(Н. А. Любимову? [1] 1863—1873 гг.)

⟨...⟩ К тому же не надо забывать, что мы не знаем, до какой степени реально все существующее. Что точнее математики и физики. А в математике — геометрия начинается

мечтательной мыслью — точка есть пространство без всякого протяжения в длину, ширину и глубину, потом — линия есть движение этой мечтательной единицы: линия имеет только длину... А физика вся основана на атомах, которых не только никто не видел, но и видеть не может никогда, ибо они не имеют протяжения. Как же это так? Частицы, не имеющие протяжения, совокупляясь, образуют кусок мела или дом, которые имеют протяжения? Да если у них нет протяжения, так сложи их хоть триллионы триллионов, все-таки не выйдет тело, имеющее протяжение в длину и глубину?! Вот она вся наука наша. Надо ее знать, но не для того, чтобы поклоняться ей, а для того, чтобы стать выше ее, стряхнуть с себя ее иго. Надо ее знать теперь и для того, чтобы иметь оружие против всех этих господ, которые хотят обратить мир в сеть железных дорог и убить в нем все горячее: религию, страсти, роскошь, с одной стороны, верующее нищенство с другой, славу, войну и всю прелесть случайностей, которые хоть пугают и губят иногда человека, но зато поощряют в нем все силы духа.

Умеренные прогрессисты, вроде Альбертини [2], Дудышкина и т. п. (а их теперь везде тысячи, и во Франции, и в Англии, и даже здесь, в Турции!) хуже революционеров и нигилистов. Эти, во-первых, лично выше, они подвергаются опасности казни, ссылки, бедности и светло и не пошло служат своему пошлому идеалу, в котором будет много чистоты, но ни малейшей музыки. Музыка жизнию рождается, сменою боли и наслаждения, и все поэтическое выходит или из грязного народа, или из изящной аристократической крови.

Умеренные прогрессисты опаснее революционеров; эти последние, если им дать возможность, крайностями пробудили бы такую вспышку религиозности и охранительных чувств, что после недолго бы достало всего этого; а умеренные либералы подстегивают мир постепенно ядом материальной пользы. У католиков уже предполагают ввести

в церкви какое-то дешевое искусственное масло (huile de Petiole) вместо деревянного для лампадок, но, слава Богу, духовенство не согласилось! 〈...〉

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] Николай Алексеевич Любимов (1830—1897)— профессор физики Московского университета. Сотрудничал в „Русском вестнике" и „Московских ведомостях" (в 1866 г.— временный редактор). Много занимался проблемой университетского образования. Способствовал введению нового университетского устава 1884 г.

[2] Николай Викентьевич *Альбертини* (1826—1890)— публицист умеренно-либерального направления. Сотрудничал в „Отечественных записках" и „Голосе". Подвергался административным преследованиям (6 лет ссылки в Архангельской губ.).

45. К. А. ГУБАСТОВУ

4 ноября 1874 г.,
Николо-Угрешский монастырь [1]

Наконец, добрый мой Губастов, я у пристани! Монастырь красив, архимандрит ко мне очень милостив, келия опрятна и просторна. Я уже брат Константин, а не К. Н. Леонтьев. Писать мне не запрещают, но я надеюсь, что с Божией помощью и от этой дурной привычки я постепенно отстану. Я долго Вам не писал... Я был сверх сил обременен в одно и то же время заботами о завтрашнем дне, тяжкими для меня сношениями с Катковым, хлопотами по банкам, нотариусами, мировыми судьями, расчетами с братьями, старыми недугами, сожалением и заботами о судьбе бедной жены, спешными литературными делами, горестью при виде опустошения родного имения и стольких близких могил, и при всем этом духовные потребности жили своим чередом. Вы можете себе представить, сколько

нужно было бодрости и мужества, чтобы причалить к пристани при таких обстоятельствах!

Теперь я захотел написать Вам и проститься с Вами. Передайте то же всем моим цареградским друзьям и приятельницам. Я всех их помню и люблю.

Время, которое я провел в Константинополе, мне будет памятно с самой хорошей стороны. Я говорю себе: Бог делает все к лучшему! Если бы мне пришлось уходить в монастырь из такого общества, как наше посольское, то было бы все-таки жалко и тяжело, а когда видел сперва в течение первого месяца свою разоренную и немую уже для сердца деревню, а потом два последние месяца разных непривлекательных лиц, то всякий монастырь и помимо духовных побуждений, а только эстетически покажется прелестью.

Я до того обрадовался, что устроил почти все, что мог, и уехал сюда, до того дорогой задумался, что проехал лишних две-три станции к Рязани, заплатил штраф и вернулся сюда с большим трудом. Вот и все.

О литературе ничего не буду писать. Что Бог даст... Кланяйтесь, кланяйтесь много всем. Ону, который не отвечает и мад⟨ам⟩ Ону, и Хитровым [2], и Нелидовым [3], и Мурузи [4], и молодым людям всем... ⟨...⟩

Ну, прощайте! Кто знает, может быть монахом еще раз буду на Востоке. От всей души желаю, чтобы Вы не оставляли дипломатии и Востока. Верьте — все остальное ужасно гадко. Только монастыри и хороши! ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале „Русское обозрение", 1894, сентябрь, с. 364.

[1] *Николо-Угрешский монастырь* — в 15 верстах от Москвы. Основан Дмитрием Донским по возвращении с Куликовской битвы.

[2] *Хитровы* — М. А. Хитрово и его жена С. П. Хитрово.

[3] *Нелидовы* — советник посольства в Константинополе Александр Иванович Нелидов и его жена Ольга Дмитриевна, урожденная княжна Хилкова.

[4] Александр Константинович *Мурузи* (1842—?)— дипломат, один из чиновников русского посольства в Константинополе.

46. ГРАФУ Н. П. ИГНАТЬЕВУ

6 ноября 1874 г.,
Николо-Угрешский монастырь

⟨...⟩ На этой неделе Господь, вняв, наконец, моим молитвам сподобил меня быть принятым в число братии Николо-Угрешского монастыря под Москвой, и о. Архимандрит Пимен [1]— настоятель наш — милостив и снисходителен ко мне вовсе не по заслугам моим, ибо в мои года, как Вы знаете, уже и трудно стать хорошим иноком; слишком сучьев много наросло, которые обрубать надо!

⟨...⟩ Надо при этом взять в расчет некоторые обстоятельства, очень неблагоприятные теперь в России для литературы вообще. Человек хорошего направления нынче нелегко находит себе место в печати. Это не ко мне одному относится. Погодин [2] говорил мне, что негде печатать; он же говорил мне, что Аксаков [3] плачет иногда, когда один. „Русский вестник" загроможден просто материалом, ибо он единственный в России журнал, в котором может печатать человек не демократического, не революционного, не буржуазно-либерального духа. „Гражданин" [4] мал и, кажется, небогат. „Русский мир" [5] хорошего направления, но газета, а я пишу более крупные вещи. Остальные почти все зараза. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] О. *Пимен* (Петр Дмитриевич Мясников, 1810—1880)— происходил из купцов. Автор „Воспоминаний" (М., 1877).

[2] Михаил Петрович *Погодин* (1800—1875)— русский историк и публицист славянофильского направления. Профессор Московского университета, учитель С. М. Соловьева.

[3] *Аксаков* — И. С. Аксаков. В это время ему была запрещена издательская деятельность.

[4] *„Гражданин“* — политическая и литературная газета-журнал (1872—1914), основана в Петербурге кн. В. П. Мещерским. В „Гражданине“ сотрудничали Ф. М. Достоевский, К. П. Победоносцев, Н. Н. Страхов, Н. С. Лесков, Ф. И. Тютчев.

[5] *„Русский мир“* — ежедневная умеренно консервативная газета, выходившая в Петербурге с 1871 по 1880 г. Основателем ее был известный славянофил генерал М. Г. Черняев. С конца 70-х гг. направление газеты в связи с переменой владельца резко изменилось.

47. К. А. ГУБАСТОВУ

15 января 1875 г., Москва

⟨...⟩ Здоровье мое прекрасно. Но... impotentia virilis* — слава Богу, установилась прочно!

Очень рад и считаю это благодатью Господней. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале „Русское обозрение“. 1894. Сентябрь. С. 365.

48. К. А. ГУБАСТОВУ

15 апреля 1875 г., Москва

⟨...⟩ К тому же Россия оригинальна тем, что в ней всего можно ожидать наихудшего, когда дело идет о высшей культуре. Наш утилитаризм начинает далеко превосходить европейский, ибо корни идеальной культуры были у нас моложе и слабее, и их оказалось прогрессу легче вырвать,

---

* Мужское бессилие (*лат.*).

чем на Западе, где идеальные потребности религии, поэзии, рыцарства и т. п. накопились за тысячу лет. ⟨...⟩

Жена и Маша [1] были здесь после Вас; пробыли три дня, и я был рад их видеть; они теперь мирны в общем горе и общей нужде, хоть Маша, конечно, без капризов и дурных манер теперь обойтись не может. Они меня ждут теперь в Кудиново пить кумыс. Да и брату [2] мы, посоветовавшись с дельцами, в соглашении отказали и он, кажется, начинает тяжбу. Присутствие мое необходимо там, около Калуги, хоть на одну часть лета. Хотя почти все адвокаты говорят, что мы правее и выиграем, но не надо себя и ласкать надеждами; вдруг проиграем еще половину Кудинова! Тогда уже и хлеба там на 4-х человек недостанет. ⟨...⟩

А что касается до уныния и тоски, то они при плохих делах по литературе везде — и на Афоне, и в Кудинове, и на Угреше были. Менее всего, однако, в Халках и Пере не только потому, что я думал: вот-вот напечатают. Но еще и потому, что сама жизнь в Царьграде меня более всякой другой жизни удовлетворяет; там есть все: для церковных чувств, для общих потребностей, для мысли и т. д. Только в Царьграде я жил настоящим; ей-Богу так! Только в Царьграде я чувствовал себя на своем месте, на всех других местах я чувствовал себя временно, и Вы сами хорошо знаете, что из всех других мест я уезжал с радостью и только из Царьграда с сожалением и досадой, что нельзя тут окончить жизнь. Кроме дружбы [нрзб], кроме общества в моем вкусе (не хамского), кроме вообще обстановки, я, как кошка к дому привязывается, привязался к посольству. Люблю Франческо, Евангели, дворы и сады, фонари и шелест деревьев во дворе, люблю игнатьевские рауты и обеды, уважаю Семирамиду, дружен с горничными Ону, переношу даже прическу мадам Белоцерковец и грацию Сухотиной [3]. И на солнце есть пятна! ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] *Маша* — племянница Леонтьева, Мария Владимировна Леонтьева

(1848—1927), дочь В. Н. Леонтьева. Все важнейшие события внутренней и внешней жизни Леонтьева, его писательство и идейные искания неразрывно связаны с ней. Под псевдонимом „Русская женщина" опубликовала статью „Женщина — женщине о новой книге" (Свет. 1886. № 91) о книге Леонтьева „Восток, Россия и славянство". В 1869—1873 гг. по нескольку месяцев жила в доме Леонтьева в Янине и Салониках.

[2] *...брату...*— Имеется в виду Александр Николаевич Леонтьев (годы жизни неизвестны), офицер, выведен в неизданном автобиографическом романе Леонтьева „От осени до осени" под именем Алексея как кутила и развратник, подобие армейского Ноздрева. В 1875 г. Леонтьев записал о нем в своих воспоминаниях: „...он стал седым и гадким стариком... всегда без места, без денег, иногда полупьяный, всюду презираемый порядочными людьми..." (Лит. наследство. Т. 22—24, М., 1935. С. 470).

[3] *Франческо, Евангели... Семирамида... мадам Белоцерковец... Сухотина* — неустановленные лица, связанные, по всей очевидности, с русским посольством в Константинополе.

49. Е. А. ОНУ

15 июля 1875 г., Кудиново

Il y a des siècles que je n'entends plus vôtre bonne voix, mon excellente ?? amie ??

S'il ne s'agissait que de moi, que de l'ami seul — il n'y aurait pas 4 points d'interrogation. Mais il s'agit de Vous, de l'amie, par consequent il y a 4 points d'interrogation. 1 point. Vous êtes femme c.à.d. épouse, mère et coquette en même temps... Voila bien des raisons d'être pour oublier un ami. 2 point. Vous aviez vos raisons personelles pour être très mécontente de moi et quoique plus que la moitié de ces raisons ont été réfutées par moi, en partie en personne de Mr. Jomini sur votre *cher escalier* (cher pour moi, pour mon souvenir!); en partie en tête-à-tête dans votre chambre à coucher; quoique l'autre moitié de vos accusations ont été reconnues justes par

mon humilité, et la sincérité de mon repentir (à propos de la jalousie de confesseur)— devrait faire rayer tout cela de votre mémoire (de la mémoire de coeur- c.à.d.)... Qui sait cependant, si la rancune... 3 point. *Mon long silence.* Ce silence ne prouve rien... L'été passé encore, à peine arrivé ici, j'ai écrit à votre mari une lettre très longue. Onou ne m'a pas repondu. Je ne lui en veux nullement pour cela: il m'a prouvé quarante fois son amitié sincère et solide; il s'empressait de m'écrire lorsqu'il s'agissait d'une affaire ou de mes intérêts matériels; et je comprends qu'un homme occupé et souvent fatigué comme lui se trouve dispensé de soutenir une correspondence purement sentimentale même avec un homme auquel il porte pourtant un vif intérêt... ⟨...⟩

Ma santé ne va ni bien, ni mal. Je suis à Koudinowo pour trois ou 4 mois; pour faire une cure de кумыс qui vient d'être terminée et je ne puis pas dire si elle m'a fait du bien on non. Il y a aussi des comptes à regler avec des banques de Kalouga. Je ne m'ennuis pas; je prie Dieu (moins que je ne devrais le faire, sans doute, mais j'espère; j'ai institué ici des prières en commun le matin et le soir); j'écris; notre société est assez nombreuse pour le moment, malgré notre dénuement: ma femme, ma nièce Marie (elle a vieilli énormement), une démoiselle voisine qui vient lui aider dans son petit ménage et par dessus le marché la mère de ma femme et sa soeur cadette sont venues de la Crimée pour la voir. Nous ne pouvons pas payer des domestiques et toutes ces dames travaillent et servent l'une l'autre assez angéliquement. Je tache d'y mettre bon ordre. Voila, chère amie, mon existence provisoire. Au mois d'août je les quitte pour aller passer l'hiver à Оптина пустынь qui est à 60 verestes de nous. Chez moi je continue à porter l'habit de moine lorsque je suis forcé de sortir autrement mis, et je porte une поддевка noire et fort longue, а не хамское платье.

Одиссей печатается в „Русском Вестнике".

Перевод:

Тысячу лет не слышал я Вашего доброго голоса, мой дражайший ?? *друг* ??

Если бы это касалось только меня — не было бы сих четырех вопросительных знаков. Но речь идет о Вас, и появляются 4 вопросительных знака. 1-й знак. Вы женщина, следовательно, супруга, мать и кокетка одновременно... Вот уже достаточные причины, чтобы забыть своего друга. 2-й знак. У Вас есть личные резоны быть недовольной мною, и хотя больше половины этих резонов мною опровергнуты, частью в лице г-на Жомини на Вашей *милой лесенке* (милой для меня и моей памяти!), частью с глазу на глаз в Вашей спальне; вторая половина Ваших обвинений признана мною, недостойным, справедливою, и искренность моего раскаяния (касательно ревности духовника) должна была бы изгладить все это из Вашей памяти (т. е. из памяти сердца)... И все-таки, кто знает, может быть, злопамятство... 3-й знак. *Мое долгое молчание.* Но это молчание ничего не доказывает... Еще прошлым летом, едва приехав сюда, я написал Вашему мужу весьма пространное письмо. Ону ничего мне не ответил. Я нимало за это на него не сержусь: сорок раз он мне уже доказывал свою прочную и искреннюю дружбу и не медлил, если речь шла о деле или вещественных моих интересах; мне понятно, что занятый человек, к тому же утомленный, как он, не может поддерживать чисто дружескую переписку даже с человеком, вызывающим у него чувство живого интереса... ⟨...⟩

Здоровье мое ни хорошо, ни дурно. Уже три или 4 месяца, как я в Кудинове ради лечения кумысом, которое уже кончилось, но я не могу сказать, лучше мне от него или нет. Кроме того, надо уладить дела с калужскими банками. Я не скучаю, молюсь Богу (не так много, как нужно, но я не теряю надежду, я учредил здесь совместные молитвы утром и вечером); я пишу; общество наше пока довольно многочисленно, несмотря на нашу бедность: моя жена,

племянница Мария (она ужасно состарилась), одна соседская барышня [1], которая приходит помогать ей в ее небольшом хозяйстве, и сверх того приехавшие из Крыма мать моей жены и ее младшая сестра. Мы не можем держать прислугу, поэтому эти дамы работают и с ангельским терпением помогают друг другу. Я же стараюсь поддерживать должный порядок. Таково, дорогой друг, мое теперешнее, как я полагаю, временное существование. В августе я уеду отсюда, чтобы провести зиму в Оптиной Пустыни, в 60 верстах от нас. У себя дома я продолжаю носить монашеское одеяние, а когда по необходимости надобно выходить в другом платье, надеваю черную и очень длинную поддевку, а не хамское платье.

„Одиссей" печатается в „Русском вестнике".

Впервые опубликовано в кн.: Архимандрит Киприан. Из неизданных писем Константина Леонтьева. Париж, 1959. С. 20—21.

[1] *...соседская барышня...*— Людмила Раевская, близкая приятельница Леонтьева.

50. КНЯЗЮ К. Д. ГАГАРИНУ

16 июля 1875 г., Кудиново

⟨...⟩ Кроме всех тех качеств личных, которые я нахожу в Вас и в княгине Вашей [1], кроме Вашего ко мне расположения, вы оба с женой приносите с собою какой-то отдаленный луч Востока Турции, воспоминание, иногда и полусознательное, той жизни, которую я до сих пор оплакиваю и к которой никогда, вероятно, уже не вернусь. Вот Вам мои искренние чувства! Не будете ли Вы свободны хоть на три дня в половине августа? Если будете и если правда, что Вы теперь одни, а княгиня опять у сестры Вашей [2], приезжайте ко мне в Кудиново на эти два-три дня. Природа у нас недурна и комфорта на такое короткое время найдется

достаточно. Я сочту это не только радостью, но и честью... Вы знаете мое мандаринское и con amore* чинопочитание. Я буду ужасно рад другу Гагарину и в то же время буду ужасно важничать, что, мол, знай наших, сам вице-губернатор у нас гостит. И все это освежит, конечно. Право, попробуйте. Я говорю, после 15-го августа, потому что Успенским постом я буду говеть в Оптиной Пустыни и опять, причастившись, вернусь в Кудиново, где, вероятно, и пробуду с Божьей помощью до глубокой осени. Что я буду делать позднее — это как Богу угодно. Мне бы хотелось навсегда устроиться так — зиму в Оптиной Пустыни, лето у себя в деревне. Я приехал сюда из Угрешского монастыря в мае, чтобы пить кумыс (который я и пил с месяц, хотя он у нас и не совсем удался). Я даже по вольности дворянства продолжаю носить монашеский подрясник, а для тех выездов, при которых уже вовсе нельзя себе этого позволить, сшил себе черную поддевку чуть не до пят длиною, чтобы больше походить на инока, чем на европейского хама-буржуа. Разве дурно это сочетание: миряне относительно церкви [желающие?— *Д. С.*] подражать ей, и гордость противу всех тех холуйских ненавистных рож, которых вздумали нынче нам предлагать в идеал. 〈...〉

Вы спросите, вероятно, как и почему я попал опять совсем в мир, в свое Кудиново, в общество женщин, которых теперь около меня множество, ибо к жене моей из Крыма приехали на время гостить мать и сестра? Причина, я Вам скажу откровенно, какая. В Угреше я старался исполнять все, как мог, но не мог никак приучить себя к слишком уж грубой и простой будничной пище в общей трапезе, а покупать свое было в январе и феврале вовсе не на что; я до того ослабел от голода и заболел Великим постом от какой-то нервной одышки, что сам архимандрит

---

* С любовью (*лат.*).

Угрешский благословил меня пожить на воле в деревне, а осенью вернуться, если хочу, в монастырь.

О литературе моей я не буду Вам ничего писать... Что писать, когда все идет плохо. Когда пойдет лучше, Вы сами в печати увидите и тогда-таки говорить будет излишне. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

Кн. Константин Дмитриевич Гагарин — государственный деятель, калужский губернатор, товарищ министра внутренних дел в министерстве гр. Д. А. Толстого.

[1] *...княгине Вашей.* — См. примеч. к письму 173.

[2] *...у сестры Вашей* — неустановленное лицо.

51. Н. Н. СТРАХОВУ

16 июля 1875 г., Кудиново

Я здесь получил Ваше письмо, дорогой Николай Николаевич; мне его переслали из Угрешского монастыря только на прошлой неделе... Я очень ослабел и заболел от лишений в монастыре и уехал сюда, в свое маленькое именьице, подкрепиться до осени. Осенью думаю опять в какой-нибудь монастырь. Долго без церкви и молитвы — я быть не могу, и на меня слишком часто в мирской обстановке находит нестерпимый ужас смерти и тоска. (Дорого бы я дал — чтобы наверное узнать,— что Вы в самом деле думаете об этих вещах... Неужели Вы остановились на Православии в культурном смысле для других и на интимном пантеизме для себя? В сущности, я не имею никакого права предлагать Вам подобные вопросы. Я их предлагаю и не Вам, а себе; Вам же я признаюсь только, что ужасно желал бы забраться на минуту в серое вещество Вашего обширного, судя по фотографиям, мозга или даже еще дальше, в какой-нибудь Ваш вартолиев мост..![1]) Я же,

грешный, смирился, перестал верить вовсе в ум и рассудок наш (не в мой только, а в человеческий) и убежден теперь вот уже 4-й год, после некоторых событий, что „начало Премудрости есть страх Божий"... Именно страх и трепет, ибо если Богу угодно, то Аверкиев[2] и Стахеев[3] (которые Вас так восхищают, я полагаю, в минуту некоторых неведомых процессов в вартолиевом каком-нибудь мосту) достанут Вам⟨?⟩, а кого Бог изберет себе мучеником, тому придется только удивляться, придется, соображая обстоятельства, ломать себе голову: в чем же дело, наконец?.. И не понявши ничего, видя, что здравым рассудком нельзя объяснить себе своих несчастий и неудач, придется воскликнуть: „Есть нечто, ведущее жизнь нашу помимо всякой видимой, житейской правды и помимо всякого так называемого здравого смысла..." Ну, оставим это — и так понятно!

По-настоящему, мне бы не следовало более писать для печати, не по бессилию, не по усталости, не по недостатку содержания, а из отречения, из борьбы и из самобичевания за прежние слишком сладострастные строчки и цинизм моих повестей и романов из русской жизни...

Под влиянием подобного чувства я в 71 году перед отъездом на Афон сжег 5 частей „Реки времен", которую Вы знали, и думал, что, кроме духовных и, пожалуй, политических статей (да разве одной большой повести, в которой я бы представил историю моего обращения), уже не буду ничего писать... Но что же? Я ли виноват, что мои „Восточные повести" находят всегда более или менее верный сбыт, а другие мои сочинения лежат по году в редакциях (напр⟨имер⟩, „Письма русского мирянина"[4], которые, как я слышал, и Вы читали,— валяются в „Гражданине", кажется, более полугода, несмотря на то, что князь Мещерский[5] сказал, что он непременно хоть частью их украсит (это его слова) свой журнал, столь прекрасный по духу и столь плачевный большею частию по подробностям выполнения). Рад бы забыть все эротическое и не писать об этом вовсе, но что делать... У меня пенсии 600 рублей,

именье, заложенное и перезаложенное, дает всего около 200 рубл⟨ей⟩ (!) в год, у меня 7000 долгу и в том числе и людям бедным, недуги беспрестанные, и на эти 800 рублей нас содержится четверо. И в монастыре с нашими привычками надо хоть 50 рублей в месяц, хоть 30, хоть 20, наконец,— а где их взять? Поневоле не бросаешь повестей, не для себя, а для других они нужны! ⟨...⟩

Теперь о фонде[6]. Благодарю Вас за хлопоты. Бестужеву напишу тоже. Но я очень рад, что это дело расстроилось; я терпеть не могу всех этих Кислых Клейстеров современных учреждений... Все эти юбилеи во фраках, университетские обеды, фонды и т. п. И, конечно, только по пословице „С лихой собаки хоть шерсти клок" я решился на это униженье... Я был весною вынужден безвыходным положением. Со мной был молодой грек-слуга, который убивался по родине и даже не раз руки на себя наложить хотел; я ему должен был уплатить 150 руб⟨лей⟩ жалованья и на дорогу, и не было ни гроша, и я не знал, где взять (Каткову я не по моей, а по его вине задолжал 4000 рубл⟨ей⟩, а теперь „Одиссей"[7], который печатается в „Вестнике", едва-едва, я думаю, 1500 рубл⟨ей⟩ покроет). Вот почему, не для себя, я решил обратиться к этому фонду. Ибо я терпеть не могу и презираю всех бедных и нуждающихся литераторов и ученых, но себя 1-го в том числе. Что может быть гаже! Приехавши в деревню свою, я придумал продать около сотни дедовских лип в саду и отправил грека.

Еще можно было бы принять, если бы г. г. этого Фонда обрадовались бы, что я обратился к ним, и прислали бы мне сейчас, не рассуждая о моей пенсии, 500 рублей, например, а если они еще толкуют, так... сказал бы я здесь вещь выразительную, но обеты не позволяют... Вы поняли, что значат мои точки? ⟨...⟩

Вместо того, чтобы писать о таких пустяках, как Стахеев, написали бы Вы по поводу „Карениной" большую статью, исследовав [нрзб.] о том, что со времен индусов, евреев и Гомера для поэзии необходимы в жизни религия,

война и нравы, ибо даже для нарушения правил романтическими страстями необходимы эти правила. Без поэзии правил нет и поэзии нарушения. Поэтому и аристократия необходима, а тот средний быт честной и сухой деятельности, к которому хотят все свести, есть смерть поэзии. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГПБ).

[1] *Вартолиев мост* — часть мозгового ствола, входящая в состав заднего мозга.

[2] Дмитрий Васильевич *Аверкиев* (1836—1905)— писатель консервативного направления. В своих произведениях идеализировал русскую старину и патриархальный был. Об отношениях Леонтьева и Аверкиева свидетельствует дарственная надпись на статье Леонтьева о романах Л. Н. Толстого „Анализ, стиль и веяние“: „Сердечно уважаемому и дорогому Дмит⟨рию⟩ Вас⟨ильевичу⟩ Аверкиеву от сочинителя (которого он несказанно утешил тем, что в своем „Дневнике Писат⟨еля⟩“ назвал его язык прекрасным или безукоризненно-чистым — не помню в точности). За это я стою и на это претендую, об остальном в произведениях моих судить сам не могу. В судьбе нашей много общего.

Ручей два древа разделяет,
Но ветви их сплетясь растут.

Опт⟨ина⟩ П⟨устынь⟩. 1891. ⟨...⟩ (Печать и революция, 1921, № 8—9. С. 119).

[3] Дмитрий Иванович *Стахеев* (1840—1918)— писатель. Был редактором журнала „Нива“, а также „Русского мира“ и „Русского вестника“. Н. Н. Страхов с большим сочувствием относился к его произведениям.

[4] „*Письма русского мирянина*“.— Сведений об этой работе К. Н. Леонтьева не обнаружено.

[5] Кн. Владимир Петрович *Мещерский* (1839—1914)— публицист и беллетрист консервативного направления. Внук Н. М. Карамзина. Был близок к Александру III в бытность его наследником. Писал сатирические романы из великосветской жизни.

[6] *Фонд* — Литературный фонд, имевший официальное название Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Основан в Петербурге А. В. Дружининым в 1859 г. Существовал до 1918 г.

[7] „*Одиссей*"— повесть К. Н. Леонтьева „Воспоминания Одиссея Полихрониадеса, загорского грека". Печаталась в журнале „Русский вестник" (1875. Кн. 6—8; 1876. Кн. 1—3).

52. К. А. ГУБАСТОВУ

12 августа 1875 г., Кудиново

⟨...⟩ Помимо того удовольствия, которое может доставить сердцу моему расположение, заслуженное мною в константинопольском посольстве, я люблю самую жизнь этого посольства, его интересы, мне родственны там все занятия, и в среде этого общества очень мало есть лиц, о которых я вспоминаю без удовольствия, приязни (и гораздо больше даже!) и благодарности. Я люблю самый город, острова, греков, турок... все люблю там, и будьте уверены, что я ежедневно терзаюсь мыслию о том, что не могу придумать средства переселиться туда навсегда. Ни Москва, ни Петербург, ни Кудиново, ни самая выгодная должность, где попало, ни даже монастырь самый хороший не могут удовлетворить меня так, как Константинополь! Лучше бедность на Босфоре, чем богатство здесь... Да это и понятно: только разнообразная жизнь Константинополя (где есть и отшельники на о. Халки, в лесу, и гостиная Игнатьевых, и политическая жизнь, и поздняя обедня, и бесконечный материал для литературы...), только эта сложная жизнь могла удовлетворить моим нестерпимо сложным потребностям... С отчаянием я вижу, что Богу не угодно, видно, удостоить меня возвратиться туда. Только там я понимаю, что живу: в других местах я только смиренно покоряюсь и учусь насильственно благодарить Бога за боль и скуку. Понимаете Вы меня по-прежнему или нет! ⟨...⟩

Осень близка, здоровье мое недурно, в Кудинове я поправился. Лиза решительно не хотела здесь жить, скуча-

ла (и я понимаю, что она с своей точки зрения права!) и уехала к родным в Крым на какие-то деньги, которые ей мать достала. (Она права, но содержать ее вдали дороже, чем здесь. Удержать я ее не мог; она убежала тихонько днем через сад и рощу и написала записку, что жить тут не может.)

Я тоже начинаю ужасно тосковать, по мере приближения осени, пора в столицу! Недавно говел в Оптиной Пустыни [1] (в 60 верстах от нас); ее старцы славятся наравне с афонскими. Они очень расположены ко мне и, изучивши как характер мой, так и мои обстоятельства, находят, что мне еще надо продолжать заниматься литературой. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале „Русское обозрение". 1894. Сентябрь. С. 366.

[1] *Оптина Пустынь* — Оптина Введенская Макариева Пустынь, монастырь в Козельском уезде Калужской губ. По преданию, основан в XIV в. разбойником Оптою (в иночестве Макарием). В XIX в. привлекал массу паломников. Для бесед со старцем о. Амвросием сюда приезжали Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Влад. Соловьев и Л. Н. Толстой.

53. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

19 сентября 1875 г., Кудиново

⟨...⟩ Ваша вторая пьеса и по задаче, и по изяществу, и по объему всем лучше и гораздо выше первой. Она, сверх того, и оригинальна, ибо уклоняется от того серого, ядовито-скучного пути отрицания и насмешки, который в наше время стал уже давно наскучать лучшей части публики. Все люди поумнее и поразвитее (даже и те из них, которые лично несчастливы) давно находят, что жизнь гораздо лучше, чем литература последнего периода (лучше не в том смысле, что она приятнее, покойнее, чем та, которую лет

уже 20 и более описывает реальная школа, но в том, что она изящнее, глубже, поэтичнее, красивее, если хотите!). ⟨...⟩

Если (человек.— *Д. С.*) имеет истинное признание, не только цензура, но и равнодушие публики и несправедливость критики не охладят его, и рано или поздно он создаст хоть одну классическую вещь. Разве Вы не знаете, что Грибоедов не видал даже славы своей? Мало ли что он был посланником, он к хорошему положению в обществе был смолоду привычен, и его этим удивить было трудно. Но все литературные опыты его до „Горя от ума", которое было допущено на сцену после его трагической смерти, были неудачны. А я? Разве я хулю Тургенева за то, что он утвердил меня на этой дороге, за то, что он говаривал в 50-х годах: „Только от Льва Толстого и от этого юноши (указывая на меня) я жду нового слова"?

И он был прав, и я сказал ему — скажу еще гораздо больше. Помешать этому никто, кроме Бога, не может. Если Бог отнимет у меня завтра жизнь, здоровье, разум, тогда, конечно, я уже не исполню ничего больше. А старик Аксаков [1], которому было 70 с лишком лет, когда он написал свою классическую вещь „Семейная хроника"? Примеров, друг мой, много, и унывать Вам с Вашей энергией вовсе бы не шло ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГЛМ).

Николай Яковлевич Соловьев (1845—1898)— драматург. Учился в Московском университете, но, по бедности, не закончил курса и занялся учительством в одном из глухих уголков Калужской губ. Случайная встреча с К. Н. Леонтьевым (по всей вероятности, в Николо-Угрешском монастыре под Москвой) оказалась решающей в его жизни. Прочтя „Женитьбу Белугина", Леонтьев первым понял его талант и сблизил Соловьева с А. Н. Островским, который принял участие в окончательной отделке этой и некоторых других драм Соловьева. Многие пьесы Соловьева с успехом ставились в столичных театрах. Последние годы жизни он провел в деревне, сильно нуждаясь. Леонтьев написал о Соловьеве

статью „Новый драматический писатель Н. Я. Соловьев“ (Русский вестник. 1879. № 12).

[1] *...старик Аксаков...*— Сергей Тимофеевич Аксаков (1791—1859), писатель и театральный критик, мемуарист. Автор произведений „Семейная хроника“, „Детские годы Багрова внука“ и др. Отец К. С. и И. С. Аксаковых. Как и сыновья, держался славянофильских взглядов. Был близким другом Н. В. Гоголя, об отношениях с которым написал книгу „История моего знакомства с Гоголем“ (1854).

54. К. А. ГУБАСТОВУ

1 октября 1875 г.,
Мещовский монастырь св. Георгия [1]

Добрый, добрый, добрый мой Константин Аркадьевич! Я в этом монастыре на неделю, а, может быть, и больше, если деньги позволят. Приехал помолиться, попоститься, познакомиться с монахами и погрустить как-нибудь на новый манер (а то в Кудинове и все приятное, и все неприятное слишком уж правильно и однообразно).

Это всего 35 верст от Кудинова. Монастырь бедный, скромный, малолюдный, но игумен в нем прекрасный, ученик знаменитой Козельско-Оптинской пустыни, в полверсте от Мещовска; гостиница маленькая, новенькая, в русском простом вкусе — очаровательная! И вот, под влиянием уединения и какого-то сердечного тихого умиления, я сажусь вечером писать Вам это письмо ⟨...⟩

Меня сокрушает одно теперь (да и то днями), это чрезмерный покой и мирное однообразие нашей кудиновской жизни. Есть дни и часы, в которые я задыхаюсь, в другие — ничего ⟨...⟩. Материальное положение мое в Кудинове более чем сносно. Жизнь наша проста и обходится очень недорого (рубл⟨ей⟩ пятьдесят в месяц, а иногда и менее). Мы с Марьей Владимировной [2] сумели отстоять от братьев [3] это убежище. Сад наш велик, тенист, живопи-

сен, хотя фруктов уже в нем нет, как было лет 10—20 тому назад; рощи невелики, но прекрасны (а через десять лет они будут тысяч пять-семь стоить на сруб).

У нас, как в скиту, три маленьких флигеля особо, один — мой, другой — для девиц, а третий — столовая. Все они убраны так, что, верно, понравились бы Вам. Есть несколько коров, собака даже и у нее щенок, есть и кошки, но лошадей нет; фаэтончик очень покойный, много хороших книг, еще от матери и брата оставшихся. Есть по соседству церковь помолиться. Мы постимся по уставу, часто ездим к обедне, бывают у нас и дома заказные всенощные. У нас, при всей скудости наших средств, есть еще, слава Богу, возможность содержать трех-четырех старых дворовых на пенсии кой-какой, завещанной матерью, и иногда купить лекарство бедному человеку. Крестьяне соседние вспомнили меня и ходят ко мне лечиться. Другой бы помирился на этом навсегда, особенно когда есть близко монастыри... а я не могу! Не в том дело, что положение материальное несносно, а в том, что несносны люди в наших столицах, что они недостаточно честны в литературе. Если бы люди были честнее, мне бы не нужно было самому ездить в столицы... 〈...〉

Но спросите у меня исповеди сердца моего — и я скажу Вам, что все тоскую, все тоскую везде. Меня по-прежнему, как на Босфоре [4], оживляют только две вещи: монахи и церковь, когда служба не через силу мою, и вот еще гостиная очень хорошая, как в посольстве была, как у Неклюдовых [5], у Трубецкой [6], у Гагарина [7] (в Калуге). Да простит мне Бог! В таких местах во мне воскресает все. А в Кудинове нет ни церкви, ни такой гостиной, нет ни о. Иеронима или хоть бы халкинских или московских монахов, нет ни Софьи Петровны [8], ни madame Ону, ни кн. Трубецкой, ни тех иностранцев, которые на игнатьевских раутах находили, что я лицом похож на государственного преступника, долго бывшего в Сибири... Как было весело тогда! На Халках тишина, греки, монахи в сосновом лесу,

свобода писать, сколько хочу. Прелестный вид, надежда на согласие какое-нибудь с этой бедной моей Лизой... А в Посольстве — поздняя обедня, русская, хорошая, барская такая (прости мне, Господи!)... Вы, Ваши веселые товарищи, наши умные, красивые, нарядные дамы... Добрая княгиня... Ваше кресло у широкого окна, кофе мой, волшебный вид на Босфор и на синие острова, где был мой дом, где я выздоровел, где я мечтал, трудился и молился так искренно и усердно и не один, а с этой женщиной [9], которая к душе моей, как ребенок к чреву матери, приросла какой-то кровной пуповиной... Она сама оторвалась теперь на свободу от моего любимого деспотизма, она дала мне покой, и сама (пишет оттуда) весела и покойна пока. Я рад, что ее нет и что мне меньше забот и меньше раздражения, ибо она здесь все лето была вне себя, то от беспутной, преувеличенной веселости, то от тоски по крымской родине, то внезапной ненависти ко всем моим родным, которых она прежде любила больше своих (она, Вы знаете, почти всеми близкими моими принята была как нельзя радушнее, и слуги даже у нас любят ее). Она говорила мне этим летом со слезами: „Ты мне стал чужой, я хочу в Крым, к своим, мне наскучили ваши стеснения, мне скучно с вами здесь; с тобой одним мне быть теперь также неприятно, ты хочешь одного, а я хочу другого; мне твои монашеские вкусы противны! Что мне делать, прости мне...“ и т. д.

И я, конечно, простил ей, я рад, что ей весело там, я молю ежедневно только Бога, чтобы она перед Ним каялась, а передо мной никогда! То есть чтобы она никогда ко мне более не возвращалась, и я ей это написал и прекратил переписку, посылаю только деньги, что могу, и то с великою нуждою.

Вы понимаете все или не совсем? Вообразите себя любящим отцом, и Вы меня поймете. Ваш сын может сокрушать и оскорблять Вас ежедневно, Вы утомитесь наконец, Вы рады, что его около Вас нет, но ужасное воспоминание об этом оторванном от сердца сыне, об этой

отчасти и по Вашим грехам разрушенной любви, не пройдет никогда. И вот тут-то дорого было бы общество умное, живое, блестящее, где бы забывались такие раны, общество, которое бы больше светило, чем грело. Такое общество, такая жизнь была на Босфоре. В Кудинове же — иной мир, здесь иное общество, оно исполнено любви, самоотвержения, дружбы ко мне, но оно не светит и не возбуждает! Мое общество Вы знаете какое: Марья Владимировна и та другая девушка — соседка, дочь одного помещика, которая ушла от матери прошлую зиму и поселилась у нас. Ей 24 года, она очень мила: оригинальна, хитра, необыкновенно тверда и решительна, поет прекрасно русские песни, иностранные языки не знает, прекрасная хозяйка и меня без ума любит. Она трудится, шьет, гладит сама. Она выучивает наизусть молитвы и целые псалмы, только чтобы мне угодить и понравиться. Она с утра и до вечера только и думает, чтобы ничто материальное меня не потревожило и не помешало бы моим занятиям. Теперь у нас горничная Лиза (Вы ведь ее помните?) вернулась к нам, но ее целый год не было, она поссорилась с Машей, а теперь покаялась и вернулась. Теперь она стучится в 8 часов в дверь моего флигеля, она мне варит рано кофей. А пока ее не было, вообразите, эта молодая девушка все лето вставала рано, чтобы варить мне кофей, стучалась в дверь рано и потом просиживала, пригорюнившись, на крыльце целый час в ожидании, когда я встану и оденусь и отдерну занавеску на окне и пущу ее с кофеем. И это она считала счастьем! И теперь бы считала, если бы я не запретил ей так трудиться, когда есть горничная. Из-за чего же все это? Из-за улыбки, из-за отеческой ласки изредка, из-за шуток и дружбы, ибо больше я и не могу ей дать и не хочу по теперешним правилам моим, но лицом нравится она мне очень, в нее влюблены другие люди, и если бы не Бог и твердая решимость сначала не дать ни себе, ни ей воли, конечно, соблазн был бы велик. Я и теперь, помня уроки старцев, которые говорят, что даже они не застрахованы

вполне от всякого падения, ежеминутно слежу за собой. Конечно, теперь это легче, чем в былом времени! Она находит, что лучше так жить и смотреть на меня, чем быть замужем.

Вы спросите, что же Маша при этом. Марья Владимировна стала, слава Богу, гораздо больше мать Манефа, чем я брат Константин. Она если и ревнует иногда, то скорее меня к ней, чем ее ко мне! То есть она ее любит больше, чем меня теперь, и иногда завидует и плачет о том, что та больше думает обо мне, чем об ней. Но без каких-нибудь вспышек Марья Владимировна долго прожить не может. Потом она кается, идет пешком на богомолье, просит меня наказать ее как-нибудь и успокаивается на несколько времени, когда я ей докажу, что все она виновата.

Обе они, и Маша, и эта девушка (ее зовут Людмила [10]), только и думают, как бы мне было лучше, а для самих себя желают только одного, чтобы я был доволен ими. Маша занимается арендами, порубками, спорит с мужиками, поит их водкой, ведет весь расход, переписывает мне, читает утром и вечером громко общие молитвы, обязана читать „Московские ведомости“ и указывать мне, что есть особенного (как Феоктистов у Государя [11] одно время).

Людмила шьет, обед заказывает, всей провизией занимается; ей тоже много дела сверх того, когда я скажу: „Людмила, пой песню!“ — она поет. „Людмила, поедем в Герцеговину [12]“ — она говорит: „Поедем“ и т. д.

Понимаете? А я все-таки задыхаюсь и все рвусь мечтою то к Вам, на Босфор, то в Герцеговину или Белград, то в Москву и в Петербург, и мне иногда очень тяжело в этой тишине и в этом мире.

Оттого я и сюда помолиться приехал на неделю, чтобы заглушить эту тоску по жизни и блестящей борьбе. Именно заглушить ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале „Русское обозрение“. 1894. Сентябрь. С. 367—369.

[1] Мещовский монастырь св. Георгия — монастырь в г. Мещовске Калужской губ.

[2] *Марья Владимировна* — племянница К. Н. Леонтьева М. В. Леонтьева.

[3] *...отстоять от братьев...*— Речь идет о разделе наследства после смерти Ф. П. Леонтьевой.

[4] *Босфор* — пролив, соединяющий Черное море с Мраморным, на берегу которого стоит Константинополь.

[5] Василий Сергеевич *Неклюдов* (1818—1880)— камергер, действительный тайный советник, сотрудник „Русского вестника". Написал сочувственный отзыв о повестях Леонтьева (Московские ведомости, 1876, 24 апр., № 100).

[6] Надежда Борисовна *Трубецкая* — княгиня, урожденная княж. Четвертинская (1815— нач. 1900-х гг.)— патронесса многих благотворительных обществ и учреждений. Пользовалась большим влиянием в высшем московском обществе.

[7] *Гагарин* — кн. Константин Дмитриевич Гагарин.

[8]*...Софья Петровна...*— С. П. Хитрово, урожденная Бахметева (1848—1910). Племянница С. А. Толстой, жены гр. А. К. Толстого. Жена М. А. Хитрово. Ей посвящены любовные стихотворения Владимира Соловьева. К. Н. Леонтьев писал, что в ней „соединены изумительно лейб-гусарский юнкер и английская леди, мать и супруга, японское полудетское личико и царственная поступь, злость и самая милая грация, восхитительное косноязычие и ясный, твердый ум". (Лит. наследство. Т. 22—24, М., 1935. С. 435).

[9]*...с этой женщиной...*— Имеется в виду жена К. Н. Леонтьева Е. П. Леонтьева.

[10] *Людмила* — Людмила Осиповна Раевская.

[11] *...у Государя...*— то есть у императора Александра II.

[12] *Герцеговина* — бывшая сербская провинция Турецкой империи на побережье Адриатического моря.

55. Н. Н. СТРАХОВУ

Октябрь 1875 г., Кудиново

⟨...⟩ ...Когда я жил вдали, в Турции,— я жил прекрасно, приятно, разнообразно, не по-европейски, наконец — эта жизнь была полезна мне, и удаление это было приятно. Но сколько ни имей жизни в уме, сколько ни гори огня священного в сердце — надо отзывы... хотя бы и не всегда справедливые... нужна критика. Критика обусловливает часто будущую деятельность автора. Назло ей или в угоду, но он берет ее в расчет неизбежно. Вот что помешало мне сделать больше, порицание мне было полезнее молчания друзей, ничем, кроме великоруссизма в другом его смысле, не объяснимого. Вот что, милый и добрый мой друг! Молчание убивало меня, и если все-таки не убило, так уж это [нрзб.] честь или Богу слава!

Вы говорите об отречении, о суете... Вы думаете, что одно самолюбие заставляло меня желать отзывов? Вы ошибаетесь. Я честолюбив, быть может, даже и тщеславен, но не в искусстве — в нем я чист. А то, что Вы говорите о знатоках и о публике, душа моя, верьте, это не так! Публика блудница гнусная и легкомысленная, развязная дура. Знатоки должны ее, негодную, учить тому, что они сами понимают, а не ждать от нее чего-то путного. Белинский учил ее, Лессинг [1] учил ее, Ап. Григорьев вечно ей противоречил... А иначе, я боюсь, лучшие и даровитые из вас и самые независимые слишком поддались влиянию общества, которое всегда не что иное, как собирательная бездарность (см. Дж. Ст. Милля). В критике не похвал только я искал бы, а подстрекательства и умного суда, под влиянием которого я мог бы меняться плодотворно... ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГПБ). Датировано по тексту.

[1] Готхольд Эфраим *Лессинг* (1729—1781)— немецкий писатель, публицист, философ, разрабатывавший проблемы эстетики. Гуманист-просветитель.

56. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

19 апреля 1876 г., Москва

Добрейший мой Николай Яковлевич, предоставляю Вам полное право осуждать меня в сердце Вашем за то, что я не посетил Вас в больнице. Вы будете совершенно правы, если Вы назовете это эгоизмом старческим или малодушием, но я решительно в больницу не пойду и не поеду.

Вам, слава Богу, лучше; у Островского [1], Вы видите, я сделал все, что мог. Он, по-видимому, решился и так сделать для Вас все, что может, чего же большего пока на первый раз Вам желать? Я за Вас очень рад. Главное, существенное все сделано. Он возьмет Вас к себе в деревню; местность за Волгой прекрасная, полудикая, протекция авторитета, обеспеченность на все лето, свобода и сверх того обещание Островского не оставить Вас без места осенью. На что Вам я — в тифозном воздухе? Вам эта жертва моя немного прибавит. Это роскошь нравственная побеседовать по душе, и этого удовольствия я Вам не доставлю. Простите мне мою прямоту и мой эгоизм. Я очень рад за Вас сближению Вашему с Островским; рад тому, что он поможет Вам усовершенствовать форму Ваших произведений, улучшить сценические приемы Ваши, отучит употреблять такие семинарские выражения, как дуэтировать, планировать (их никогда не употребляют светские люди) и т. п. Но, сознаюсь откровенно и между нами, я несколько боюсь за направление идей Ваших. Все мы люди, все мы человеки! В Островском в самом есть нечто, что слишком сродно Вашему прежнему направлению, Вашей демократической гордости, Вашей теории: право на жизнь и т. п. Он все-таки, несмотря на весь поэтический дар свой, несколько нигилист. Он ненавидит монашество, не понимает вовсе прелести и поэзии православия, не любит, видимо, с другой стороны, изящного барства; одним словом, сам он лично и как художник очень известен, но по строю мыслей, по

философским, так сказать, и политическим сочувствиям он принадлежит, видимо, к тому выдохшемуся направлению, на которое Вы сами нападали у меня в номере так справедливо и зло. Вот на что я, любя Ваш талант и мечтая о Вашей будущности, считаю долгом Вам указать. А Вы как знаете, только оставьте раз навсегда мысль юношескую, что можете прожить без влияний. Пушкин подчинялся им невольно. А если уж это необходимо, то Вы и идеально, и практически больше выиграете, если подчинитесь влиянию Островского со стороны формы, а меня будете помнить хоть немного со стороны духа и направления. Философски и политически он не развит. 〈...〉

Прочтите, пожалуйста, Белинского о Пушкине и Лермонтове; вот человек, который сам был скромным тружеником и притесненным бедняком, но умел всей душой ценить лейб-гусарство Лермонтова и светскость Пушкина. Вот объективность! Вот сила ума! Вот беспристрастие! Вот и Н. Н. Страхов такой же! За что я его уважаю, хотя Н. Н. Страхов против меня лично...

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ). Частично опубликовано в журнале „Русская литература". 1960. № 3. С. 89.

[1] *Островский* — Александр Николаевич Островский (1823—1886)— классик русской драматургии.

[2] ...в деревню...— в имение А. Н. Островского Щелыково Кинешемского уезда Костромской губ.

57. К. А. ГУБАСТОВУ

24 мая 1876 г., Кудиново

Душечка Вы наш, Константин Аркадьевич, вчера мы получили Ваше письмо. Мы и без него уже предвидели, что Вам Игнатьев[1] не даст заехать в Кудиново, в котором теперь мир и тишина, и зелень, и птички, и лень сладчай-

шая, и... сердечные, таинственные бури... (от которых не знаю, когда избавит нас Бог!) Мы с Машей, друг мой, ужас как Вас ждали. Маша купила гуся, уток даже, чтобы пища не только Ваша, но и наша в те праздничные для нас дни, в которые Вы были бы здесь, стала бы разнообразнее. Я собирался убрать цветами то кресло из красного дерева, которое за синей занавеской... Маша выбежала раз, услышав колокольчик, увидавши тройку за воротами, и бросилась к гостю. Она думала, что это Вы. Оказалось, что это не Вы, а молодой князь Оболенский (сын декабриста) [2].

Людмила Раевская сшила себе 2 красных кумачных рубашки и хорошенький сарафанчик, чтобы петь и плясать перед Вами по-деревенски и, вообще, чтобы не посрамить земли Русской перед подобным Вам дипломатом и, так сказать, сочувственным эстетиком; и все напрасно! Гуся и уток мы одни съели, поливая их слезами, как блины на поминках.

Оболенскому от барышень пришлось солоно за то, что он осмелился приехать вместо Вас. Кресло цветами не убрано. На Людмилу любуюсь лишь я, да и то с постоянной мучительной мыслью, что именно мне-то и не следует любоваться.

Но что делать! Мы верим Вашему искреннему желанию побывать у нас, верьте и Вы нашему сожалению.

Турецкие дела... Что о них сказать? Мы долго вчера о них говорили с Машей. Мне кажется, что при таком недостатке рук, как теперь в Царьграде, меня возьмут туда охотно. Я говорю, в Царьград, ибо Вы знаете, что в других городах хоть и [нрзб.], но только на Босфоре я не боюсь ни тоски, ни лихорадки. Я был вскоре по приезде в Оптиной Пустыни именно для того, чтобы услышать слово духовника об этом предмете. Когда я сказал, что меня ужасно мучает совесть, что я обобрал почти людей, которые мне как консулу и хорошему человеку доверились, и еще, что и против Министерства, которое было всегда ко мне очень милостиво, мне не хотелось бы быть низким и осрамить его,

заставив за консула заплатить. Когда я сказал все это, прибавив, что это все разум, а по сердцу и по литературным делам мне лучше теперь Кудиново, Оптина Пустынь и Москва, то духовник сказал мне: „Поезжайте хоть на три года, и Бог поможет опекой, возвратитесь с пенсией и уплатите долги".

Что Вы скажете? Посондируйте Николая Павловича [3]... От страха сарацинского я, не знаю почему, благодарение Богу, как-то свободен. Может быть, это издали только, Бог знает! Гордиться никому не советую, на бедного Ив. Ав-ча Иванова [4] нападать не надо. Но мне кажется все-таки, что 1/2 суток на пароходе и холера хуже всяких сарацинских изуверств.

Поэтому не волнения умов в Турции, конечно, заставляют меня действовать не совсем решительно, а другие соображения и чувства. Вы сами знаете, как сложны и вещественные мои обстоятельства, и душевные потребности мои. Последним может удовлетворить только Царьград. Там на людях и смерть была бы краснее, чем в консульстве, где даже и при волнениях мне будет скучно. Вообще же мне ехать вовсе не хочется; только что пригрелся тут и очень был бы рад, как я уже сказал, делить свое время между Кудиновом, Оптиной и Москвою (изредка), но боюсь от нерадения потерять и так жить возможность. Дохода вовсе верного нет. Вот почему по благословению духовника я прошу Вас поговорить с Николаем Павловичем и еще с кем нужно; столько умных и влиятельных людей, чтобы не могли бы меня устроить на Босфоре сносно и удобно хоть для уплаты долгов — это невероятно, особенно теперь, когда всем так нужны помощники! Марья Владимировна очень охотно-таки едет со мной. Она о турках и не думает и гораздо больше боится Катерины Лепидовны [5] и других посольских дам, чем турок. А ее письменною помощью для второстепенных вещей тоже не шутите; она способна ужасно много и чисто писать 〈...〉

Молодцы все-таки турки, право! (Не говорите только

этого никому, а то места мне не дадут за туркофильство — это серьезно я говорю Вам.) ⟨...⟩

Удивляюсь сербам, чего они медлят объявить войну! Как они не поймут, что самый большой риск их — это австрийское занятие. Ну — займут. Они и утихнут. Только и больше ничего. А если занять австрийцам не удастся вследствие изменившихся условий, то они могут ужасно много выиграть. Это я говорю, Вы знаете, не по особому сочувствию сербам и не по ненависти к Турции. А потому, что, видевши как в Турции идет все хуже и хуже, как все само собою рушится, я начинаю желать европейской войны.

Что-нибудь одно — или утвердить с некоторыми реформами власть Мурада V-го [6], или кончить все. А кончить все хорошо (т. е. в русском смысле) может скорее европейская война, даже не особенно победоносная для нас, чем эта язва конференций! Я понимаю и уважаю конференции вот в каком смысле: утвердить власть султана общими усилиями до тех пор, пока можно будет заменить ее властью нашей на Босфоре. А конференции для разрешения вопроса советом, т. е. для удаления турок и для замены их какой-нибудь международной мерзостью и на Босфоре — это ужасно! И тогда последняя надежда на историческую роль России погаснет; все перейдет в руки того среднего человека, того [нрзб.] европейца, которым, между прочим, был и несносный Jules Moulin! [7] ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] *...Игнатьев...* — русский посол в Константинополе гр. Н. П. Игнатьев.

[2] *...молодой князь Оболенский (сын декабриста)* — Иван Евгеньевич Оболенский (1856—1880), сын декабриста Евгения Петровича Оболенского.

[3] *Николай Павлович* — гр. Н. П. Игнатьев.

[4] *Ив. Ав-ч Иванов* — неустановленное лицо, возможно, один из чиновников русского посольства в Константиiополе.

[5] *Катерина Лепидовна* — неустановленное лицо.

[6] Мурад V (1840—1904)— турецкий султан, симпатизировавший европейскому просвещению и склонный к реформам. Свергнут 31 августа 1876 г.

[7] *Jules Moulin* — неустановленное лицо.

58. К. А. ГУБАСТОВУ

3 июля 1876 г., Кудиново

⟨...⟩ Так как я уже имею благословение оптинских старцев возвратиться на время на Восток, то в случае отъезда Хитрова [1], хотя бы тучи и были густы на политическом горизонте, спешите прямо приступать (с помощью Ону и Нелидова [2], вероятно) к Ник⟨олаю⟩ Павл⟨овичу⟩, чтобы назначили меня управлять Генер⟨альным⟩ К⟨онсульст⟩вом [3]. Вы понимаете, что если бы я прослужил до войны [4] хоть 2 месяца, то все-таки это очень выгодно, ибо и во время войны будет какой-нибудь оклад. Мне не нужно объяснять Вам, что Вы этим сделаете добро не мне одному, а и Марье Владимировне, например, которой ровно нечем будет существовать и в миру, и даже в монастыре, если я буду в 77 году без места. Потому что с будущего года оброк кончится, и имение будет давать только 400 рублей аренды, и надо в банк по крайней мере 300 % в год! Я не говорю уже о делах моих, которые чем дальше, тем больше шокируют мою совесть, ни о том, что и кроме Марьи Владимировны есть много ни в чем не повинных людей, которые имеют основания желать моей поправки для собственных выгод. Хотя бы старые дворовые, живущие на пенсии и которых нам нечем тогда будет содержать. Это очень больно! Литература все-таки вещь неверная, и необходимость ездить для нее в столицы требует 2/3 заработка ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] *Хитров* — М. А. Хитрово.

[2] Александр Иванович *Нелидов* (1835—1910)— дипломат. В 1874 г. был советником посольства в Константинополе. Впоследствии посол там же.

[3] *Генер*⟨альным⟩ *К*⟨онсульст⟩*вом* — Генеральным консульством в Константинополе.

[4] *...до войны...*— Имеется в виду сербско-турецкая война, начавшаяся в июне 1876 г., в которой Сербия потерпела поражение, что послужило причиной Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

59. К. А. ГУБАСТОВУ

5 декабря 1876 г., Москва

⟨...⟩ Кажется, что для меня все живое кончено... Все вокруг меня тает. Марья Владимировна этим летом дошла до геркулесовых столпов безумия, несправедливости и нравственного расстройства. И сама, разумеется, понимая это очень искренно и глубоко, уехала из Кудинова с клятвой на образе не возвращаться, пока я ее сам не приглашу. Пожила с месяц в белевском монастыре [1], поговела потом у оптинских Старцев и с их благословения поехала к матери искать места.

Хотя такого исхода я не ожидал, но она до того подготовила меня исподволь ко всему непостижимым поведением, что я почувствовал при ее отъезде несравненно менее потрясения, чем при бегстве бедной Лизы [2]. Все-таки ведь их по симпатичности и теплоте и сравнивать невозможно. Когда Лиза меня бросила, я был два месяца так печален, что запретил имя ее в Кудинове произносить, пока не пройдет боль моего сердца. А когда Марья Владимировна уехала, то я, кроме радости, не чувствовал ничего! Радовался, что уже не видал перед собой ее худого лица, ее узких плеч, не слыхал больше ее резкого голоса и т. д. Должно быть, так надо, от всего отвыкать и всего лишаться постепенно.

Лиза потеряла мать и очень добродушно кается и пишет мне хорошие письма. Просится в Кудиново, но я советую ей оставаться там и обещаю съездить лучше к ней повидаться в Мариуполь.

А та бырышня [3] пока смотрит за Кудиновом. К весне же, чтобы не быть вместе со мной, она вернется, по моему настоянию, домой.

Итак, две ушли сами, а ту, которая всех покойнее, всех тверже, всех послушнее, всех моложе, всех нетребовательнее и теперь всех милее сердцу, я должен принести в жертву на алтарь православного отречения. Впрочем, не думайте, что я тоскую или рвусь; я как-то тихо и благодушно скучаю — больше ничего. Ждать больше нечего, оплакивать нечего, ибо все уже оплакано давно, восхищаться нечем, а терять? Что??? ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале „Русское обозрение", 1894, Ноябрь. С. 387—390.

[1] *...в белевском монастыре...*— то есть расположением в городе Белеве, или Белевском уезде Тульской губ.

[2] *Лиза* — Е. П. Леонтьева.

[3] *...та барышня...*— Людмила Раевская.

60. Е. А. ОНУ

7 декабря 1876 г., Москва

Как Ваше здоровье теперь, Лизавета Александровна? Как идет Алекторофия [1]? Вы знаете, что я Ваших детей люблю не за то только, что они принадлежат Вам и моему доброму Ону, но и за то, что они сами по себе очень милы.

Хотя я знаю, что Вы никогда не соберетесь ответить мне, но я все-таки спрашиваю об Вас и об детях Ваших — кто знает, может быть, и ответите!

Это как Вам угодно, но вот о чем я буду настойчиво

просить Вас и надеюсь, что Вы это исполните, потому что это не будет Вам стоить ни малейшего усилия. Будьте так добры, передайте Вашему дядюшке Александру Генриховичу [2], что я не мог никаким образом до сих пор воспользоваться его благосклонностью и приехать в Петербург искать места. Я простудил горло еще в октябре дорогой из деревни, и даже тогда, когда я имел честь представиться г. Жомини, я ездил к нему с респиратором, потому что болезнь затянулась.

Теперь мне немного лучше, но Бог знает, когда еще я буду в состоянии подвергнуть себя переменчивому петербургскому климату и всем тем беспокойствам и разъездам с визитами и т. п., без которых немыслима и бесполезна была бы поездка в Петербург по делам. Я и здесь не выезжаю давно уже.

Впрочем, при неясности и запутанности современных политических дел, может быть, это и к лучшему: через несколько месяцев и тому, кто думает о возвращении на службу, и тем, кто бы желали ему в этом помочь, будет, вероятно, гораздо яснее положение дел, и выбор станет легче. Но все-таки мне очень жаль, что я теперь именно в Петербурге не могу быть.

Очень желал бы я с вами поговорить о Восточном вопросе, об „Анне Карениной“, слышать Ваши рассказы о Царьграде, где после моего отъезда случилось так много важного и в государственной жизни бедной и прекрасной Турции, попавшей в руки свирепого и бесстыжего Мидхада [3], и в *домашней жизни* нашего посольства.

Вызов Хитрова и вообще вся эта суета у Игнатьева в гостиной между ним и Церетелевым [4]— это верх совершенства. Мне про это рассказывали добрые люди: („Lorsqu'on ne'connaît pas le mari, on n'adresse pas la parole à la femme!“—„Comme il fait beau aujourd'hui!“* и т. д.).

---

* „Когда не знакомы с мужем, не обращаются к его жене!“—„Какая прелестиая сегодня погода!“ (*фр.*).

Это в своем роде не менее художественно, чем... ну... не доскажу моей мысли! Она уже слишком несовременна и слишком похожа на вкусы и взгляды римлян эпохи упадка!

А знаете ли, Лизавета Александровна, что я нашел теперь la clef de la voûte*? Вы не догадываетесь, о чем я говорю? Это Вы один раз сказали мне: „C'est étonnant... и т. д... avec cette absence de la clef de la voûte!"** *Дело шло о религии.*

Прошу Вас выразить мое глубокое почтение Вашей тетушке и г. Жомини и поцеловать за меня крепко и Алеко, и Машу тамбовскую, и маленькую, но величественную Марию Терезию[5], которая, вероятно, теперь уже перестала беспрестанно плакать и кричать и сделалась прелестной девицей.

Ваш от всего сердца К. Леонтьев, все тот же. Я живу на Тверской, в Лоскутной гостинице, №№ 89 и 90.

Впервые опубликовано в кн.: Архимандрит Кипран. Из неиздаиных писем Констаитина Леоитьева. Париж, 1959. С. 22—23.

[1] *Алекторофия* — то есть воспитание сына Е. А. Ону Александра.

[2] *Александр Генрихович Жомини* (1814—1888)— второй сын барона А. Г. Жомиии, деда Е. А. Оиу. Известный дипломат. Дважды управлял министерством иностранных дел (в 1875 г. и в 1879—1880 гг.).

[3] *Мидхад* — Мидхат-паша, один из вождей „Молодой Турции", политической партии, стремившейся возродить Турцию к новой жизни. Ревностный сторонник Англии и враг России и славян. Один из организаторов свержеиия султана Абдул-Азиза с престола. Став председателем Государственного совета, провел Конституцию. В 1881 г. предан суду и приговорен к смерти, замененной ссылкой, где был, вероятно, убит в 1883 г.

[4] Алексей Николаевич *Церетелев* (1848—1883)— князь, дипломат и писатель. Младший секретарь русского коисульства в Константинополе. Управлял коисульствами в Адрианополе и Филиппополе. В 1876 г. доклад Церетелева о болгарской резне послужил одним из важнейших

---

* Главная опора (*фр.*).

** Это поразительио... при этом отсутствии главной опоры! (*фр.*).

аргументов для вмешательства России в турецкие дела. Участвовал в войне с Турцией как офицер казачьего полка.

[5] *...Машу тамбовскую и... Марию Терезию...*— то есть детей Е. А. Ону.

61. Вс. С. СОЛОВЬЕВУ

15 января 1877 г., Москва

⟨...⟩ Я так не избалован аккуратностью и исполнительностью русских друзей, что меня всегда ужасно удивляет и трогает, когда кто-нибудь что-нибудь из них сделает не для самого только себя... Это перестало даже и раздражать меня, так я к нему привык; но разумеется, что я не могу воздержаться при воспоминании об этом национальном качестве от некоторого внутреннего презрения, потому только, что я-то сам вовсе не таков и при всей моей лени готов с радостью всегда помочь единомышленнику и словом, и делом... ⟨...⟩

Пришлите мне также, очень, очень прошу Вас, оттиски той польской повести [1], которой мне попался в „Ниве" случайно один только отрывок; он восхитил меня особенно тем, что в нем язык такой простой и благородный, чуждый всех тех юмористических грубостей, от которых избавиться не могут ни Тургенев, ни Достоевский, а уж Сальяс [2]— так тот доводит меня до бешенства тем, что позорит так этой топорной формой своей, несомненно, поэтический и положительный по направлению талант. Хоть бы он у бедной матери своей поучился говорить просто и изящно. По-моему у нее в повестях язык почти безукоризненный, и, вероятно, потому она теперь так и забыта нашей гнусной публикой и еще более гнусной критикой ⟨...⟩

И что мне толкуют о народе, о силах, которые в нем таятся! Эти силы возросли в нем под влиянием Церкви и сословного строя... А теперь все идет именно противу это-

го строя, который обусловил в мужике, мещанине, купце, солдате прежнем, слепом попе, монахе и т. д. развитие этих качеств, в одно и то же время и крутых, и теплых, которые так многим стали нравиться именно тогда, когда пришло время им исчезать и выдыхаться под влиянием свободы (т. е. распущенности). Посмотрим, что будет дальше! 〈...〉

Я все это время раздумывал, не поехать ли мне к Вашему батюшке и брату [3] и представиться им: такой-то! Но все думаю: а если у них вдруг на лицах изобразится вопрос: да кто же это и зачем он нам? Так и не поехал 〈...〉

〈...〉 ...Я бы, если бы мог, то многое бы и из „Подлипок", и особенно из романа „В своем краю" вырубил бы топором... До того я ненавижу уже давно все эти крючкотворства великорусского юмора и все эти будто бы народные мужиковатости... Это мне опротивело и в других до бешенства.

Например, Тургенев: „у Мардария Аполлоновича глазки были масляные, как у лягавой собаки; брюшко..."

Это ужасно! Это ужасно...

Я в деревне у себя иногда зачитываюсь Чайльд Гарольдом в прозаическом французском переводе (...?) или Шатобрианом [4]... Могли же люди писать живые и великие вещи без „брюшков", Мардариев Аполлоновичей и „носовых свистов"...

Я просто скрежещу зубами и повторяю с ужасом: „La Russie c'est le neant"*. Или то, что Мишле [5] сказал: „La Russie est pourrie avant d'être mure!"** 〈...〉

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ). Частично опубликовано в „Лит. наследстве", т. 86, Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования, М., 1973, с. 473.

Всеволод Сергеевич Соловьев (1849—1903)— сын С. М. Соловьева, старший брат Вл. С. Соловьева. Окончил юридический факультет Мос-

---

* Россия — это небытие (*фр.*).

** Россия сгнила, не успев созреть (*фр.*).

ковского университета. Автор исторических романов, пользовавшихся громадным успехом у широкой, особенно провинциальной публики. Сергей Михайлович Соловьев говорил по этому поводу: „Я пишу историю, а мой сын ее искажает". Вс. Соловьев весьма серьезно занимался оккультными науками. Он был единственным из всего семейства Соловьевых, остававшимся монархистом без рассуждений и православным с близостью к о. Иоанну Кронштадтскому. С Ф. М. Достоевским его связывали почти дружеские отношения.

[1] *Польская повесть* — историческая повесть Вс. С. Соловьева „Княжна Острожская".

[2] *Сальяс* — граф Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир (1842—1908), сын писательницы Евгении Тур. Автор исторических романов.

[3] *Брату* — Владимиру Сергеевичу Соловьеву (1853—1900), философу, публицисту и поэту. В начале своей деятельности Влад. Соловьев следовал за славянофилами, считая наиболее важным синтез науки и религии. Читал курс философии в Московском и Петербургском университетах. После убийства Александра II публично выступил с призывом помиловать преступников. Вследствие этого оставил кафедру и обратился к проблемам русской общественной жизни. Причины кризиса он усматривал в упадке религии, а преодоление его — в соединении католической и православной церквей. Эта утопическая идея долго владела его воображением, но в конце концов судьба привела Соловьева в либеральный и антиклерикальный „Вестник Европы", где он резко полемизировал против Н. Н. Страхова об исторических судьбах России уже как чистый западник. В 1891 г. выступил с лекцией „Об упадке средневекового миросозерцания", в которой утверждал, что за последние два столетия самые существенные блага человечество получило от атеистов. Однако к концу жизни разочаровался в идеях либерально-освободительного прогресса, предсказывал нашествие на Европу монголов и наступление последних времен. Соловьеву было свойственно рационалистически толковать метафизику, возможно потому, что он считал это наиболее подходящим для атеистической в своей массе интеллигенции. Соловьев представлял необычную для его времени фигуру странствующего философа, пренебрегавшего вещественными удобствами. Он не имел своего дома и жил или у друзей, или в гостинице, непрестанно перемещаясь между Петербургом и Москвой. Соловьев стоял вне партий и противоборствующих

течений. Он обладал редкой способностью понимать собственные ошибки и не боялся менять свои мнения на противоположные. А. А. Блок называл его своем учителем в жизни. Относясь отрицательно к идеям К. Н. Леонтьева, Соловьев тем не менее писал: „При всех своих недостатках и заблуждениях это был замечательно самостоятельный и своеобразный мыслитель, писатель редкого таланта, глубоко преданный умственным интересам, сердечно религиозный, а главное, добрый человек". (Русское обозрение. 1892. Кн. 1. С. 358).

[4] Франсуа Огюст *Шатобриан* (1768—1848)— французский писатель и политический деятель. Автор монументального апологетического сочинения „Гений христианства", в котором стремился показать, что христианская религия — самая поэтичная, самая человечная, самая благоприятная свободе, искусству и науке. После реставрации во Франции Бурбонов занимал посты министра иностранных и внутренних дел.

[5] Жюль *Мишле* (1798—1874)— французский историк, автор многотомного труда о Французской революции 1789 г. По мнению Ипполита Тэна, Мишле даже не историк, а один из величайших поэтов Франции, его история — лирическая эпопея. К России Мишле относился отрицательно как к деспотическому государству.

62. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

4 февраля 1877 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Вдохновение, меня по крайней мере, легче посещает в деревне, в монастырях и маленьких городах, чем в столицах. Почему это? Верьте, не могу до сих пор и сам постичь. Что-то меня давит в большой столице, а что именно — не знаю. Ни одно из объяснений, которые я придумывал, не удовлетворительно для моего ума, и я решился поэтому, не рассуждая более, признать это свойство мое непобедимым фактом, и больше ничего. Слыхал я подобные вещи и от других писателей, да, кажется, и от Вас самих? ⟨...⟩

⟨...⟩... Идеи, выбор сюжета, направление и, с другой

стороны, язык, это вещи изменчивые и подвижные. Тургенев испортил под конец свое направление, ухаживая за студентами и повивальными бабками, а Лев Толстой исправил его, ибо понял, что нельзя же всегда восхвалять лишь добрых и простых Максимов Максимовичей [1], а что нужны и Вронские [2]. Видите, какую серьезную критику я затеял Вам писать? Это все монастырь действует так успокоительно на мои нервы и возбуждает деятельность, которая так долго (вследствие подавляющих и непостижимых для меня влияний) была усыплена в Москве ⟨...⟩.

Если летом приедете надолго, то сверх скучных моих проповедей и наставлений будем вместе читать отрывки из Шекспира, Софокла, Гомера и т. п. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] *...Максимов Максимовичей...*— Максим Максимович, персонаж романа М. Ю. Лермонтова „Герой нашего времени", воплощение скромности и смирения.

[2] *...нужны и Вронские.*— Леонтьев очень высоко ставил этот персонаж „Анны Карениной". Характеризуя его как „спокойного, твердого и в то же время страстного", он писал: „...без Вронских мы не проживем и полувека. Без них и писателей национальных не станет; ибо не будет и самобытной нации" (Леонтьев. Собр. соч. Т. 7. С. 274, 275).

63. К. А. ГУБАСТОВУ

22 февраля 1877 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Политикой нашей все в России — до монахов и до извозчиков — очень недовольны [1]. Все удивляются... все ропщут. В Петербурге особенно.

В литературе ничего особенно нового. „Анна Каренина" продолжается, но Толстой немножко обманул мои ожидания: продолжение не так хорошо, как первая половина; все верно, все прекрасно, все картинно, но как-то блекнет все

теперь, нет того блеска и силы, которыми отличалось все до отъезда Вронского с Анной за границу.

„Новь“ Тургенева отвратительна. Всё честные акушерки. Он с ума сошел! ⟨...⟩

Про Марью Владимировну скажу Вам, что она получила место в Нижнем, какое — еще не знаю; но я недавно получил от нее письмо, из которого видно, что она стала бодрее в удалении, которое ей советовал старец о. Амвросий Оптинский [2]. А другая знакомая пишет мне, что видела ее проездом через Москву из Рязани (где она всю зиму гостила у матери) в Нижний и что она чрезвычайно пополнела и помолодела за эту зиму. Теперь вот и судите поспешно издали — зачем я ее не удерживал в Кудинове! Благословление ли старца (и реально можете это объяснить успокоением совести и нервов), перемена ли обстановки, хотя и на худшую, но на новую, но вот доказательство, как я был прав, радуясь ее решению удалиться. А разрыва между нами нет и не может быть, ибо я знаю со стороны, до чего она добросовестно сознает свою вину и до чего она страстно кается. Я тоже был не прав, конечно, но не против нее, а противу Бога другими грехами, до которых ей, конечно, и дела не было. Но за эти побочные грехи ее рукою наказал меня Бог. Кит, который проглотил Иону [3], нисколько не был сам по себе нравствен или прав, а был только орудие, понимаете? Замечу еще (так как Вы ее судьбой всегда интересовались и она всегда об Вас вспоминает), что у нас еще года полтора тому назад была речь о том, что ей бы следовало искать места, чтобы не проживать 400 рубл⟨ей⟩ кудиновской аренды, которая как доход верный необходима на уплату % в банк (на ту сумму, которую мы были вынуждены братьям выплатить по завещанию), но тогда она при одной мысли о разлуке с Людмилой Раевской рыдала навзрыд, и я оставил ее в покое. Но Господь Бог, видно, милосердствуя к нам, разрубил путем ссоры этот гордиев узел, который Марья Владимировна сама запутала, а распутать не могла. Она сама

и вопреки моему мнению взяла Людмилу в Кудиново и потом, увидавши, что мы с этой последней хорошо уживаемся и никогда не ссоримся, убедившись еще раз наглядно, что все раздоры от нее лишь самой и что мне угодить очень легко, начала выходить постепенно из себя и нападать на всех. Разгадка в том, что она сама очень страстно привязывается к людям и тогда уже хочет насильно быть милой настолько, насколько милы ей самой предметы ее выбора. А когда она равнодушна к людям, тогда она очень приятна и ровна. Вот отца [4] она мало любила и потому жила с ним сносно. И с чужими, с далекими сердцу она хороша и любезна. Вот беда ее в чем. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ). Частично опубликовано в журнале „Русское обозрение". 1894. Ноябрь. С. 391, 392.

[1] *Политикой нашей все... очень недовольны.*— В 1876 г. началась сербско-турецкая война, неудачная для Сербии. Попытка восстания в Болгарии была подавлена турками с невероятной жестокостью. Европейские державы оказывали на Турцию дипломатическое воздействие и вынудили ее согласиться на переговоры, которые, однако, кончились безрезультатно. 15 января 1877 г. русский посол гр. Н. П. Игнатьев выехал из Константинополя. Общественное мнение в России, поддерживавшее славянские народы, было очень недовольно нерешительностью своего правительства.

[2] *Амвросий Оптинский* (Александр Михайлович Гренков, 1812—1891)— старец Оптиной Пустыни, духовник К. Н. Леонтьева. Отличался жизненной опытностью, широтою взглядов, кротостью и незлобием. Привлекал к себе множество паломников. Его посещали Ф. М. Достоевский, Влад. Соловьев, Л. Н. Толстой. Считается, что он послужил прототипом старца Зосимы в „Братьях Карамазовых". В мае 1891 г. В. В. Розанов писал Леонтьеву из Ельца: „...не можете ли Вы об отце Амвросии написать так же, как об От⟨це⟩ Клименте. Вы не можете себе представить, как чрезмерно, как колоссально его влияние здесь! ...Прошу Вас — подумайте об этом. Здесь в редком доме Вы не найдете портрета о. Амвросия" (Р о з а н о в В. В. Сочинения, М., 1990. С. 471). К Леонтьеву „о. Амвросий имел такое доверие, что нередко адресовал к нему

тех из своих интеллигентных посетителей, которые нуждались в убеждениях о суете мира сего и необходимости верить в Евангелие" (Е. В. Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни. Б. М., 1902. С. 124). Об отношении К. Н. Леонтьева к о. Амвросию красноречиво свидетельствует следующий рассказ жены П. Е. Астафьева: «Представьте себе, он мне не раз говорил: „Вы знаете, Мария Ивановна, до чего я покоряюсь старцу? Вот если он мне прикажет вас убить, то я нисколько не задумаюсь"» (Поселянин Е., К. Н. Леонтьев в Оптиной Пустыни, Памяти К. Н. Леонтьева. СПб., 1911. С. 387).

[3] *Иона* — пятый из двенадцати малых библейских пророков. Посланный для проповеди во враждебную Израилю Ниневею, устрашился этой миссии, хотел бежать морем в Испанию, но был изобличен и выброшен в море. Иону проглотил кит, но потом выбросил на берег, и он отправился к месту своего служения, где его ждал полный успех.

[4] См. примеч. 1 к письму 103.

64. Е. А. ОНУ

24 марта 1877 г., Оптина Пустынь

Madame Onou! Mad(ame) Onou! Madame Onou!

Prouvez donc qu'on a eu raison de dire: „ce que femme veut — Dieu le veut!" *Il faut que je suis nommé à Constantinople*! *Soyez donc femme*! Ayez donc des etrailles pour moi; je n'exige pourtant de vous ni les entrailles d'une mère, ni même celles d'une épouse très éprise de son mari. Non! N'ayez pour moi les bonnes et fidèles entrailles que *j'eusse eu* (правильно ли?) pour vous et pour votre mari si, par hasard, vous étiez à Kozelsk sans place et surtout sans M. de Jomini et moi à Pétersbourg à côté de quelqu'un dans le genre de votre oncle. Vous avez juste assez d'esprit et d'imagination pour comprendre que je me serai mis en quatre pour vous être utile. Mais puisque c'est décidé depuis longtemps que vous êtes moins bonne que moi — mettez vous en deux, cela suffit.

J'ai eu un moment l'idée d'écrire aussi au Prince

Gortchakoff lui même, pour lui rappeler l'histoire de *ma mère*, mais j'y ai renoncé sur le champ. J'ai eu peur de gâter l'affaire par quelque excès de zèle, et j'ai préféré livrer la question à son devéloppement naturel sous les auspices de M. votre oncle.

Je n'écris rien à M. Ignatiew, mais j'écrirai une lettre respecteuse à Madame, en la priant de me rappeler au souvenir du Général. Enfin, comme il ne s'agit que de la sincérité de M. de Jomini, dont je ne doute pas et votre *activité* en ma faveur (dont je doute un peu), mais surtout de la volonté de Dieu qui peut inspirer à tout le monde des bons sentiments pour moi, je termine cette petite lettre le coeur un peu gros, mais l'esprit tranqulle.

Adieu! Adieu! Adieu!

Mes respects profonds à Mad. la baronne; mille choses à M-lle Perdicary; j'embrasse Marika (qui m'a tout à fait oublié); j'embrasse Aleko (любопытный носик), j'embrasse Marie-Thérése; je les aime et je les bénis.

Adieu, Madame Onou.

Votre dévoué *C. Léontiew.*

P. S. Ne croyez pas que j'ai oublié Афина pas même pour un instant! Mais s'est par égard pour le voisinage du nom de votre respectable tante, que je ne la cite qu'au *post-scriptum*. „Fleur des jardins d'Alep, que Bulbul en choisit pour chanter et languir sur son calice ouvert!; Voila un pâle rayon de soleil du Bosphore qui perce dans la brume affreuse de notre détéstable capitale.

Впрочем, теперь Страстная неделя. Поэтому продолжать не буду. Право, я бы ей на приданое дал, если бы меня сделали Генер⟨альным⟩ Консулом в Царьграде! Никогда не забуду, как она мне с дочерним чувством и улыбкой чинила перчатки!

Перевод:

Мадам Ону! Мадам Ону! Мадам Ону!

Докажите же наконец, что справедливо говорят: „Чего хочет женщина — того хочет Бог!“ *Необходимо нужно, чтобы меня назначили в Константинополь*! Войдите же в мое положение; впрочем, я не требую от Вас ни чувства матери, ни тем паче супруги, страстно увлеченной своим мужем. И даже того надежного и доброго отношения, которое я выказал бы Вам и Вашему супругу, если бы по какой-либо случайности Вы оказались в Козельске без места и, главное, без г-на Жомини, а я был бы в Петербурге возле кого-либо наподобие Вашего дядюшки. У Вас достанет ума и воображения понять, что я разорвался бы на четыре части, чтобы помочь Вам. Но поелику давно уже решено, что Вы не столь добры, как я,— разорвитесь надвое, сего будет достаточно.

На какое-то мгновение мне пришла мысль написать к самому князю Горчакову и напомнить ему историю *моей матушки*, но я сразу же отказался от этого. Побоявшись испортить дело излишним усердием, я предпочел оставить все своему естественному развитию под покровительством Вашего дядюшки [1].

Я ничего не пишу г-ну Игнатьеву, но пошлю почтительнейшее письмо мадам [2] с просьбою напомнить обо мне генералу [3]. И наконец, поскольку дело не в искренности г-на де Жомини, которая не вызывает у меня сомнений, и не в Вашей *деятельности* ради моей пользы (чему я не вполне доверяю), но в воле Божьей, могущей внушить всем добрые ко мне чувства, я заканчиваю это небольшое письмо хоть отчасти и с тяжелым сердцем, но в спокойствии духа.

Прощайте! Прощайте! Прощайте!

Мое глубочайшее почтение г-же баронессе [4], тысячу приветов мадемуазель Пердикари [5], целую Марику [6] (которая меня совсем забыла), целую Алеко [6] (любопытный

носик), целую Марию Терезию[6]; я их всех люблю и благословляю.

Прощайте, мадам Ону.

Преданный Вам *К. Леонтьев.*

P. S. Не подумайте, что я хотя бы на минуту забыл Афину[7]! Только из уважения к соседству с именем Вашей почтеннейшей тетушки я упомянул ее лишь в postscriptum'e. „Цветок алеппских[8] садов, избранница песен и воздыханий соловья; воистину, бледный луч босфорского солнца, пронзивший ужасный туман нашей отвратительной столицы".

Впрочем, теперь Страстная неделя. Поэтому продолжать не буду. Право, я бы ей на приданое дал, если бы меня сделали Генер⟨альным⟩ консулом в Царьграде! Никогда не забуду, как она мне с дочерним чувством и улыбкой чинила перчатки!

Впервые опубликовано в кн.: Архимандрит Киприан. Из неизданных писем Константина Леонтьева. Париж, 1959. С. 23, 24.

[1] *...под покровительством Вашего дядюшки* — то есть барона А. Г. Жомини, ближайшего помощника канцлера кн. А. М. Горчакова.

[2] *Мадам* — жена гр. Н. П. Игнатьева, Е. Л. Игнатьева.

[3] *Генерал* — русский посол в Константинополе граф Н. П. Игнатьев.

[4] *Г-же баронессе* — супруге барона А. Г. Жомини.

[5] *Пердикари* — известная в Константинополе греческая семья. Один из членов этой семьи был на русской службе консулом в Бруссе.

[6] *Марика, Алеко, Мария Терезия* — дети Е. А. Ону.

[7] *Афина* — горничная Е. А. Ону.

[8] *...алеппских садов...* — то есть садов в Алеппо, городе в северной части Сирии, славящемся своими прекрасными садами.

65. В. Г. АВСЕЕНКО

28 марта 1877 г., Оптина Пустынь

Христос Воскресе!

Многоуважаемый Василий Григорьевич, я было сначала колебался, писать ли Вам „Христос Воскресе". Думал, не покажется ли Вам этот несколько клерикальный оттенок — mauvais genre?* Но потом вспомнил, что сказано: Кто постыдится Меня, того и Я постыжусь в день судный.

Вспомнил это и написал, и подумал еще, что от Бога даже зависит внушить всем знакомым моим, и Вам в том числе, такое ко мне расположение, какого они еще ни к кому не ощущали.

Каков Тургенев? По-моему, „Новь" вещь очень лукавая. Не менее хитрая, чем „Отцы и дети". В „Нови" он как будто и сочувствует, а выходит, что герои несимпатичны: в Базарове он как будто осуждал, но Базаров вышел хоть и противный, но все-таки герой. Постоянно и нашим, и вашим... или, лучше сказать, ни тем, ни другим; но ему, я думаю, это и все равно. Он доволен и тем, что заставил опять говорить о себе, возбудил и ту и другую сторону к нападкам и гневу. Плохо написано, но ловко сделано! ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

Василий Григорьевич Авсеенко (1842—1913)— писатель. Сначала выступал в революционно-демократическом журнале „Русское слово". В 70-х гг. перешел на консервативные позиции (антинигилистический роман „Злой дух"). Автор ряда исторических работ. В 1883—1895 гг. редактировал газету „С.-Петербургские ведомости".

---

* Дурной тон (*фр.*).

66. Вс. С. СОЛОВЬЕВУ

28 марта 1877 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ А мы здесь в Оптином тихом скиту с Божией помощью только что переплыли „великий океан Четыредесятницы“, как говорят греки, подразумевая телесные трудности Великого поста, когда его содержишь серьезно; переплыли этот океан и стоим на берегу другого моря — разлившихся рек, от которых никуда почти из монастыря недели на две проезда нет, иначе как на лодке, для здоровых людей, не боящихся простуды.

Здесь, в скиту, очень хорошо во всех отношениях (если только уметь подчиниться некоторым требованиям). Из какого окошечка своей кельи я ни взгляну, со всех сторон через низкую ограду виден мачтовый огромный сосновый и еловый бор, двор скита обширен и весь в яблонях, теперь на нем [нрзб.], а летом как в раю все в цветах и резедой пахнет, как в цветнике богатого помещика; церковь маленькая необыкновенно изящна, иконостас из розового дерева, потолок с орехом и все иконы новые с троице-сергиевским чеканным золотым фоном. Ризы богатые [нрзб.]— монахи добрые и прекрасной жизни... Мне всегда на душе легче, когда я здесь погощу. Примите к сведению, что есть еще такого рода хорошие вещи в России... ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГИАЛ).

67. К. А. ГУБАСТОВУ

2 августа 1877 г., Кудиново

⟨...⟩ Впрочем (это между нами, прошу Вас), мне кажется, что царство антихриста во всяком случае близко, и в духовном смысле избранных (то есть для себя лично верую-

щих „во едину святую, соборную, апостольскую Церковь“) все будет меньше и меньше. Но эти немногие правы. 〈...〉

События, мой друг, все растут, и Вы растете, а я все умаляюсь, смиряюсь, все гасну для мира. Равнодушия моего (даже и к Восточному вопросу, за успешное окончание которого я ручаюсь, но не верю в то, что наше и юго-славянское хамство изменят свой скверный буржуазный быт), равнодушия моего я Вам выразить даже не могу...

Молитва, одиночество, чтение духовных книг, прогулка, сигары (я теперь курю сигары, для горла), хороший кофе, ну и новая газета все-таки... больше ничего мне не нужно. И это все растет и растет.

С Марьей Владимировной мы помирились; она здесь с июня на каникулах. 15—16 августа уезжает. Она после жизни в чужих домах и после частых сношений с монахами оптинскими — неузнаваема! Мы сухи и согласны — вот все, что нужно, и я каждый день благодарю за это Бога.

Лиза раза три просилась вернуться сюда, мне очень было это больно, но я должен был строго отказать, ибо, при ее необузданности, из нашей жизни здесь вместе ничего угодного Богу выйти не может.

Теперь у меня, кроме тихой и мирной сердечной заботы о „христианской кончине живота и о добром ответе на страшном судилище Христовом“, есть одна только серьезная забота: это — чтобы уплачивать в банк проценты и чтобы Кудиново не пропало. Мимоходом приходят в голову мысли — политические, литературные, социальные — одна другой свежее, но я так привык к тому, что не мне суждено их сообщить людям, что они, как падающие звезды, только мелькают, а я их и не поддерживаю... И лишь бы этот зеленый уголок мой был цел, хоть бы не брали у меня эти липовые аллеи, эти березовые рощи, эти столетние огромные вязы над прудом, который в постные дни дает мне карасей для ухи... Вот что мне нужно: Оптина близко — я недавно еще туда ездил:

Пишу насильно, с отвращением, но по благословению духовника 3-ю часть „Одиссея“; насильно, с отвращением же и также по благословению духовника посылаю сегодня же письмо Каткову с предложением отправить меня до весны в Турцию... И все это не сам для себя, не по охоте, с глубоким отвращением и потому лишь, что делать иначе нельзя... Надо!..

А если Катков на мои условия не согласится — сознаюсь, я буду очень рад. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале „Русское обозрение“, 1894, ноябрь. С. 392—394.

68. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

31 августа 1877 г., Кудиново

⟨...⟩ Ты спрашиваешь, что Варька [1], Агафья [2] и Ласточка [3]? Ласточка поразила меня при проводах твоих своей ужасной неопрятностью и неинтересностью. Я этому очень рад. Агафья все такая же хорошáя, а Варька — вот где искушение. Искушение в том смысле, что я боюсь слишком уж отечески и серьезно привязаться к ней. Она так мило, честно и хотя и почтительно, но почти что заигрывает со мной, так умна, добра и честна, что просто беда... Слава Богу, я каждый день помню о непрочности всего земного и молю Бога, чтобы из этого не вышло новой тягости и новой боли. Пожалуйста, мой друг, напиши мне поскорее, что ты мне посоветуешь делать с рощами. Ты это лучше знаешь. Данило просит, Гаврила просит, старикам надо хвороста. Прокофья жалко; келейницы привыкли получать. Где и поскольку им назначить? Я боюсь и желаю всех их утешить. Кто будет рубить? Как доверить без присмотра? Напиши обо всем этом ясно и подробно и скорее. ⟨...⟩

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *Варька* — горничная в кудиновском доме К. Н. Леонтьева.

[2] *Агафья* — кухарка в кудиновском доме К. Н. Леонтьева.

[3] *Ласточка* — Людмила Раевская.

69. К. А. ГУБАСТОВУ

20 августа — 7 сентября 1877 г. Кудиново

Вы, Константин Аркадьевич, находите мое письмо прелестным, я нахожу Ваше очаровательным! Вы отвечаете мне из Гаги [1] скоро, я из Кудинова — тотчас же... Это какая-то гирлянда роз, протянутая из Голландии в Калужскую губернию.

Хотите мой день? Например, сегодня.

8 часов. Варька стучит в дверь... Это очень милая крестьянская девочка 12 лет, в сарафане, которая помогает Агафье, матери своей, idem [2] в уходе за мной; мать делает дела элементарные (коров моих доит, дрова носит, грибы солит, полы моет, белье и т. п.), а дочь дела тонкие (кофе с детскою почтительною улыбкою мне подает, чай разливает, комнату убирает, за грибами со мной ходит, песни поет и т. п.). Мы все — Агафья, Варька и я — живем душа в душу. Итак, Варька стучит... Я звоню (значит, слышу). Я сплю один в одном флигеле, а она с матерью в другом месте.

Крещусь. Закуриваю сигару. Встаю, убираюсь. Сажусь перед зеркалом на минуту и гляжусь — не слишком ли я уж стар.

Читаю „Отче наш“ и прошу у Бога прощения, что больше сейчас не молюсь, а буду позже.

1/2 9, 9, 1/2 10, 10. Варька приносит кофе... очень хорошо все, на подносе, с чистою салфеткой... К сожалению, день постный, и я пью долго черный кофе, и спрашиваю Варьку о больных наших (она помогает мне очень

хорошо в санитарной моей деятельности)... Она убирает постель и подает скляночки, чтоб я сделал одному ребенку лекарство... ⟨...⟩

Пью кофе, курю и мыслю... Тут у меня и не перечтешь всего: от больного мальчика и до Плевны [3], от Каткова и до св. Пантелеймона, моего целителя, от 8 рублей всего, которые убого лежат в моей шкатулке, до 7000 моего турецкого долга, от Вас и Софьи Петровны [4] с ее [нрзб.] до старого кривоногого садовника моего, которому хочется и нужно купить тулуп.

10, 11, 12. Перечитываю новые главы „Одиссея", думаю, что надо исправить и как бы не опоздать, и не испортить... На „Одиссея" одного надежда, чтобы % в банк за Кудиново в 78 году заплатить. Иначе — прости, последнее убежище!

Согласитесь — есть о чем подумать...

Помню и о Вашем неоконченном письме...

12 часов. Бросаю „Одиссея"... Есть пока еще более спешные дела... Беру бумаги по кудиновским делам... Ищу, сколько надо вносить податей в октябре в земство, в казну и дворянских... Около 75—80!.. (а у меня — ничего, только 8!).

Смотрю контракт с крестьянами об аренде; надо скоро новый...

Ищу другой контракт — о просроченной порубке у меня рощицы... Вижу, что имею право не допустить уже до порубки покупателя и придумать какую-нибудь с ним сделку... если уступлю; он богатый мужик, чужой... Занять разве у него? Перечитываю письмо жены, которая пишет, что ей теперь нехорошо там и что она больна и должна и просит 100 рублей (а у меня 8!). 20 октября срок платежа в другой банк — Общ⟨ество⟩ Вз⟨аимного⟩ Кредита... (75 руб⟨лей⟩, а у меня 8...).

Аренды от крестьян как в срок добиться?.. 1 октября они должны уплатить мне 86 рублей и т. д.

Это до 1 часу... и более...

Один больной ждет меня с утра, его болезнь хроническая. Посылаю за ним, беседую, исследую, советую и т. д.).

1/2 2-го. Свободен. Запираюсь и молюсь — минут 20 или полчаса, не знаю. Благодарю искренно Бога за многое, почти за все, особенно за то великое мужество, которое он во мне при таких запутанных обстоятельствах поддерживает...

Вы не поверите, как это отрадно, когда вспомнишь свое отчаянье 70—71 и т. д. годов...

Повар заходит спросить: где постное масло, которое покупали? Я не знаю...— Варька!.. Варька тоже не знает... никто не покупал и т. д.

От 2 до 3. Читаю „Русский архив“ [5] и мимоходом еще раз вижу, как изменились и понятия, и политические интересы, и нравы!..

3 часа. Обед. (Икра паюсная, винегрет с сардинками, жареные сыроежки в постном масле, которые вчера сам набрал в роще. Ну, квас... и более ничего.) Мыслю в интервалах...

1/2 4-го. Курю сигару, молча, в больших креслах... В душе мир, к человекам благоволение... Варька с сельскою грацией убирает со стола... Я с ней отечески любезен.

До 5. Читаю „Архив“ (письма Ростопчина [6] к Воронцову [7])... Мыслю... между строчками...

5 часов. Иду делать гипсовую сдавливающую повязку одному мальчику, который страдает ревматическою опухолью суставов... Ему лучше... Там, кстати, толки с людьми, кому и по скольку и где давать на зиму хворост в моих рощах...

Повязка и толки эти до 6 и более часов...

6 1/2 часов. Варька затапливает камин и садится разливать мне чай... Я беседую с ней о деревенских делах и отчасти о войне... Она спрашивает: „а греки за нас?“ (она видела Георгия). Я говорю ей: „Бог за нас, и все будут за нас, а кто не за нас, тому будет худо...“

7 1/2. Сажусь писать Вам это письмо и уже рассчитываю, что буду завтра делать, чтобы не опоздать...

Вот в этом роде проходят дни... ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале „Русское обозрение“. 1894. Ноябрь. С. 394—399.

[1] *...из Гаги...*— то есть из столицы Нидерландов Гааги.

[2] *Idem* (лат.)— тоже.

[3] *...до Плевны...*— Плевна (Плевен), город и крепость в Болгарии, осажденная русскими с июля 1877 г. Турки упорно защищались, Плевна была взята М. Д. Скобелевым лишь 28 ноября 1877 г. Захвачено 40 000 пленных и 77 орудий. Только убитыми русские потеряли за все время осады и штурма 40 000 человек.

[4] *Софья Петровна* — С. П. Хитрово.

[5] *„Русский архив“*— исторический журнал, издававшийся в Москве в 1863—1917 гг. Основан П. И. Бартеневым.

[6] Федор Васильевич *Ростопчин* (1763—1826)— государственый деятель, граф. При Павле I занимал высокие должности. В 1801—1810 гг.— в отставке. Затем главнокомандующий в Москве, где при нашествии французов действовал с большой энергией (Наполеон называл его „зажигателем“ и „сумасшедшим“). После Отечественной войны 1812 г. жил большею частью в Париже. Занимался литературной деятельностью.

[7] Семен Романович *Воронцов* (1744—1832)— государственный деятель. Брат Е. Р. Воронцовой-Дашковой. Отличился в битвах при Ларге и Кагуле. В 1785—1806 гг. был послом в Вене и Лондоне, где умел отстаивать русские интересы, в том числе и от самого русского правительства (в частности, он предотвратил заселение Крыма британскими каторжниками). После отставки в 1805 г. почти безвыездно жил в Лондоне.

70. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

6—8 сентября 1877 г., Кудиново

Николай Яковлевич, сегодня получил Ваше письмо и сегодня же отвечаю, вышел вечер посвободнее, и я спешу

им воспользоваться, чтобы сказать Вам еще раз дружеское и прямое слово. Послушайте, Вы же всех нас здесь [нрзб.] тяжелые загадки! Я просто отказываюсь понимать Вас: Так дорожить людьми и их расположением, как Вы нашим, и делать все, что нам в нашем доме и по нашим привычкам видеть невыносимо! И даже на два, на три всего дня не иметь силы удержаться... Я этого не понимаю! Простите мою откровенность — мы с Машей ломали голову просто, как это объяснить, и мне даже пришла мысль, что Вы, может быть в глубине сердца, несмотря на все самобичевание, находили все это очень милым, очень артистическим, очень русским и удалым, пожалуй? Дай Бог, чтобы я ошибся и чтобы этого рода самообольщения не было бы в Вас и тени. Милого тут ни капли! Артистическое не состоит необходимо в расстроенности чувств и поведения. А руссизм понимать только как разухабистую грубость и водку — это значит иметь обо всем русском очень печальное мнение. Может быть, о. Феодосию Угрешскому [1] или Андрею Антоновичу [2] это может нравиться в Вас, но нам нравится в Вас совсем другое. Маша говорит, что она отдыхает, когда Вы просты и даже несколько печальны. И я с ней согласен. И если бы Вы были слабый бесхарактерный человек, то это выходило бы как-то лучше. А то ни за что не веришь, что Вы не можете воздержаться!.. А просто не хотите. Верно, и у Островского Вам оттого было скучно, что там Вы опасались дать себе волю, чтобы не уронить себя и не испортить дела Вашего с человеком „житейски-могущественным“! Вам было нестерпимо там долго не пьянствовать, не шуметь, не язвить, не грубить. А у нас ведь можно. Мы простим? Не так ли? Где же рыцарские чувства? Где же тот нравственный наш вес, о котором Вы нам говорите? Где же та строгость к себе, которая у Вас, у Вас всеосуждающего, уже по натуре должна бы быть тройная? Надо или не жить у нас вовсе, или, как ни жаль до этого дойти не Вам одним, но, верьте, и нам, ибо мы с Машей все-таки за что-то Вас любим

сердечно. Я повторяю, если бы Вы были милое и легкое нравом дитя, как Евгений Раевский [3], то тогда можно бы и с водкой Вашей подлой этой помириться, но Вы совсем другой натуры, тяжелой от рождения (а не от обстоятельств одних, поверьте!) и для себя, и для других. Поэтому на три, 4, 5 дней отказываться от водки легче, чем отказаться от натуры. Как можно в чужом доме тихонько посылать за водкой, во все горло кричать в саду, говорить хозяйке, что „я не хочу быть приличным"! Где же это видано? Из того, что мы не имеем 100 000 годового дохода, не следует, чтобы мы были обязаны терпеть у себя то, к чему, по нашим вкусам и понятиям, у нас не лежит душа. Мы не привыкли видеть у себя в доме такие манеры, вот и все. Вы говорите в письме: „я нехорош, несимпатичен" и т. д. Никто не может требовать от человека, чтобы он переменил сущность своей натуры, но всякий хозяин дома имеет право строго требовать соблюдения внешней порядочности в одежде, в разговорах, в приемах и тоне.

И наконец,— Вы писатель, зачем раз навсегда облечь себя в формы, приличные более энергическому коридорному или удалому недоучившемуся бурсаку, чем дворянину и хорошему писателю. Разве Вы не понимаете, что, не делая никаких усилий для исправления Вашей внешности и Ваших привычек, погрязая почти бесспорно только в этих ужасных формах, столь сроднившихся с Вами, Вы лишаете самих себя возможности узнать жизнь шире, чем Вы до сих пор ее знали, в разных кругах и в разных слоях. Вы сами с умом Вашим сейчас чувствуете себя не по себе с теми и там, где нельзя развернуться ухарски, и становитесь мрачным, удаляетесь, молчите, тяготитесь и тяготите других. Так было с Вами, например, у меня в № даже при Цветкове [4] и Аверкиеве, которые, впрочем, еще не особенно требовательны, особенно Аверкиев. И они сказали после: жаль, что он так не прост и глядит нигилистом...

Конечно, лучше сидеть тогда в углу, чем веселиться так, как Вы всякий раз удостаиваете нас в Кудинове веселиться.

Но неужели же нельзя сохранить порядочную внешность, даже и водясь обыкновенно с о. Феодосиями и К°? Я не знаю, будет ли это хвастовство, если я Вам скажу, что я не меньше Вашего водился со всяким народом, особенно смолоду, но, если не ошибаюсь, остался самим собою и свободно переходил и перехожу от общества крестьян ко всякому другому. Отчего Вы хоть по внешности не постараетесь поработать над собой для того, чтобы Вам было везде легко и свободно? Вы говорите о характере Вашем. Нет! В общежитии внешность гораздо важнее характера. Не только в порядочном и не любящем угловатости и грубости кругу, но и в самом хорошем монастыре. К душе собственно касается лишь избранный духовник, а внешней сдержанности и благообразия и вежливости требуют все. В Оптиной все монахи имеют в этом смысле хорошие манеры. Для этого нет нужды быть графом Вронским, тот простой мещовский монах, который был при Вас в Кудинове, держит себя гораздо лучше Вас. Он перед Вами джентльмен. Никаких ужасных слов юмористических вроде „нежнец" (про яичницу), „настроенция" и т. п. не говорит, водки не просит, тихонько ее у нас не покупал бы, в саду слишком громко не пел бы и не подавал бы повода нашим недоброжелателям говорить, что у нас бывать нельзя, потому что у нас Бог знает кто бывает, пьет, кричит, ездит от нас ночью по кабакам и оттуда тихонько в почтенный соседский дом. И это все при таком уме! При таком чувстве изящного! Сосплетничаю еще для Вашей пользы: Людмила [5] девушка не светская в известном смысле, но она многое понимает. Прослушавши Ваши комедии, она мне сказала с сожалением: „Как много у него в душе поэзии! Зачем же он всегда так грубо говорит и так странно ведет себя?" И я тоже, помните, когда я похвалил порядочность Вашей матери, Вы даже оскорбились несколько тем оттенком удивления, который в моих словах заподозрили. А я ничего не сказал Вам на это, мысль же моя была такая во время

этого молчания: „Судя по его ухваткам и разговору, кто же бы мог ожидать, что у него такая порядочная мать!“

Видите, я в этом с души сорвавшемся ультиматуме высказываю Вам уже все разом. Как хотите — союз или разрыв. Но я непременным условием союза, который и мне очень, очень приятен — верьте!— ставлю изменение коренное во внешнем поведении. А характер — это Ваше дело. Против злого человека есть оружие, но какое оружие противу дурных и необузданных манер, кроме отдаления? Я кончил [нрзб.]! „Дня расплаты“ я сам жду с нетерпением, и если судьбе угодно будет, чтобы я прожил еще до ноября здесь, то урвитесь хоть на два дня в праздник прочесть мне ее. Я нахожу, что и в ней просто необходимо исправить язык. Он социально неверен. Я это сделаю с радостью, не касаясь ни хода, ни сущности, конечно. Я не Островский.

Но, право, с таким языком ни ставить, ни печатать ее нельзя. Нападут на Вас, и основательно. И это происходит все от той же причины; Вы приучили себя самого говорить то языком петербургских фельетонистов, то языком лихачей Островского и Щедрина, и, улавливая умом и сердечным тактом очень верно психический момент, Вы облекаете его местами совсем не в ту социальную форму, которую требуют Ваши лица.

И в „Андрюше с Еленой“ Вы заупрямились оставить Елене некоторые раздирающие ухо выражения (например, дуэтировать, интрига и т. п.). Никогда бы Ваша Паруевская — девочка даже бы так не выразилась, если она была грациозна и женственна. Так говорят только повивальные бабки, мечтающие о социализме. Ну, довольно Вас всячески бранить. Все-таки я очень рад, что получил от Вас письмо, хотя покаяниям Вашим я ничуть не верю и очень боюсь, что Вы доведете меня Вашим лже-руссизмом напускным до разрыва, который и мне будет нерадостен. Я очень сам Вас люблю, когда Вы естественны и не наспиртованы Вашей этой хамской водкой. Я, впрочем,

физически сам ее люблю иногда, но морально боюсь до смерти и стыда ради не стал бы пить ее часто. Пока обнимаю Вас.

Ваш *К. Леонтьев.*

8 сентября.

Перечел это письмо второй раз и начал колебаться отправлять его... Думаю, не слишком ли оно уж откровенно и беспощадно? Старался даже вообразить себе, что это мне кто-нибудь пишет, а не я пишу другому. И мне показалось, что я прочел бы в нем такое искреннее доброжелательство, такое хорошее мнение по крайней мере о ширине и глубине того лица, которое так бичуется, и, наконец, такую веру в его хотя бы наружное исправление, что решился отправить его.

Нет, если Вы хотите дружбы, то в дружбе хуже всего недоразумения и еще какой-то страх, что вот-вот сейчас человек Бог знает что сделает или скажет в твоем доме. Может быть, я не прав, что меня все это так возмущает. Может быть, Вы правы, а у меня великосветские претензии смешные, но что делать... Такова почва моя нравственная!

N.B. Я буду очень рад получить от Вас на это хороший ответ, но от меня не ждите теперь писем до половины октября. Я сижу без денег и буду все это время в больших и срочных хлопотах. Поэтому им, этим хлопотам, а не равнодушию припишите, предупреждаю Вас, мое будущее молчание.

Жалованья даже людям нечем платить.

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] *О. Феодосий Угрешский* — вероятно, один из монахов Николо-Угрешского монастыря.

[2] *Андрей Антонович* — неустановленное лицо.

[3] *Евгений Раевский* — вероятно, брат Л. О. Раевской.

[4] *Цветков* — неустановленное лицо.

[5] *Людмила* — Л. О. Раевская.

71. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

10 сентября 1877 г., Кудиново

Пишу тебе в очень тяжелую для меня минуту; ты поймешь, что я претерпеваю, когда я тебе скажу, что 1-е главы „Одиссея“ уже напечатаны, а я не в силах писать вот уже больше двух недель! И самое мое упорство пересилить это отвращение или это усыпление ума не только не помогает, но еще хуже. Я беру рукопись с утра, беру после обеда... И не могу прибавить, ни изменить ни строки. Мне кажется, что все написанное скучно, вяло, бездарно... что каждый порядочный читатель закроет книгу со второй страницы. И даже само напечатанное (которое я старался читать как чужое, и ты знаешь, что я умею это делать) хотя и понравилось мне, но не придало мне огня для продолжения.

Сознаюсь тебе, по мере приближения минуты и возможности стать здесь обязательным врачом, на меня находит некоторый ужас, который ты легко поймешь... Это умственный гроб! И я буду очень рад, если о. Амвросий не благословит мне это; но я боюсь, что они со мной слишком либеральны и осторожны (почему — не знаю!). Жду от них завтра письма. Благодарю тебя за скорый возврат рукописи и за косыночки.

Мне кажется, что я напрасно насиловал себя писать... во что бы то ни стало. Сколько бы разум ни уверял тебя, что это все вздор, что развлечения — малодушие, что надо быть долго и долго еще на месте и все-таки писать, но у литературного вдохновения, видно, есть свои законы, с которыми разум не справляется. Необходимы, видно, от времени до времени для освежения мысли и труда впечатления извне, и одним терпением, твердостью в желании трудиться ничего в иные дни не сделаешь, если почерпаешь все только из самого себя. Мыслей множество, но все это не стройно и не живо! Это я говорю, конечно, с точки зрения

только технической (понятно?), но если это воля Божия, то да будут благословенны и эти дни мрака, раздражения, невольного бездействия и сердечной пустоты.

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

72. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

Сентябрь 1877 г., Кудиново

Маша, посылаю тебе 12-ю и конец 13-й главы „Одиссея". Никак не могу с ним сладить. Или в самом деле при всей доброй воле отречений всякого рода в иные минуты только какая-нибудь перемена или разнообразие могут освежить мысль.

Ради Бога, кончай скорей это и, главное, возвращайся скорей. Я не знаю, какое сегодня число, но чувствую что-то страшное близко, а у меня все не кончаются эти главы. Целые дни я думаю о них, и все что-то мне не нравится. Не знаю, что будет! Из Москвы — ни слова! Денег всего два рубля. У кого займу — не знаю; завтра еду в Щелканово. Ни на жалование, ни на провизию; это удивительно! Этого-то еще никогда со мной не бывало! Так что именно одна надежда на Бога, и, вероятно, от Бога я так спокоен, что жду с любопытством, что же это выйдет, когда послезавтра не будет ничего... À la lettre!* Я не шуча предупреждаю всех людей, что на сентябрь они хоть побирайся. А они все смеются.

Варька собирается даже водить меня самого как слепого. Что она выделывает... ты себе вообразить не можешь, передо мной... Конечно, по-детски. Но все-таки... Например, политикой интересуется, когда слышит, что я говорю

---

* Буквально (*фр.*).

о ней с Яковом Семеновичем [1] или с Прокофием [2]; садится и вдруг спрашивает: „А греки за нас?“

Ходили мы за грибами ⟨...⟩. Аукается со мной разными голосами, а когда я убираю грибы на поднос, оборачивается и с кокетством: „Ишь вы, любите все красиво!“ Наконец, до того уже развернулась и начала так шуметь и стучать и громко при мне крикицу делать, что я должен был остановить ее и сказал: „Девушка должна все делать тихо и нежно, а не грубо“... Вообрази, она после этого замечания присмирела и до того выразительно тихо стала класть грибы на подносы, что мне стоило много труда, чтобы сохранить серьезный и строгий вид. Беда!

Ну, прощай. Не опаздывай, мой друг, с рукописью.

Что буду делать без денег — не знаю!

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *Яков Семенович* — кудиновский крестьянин.

[2] *Прокофий* — один из кудиновских слуг.

73. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

17 сентября 1877 г., Кудиново

Ах, Марья Владимировна, дай мне хоть с тобой отвести душу сегодня! Мне очень тяжело... на любой лад тяжело... Во вторник я все-таки до известной степени очертя голову еду в Москву через Калугу. (Сегодня — пятница.) Батюшка [1] не запрещает, конечно, но не особенно и советует хлопотать о месте земского врача. К несчастью, в их советах мне есть все какая-то нерешительность и даже противоречивость; но это я говорю не в виде ропота на них, а, видно, на то воля Божия, чтобы я был в этих делах опять на свой собственный разум предоставлен. Тяжело это, когда ни в свой, ни в чужой разум уже давно не веришь, а остается руководиться им... ⟨...⟩

Ради Бога, пойми меня... (Притворись понимающей... Ах! Обмануть того не трудно, кто сам...) Ни молиться правильно, ни читать, ни писать, ни думать... Нет! В таком положении ты меня еще не видала! Мне кажется, что это похоже на то состояние озлобления и растерянного ужаса за эту материальную будущность, которое испытывала мать моя, когда начались реформы... ⟨...⟩

И как трудно, сознаюсь тебе, в эти минуты не презирать таких друзей, например, как хоть бы этот самый Губастов... Ведь он, жалкий человек, какой-нибудь сестре своей или зятю дал бы на выкуп имения 2000... Отчего же он мне их дать не может, мне, которого он будто бы так любит и так восхваляет? Скажи, можно ли воздержаться в такие минуты от сердечного и глубокого презрения ко всем этим, которые могут и сами не знают, почему не хотят. Часто это даже и не от скупости, а от какой-то мерзкой плоскости, от неспособности к какому бы то ни было порыву.

Ну, и эти о. о. Исаакии [2] тоже хороши... И я не знаю теперь, не было ли это искушением с моей стороны, что я не вернулся к Пимену тогда осенью. Нет, право, он еще умнее других... Вот какой круг совершили мысли мои за эти последние, почти безумные от озлобления и горести дни... ⟨...⟩

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *Батюшка...*— духовник Леонтьева о. Амвросий Оптинский.

[2] *О. о. Исаакии,*— кого имел в виду К. Н. Леонтьев, не выяснено.

74. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

22 сентября 1877 г., Мещовск

⟨...⟩ Всего в письме не выскажешь, но я бы многое, многое бы сказал тебе! И о Карманове [1], и о бедном (истинно бедном) Кудинове, которое нынешний год стало

для нас уже не опорой, а бременем, и не доходной статьей, а предметом расхода... Маша! Маша! Эти туманные лунные ночи! Эти могилы наши без памятников... Эти красные листья вишен и осин... Эта Джальма с новыми щенятами, эта Варька... Эта щелкановская церковь на краю земли... Эти портреты... Неужели Бог не поможет нам сохранить все это? А жить там постоянно и безвыездно и даже без прилива кармановских, так сказать, начал... можно... Все возможно... Но это хуже всего. Верь моему теперь опыту и вспомни иные свои минуты... Все лучше — и Мещовск, и Сапожок [2], и твоя боль спины в Сапожке, и моя боль спины в Оптиной... чем это одиночное заключение навеки с каким-то немым рыданием прошлого вокруг. Этого не вынесет никто! ⟨...⟩

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *Карманово* — соседнее с Кудиновым имение Раевских.

[2] *Сапожок* — уездный город Рязанской губ.

75. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

27 сентября 1877 г., Кудиново

Я вчера вечером приехал из Мещовска. Сегодня поутру сделал невозможные усилия, чтобы писать, и написал только 2 страницы. Не лень (избави Боже теперь лениться, когда все висит на волоске), а мысли спутаны, и нет никакой возможности сосредоточиться. Нет, видно, или мне нельзя в Кудинове писать без верного и надежного человека, который бы так, как ты или даже Людмила, понимал бы, как и когда устранить от меня вещественные заботы, или это потому, что будущее и близкое уж очень неверно и страшно! ⟨...⟩

⟨...⟩... Меня очень обрадовало, что ты больше веришь в литературу мою, чем в должность по Земству. И батюшка

относится к этой должности не совсем отрицательно. Он боится за мое здоровье и, как видно, за близость ⟨...⟩, и я рад удалиться от нее, но теперь не столько от искушения, сколько от неприятности и нового бремени какого-нибудь; она выдумала еще не слушаться сразу, и ты понимаешь, что после этого я должен чувствовать... Чувство мое улетело так быстро, что я не найду его! Она забыла то, что я столько раз говорил ей: „помни, что ты мила мне, пока это приятно, и больше ничего!“ ⟨...⟩

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

76. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

19 октября 1877 г., Москва

⟨...⟩ Твои взгляды на Ренана [1] хороши, да не [нрзб.]. Есть вещи там исторические, которые очень хороши и которые ты, по обычаю, вероятно, упустила из виду. Например, поняла ли ты, как хорошо изображено у него брожение умов и томление сердец в греко-римском и азиатском обществе того времени? Как все бросается на новые верования, как радуется всему новому. Римские дамы еще до принятия христианства субботствуют, как еврейки, и т. п. С лихой собаки хоть шерсти клок... то есть с Ренана. Фаррара [2] ты будешь читать с наслаждением и религиозным чувством, но этой талантливой исторической картины всего умирающего греко-римского мира у него не найдешь. Довольно об этом.

О моих делах что сказать? Вчера была неделя, как я в Москве. Денег, как всегда, вначале вышла бездна; теперь все слаживается понемногу. Но вообрази, до какого мужества я дошел. Сам варю каждое утро кофе на спирту, конечно, варю так, как никаким Варькам не сварить. Или это не мужество? Может быть, это, напротив того, все большее

и большее падение в детство? Во всяком случае, можно воскликнуть: „Les jours se suivent et ne se ressemblent pas!!!“* Год тому назад я не поверил бы, что это возможно. Варю и благоденствую! Не сержусь! ⟨...⟩

Что касается до улучшения кудиновской земли, то об этом пока и думать не надо, как я из разговоров со многими убедился. Ты была права, кроме скотного двора нет средства возвысить доход с полей и не дать им изнуриться. Что делать! Дача — и больше ничего! И что ж, мой друг, если Богу угодно, чтобы мы, утомившись наконец оба, продали бы его и на 3000 остатку построили бы домик около Оптиной, чтобы забыть там вся и все, разве это не благодать была бы Господня? Сама знаешь, мы от многого отреклись, если придется отречься и от священных кудиновских воспоминаний, то ведь это было бы о Христе? И священны эти воспоминания не по-христиански, а весьма по-плотски, не духовны, а душевны и наполовину даже очень грешны. Самые приятные-то и грешны большею частию!..

Кудиново — это очень опасно... Ты сама знаешь... Или слишком цветистые картины, или убийственное уныние. Середины нет. Впрочем, до продажи еще, слава Богу, далеко, а лучше приучить себя и к этой горькой мысли, чтобы она стала не так горька. Я перестал теперь вовсе почти о земных делах молиться и прошу Господа только душу мою несчастную спасти!.. И еще, чтобы телу не было уж очень тяжело, а так, как эти года все,— ничего. Если будет верный кусок хлеба, то пусть будет и хуже... Только поближе к Церкви...

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] Эрнест *Ренан* (1823—1892)— французский филолог и историк. Автор многотомной „Истории происхождения христианства“, из которой громкую известность получила „Жизнь Иисуса“ (1863), подвергавшаяся

* Дни сменяются, но не походят друг на друга (*фр.*).

резкой критике за очеловечение образа Христа и за легковесность. Влад. Соловьев так отзывался о Ренане: „Познакомился я с известным Ренаном,— пустейший болтун с дурными манерами“ (Соловьев Вл. Письма. П., 1923. С. 147). В 1889 г. он пишет: „Из романов пробежал оба тома „Истории израильского народа“ Ренана“ (Там же. С. 213).

[2] Фредерик Вильям *Фаррар* (1831—1903)— популярный в России английский духовный писатель. Автор „Жизни Иисуса Христа“ (1874), выдержавшей множество изданий, и других книг по истории раннего христианства.

77. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

24 октября 1877 г., Москва

⟨...⟩ Не знаю, что мне делать со своим сердцем! Не проходит дня почти, чтобы я именно против этой стороны моего характера не молился. Знаешь, кто теперь, мой друг Маша, не сходит у меня с ума? Это дочь Т. [1] ... Хотя она очень занята и еще не успела быть у меня, и сама мать простодушно уверяет меня, что она боится за дочь, потому что я могу еще нравиться, и не подозревая даже, как подобные слова подстрекают и дурно действуют на воображение. К тому же она еще прибавляет: „Саша очень хочет прийти к вам со мной, да очень много работы...“ Искушение! ⟨...⟩

Я все-таки молюсь об одном земном деле, чтобы Бог сподобил меня жизнь кончить не в миру, а в монастыре. И мне бы очень хотелось именно от добра, а не от худа уйти в Оптину совсем; спокойно перешагнуть порог, так спокойно и просто, как я еду теперь гостить туда на время. Шевелится змея честолюбия, не скрою; но лишь бы было благословение старцев, а этой-то змее растоптать голову с помощью Божией легче именно тогда, когда сознаешь, что достиг незаметно того, чего давно желал,— правды в литературном мире ⟨...⟩.

Хотя, конечно, и то сказать — мысли о монастыре все-таки более земная забота, чем простая молитва о спасении души, где бы то ни было... Молитва о жизни в монастыре есть молитва о средстве спасения, а не о самом спасении, которое доступно и в миру... Но что делать — мы люди. И от земли оторваться не можем!

Хорошо! Положим, и теперь можно разбить голову змею честолюбия, тем более что змей и без того уже издыхающий; положим, что мы и Кудиново можем о Христе на карту поставить, но где наше с тобой вместе жилье около Оптиной? Меня примут в скит с пенсией, а ты?

И еще — как же в принципе отказаться от платежа долгов? Это и о. Климент [2] говорит: ни один хороший духовник не скажет вам — не платите!.. ⟨...⟩

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *...дочь Т.*— неустановленное лицо.

[2] *О⟨тец⟩ Климент* (Константин Карлович Зедергольм, ок. 1828—1878)— сын реформатского пастора в Москве. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Под влиянием Т. И. Филиппова и И. В. Киреевского в 1853 г. принял православие. Служил в Синоде. В 1862—1863 гг. поступил послушником в Оптину Пустынь, где и оставался до конца жизни. Леонтьев сам постригся в монахи под именем Климента и написал его биографию. (Православный немец. Оптинский иеромонах отец Климент (Зедергольм). Варшава, 1880. Книга была дважды переиздана: в 1882 и 1908 гг.).

78. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

30 октября 1877 г., Москва

⟨...⟩ А то, что Кошелева [1] тебе сказала, это такой вздор и так маловажно, что не нужно было бы и внимания обращать на это. Ты говоришь, что не нашла сказать ей на это ничего умного, так это ты правду говоришь. Умнее было

бы сказать: „Да, это правда, дядя больше виноват, чем жена его; впрочем, не сужу и т. д.“ Ведь правда, что корень зла был во мне, а она была прекрасная жена! Ты это знаешь.

О Людмиле сказать нечего больше. Написал ей письмо. Не знаю, как ты найдешь его. Посылаю его тебе, если что-нибудь уж слишком ясно — зачеркни хорошенько. Как твой инстинкт? В практических делах инстинкту и я верю. В нравственных вопросах не надо слушать слишком сердца тому, кто хочет быть христианином; а в делах житейской мудрости, так сказать, инстинкт иногда вернее умственных расчетов.

Я вынужден буду не дописать это письмо, которое грозит быть очень длинным. Времени нет, а мне бы хотелось поскорее утешить бедную Людмилу, если только твой инстинкт не противится отправке моего письма. Только, пожалуйста, без того слабодушия, которым ты так страдала последние года. И доброте есть предел — польза и вред того, кого жалеем. Мало ли что ей приятно! Но надо прежде всего тайну — ты ее знаешь, она, пожалуй, в иные моменты и не прочь компрометировать нас, чтобы больше нас с собой связать. Но этому не надо потворствовать. Помолимся за нее Богу, и пусть терпит, а при первой возможности материально помочь — поможем. Вот и все!

Прилагаю еще письмо Лизы, сегодня получил. Отвечать ей не буду. Хотя, по правде сказать, до сих пор не знаю, прав ли я или нет... Больно иногда и совестно, когда подумаешь о том, как живу я и как живет она... Но как быть, когда и при такой жизни я едва справляюсь со всем тем, с чем нужно справиться, чтобы не было еще хуже всем нам и ей в том числе... Вот и знакомства все увеличиваются, отнимают время, вводят в расходы, а без них и доходов не будет, не говоря уже о вдохновении...

Что за безвыходный, заколдованный круг!..

Вчера был вечером у Иониной [2]; по воскресеньям у них богатые жиды и скучные немцы играют в карты, а мы с ней

беседуем. Она исправилась много у меня. Ужин только в этот день бывает, оттого я и езжу по воскресеньям. Т. с дочерью тоже часа три сидели, пили чай, она очень подурнела от работы, бедная, но это для меня лучше и полезнее.

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *Кошелева.*— См. примеч. к письму 81.

[2] *Ионина* — жена дипломата А. С. Ионина.

79. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

10 ноября 1877 г., Москва

⟨...⟩ Писать ли Вам о себе? Право не знаю. Разве очень мало. По внешности все то же: Иверская [1], Катков, Лоскутная [2], Неклюдовы, „Одиссей“ и т. д. Но все лучше и лучше. Иногда я очень этого боюсь, и, несмотря на то, что с точки зрения практической лучше всего бы в декабре или январе ехать на Восток (Катков почти согласен дать мне рублей тысячу вперед на эту поездку с целью писать о болгарах), несмотря на этот шанс и на прекрасное (сравнительно с прежним) состояние здоровья, мне по мере приближения декабря все приходит более и более в голову надеть опять хоть небольшой, но добровольный терновый венец поста, от которого болит спина моя нестерпимо, тесной кельи, принудительной и сухой молитвы, словом, хочется поехать снова до лета в Оптину Пустынь („Ччерт! Помешательство! Жалость какая, пропадает этот чччерт Леонтьев!“). Дай Бог, чтобы это чувство у меня укрепилось, хотя и очень будет в сердце жаль такого единственного случая поправить вообще дела мои этой поездкой на Дунай.

Больно будет, но что же и за расплата без добровольной боли. Не от горя, а от радости надо удалиться в монастырь.

А может быть, и в Болгарию поеду. Все в руце Божией, а мне все равно, было бы здоровье ⟨...⟩.

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *Иверская* — чудотворная икона Божией Матери, одна из величайших святынь Афона. Находится в Иверском монастыре, отчего и получила свое название. Точный список с нее был доставлен в Москву в 1648 г. Находилась в особой часовне у Воскресенских ворот.

[2] „*Лоскутная*“ — название московской гостиницы.

80. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

15 ноября 1877 г., Москва

⟨...⟩ Я все стою на том, что не все сохраняющие долго места свои равно добросовестны; и так как обучение французскому языку русских девочек из разночинцев есть вещь вовсе в патриотическом смысле не полезная и даже презренная, то с лихой собаки (т. е. с О. Ф. [1]) хоть шерсти клок! Если можно без вреда для твоих выгод, надувай всех, дружок, не на живот, а на смерть! Не утомляйся! ⟨...⟩

Наши в Турции продолжают свершать подвиги. Делают в самом деле удивительные дела. Этот ночной штурм Карса [2]— такой сильной крепости, которую в 55-м году так долго осаждал такой храбрый генерал, как Муравьев [3]... И взятие редута около Плевны солдатами Гурко [4] (прочти корреспонденцию князя Шаховского [5] в № 283, особое прибавление ноября 15). Это удивительно! Сколько ума у солдат, кроме храбрости! И что же, если все это приведет только к большему распространению европеизма и хамства?..

Впрочем, и мы сами (т. е. прежде всего я) хамы стали. По железным дорогам то и дело лечу, в электрической звонок без умолка звоню, цилиндр есть, пульверизатор есть, чуть-чуть было воздушной подушки не купил. Опом-

нился! Хоть только православного исповедания, а не деист либеральный. Вот и все. ⟨...⟩

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *О. Ф.*— неустановленное лицо.

[2] *...ночной штурм Карса...*— Карс, город и крепость в Турции на границе с Арменией. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. после осады был взят штурмом в ночь на 6 ноября 1877 г. Русские войска потеряли более 2000 человек. Падение Карса имело огромное значение для дальнейшего хода войны в азиатской Турции. Руководивший осадой и штурмом М. Т. Лорис-Меликов был возведен в графское достоинство.

[3] Николай Николаевич *Муравьев* (1794—1866)— генерал от инфантерии. Участвовал в войне 1812—1814 гг. Был наместником Кавказа. Один из самых образованных генералов русской армии. Во время Крымской войны руководил осадой Карса. Первый штурм 17 сентября 1855 г. был отбит с огромными для русских потерями (около 6,5 тыс. человек), но вследствие тесной блокады 16 ноября 1855 г. крепость была вынуждена сдаться.

[4] *...взятие редута около Плевны солдатами Гурко...*— Иосиф Владимирович Гурко (1828—1901), генерал-фельдмаршал, член Государственного Совета, кавалер всех российских орденов. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. командовал передовым отрядом. Преодолевая величайшие трудности, перешел Балканы. Разгромил турок под Горным Дубняком. Запер Осман-пашу в Плевне, после чего совершил достопамятный зимний переход через Балканы, в результате которого были заняты Филиппополь и Адрианополь. Упоминаемое Леонтьевым „взятие редута"— это знаменитый бой под Горным Дубняком 12 октября 1877 г., когда после жестокого штурма (потери русских — около 3,5 тыс. человек) было взято важное предместное укрепление плевненской крепости.

[5] Лев Владимирович *Шаховской* — князь, автор книги „С театра войны (1877—78). Два похода за Балканы" (М., 1878). Был женат на дочери М. Н. Каткова, Варваре Михайловне.

81. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

27 ноября 1877 г., Москва

⟨...⟩ Теперь о чем же?

Положим, хоть о Фефêле Федоровне Кошелевой [1]. И мое дело с ней нейдет что-то; обещала дать знать, ничего не пишет. Чтобы больше не томить тебя законным любопытством, скажу, что дело это не что иное, как чтения публичные или беседы об Афонской горе в связи с Восточным вопросом в пользу Красного Креста ($^1/_2$) и $^1/_8$ — в пользу черногорцев. Фефела предлагала мне делать это в пользу воспитания болгарских сирот. Но я извинился и сказал, что другое дело раненый мужик, другое дело варвар черногорец — для них я готов, а уж на европеизацию юго-славянских девиц не дам ни гроша! Она очень вежливо, робко и глупо улыбнулась. Она ничего не понимает. И, верно, Аксаков вооружил меня против нее. Ничего, и на нашей улице с помощью Божией будет праздник, а если Господь захочет, то я и до Аксакова тогда доберусь! Бюффон [2] сказал: „Le génie c'est la patience!"* Оно хоть и неправда, но я люблю это изречение вспоминать (ах, обмануть того нетрудно, кто сам...) ⟨...⟩

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *Фефела Федоровна Кошелева* — Ольга Федоровна Кошелева, урожденная Петрово-Соловово (1816—1893), жена публициста-славянофила, общественного деятеля и предпринимателя А. И. Кошелева (1809—1883), которая могла помогать мужу в благотворительной деятельности. „Фефела" (то есть простофиля), несомненно, не что иное, как ироническое прозвище.

[2] Жорж Луи *Бюффон* (1707—1788)— французский естествоиспытатель, автор обширной (36 томов) „Естественной истории", в которой

---

* Гений — это терпение (*фр.*).

описал множество животных и выдвинул идею единства растительного и животного мира.

82. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

10 декабря 1877 г., Москва

Не дождусь я тебя, Марья Владимировна, очень хочу тебя видеть. Оптинские старцы и знать меня не хотят, не пишут, на жгучие вопросы не отвечают. Здесь меня теперь многие любят, я это вижу, но никто моих духовных чувств не понимает... С тобой бы отвести душу!.. Нет! Душе моей через меру довольно двух удачных месяцев в Москве! Чем удачнее и покойнее, тем глубже тоска по монастырской сухости, по монастырской скуке... Хочу опять их отвратительной пищи, принудительных молитв, жесткой постели, безмолвия в окне... Скуки! Скуки! Но чистоты и всего этого искусственного строя, которого действие, однако, так глубоко... Хочу даже боли в спине от телесных неудобств, если это неизбежно. ⟨...⟩

Если ты спросишь, что я думаю дальше делать? Не знаю. Что выйдет само собою. Оптинские старцы меня не поддерживают, забывают. Ты счастливее меня в духовном отношении, ты чище, у тебя есть скучное принудительное послушание, а я почти в роскоши и предан на растерзание демонов блуда, честолюбия, празднословия и объедения!.. Господи! Господи!

Вообрази себе, какое у нас Православие. Недавно было совещание у Неклюдовых о том, чтобы переменить законоучителя Верочке [1]. Она учится не одна у него, а по складчине с двумя другими девицами. Мать этих девиц пришла в негодование, услыхав, что священник говорит барышням: „Креститься поутру необходимо, ибо само знамение креста уже изгоняет бесов“. Я не вытерпел и начал с этой дамой спорить; мад⟨ам⟩ Неклюдова [2] (которая всех больше пони-

мает), не особенно разделяя мнение идеальной дамы (которая находила такое объяснение мужицким, детским и т. д.), сказала, однако, что вообще этот священник прост ·и что нужно поискать человека потоньше, советовалась со мною. Я вспомнил, что сама Неклюдова недавно перед этим говорила прекрасно о том, что ей женатое духовенство кажется вещью все-таки не совсем благопристойной и что ее идеал это худой иеромонах (а что он там делает — я, мол, знать не хочу!). Я предложил: „Не хотите ли, я поищу ученого, старого и худого монаха?". Она — ничего, но он, старик, воскликнул: „Избави Боже! Монаха! Нет! Нет!" А другая дама: „Non, non, les moines sont trop mystiques!"* Да что же за вера без мистицизма — т. е. без чудес, без символов, без веры во все эти символы (т. е. в крест, даже в машинальный, например)? Заметь, что Неклюдов вообще-то монахов любит объективно: и в политике был за власть патриарха и против своеволия болгар[3]. А когда дошло до дочери, так и перепугался.

Не сказать ли, Маша, еще раз: „О, Господи! Господи!" 〈...〉

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *Верочка* — дочь В. С. Неклюдова.

[2] *Мад〈ам〉 Неклюдова* — М. Г. Неклюдова, жена В. С. Неклюдова.

[3] *...за власть патриарха и против своеволия болгар.* — Речь идет о раздорах между Болгарией и константинопольским патриархатом. В 1870 г. султан издал фирман о Болгарском экзархате, которым была создана самостоятельная болгарская церковь. Это произошло без благословения патриарха, что требовалось каноническими правилами. Вселенский патриарх Анфим на соборе 1872 г. объявил болгар раскольниками и отлучил от вселенской православной церкви.

---

* Нет, нет, монахи слишком уж мистичны (*фр.*).

83. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

16 января 1878 г., Москва

⟨...⟩ Завтра мне предстоит все утро посвятить принудительной корреспонденции: К...й, Ф-в, Д-й, Соррос-в [1] и даже Людмиле. Мне и некогда, и не хочется вовсе писать ей. И нечего сказать, кроме дела и слов милосердия. Увы! Как времена переходят, и как скоро помог мне Господь избавиться от теплого, но вредного чувства. Холодный грех не так страшен, противу него легче бороться. Итак, завтра дело. А сегодня вечером я хочу доставить себе удовольствие поговорить с тобою. О чем сказать. Сказать так много... ⟨...⟩

Начну с того, что после того разлагающего давления, которое вы все, Николай Яковлевич [2], ты и Катя [3], производили на меня на Святках, я воспрянул, как зверь, оставшись один, и чуть-чуть было в самом деле не начал трудиться у Каткова. Воскобойников [4] предложил было мне ходить читать немецкие газеты в редакцию (рублей за пятьдесят в месяц, и это во внимание к моим и т. д., а молодежи — не угодно ли по 25 руб⟨лей⟩), сверх того, я было сунулся составить по „Московским ведомостям" за декабрь политическое обозрение к январской книжке. Коридорный Василий даже сшил мне газету за весь декабрь... Два утра я читал и ничего не мог начать. Написал: „Падение Плевны и геройский штурм Карса..." и остановился. Смотрю, Англия, пустые фразы, осторожные, скучные, все одно и то же. Не знаю, кто такой Карнарвон [5], Форстер [6] какой-то, кажется, за нас, а я ему за это вовсе не благодарен; гляжу — Франция, Италия, Австрия. Все скука и пустота. Во Франции знаю только Мак-Магона [7], какой-то Дюфор [8] еще тут явился; хоть убей, не знаю, что об нем сказать, кажется, министр юстиции... Но на что он мне? Этот буржуа? Виктора-Эммануила [9] нисколько мне не жаль; а Осман-Пашу [10] жалею... И т. д. А книжка должна

скоро выйти, и боюсь, Михаил Никифорович [11] скажет: „Леонтьев опять капризничает!“ Евгения [12] тут же скрипит башмаками, денег в виду нет. Не знаю, как быть... Не умею, не умею себя принудить не свое писать! Но Бог все помогает и разными путями. От напряжения моего ума и раздражения или от сухости воздуха в гостинице, от духовых этих печей сделалась бессонница и такое возбуждение нервов, что сказать не могу... Поэтому, заснувши в 5 часов, проснулся в 11 с тяжелою головою, заниматься нельзя. Ну, тем лучше! Сел, поехал в редакцию и с жаром искреннего раскаяния отказался 〈...〉.

Миру я все еще не верю, и в Москве никто его не желает, иначе как с временным занятием Константинополя. Я очень желаю в Угреш [13] и для молитвы, и для экономии при тех особенных обстоятельствах, в которых мы все теперь находимся. Но боюсь, что день за день дела и самое безденежье задержат меня надолго.

Буду молиться и надеяться, что Бог помилует нас всех. Больше всего я рад, что борьба серьезная во мне утихла, хотя, конечно, и сегодня у Ази [14] что-то пронеслось на миг благоуханным и ядовитым вихрем... Она еще очень хороша и гораздо свободнее и откровеннее, чем тогда, когда она была счастлива в Петербурге. Много мне улыбалась, говорила немало и очень прямо. Дочь ее очень мила. Но у Ази самой есть еще минута задумчивости и внезапной рассеянности, которая беспокоит родных. Она сказала: „Что я буду делать в Спасском? Нельзя все вязать тамбурной иголкой?“ Хочет в Швейцарию и переводами заниматься, чтобы не брать много денег у отца, и жалуется, что швейцарцы очень глупы. Да, кстати, и Булгаков-Незлобин [15] говорит о Германии и о немцах так дурно, что я не нарадуюсь. Турок он немножко понимает 〈...〉.

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *К...й, Ф-в, Д-й, Соррос-в* — неустановленные лица.

[2] *Николай Яковлевич* — Н. Я. Соловьев, драматург.

[3] *Катя* — племянница Леонтьева, Екатерина Васильевна Самбикина, впоследствии игумения Шамординского монастыря под Козельском.

[4] Николай Николаевич *Воскобойников* (1838—1882) — публицист, постоянный и деятельный сотрудник „Московских ведомостей".

[5] Генри Джон *Карнарвон* (1831—1891) — английский государственный деятель. Занимал пост министра колоний. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. был противником поддержки Турции.

[6] Вильям Эдуард *Форстер* (1818—1886) — английский политический и государственный деятель.

[7] Мари Эдм *Мак-Магон* (1808—1893) — французский маршал и политический деятель. Во время осады Севастополя командовал дивизией, взявшей Малахов курган. После начала франко-австрийской войны 1859 г. отличился в битвах при Мадженте и Сольферино. Был главнокомандующим в Алжире, где жестоким и неумелым управлением вызвал восстание. Во время франко-прусской войны 1871 г. был разбит при Седане. Командовал войсками против Парижа, захваченного коммунарами. В 1873—1879 г. президент Франции.

[8] Жюль Арман *Дюфор* (1798—1881) — французский политический деятель. Возглавлял министерства публичных работ, внутренних дел и юстиции. В 1876 г. премьер-министр.

[9] *Виктор Эммануил* II (1820—1878) — король сардинский, с 1861 г. — король Италии. Наряду с Гарибальди и Кавуром один из главных деятелей объединения Италии. Оставался верным своему обещанию строго соблюдать конституцию, за что и получил прозвание „король-джентльмен".

[10] *Осман-паша* (Осман-паша Нури-Гази, 1837—1900) — турецкий генерал и военный министр. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. прославился искусной и упорной обороной Плевны и сдался лишь после неудачной попытки прорыва. За бой 18 июля под Плевной получил титул „Гази" (победоносный).

[11] *Михаил Никифорович* — М. Н. Катков.

[12] *Евгения* — неустановленное лицо.

[13] *Угреш* — Николо-Угрешский монастырь под Москвой.

[14] *Азя* — в замужестве Скуратова, вероятно, дочь или родственница барона Д. Г. Розена, в чьем нижегородском имении Спасское Леонтьев был домашним врачом после Крымской войны.

[15] *Булгаков-Незлобин* — московский литератор Булгаков, писавший под псевдонимом Незлобин. Других сведений о нем не найдено.

84. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

19 января 1878 г., Москва

⟨...⟩ В субботу еду в Петербург представляться светлейшему [1] с 200 руб⟨лями⟩, и с двумя рекомендательными письмами весьма надежного источника. От дамы [2], которая знатна и когда-то, видимо, была красива. Она в постоянной переписке с князем Горчаковым ⟨...⟩.

Статьи мои газетные так и пекутся; посмотрим только, будут ли подавать их на стол. ⟨...⟩

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *...еду в Петербург представляться светлейшему...* — Имеется в виду светлейший князь Александр Михайлович Горчаков (1798—1883), дипломат, государственный канцлер, воспитывался вместе с А. С. Пушкиным в Царскосельском лицее.

[2] *От дамы...* — неустановленное лицо.

85. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

30 января 1878 г., Любань [1]

Вот откуда Вам пишет Ваш придирчивый, но искренний друг, Ваш „чччерт — ретроград и ханжа!“, который с монахами умеет разговаривать только о „молоке“, вот откуда он шлет Вам привет и новую статью „Голоса“ о „Женитьбе Белугина“. Я очень горжусь тем, что я первый понял ясно, какие залоги драматического успеха таятся даже и в незрелой и грубой „Разладице“ Вашей. ⟨...⟩

Меня в „Голосе“ тоже отделал Е. Марков [2] за то, что „Одиссей“ без завязки и движения, и поделом. Я с ним согласен, но что Тургенев и Достоевский выше меня, это вздор. Гончаров, пожалуй. Л. Толстой, несомненно. А Тургенев вовсе не стоит своей репутации. Быть выше Тургенева — это еще немного. Не велика претензия. Один язык его для человека понимающего, что такое язык сильный (Гоголь, Щедрин) или язык изящный (Пушкин, Грановский, старик С. Аксаков, Марко Вовчок), один язык Тургенева, никогда ни сильно-грубый, ни изящно-простой, ни увлекательно-цветистый, а какой-то мелочный и дряблый, может вызвать отвращение. Особенно „Записки охотника“ ⟨...⟩.

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] Любань — дачное место и железнодорожная станция в 77 верстах от Петербурга. Отвыкший от городской жизни, а также по экономическим соображениям, Леонтьев после нескольких недель пребывания в Петербурге переехал в Любань и поселился там на одной из дач.

[2] Евгений Львович *Марков* (1835—1903) — писатель, публицист и земский деятель. Его статьи в „Голосе“ имели шумный успех. Один из первых оценил талант Л. Н. Толстого.

86. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

11—14 февраля 1878 г., Петербург

⟨...⟩ Губастов находит, что мои акции в Министерстве [1] стоят очень высоко. И мне самому это кажется; все очень любезны, и все влиятельные лица выражают готовность дать мне хорошее место. Не будь я так привередлив и разборчив, то и разговору бы не было. Но я стал на одном, что, кроме Константинополя, ничего бы не желал. А в Константинополь нелегко. Впрочем, я решился принять и другое что-нибудь в случае крайности. Теперь дело остановилось на мысли, чтобы сделать меня 2-м драгоманом

для дел с патриархией[2]; жалованья 4 500 и квартира. Главная трудность в том, что дела политические таковы, что никто сам не знает, что завтра будет, мир или война[3]... ⟨...⟩ Скажу еще, что место в Константинополе для дел с патриархией я сочту за истинный дар Господень. И Т. И. Филиппов[4] придать готов этому духовное значение, а он не менее нас с тобой православен. Поэтому, голубчик, помолись ты поусерднее за это дело, я в твою честную и трудовую молитву ужасно верю и... даже боюсь ее, так что не знаю, как приступить к описанию тебе некоторых других моих дел и событий дня. Впрочем, слава Богу, опасного в них мало; вероятно, и не будет, ибо, с моей стороны, есть все-таки знакомая тебе честность речи, а с той, если не ошибаюсь, много воли и „себе на уме"... Ты угадала или нет? Ну, конечно, ямщичок[5]. Дело пошло очень скоро, но мы оба спешим каждый по-своему, ставим себе тесные рамки и не хотим выходить из них. Она удивительно мила; и хитра, и смела донельзя. Ее „развивать" — куда! Едва ли уж не она меня развивает. По крайней мере, она заставляет меня упражняться в такой тончайшей дипломатии, что мне и передать себе трудно, как это делается. ⟨...⟩

Одним словом, всего тебе не передать. Впрочем, я еще одно скажу. Мне кажется, и мать[6], и 20-летний брат[7] догадываются. И отчасти мешают, отчасти — нет. Мать либеральна, обожает детей и слаба противу них, а брат, не знаю, что думает. Вчера мы с ней при них заспорили. Мать вступилась за дочь, а брат говорит: „Оставь, мама! Il ne faut pas mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce*. Может быть, люди находят удовольствие в пререканиях, и им очень досадно, что другие мешают ссориться".

А на днях я у них обедал, мать собиралась на вечер, Ольга должна была остаться дома одна. Я взял перчатки. А мать говорит: „Куда вы? Сидите. Я скажу там, что

* Не суй палец под кору дерева (*фр.*).

Ольга потому не поехала на вечер, что мосье Леонтьев проповедует ей православие..." И мы пробыли одни от 9 до половины 2-го часу ночи... Вообрази, что это был за рай земной! 〈...〉

В Петербурге оттепель, тиф, дифтерит, ужасная смертность, а я все это время редкий день ложился раньше 3-х часов ночи и вставал все в 8, и при этом так бодр и лицом свеж, что удивляюсь. Такова милость Божия ко мне грешному за молитвы Батюшки! А я, грешный, до 3-х часов все у нее сижу, никак не насыщусь. Однако пора опомниться! Великий пост близко. Хочу дешевизны, покоя, молитвы и труда. Буду, впрочем, стараться скрывать от всех калужских и московских, что я в Любани. И ты это знай. Кажется, мы с тобой скоро простимся надолго (если не навсегда!) с Россией и начнем по воле Божией опять какую-то новую жизнь! 〈...〉

Публикуется по копии (ЦГАЛИ). Частично опубликовано в журнале: „Русская мысль". 1917. Ноябрь — декабрь. С. 17, 18.

[1] *В Министерстве* — то есть в министерстве иностранных дел.

[2] *...для дел с патриархией...*— подразумевается Константинопольская патриархия.

[3] *...что завтра будет, мир или война...*—19 февраля 1878 г. в главной квартире русской армии в местечке Сан-Стефано, расположенном в 15 км от Константинополя, был подписан мирный договор, предусматривавший создание автономной Болгарии, а также независимость Сербии, Черногории и Румынии.

[4] Тертий Иванович *Филиппов* (1825—1899)— государственный и общественный деятель, писатель. Окончил курс историко-филологического факультета Московского университета. Входил в кружок Ап. Григорьева, А. А. Фета и А. Н. Островского. Исповедовал славянофильство, русским идеалом считал церковный строй жизни допетровского времени. Одним из первых показал художественное значение народных преданий и песен. Служил в Синоде и Государственном контроле, где достиг министерского поста. Как вспоминал С. Ю. Витте, „Тертий Иванович был церковник; он занимался церковными вопросами и вопросами лите-

ратурными, но литературными определенного оттенка, вопросами чисто мистического направления. Он был человек неглупый, но как государственный контролер и вообще как государственный деятель он был совершенно второстепенным. Т. И. Филиппов, собственно, не занимался теми делами, которыми он должен был заниматься, то есть контролем над всеми государственными, экономическими и хозяйственными функциями" (Витте С. Ю. Воспоминания. В 4 т. Т. 1, М., 1960. С. 307).

[5] *...ямщичок...*— О. С. Карцева (см. примеч. к письму 88).

[6] *...мать...*— Е. С. Карцева (см. примеч. к письму 88).

[7] *...20-летний брат* — Ю. С. Карцев (см. примеч. к письму 88).

87. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

18 февраля 1878 г., Петербург

Николай Яковлевич, я был так занят и озабочен все это время, что большого письма не мог Вам написать и несколько раз уже хотел было написать маленькое с эпиграфом: „Не сули журавля в небе, дай синицу в руки!" Я понимаю по опыту, что такое ждать долго в уединении дружеского слова и не дождаться. Но это не для Вас только. Для меня самого истинное удовольствие писать к Вам именно не 2 слова, а 222. Зато уж и скажу я Вам сегодня слова! Сперва приятные, такие, каких Вы еще не слыхивали, а потом, если успею, то грозные и отеческие.

Во-первых. Вы сразу перешли рубикон. Вы — известность. Вы сразу получили имя. В Петербурге я пробыл теперь около 3-х недель, и не проходит дня и нет дома, когда бы и где бы не говорили о „Белугине" и о Вас. ⟨...⟩

Николай Яковлевич, я сам автор, и потому Вы мне поверите, если я Вам скажу, что я бы завидовал такому успеху, если бы я умел завидовать. Но Вы меня знаете. Итак, Вы сразу — попали в седло. Надо теперь не только уметь усидеть, мой друг, надо уметь лет 15—20 ехать в гору. Орудие у Вас есть, формой в смысле [нрзб.] Вы

владеете о сю пору. Относительно содержания — Вы уже вышли на хорошую дорогу, на путь изображения жизни и всей бесконечной красоты ее, с ее разнородной борьбой и разнородным очарованием, с ее тоской, ее романтическим томлением, с ее отрадами, ужасами и кроткой прелестью. Вашей драмой „Без искупления“ Вы доказали, что умеете делать то, что французские критики хорошо называют: „Tailler dans le vif“ („Резать по живому“). Вы доказали этой восхитительной драмой, что Вы умеете возводить жизнь в перл создания, то есть наблюдать, понимать, горячо сочувствовать и, очищая явления действительности от случайных частностей и примесей, представлять, так сказать, художественную сущность того, что Вы видите и наблюдаете. Это и есть цель искусства. И в этом-то смысле германские философы говорили, что истинная поэзия правдивее самой жизни. В этом ее сила и ее искренность. В этом смысле Фет — поэт, а Некрасов — тенденциозная, грубая и лживая дерзость. Итак, Вы имеете все данные, чтобы стать украшением русской сцены и... кто знает, может быть... и славой России.

Надо только впредь посерьезнее к самому себе относиться. Дорожить собою и не осквернять свою душу и свой дар так, как Вы делали до сих пор. Конечно, я слишком много и разнообразно жил сам, чтобы не понимать, до какой степени развитие умов и талантов разнородно и как много помогает иногда творчеству что-нибудь худое в нашем прошлом, если только мы, вступая в новый период развития нашего, с отвращением оставим это худое. Любим Торцов [1] действительно не мог бы создать даже и Любима комедии, если бы он писал ее сам. И не одно это — все внешнее надо переменить. Не надо неряшливой и угловатой внешностью закрывать себе двери в такие места, которые могут раскрыть перед воображением Вашим необозримо новые горизонты. Вы не имеете права оскоплять свой ум, Вы должны сломить свою свободу и свои привычки во имя призвания. 〈...〉

Теперь об одном очень влиятельном, очень важном и очень к Вашему таланту заочно расположенном лице. Есть некто Терций Иванович Филиппов; он богослов, набожный человек, хороший и строгий семьянин, моих лет и уже тайный советник. Занимает крупную должность в Государственном контроле и в сердце русский человек. Он смолоду был дружен с Островским и знаком теперь, хотя и невысоко ценит его, по-видимому, как человека и как направление. Островский, будучи в Петербурге, хвалил ему Ваш дар, но сказал ему, что Вы пьете или что Вы пьяница, а о том, что он берет с Вас деньги, утаил. Так как я пользуюсь каждым случаем, чтобы поддерживать Вас и нарочно даже ищу случая на кого-нибудь или на что-нибудь натолкнуться во имя Ваше, я спросил у Филиппова: „Видели Вы „Белугина“?“, и слово за слово все открылось. Я протестовал горячо и солгал не совсем, а отчасти, следующим образом: „Какой подлец Островский! Это неправда! Я Соловьева знаю больше, чем он: я никогда не видел Соловьева пьяным (Sic!) [2], он любит вино хорошее, а когда нет денег на вино, выпьет и очищенной [нрзб.] или от скуки... Но разве это пьянство? (Простите мне эту ложь!)

— Этим-то кто из нас не грешил!— воскликнул Филиппов.

(А я сидел и думал: да, голубчик, когда бы так, а то Островский, пожалуй, ближе к истине (увы!), чем я, в этом вопросе!)

Оказалось, что Филиппов имеет виды на Вас (не для себя, конечно, а для Вас и для русской сцены, которую он, несмотря на свое серьезное православие, очень любит; смолоду он ходил в красной рубашке и славился умением петь русские песни). Какие же виды? А вот какие. Он поручил мне решительно написать Вам: хотите ли Вы служить в Петербурге? У него в Государственном контроле? ⟨...⟩

Верьте только мне, что это будет прекрасно, и службой он, вероятно, обременять Вас не станет, имея в виду Ваш дар. Он очень сдержан и хитер даже, но содержателен

и обязателен донельзя и аккуратен не в пример больше еще меня. Таких заботливых для идеи людей в России я еще не встречал. Поэтому Вы как хотите, а я считаю, что это Вам счастье, эта моя дружба с ним и его предложение. Он всех и все знает, и все ходы и подходы ему известны в Петербурге. Великие князья жмут ему руку (я сам это видел) и т. п.

А главное, что его практическая опора сразу избавит не Вас только, а и нас, Ваших почитателей, от лап Островского. ⟨...⟩

Послушайте меня еще один раз на прощанье: если Вы поедете в Петербург, заезжайте прежде на неделю в Оптину поговорить с отцом Климентом раз 10 (послушать его просвещенные речи) и попросить святого старца Амвросия благословить Вас на то, чтобы Ваша художественная деятельность была не на вред, а на пользу, хотя бы и косвенную.

Даже и как писателю, я считаю необходимым, чтобы Вы несли с собой эти поэтические и русские образы хорошего пустынножительства. Вы, милый мой, так это хорошо поймете! А я, с моей стороны, верьте, где бы я ни был, никогда не забуду Вас и Вашего рыцарского, теплого, прекрасного сердца, скрытого под той шероховатой и угловатой оболочкой, в которую облекли Вас (я уверен, только временно) нигилизм, нужда, горе и... плохое общество, в котором Вы задыхались!

Я перед отъездом попрошу Ваших однофамильцев, братьев Соловьевых [3], познакомиться с Вами, дам Вам, уезжая, их адресы. Вы слышали — один из них молодой идеальный философ и очень уже влиятелен о сю пору, а другой тоже юный, но очень даровитый критик. Они Вам будут очень полезны. И Всеволод (критик) особенно, если только вы не подеретесь, ибо у него тоже характерец, едва-едва я лажу, я — укротитель разных тигров (как Вы сами раз сказали). ⟨...⟩ Дамам отборным рекомендовать Вас еще раненько, по совести. Это будет выгоднее для Вас

же после того, как Вы уже проникнетесь теми секретными постановлениями отца, которые еще впереди. Теперь некогда. Первое впечатление — важно. А нужно бы Вам быть поближе к тонким женщинам! 〈...〉

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] *Любим Торцов* — герой пьесы А. Н. Островского „Бедность не порок".

[2] *Sic!* (*лат.*)— так! Заключаемое обычно в скобки, это слово служит для привлечения внимания, чтобы подтвердить употребление именно отмеченного слова.

[3] *Братья Соловьевы* — Вс. С. и Вл. С. Соловьевы.

88. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

28 февраля — 1 марта 1878 г., Любань

〈...〉 В Петербурге я был 3 1/2 суток на масленице и вернулся вчера измученный. Едва-едва сегодня к вечеру отоспался и пришел в себя. Не то чтобы я был нездоров, но как-то ощущения эти уже слишком для меня сильны; встречи, споры, смех, движение и, наконец, дом Карцевых [1], из которого ни за что раньше 2-х часов ночи не вырвешься. А нервы этим так возбуждены, что сам я в 8 и даже в 7 просыпаюсь. Какая же возможность это долго выносить! Я приехал в Петербург в пятницу в 8-м часу и в 10-м был уже у них. К несчастью, гостей не было, а это хуже, потому что вся семья вместе. Она [2] все та же; так же загадочна, хитра и ласкова, успела наговорить мне колкостей, надавать материнских наставлений, сказать: „А все-таки мне было без вас скучно... ужасно скучно!" А потом: „Ну, слава Богу,— в Любани обдумали, и у вас теперь все прошло!" и даже успела дать мне долго, очень долго подержать и долго целовать свою красную руку... 〈...〉 Но я немного тяготился всем этим, и весь остальной день (от

4-х пополудни до 2-х часов ночи) я по их просьбе провел у них. Гостей опять не было, и мать, и братья до того мне мешали, что я был взбешен и 20 раз собирался уйти. Наконец, устроилось 2 разговора наедине — один с помощью арфы, от 9 до 10, до чая, а другой от двенадцати до 2-х ночи с помощью одного сборника в пользу бедных, где были разные стихи. Я несколько раз порывался уйти, но она не пускала, начинала доказывать, что все эти удаления в Любань вздор и что я ничего там не напишу (до сих пор она была права) и денег истрачу много... ⟨...⟩

Я смеялся, но настоящего ей не сказал, что все это правда, но что в Любани я отдыхаю пуще всего от нее... ⟨...⟩

Теперь 1-я неделя поста, и хотя я говеть буду позднее, но все-таки. Во всем есть хорошая и худая сторона. Во всем есть дьявол. Правда, моя музыка с ней не так опасна, как кудиновские рощи[3], но зато при этих серьезных и опасных делах было и горячее покаяние, была постоянная мысль о Боге, а здесь такая рассеянность мыслей, такая внешняя борьба, что̀ ничему важному и спокойному или глубокому в сердце места не остается. Только и думаешь о том, когда же уйдет брат и когда мать удалится отдохнуть и т. п. ⟨...⟩

Ах, Маша! Маша! Сколько разных чувств и мыслей, а выразить тебе сотой доли не могу! Я очень, очень рад, что я имел твердость не уступить Ольге Карцевой, когда она убеждала меня остаться в Петербурге, и уехал сюда! Я так рад отрезвиться в одиночестве. Пойми ты это, мой друг. Вот о чем молись, Маша, сильно молись, чтобы я усерднее молился. А всякий раз, когда я „seul avec ma pensée“*, как говорила дура miss Deriman[4], так мне на Восток ехать не хочется, а хочется только в Оптину, и чтобы меня там телесно покоили, но духовно стирали бы и даже в Кудиново бы никогда не пускали. ⟨...⟩

---

* Наедине со своими мыслями (*фр.*).

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *Карцевы.*— К. А. Губастов так вспоминал о семействе Карцевых: „Первые месяцы 1878 г. мне пришлось провести в Петербурге. Неожиданно нашел я там Константина Николаевича, приехавшего искать вновь места в Министерстве иностранных дел. Мы поселились вместе в меблированных комнатах, в Большой Морской у одной француженки, и часто проводили с ним вечера до позднего часа в радушном семействе Е. С. Карцевой, с которым Леонтьев и я очень сблизились. С юным и блестящим Юрием Сергеевичем Карцевым, только что поступившим в Азиатский департамент, Леонтьев пускался в политические разговоры и пререкания, а умной, талантливой и прелестной сестре его Ольге Сергеевне развивал свои мистико-эстетические теории, в то время когда прочие гости, не особенные любители до отвлеченных предметов, сражались в винт, вошедший в то время в большую моду" (Памяти К. Н. Леонтьева. СПб., 1911. С. 217, 218).

[2] *Она* — О. С. Карцева.

[3] *...кудиновские рощи...*— Имеется в виду Людмила Раевская.

[4] *Miss Deriman* — неустановленное лицо.

89. М. К. ОНУ

4 марта 1878 г., Петербург

Михаил Константинович, милый мой, мне на днях „конфиденциально" сообщили, что *дальнейшая судьба моя* преимущественно в Ваших руках. „Как это так?!"— Вы спросите. Вот как. Я поступаю опять на службу. Князь Горчаков сказал Гирсу [1] слова два в мою пользу, а Гирс сказал мне, что ему „очень приятно" видеть меня снова на службе. Вообще мне объявили решительно, что в *принципе решено* без всяких затруднений дать мне место, но какое — вот в чем дело. Мельников [2] заметил мне, что министерство несколько стеснено тем, что я настойчиво прошусь в Константинополь. В провинции нашлось бы место скорее. Генеральное консульство константинопольское кому-то обещано

(я подозреваю, что Мюльфельду [3]), но и мне безусловно не отказано. Но есть другая должность в Константинополе, которую я мог бы с удовольствием принять, это должность 2-го драгомана на место Макеева [4], если его переведут куда-нибудь или повысят. Правда, я по-турецки знаю очень мало, но зато, мне кажется, трудно найти человека, который мог бы так годиться в помощники 1-му драгоману, как я *по делам Патриархии*. Если не ошибаюсь, занятия драгоманов в Константинополе не постоянно соединены с той или другой должностью. Так, напр⟨имер⟩, в то время, когда 1-м драгоманом был Богуславский [5], вероятно Вы, а не он, занимались патриаршими и вообще церковными делами. Положим, с тех пор, как 1-м драгоманом стали Вы сами, то условия переменились. Вы одинаково могли с успехом вести политические переговоры с сановником Порты [6] и способствовать смягчению отношений между Патриархией и Россией [7]. Вот тогда, я думаю, полезнее были такие помощники, которые не *мудрствуя лукаво ходили по торговым судилищам*, чем такие, как я (хотя, разумеется, и я не настолько нравственный урод, чтобы не мог вести тяжбу, как всякий). Но теперь, после этой войны, обстоятельства переменились и, если Вы останетесь 1-м драгоманом в Константинополе, у Вас в чисто политическом отношении, вероятно, будет столько дела с турками. Вам нужно будет тратить столько ума, уклончивости и энергии для возлияния *бальзама* на те неисцеленные раны, которые мы этой бедной Турции так неожиданно нанесли, что, я полагаю, помощник уживчивый, Патриархию чтущий, к туркам в меру благосклонный, *Вас самих* сердечно уважающий и любящий, будет Вам вовсе не лишний. Что касается до турецкого языка, то, пользуясь отчасти Вашими советами, я могу дать *слово*, что серьезно займусь им тотчас по приезде на место и с моей способностью выучиться языкам практически через год, не более, буду возбуждать благосклонную улыбку пашей [8] и кетибов [9] теми приятными ошибками, которые я буду, говоря с ним, дерзновенно делать. И эта дерзновенная

приятность будет способствовать окончанию дел. Я испытал это с греками.

Что касается до личных моих наклонностей и вкусов, то Вы знаете, до какой степени я жизнь в Константинополе предпочитаю всякой другой жизни, и по весьма уважительным причинам!.. Прежде всего потому, что здоровье мое на Босфоре лучше, чем во всякой другой местности Европейской Турции. О литературных моих занятиях я не говорю; их на первое время придется вовсе забыть, чтобы предаться службе верою и правдою. Впрочем, Вы сами меня с этой стороны знаете.

Прибавлю еще одну частную вещь: семейные обстоятельства мои за последние года сложились так, что я провожу и буду проводить остальную жизнь мою в одиночестве. Жена моя предпочитает жить в Крыму с родными, и лишь бы я посылал ей достаточно денег на ее содержание, она, по-видимому, довольна своим положением там и не ищет ничуть возвратиться ко мне.

Каково же это будет *жить совсем одному* в глухой турецкой провинции, где ни обедни поздней нет, ни общества хорошего, ни воздуха здорового, ни приятеля или приятельницы (вроде *Луизы Францевны* [10], напр⟨имер⟩), чтобы отвести душу. Посудите сами! А не служить становится невозможно!

Ну прощайте, обнимаю Вас крепко и верю в ту сердечную приязнь, которой доказательства от Вас я столько раз видел прежде. *Теперь Вы в силе*, это ни для кого здесь не тайна, и, *между нами*, сообщу Вам, что даже Мельников на счет должности 2-го драгомана сказал мне так: „Надо знать, будет ли это удобно для Ону“. Вот почему я начал с того, что сказал — судьба моя в Ваших руках. Остаюсь по-старому любящий Вас

К. *Леонтьев.*

Впервые опубликовано в кн.: Архимандрит Киприан. Из неизданных писем Константина Леонтьева. Париж, 1959. С. 25—27.

[1] Николай Карлович *Гирс* (1820—1895)— дипломат. В 1878 г. управлял Азиатским департаментом министерства иностранных дел.

[2] А. (?) А. (?) *Мельников* — в это время вице-директор Азиатского департамента.

[3] *Мюльфельд* — неустановленное лицо.

[4] *Макеев* — неустановленное лицо.

[5] *Богуславский* — неустановленное лицо.

[6] *Порта* — Оттоманская Порта, двор турецкого султана.

[7] *...смягчению отношений между Патриархией и Россией.*— В религиозной распре болгар с Константинопольской Патриархией Россия поддерживала болгар.

[8] *Паша* — турецкий генерал или правитель области.

[9] *Кетиб* (*турецк.*)— писец.

[10] *Луиза Францевна.*— Имеется в виду жена М. К. Ону, Елизавета Александровна, имя и отчество которой К. Н. Леонтьев нередко путал.

90. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

28 марта 1878 г., Любань

⟨...⟩ Граф Игнатьев предлагает мне губернаторство в Болгарии, говорит 6 000 жалованья. Но подождите, не радуйтесь за меня. Во-первых, и Игнатьев не Бог Саваоф, как Вы сказали про Аверкиева, а во-вторых, мне подобная, хотя и весьма лестная, должность отвратительна. Я ненавижу не само губернаторство, не власть, не 6 000 р⟨ублей⟩ — к этому, по правде сказать, я только равнодушен; я Болгарию не люблю и тамошних порядков боюсь. Все мое желание было бы так жить, как я жил эти последние 3 года: Кудиново, Оптина, Москва и больше ничего; природа, молитва, поэзия, хорошее общество от времени до времени, но крайность и этого может лишить. А впрочем, Бог знает, где лучше и где хуже; может быть, это только так кажется. Очень бы хотелось опять видеть Агафью и Варьку в сарафанчике, слышать пение кармановских

барышень, дышать воздухом кудиновских рощ и даже ссориться с Вами, если это будет необходимо, но не надобно, видно, никого и ничего любить... А если бы Вы знали, какие розы, несмотря на все это, расцветают в моей фантазии и какие персидские ковры пред ней расстилаются! Сколько бы я написал, если бы не деловые заботы! 〈...〉 Целое утро провожу в деловой переписке, а у самого в голове и литературные, и политические мысли одна светлее другой. Решаю на последние 100 р〈ублей〉 ехать в Калугу и привезти оттуда 600 р〈ублей〉. Совсем готов на поезд; вдруг известие, что Игнатьев приехал из Турции. Что делать? Игнатьев — единственный живой человек в нашем Министерстве. На него скорее всего можно положиться; не потому, что он правдив, а потому, что он очень деятелен и любит всякую изобретательность. Упустить его было невозможно; не потому, чтобы я непременно хотел достичь чего-нибудь, и не потому, чтобы какие-нибудь шесть тысяч, купленные ценой скуки и борьбы на закате дней, были бы мне дороги, а потому, что мне бы хотелось, со своей стороны, сделать все, что я в силах, для уплаты моих долгов и для улучшения положения тех, которые от меня зависят. Я ведь ни во что не верю, кроме Бога и благословения о. Амвросия, и пишу только потому, что мне это так же приятно, как курить сигару. Я нездоров, нанимаю карету; узнаю, в котором часу Игнатьев принимает — от 8 до 10 утра. Некогда и кофе напиться по-моему (я не без цели пишу это Вам — не у одних Вас препятствия и страдания). Оставляю восхитительное общество раньше времени с вечера, заказываю карете приехать в 8 часов, до 4-х ч. утра бессонница, в 7 ч. меня будят, на мне нет лица, карета не приезжает, сажусь на извозчика и с больной поясницей и ненавистью к Петербургу, половину по снегу, половину по мостовой, еду на санях очень далеко к Игнатьеву. От него, тоже не близко, к тому Мельникову [1], которого приютом заведует Катя [2], и оттуда к Т. И. Филиппову по Вашему делу. Еще одна маленькая подробность, но

очень важная: после бессонной ночи я был очень бледен, Игнатьев же терпеть не может на службе больных людей, но случайно воротничок рубашки был узок, я бесился, и кровь приливала к лицу. Таинственный рок делал свое дело, независимо от моей воли. Игнатьев принял меня прекрасно и, сказавши, что у меня хороший и очень свежий цвет лица, предложил мне губернаторство. Ужаснувшись в душе, я, однако, протестовать не спешил и, заручившись словом его, написал сам в Оптину, не скрывая от о. Амвросия, что мне города Болгарии противны, но что я готов с радостию ехать туда, если это можно считать, как щепки о. Пимена*. Между Тырновом и Константинополем, поймите, такая разница, какая между Кудиновым, когда в нем барышни в разноцветных платочках поют, и чем бы? Ну, хоть бы гостиной нашего станционного смотрителя в Щелканове или между „Без искупления" и „Разладицей". И вот теперь, в надежде на Бога, на благословение батюшки и на некоторую гибкость своей природы, сижу у моря и жду погодки, не смея даже молиться о чем-нибудь определенном, ибо не знаю, ни где мне душу суждено спасти или погубить, ни где жить мне полегче будет или даже где я для литературы больше сделаю. Я знаю, что мне приятно, но что полезно — не знаю, ни мне, ни другим. 〈...〉

Теперь о Вас. Филиппов говорит, что Контроль [3]— это только на первое время и в нем никакой не будет нужды, как скоро Вы станете потверже на сцене в Петербурге. 〈...〉 Прибавлю от себя, чтобы Вы не корячились. Поймите, дело не в Контроле, а в протекции Филиппова. Надо с радостью и Контроль понести, чтобы связать его нравственными обязательствами. Это человек хитрый, твердый, осторожный и предприимчивый. Он имеет всю умственную тонкость немецкого эстетика, всю выдержку семинариста и всю

---

* Понимаете, можно сейчас 2 500 на свою келью в Оптину выслать: это моя мечта. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

практическую сметку русского купца. К тому же он здоров и не тяготится ничем для службы идее. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] Павел Петрович *Мельников* (1804—1880)— инженер, с 1862 по 1869 г. занимал пост министра путей сообщения.

[2] *Катя* — Е. В. Самбикина, заведовавшая благотворительным приютом, основанным на средства П. П. Мельникова.

[3] *Контроль* — ведомство Государственного Контроля, которое возглавлял Т. И. Филиппов.

91. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

Март 1878 г., Любань

⟨...⟩...Кстати, пошлю ему еще статью Маркова о Некрасове [1]. Она невелика, прочтет. Как много в ней горькой и беспощадной правды! Давно пора! И прежде были люди, которые говорили то же самое, но только теперь пришло время, когда многие начали понимать, что это вовсе даже и не поэзия. Поэзия должна восхищать или сладко томить. А это что такое? Даже жаль тех прекрасных явлений жизни, которые послужили темой этому фальшивому человеку. Сама жизнь гораздо прекраснее такой однообразной, деревянной и натянутой версификации! ⟨...⟩

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] Василий Васильевич *Марков* (1834—1883)— писатель, публицист, критик. Сотрудничал в журналах „Современник", „Русский инвалид", „Вестник Европы". В критических статьях держался эстетического направления. Очерк „Поэзия Некрасова" опубликован в сборнике В. В. Маркова „Навстречу" (СПБ, 1878).

92. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

4 апреля 1878 г., Любань

⟨...⟩ Верь, прошу тебя, что таких заботных месяцев у меня в жизни еще не было. Все разом. И здоровье до того плохо, что решился даже мясо есть с 3-й, кажется, недели или с 4-й и до Страстной. На Пасхе поеду в Петербург. У меня в спине и правой ноге после двух-трех недель постной пищи сделалась такая нервная боль, какая была в руках прежде. Нестерпимо! Одно время совсем писать не мог, а диктовал Кате и Людмиле, которых почерк один наводит уныние. Теперь после мяса и кой-каких других мер мне получше, но все-таки ходить трудно от боли. Для меня ясно, что паралич обеих ног или одной близок, и меня пугает не столько сам паралич, сколько бесприютность наша (я говорю и про тебя) и необеспеченность даже на первые нужды. Но, впрочем, „егды Бог за ны, никто же на ны!“. И пугаюсь я не слишком, а только молюсь, чтобы страдания мои не перешли меру терпения! ⟨...⟩

Благодарю тебя, как римский сенат благодарил консула Варрона [1], когда он убежал в Рим после сражения при Каннах. „Сенат благодарит тебя за то, что ты не отчаялся в спасении отчизны!“ Так и я благодарю тебя за то, что ты не отчаялась ни в чем и подписала все векселя. Будь покойна. Я хотя и с болезненной медлительностью, но все-таки наконец расчел, что и без места проживем с Божией помощью до осени. Надо только быть нам вместе, иначе я не успею сделать все, что необходимо. ⟨...⟩

Чего бы я желал? По совести скажу — не получить места до осени (разве в Царьграде) и опять провести лето с тобой, с цветами, Агафьей, Варькой, грибами и даже Прокофьем. Я его считаю необходимостью, как расстройство моего спинного мозга... Есть и польза. Не дождусь просто! Велел выслать колясочку к 25 апреля в Мятлево. Но сказать наверное, что сам к этому времени туда попа-

ду — боюсь. Я, впрочем, буду просить на Пасхе, чтобы мою участь решили так или иначе и чтобы не держали меня понапрасну. Почему Игнатьев не вызывает меня дô сих пор — не знаю. ⟨...⟩

Ну — о службе, пока верного нет, не стоит больше и писать. Надо лучше готовиться к тому, что ничего не получишь. Но скажу тебе, что моя мечта теперь (если ничего особенного не случится), чтобы не отпускать тебя осенью к Бейтьер [2]; а если расплатиться, как я надеюсь, вовремя, то взять еще добрую сумму в Общ⟨естве⟩ Кред⟨ита⟩ и провести вместе зиму в Оптиной с тобой. В столицах все испробовано. По-моему не делают, а я по-ихнему (по-Катковски и К°) не намерен делать, конечно. Ну, и не надо. С твердым убеждением говорю, что теперь мне больше нечего искать в столицах надолго (я не говорю навсегда). Все та же „середка на половине“, а тратишь много. Блеснула у меня надежда на братьев Соловьевых. Но и те русские в дурном смысле слова. Только Т. И. Филиппов и остается православным и деловым, т. е. русским в хорошем смысле. ⟨...⟩

Публикуется по копии (ЦГАЛИ)

[1] Гай Теренций *Варрон* (III в. до н. э.)— римский консул. Командовал войском против Ганнибала и был разбит при Каннах, после чего возвратился в Рим, где, несмотря на поражение, Сенат выразил ему благодарность.

[2] *Бейтьер* — неустановленное лицо.

93. ГРАФУ Н. П. ИГНАТЬЕВУ

6 апреля 1878 г., Любань

Милостивый государь граф Николай Павлович!

До меня дошли частные слухи (быть может, и ошибочные), что Ваше сиятельство поедете опять в Царьград и скоро.

Если это верно, то позвольте иметь смелость просить Вас взять меня туда именно на какую-нибудь самую второстепенную должность. Мне кажется, я с удовольствием бы принял должность вольнонаемного, лишь бы она была верна и давала бы хоть 70—60 руб⟨лей⟩ в месяц.

Я прошу Вас убедительно, Николай Павлович, устройте меня как-нибудь сносно в Константинополе. Вы обещали мне подумать. Я, сознаюсь, ничуть не совещусь напоминать Вам о себе при всех тех неисчислимых государственных заботах, которыми Вы обременены теперь. Я так убежден, что у Вас в уме найдется место и для дел с Бисмарком [1], Андраши [2] и Ахмед-Вефиком [3], и для дел со мною. Лишь бы Вы желали меня устроить, а возможность сейчас найдется. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] Отто Эдуард Леопольд *Бисмарк* (1815—1898)— немецкий государственный деятель; канцлер. После Франко-прусской войны 1870—1871 гг. осуществил объединение Германии.

[2] Дьюла *Андраши* (1823—1890)— венгерский политический и государственный деятель. Участвовал в революции 1848—1849 гг. Был премьер-министром Венгрии. В 1871—1879 гг.— министр иностранных дел Австро-Венгрии.

[3] *Ахмед-Вефик* (Ахмет-Вефик-Паша, 1823—1891)— турецкий государственный деятель и писатель.

94. Е. С. КАРЦЕВОЙ

23 апреля 1878 г., Любань

⟨...⟩ Мне нет судьбы, Катерина Сергеевна, ни в чем! И когда я физически не слишком измучен, я даже давно со всем этим помирился. Нельзя ведь и сказать, чтобы я особенно жаждал возвратиться на службу куда попало и как попало, и Вы, если Вас это интересует, сейчас можете

узнать, почему я разборчив. Вот мои условия: 1) Мне надо, чтобы место службы было не лихорадочное, иначе через год я буду непременно в нервном параличе (по крайней мере ног. Не правда ли, какая милая и легкомысленная хандра? Так и разлетится в прах от дружеского совета не хандрить!). Это мнение серьезных врачей. 2) Надо, чтобы должность эта или бы сама давала мне столько тысяч в год, чтобы я мог скоро уплатить 4 500 р⟨ублей⟩ в банк за имение и хоть половину долгов моих (т. е. $^{1}/_{2}$—7000), или была почти синекурой с меньшим содержанием, но давала бы мне время и удобство печатать как можно больше. 3) Надо, чтобы в этом месте были и удобства для молитвы, удобства, сообразные с моими немощами и закоренелыми привычками. Все это возможно только на Босфоре. Нет ни губернаторства в Болгарии, ни консульства во внутренней Турции, где бы эти условия были соединены. И если нужно убиваться, так не лучше ли убиваться или в Оптиной Пустыни, где царствует драгоценная идея, полная поэзии, или странствовать с места на место, как я делаю со дня моей отставки (1873 г.), ибо, несмотря на, по-видимому, бесцельные, тяжкие перегринации [1] из монастырей в столицы, из Царьграда в калужское сельцо Кудиново, я на литературном поприще за эти 5 лет иногда восхитительной, иногда адски мучительной свободы вынужден был самою нуждою сделать больше, чем во всю прежнюю жизнь мою, когда я вел более практическую, полезную и обеспеченную жизнь; да и более почетную, если хотите, ибо Вы не можете и знать, что приходилось то во имя искусства, то во имя Христа за эти 5 лет проглатывать. Я сам удивляюсь, что я не желчен и не браню вообще людей, я даже думаю, что тут не одно христианское чувство учит умеренности и трезвости суждений, а еще какая-то тонкая, самолюбивая боязнь говорить и даже мыслить в таком отрицательно бранчивом вкусе, в котором хандрят столько хамов и презренных стадного ума людей. Видите, как премудро

устроено все. Иногда и гордость укрепляет смирение. 〈...〉

Скоро я буду наконец у себя, в моей милой деревне, где петухи даже не смеют кричать громко, когда я пишу „Одиссея“, ибо люди бросают за это в них камнями, где племянница обходит задами флигель мой, опасаясь нарушить поэзию мою тем, что, может быть, что-нибудь в походке ее мне не понравится в эту минуту и мое созерцательное блаженство будет чуть-чуть нарушено, и обходит, заметьте, с любовью, без ропота, не сомневаясь, что я в этом только прав (так она умна). Опять зелень двора моего, опять столетние вязы над прудом, опять 13-ти летняя Варька в красивом сарафане, которая подает мне прекрасный кофе, и все по-моему, на японском подносе, и все там стоит, где я хочу, и лежит там, где я желаю... И, конечно, и сахар, и молочник... Опять лечить крестьян, опять всенощная на дому по субботам. „Господи возвеличился еси зело, во исповедание и велелепоту оделся еси зело“. И шелест бесподобных рощ, и свирельки, и цветы полевые, и свидания с оптинскими старцами. Слава Богу, слава Богу!.. 〈...〉

Вот, вот посмотрите, нечаянно возьмем в мае Царьград и, все открещиваясь и все ползая перед этой (не нахожу эпитета, чтобы выразить всю ненависть мою), перед этой Европой и все извиваясь столь искренно, вобьем мы на Босфоре ряд простых осиновых кольев, и они зазеленеют там хоть на короткое время. Долгого цветения нельзя ждать от такой нации, где всех судей, адвокатов, прокуроров и присяжных m-lle Засулич [2] не отдают под правильный суд или на растерзание той толпы, в которой остались еще искры здорового гражданского понимания. Какой долгой жизни можно ждать от этой нации, кроме мгновенного цветения осиновых колов, согретых случайно, да, случайно, солнцем юга. Да! Царьград будет скоро, очень скоро наш, но что принесем мы туда? Это ужасно! Можно от стыда закрыть лицо руками... Речи Александрова [3], поэзию Не-

красова, семиэтажные дома, европейские (мещанской, буржуазной моды) кэпи! Господство капитала и реальную науку, панталоны, эти деревянные крахмальные рубашки, сюртуки. Карикатура, карикатура! О холопство ума и вкуса, о позор! Либерализм! А что такое идея свободы личной? Это хуже социализма. В социализме есть идея серьезная: пища и здоровье. А свобода! Нельзя прибить кого-нибудь. Нет, нет, вывести насилие из исторической жизни это то же, что претендовать выбросить один из основных цветов радуги из жизни космической... Этот цвет, эта великая категория жизни придет в новой и сильнейшей форме. Чума почти исчезнет, чтобы дать место холере...

Знаете ли, Катерина Сергеевна, что при виде всего этого спрашиваю себя каждый день: „Боже, патриот ли я? Презираю ли я или чту свою родину?“ И боюсь сказать: мне кажется, что я ее люблю, как мать, и в то же время презираю, как пьяную, бесхарактерную до низости дуру. Весело, весело, весело!.. Хандра, хандра, севрюга!.. Продолжать более в этом духе невозможно... ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 269—277.

[1] *Перегринация* — пилигримство.

[2] Вера Ивановна *Засулич* (1849—1919)— революционерка. 24 января неудачно стреляла в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, по приказу которого был высечен заключенный А. С. Боголюбов. 31 марта 1878 г. В. И. Засулич была оправдана судом присяжных.

[3] Петр Акимович *Александров* (1836—1893)— присяжный поверенный, защитник на процессе В. И. Засулич и других политических процессах.

95. К. А. ГУБАСТОВУ

1 июня 1878 г., Кудиново

Константин Аркадьевич, „un de ces jours“*... я вместо Царьграда проснулся в Кудинове... истративши на дорогу в Киев и обратно рублей 400 (катковских), и рублей на 200 покупок в Москве (тоже катковские деньги; все катковские. Моих нет... Вот уже около 1/2 года, как я отвык совершенно от собственных денег. В глаза их не видал...).

Вы ужасаетесь?— Вы думаете, что я опять в каком-нибудь исступлении?.. Вовсе нет... Никогда я не был, может быть, так трезв и здрав, но „дух бодр, а плоть все немощна“.

Слушайте теперь вкратце эту печальную историю. Когда я заболел ужасною нервною болью в пояснице и правой ноге в Любани (или, лучше сказать, в Петербурге, благодаря тому что комната у меня была холодна и сыра), когда Вы уехали внезапно и когда я, с одной стороны, узнал, что Дондуков-Корсаков [1] не хочет брать чиновников нашего Министерства, а с другой, понял, что от таких истуканов и скромных людей, как Гирс, Мельников и т. п. ничего, кроме Салоник (!), не получишь, утратил немножко веру и в искренность Ону, после того как он задумал писать мне, вместо того чтобы написать обо мне в Департамент, например, пользуясь безотлагательно минутой своей силы,— я решился еще повременить и не настаивать ни на чем, ибо, Вы согласитесь, всякое место мне брать было бы своего рода ошибкой и глупостью.

Поправившись (хотя и не совсем), я поехал через Москву в Кудиново, рассчитывая при первых 500 рублей ехать к Вам гостить насколько придется, а там уже попробовать понравиться Лобанову [2] (хотя... он... и т. п.).

Был у Каткова, чтобы условиться о работах моих

---

* В один прекрасный день (*фр.*).

и чтобы взять у него вперед рублей 300. Но когда я сказал ему, что думаю под конец лета ехать гостить к Вам, он предложил мне ехать на его счет. Дал мне на дорогу 500 рублей, согласился дать еще 500 через год на обратный путь, если я не захочу там остаться, 500 рублей вперед на „Одиссея“ и 200 рублей в месяц (по 5 к⟨опеек⟩ за строку, то есть больше 200, если я напишу много корреспонденции, а если меньше, то все-таки 200). Я согласился, взял очень лестное письмо от него к Тотлебену [3] и, несмотря на слабость и боль в ноге, поехал. В Кудинове пробыл всего два дня, уложился и собрался так скоро, что даже слуги удивились, и пустился в путь. Взял и Машу с собой и хотел ехать прямо даже в Одессу, чтобы не опоздать. Машу я намеревался устроить где-нибудь в семье греческой подешевле и приучить ее писать фон корреспонденций, чтобы тем оставлять больше времени для других работ, более серьезных, более моих, так сказать. При этих условиях, если б Маша скоро выучилась, то можно бы приобретать одними корреспонденциями рублей 350—400 в месяц (Катков желал каждый день). В случае конгресса он соглашался, чтобы я ехал на Румынию и Болгарию и писал бы с пути и оттуда. Чем же плохо? Но... человек предполагает, а Бог располагает...

Дорогой, от мелкой тряски рельсов и плохо проведенных ночей, мне становилось все хуже и хуже, а в Киеве стало так трудно, боль ноги так усилилась, что я побоялся запутаться еще более, если б оказался там негодным в скорости к делу, которое требует здоровья и подвижности. Лучше задолжать 500 (взятые на дорогу), чем больше! И вот я вернулся в Кудиново и теперь немного отдохнул и начинаю недалеко ходить. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение“. 1895. Ноябрь. С. 351—353.

[1] Александр Михайлович *Дондуков-Корсаков*, князь (1820—1893) — генерал-адъютант и генерал-от-кавалерии. Во время русско-ту-

рецкой войны 1877—1878 гг. командовал армейским корпусом. С апреля 1878 г.— российский комиссар в Болгарии, а в следующем году — командующий оккупационными войсками.

[2] Алексей Борисович *Лобанов*-Ростовский, князь (1824—1896)— дипломат и государственный деятель. Занимал посольские посты в Константинополе, Лондоне и Вене. В 1878 г. товарищ министра иностранных дел, с 1895 г.— министр.

[3] Эдуард Иванович *Тотлебен* (1818—1884)— военный инженер, один из руководителей Севастопольской обороны. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. командовал осадными работами под Плевной. В феврале 1878 г. был назначен главнокомандующим.

96. К. А. ГУБАСТОВУ

2 июля 1878 г., Кудиново

На днях получил Ваше письмо. Безгневно, но с ясным сознанием своей правоты возвращаю Ваше унылое и раздражительное письмо Ваше как недостойное быть хранимым вместе с другими дружескими, неглупыми и остроумными письмами Вашими. Никто рукой не махнет, если Богу не угодно, и никто ничего не придумает для меня, если Богу не угодно. И Вы придумаете, даже и с удовольствием придумаете! И Катков опять денег даст, и нога не заболит, не только все члены (comme s'est jolie?!)*, и Вы опять будете писать мне хорошие, а не гадкие такие и неделикатные письма, и Лобанов поймет, что есть некоторая тонкая разница между мной и Троянским [1], и даже мой добрый Ону будет менее билатерален [2], чем он был в ту минуту, когда писал не Мельникову обо мне, а мне о Мельникове, так что тот вообразил, что Ону решительно против меня! Все это будет, если угодно будет Богу, и ничего не будет, если Богу не угодно. Не угодно Богу, так и Ваша знамени-

* Как мило (*фр.*).

тая практичность, Ваше служебное счастье, Ваша расчетливость и художественно-округленная, искусно уравновешенная с кротким эгоизмом доброта не утешат Вас, не приведут ни к чему. Да и теперь... Разве Вы довольны? Разве Вы не тоскуете постоянно оттого именно, что в жизни Вашей так мало идеальных интересов! Вы от этого тоскуете, Вы от этого тяготитесь и таким великолепным положением, как положение генерального консула в Царьграде, Вы тоскуете и скучаете без идеального и сами все идеальное, что встречается Вам, пропускаете сквозь пальцы от желания покоя. А покой этот наводит на Вас скуку и делает Вас пессимистом (не по-христиански, а просто по-петербургски).

Встретилась Вам Ольга Сергеевна [3] — Вы поостерегались влюбиться в нее, хоть она, конечно, Вам очень нравилась. Встретили Вы меня — и пугаетесь той сложности, с которою кипит перед Вами моя то слишком мрачная, то слишком сладкая и вечно бурная в сердце жизнь.

Вы бы могли больше для меня делать... не для меня собственно,— не для доброго малого, любящего Вас искренно, но для рыцаря, который в случае более выгодного оборота дел и всей жизни прежней, конечно, сумел бы Вам доказать, как он умеет служить друзьям (вы это чувствуете, признайтесь?), нет... черт с ним, с добрым малым и с великодушным человеком, который Вам нравится,— а для гонимого мученика — идеи...

Что сделать?.. Я не знаю. Я не в претензии, я умею быть за все благодарен, но я говорю, что Вы-то в своей жизни упускаете все идеальное из рук. И так как Вы умом светлы и очень светлы, а сердцем вовсе не сухи, то Вам и скучнее, чем мне, у которого редко бывает середина и которого голова постоянно увенчана либо терниями, либо розами. Так-то, душечка. „Не поучай, да не поучен будешь!“ А все-таки, если Вы в самом деле в сентябре вернетесь в Россию, то решитесь же, наконец, заехать в Кудиново. Сами будете здесь веселиться и ржать. ⟨...⟩

Что я буду делать теперь с кн. Горчаковым и К°, из кокетства не скажу Вам пока. Да Вы ведь и не хотите думать о моих делах. Это трудно и скучно! Обнимаю Вас крепко.

К. Леонтьев.

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение“. 1895. Ноябрь. С. 353, 354.

[1] Александр Степанович *Троянский* (1835—?)— дипломат и писатель. Служил консулом в Янине, Палермо и Пирее. Автор книг и статей о славянских землях в Турции и Австрии.

[2] *Билатерален* — то есть двусмыслен, „и нашим, и вашим“.

[3] *Ольга Сергеевна* — О. С. Карцева.

97. Е. С. КАРЦЕВОЙ

3 июля 1878 г., Кудиново

⟨...⟩...Двор мой очень зелен, липовые аллеи очень тенисты, розы на этом зеленом дворе так же милы, как бантик на голове Вашей практичной дочери [1]... Пока в роще есть грибы, и мальчики, стерегущие лошадей, поют русские песни и вовсе не враждебно трепещут гласа моего (я люблю, чтобы в доме меня трепетали, любя, однако). Пока приходят ко мне лечиться после обеда больные, и я могу серьезно иногда помогать им, или даже на катковский гонорарий (какое скверное слово!) покупать им лекарства; пока в прохладном флигельке моем, окруженном акацией и бузиною, теплится лампадка перед афонским образом юноши-мучéника Пантелеймона [2], образом, обделанным мною в золото и серебро и убранным рукою моею искусственными фиалками, розовыми бутонами и зеленью... Пока есть Оптина Пустынь, такая прекрасная в сосновом бору недалеко отсюда, есть друзья, подобные Вам и злым детям Вашим, Н-м [3], Губастову, друзьям, не жалеющим деньги на

телеграммы, чтобы узнать, где я... Пока все это есть, хоть на 2 месяца... И есть искусство, и есть молитва, и есть отличный кофе, который подает мне фаворитка мо́я [4] в сарафанчике и в красной рубашке (honni soit, qui mal y pense* — ей всего 13 лет). Зачем я буду на стену лезть, согласитесь...

Пусть начальство будет умно, и я к его услугам. А умирать от лихорадки в Солуни или в Янине я нахожу тем более неприятным, что нынешняя Россия мне ужасно не нравится. Не знаю, стоит ли за нее или на службе ей умирать? Я не решаю, что не стоит, я спрашиваю, стоит ли? Я люблю Россию царя, монахов и попов, Россию красных рубашек и голубых сарафанов, Россию Кремля и проселочных дорог, благодушного деспотизма. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 278—282.

[1] *...Вашей практичной дочери...* — то есть О. С. Карцевой.

[2] Св. Пантелеймон — почитается помощником врачей и призывается в молитве за немощного. Обезглавлен после страшных мучений в 305 г.

[3] *Н-м* — вероятно, речь идет о семействе Неклюдовых.

[4] *...фаворитка моя...* — горничная в доме Леонтьевых Варвара.

98. О. С. КАРЦЕВОЙ

26 июля 1878 г., Кудиново

Милый, хитрый, русский (как будто бы добрый на этот раз) образ Ваш я поставил на письменном столе моем. Рамку (золоченую, не золотую, а только снаружи сияющую и деревянную внутри) я выписал из Калуги, а пока я прислонил его к „memento mori“**, который у меня стоит

* Позор тому, кто дурно об этом подумает (*фр.*).
** Помни о смерти (*лат.*). В переносном смысле — символ смерти.

на самом видном месте. Это череп какого-то неизвестного мне человека; я на нем учился анатомии, когда был студентом. Ваш портрет совсем почти прикрыл его, и теперь, занимаясь, я вижу Вас, а не образ смерти. Это вредно, хотя и приятно. Надо будет найти Вам другое место. Хотите, я Вам сознаюсь, что мне очень грустно и очень тяжело теперь. Обстоятельства мои очень трудные. Я бы Вам писал гораздо серьезнее, если бы был уверен, что ответы тоже будут серьезные. Письмо мое, я знаю, очень поверхностное и пустое, шуточное какое-то. Но этому Вы сами причина. Мы могли бы быть с Вами гораздо дружнее и проще, именно вследствие разницы наших лет и настроений. Но у Вас есть всегда что-то такое, чего я по отношению к себе не люблю. „Яйца курицу учат“. Пишите лучше искренно и просто, и я буду Вам подражать... 〈...〉

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 284—286.

99. К. А. ГУБАСТОВУ

6 августа 1878 г., Кудиново

〈...〉 Недавно мы праздновали именины Марьи Владимировны. Накануне была всенощная. Были гости, обедали, ужинали и танцевали запросто и пели русские песни до рассвета; иные уехали на другой день, напившись кофею на воздухе, под большим тополем. Крестьяне водили хороводы. Одна из младших девиц Раевских, очень красивая (18 лет), одета была по-русски, в голубом платочке, и плясала по-русски же, восхитительно с одним простым 17-летним мальчиком, брюнетом и красавцем в красной рубашке. Н. Я. Соловьев был тоже, старался быть приличным, но когда расходилась эта парочка под звуки очень хорошей гармонии, то дикий характер его взял верх (тем более что

эта барышня ему очень нравится), и он сперва завизжал, как восхитившийся зверь, а потом начал кричать:

— Азия! Азия! Здесь нужна Азия...

Пришлось остановить его и напомнить, что азиатцы веселятся истово, а визжат только тогда, когда идут в кавалерийскую атаку. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение". 1895. Ноябрь. С. 354, 355.

100. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

26 августа 1878 г., Кудиново

Многоуважаемый драматург!

Знаете ли этимологию слова этого „драмат-ург"? Оно значит созидатель, творец, выдумщик разных драм.

Вы именно таковы. Вам необходим всегда какой-нибудь раздирающий финал Вашему пребыванию [нрзб.] Кудинове... Зная это по долгому опыту, я ничуть не удивился, что Вы уехали. Мне даже понравилась эта хотя и не совсем учтивая, положим, но артистическая и суровая выходка. Об учтивости, собственно, с нами нет и речи, мы на нее уже отчаялись рассчитывать, но относительно девиц кармановских, которые все-таки нарочно приехали, чтобы слышать Вашу прекрасную драму, превращенную Вами в недурную, но обыкновенную комедию, можно было бы и остаться. Барышни были справедливо недовольны. Но мне эта штука Ваша понравилась, повторяю, гораздо больше других Ваших „судорог".—„Отойди от зла и сотвори благо". По-моему, это несравненно милее и скотского упоения с добродушным оттенком в кругу как бы то ни было не совсем скифском и ядовитых придирок к уважаемым мною гостям (Дятловы, Муромцевы [1] и т. п.). Одним словом, я в этом поступке вижу еще огромный шаг вперед по пути общежи-

тельности. Меня гораздо больше Вашего внезапного отъезда поразил Ваш вопрос: „Почему я не вышел раньше обеда?“ Когда же я выхожу раньше? Мне бы и хлеба аржаного и водки Вашей на закуску не на что было бы купить, если бы я не занимался каждое утро. Вам это давно известно. Вы пригласили барышень слушать комедию, я спешил до крайности кончить статью. Едва я справился с нею к обеду. Вот и все. По-моему, Вы могли бы пробыть и еще один день, а я откладывать отправку такого рода статьи не мог. Неужели я не прав? По-Вашему, я обязан был бросить все и пренебречь всеми интересами моими, чтобы слушать в пятый раз комедию, в которой Вы все переделали вопреки моему вкусу и по вкусу Островского. С критической стороны я ведь не признаю, чтобы он больше моего понимал, а если это только практические соображения, то отчего же Вы одни имеете право заботиться о Ваших интересах, а я, которого потребности постоянно не удовлетворены и от которого зависит столь много людей (как Вам это известно), я лишен в Ваших глазах даже права опоздать из-за спешной статьи на чтение вещи, на которую я не могу уже влиять, как ценитель, ибо признаю ее испорченной (тем, что Марья Петровна не умирает, что Рязанцев не в черногорской шапочке — да! да! да! и т. д.). Нет! Это минутное заблуждение Ваше пройдет перед судом Вашего ума, который не может не быть справедливым, ибо он силен! Вот все, что я могу сказать о том, почему я в этот день не счел необходимым нарушать обыкновенный порядок моих занятий.

Что касается до того, что сказала и чего не сказала Вам Маша, то об этом уже считайтесь с нею. Вы и с ней приятель.

Я готов верить, что Вы в это утро все же были п... Я верю во всякие исключения и редкости и именно даже потому, что я этому верю, мне и понравилась так резкая и трезвая, хотя и гневная, выходка Вашего отъезда.

Как-то это благороднее при трезвости. А я благородству

всегда рад в людях, которых люблю и которых мне приятно уважать.

Адреса Вашего не знаю.

Ваш от души *К. Леонтьев.*

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] *Дятловы, Муромцевы* — вероятно, кудиновские соседи Леонтьева.

101. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

17 октября 1878 г., Кудиново.

⟨...⟩ У меня были разные проекты, один смелее, другой скромнее, в одном главную роль играли уроки русского языка и Священной истории, которые я по вечерам даю теперь моим ребятам, в другом — интересы службы государственной, в третьем — экономия ближайшая, была, между прочим, и мысль ехать в Ливадию [1], получивши от Каткова хоть 200 рубл⟨ей⟩, а там будь что будет! Но Богу угодно было расположить все иначе и к лучшему; на мысли о Козельске [2] я ни разу не останавливался. Случилось так, что Марья Владимировна и Екатерина Васильевна [3] собрались в Оптину, а я был занят, остался и написал о. Амвросию о моих проектах. Он все эти Ливадии и т. п. сразу отсек духовным мечом своим и сказал: „И без того его вызовут на службу, когда придет время. Пусть едет сюда, в Козельск“.

Это духовное приказание было для меня совершенным сюрпризом; о. Амвросий вообще очень мягок и осторожен со мной. И это решительное слово его ужасно обрадовало меня и доказало мне, что он полагается больше прежнего на мою веру. С души как камень спал, и хотя унывать я не унывал ни минуты все это время, но тихая буря сердца и напряжение ума то для решения отвлеченных вопросов, то по поводу ближайших житейских забот были так посто-

янно велики, а вера в звезду свою земную так мала, что это решение, не исшедшее от разума глупого (то есть не моего, который еще лучше других, по милости Божией, но глупого разума вообще), а истекшее из сердечного движения мудрого старца, до невероятности обрадовало меня своею неожиданностью.

Барышни мои тоже очень рады, Варя тоже рада ехать с нами в город! Для нее ведь Козельск — Петербург! И слава Богу! Вот мои новости. Это главное.

А об другом напишу в другой раз. Хотя Вы и зовете все это юродством, но у меня есть свое упрямство, как Вы знаете, и я, вопреки Вам, уверен, что Вы если не сердцем, то умом почитаете все это так, как следует, и мне не страшно писать Вам так просто и доверчиво. Только советую Вам, с другими говоря обо мне, в эти подробности не входить; Вы знаете, что я не только не стыжусь моих чувств и убеждений, но, может быть, слишком резко говорю иногда о них. Однако теперь я ищу места, а русское общество впало в такую пошлость, что всякую независимость этого готово считать душевной болезнью, и потому, пока я не получу места или раз навсегда от всяких мест не откажусь, не надо посторонним лицам доверять без нужды то, что я доверяю Вам как другу, как художнику и русскому человеку (что же за русский человек, который хотя бы умом, если не верой, православие не чтит?). 〈...〉

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *...ехать в Ливадию...* — Имеется в виду не царская резиденция в Крыму, а турецкая провинция в средней Греции.

[2] *Козельск* — уездный город Калужской губ., неподалеку от Оптиной Пустыни.

[3] *Екатерина Васильевна* — Е. В. Самбикина.

102. ГРАФУ Н. П. ИГНАТЬЕВУ

29 октября 1878 г., Кудиново

Милостивый государь Граф Николай Павлович,
Я не без основательной причины замедлил выразить Вашему сиятельству ту признательность и искреннюю радость, которую пробудил во мне Ваш радушный ответ на мое, как Вы говорите, „оригинальное“ письмо. Я и не подозревал, что оно оригинально, но теперь, обдумавши, я вполне согласен с этим названием; да! в наше печальное время откровенность, искренность и теплота, конечно, оригинальны.

Ваше сиятельство думаете, что Вам болгарским князем не бывать. Позвольте мне сказать по этому поводу несколько слов. В глуши и забвении, в котором я теперь живу, я все-таки никак не могу оставаться равнодушным к ходу нашей политики и к восточным делам. Подновив свои размышления прошлогодней поездкой в Петербург, я внимательно слежу за тем роковым свершением исторических судеб наших, которым никакие усилия наших врагов надолго не могут положить преград. Славянский или, лучше сказать, Восточный великий союз государств с Царьградом во главе сложится сам собою, и никакие Плевны или Берлинские трактаты [1] потока не задержат надолго. Англия разлетится в прах при первом столкновении. И тут есть fatum*, звезда. Англия есть сила охранительная, славянство — сила новая, передовая; старое должно отойти и дать дорогу. Англия станет Голландией после войны с нами. Я сам, как Вашему сиятельству известно, уж, конечно, не прогрессист, и мне английский торизм [2] очень нравится, как нравится мусульманская патриархальность и т. п. Папа и Шейх-уль-Ислам [3] душе моей понятнее, чем Гамбетта [4], Вирхов [5] и даже... Чумаков [6]. Но разум и политический

* Судьба (*лат.*).

смысл говорят мне иное. Торизм, мусульманство, папство — силы отходящие, и хотя славизм не выразил еще ясно принципов своих и не выработал еще никаких своеобразных форм, достойных изучения и даже подражания, одним словом, форм исторических, но тем не менее, даже и не будучи русским и только понимая ясно современную историю, я предсказал бы торжество славянству уже по тому одному, что только оно одно загадочно (т. е. чревато каким-то великим будущим, быть может, даже только отрицательным, а не зиждущим, но все-таки великим). ⟨...⟩

О моих делах что сказать? Они так невеселы, что даже мне и стыдно иногда говорить о них. Вот у меня-то нет „звезды". Некстати заболел в 71-м году, не вовремя уехал с Востока, не вовремя поправился в здоровье; „новые люди" вовсе не знают меня и не думают обо мне, кто знает, тот не у дел. В столице жить постоянно — денег нет, и после каждой поездки надо расплачиваться с Катковым срочной и принудительной работой. Политические мои мнения глохнут в сердце моем без исхода; они не подходят ни к Каткову, ни к петербургской журнальной демагогии, они слишком самобытны. Брошюры издавать — надо средства свои или громкое имя, безвыходный круг! Большую часть года надо жить в своей деревне, живя в деревне, не получишь хорошего места, не получа места и не имея чем вносить в банк, надо ждать, что через два года продадут с аукциона и это самое имение, не доходное, положим, но доставляющее мне убежище покойное, здоровое, красивое и дорогое для меня по воспоминаниям детства и молодости, убежище, в котором я, по крайней мере, могу писать.

Вот мои дела, Николай Павлович! Вы понимаете, что я должен иногда чувствовать, и, подумавши об одиночестве моем, Вы еще яснее угадаете, до чего мне было радостно получить Ваш ответ.

Благодарю Вас тысячу раз за Ваше желание быть мне полезным, но боюсь — осуществимо ли оно. „Рука Божия

отяготела на мне!“ Надо молиться и ждать еще худшее терпеливо.

Прошу Ваше сиятельство передать мое глубочайшее уважение Екатерине Леонидовне [7] и княгине Анне Матвеевне [8]. Я не забыл и никогда не забуду их радушной благосклонности ко мне в Царьграде.

С глубочайшим почтением имею честь быть Вашего сиятельства покорнейший слуга

К. Леонтьев.

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] *Берлинский трактат.*— Н. П. Игнатьев вынудил Турцию подписать Сан-Стефанский договор, не оставив времени для размышлений ни европейским державам, ни министерству в Петербурге. По его возвращении канцлер А. М. Горчаков оказал ему холодный прием. Большинству высокопоставленных лиц совсем не нравился успех Игнатьева. Англия стремилась оттеснить русских от Константинополя, а Россия была не в состоянии начать новую войну. 13 июня 1878 г. в Берлине собрался конгресс европейских держав, на котором председательствовал германский канцлер кн. О. Бисмарк. Россию представлял канцлер кн. А. М. Горчаков. 1 июля был подписан Берлинский трактат, изменивший условия Сан-Стефанского договора в ущерб России и славянским народам. Южная граница Болгарии отодвигалась на 150 км к северу, а сама Болгария объявлялась лишь автономным княжеством, выборный глава которого утверждался султаном с согласия всех держав. Россия получила обратно потерянную в 1856 г. Бессарабию, а также Карс, Ардаган и Батум.

[2] *Торизм* — консервативное направление в политической жизни Англии.

[3] *Шейх-уль-Ислам* — глава мусульманского духовенства в Турции, назначавшийся султаном.

[4] Леон Мишель *Гамбетта* (1838—1882)— французский политический и государственный деятель. Выступал непримиримым противником империи Наполеона III (который, по словам Леонтьева, был одним из наиболее симпатичных ему лиц в современной истории). Во время франко-прусской войны 1871 г. после седанского разгрома объявил в Национальном собрании о низложении династии Бонапартов. Облеченный дик-

таторскими полномочиями, улетел из осажденного Парижа на воздушном шаре, чтобы организовать новую французскую армию. После войны играл выдающуюся роль в политической жизни.

[5] Рудольф *Вирхов* (1821—1902)— немецкий ученый и политический деятель. Занимался проблемами общей патологии и терапии. Участвовал в раскопках Трои Г. Шлиманом. Один из основателей прогрессистской партии и вождь оппозиции.

[6] *Чумаков* — неустановленное лицо.

[7] *Екатерина Леонидовна* — гр. Е. Л. Игнатьева.

[8] *Анна Матвеевна* — А. М. Голицына (1809—1897), княгиня, теща гр. Н. П. Игнатьева, урожд. гр. Толстая, жена кн. Л. М. Голицына.

103. О. С. КАРЦЕВОЙ

12 ноября 1878 г., Козельск

⟨...⟩ Материальное положение мое так тяжко, что пока я должен с моей стороны делать все для поступления на службу. Посмотрите, вот какая связь: я не могу устроиться при Оптинской так, как я желал бы по недугам и привычкам моим, пока я не выкуплю имения из банка (ибо помните, ради Бога, что я далеко не один на свете с точки зрения вещественной). Выкупить имение литературою нет надежды, получая 100 р⟨ублей⟩ за лист (из которых $^1/_2$ Катков всегда вычитывает за долг). Надо служить, чтобы добиться места, а тем более заочно, по неимению денег для жизни в столице, чтобы добиться места, надо восстановить репутацию человека в здравом рассудке и способного к делу. Нынче же православная Россия стала так прелестна и умна, что образованного человека, мечтающего об Оптиной Пустыни, сочтут за безумного ипохондрика. Знаете, князю Горчакову так нравились мои донесения из Тульчи и Янины, что Стремоухов говорил моему покойному брату [1], бывшему сотруднику „Голоса“: „Напишите Константину Николаевичу, чтобы он скоро в отпуск бы не просил-

ся, пусть потерпит: мы его скоро генеральным консулом сделаем. Князь Горчаков как увидит его донесения, сейчас так и говорит: „А, это от Леонтьева!“ и прежде всего читает“. И через $1^1/_2$ года этот самый Горчаков, узнавши, что я больной, поехал не в Германию на воды и не в Ниццу, а молюсь на великой Афонской Горе, сказал: „Nous n'avons pas besoin des moines*“. Правда, меня щадили полтора года, даром выдавали мне жалованье, дали мне пенсию выше чина, может быть, но, понимаете, явилось уже подозрение в негодности... 〈...〉

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева, СПб, 1911, с. 294—301.

[1] *...покойному брату...*— Владимиру Николаевичу Леонтьеву (1818—1873), писателю, который был редактором „Современного слова“, также участвовал в редактировании „Голоса“. В 1870 г. принял на себя издание „Искры“, но денежные неудачи вынудили его бежать за границу, где он и умер.

104. Вс. С. СОЛОВЬЕВУ

14 декабря 1878 г., Козельск

〈...〉 Очень бы мне хотелось поговорить с Вами о литературе! Вот, например, о Маркевиче [1] (т. е. о „Четверть века тому назад“ [2]). Как Вы находите, прав ли я или нет, если я Вам скажу, что сюжет, по-моему, гораздо интереснее и даже серьезнее „Анны Карениной“, и есть места восхитительные по силе поэзии (например, хоть [нрзб.] или кутеж и политический спор после бала), но какая разница в чистоте исполнения! Герои все „взвинчиваются“, „всхлипывают“, все „невольно“ оглядываются (эти „невольно“!). Еще что? Ах! Да... „Недоумел“, не „насиль-

* Нам не нужны монахи (*фр.*).

но улыбаясь", и даже не „насильственно", а „насилованно". Что за язык! Очень немного есть нынешних писателей, которых приятно и не стыдно громко читать. Я Маркевича недавно читал громко, так все эти избитые „невольно" и неискусно придуманные „недоумело" пропускал. Но зато князь Ларион, граф Анисьев, Аглая и некоторые второстепенные лица до того хороши, что так бы хотелось выскоблить ножичком все эти шероховатости языка.

Это все наделали сперва Гоголь, а потом И. С. Тургенев. У первого, впрочем, все это сильно и на месте, а у Тургенева какая-то уныло-юмористическая кислота... „потупила", „осклабила" и т. д. Этим летом я внимательно перечел „Записки охотника" и нашел вот что: на иностранном языке это должно быть очень хорошо. И для француза или немца очень интересно и поучительно. Русская жизнь 40-х годов изображена очень полно и верно (хотя и не без предвзятой либеральной тенденции), это может дать гораздо более ясно понимание о России, чем, например, Гоголь в своей гениальной и могучей односторонности, изображавший лишь одни серые стороны жизни нашей. Разумеется, „Мертвые души" неправда, ибо рядом с Чичиковым давно жили у нас Ленские и Онегины, Андреи Болконские и Пьеры Безуховы. Тургенев правдивее изображает действительность. Но это только отчетливо ретушированная фотография, со смыслом сделанная, и больше ничего. А на русском языке есть даже что-то подлое в стиле этой мелкой работы... ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГИАЛ).

[1] Болеслав Михайлович *Маркевич* (1822—1884)— писатель и публицист антинигилистического направления, называвший всех либеральных журналистов „разбойниками пера и мошенниками печати". Полемизировал с И. С. Тургеневым, который называл его „виртуозом в деле низкопоклонства". С другой стороны, Маркевича характеризовали как „человека приятного в обществе, занимательного рассказчика, прекрасного декламатора".

[2] *„Четверть века тому назад"* — первый роман из трилогии Б. М. Маркевича, опубликованный в 1878 г.

105. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

29 декабря 1878 г., Оптина Пустынь

Добрый друг наш, Николай Яковлевич, вчера получили мы письмо Ваше и посылку (афонские письма). Всей душой благодарю Вас за хлопоты и за сведения, сообщенные Вами. Нет! Видно, не судьба мне снова поступить на службу в Министерство иностранных дел. На днях потребую у них, чтобы они возвратили мне мой аттестат об отставке. ⟨...⟩ Мне необходимо, я вижу, взять какое бы то ни было место и где-нибудь. Когда я получу из Мин⟨истерства⟩ Ин⟨остранных⟩ Дел прямой отказ, мне свободнее будет искать что-нибудь другое, хотя бы попроще и пониже. Вы пишете, мой друг, чтобы я постарался приехать в Петербург. До Петербурга ли тут! Вы еще не знаете, что с нами случилось. Слушайте и ужасайтесь, и жалейте, и поймите. Этот зверь Катков, чтобы наказать меня за то, что я осмелился заболеть и возвратился из Киева, конфисковал всю плату за „Камень Сизифа" [1] и не выслал мне ничего, кроме тех несчастных 150 рублей, которые Вы выхлопотали у Любимова. ⟨...⟩ Весь расчет нашей жизни был веден на 300—400 рублей, которые должны были получиться. И что же? Ни письма к Любимову, ни телеграммы с оплаченным ответом самому Каткову не привели ни к чему. И мы все остались в таком положении, в каком еще и не бывали ни разу. Когда я нуждался в Угреше, я, по крайней мере, знал, что Маша и жена моя без особой нужды живут в Кудинове. Тогда еще крестьяне не были на выкупе и платили 500 рубл⟨ей⟩ оброка, что с 400 рубл⟨ей⟩ аренды доставляло им около 1000 рубл⟨ей⟩. А теперь, кроме % в банке, нет ничего! Ни жену, ни Ма́шу мне содержать нечем. Чтобы

расплатиться в Козельске, сдать квартиру обратно и обеспечить себя и Машу и слуг хоть на один месяц, я должен был до 1-го апреля вперед занять всю пенсию и то при всех возможных стеснениях уже на исходе. Я перешел жить в Оптинский скит, в тесноту и на эту ужасную скитскую пищу, к которой я, при всех усилиях, привыкнуть не могу. Екатерина Васильевна поступила учительницей к одной богатой монахине, у которой живут внучки, а Маша пока бьется, бедная, на монастырской гостинице в ожидании чего-нибудь, что мы с о. Амвросием для нее придумаем. Хуже всего то, что Кудиново на краю гибели. К 1-му апреля надо вносить в поземельный банк (Малютинский, в Калуге) 300 рублей процентов, а я и луча надежды не вижу впереди! Погибнут все эти Варьки, Фенички, Агафьи, „барышни в платочках“ [2]; кулак какой-нибудь порубит эти липы и тополи, знакомые Вам! И что с нами будет — подумать страшно! Монахом, Вы знаете, прежде всего недуги мои мешают мне быть, а жить мирянином при монастыре нужно на свои деньги! ⟨...⟩ Впрочем, о. Амвросий, который знает про нас все и видит, что испытания уже начинают переходить меру сил наших, ободряет нас и говорит, что это кризис и что дела наши скоро поправятся. Буду верить его молитвам и его прозорливости! Но, добрый друг мой, если бы Вы знали борьбу и душевную и телесную, которой за грехи мои, за честолюбие, за внутреннюю гордость ума, за плотские мои падения испытывает меня Бог, Вы бы крепко пожалели меня. ⟨...⟩

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] „*Камень Сизифа*“— повесть Леонтьева, опубликованная в журнале „Русский вестник“ (1877. Кн. 8—10, 12; 1878. Кн. 7—10).

[2] ...„*барышни в платочках*“...— кудниновские соседки Леонтьева девицы Раевские.

106. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

4 января 1879 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Видите, Николай Яковлевич, если бы я был один-одинешенек на свете с моей пенсией в 600 рубл⟨ей⟩, без близких людей, без моей любви к Кудинову, к нашей там травке, и к людям тамошним, не только к Агафье и Варьке, но даже и ко всем мужикам кудиновским с их известными мне пороками, то мое положение было бы проще и легче. Я жил бы на пенсии при Оптиной и писал бы, что хочу; а теперь столько и стольких жаль, мне за столькое и за стольких больно! Прибавьте жестокую несправедливость, алчность, низость и легкомыслие людей, более меня сильных и счастливых, прибавьте мои недуги и мои барские закоренелые, никакой волей не победимые привычки, и Вы, может быть, ужаснетесь, что́ может выпасть иногда на долю одного человека в этой жизни. А литературная борьба, как внешняя с кулаками-редакторами, так и внутренняя с собственным художественным идеалом? А религиозные ограничения? Разве бы я оставил Людмилу, если бы не религия? Мы до сих пор друг друга любим... ⟨...⟩

И, конечно, без мысли о Боге, чтобы в иные минуты могли удержать человека от какого-нибудь „выбора смерти", безболезненной и скорой. Еще не так давно я не понимал самоубийц, мне казалось, что существование даже и при нужде и горестях дает такие иногда хорошие минуты любви, созерцания, любимого труда, невинных развлечений общества и дружбы, что лишиться его очень жалко. С этой весны, с моей болезни в Любани, которая как ножом отсекла у меня возможность продолжать в Петербурге столь удачно начатые хлопоты, и после моего возвращения из Киева (плоды этого возвращения я пожинаю теперь) я стал, по крайней мере, сердцем, если не разумом, религиозно настроенным, понимать самоубийц. Все думаешь, что никому не нужен, ни России, ни растерзанной семье своей,

ни даже Варьке какой-нибудь, которой до смерти хотелось бы дать хорошее приданое и устроить ее, как отец устраивает дочь (не шутите, даже и добродушно, умоляю Вас, над подобными еще живыми чувствами разбитого сердца!), ни Каткову, который снимает с меня, с живого, кожу и от которого я освободиться не могу, ни Министерству, которое предпочитает мне людей бездарных, ни монастырю какому-нибудь, ибо недуги и усталость моя не выносят надолго телесных отречений, необходимых в обители... Никому, ни Маше, которую я не всегда прокормить могу, ни жене, которой я не в силах помогать много и которая после смерти моей будет получать по закону почти столько же из пенсии, сколько я могу ей помогать теперь.

Ну, довольно! Я, впрочем, очень рад, что я Вам все это написал, Вы сами должны сознаться по совести, что, при всей Вашей дружбе, при всей охоте Вашей помочь нам, при всей готовности нам сочувствовать, изустно почти невозможно серьезно и по душе побеседовать с Вами, ибо Вы выслушиваете слишком нетерпеливо, а это всегда обидно, и сверх того при каждой встрече Вы поднимаете вокруг себя такую бурю с этой водкой, огурцами, с гневом и злословием, то уж тут не до излияний! И слова не смеешь о своей душе вымолвить. А вымолвивши, так не дослушавши и не расспросивши, не вникнув, Вы уже сечете и рубите так, что хоть плачь и стыдись, зачем сдуру заговорил о себе...

А любить — любите искренне, вот поэтому-то я очень рад, что высказался Вам попространнее на бумаге, так как на словах этого никогда, вероятно, не будет возможно. ⟨...⟩

Лобанову я писать не буду, а просто буду искать чего-нибудь другого. Я хоть в домашние учителя готов идти, в богатый и добрый сердцем дом.

Не говорите, что я в скиту пока; ведь это все равно что желтый дом, и Вы это говорили.

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

107. Вс. С. СОЛОВЬЕВУ

Январь 1879 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ А деревня моя, знаете ли, что такое для меня? Вот что: нигде, ни в столице, ни в уездном городе, ни в монастыре, ни в Турции, когда я был на службе, нигде я так много и так спокойно писать не мог, как у себя в Кудинове. Понимаете, когда я сел за письменный стол, то петух и тот знает, что под моим окном громко кричать нельзя, потому что он научен опытом. Сейчас выскакивает откуда-то девочка (натравленная уже на это) и бросает в него камнем. Как это в „Слове о полку Игореве"... „Сороки не стрекоташа [нрзб.]" [1]. Я не помню верно текста, но приблизительно. Вот почему, повторяю, заметка Ваша обо мне и ряд объявлений в „Ниве", может быть, косвенно послужит ко спасению моего последнего этого убежища. Простите, что я посвящаю Вас так грубо и просто в эти мои хозяйственные дела. Но уж если принимаете участие, так принимайте. ⟨...⟩

Теперь два слова о другом. Что Вы в Царском [2], я очень рад за Ваше здоровье. К тому же я нахожу, что именно зимой в Царском поэзии гораздо больше. Там есть все прелести русской провинции и есть близость невской клоаки [3] для дел. Будь мои доходы хоть сколько-нибудь повыше, то я бы, очень может быть, по зимам был бы соседом Вашим, и мы проводили бы прекрасные вечера в спорах и соглашениях (я бы Вронского хвалил, а Вы бы бранили его, Вы бы Шатова [4] хвалили, а я бы ненавидел его, а все-таки было бы хорошо). В Петербурге же я долго жить просто не умею!

Очень рад, что „Наваждение" [5] будет напечатано у нас, у Кайя Калигулы нашего [6], который все-таки лучше всех, хотя иногда и строго обращается со мною... ⟨...⟩

Роман начал из русской жизни по Вашему желанию... Но не знаю, не слишком ли дерзок он будет... „Оставьте

всякую надежду". Ничего, кроме прозы и разрушений, почти впереди, не только в Европе, но и у славян и даже в Азии... С той поры, как этот су... сын микадо [7] японский надел цилиндр европейский... Чего можно ожидать от Азии? Цилиндр и сюртук — это внешний признак, как опухоль желез в чуме. А зараза, значит, уже в крови, если и одежда понравилась. Мусульманство везде гибнет под ударами не христианства (какое это христианство, и петербургское, и лондонское... Христианство вот здесь, в Оптиной, да на Афоне), но под ударами все того же прогрессивного европейского мещанства, у нас притаившегося за Гуркой [8], за Скобелевым [9], за мужиком, а в Англии (по-своему гнетущей и разлагающей мусульманство)— за лордами, у которых очень скоро отнимут право первородства и разжалуют в мещане и простые землевладельцы, так, как разжаловали наших Вронских, Облонских и Шастуновых — в эти же самые благодетельные реформы...

Понимаете — все один черт... Все Гамбетта, Вирхов, Ласкер [10], Тьер [11], Бильбасов [12], болгарский прогрессист Шатов*... Все одно, одно... Где же луч, где заря, где варвары? Их нет! А без варваров что делать?

Трудно это изобразить ясно в романе, но хочу хоть неясно, да изобразить... ⟨...⟩

Знаете, здесь, в монастыре при трапезной, чересчур уж скромная пища, поневоле бесы искушают лишний раз вспомнить о Ваших хересах, супах и пирогах! „Что имеем не храним, потерявши плачем!" ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГИАЛ).

[1] „Сороки не стрекоташа"— неточная цитата. Правильно: „А не сороки встроскоташа...".

[2] *Царское* — Царское Село, уездный город под Петербургом.

[3] *Невская клоака* — то есть Петербург.

---

* Не говорите, ради Бога, этого Достоевскому... Убьет! (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

[4] *Шатов* — один из героев романа Ф. М. Достоевского „Бесы".

[5] „*Наваждение*"— один из многочисленных исторических романов Вс. С. Соловьева, публиковавшийся в журнале „Русский вестник" 1879 г.

[6] ...*у Кайя Калигулы нашего*...— иронический намек на авторитарность М. Н. Каткова. Гай Цезарь Калигула (12—41)— римский император, прославившийся садистской жестокостью.

[7] *Микадо* — титул японского императора.

[8] ...*за Гуркой*...— Имеется в виду генерал И. В. Гурко.

[9] Михаил Дмитриевич *Скобелев* (1843—1882)— генерал. Выдвинулся во время экспедиции в Хиву (1873 г.) и Коканд (1875—1876 гг.). Русско-турецкая война 1877—1878 гг. принесла ему громкую известность. В 1880—1881 гг. отличился при осаде и штурме укрепления Геок-Тепе в Закаспийской областн.

[10] Эдуард *Ласкер* (1829—1884)— германский политический деятель, один из вождей национал-либеральной партии.

[11] Луи Адольф *Тьер* (1797—1877)— французский политический деятель и историк. Автор получившей широкую известность „Истории революции". Занимал посты министра внутренних дел и торговли. После поражения Франции в войне 1871 г.— премьер-министр и президент Республики. Энергично боролся с Парижской Коммуной.

[12] Василий Алексеевич *Бильбасов* (1838—1904)— историк и публицист. Занимался историей средних веков и царствованием Екатерины II. Профессор Киевского университета. В 1871 г. оставил кафедру и посвятил себя журналистике как постоянный сотрудник и фактический редактор либеральной газеты „Голос".

108. Вс. С. СОЛОВЬЕВУ

1 марта 1879 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Право, хорошо бы нам с Вами летом побеседовать обо многом, сидя на широких пнях в здешнем бору. Вы, мне кажется, немножко меньше стали бы нападать на монахов и попов. Верьте человеку, который родился в 31 году, а

в детство, как видите, еще не впал, что для нас, русских, это самый существенный вопрос. Православие — это нервная система нашего славянского организма, и как хранить и лелеять художественную красоту и государственную силу этого организма, если мы нашим либеральным, общеевропейским отчуждением будем ослаблять постепенно эту нервную жизнь, эти органически духовные токи?

Достоевский, Ваш любимец, понял это. Правда, Ваш мыслящий, смелый и ученый брат сулит нам какого-то оригеновского журавля в небе [1], вместо той старой, но еще верной синицы, которую мы держим в руках. Но (становясь даже на его точку зрения) я скажу вот что: мыслители и философы никогда положительного культа не могли создать, для этого надо быть пророком, надо дать догмат и обряд, а пока нет нового догмата и нового поэтического твердого обряда, всякая, даже и мистическая, философия есть не что иное, как лишнее орудие разрушения. Я очень люблю Владимира Сергеевича, всегда его статьи внимательно читаю, очень много о нем здесь думаю, во многом в общих взглядах согласен с ним (даже восторженно согласен!). Но... хоть бы по вопросу о вечном загробном наказании... нет ли и тут чего-то эмансипирующего, эвдемонического, приближающегося к какой-то прогрессивной гуманности, к чему-то более имманентному и эгалитарному, чем к аскетически-трансцендентальному?..

Боюсь, не ищет ли он все основания на любви... Но „любы есть плод“, а начало христианской премудрости есть страх Божий. А за неимением страха Божия недурен страх Бисмарка, Муравьева-Виленского [2] и императора Николая?.. Очень недурен этот страх!.. Какая может быть тут на земле любовь! Я смею думать, что проповедь бесстрашной любви есть не что иное, как „le monde à l'envers“,* бессознательная подготовка имманентной религии, антитрансцен-

* Вывороченный мир (*фр.*).

дентальной, т. е. антихристианской, т. е. Царства Антихриста...

Любовь может на земле восходить лишь как благоуханный дымок, „яко кадим пред Тобою!“, не она жжет... жжет курение наше, огонь страха... а любовь есть лишь тонкий и высший продукт страдальческого самосгорания всей нашей жизни земной...

Она ведь ужасна, эта жизнь, и никогда не поправится!

Чего ждать от человечества, когда во Франции Греви[3], микадо японский надел цилиндр и даже в Болгарии, в Болгарии вместо какого-нибудь здоровенного царя-пастыря — бельгийская конституция... Это не шутки, а очень серьезная, грубая и простая вещь... Европа есть прогресс, т. е. ложь и заблуждение... Франция (и Бельгия отчасти) есть культурный пуп Европы... Цилиндр (парижский, т. е. прямо из глубины пупа) есть признак Европы, прогресса, эвдемонизма, лжи в принципе... Бельгийская конституция в Тырново[4] есть не что иное, как орлеанизм[5], тьеризм в самом новом гнезде славянства, отречение сразу от самодержавно-византийских преданий, ступень к болгарскому Греви и скрытому за ним Гамбетте...

Словом, везде один черт.

Спасемся ли мы — великороссы?

Что-то не верится...

Я бы все это хотел и Владимиру Сергеевичу[6] написать, но он мне объявил, что писать писем не в силах. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГИАЛ). Частично опубликовано в кн.: Лит. наследство. Т. 86. Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. М., 1973. С. 473.

[1] *...какого-то оригеновского журавля в небе...*— Имеется в виду учение знаменитого христианского богослова Оригена (III в.), одним из центральных пунктов которого было признание свободы воли у человека. Во многих существенных догматических понятиях Оригеи расходился с церковью и в VI в. был осужден как еретик, память его предана анафеме и сочинения объявлены подлежащими истреблению.

[2] Михаил Николаевич *Муравьев-Виленский* (1796—1866)— государственный деятель. Участвовал в Отечественной войне 1812 г., ранен под Бородином. Был близок к декабристам, но отошел от их деятельности. Занимал посты губернатора в Могилеве, Гродно, Минске и Курске. Проводил политику русификации Западного края. В 1857 г. назначен министром государственных имуществ. Упорно противился освобождению крестьян и был одним из вождей крепостнической партии. Во время польского мятежа 1863 г. назначен генерал-губернатором шести северо-западных губерний и жестокими мерами подавил восстание.

[3] Жюль *Греви* (1807—1891)— третий президент Французской Республики.

[4] *...конституция в Тырново...*— конституция Болгарского княжества, принятая в 1879 г. в г. Тырново и основанная на принципе личной и общественной свободы. Она установила в Болгарии парламентское правление.

[5] *Орлеанизм* — политика орлеанистов, то есть сторонников восстановления на французском престоле орлеанской ветви династии Бурбонов.

[6] *Владимир Сергеевич* — Вл. С. Соловьев.

109. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

7 марта 1879 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Что касается до меня собственно, то естественное развитие обстоятельств шаг за шагом довело меня до убеждения, что мне, именно мне, Кудиново больше не угол, не убежище. Много, очень много есть причин, по которым мне следует думать теперь о том, чтобы свить себе последнее гнездо здесь, в Оптиной. Здесь от меня не требуют ни денег, ни подвигов, дают плоти моей такую свободу (т. е. не налагают никаких обязанностей, не сообразных с моим устроением), а смирять дух перед духовниками я привык давно. Мне только и нужно одно, чтобы ко мне не приставали. Здесь не чувствуешь того страха, который чувствовали в Угреше от судорожного и бессмысленного самодурства

Пимена. Живет человек в скиту, ну, живет! Пишет что-то? Ну, пишет! И только. И его оставляют в покое.

Я ужасно любил Кудиново с самого детства, я заботился о сохранении его даже издалека, из Турции, я постарался даже повлиять на мать свою, чтобы хотя половину его отдать в верные руки — Маше, это было столько же для Маши, сколько и для Кудинова. И теперь видеть, что все должно погибнуть из-за каких-нибудь 360 руб⟨лей⟩, не выплаченных вовремя! Я писал туда и сюда. Если никто не подаст мне руку помощи и Кудиново продадут за бесценок с аукциона, то больше моего потеряют другие. Я, верьте мне, вынес уже довольно покойно такие удары судьбы (Вы ведь и понятия не имеете о внутренней жизни моего сердца), что и к этому я заранее подготовил себя. Это не застанет меня врасплох. Но каково будет Маше, которая и без того слишком расположена к унынию и отчаянию, не получит никакого остатка для покупки кельи в Белевском монастыре, или дома в Белеве [1], или дома в Козельске и знать, что ей, больной и во всем разочарованной, не имеющей даже умственного призвания, которое поддерживает до последнего издыхания (как, например, мое, от которого никто и ничто меня отбить не может), каково ей будет всю остальную жизнь проживать по чужим домам?

Жена моя тоже. Она прекрасная, благородная и простодушная женщина, она наделала ошибок очень крупных под влиянием негодных родных. Теперь она искренно кается. Она просится назад в Россию, Бог видит, до чего я желал бы не то чтобы жить с ней вместе — нет, это вовсе не нужно (ни с какой точки зрения, ни с духовной, ни с хозяйственной, ни с сердечной), но я желал бы успокоить ее материально и нравственно. Ни одну женщину я так не любил душою, да, именно душою, как ее; я много грешил, много изменял ей фантазией и плотью, так сказать, но все соперницы ее знали, что душой я ее более всех люблю. Да она и стоила больше всех. Она лучше и выше их всех была... (меня наказал Бог за безнравственность мою, ее

наказал тоже Бог за ее ко мне несправедливость и за то, что она увлеклась и предпочла мне темных своих родных и уехала от меня именно в то время, когда я желал христианским образом жизни с ней искупить прежнее („Без искупления!“ [2]). Обоих по очереди Бог наказал, но мы все простили давно друг другу и помирились. И вот — и эта столь законная мечта, и это столь скромное желание купить им с Машей на остаток от правильной продажи Кудинова где-нибудь келью или домик — и это может не осуществиться оттого, что 150 каких-нибудь рублей не нашлось, чтобы хоть со штрафом и рассрочкой не дать Кудиново на аукционное растерзание. ⟨...⟩

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *Белев* — уездный город Тульской губ.

[2] *„Без искупления“* — драма Н. Я. Соловьева (1878).

110. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

31 марта 1879 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Скажу Вам, что эта зима была такая страшная для меня, какой я не запомню. Сердцем спокойная и однообразная, по внешним же делам необычайно заботная! %-ты, %-ты, каждый месяц менять векселя, и не один, а 4 в разные сроки! Безденежье, доходящее до смешного, и вместе с тем бодрость и здоровье при строжайшем посте. Срочные, спешные дела. Разгром какой-то, с другой стороны, совсем другое — столькие ждут от меня статей, пишут письма, просят, Берг [1], Дурново [2], Любимов...

Даже из Министерства Карцеву не выдали моих бумаг и сказали: „Зачем их брать; Константину Николаевичу еще, может быть, дадут место“.

Как это все странно! Подите — и не придумаешь того, что в жизни бывает? Какая сложность! А я хоть пощусь

и молюсь, грешный, а, знаете, оружия еще сдавать никак не намерен, и все хочу добиться своего и по-своему. Кудиново — то на волоске, то спасается. Хочу отпустить моих фавориток Агафью и Варьку, чтобы не укорять себя в роскоши и пристрастии и чтобы их не обольщать надеждами. Нейдут. И так, мол, посидим в Кудиново! Подождем! Сложность всех этих дел и работа при полном безденежье такова, что я должен был сдать весь свой гинекей [3] о. Амвросию и сказал ему: „Я этот год не нахожу уже ни времени, ни средств об них думать". И старец их всех разместил, и Катю, и Машу, и даже об жене вместо меня заботится. Денег ей понемногу посылает и ее куда-то хочет определить пока к месту в России, совершенно независимо от меня, чтобы мне никто дело делать не мешал, и все говорит мне: „Пишите! Еже писах — писах и только!" 〈...〉

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] Федор Николаевич *Берг* (1839—1909) — поэт, переводчик, публицист. Редактировал журналы „Нива" н „Русский вестник".

[2] Николай Николаевич *Дурново* — издатель газеты „Восток".

[3] *Гинекей* — женская половина в греческом доме.

111. М. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ

4 июня 1879 г., Кудиново

Маша, с неделю тому назад я получил мой роман твоего рукописания и приписочку карандашом, что это очень хорошо. Благодарю тебя особенно за эту приписочку. Ты знаешь, как я дорожу твоей критикой, может быть, никакой в мире так не дорожу. Все эти Соловьевы и Марковы дороги мне лишь с практической стороны, но их вкус — не мой, а твой вкус — мой, т. е. не то чтоб совсем мой, тогда бы это был я сам, это нехорошо, нет, твой вкус — в моем вкусе, а твое суждение очень, очень строго. Вот что хорошо.

От души благодарю еще раз. Что тебе сказать еще? Конечно, свидание с тобой надолго расстроило, хотя, в сущности, я с тобой согласен, что иначе нельзя... Стоит только посмотреть на твое лицо, чтобы видеть, до какой поразительной степени твоему здоровью обеспеченная скука полезнее той смены сильных ощущений совершенно противоположного рода, которые ты испытываешь, деля мою неопределенную жизнь изо дня в день. У меня есть призвание и более легкий характер; что сносно мне, то для тебя должно быть ужасно иногда, и наоборот. Впрочем, что касается до некоторой скуки, то я с нею мирюсь, лишь бы существовать и писать... Здесь теперь уж очень монотонно. Барышни бывают, но очень редко. 2 раза был Муромцев. На пляску смотреть что-то уже нет охоты. Если уж решился человек жить построже, то и на все эти вещи начинает смотреть холоднее. Букетов даже вовсе не делаю, не хочется. Но с Кудиновом, и скучным и тихим, расстаться не могу. Только здесь я пользуюсь тем, что мне необходимо для занятий и отдыха: независимостью, властью отчасти (все для той же свободы) и простором. В столицах непомерные со скромностью жизни расходы. В Оптиной меня давит общий устав этот, ужасная пища и невозможность вполне располагать ни местом, ни временем! Мучение! Оптина — терновый венец, который должно возлагать на себя от времени до времени, чтобы потом все легче выносить, в том числе и скромную жизнь. Я теперь, когда здесь что-нибудь скучно или по хозяйству трудно одному (посуди — Агафья и двое детей!), я сейчас вспомню эту темную келью, эти неожиданные посты и праздники, это беганье поесть мяса за полверсты. Так после этого и здесь все хорошо. После Успенья, однако, непременно думаю поехать туда. А теперь пью виши [1] и стараюсь быть покойным, хотя без тебя по хозяйству иногда очень трудно, при моей любви к порядку. О делах и счетах наших, верь, думаю. Надо перетерпеть. ⟨...⟩

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *Виши* — минеральная вода из источников во французском городе Виши.

112. Вс. С. СОЛОВЬЕВУ

18 июня 1879 г., Кудиново

⟨...⟩ Я задыхаюсь под бременем прожитой мною жизни... Я сам виноват; идеал мой был несообразен ни с веком, ни со здоровьем моим, уже смолоду испорченным, ни, может быть, даже с моими нравственными силами (хотя в этом и сознаваться больно)... Это с одной стороны; а с другой — я думаю, что уже ничего больше серьезного и крупного не сделаю... Я пишу теперь повести для книг и тягощусь ими. Я все эти типы, характеры и т. п. ненавижу давно. Прошу Вас, обратите внимание на Хризо [1] и т. д. Там все характеры нарочно намечены чуть-чуть, слегка, как в старинных повестях, особенно французских, которых манера и миросозерцание мне нравится больше, чем слишком горельефный, раскрашенный густо и вместе с тем забрызганный грязью прием почти всех наших писателей. Вспомните хотя бы „В своем краю“ [2], просмотрите, Вы не можете не согласиться, что там есть эти типы, эти характеры, которые лезут в глаза с бумаги и в реальной обрисовке которых, я не знаю, кто только у нас теперь не набил руку. У всех характеры живые и типы очень верны и ясны. Мне это еще в 60-х годах опротивело: опротивел даже сам Тургенев со своими „живыми людьми“. Я стал искать теней, призраков и чувств... Я желал, чтобы повести мои были похожи на лучшие стихи Фета [3], на полевые цветы, собранные искусной рукой в изящно-бледный и скромно-

пестрый букет, на кружева настоящие и на point-carré,* на фарфоровые белые сосуды с бледным и благородным рисунком... Я возмечтал быть примером, учителем, я хотел (вообразите!) открыть другим глаза... Я вознесся в своем уединении до того, что мнил положить конец гоголевскому влиянию, которое я признаю во всех, исключая, пожалуй, Толстого, который, по крайней мере, давно уже борется против гоголевщины — остроумия, комизма и т. п. в самом содержании своем. Князь Болконский и граф Вронский явились только у него. А я считаю так, что молодой, красивый, храбрый, знатный и богатый воин (да, именно воин) это вечный и лучший идеал человека в земной жизни. Поэт и монах — вот только кто может равняться с воином. Но я мечтал в гордости моей, в моем уединенном самомнении, что я призван обновить и форму... Напомнить простые и краткие приемы, не грубо рельефные приемы „Капитанской дочки", „Наташи" Соллогуба, „Валерии" г-жи Крюднер, „Цербера" Гофмана [4]... Выбросить все разговоры, все эти хихиканья и т. п. Я ненавидел „В своем краю" за то, что этот роман похож на русский роман вообще, на Тургенева, например (а мысль его, конечно, не пустая, и все в нем правда). Вот каковы были мои мечты, мои цели, мои безгласные и надменные надежды в Турции... Я сжег там, отчасти от гордости, отчасти от тоски, 8-летний труд мой, который должен был обнять жизнь русского среднего и отчасти высшего общества за полвека, от 10—12-го года до первых 60-х годов. Эта эпопея задумана была почти так же, как романы Бальзака [5] и Эмиля Золя [6]— в связи... Написано было уже 3 романа сполна, а другие начаты. Всего должно было быть шесть или семь, и все большие [7]... И все я хотел непременно разом издать. Сколько русских лиц там было списано почти с натуры, лиц, мне известных, близких, оригинальных, сильных, разнообразных; собирал материалы, мать моя трудилась — пи-

* Особый вид плетения кружев (*фр.*).

сала для меня свои записки несколько лет... Я все не спешил печатать — я хотел, вообразите, всех и все сразить сразу... ⟨...⟩

Потом, когда я жил в Константинополе в 72 и 73 году, я, не дождавшись совета и правого, хотя бы и строгого, суда от других, посоветовал себе сам уступить. Я сказал уже тогда в письме покойному Павлу Мих. Леонтьеву, что начну вещь более грубую, для денег; я выразился так, я помню: „Это будет товар более модный". Эта грубая вещь была „Одиссей". Я начал ее почти с презрением. Я пренебрегал прежде, например, характером, этнографией, ясным изображением быта, отвергал подробности и гнался за внутренней музыкой какой-то. Я хотел, чтобы повести мои были похожи на стихи. В „Одиссее" я разом (это Ваша правда, что разом) изверг все это — и типы, и этнографию, и выпуклость подробностей... Я переступил, быть может, за нужные пределы, утратил то чувство меры, о котором Вы говорите, и в то же время не насытился, не исчерпал себя, не истощил не только этого „океана" моих воспоминаний и проектов, но и одной эпирской жизни моей. „Одиссей" уступленная вещь, это продажа эстетической совести за деньги, которые стали нужнее после выхода в отставку (заметьте: по действительной болезни, а не от каприза). И вот эта продажность совести, эта уступка грубым вкусам доставила впервые мне некоторый успех... Удостоила меня хотя бы, например, Вашего внимания.

Насчет „Мертвого дома" и „Преступления и наказания" вполне согласен. Это в своем роде превосходно. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГИАЛ). Частично опубликовано в кн.: Лит. нас. Т. 86. Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. М., 1973. С. 484.

[1] *Хризо* — главный герой повести Леонтьева „Хризо" (впервые опубликована в журнале „Русский вестник". 1869. Кн. 9).

[2] *„В своем краю"* — одна из первых повестей Леонтьева (опубликована в журнале „Отечественные записки". 1864. Кн. 5—7).

[3] Афанасий Афанасьевич *Фет* (1820—1892)— поэт. Леонтьев лично знал А. А. Фета и состоял с ним в переписке.

[4] Эрнст Теодор Амадей *Гофман* (1776—1822)— немецкий писатель-романтик, музыкальный критик.

[5] Оноре де *Бальзак* (1799—1850)— классик французской литературы.

[6] Эмиль *Золя* (1840—1902)— классик французской литературы.

[7] Речь идет о серии романов под общим названием „Река времен", написанных в 60-е гг. и уничтоженных Леонтьевым в 1871 г.

113. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

20 июня 1879 г., Кудиново

Николай Яковлевич, простите, что долго молчал. Вы сами знаете, мало ли что бывает с людьми! Нынешний год здоровье лучше, зато забот гораздо больше. Едва успеваю писать и то все к сроку и к сроку. Я получил на днях Ваше письмо и отвечаю на него.

Насчет выражений моей благодарности скажу Вам: мало ли что! Что же из этого следует, что я Вам постарался сделать пользу? Добрых чувств в России много, твердых дел ужасно мало, и найти надежного и энергического друга не знаю как в других странах, а у нас очень трудно. Есть доброе сердце, преданность, искренность, нет энергии и твердости. И Вася и Евгений [1] способны любить друг друга, способны поделиться с ним деньгами, но попробуйте положиться на их память, на их труд, на их заботу. А таких, как они, в России больше, чем таких, как мы с Вами (я говорю не о способностях, а об надежности нашей в деле); как же Вы хотите, чтобы я не был тронут Вашими обо мне хлопотами и заботами? Это дороже денежной помощи, Вы сами знаете! Ну, довольно об этом.

Что сказать о себе? И жалуюсь, и не жалуюсь. Конечно,

„египетские мяса“ Кудинова вкуснее долговременной „Оптинской манны“ (Вы не забыли Священной истории и ропота евреев в пустыне, когда им наскучила манна?). Агафья, Варя, Феничка, Андрей, Петр старик, Павел и т. д.— все это на месте. Все, слава Богу, верны себе, все при мне тотчас принимаются за работу. Наши вековые вязы над прудом, наши флигелечки, наши розы, липы, рощи — все цело и неизменно. Но я немножко не тот; хуже в мирском отношении, лучше в оптинском смысле. Забитее, скучнее, букетов не делаю, розы напрасно цветут. Маши нет, как знаете, нет разделения труда: все на мне, начиная с кухни и кончая статьями в „Востоке“. Больные, аренда, чистота двора и сада, почта, расходы, сроки процентов, болгарский вопрос, долги, долги, долги... Понимаете, что иногда чувствуешь? О том, что продолжать этот большой роман из русской жизни, который я было решил писать зимою, и думать невозможно. Невозможно углубиться и предаться той задумчивой и осмысленной лени, которая родит живые образы и наводит на неожиданные соображения. Я сегодня в первый раз почти по приезде сюда заметил, сидя после обеда один в своем флигеле, что деревья тихо шелестят и что мне это очень приятно. Что делать — воля Божия. Есть, впрочем, и хорошее: издание газеты „Восток“ [2] дает мне в первый раз в жизни возможность говорить то, что я думаю о восточных делах. Прочтите „Наше болгаробесие“ [3]. Затронул даже и самого Михаила Никифоровича Каткова. Но как? Прочтите. Пусть „Восток“ продышит года два всего, и пусть я дышу — дело настоящее сделать можно. Это, конечно, хорошо; еще хорошо, что Людмила у меня все-таки бывает часто. Что бы я делал без ее дружбы? 〈...〉

Публикуется по копии (ЦГИАЛ).

[1] *Вася и Евгений* — неустановленные лица.

[2] *„Восток“*— политическая и литературная газета, издававшаяся в Москве в 1879—1886 гг. для „разъяснения текущих вопросов, вызванных

политическими и религиозными событиями на Востоке среди родственных нам по крови и вере народов".

[3] *„Наше болгаробесие"* — первая статья Леонтьева из цикла „Письма отшельника" (газета „Восток". 1879. 10 и 17 июня).

114. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

19 июля 1879 г., Кудиново

Володя, я очень рад, что ты достиг своей цели быть поближе к нам. На письмо твое я не отвечал вследствие известной тебе озабоченности.

Теперь позволь сказать тебе дружески и серьезно: я удивляюсь, как при благородном характере и честном сердце и т. д. ты поступаешь так бессовестно с взятыми на себя комиссиями. У несчастной Дятловой [1] взял ботинки и оставил ее без обуви, взялся побывать у Таисьи [2], считая это сам серьезным, и забыл адрес (я его узнал через других), мне пилы не прислал. И что хуже всего, вероятно — Всеволоду Соловьеву заказного письма до сих пор не отправил и из доброжелателя моего создал мне теперь, может быть, литературного врага. Знавши мое основательное недоверие к твоей аккуратности, отчего бы было не выслать мне тотчас же квитанцию?

На первое твое письмо мне отвечать было некогда; у меня Николка был при смерти, теперь ему лучше.

Вчера получил второе твое письмо — о деньгах, Сорокине [3] и Бабушкиной [4]. Какие у меня деньги!.. Я рублями у Агафьи и других занимаю. К тому же щелкановская почта давно переслала в Вязьме 25 рублей на твое имя из Сапожка. Если ты их не получил, виновата почта. Требуй.

Извини, что я больше не пишу. Я очень рад, что ты в Калуге, а Сорокин, во-первых, близорук, а во-вторых, ты, вероятно, все-таки дурно одет, а в-третьих, он и не обязан быть с тобой особенно ласков. Надо эти вещи заслуживать

прежде их внешней, так и внутренней порядочностью. А осуждать людей легко. Таких хороших людей, как Вл. Ст. Сорокин мало. Когда бы мы с тобой были таковы!

Извини за дружескую, отеческую правду. В тебе есть прекрасные залоги, но необходимо тебя обтесать. Ты, Бог знает, как и с кем жил... Поселившись от меня близко, надо или подчиниться твердо моему влиянию и суду, или не ждать от меня никаких рекомендаций и т. п.

Ну, прощай. Желаю тебя видеть. Только остриженным и вообще более приличным, чем ты был до сих пор. Обнимаю тебя.

К. Леонтьев.

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] *Дятлова* — кудиновская соседка Леонтьева.

[2] *Таисия* — неустановленное лицо.

[3] *Сорокин* — неустановленное лицо.

[4] *Бабушкина* — неустановленное лицо.

115. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

7 августа 1879 г., Кудиново

Володя, что же это за свинство с твоей стороны, что ты до сих пор не можешь ни слова мне написать о том, что я у тебя спрашиваю: отправил ли ты заказное письмо Всеволоду Соловьеву или нет? И почему?

Если ты в претензии за то, что я тебе не выслал 10 рублей, то это несправедливо, надо знать, в каком я положении. Я занимаю у Агафьи и у мужиков по 5—10 рублей на хлеб и жалованья людям не плачу. Этого еще никогда со мной не бывало. Газета „Восток", как и следовало ожидать, вовсе нейдет (145 подписчиков), и потому Дурново и денег мне не высылает. Ты меня тоже бесишь, по правде сказать. Хлопотал быть поближе к родным, а сам

ни гу-гу! И, судя по тому, что я сам видел, ведь это все происходит не от кучи дел и забот, а так, от великоруссизма какого-то...

Твой К. Леонтьев.

Недели 2 или 3 тому назад Ник⟨олай⟩ Яковл⟨евич⟩ Соловьев наделал мне дерзостей, и я вынужден был обломать об него палку, а потом призвать мужиков и выгнать его официально, так сказать, из дома.

Совершенная скотина! [1]

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] „В переписке Соловьева и Леонтьева на несколько лет наступил перерыв. 7 апреля 1881 г. Соловьев послал Леонтьеву свою книгу н письменно просил примирения: „Вместе с сим я посылаю вам собрание моих в сотрудничестве с Островским пьес; получение этой книги вами, понятно, не обязывает вас отвечать; вы получаете как будто от неизвестного. Но не могу вам не сказать, что с момента нашей разлуки и по сню пору я глубоко страдаю духом и ни одной минуты не нахожу успокоения, меня грызет, давит, я прошу вас хотя безмолвно, но искренно прнмнриться со мной: я больной душевно человек, н бывают у меня моменты чисто безумные, грустно сознавать это, но это так! Еще креплюсь, двнжусь на сей жнтейской ярмарке, фнгурнрую как-то, но Боже — какой жалкой комедией она подчас представляется тебе и ты какой плачевный актер“. Дальнейшая переписка носнт уже чисто деловой характер н касается главным образом поручений Леонтьева Соловьеву в Петербурге“ (Лнт. наследство. Т. 88, кн. 1, А. Н. Островский М., 1974. С. 574).

116. Т. И. ФИЛИППОВУ

14 декабря 1879 г.

⟨...⟩ Кстати, о Каткове — у него столько коммерческого цинизма в сношениях с сотрудниками (по крайней мере, со мной), что он, пожалуй, цену удвоит мне за то, что я цензор. ⟨...⟩

Впервые частично опубликовано в кн.: Лит. наследство. Т. 22—24. М., 1935. С. 478.

117. ГРАФУ Н. П. ИГНАТЬЕВУ

21 марта 1880 г., Варшава

⟨...⟩ Письмо Вашего сиятельства от 31 января только недавно здесь, в Варшаве, получено мною. Оно долго пролежало в Калуге, из которой я сюда был вызван вовсе неожиданно для сотрудничества в обновленном князем Голицыным [1] „Варшавском дневнике“ [2]. Не имевши никогда ни малейшей наклонности к срочной и спешной газетной работе, я поехал сюда единственно в ожидании обещанного мне весьма положительно цензорского места в Москве, но до сих пор вакансия не открывается, и я начинаю иногда подозревать (может быть, и ошибочно), что и тут не замешалось ли то неудовольствие на мою литературную деятельность, о которой Вы мне говорили. Пусть будет воля Божия! Видно, нужно писать не то, что думаешь даже и в самом консервативном духе! Каяться, разумеется, грех в этом, когда защищаешь Святыню. Лучше претерпеть за это от людей, которым эпитета настоящего я не позволю себе дать в письме к Вашему сиятельству, потому что он должен быть слишком груб. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] Николай Николаевич *Голицын*, князь (1836—1893)— библиограф, в 70-х гг. был подольским вице-губернатором, в 1877—1880 гг.— редактор газеты „Варшавский дневник“. По воспоминаниям К. А. Губастова, „сильно хромой, ходивший на двух костылях, потому более или менее неподвижный, был человек очень умный, разносторонне образованный, с большим литературным вкусом“ (Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 219).

[2] „*Варшавский дневник*“— официальная газета Польского края, вы-

ходившая с 1864 г. двумя отдельными изданиями, на русском и польском языках. Подчннялась непосредственно варшавскому генерал-губернатору.

118. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

29 марта 1880 г., Варшава

⟨...⟩ Я сердцем все забыл и люблю Вас из моего прекрасного далека (как говорит Гоголь, Вы ведь ничего чужого не читаете, может быть, и Гоголя забыли), но... понимаете... но... Согласитесь, что двум таким характерам, как наши, трудно быть в бесцеремонных отношениях. Другой раз может выйти еще хуже, гораздо хуже, верьте. Признаюсь Вам, что я не могу выносить даже и шуточных Ваших некоторых замечаний, они меня коробят донельзя, и если я в жизни моей обнаружил пример исполинского терпения во имя высокой цели, то это с Вами, поверьте. Но Вы видели — не раз еще и прежде последнего дня, что и этому терпению есть предел!

Отношения наши очень своеобразны, я это понимаю, уж так странно сложилось. Вы и нас с Машей, и Кудиново любите и верите нам, как никому, мы Вам платим оба тем же. Но никто зато так и не перечил из знакомых наших всем нашим вкусам, привычкам, как Вы. Судьба! Что делать.

Желаю Вам всего лучшего.

К. Леонтьев.

Публнкуется по автографу (ГЛМ).

119. К. А. ГУБАСТОВУ

3 сентября 1880 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Я приехал в мае домой к своим именинам из Москвы больной и простуженный до того, что до половины июля из своего флигеля не выходил. Не успел я прийти в себя от этого, как Людмила очень опасно занемогла. Она была у нас, в Кудинове, приехала дня на два, и вдруг заразилась дизентерией, на которую было в это время поветрие, и осталась у нас почти на месяц в постели. Это поставило весь дом вверх дном; родные ее и мы делили издержки пополам, из Калуги нарочно приезжал доктор для консультации со мною. Совещаясь с другим, потому что болезнь была непроста и с разными тонкими и опасными осложнениями, я вынужден был следить за лечением сам и в то же почти время писал те возражения Достоевскому, которые Вы читали в „Варшавском дневнике". Верьте, мне стоил этот труд больших усилий; Вы это поймете: вообразите только себе совпадение серьезного труда мысли — и труда срочного — с заботами о дорогом человеке, с ответственностью за жизнь его, лежащею прямо и почти исключительно на Вас!

Едва-едва мы ее подняли и отправили домой; я в первый раз в жизни был рад, что она уехала — до того я был измучен!

Только что я отдохнул от этого, вдруг ответ от князя Голицына: „К сожалению, не могу даже и срока назначить, когда вышлю Вам деньги!" Весь июль и половину августа мы все в ожидании его денег жили в долг, заживали аренду вперед и т. п. Можете опять себе вообразить наше положение! К счастью еще, что, уплативши вовремя долг свой в один из калужских банков, я сохранил себе там кредит, и мне дали еще 350 рублей на девять месяцев; я заплатил все, что нужно было, слугам и в щелкановские лавки и с самым небольшим остатком уехал сюда и поселился по

прежним примерам в скиту и даже в келье самого покойного о. Климента и пишу на том столе, на котором и он писал. Успокоение сердца моего началось только со вчерашнего дня, здесь, в скиту (до вчерашнего дня было тысячу вещественных неудобств и терзаний, неизбежных каждый раз при том переломе, который совершается при изменении помещичьей независимости и хозяйской власти на монастырское подчинение). Что будет дальше — не знаю, предпочитаю даже и не думать, ибо денег у меня только до 1 октября и ничего в виду, кроме милости Божией... Около месяца по получении княжеской телеграмы я, каюсь, был в таком унынии, что объявил всем окружающим — Марье Владимировне, Николаю, Варе и т. д.,— что я ничего не знаю и знать не хочу, и пусть они сами обо всем — и в том числе обо мне — заботятся... Не писал с тех пор — ни в Кудинове, ни здесь, на гостинице, а только молился и шлялся... Не писал не только повестей для Каткова или статей, но даже самых пустых писем, и постоянно завидовал одной здоровой черной свинье, которую я видел проездом в ту минуту, когда она с таким восторгом чесалась об угол сруба. Я не шучу!.. Уверяю Вас, что я не шучу... Дело, наконец, не в одних деньгах, но во многом, во многом и прежде всего в том, что самый „Варшавский дневник“ гибнет без поддержки и утехи... И это после всех тех слов, которые я слышал в Москве и Петербурге. Я не князя осуждаю, ни минуты я его, бедного, не осуждал, а русскую подлость... И это не мое только, пристрастное, быть может, суждение. Эта история „Варшавского дневника“, о которой один из здешних очень умных иеромонахов воскликнул: „Нет! Это отвратительно! У англичан этого бы не случилось... Сколько слов и никакой поддержки!“ Я надеюсь, что Вы меня за этот месяц нравственной и умственной „нирваны“ не осудите. Вы согласитесь, что есть предел всякому — даже и моему в литературных делах терпению! Дело это поднял не я!.. Даже и не Вы (Вам я благодарен), а судьба. Вы были правы, вызвав меня... Но Россия! Эта говенная

интеллигенция? Эти единомышленники, имеющие имя, деньги, власть? Отдельно взятые, они все окажутся словно и правыми. Но в совокупности, что же это за слабость и за предательство?

Не довольно ли об этом?

Вот уже около 20 дней жду решения моей судьбы Лорис-Меликовым[1]. Хотя, разумеется, жизнь цензора[2] я считаю чем-то вроде жизни той свиньи, которая обеспечена и чешется об угол сруба; но тем-то она и хороша... Покойнее, чем положение литературного Икара (Вы знаете миф о Дедале и Икаре, летевших с острова Крит через море?). Не знаю, почему нет до сих пор решительных вестей... За Ваше „неоставление" насчет варшавского места тоже искренно благодарю: приму все, что придется, с удовольствием... Но заметить надо, что варшавское место лучше даже московского, но в том лишь случае, если... „Дневник" решатся, наконец, поддержать так или иначе.

Вы интересуетесь моими домашними делами. Спрашиваете про Варю и Николая[3]. Извольте. Многое переменилось с весны и зимы. Переменились и они. Варя переменилась, впрочем, не [нрзб.]. Вдруг развилась умом, ужасно поумнела, стала даже слишком много понимать; со мной держит себя прекрасно, совершенно как добрая и откровенная дочь. Учится шить, читать, писать, усердно молится и превосходно, с чувством пляшет. Но упряма и горда по-прежнему. С Николаем они почти совсем разошлись. Он, по обычаю, поветреничал весной, вдруг ни с того ни с сего стал с ней до грубости сух, вероятно вообразил, что она будет счастлива одним титулом его невесты. Однако нет! Она решительно теперь за это не хочет за него замуж, и я ее в этом поддерживаю, а он все настаивает и обижается, оправдывается.

Теперь, когда их характеры больше выразились и созрели, ясно, что это „коса на камень"; они друг другу не годятся, а я очень рад, что она нисколько к нему не

привязана и даже любит посмеяться над его фанфаронством. Он мне и всему окружающему все так же предан и все так же ветрен и неспособен, все так же благороден, умен и все так же меня бесит. Раз я его уже и отпустил летом, но он на другом месте так без меня тосковал, что я решился возвратить его для пробы; но едва ли мы уживемся: мне покой и аккуратность теперь гораздо нужнее любви. Переезд в Москву решит это дело так или иначе.

Но я все пишу и пишу Вам, а о главной новости не сказал еще. Лизавета Павловна вернулась около месяца тому назад... Теперь я нанимаю ей хорошенькую скромную квартирку в Козельске и даю ей на пропитание мою пенсию... При ней Варя и мать Николая. В каком она виде приехала в Кудиново, позвольте не писать. Не могу! Скажу Вам только, что она по причинам, нам неизвестным и о которых мы даже и не спрашиваем, впала в слабоумие и в какое-то полудетское бесстрастие. Ее кормят, поят, прогуливают, следят за ней, она молится, меня очень боится, слушается даже Варю охотно и вообще тиха и безвредна. Стыдится при мне есть и больше все сидит по углам молча и с работой. В лице ужасно и не по годам постарела! Воображаю, что с ней там было. И я нахожу, что расспрашивать ее ни о чем не надо, и о. Амвросий, которого она очень полюбила, согласен в этом со мной. Я считаю милостию Божией и счастьем, что она в таком положении. Она покойна, ничего, кроме одежды, сна, пищи и молитвы изредка, не желает; и мне гораздо приятнее заботиться по-христиански и с истинным прощением любви Христовой о женщине убогой и смирной, чем видеть перед собой жену здоровую, но беспокойную и требовательную. Есть ведь только три суда, признаваемых мною, да, я думаю, и многими. Суд религиозный, суд утилитарный и суд эстетический, или суд благообразия. Для спасения души так и ей, и мне полезнее, с точки зрения удобств — так очень удобно обоим, а с точки зрения благообразия я тоже нахожу, что лучше жить с кроткой и полупомешанной женой, которая

безвредна и за все благодарна, чем жизнь, полная несогласий при здоровом уме. Это Господь в одно и то же время ее пожалел и мне крест послал вовсе не тяжелый, а как бы трогательный и утешительный. Я очень за это благодарю Господа! Сжалился Он над нами и соединил, видно, нас о Христе под конец нашей жизни. В этом виде я ее опять люблю и очень жалею. Дай Бог мне только средства постоянно ее успокаивать и утешать теми пустяками, которые ей нужны. 20 коп⟨еек⟩ на орехи или 30 коп⟨еек⟩ на арбуз — для нее радость! Она, видно, ужасных страданий натерпелась там, у милых родных! Племянницы мои очень тоже ее жалеют и много помогли мне ее устроить. Дети Варя и Николай очень к ней расположены. Так что пока поездки в Козельск отсюда к ней большая отрада. Она все молчит, и если бы она изменилась, то я запру ее в лечебницу с первых двух выходок.

Обнимаю Вас, Ваш *К. Леонтьев.*

Впервые опубликовано в журнале „Русское обозрение". 1896. Январь. С. 421.

[1] Михаил Тариелович *Лорис-Меликов,* граф (1825—1888) — государственный деятель. Родился в Тифлисе в семье богатого армянина. Учился в Лазаревском институте восточных языков, потом в Школе гвардейских подпрапорщиков. В юности был близок с Н. А. Некрасовым. В Крымскую войну отличился при осаде Карса, а в Русско-турецкую войну 1877—1878 гг. успешно командовал всеми войсками на русско-турецкой границе. Во время террора нигилистов назначен губернатором шести губерний в Харьков. В 1880 г. призван на пост главного начальника Верховной распорядительной комиссии, а затем назначен министром внутренних дел. Придерживаясь либеральных взглядов, подготовил ряд реформ конституционного направления. Убийство Александра II положило конец его карьере.

[2] *...жизнь цензора...* — по рекомендации Т. И. Филиппова в конце 1880 г. Леонтьев получил место члена Московского цензурного комитета. „Он жил в самой скромной обстановке; обязанности цензора он выносил только ради насущного хлеба и содержания семьи, подумывая охотнее

всего об отставке и переселении в Оптину Пустынь" (Губастов К. А. Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве. Памяти К. Н. Леонтьева. СПб., 1911. С. 222).

[3] *Варя и Николай* — слуги К. Н. Леонтьева.

120. К. А. ГУБАСТОВУ

20 декабря 1880 г., Москва

⟨...⟩ После Нового года я, вероятно, на недолго буду в Петербурге. Под величайшим секретом сообщу Вам вот что. Комаров[1] (редактор „Петербургск⟨их⟩ вед⟨омостей"⟩) зовет меня приехать на его счет для пользы консервативной партии и т. п. Я хочу воспользоваться его деньгами больше для пользы службы, чем для пользы публицистики. Я убежден, что мои гражданские взгляды могут только повредить мне в глазах либерального начальства, а мне теперь, **теперь** кусок хлеба важнее всего. С женой мы так сжились опять, как никогда...

Я никогда ее так еще не любил и не жалел. Я без нее здесь скучаю, и когда вижу светских и образованных женщин, то просто не понимаю ни их, ни мужей их!.. Равнодушие мое к литературе и т. п.— полное и все растет и растет... Я не знаю, как избавиться даже от повестей для Каткова (которого деньги мне нужны), и хотя время найдется, когда я больше привыкну к тонкостям новой службы, но, Вы понимаете, мне все равно, кроме жены и Вари, с которою они очень сошлись (Бог-то как милостив!), а Варя вдобавок становится такая прекрасная, верная, серьезная дочь, что поискать таких! Оптинские старцы ее уважают. Вся моя жизнь теперь в них и для них!.. Я сейчас не в силах их выписать из Козельска, но терплю и смиряюсь.

Все мои мечты — это оставить им что-нибудь... А вы знаете, как я запутался!.. Поэтому и литература теперь может иметь лишь коммерческое для меня значение!.. И

т. д., и т. д. А я лично для себя прошу от Бога только одного: „христианской кончины живота, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшном судилище Христовом!“ Я в угрешском подряснике был гораздо более „мирянин“, чем теперь. И „Варш⟨авский⟩ дневн⟨ик⟩“ сделал свое неизгладимое дело... Стоит ли такие, как мои, вещи писать? Для кого? Для 20 человек, для высокопоставленных людей, которые, восхищаясь, не умели и не хотели ничего серьезного сделать ни для Голицына, ни для меня... как писателя? Серьезным я называю тысяч 100—200. Нашлись бы, если бы была воля Божия на проповедь подобных вещей в России. Но отчизна наша предана уже проклятию и ничего с ней не сделаешь!..

Я счастлив теперь в своей семье и не боюсь более смерти — чего же большего человеку желать?..

Благодарю Бога — и за место, за „хлеб насущный“, и за примирение с женой, и за Варю, и за равнодушие мое к России и к своей собственной славе, и за друзей, которые меня не оставляют.

Простите, что все это сорвалось у меня с пера... Исполните мою просьбу и, еще раз повторяю, не говорите никому пока об этом настроении моем, потому что на мою литературу в Петербурге иные влиятельные люди рассчитывают,— будьте всегда гробом тайн, как были.

К. Леонтьев.

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение“. 1896. Январь. С. 424.

[1] Виссарион Виссарионович *Комаров* (1838—1905)— журналист. По образованию военный, участвовал в освободительном движении турецких славян и был произведен в сербские генералы. Редактировал газеты „С.-Петербургские ведомости“ и „Свет“, а также журналы „Звезда“ и „Славянские известия“.

121. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

10 января 1881 г., Москва

1) Вперед прошу тебя без нужды телеграммами не тревожить меня, и не заставляй за них платить деньги. Вчера я вынужден был заплатить за нее целый рубль. Напиши письмо.

2) Филиппову недавно писал. Напишу еще. А ты не зевай сам (по обычаю) и напиши скорее Бабушкину [1]; он, может быть, скорее Филиппова достигнет цели у Усова [2]. Ближе. А еще лучше догадаться бы съездить к нему.

3) Писем тебе не пишу, потому что „соловья баснями не кормят". Что писать, когда денег до сих пор не могу послать за тебя начальнику станции? Меня самого рвут на куски.

В заключение посоветую побольше молиться Богу и поменьше думать о своем личном достоинстве.

Не только твое, но даже и мое достоинство никому, поверь, не нужно. Я убедился в этом. ⟨...⟩

К. Леонтьев.

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] *Бабушкин* — неустановленное лицо.

[2] *Усов* — возможно, Петр Степанович Усов (1832—1897), инженер путей сообщения, занимал пост инспектора водопроводов и освещения при петербургском градоначальстве.

122. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

12 апреля 1881 г., Москва

Христос воскресе, Николай Яковлевич, я получил Ваше письмо. Само собой разумеется, оно меня глубоко тронуло. Оно и не могло не тронуть. Вы сами это понимаете.

Впрочем, я ни минуты не сомневался в искренности Ваших ко мне чувств. Я знал об них из писем Ваших к Маше и даже от посторонних людей, например от Аверкиевá. Он с жаром говорил об Ваших ко мне чувствах. Я верю, что Вы „добром“ помянете те дни, которые Вы проводили у нас, в нашем милом Кудинове, и я сам об них часто с большим удовольствием вспоминаю, несмотря на наши постоянные столкновения. Я готов даже видеться с Вами и побывать у Вас в Петербурге, но только, умоляю Вас, оставьте меня в покое без замечаний, без личностей, без разных ядовитых намеков; мое нравственное состояние со времени нашей последней размолвки ужасно изменилось. Я совершенно подавлен, и подавлен постоянно [нрзб.] Так что мне теперь всякая неделикатность или что-нибудь в этом роде представляется непростительным противу меня жестокосердием. Лежачего не бьют. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГЛМ).

123. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

16 июня 1881 г., Москва

⟨...⟩ Вы жалуетесь, что я долго не пишу. Вы недостаточно ясно себе представляете мой московский образ жизни.

Я с пером в руке, во-первых [нрзб.], с 10 часов утра до 2-х или 3-х пополудни; во-вторых (кроме воскресенья и четверга), срочно и обязательно (для выхода газеты) от восьми или девяти часов вечера до 10 или 11. Почти каждый день, кроме того,— после обеда чтение по службе. Прибавьте — что я при этом должен сдать к 15 июля начало повести Каткову, иначе нам будет очень плохо. Прибавьте еще, что я плачу в Калужский банк около 700 рубл⟨ей⟩ в год (это я теперь расплачиваюсь за свою

шестилетнюю свободу) и беспрестанно должен об этом переписываться и помнить. Еще прибавьте — домашнее хозяйство, стол и мелочные расходы, потому что у меня в доме нет ни помощника, ни помощницы надежных. Жена —40-летний ребенок, ходит по бульвару в сарафане с куклой или котенком. Надо и об ней подумать, „обдумать“ ее. Еще прибавьте, что и кудиновские дела меня миновать не могут. Все на мне теперь одном. Прошу Вас, подумайте об этом и тогда судите, каково мне писать письмо. Вы знаете, каковы мои чувства уважения, любви и благодарности к Людмиле Раевской; я не могу ни одну женщину так уважать. Она помирила меня, так сказать, с женщинами (которых достоинство литературою вообще преувеличено, по моему мнению). И ей я очень подолгу не пишу. Невозможно. Сильнее этого примера я не мог найти.

Вообще я мою теперешнюю жизнь или какую-то мелкую „страду“ понимаю так: я не сумел стать монахом. Господь дал мне монашество в миру, и я нахожу в этом особого рода, очень немногим понятную, отраду.

Бог даст — Вы будете из числа этих немногих. Ну, прощайте и не требуйте от меня того, что свыше сил моих телесных! Я ценю, очень ценю Вашу дружбу, этому верьте и сами не забывайте меня. Читать письма легче, чем писать.

Ваш *К. Леонтьев.*

Публикуется по автографу (ГЛМ).

124. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

6 августа 1881 г., Москва

Сейчас только вставши, я получил твою телеграмму. Отвечать депешей не могу, потому что вчера во время сильного дождя не мог даже на службе быть — на извозчика нет; а сестра твоя заложила платье для нашего пропита-

ния в течение нескольких дней. Мое положение при здешних условиях жизни не многим лучше твоего; оно стало до того уже невозможно (в денежном отношении), что со следующего месяца я все решился переделать: Лизавету Павловну отдаю на хлебы к Дарье Дмитриевне Высоцкой [1], а сам на небольшой квартире остаюсь с одним Николаем. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] *Дарья Дмитриевна Высоцкая* — неустановленное лицо.

125. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

25 ноября 1881 г., Москва

Володя, 8-го декабря срок нашему с тобой векселю в Малютинском банке. Посылаю тебе готовый бланк, только подпиши его, он на обороте уже учтен мною — и тотчас же, Христа ради, верни его мне; я уже отсюда пошлю в Калугу сам при письме к нужным людям. Зная твою бессовестную небрежность в исполнении моих поручений и все твои промедления и ничем серьезным не объяснимые — „извините, не успел, извините, не могу!“, посылаю тебе вексель хотя и задолго до срока, но все-таки со страхом и трепетом, и чтобы избавить тебя от мучений лени твоей, посылаю даже готовый бланк и надписанный на мое имя конверт. И четыре марки, только придется что-то приплатить, может быть, за то, что письмо непременно должно быть заказным.

Пощади ради Бога — неужели невозможно сейчас же заклеить конверт, только заклеить и отдать на почту? Ведь когда самому пришло к гузну у́злом, так и телеграммы и письма градом посыпались сюда. Не надо свое добродушие простирать до малодушия и приятную поэзию русской небрежности до общечеловеческой подлости.

Вот ты недоволен был мною за те 60 рублей серебром, но ведь у меня не было в то время чем за квартиру заплатить, а твоя сестра достала деньги, а что такое твоя сестра, когда она гневается, ты, кажется, знаешь. И я, пригласивши ее в Москву для необходимых хозяйственных распоряжений, дал себе слово не раздражать ее по мере сил, ибо она и без того покою мне душевного в течение 4-х месяцев не давала, и яд из нее изливался уже не сгоряча на этот раз, а холодно и непрерывно. Я был не согласен с ней и хотел бы тебе доверить деньги, и она сказала, отдавая мне их: „делай, как знаешь". Но я не счел себя вправе идти против ее бабьих взглядов на твое дело (я его вовсе нестрого сужу), да и на спокойствие тоже имею право...

Я тебе повторяю: ее обращение со мной стало просто невозможным!

В заключение скажу тебе, что некто Павел Михайлович Свешников [1], инспектор железных дорог, очень усердствует для тебя хорошее место... и надеется. Он у меня два раза для этого был. Хоть в награду за это заклей конверт и пошли заказным. Письма теперь не пиши, задержишь вексель, а если хочешь, после напиши.

Наташу [2] целую.

Любящий, хоть и ругатель, *К. Леонтьев.*

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] Павел Михайлович *Свешников* — никаких других сведений о нем не найдено.

[2] *Наташа* — жена В. В. Леонтьева, Наталья Терентьевна Леонтьева.

126. Т. И. ФИЛИППОВУ

24 февраля 1882 г.

⟨...⟩ У Каткова и тени нет смелости в идеях, ни искры творческого гения,— он смел только в деле государственной практики и больше ничего. ⟨...⟩

Впервые частично опубликовано в кн.: Лит. наследство. Т. 22—24. М., 1935. С. 478.

127. Т. И. ФИЛИППОВУ

8 марта 1882 г.

⟨...⟩ Но если бы Вы только знали, до чего мне все тошно и все скучно! Я и об России очень мало теперь думаю и, благодаря тому, что цензура кое-как меня кормит, только и думаю (как слабый и худой монах): „Как бы пОесть, пОспать и, вздОхнувши о гресех (очень искренне), Опять пОспать...“ Скучно! Очень скучно! Задушили! ⟨...⟩

Впервые частично опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 129.

128. О. А. НОВИКОВОЙ

21 августа 1882 г., Москва

12 часов ночи.

Видите, какой большой лист и какой страшный и безмолвный час? Поэтому Вы можете судить, каковы мои намерения. С чего начать? Сказать нужно так много... Времени и сил так мало... Особенно сил мало... Вот хоть бы сегодня: был у меня генерал Циммерман [1], сидел долго вчера, сегодня опять заехав, увез меня обедать с собой, и я пробыл с ним tête-à-tête* с половины 5-го до половины 10-го. Оба раза он говорил почти без умолка и очень умно, но все такие ужасные, мрачные вещи, не допуская даже никаких возражений и называя меня за малейший луч

* Наедине (*фр.*).

оптимизма (политического) больным душевно, „как почти все русские нашего времени“. ⟨...⟩

Мне нравится и то, что Вы так кратко и выразительно вначале вступились за Игнатьева, он мне все-таки многим нравится, и несмотря на то, что он про меня лично Бог знает что говорил (Филиппов сказал: „Я не позволю себе вам передать этого“), я никак не могу на него сердиться (почему не знаю?).

Moralement je ne puis pas le prendre au sérieux*. Но я люблю его именно за эту политическую ненависть, которую он внушает... В этом человеке какое-то непостижимое сочетание ума и пустоты, искреннего патриотизма и самой бессовестной подлости, достоинства и шутовства, малодушия и отваги, любезности, доходящей почти до доброты, и зловредности самой несносной! Я всегда говорил, что его можно изобразить, описать, но объяснить невозможно.

Дома у меня все то же, покойно, мирно, однообразно, правильно. Николай все так же мил и довольно благоразумен, но, к сожалению, все влюблен в Феню [2], которая не по вкусу мне как невеста для него, очень боюсь, что эта сама по себе хорошая девочка станет яблоком раздора между нами. Лишиться такого прекрасного и толкового юноши было бы очень тяжело и для сердца, да и для хозяйства, он во многом меня заменяет, как никто. Жена моя последнее время веселее, но привыкла вылезать из окна на улицу и назад влезать. Все соседи уже привыкли к ее „психозному“ состоянию, и я не останавливал ее, пусть развлекается, бедная, мне бы только лишь заниматься не мешала. К несчастью, это увидел вчера околоточный и хотел составить акт, и должны были заплатить тогда 25 рублей штрафу за „бесчинство“ ее. Отделался взяткой в 3 рубля и упросил его сделать ей притворно строгое замечание. Она перепугалась и, надеюсь, прекратит эти шутки. ⟨...⟩

---

* Я не могу принимать его серьезно в нравственном отношении (*фр.*).

Ну, прощайте. Вы мне жмете руку, а я Ваши крепко целую. Все бы ничего, да здоровье все плохо, и признаюсь Вам, отлагая всякий стыд, что иногда нападает нестерпимая просто тоска от страха смерти. Ужасно не хочется умереть! Существование само дорого — как животному. Просто, понимаете, очень просто и грубо — существовать хочу!!! Боюсь, страшно, скучно... жутко... Одно и облегчает это ужасное чувство — это церковь. Как побываешь у обедни или у всенощной, ну и оживаешь. А там опять то же. ⟨...⟩

Ваш *К. Леонтьев.*

Публикуется по автографу (ГБЛ).

Ольга Алексеевна Новикова (1840—1925)— родилась в семье известных славянофилов Киреевых. Большую часть жизни провела в Англии, занимаясь общественной и публицистической деятельностью. „За то, что в лице г-жи Новиковой мы имеем дело с незаурядной женщиной, говорит уже одно ее умение привязать к себе и поддерживать дружеские отношения с такими людьми, как Гладстон и Карлейль. А dii minores* ее знакомства! Ведь это вся передовая Европа — Фриман, Фруд, Лекки, Лавеле, Ауэрбах, Нордау, Катков, Аксаков, Победоносцев, Сольсбери, Бальфур, гр. Игнатьев, Скобелев и кого только не увидишь вокруг ее. Ее политический салон — это целый особый мир, малознакомый и непривычный для русского человека" (Белов А. Зарубежная публицистика. „Исторический вестник". 1909. Май. С. 542). О. А. Новикова издала несколько книг на английском языке в защиту России. Сотрудничала в „Московских ведомостях" и „Русском обозрении".

[1] Аполлон Эрнестович *Циммерман* (1825—1884)— генерал от инфантерии. Участвовал в завоевании Кавказа и Средней Азии. В Крымскую войну был начальником штаба севастопольского гарнизона. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. командовал корпусом.

[2] *Феня* — прислуга в доме Леонтьевых.

---

* Младшие боги (*лат.*).

129. О. А. НОВИКОВОЙ

10 октября 1882 г., Москва

⟨...⟩ Без Николая все будет очень, очень трудно. У меня, кроме его, нет вовсе помощи. Денег у меня, как водится, не было ни рубля [нрзб.], когда все обнаружилось и когда родители ее [1] дали свое согласие. Но по совету Никодима [2] я решил собирать [нрзб.]. По его же совету написал граф. Толстой (Анне Георгиевне, на Садовой) [3], она дала с удовольствием 100 р⟨ублей⟩. Никодим дал 20. Преосвящ⟨енный⟩ Алексей [4] 50 р⟨ублей⟩. Я, к слову пришлось, рассказал и Скарятиной [5], она очень веселилась и смеялась этому и прислала им 10 р⟨ублей⟩, Ионин [6] дал 25, я дал немножко из денег Мещерского, и так собралось для них больше 200 рублей. Ее мы очень мило „обшили" и его одели на это. Так как дамы нет у меня в доме, т. е. дамы „здравого ума", а сами они ничего оба не знают, то я, вообразите, сам закупал все, что требует опыта и вкуса. Торговался, ездил и купил все дешево и очень красиво. Уступаю им комнаты свои на этот вечер, а сам уйду куда-нибудь, чтобы их не стеснять. Пусть повеселятся. В церкви, конечно, буду. Иначе это было бы и Николаю, и ей обидно. Не знаю, что готовит мне Бог впереди от них, но теперь они очень милы, и я ими доволен. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГБЛ).

[1] *...родители ее...* — то есть Фени.

[2] *Никодим.* — Как указывает Леонтьев в следующем письме, речь идет об архиепископе Фаворском (занимавшем кафедру в Фаворском монастыре в Палестине). Других сведений о нем не найдено.

[3] Анна Георгиевна *Толстая* (1798—1889) графиня,— вдова А. П. Толстого, обер-прокурора Св. Синода в 1856—1862 гг., в доме которого жил и умер Н. В. Гоголь.

[4] *Преосвящ⟨енный⟩ Алексей* (Александр Федорович Лавров-Пла-

тонов, 1830—1890) — с 1879 г. митрополит Московский, впоследствии архиепископ Литовский.

[5] *Скарятина* — неустановленное лицо.

[6] Александр Семенович *Ионин* (1837—1900) — дипломат и писатель. Предшественник Леонтьева по консульству в Янине. Был послом в Бразилии. Леонтьев считал его „умнейшим человеком", у них было много общего во взглядах: „Ионин развивал ту мысль, что с Россиею надо обращаться как с умалишенным человеком, т. е. усадить ее в темную комнату 〈...〉. Ионин против всяких конституций и земских соборов. Он находит, что надо лечить Россию тишиной и спокойствием. Он даже предсказывает распадение России" (де Воллан Г. Очерки прошлого. „Голос минувшего". 1914. № 5. С. 144).

130. К. А. ГУБАСТОВУ

1 января 1883 г., Москва

Это не Маша пишет, это я диктую.

На днях получил Ваше милое письмо, Константин Аркадьевич! Для Нового года я с утра все сердился, потому что мороз, а потом расположен был ныть, а Маша вместо нытья предложила писать Вам под мою диктовку и, в некотором роде, вспомнить доброе старое время.

Что бы Вам сказать?

Очень старею, мой друг, и очень своею физиономией недоволен: жреческого в ней мало, а больше хамская стала.

Новостей, конечно, очень много, даже больше, чем Вы ожидаете.

С тех пор, как Вы меня угощали ухой из ершей у Патрикеева [1] и пожаловали мне на бедность 25 рублей (которые, разумеется, никогда не получите), очень многое переменилось.

Во-первых, я уже не под Новинским, а в Малом Песковском переулке, на Арбате, в доме баронессы Боде [2]. Квартирка плохая; там были ободранные потолки, а здесь

обои висят. Но добрые люди, например Ф. Н. Берг, ее хвалят, говорят, что на губернский город похоже: что-то душевное. Жена моя все та же; впрочем, стала повеселее. Перезнакомилась со всеми дворниками, дьячками и городовыми, и целый день болтается по Москве. Часто сердится; [нрзб.].

Я изнемог в борьбе с векселями и т. п.— и Кудиново продал богатому мужику, который уже многое там испортил.

С прошедшей осени и до весны гостила у меня Людмила Осиповна Раевская, и так как я всю зиму никого не принимал и ни к кому почти не ездил, то ей эта однообразная и скучная жизнь надоела и она, оказавшись негодною к продолжению службы, с милостивым манифестом вышла в отставку. С большой благодарностью и большим удовольствием вспоминаю ее шестилетнюю безоблачную службу; горжусь [нрзб.] своим предвидением. Я всегда говорил, что эта женщина много волноваться не станет, а когда ей человек надоест, она его бросит без разговоров и только! Это имеет свои удобства и причины, но зато, кроме равнодушия, за это ничем другим заплатить нельзя.

Маша вернулась из Калуги, в которую она себя сослала за разные преступления [нрзб.]! „Вознеслась, смирилась и изнемогла". Воображает, что может* всю остальную часть моей жизни провести около меня; а мне приходится заставлять себя верить в это, потому что я этого всегда желал. Я очень серьезно хочу теперь заняться с ее помощью всем тем, что в моей жизни, мыслях и воспоминаниях заслуживает название посмертного.

Меня очень тронуло, что Вы с таким участием спросили о моих любимцах — Николае и Варе. Их история за эти два года очень сложна и могла бы послужить сюжетом для очень хорошенькой повести, гораздо более свежей и ориги-

* С помощью Божией (примечание мое — ханжи — Марии Владимировны).

нальной, чем все, что пишется у нас и за границей. Ничего даже и поэтизировать не нужно было бы, а только понимать.

Прошлою весной они совершенно перессорились и, чувствуя, что мне это очень неприятно, стали от меня скрываться, расстроились оба и сделались невыносимы. Ее я, помолясь Богу и заглянувши в Евангелие, отпустил, не имея в виду совершенно оставить,— и она прожила больше года с Машей в Орловском монастыре*, а недавно, узнавши, что я в затруднительном положении, сама пожелала у меня служить; она очень благородная и надежная девушка, умна и добра, но очень горда и непрактична, особенно для самой себя. После этого года монастырской жизни она стала серьезнее смотреть на свои ко мне отношения и теперь действительно мне очень полезна.

Что касается до Николая, то даже больно и рассказывать про него. Он действительно годится в герои романа, но прежде всего — самый злейший враг самому себе. Из этого веселого ветреника, которым Вы его знали, он под влиянием чего не знаю — болезни ли головного мозга, которую в нем находят доктора, или неудачного выбора в любви,— превратился в мрачного, ежеминутно сердитого и даже опасного человека.

Случилось это вот как. Прошлой зимой я за шалости его рассердился на него и прогнал его и хотел совсем от него отказаться: он странствовал долго кое-где, был дворником в одном из московских монастырей; ему было запрещено показываться мне, но он встретил на улице Н. Я. Соловьева и просил его походатайствовать, чтобы я не лишал его по крайней мере своих советов. Я был в это время очень болен и причащался; священник на исповеди посоветовал мне его взять к себе. После этого он действительно стал вести себя примерно, но мало-помалу в то же время влюбился в

* Маша служила там в школе монастырской для мирских детей.— К. Н. *(Примеч. К. Н. Леонтьева.)*

другую кудиновскую девочку, которой имя Вы, быть может, и слыхали,— Феню. Она — красивенькая, вроде куклы, и характером напоминает С. П. Хитрово, только потише и повялей, холодная и лукавая кокетка. Встретив в первый раз в жизни препятствие и холодность, он добивался как Дон-Жуан (не Байрона, а Пушкина), добился всего и пришлось жениться, потому что она беременная.— Я очень был доволен ею как хозяйкой, но вовсе этого для Николая не желал и всячески против этого боролся, даже, может быть, и через меру, до тех пор, пока не узнал (очень поздно), что они в связи и что оставить ее нельзя. Что же мне оставалось делать как христианину и честному человеку, как не помочь им обвенчаться? Хотя мне нынешний год и полегче прошлогоднего, а все-таки у меня денег для приданого ей не было; но, по совету Никодима, архиепископа Фаворского на здешнем Иерусалимском подворье, который говорил, чтобы я этого не стыдился,— я сделал в их пользу сбор. Два архиерея, графиня Толстая, Ионин и кой-кто еще, пожертвовали в сумме 225 руб⟨лей⟩. На это их обоих очень хорошо одели, а на свадьбу я сам издержал с угощением около 30 руб⟨лей⟩ — вот и все.

Больше я ничего сделать не мог. Свадьба вышла очень веселая; были и у них гости, были и у меня. Даже Хитрово, который только что приехал в Москву (в октябре это было), узнал и явился на свадьбу сюрпризом, пил за здоровье молодых и упрекал, „что ты, бгат, венчаешь своих любимцев и не зовешь стагых дгузей“. На половине молодых играла гармония и плясали, и Варя приехала из монастыря,— и Николай на свой счет ей сшил платье к свадьбе. А на моей половине — Хитрово с профессором Астафьевым [3] (новый друг и очень способный человек) поспорили о душе и о Боге до 3-х часов ночи. Я же не только не спорил, но и половины не слыхал, что они говорят, а все с помощью Вари занимался хозяйственной эстетикой, чтоб было все вовремя, красиво и вкусно подано,— и, кажется, гости были довольны. Астафьев и другой

профессор Ст-в (болгарин)[4] таки сильно подпили. И в самом деле, странное было сочетание — оборванных обоев и коленкоровых занавесок моих приемных комнат с изяществом и нарядностью как самих молодых, так и поэзией маленькой комнаты, которую я около залы убрал им недорого, конечно, но в русском вкусе. Невеста была удивительно мила, совершенно фарфоровая куколка; одета была хотя и „по-немецки“, но со вкусом и не бедно, на жертвованные деньги; а он был в красной рубашке шелковой — его Вы знаете. По церкви ходил шепот, что деревенский мужичок берет барышню, и Николаю это очень понравилось. Но ничего из этого не вышло хорошего!

Понимаете — все пластическое, живописное и плотское было прелестно, но увы! душевное вышло все прескверно, так что мне остается только тому радоваться, что моя совесть в этом деле чиста, и все это случилось вопреки мне и моим вкусам. Я бы такую холодную и лукавую девочку никогда не выбрал. Она его не любит, уступила в минуту какой-то слабости, и даже его физическую привлекательность ничуть не ценит, тяготится его ласками и никак не может понять, что мы в нем находим особенного. А что мальчик он особенный, то лучшее доказательство этого — то, что даже Вы при своей сдержанности и осторожности отличали его... Он бесится, ревнует ее целые дни, не верит ей,— и тяжелое впечатление, глядя на них, смягчается разве только тем, что они оба молоды и милы. Иначе это было бы ужасно. По какой-то случайности, истинно несчастной, у него с нынешнего лета стали делаться какие-то обмороки и припадки, которые под влиянием всех этих душевных потрясений после свадьбы ужасно усилились, обмороки стали чаще, вперемежку с бешенством гнева, и он стал опасен — стал браться и за ножи...

Главная беда была в том, что он на самых любимых лиц стал раздражаться — на меня и на жену, и нравственно стал для меня невозможен; последний месяц я не имел дня покоя. То гнев и обморок, то исступление, то раскаяние

и слезы. Доктора советовали удалить его именно от этих любимых лиц, но в Москве по всем больницам тиф и другие заразы, так что его нельзя было здесь отдать, и я, снабдив их чем нужно, отправил их на родину: его в оптинскую больницу, а ее в Козельск, к его матери, и буду им давать денежную помощь, пока могу. Болезнь — болезнию, но, мне кажется, и помимо того, вследствие неудачного брака, характер его ужасно испортился. Я полагаю, что мое воспитание для него кончено, а теперь уже пусть воспитывает его сам Бог и обстоятельства. Что ж? Надо быть благодарным и за прошлое: видел я от него много и полезного, и приятного. Вот и все про Николая. Вы видите, мой друг: одно хуже, другое лучше.

Что еще сказать Вам о службе, литературе и здоровье?

Здоровье нынешний год как будто лучше, хотя я, не знаю почему, очень похудел; страдаю только от мороза, еще больше нравственно, чем физически, и жду не дождусь, когда мы возьмем Царьград и мы переедем туда.

Про службу что сказать? Это стирка и ассенизация чужого, большею частью грязного белья, с одной стороны, так презренна, а с другой стороны, так легка, особенно теперь, при министре строгом, что не стоило бы о ней и говорить, если бы она не была душеспасительна. Не думайте, что я шучу,— нет, Вы знаете, до чего я не люблю всякое штатское хамство! И каково же мое положение, если я должен ежедневно благодарить Бога и радоваться, что добрые друзья мне и этот жалкий кусок хлеба доставили. Что нас смиряет или не смиряет — ведь это условно и меряется прошлыми претензиями. Есть такая точка зрения, при которой можно гордиться тем, что чистишь отхожие места в монастыре и нисколько не чувствуешь даже довольно значительную долю власти, которую тебе дает какая-нибудь прозаическая должность. Вот если бы я имел столько власти, сколько имеет министр, так я бы показал себя (Вам я это пишу потому, что Вы знаете, что я не просто кабинетный теоретик). Это будет не пустая фраза, если

я Вам скажу, что у меня все эти Стасюлевичи [5], Спасовичи [6] и Бильбасовы даже бы и не доехали до Камчатки; верьте, что не нахожу в себе струны, которая заставила бы меня хоть на минуту усомниться, что я прав, поступая так для спасения отчизны и ad majorem Dei gloriam*! Ну, разумеется, разве у Юрьева [7] в „Русской мысли" [8] прочтешь между строчек то, что у него между строчками написано, и заставишь Главное управление [9] вырвать и сжечь эту статью. Но, согласитесь, что это не хитро; не примите это за самохвальство, если я Вам скажу, что другие цензоры охают и ахают, что затруднительно, а я только пожимаю плечами и нахожу, что все эти дела с Николаями, Варями, Фенями гораздо труднее, да и занимательнее.

Теперь о литературе.

Что Вам о ней сказать?

Совершенно несоразмерны мои произведения с моими замыслами и с моими возможностями! Не поспешает моя бедная, изнемогающая рука за полетом моей мысли. Вы с Вашим всегдашним удивительным тактом угадали именно то, что и меня терзает. Нет, терзает — это слишком много, это было бы неправда. Что-то такое, что я в иные минуты расположен назвать свинством, глупостью и европейским холопством нашей публики, а в другие, более идеальные,— карающею десницею Господнею за мои многолетние грехи... одним словом, что-то во вне меня стоящее до того смирило меня (не перед Вирховым, Гамбеттой и В. Максимовым [10], конечно, а перед чем-то невидимым и отвлеченным), что я гораздо менее способен терзаться своими литературными неудачами, чем вопросом о том, чисто ли вынес дворник мое ведро** или нет, и радуюсь похвалам знатоков гораздо слабее, чем тому, что я Фене сшил очень

---

* К вящей славе Божией (*лат.*).

** Единственное из новейших изобретений, которое я уважаю. (Извините, Константин Аркадьевич,— это не я. М. В.)

хорошенькое подвенечное платье, или тому, что после почти годовой борьбы с Таисой Семеновной (моею кухаркой) за преобладающее влияние над Варей я наконец чувствую, что возобладал. Итак, слово „терзаться“ — нейдет; а так — вздохнется иногда, когда подумаешь, что занимаешься „Египетским голубем“, когда нужно бы продолжать то, что Вы называете „Против течения“.

Так, шаг за шагом, втянулся в какое-то труженичество, в какую-то аккуратность, из которой нет смелости уже выйти, потому что чувствуешь себя запутанным и зависимым со всех сторон.

После неудачи „Варшавского дневника“ у меня уже нет полета и не будет его; я только умею теперь трудиться правильно и не спеша — и больше ничего. Нынешнее лето и осень, кажется, могли бы меня пробудить и вознести. Я в первый раз стал видеть, что я в Москве и Петербурге не *некто*, как писал сукин сын Суворин [11], а *нечто*. Не могу или, вернее сказать, не хочу Вам слишком наглядно представлять, какие случаи и встречи заставили меня это почувствовать, но могу Вам сказать одно, что О. А. Новикова, с которою я возобновил сношения с прошлой весны, играла и играет во всем этом большую роль. Подкралось как-то это незаметно, но в моей плохой квартирке с ободранными обоями перебывало много с тех пор хорошего народа. Да и печать, как бы то ни было, за этот год иначе относится ко мне, чем прежде. Только, видите ли, все это я больше понимаю, чем чувствую. И по грехам моим, и по мерзости моей перед Господом — это очень много, а по житейским соображениям и по таланту — ужасно мало! Хотелось бы мне, чтобы Вы это поняли как следует: искренне и тонко. Я достаточно Вам толковал о внутреннем монашеском желании, чтобы Вы при Вашем уме и при Ваших разнообразных встречах не могли бы всего этого как следует разобрать и различить. При всех этих вниманиях и выражениях сочувствия и уважения душевно меня трогает больше всего то, что почти ни один из моих прежних сослуживцев,

проезжая через Москву, не минует моей провинциальной гостиной: Ону, Ионин, Теплов [12], Хитрово и т. д. Не знаю почему, но я их посещения особенно ценю.

Что же Вам еще сказать?

Когда здоров — хожу аккуратно в церковь по праздникам, молюсь о „христианской кончине живота“, живу сегодняшним днем, о будущем совершенно разучился мечтать, мечтаю только о России, о Царьграде и о Восточном союзе. Последнею моей сердечной мечтой была любовь Николая и Вари; это расстроилось — и нового нет и не будет ничего. Последнею вспышкой моих литературных мечтаний был огромный успех „Варшавского дневника“ — это сгибло. Была у меня надежда, какая-то хозяйственно-эстетическая, сохранить и исправить Кудиново — и это разлеталось в прах, вот и остались одни гражданские мечты не для себя, а для России. Пишу в „Гражданин“ „Письма о восточных делах“ (не помню, выслал ли Вам?); уговорился с Мещерским „по душе“. Он дает мне 100 руб⟨лей⟩ в месяц, а я пишу, сколько могу; многие побуждают меня читать публичные лекции об Афоне и монашестве, а мне что-то нет охоты.

Ну, вот и все.

Игнатьевы Вам сказали, что я бывал у них часто, был весел и ни на что не жаловался. Да разве я когда-нибудь им жаловался на что-нибудь свое, личное? Разве когда в былое время старался выхлопотать что-нибудь у Игнатьева, да и то нет, а уж к сердечным излияниям могут ли они расположить человека? Она со мной была очень внимательна и любезна, но ведь у нее — каменное сердце, а что касается до него, то я имею доказательство от Т. И. Филиппова и из других верных источников, что он против меня, отъявленный подлец, и несет про меня за глаза всякому встречному Бог знает что, но и Вы его знаете, и я его знаю; через это нет резона прерывать сношения с ним, когда он с вами внимателен и любезен. Найдет он завтра выгодным для себя быть мне полезным — и пригодится; а что он

в душѣ подлец, какое мне до этого дело? Ему же хуже. Я на него за это ничуть не сержусь. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение". 1896. Март. С. 393—401.

[1] *Патрикеев* — вероятно, владелец одного из московских ресторанов.

[2] *Баронесса Боде* — возможно, Мария Михайловна Боде (1856—1897).

[3] Петр Евгеньевич *Астафьев* (1846—1893) — родился в богатой дворянской семье и получил домашнее образование, которое завершилось университетским курсом юридических наук. Преподавал в Демидовском и Катковском лицеях философию права, психологию, этику и логику. Служил в Москве цензором. Писал преимущественно на психологические темы, в частности по женскому вопросу. Занимался также проблемами национального характера и выступал иногда с литературно-критическими статьями, в которых защищал чистое искусство.

[4] *...профессор Ст-в (болгарин)...* — неустановленное лицо.

[5] Михаил Матвеевич *Стасюлевич* (1826—1911) — общественный деятель, публицист и историк. Профессор Петербургского университета. Основные труды — по истории Древней Греции и средних веков. В 1865 г. основал журнал, названный им в память Н. М. Карамзина „Вестник Европы", в котором неуклонно следовал либерально-демократическому направлению. Много сил отдал работе в Петербургской городской думе.

[6] Владимир Данилович *Спасович* (1829—1906) — юрист и писатель. Профессор Петербургского университета. Прославился защитительными речами в уголовных процессах. Был одним из ближайших сотрудников журнала „Вестник Европы".

[7] Сергей Андреевич *Юрьев* (1821—1888) — астроном, литературный деятель. Занимался переводами Шекспира, Кольриджа и Лопе де Веги. Издавал журналы „Беседа" и „Русская мысль". Следовал славянофильскому направлению. Был организатором торжеств по случаю открытия памятника А. С. Пушкину в Москве в 1880 г.

[8] *„Русская мысль"* — научный, литературный и политический журнал, издававшийся в Москве в 1880—1918 гг. До 1885 г. под редакцией

С. Ю. Юрьева сохранял славянофильскую ориентацию, впоследствии превратился в умеренно-либеральное издание, сочувствовавшее народникам. В „Русской мысли“ печатались А. П. Чехов, В. Г. Короленко, В. М. Гаршин, А. М. Горький, Д. С. Мережковский. В 1920—1930-х гг. журнал выходил под редакцией П. Б. Струве за границей.

[9] *Главное управление* — Главное управление по делам печати при министерстве внутренних дел (цензурное ведомство).

[10] *В. Максимов* — возможно, Василий Максимович Максимов (1844—1911), живописец-передвижник, изображал сцены крестьянского быта.

[11] Алексей Сергеевич *Суворин* (1834—1912)— журналист и книгоиздатель. Сотрудничал в „С.-Петербургских ведомостях“, противостоял охранительным журналам „Русский вестник“ и „Гражданин“. С 1875 г.— издатель и редактор газеты „Новое время“, которая стала наиболее ярким выразителем симпатий русского общества к восставшим славянам. После русско-турецкой войны 1877—1878 гг. перешел на консервативные позиции. Был в близких отношениях с Н. С. Лесковым и А. П. Чеховым.

[12] *Теплов* — неустановленное лицо.

131. Н. Я. СОЛОВЬЕВУ

2 января 1883 г., Москва

⟨...⟩ Недавно Островский [1] приезжал в Комитет [2] по какому-то делу, был со мной любезен, даже до какой-то почтительности, говорил он о Вас с большим участием, но сделал то же самое замечание, что у Вас подробности недостаточно ярки. Вы не должны, конечно, огорчаться этим; хоть Вы не так уж молоды, но здравы телом и духом, и это от Вас не уйдет, если Вы не будете пренебрегать голосом опытной дружбы. ⟨...⟩

О себе мало охоты мне Вам писать. Довольно покоен, но как-то давно уже меня ничто не радует, особенно зимой. Пишу без охоты; стараюсь жить как можно ленивее, и,

думаю, вижу сам, что очень старею. Теперь мне несколько легче при Маше, которая приехала ко мне гостить надолго. Жена моя все та же: чудит, целый день ходит по Москве и каждый день просится в Крым. Бедный Николай совершенно расстроен и уехал со своей молодой женкой в Козельск; пока на моем иждивении, но доктора надеются, что он выздоровеет. Варя у нас; а больше ничего нет нового. За политикой слежу внимательно, но Вы ею, я знаю, мало интересуетесь, и поэтому молчу. ⟨...⟩

Публикуется по копии (ЦГАЛИ). Частично опубликовано в кн.: Лит. наследство. Т. 88. Кн. 1. А. Н. Островский. М., 1974. С. 574.

[1] *Островский* — драматург А. Н. Островский.

[2] *Комитет* — имеется в виду Московский цензурный комитет, в котором служил К. Н. Леонтьев.

132. Т. И. ФИЛИППОВУ

26 февраля 1883 г.

⟨...⟩ Вы легко поймете, что значит зависеть исключительно от [Каткова]. Это истинная, должно быть, каторга. Я, слава Богу, в такой прямой зависимости от него не был, но и тех литературных и денежных отношений, которые я с ним имел, достаточно, чтобы вообразить, каково в иные минуты положение человека, стоящего в более тесной связи по должности и по пропитанию семьи с этим гениальным и пока еще незаменимым подлецом. Он способен, ни слова не говоря, перестать платить человеку и т. п. ⟨...⟩

Впервые частично опубликовано в кн.: Лит. наследство. Т. 22—24. М., 1935. С. 478.

133. О. А. НОВИКОВОЙ

11 июля 1883 г., Мазилово

⟨...⟩ Про себя Вам что сказать? Здесь воздух хороший, место прекрасное; пишу мало, как можно меньше (надоело ужасно). „Мои дамы" (по Вашему выражению) все в порядке и на местах; жена моя блажит, и здесь еще более, чем в Москве, внимает не разуму, а голосу природы, редко чешет свою густую гриву и ужасно рада, когда дачники и мужики принимают ее за цыганку. Маша много ходит в церковь, много переписывает и как-то еще чувствительнее московского. Варя моя очень мила, имеет много обновок, чистит ногти щеточкой и душится, но в церковь тоже с нами часто ходит; у нее есть на примете один юноша (здешний крестьянин); плечи в косую сажень и демонические глаза, а другой мальчик к ней расположен, очень добр и умен, и тоже недурен, но тот проклятый мальчишка, я понимаю, может скорее увлечь. Родители его желали бы взять ее к себе в семью, и я бы согласился расстаться с ней для ее удовольствия, но она слишком была с ранних лет приучена и матерью, и нами к любви и ласке, уходу в болезнях и умной строгости, чтобы не было страшно отдать ее на вечное батрачество в семью грубую и небогатую. Вся эта борьба теперь меня ужасно занимает и тревожит и радует гораздо больше анафемской литературы, которая, кроме неприятностей и очень плохой полистной платы, ничего мне не дала и которую я, конечно, бросил бы надолго, если бы не навсегда, когда бы у меня были не 245, а 345 или 400 руб⟨лей⟩ жалованья в месяц... И то с этой весны, как только назначили мне 245 (вместо 204), так я стал менее себя принуждать в писании. Довольно сделано и мало получено — стоит ли продолжать, когда не хочется.

Лесков, вот тот так чудак! Imaginez vous qu'il me prends

au sérieux?* Опять на днях 2 новых и громовых статьи против меня [1]. Взывает и к Аксакову и к другим, чтобы они сказали свое мнение. Смеется над Влад. Соловьевым за то, что вошел в мою „богоматерию“.

Конечно, это занимательнее молчания, и он подает хороший пример людям нерешительным, друзьям коварным и т. п. 〈...〉

Но чтобы Вы поняли, до чего все это надоедает и даже удивляет, неужели же Лесков так наивен, qu'il me prends au sérieux**, тогда как люди близкие и ухом не ведут; чтобы Вы это поняли, тот Сашка, который Варе нравится, сгребал сено около моей дачи, и я бросил статью с половины и отдал ее потом читать Маше, а сам созерцаю Сашку и думаю о Вариной судьбе и отдавать ли ее в семью или нет... Это жизнь, это чувство. А чтобы литература в 53 года действовала на сердце, нужны условия иные, хоть сколько-нибудь возвышающие бодрость, а не такие паршивые, как мои. 〈...〉

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

[1] *...Лесков... Опять на днях 2 новых и громовых статьи против меня.*— Н. С. Лесков, державшийся либерально-христианских вглядов, враждебно встретил книгу К. Н. Леонтьева „Наши новые христиане“ (М., 1882), „пропитанную ядом“, по его выражению, и написал против нее статью для „Нового времени“, признанную редакцией и самим Лесковым неудачной. Лесков основательно переделал ее и опубликовал в виде двух статей: „Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи (Религия страха и религия любви)“ и „Золотой век. Утопия общего переустройства (По поводу новой книги Леонтьева „Наши новые христиане“)“ (Новости и Биржевая газета. 1883. 1, 3 апреля; 22, 29 июля).

---

* Представьте себе, он принимает меня всерьез (*фр.*).

** Что он принимает меня всерьез (*фр.*).

134. В. Г. АВСЕЕНКО

24 октября 1883 г., Москва

⟨...⟩ Я бы согласился с охотой написать большую статью об Тургеневе и похвалюсь, что написал бы ее беспристрастно и всесторонне, потому что я в 50-х годах юношей был очень к нему близок, и как человек он мне нравился и нравился больше всех знаменитостей наших, гораздо больше, например, чем этот Ф. М. Достоевский, который лично ничего привлекательного, по-моему, в себе не имел. Но как писателя я Тургенева никак не могу высоко поставить и нахожу, что слава его вовсе не заслужена. ⟨....⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

135. О. А. НОВИКОВОЙ

1 января 1884 г., Москва

⟨...⟩ О знакомых мало нового. Хитрово здесь с теткой гр. Толстою [1]. У нее у бедной неврит, лежит уже давно и пролежит еще. Жгут ей спину железом.

4-го, однако, у них чтение в пользу 2-х бедных семейств, читают: Фет, Чаев [2], И. С. Аксаков, князь Цертелев [3] и я. Я не хотел бы, но один protégé* мой, нельзя.

Вижусь я почти только исключительно с Хитрово-Толстыми, Соловьевыми и Астафьевыми. К остальным не хочется. Несносны обычаи и зима. И не мои часы у них на все. Скоро выйдет книга „Прогресс и развитие“ К. Леонтьева с огромным предисловием Астафьева. Получите немедля. Дома? Дома много нового. Лиза моя — все та же добрая, растрепанная и тоскующая Лиза. Но с Марьей Владими-

---

* Подопечный (*фр.*).

ровной разрыв окончательный (даже и с участием о. Амвросия). Нет, мы вместе невозможны, и жить и видеться даже нам грех, пока совсем не станем друг другу чужими. Она до того утомила меня наконец, что я ее отъезду рад, как празднику. Но есть нечто другое, что грозит мне: замужество Вари по любви. Она ведь и по хозяйству не скоро заменима, не говоря уже о моем к ней пристрастии. Не мудрено, что я скоро останусь один со слабоумной, ничем не занятой и ноющей целый день Лизой. Но... есть Бог, и потому делать нечего, а верить, что Он пошлет мне мужество,— надо. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГБЛ).

[1] Софья Андреевна *Толстая* (1825—1892)— урожденная Бахметева, в первом браке Миллер. Жена писателя и поэта гр. А. К. Толстого. По свидетельству современницы, „при большом уме она была чрезвычайно образованна и соединяла огромную начитанность с необыкновенной памятью. Не было, кажется, отрасли знания, в которой она не была бы сведуща. Толстой называл ее своей энциклопедией; он говорил, что, когда ему нужна какая-нибудь справка, ему нет надобности рыться в книгах, надо только спросить у Софы. Зная хорошо несколько новых языков, она изучала и древние. В Карлсбаде она занималась санскритом. Она никогда не козыряла своей ученостью и редко выказывала свою начитанность, разве вследствие прямо обращенного к ней вопроса вступала в ученый разговор" (Матвеева Е. Несколько воспоминаний о гр. А. К. Толстом и его жене. „Исторический вестник". 1916. № 1. С. 171). Все другие свидетельства подтверждают это. С. А. Толстой посвящено стихотворение А. К. Толстого „Средь шумного бала".

[2] Николай Александрович *Чаев* (1824—1914)— писатель, хранитель Московской Оружейной палаты. Писал исторические драмы из времен допетровской Руси, а также исторические романы. Для произведений Чаева характерны точность воспроизведения исторической обстановки и идеализация старины.

[3] Дмитрий Николаевич *Цертелев* (1852—1911)— поэт и философ, князь. Друг Влад. Соловьева, последователь А. Шопенгауэра и Э. Гарт-

мана. В поэзии примыкал к кругу А. К. Толстого. Редактировал журналы „Дело“, „Русский вестник“ и „Русское обозрение“.

136. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

11 февраля 1884 г., Москва

⟨...⟩ Я же 4-ю неделю не выезжаю, не одеваюсь и едва хожу. У меня хроническое медленное воспаление толстых кишек.

Лечат, но я плохо верю в выздоровление и понемногу приготовляюсь в „дальний путь“. Настроение духа, слава Богу, хорошее и самое подходящее к обстоятельству.

Твой *Константин Леонтьев.*

N. B. Что ты пишешь о сестре...

Разве не знаешь, что наконец-то, по милости Божией, эта тяжкая цепь нашей старой дружбы порвалась, должно быть, совсем? Она уехала. Переписки нет; помину нет, все письма за 15 и более лет сожжены. Она даже портрет мой (хороший) не пожелала взять.

Я очень рад и теперь только понял и то, сколько греха, тягости и вреда всякого рода принесла нам эта наша неестественная сердечная долгая связь! Да! И за два дня, быть может, до конца жизни у человека может спасть с глаз завеса, и ошибка целой жизни вдруг станет понятна.

Прощай. Наташу целую от души и очень жалею, что она не может ходить за мною и хозяйничать у меня.

К. Леонтьев.

Публикуется по автографу (ГЛМ).

137. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

Июнь 1884 г., Москва

(Телеграмма)

Письмо получил. Жалею. Постараюсь, хотя в пятницу обвенчал Варю с Александром, истратив семьсот рублей.

Леонтьев.

Публикуется по автографу (ГЛМ).

138. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

1 сентября 1884 г., Москва

Владимир Владимирович, ты уж не заложил ли или не проиграл ли в карты Варин бурнус? От твоего беспутства можно и гадости всякой ждать.

Он ей нужен, а я новый покупать не могу. Хотел тебе послать рубль на почтовые расходы, но здесь почта на вашу станцию денег не принимает.

Хорошо ты благодаришь меня за мои заботы о Наталье Терентьевне. Ну, да и ей еще больше удивляюсь. Все-таки она потверже тебя. Отчего хоть она не достанет где-нибудь 50 коп⟨еек⟩ сер⟨ебром⟩ на пересылку? Я ее так просил!

Какая ты, братец мой, все-таки скотина!

Послушай, если на этой неделе бурнуса я не получу, то даю тебе слово, что заставлю Александра написать жалобу начальнику станции, чтобы он вытребовал женин бурнус.

Дурак!

К. Леонтьев.

Публикуется по автографу (ГЛМ).

139. К. А. ГУБАСТОВУ

4—12 июля 1885 г., Мазилово

⟨...⟩ Катков боится именно того, чего мы с Филипповым желаем,— чрезмерного в будущем усиления вселенской патриархии в случае присоединения Царьграда и неизбежной нужды сосредоточить церковное управление православия; Катков опасается того, чего нужно желать, то есть оппозиции церкви русскому государству; эта возможность оппозиции, эта сила и свобода церкви и есть единственная годная для России и для всего православного Востока конституция; Катков этого не желает, и в этом он просто глуп... Ибо только церковь, сильная и смелая, так сказать, в лице своего духовенства может в будущем в иные минуты спасать самую государственную власть от каких-нибудь анафемских новых либеральностей... ⟨...⟩

Я советуюсь с Филипповым насчет моей книги „Новые христиане" (Вы знаете ее — обличение в недостаточном христианстве Достоевского и графа Толстого). Он одобряет,— издаю... Со всех сторон нападки... Лесков пишет в либеральных „Новостях" 4 больших статьи, очень острых, хотя и не совсем добросовестных в деле изложения моих взглядов; зовет меня инквизитором, говорит, что я хочу, чтобы профессоров „секли" (я этого не говорил, но не скрою от Вас, что я против этого, не шутя, ничего не имею: не в ж... (извините) профессорской сосредоточено все достоинство человеческое)... Выражается далее, что я поднял на двух великих писателей наших „неумелые руки" и т. д. Другой критик (обыкновенный славянофил), более благоприятный, обвиняет меня только в том, что я неточно выразил и не понял идеи „всеобъемлющей любви"... (Ну-ка поймите Вы эту фразу.) Третий (молодой священник) пишет, что меня, видимо, раздражает слава Достоевского... Один только Владимир Соловьев написал

в „Руси“ Аксакова возражение, с которым можно не соглашаться, но в котором нет никакой пошлости...

Я, видно, так перед Богом грешен, что, когда касается до моих дел, то деятельные люди не находят времени, искренние друзья становятся равнодушными, благородные люди действуют предательски, смелые чего-то робеют... Разве это не от Бога?.. Я уже и доведен почти до полного равнодушия... Я, впрочем, еще лет 5—6 тому назад молил усердно Бога, чтобы Он мне это равнодушие послал... И оно пришло. Прежде (в Варшаве и раньше) не дождусь, бывало, свободной минуты и томлюсь, чтобы сесть писать; теперь времени свободного бездна, но я рад и цензурной работе, и всему, что наполняет эту пустоту, только бы не писать, не сочинять... Конечно, я беспрестанно читаю духовное, беспрестанно думаю о загробной жизни; молюсь мыслию и по книгам... Но это беспрестанно — сравнительное только противу прежнего!.. Я нахожу, что я мало молюсь, мало читаю духовного, мало боюсь Бога, мало люблю Его... Писать — едва-едва могу на 100, на 150 рублей в полгода... Нужны в близком будущем деньги, знаю это, боюсь нужды. Отвращаюсь с омерзением от новых займов — берусь за перо... Напишу 1 страницу и бросаю... „Боже,— говорю я себе,— на что все это?“ Мне скучно, меня это не занимает уже, спасения душе это не дает... Воображать себя полезным — гордость духовная... Люди другие не особенно, видно, нуждаются, когда успех всегда такой средний... Значит, ни удовольствия, ни спасения души, ни твердого и ясного сознания пользы, ни возбуждения извне от успеха, сообразного с прежними претензиями!.. А все, однако, или почти все, что я пророчу, сбывается мало-помалу — это Вы правду пишете... ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение“. 1896, ноябрь, С. 440.

140. К. А. ГУБАСТОВУ

19 июля 1885 г.

Знаете, Губастов, чему сегодня годовщина? Моей свадьбе... 19 июля 1861 года. Через год — 25 лет, „серебряная свадьба"! Сегодня мы не вместе... Лиза ведь живет в Москве с Таисой Семеновной, а я здесь с молодежью. У меня ноги так пухнут и болят от ботинок и движения, что я уже скоро месяц как в Москву и на службу перестал ездить, и цензурой на дому занимаюсь. Лиза же предпочитает шляться целый день по Москве и сюда изредка ко мне является на день или на два... Эти дни она тоже не совсем здорова и не могла приехать... А у меня бессонница, и я решился прибавить Вам еще несколько строк.

Например, скажу Вам, что я сегодня, в этот день, в уединении от Москвы вспомнил очень многое и спросил себя еще раз: „Каюсь ли или каялся ли хоть раз когда-нибудь, что я женился на ней?" И опять ответил себе, как отвечал и прежде, но еще с большим убеждением: „Нет!" Вопрос этот потому приходит на ум, что видишь и чувствуешь, как немногие могут это понять. И я уверен, что большинство знающих меня людей считают этот поступок ошибкой. Вы понимаете, что я теперь говорю не о духовном покаянии религиозного человека в грехе на основании известных определений положительной религии, а о раскаянии житейском, так сказать, практическом. Где-то мы с ней будем через год? Она еще очень сильна, а я уже очень плох, мой друг!.. Помните Ваше обещание — приехать, когда я буду умирать? Конечно, если не внезапною смертию...

Ну, что же Вам еще сказать? Прошусь на месяц в отпуск в Оптину; пожалуй, до сентября не отпустят: другие цензора прежде отпросились, рук мало.

У Вари на днях умер мальчик, она не особенно горюет... Он все хворал, все без умолку три месяца кричал, и она

с ним ни спать, ни работать, ни гулять не могла... Замучилась. Она не горюет, а я, разумеется, и подавно! Теперь, слава Богу, без него все останется по-старому... а то через этот детский крик нужно было или оставлять ее на зиму в деревне, а Сашу одного брать в Москву, или искать другую квартиру, рублей на 150-200 дороже... а это для меня теперь беда: кроме лишней этой суммы я ведь искать-то, собственно, и ездить туда тоже не могу сам при больных ногах, а другие около меня не умеют. Теперь, слава Богу, все, вероятно, останется по-старому. Боюсь только, что мне придется наконец с бедной Лизой прибегнуть к тому крайнему средству, к которому я так упорно вот уже 5 лет не хотел прибегать, то есть запереть ее хоть на два месяца в лечебницу! Она ничуть не буянит и вообще очень смирна и безвредна, но неопрятность ее стала все возрастать, и мы с Александром и Варей втроем не можем за ней усмотреть. У нее опять стали заводиться вши (не моется, не чешется, волосы густые!) в ужасном количестве и до того, что на голове раны, на шее сыпь и т. п. Уже 3-й раз за это лето и все сильнее. Убегает на рассвете из дома, чтобы Александр не мог бы вымыть и вычесать ее. Другие же и не подступайся. Я почти калека теперь, а скажешь: „Лиза, образумься!“, она в ответ: „Если нехороша — разведись! Я очень рада! Напиши Никодиму в Иерусалим, он нас разведет. Я себе кусок хлеба найду. Я еще молодого мужа найду. Разве я старая? У меня старшая сестра есть. Ты, несчастная твоя голова, со мной много не рассуждай. Знаешь, я гречанка!“ Ну, засмеешься, и все тут. Что с ней делать! Но горе в том, что эта гадость может обратиться как бы в болезнь и болезнь ужасную. Поэтому придется, кажется, скрепя сердце, решиться на ту крайнюю меру. Во-первых, там справятся и пресекут хоть на время дурные эти привычки, а потом, вероятно, надолго останется страх заключения; она ведь привыкла к движению из дома в дом и к большой свободе, ее ведь и незнакомые мне люди очень ласково принимают, угощают и любят как-то, как какую-ни-

будь „блаженную" или „Божьего человека". Но она не понимает, что все эти доброжелатели от нее отступятся, испугаются вшей, если это не прекратится. Она и на всех нас, вообразите, было поселила их, но мы-то, конечно, сейчас же избавились. А у нее не проходят, и я боюсь, чтобы она опять бы не пришла в то положение, в котором ее привезли 5 лет тому назад из Крыма — всю в ранах и струпьях от этой же самой причины. Делать нечего. Поручил одному агенту своему разузнать скорее все, что нужно, и сегодня Саша по этому делу поехал в Москву. Жалко, а надо испытать. Куда же нам дома и при моих занятиях и при моей вынужденной болезнью теперешней неподвижности с нею успешно бороться! Встала рано и убежала из дома, чтобы не чесали!

Вам, мой добрый Константин Аркадьевич, со стороны все это, пожалуй, покажется „ужасным"! Ну, а долгое пребывание в мире религиозных чувств и мыслей приучает постепенно к совершенно иному освещению жизни... „Блажен человек, его же аще накажеше, Господи, и от Закона Твоего научиши его!" Счастлив человек, которого ты, наказывая, учишь! Вот мировоззрение, о котором Вы, я думаю, в нынешней Вене мало слышите. А во времена Марии-Терезии [1] ведь многим и там это не показалось бы „фразой" церковной, а было бы понятно как выражение чувств живых и испытанных. Вот и я, когда вижу пред собою эту теперь уже старую, неопрятную и растрепанную седую женщину, которая рвет и марает одежды свои, и когда вспомню, глядя на нее, Лизу прежнюю и дикую, семнадцатилетнюю в Крыму, во время войны, и потом, когда женой уже моей, такая она была добрая, доверчивая чуть не до святости, и свежая, и веселая, и как она покорить сумела феодальное сердце моей матери, тогда еще довольно бодрой и крутой. И как эта самая ужасно брезгливая и гордая мать с удовольствием входила всегда в ее комнату, и как у нее в спальне всегда пахло, как у светской женщины... И если она еще и теперь возьмет гитару

и пропоет одну из старых-престарых песенок своих... Ну, Константин Аркадьевич, как Вы думаете, что я чувствую? Одно и то же всякий раз: блажен человек, которого Ты, Господи, наказываешь... Где ж бы мне при прежнем моем образе мыслей это все перенести, а теперь — ничего. Как будто так и надо... И со вшами возиться, и прежние духи и цветы вспоминать. Вы ее ведь настоящей-то Лизой и не знали. Что она была за милая! ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале „Русское обозрение", 1896, ноябрь, с. 451—454.

[1] *...во времена Марии-Терезии...*— Мария Терезия (1717—1780)— австрийская (точнее, римско-германская) императрица. Получила чисто мужское воспитание, подготовившее ее к управлению обширным государством. С 14 лет присутствовала на заседаниях Государственного совета. Как ревностная католичка проводила клерикальную внутреннюю политику. Заботилась о благосостоянии страны, процветании наук и искусств.

141. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

30 июля 1885 г., Мазилово

⟨...⟩ Постарайся также до 15 августа не писать ни слова ни мне, ни Таисе, потому что какая же это будет услуга и какое успокоение, если ты утроишь мои заботы перепиской, то требованием денег, то объяснений, то счеты и расчеты? Уж и это тоже большой для меня труд. Теперь очень дорого время. Я, впрочем, скоро велю и Таисе, и Саше твои письма до 15-го разрывать, не читая, и мне ничего не говорить. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГЛМ).

142. Г. И. ЗАМАРАЕВУ

29 сентября 1885 г., Москва

Григорий Иванович!

Появление хорошей (наконец) шубы (присланной г-жею Дубовицкой [1]), возбудило всеобщее ликование в моем доме. Всем моим (гораздо еще больше, чем мне самому) надоело видеть меня подобным Акакию Акакиевичу в „капоте“. Под влиянием этого возбужденного настроения „среды“ и во мне зазвучали какие-то давно умолкнувшие струны. Хочу заказать боярку, полуподдевку и купить новые перчатки взамен тех замшевых, которые я уже 2 года все ношу и ношу. И даже при виде этой шубы мне захотелось вдруг, чтобы меня произвели поскорей в действительные статские советники! Теперь — идет. На следующей неделе напишу через Вас письмо Федору Николаевичу Бергу, чтобы выдал Вам из редакции „Нивы“ 25 рублей... За ним еще есть довольно, должно быть.

Ваш *К. Леонтьев.*

Только все еще стыжусь надеть. Все, мне кажется, закричат: А! У Леонтьева новая шуба! А! А! ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ИРЛИ).

Григорий Иванович Замараев — один из студентов катковского Лицея в Москве, принадлежавших к кружку К. Н. Леонтьева.

[1] *Г-жа Дубовицкая* — неустановленное лицо.

143. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

29 сентября 1885 г., Москва

⟨...⟩ Некто Григорий Иванович Замараев продал мне очень хорошую шубу и недорого, в рассрочку. Я завещаю ее тебе, если положишь вскоре доброе начало и будешь еже-

годно говеть. Ты вот пишешь: „Ваша книга, культура и т. д.“, а не будет никакой русской культуры, если даже и такие люди (которые приступают к делам помолясь) будут откладывать говение по разным глупейшим причинам, из которых многие ты мне объяснил, и все никуда не годные. Даже и ни к селу ни к городу приведенный пример моей поездки на Афон. Ты веруешь и даже молишься, но не говеешь по своей глупости и молодости; я же, напротив того, до 70-го года плохо верил и не молился, но говел, состоя в Турции на службе. Афон нужен был мне для внутреннего обращения. А ты и так обращен, поэтому хотя вообще мысль ехать в Оптину — мысль христианская и светлая, но когда христианину ни с того ни с сего думается, что ему до поездки в Оптину говеть невозможно, то это, пожалуй, что от дьявола, чтобы только отклонить человека всячески, даже и подобием какой-то веры, от душеспасительного дела! Сказано: „Ныне Израилю!“ Понял? ⟨...⟩

Смотри, с радости, что завещаю хорошую шубу, ты не вздумай молиться, чтобы я поскорее умер. Это грех.

Публикуется по автографу (ГЛМ).

144. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

1 ноября 1885 г., Москва

⟨...⟩ Письмо Марьи Владимировны возвращаю; ты, послав его мне, пишешь: потому что для тебя „наши с Марьей Владимировной дела terra incognita“*. На первый раз Бог простит. А то бы, кажется, можно бы верить мне, что я прав, говоря, да и то очень ясно, об этих делах. Может быть, тебя действительно немного сбило то, что в Москве она была у меня. Это ничего не значит. Раз в два

---

* Неизвестная земля (*лат.*).

с лишком года я рискнул, потому что хотел ей самой насчет книги объяснить. Она со мной была довольно покойна, переговорили, и слава Богу. Что ты статью ее мне послал — это ничего, даже хорошо сделал; только нехорошо сделал, что не исполнил все-таки, как я тебе тогда писал. Пожалуй, теперь обе статьи, и ее, и статья Кристи[1], встретятся в „Гражданине" (Кристи уже послал туда), ее статью „Гражданин" в этом случае не напечатает, и ей это будет неприятно, да и мне невыгодно. А если бы ты, не суемудрствуя по-своему, просто последовал бы моему указанию и признался бы ей тогда, что посылал мне статью, что она мне очень нравится и что я советую напечатать в газете „Свет"[2], то и ей доставил бы удовольствие, и мне было бы выгодно иметь 2 рекламы в 2-х газетах („Свет"— ее статья; „Гражданин"— Кристи).

А вот это-то прилагаемое письмо, напротив того, вовсе бы мне не следовало читать. Пойми же, батюшка, иное дело умная статья о книге моей и другое дело письмо, в котором пишут обо мне самом. Это волнует. Я не каменный! Чтобы вперед ты не сбивался, то я тебя научу. Векселя, счет о книгах и т. п. деловые вещи, конечно, передавать надобно. А насчет личных наших отношений[3], мнений друг о друге (даже и хороших) избегай, умоляю тебя, всяких и словесных, и тем более письменных сообщений. Это, кажется, ясно. Ей, например, показалось обидным, что я просил ее еще раз не писать мне самой даже о делах. А мне это было необходимо сделать, зная, как она сейчас переменой своих чувств увлекается! Если хоть я не буду тверд в этом, то это будет опять то же; она себя еще не знает, а я и свои немощи, и непостоянство ее чувств, быструю смену покаяния, самоотвержения, любви, гнева, зависти, злобы изучил хорошо. А моя немощь вот какая: она не должна ни о чем почти думать даже иначе, как по-моему, особенно когда это до меня, до нее самой, до моего дома и до близких мне людей [касается], если она желает, чтобы я был ею доволен. Разумеется, я требую почти невозможного. Но ведь

я это знаю, знаю, что это немощь моя, даже грех, потому что до глубины души, до ненависти раздражаюсь, если узнаю, что она (именно она, а не кто-нибудь другой) обо всем вышеперечисленном рассуждает несогласно со мной. Пусть Господь мне простит — с ней иначе не могу. Я боюсь ее мнений, чтобы не раздражаться и не грешить. Поэтому боюсь и писем, и тем более свиданий, сплетен и даже вообще рассказов об ней без моего спроса. Спрошу — другое дело, моя вина; только я могу знать, готово ли в данный час сердце мое для подобных о ней разговоров.

И не только мне пересылать письма ее и т. п., но советую и тебе (и Наташе) быть и с ней как можно осторожнее. Что-нибудь ей скажете, просто, как всякому другому: „Вот, у Константина Николаевича в доме то-то и то-то". Она и улыбнется, пожалуй, иной раз и как будто ничего, а потом и пойдет, и пойдет в сердце ее жестокая борьба. А вы этого не подразумеваете; видите, что она с вами ласково, и проста, и как будто весела, и в простосердечии вашем скажете что-нибудь обо мне, о Варе, об Александре, о Таисе, о Лизавете Павловне и т. д. о нашей жизни. И все, что вы ей наскажете в этом роде, ей, поверьте мне, нож в сердце. А потом, быть может, даже и где-нибудь и с кем-нибудь сцена. Вот и этим летом это случилось. Прежде еще свидания со мною. Варя была у нее (с Таисиной Настей вместе), Марья Владимировна накинулась вдруг на нее, как безумная, и мать свою она ограбила, и Александр меня грабит и т. п., и т. п. Говорят, ужасно кричала. Я узнал об этом от Вари, но, зная Марью Владимировну хорошо, смекнул, что после этого припадка бешенства она будет тиха; помолился, однако, чтобы не ошибиться, и послал за нею, и, слава Богу, ничего. Поговорили о книге, о моих болезнях, об общих вопросах и разошлись; она после этого думала даже, что я и еще за ней пошлю (видишь, как она скоро увлекается?), но я, разумеется, и не подумал.

Думал я: отчего же это она так на Варю и на ее мужа

восстала вдруг? И что же — Лиза все нам объяснила, она рассказала, что при ней в Туле, у вас Наташа ей, М⟨арье⟩ В⟨ладимировне⟩, сказала: „А Константин Николаевич у Вари руки целует“ и т. п. (Это я помню, правда, при Наташе случилось, когда Варя из Мазилова приезжала за мной больным ходить. Так вот отчего „сыр-бор“ загорелся“) ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] *И(?) И.(?) Кристи* — рано умерший студент катковского Лицея. Писал в „Гражданине“ под псевдонимом Сергиевский. Леонтьев познакомился с ним через преподававшего в Лицее П. Е. Астафьева.

[2] *„Свет“* — дешевая многотиражиая газета ультра-националистического направления. Выходила в Петербурге с 1882 г.

[3] *...насчет личных наших отношений...* — Речь идет о племяннице Леонтьева М. В. Леонтьевой.

145. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

3 декабря 1885 г., Москва

Вот три рубл⟨я⟩ сер⟨ебром⟩, обещанные на говенье.

Если ты их потратишь на пиво, водку и т. п. и не пришлешь свидетельства от священника, то я, помолившись, откажусь от тебя. Не переходи за черту моего долготерпения — у всякого своя эта черта, вспомни Эбермана [1], для которого я находил удовольствие делать столько добра, Николая, которого я так любил, ну, и сестру (без помощи которой мне очень иногда трудно, не скрою этого). Отступлюсь от тебя.

Потому — уже одно то, что ты заставляешь меня так долго об этом рассуждать, признаюсь, меня оскорбляет. Сказано — сделано.

Вот и все.

К. Леонтьев.

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] В. М. Эберман.— См. примеч. к письму 216.

146. Г. И. ЗАМАРАЕВУ

24 апреля 1886 г., Москва

⟨...⟩ Я же продал тургеневские письма[1] недавно в „Русскую мысль", с тем чтобы к середине лета были к ним готовы и комментарии. Как бы ни разошлись мы с Тургеневым в политических и тому подобных отношениях за последние годы, лично все-таки я смолоду был ему так много обязан, что для меня это и удовольствие, и долг, пожалуй, даже помянуть его с этой стороны добрым словом. Впрочем, его письма сами говорят в его пользу. Мои же обращения к нему за советами, помощью и утешениями, во-первых, облегчат мне воспоминания о некоторых полузабытых обстоятельствах, а во-вторых, помогут и читателю многое лучше понять... ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ИРЛИ).

[1] *Я же продал тургеневские письма...*— В 1884 г. К. Н. Леонтьев предлагал письма к нему И. С. Тургенева для публикации в журнале „Русский архив", но там они напечатаны не были и появились в „Русской мысли" в 1886 г. (№ 12), общим числом 24 письма. Четыре первых письма были также включены в воспоминания Леонтьева „Тургенев в Москве" („Русский вестник". 1888. Кн. 2—3). Публикациям этих писем посвящена статья В. Н. Дунаевой „Тексты писем Тургенева к К. Н. Леонтьеву" (Тургеневский сборник. Вып. 2. М., Л., 1966. С. 258—267).

147. Е. П. ЛЕОНТЬЕВОЙ

29 июня 1886 г., Оптина Пустынь

Милый дружок мой Лиза, я перед тобой много виноват, ты мне прислала уже два письмеца, а я только теперь собрался тебе писать. Все болезни и дела. Хоть здесь мне очень покойно, но впредь надо подумать об осени и зиме. Хочу тебя выписать сюда после 15-го июля. Ты не забыла, конечно, что 19 июля со дня нашего венчания будет ровно 25 лет. Серебряная свадьба! Мне хочется этот день, Лиза, провести с тобою. Если будут лишние деньги, приготовлю тебе сюрприз какой-нибудь. Я надеюсь, что Бог не лишит меня этого утешения! Только неостриженную, с длинными седыми космами на лбу, вроде киевской ведьмы с Лысой Горы, я в такой дорогой для меня день видеть тебя не желаю. Остриженная ты добрицу и даже красива. Верно, ты больного мужа не захочешь огорчить?

А у меня левая нога все время опять болела так, что я даже в церкви ни стоять, ни сидеть не мог и, конечно, гулять не ходил, а только в пролетках монастырских меня катали часто. А в силах много поправился, теперь и нога стала заживать.

От Вари получил письмо, она пишет, что без всех нас скучает и очень боится родить. Отец Амвросий велел ей говеть. Она пишет также, что получила от тебя письмецо и очень ему была рада. Она тебя очень любит. Будущего своего ребенка хочет отдать своей Агафье, чтобы взяла в Карманово на зиму и выкормила бы коровьим молоком, потому что на этой квартире с ребенком нельзя, в Мазилове она без Саши и даже без нас ужасно тоскует, а искать дорогую квартиру, просторную, я уже не в силах, и пришлось бы расстроить всю нашу согласную семью. Она и придумала так, и батюшка согласился с ней и благословил отдать ребенка, если бла́гополучно родится.

Видел я Людмилу в монашеской одежде. Привыкает

понемногу и тебе велела кланяться. Катю вижу нередко. Она тебя целует. Она живет здесь, а Людмила бывает здесь очень редко, она живет в 15 верстах отсюда, в женском монастыре.

Александр целует твою ручку. Мы с ним недавно вынимали просвирки за здравие Елисаветы и Варвары. Ну, прощай! Кланяйся Владимиру Владимировичу, Марье Владимировне и Наталье Терентьевне.

Скажи Володе, что денег ему не послал еще, потому что еще до сих пор не выслали и мне жалованье. Опоздали что-то. Целую тебя, будь здорова и весела.

Твой *К. Леонтьев.*

Публикуется по автографу (ГЛМ).

148. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

10 августа 1886 г., Оптина Пустынь

Владимир Владимирович! Очень тебе благодарен за последнее письмо. Только мне скучно, что об Лизе мало подробностей. Я уже соскучился, что долго не видал ее. И сама она уже давно мне ничего не пишет. Думаю все-таки ехать на Тулу в конце августа и не позднее 2 сентября. Ноги теперь слава Богу.

Привезу Лизе подарки, платье и т. д.

К. Леонтьев.

Публикуется по автографу (ГЛМ).

149. КНЯЗЮ К. Л. ГАГАРИНУ

22 сентября 1886 г., Москва

⟨...⟩ Участия, любви, искренности я видел много; практического, деятельного приложения этих чувств в жизни — очень мало. Тертий Иванович [1], Вы, Константин Аркадьевич Губастов (которого Вы, может быть, встречали в Константинополе и который был недавно консулом в Вене), раз, два, три... и обчелся. Себя еще разве счесть, потому что я тоже аккуратен и верен, и только! Я думаю, что и Вы с таким мнением о русских согласитесь?

Ну, где ж, кстати сказать, такому народу индивидуальная свобода?! Я полагаю, что еще 25—50 лет, так придется и от той степени индивидуализма отказаться, которую нам дал 19-й век! Впрочем, может быть, именно поэтому-то Россия не лишена будущности и призвания. Великий опыт эгалитарной свободы сделан везде; к счастью, мы, кажется, остановились на полдороге, и способность охотно подчиняться палке (в прямом и косвенном смысле) не утратилась у нас вполне, как на Западе... В личных скорбях моих, князь, я часто утешаю себя подобными „культурными" мыслями... ⟨...⟩

К слову еще сказать: изумляюсь, как это другие люди в подобных и еще худших условиях живут и дышат без опоры положительной, уставной, так сказать, религии!

Только как взглянешь на икону или на церковные кресты из окна, так хоть на время да покажется осмысленным все жестокое бремя жизни в болезнях, в старости, заботах! ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] *Тертий Иванович* — Т. И. Филиппов.

150. Вс. С. СОЛОВЬЕВУ

20 декабря 1886 г., Москва

⟨...⟩ А „Ниву“ [1] хотя мне и высылают, но я уже давно сам не читаю ее и большею частью даже и не вижу, а тотчас же ее посылают в Тулу одному родственнику. Что-то все газетное давно опостылило и я, кроме „Московских ведомостей“ и „Православного вестника“, никаких газет не читаю. Как-то легче без них дышится; почти все газеты меня чем-нибудь да раздражают, а в старости главное — внутренний мир души. Вы спросите: чем же меня раздражает „Нива“, она не политическая газета? Да мелочами разными, например —„Два веселых и милых таксика нашли крота и подбрасывают его на воздух!..“ Как несчастному кроту-то весело и мило! Уж очень глупо; а я и рассержусь и Маркса [2] и его помощников вдруг возненавижу... Вот и грех! Так зачем же. Хочу писать даже Фед⟨ору⟩ Ник⟨олаевичу⟩ Бергу, чтобы больше мне ее не присылал. Все как-нибудь не убережешься, заглянешь и рассердишься. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГИАЛ).

[1] *„Нива“* — еженедельный иллюстрированный журнал, выходивший в Петербурге в 1870—1918 гг. В нем печатались Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, А. П. Чехов, И. А. Бунин. В качестве приложения издавались собрания сочинений русских и иностранных классиков.

[2] Адольф Федорович *Маркс* (1838—1904)— русский издатель и книгопродавец. Приехал в Петербург из Германии. В 1870—1904 гг. издавал основанный им и пользовавшийся широкой популярностью журнал „Нива“.

151. К. А. ГУБАСТОВУ

2 февраля 1887 г., Москва

Милый мой Константин Аркадьевич, почему и за что Вы меня, старца недужного, совсем забыли? Впрочем, „за что“ можно бы и не писать; это подразумевает вину какую-нибудь с моей стороны. А так как таковой нет, то я спрашиваю себя часто:

— Почему он так давно не пишет?

И сам отвечаю: все мы более или менее постарели, со старостью, положим, добрые чувства наши (дружба и т. п.) становятся вернее, потому что любовь к переменам все слабеет и слабеет, и даже нередко привычное зло нам не так страшно, как непривычное и сомнительное благо. А не то что искать новых друзей и забывать старых! Но беда в том, что в то же время чувства с годами в нас слабеют, кроме жажды отдыха и покоя! Ну, и с дружбой то же...

Сидит Губастов в этой веселой, чистой, красивой и покойной Вене и думает: „Написал бы Константину Николаевичу... Да о чем? И у него теперь никаких, вероятно, приключений нет и у меня тоже. Слухи доходят, что жив; около года, что ли, тому назад книги его выписал“ и т. д.

Да и до меня доходят слухи, что Вы еще в Вене и т. д. (в октябре я был в Петербурге и слышал это от князя Н. Н. Голицына). Но я просто соскучился по Вас, и мне очень было бы приятно получить от Вас несколько дружеских строк. 〈...〉

Теперь об отставке. История это была бы длинна, если бы рассказывать ее по порядку: но вот главное: сами понимаете, что как человек, прослуживший в должностях второстепенных немного более двадцати лет, я больше, как на 1000 р〈ублей〉 с〈еребром〉 прав не имею; 1500 р〈ублей〉 с〈еребром〉 лишних дает мне правительство за мои литературные труды. Дело шло особым порядком. Прежде всего согласились Т. И. Филиппов с министром народного про-

свещения Деляновым[1]. Министр народного просвещения вошел с отношением к министру внутренних дел; товарищ министра внутренних дел, князь Гагарин, находящийся давно в дружеских ко мне отношениях (еще с 70 года на острове Корфу; женат на Аргиропуло), честно поддержал меня у графа Толстого[2]; граф Толстой и Делянов вместе вошли с предложением к Бунге[3]; Бунге (как и следовало немцу-профессору) более 1800 р⟨ублей⟩ не давал, находя, что в моей деятельности ничего нет особенного. Но назначили Вышнеградского[4], и он тотчас же согласился на 2500. И вот дня четыре тому назад мне велели подать прошение об увольнении от должности цензора. На этом пока остановилось, но так как по существу все уже решено и остались только формальности, то, вероятно, через две-три недели я буду свободен с 200 р⟨ублей⟩ сер⟨ебром⟩ в месяц.

Да, Губастов, что, если бы это было десять лет тому назад или даже в 80-м году в Варшаве? То ли б я мог сделать тогда! А теперь?.. Филиппов и Делянов еще рассчитывают и надеются на меня. Гагарин тоже, мои студенты тоже...

Но эти семь лет службы в Москве — годы тихие, правильные, скромные, но в высшей степени во всем средние, во всем „в обрез“ — доконали меня. В денежном отношении — ни нужды и ни тени даже самого скромного избытка, в отношении труда — не трудно и не льготно, в отношении здоровья — одно лучше, другое хуже, — и во всем, во всем... Даже „общественное признание“ теперь есть какое-то... Какая-то полуизвестность, какой-то „онорабельный“, но уж ничуть не возбуждающий succès d'estime* в публике... и т. д.

Вот где был „скит“! Вот где произошло „внутреннее пострижение“ души в незримое монашество!.. Примирение со всем, кроме своих грехов и своего страстного прошедше-

* Уважение, престиж (*фр.*).

го, равнодушие, ровная и лишь о покое и прощении грехов страстная молитва...

Величайшее желание не писать, разве для наследников (для Лизы, для Вари, для Марьи Владимировны).

Да и почти уже не пишу давно... На что?

А в Угреше, где Вы думали, я тогда найду пристань, я был еще и честолюбец, и христианин еще какой-то страстный.

А теперь я даже и унынием, слава Богу, почти вовсе не страдаю. Уныние есть все-таки плод неудовлетворенных желаний,— а какие у меня теперь сильные желания?

Желание умереть не слишком мучительною болезнью — это сильно, да и то с постоянной оговоркой: если это не безусловно нужно для окончательного искупления грехов. А иначе остается молить Бога только о том, чтобы предсмертные страдания не довели до ропота!..

Еще одно желание сильно: чтобы денег было достаточно — для успокоения этого исстрадавшегося тела! Пенсия хороша, но в Москве я на нее жить не могу и, вероятнее всего, удалюсь с этой весны в Оптину и Лизу устрою там. Но не думайте, чтобы и в Оптину меня тянуло сильно. Нет, на время — да, с радостью, а надолго — все равно везде телесные страдания, везде равнодушие... Поздно!

Еще, пожалуй, прекрасный климат Босфора и возможность зимой гулять ежедневно пешком — это нравится моему воображению...

Но все-таки средств мало и рисковать что-то жутко с моими плохими силами!

Вспоминаю я часто Вас и Ваш совет в 1874 году в Константинополе: „Поезжайте в Россию, сделайтесь „литературным генералом“ и лет через пять возвращайтесь сюда на отдых“.

Не пять, а тридцать лет прошло с тех пор; „генералом“ меня все-таки критики и редакторы не сделали, а разве, разве непопулярным полковником,— и рад бы я умереть на Принцевых островах[5], но чтобы подняться отсюда покойно,

нужно 1000 или 1500 руб⟨лей⟩. Долги мне надоели до смерти, и должать мне стало теперь донельзя противно... Все это во мне изменилось, но стеснять себя еще ниже и еще строже, чем я стесняю себя эти семь лет, не могу... И потому да будет воля Господня!.. „Благослови душе моя, Господи, и не забывай всех воздаяний Его“— и прибавлю: всех прощений Его за эти тринадцать-четырнадцать лет после Афона! Очень, очень их много было!

А я и забыл Вам сказать, что вскоре после отправки Вам книг прошлого года я так опасно занемог, что все со мной прощались: причащался, соборовался... Одна за другой у меня были от первой недели поста до половины мая серьезные болезни: гнилостное заражение крови и воспаление лимфатических сосудов в правой руке, спасли, потом — самый жестокий и опасный бронхит с припадками удушья и, наконец, язвы жестокие на ладонях и подошвах в течение трех месяцев, так что меня в особом вагоне довез лежачего Филиппов до Калуги, а потом я доехал в карете почти до Оптиной и тем кое-как поправился... Месяца четыре быть между жизнью и смертью, и в полном сознании своего положения — это также оставляет в эти годы серьезный след в сердце! Помнишь!

Хотел было Вас известить, да посовестился беспокоить... Вот в это-то время, увидав меня в ранах, Т. И. Филиппов и возмутился духом и сказал: „Надо вам отдохнуть, надо освободить вас от всяких обязанностей“,— и обратился серьезно к Делянову и посоветовал ему вникнуть в значение моей деятельности.

Вот и все, мой друг... Обнимаю Вас крепко. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение“. 1897. Январь. С. 397.

[1] Иван Давыдович *Делянов* (1818—1897)— граф, государственный деятель, камергер. Попечитель Петербургского учебного округа в 1882—1897 гг., министр народного просвещения. Член Государственного Совета. Во время управления Делянова был ограничен прием в учебные заведе-

ния детей недостаточных родителей, уменьшен процент евреев, приняты меры для русификации школ в Прибалтике, выработан консервативный университетский устав 1884 г. О назначении Делянова министром Д. А. Милютин писал: „Это почти то же, что если б назначен был Катков; это восстановление ненавистного для всей России министерства гр. Толстого. Между прежним режимом и будущим будет различие только в подкладке: у Толстого подкладка была желчь, у Делянова будет идиотизм. Бедная Россия“ (Дневник Д. А. Милютина. Т. 1—4. М. 1947—1950 Т. 4, 1950. С. 130).

[2] Дмитрий Андреевич *Толстой* (1823—1889)— граф, государственный деятель. Образование получил в Царскосельском лицее. На протяжении 14 лет, до 1880 г., занимал одновременно посты министра народного просвещения и обер-прокурора Св. Синода. С 1882 г. и до конца жизни был (тоже одновременно) министром внутренних дел, шефом жандармов и президентом Академии наук. Провел реформу среднего образования для усиления в гимназиях обучения древним языкам, причем право поступления в университеты было оставлено только за выпускниками классических гимназий. При Александре III настойчиво проводил контрреформы, находился под сильным влиянием М. Н. Каткова. Все признавали в нем ум и широкую образованность, но в то же время его единодушно ненавидели все слои общества, от революционеров до ультрамонархистов.

[3] Николай Христианович *Бунге* (1823—1895)— юрист и государственный деятель. Участвовал в крестьянской реформе 1861 г. и подготовке университетского устава 1862 г. Профессор и ректор Киевского университета. В 1881—1886 гг.— министр финансов. В 1887—1895 гг.— председатель Комитета министров.

[4] Иван Алексеевич *Вышнеградский* (1831—1895)— ученый и государственный деятель. Основоположник теории автоматического регулирования, почетный член Академии наук. С 1 января 1887 г. управлял министерством финансов, в 1888—1892 гг.— министр финансов.

[5] *Принцевы острова* — группа из девяти островов в Мраморном море, к юго-востоку от входа в Босфор.

152. Н. Н. СТРАХОВУ

8 февраля 1887 г., Москва

Как вы меня утешили и обрадовали, дорогой Николай Николаевич, Вашей статьей о Н. Я. Данилевском в „Русском вестнике“! Выразить Вам не могу! И как я рад, что гениальный рутинер редактор [1] допустил (через 10—15 лет после пошлого отзыва Щебальского [2]!) наконец на страницы „Русского вестника“ такую оценку нашего великого учителя. Позволил даже в цитате Бестужева [3] назвать Николая Яковлевича тоже „гениальным“!

Если у Н. Я. Данилевского нет наследника (или даже если есть), позаботьтесь Вы поскорее снова издать его книгу (с Вашим предисловием). Имя его растет в Москве, и похвалюсь, и я много этому содействовал словесной проповедью, но старое издание все вышло. Молодые люди ищут, бьются, и нет „России и Европы“ (я об этой книге говорю). Для меня один юноша свою, всю растрепанную от чтения, подарил. Ваша „Борьба с Западом“ [4] (по-моему „Самоосуждение Запада“)— тоже, говорят, очень стала читаться. Мой сборник „Восток, Россия и славянство“ [5] министр народного просвещения [6] представил Государю!.. и т. д., и т. д.

Помните, наш бедный „ихтиозавр“ Аполлон Григорьев говорил где-то —„наше типовое растет“. Хотя я нахожу, что самое это слово „типовое“— неизящно на слух, не знаю, каким лучшим его заменить.

И еще я очень Вам благодарен за то, что Вы привели взгляд Данилевского на то, что и для научной мысли нужно оставить эстетику, необходимо чувство! Насколько это справедливо относительно социологии!.. Эстетик может быть демократом или эгалитарным либералом разве по ошибке, пока не понял.

Вот и Герцен — пример!

Будем радоваться и благодарить Бога (только не Лев-

Толстовского Бога, а Оптинского, настоящего, и в церковной разнообразной всецелости находящего себе эстетическое выражение!).

Разберете ли Вы мой скверный почерк?

Простите и будьте здоровы — а я очень занят теперь отставкой и переломом жизни.

Ваш *К. Леонтьев.*

Публикуется по автографу (ГПБ).

[1] *...гениальный рутинер-редактор* — М. Н. Катков.

[2] Петр Карлович *Щебальский* (1810—1886) — историк и публицист. Основные труды посвящены России XVIII в. В 1883—1886 гг. был редактором газеты „Варшавский дневник".

[3] *Бестужев* — К. Н. Бестужев-Рюмин.

[4] *„Борьба с Западом"* — три сборника статей Н. Н. Страхова, объединенные одним названием (1882, 1883 и 1886), в которых дан критический разбор взглядов Дж. Ст. Милля, Э. Ренана, Д. Ф. Штрауса, Ч. Дарвина и И. Тэна.

[5] *„Восток, Россия и славянство"* — сборник статей К. Н. Леонтьева по общественным, национальным, политическим и религиозным вопросам (1885—1886).

[6] *Министр народного просвещения* — граф И. Д. Делянов.

153. КНЯЗЮ К. Д. ГАГАРИНУ

29 декабря 1886 и 23 февраля 1887 г.,
Москва

⟨...⟩ ...Дай Бог здоровья Княгине, и ваши дела шли бы еще лучше, чем теперь. Вы понимаете, князь, что в моих устах и относительно Вас это не фраза вежливости, а настоящее, теплое желание и даже искренняя молитва (я каждое утро поминаю Вас и некоторых других записанных у меня в книжке людей на молитве, и как я ни ленив стал даже на молитву, но этого я не забываю). Я знаю, что все

подобное кажется немного странным и, пожалуй, даже напускным тем людям, которые по роду деятельности своей увлечены светской борьбой и, не чуждаясь религии, уважая ее глубоко, веруя даже сердцем в ее основы, не имеют сами времени приучить себя к некоторым мелочам ее приложения, так сказать. И вот с непривычки это и может действительно показаться натяжкой, преувеличением и даже нередко притворством (если говорящий и думающий это не монах и не женщина, а тоже светский человек); я сам пережил эти мнения, испытал эти чувства, но если я напомню Вам, что уже пятнадцать лет нахожусь под монашеским влиянием и пятнадцать лет все хвораю и страдаю телесно почти беспрерывно, то Вам станут понятны и „просвирки" за здравие и упокой, и книжка с именами друзей, родных, благодетелей и даже тех, кого не люблю (именно поэтому, например, Каткова; я вынужден молиться за него, чтобы смягчить себя, ибо я его по естественному чувству терпеть не могу!). Итак — верьте, что для меня для самого молиться каждое утро за тех, кто добр ко мне, есть уже неотразимая потребность и привычка сердца... Молюсь, чтобы они были здоровы, чтобы Господь простил им грехи их, чтобы житейская борьба была им полегче и... чтобы они меня не разлюбили и не забыли!

Конечно, Жозеф де Местр [1] прав, говоря, что нередко „величайшие человеческие несправедливости суть не что иное, как выражение справедливого гнева Божия". И, разумеется, если бы не вера в загробную жизнь, если бы не „страх Божий", не страх загробного расчета, то кто же бы велел при этих условиях продолжать это существование? Я решительно не в силах осуждать тех, кто, не имея положительной религии, употребляет свободу воли своей на то, чтобы покончить полегче с собой, не дожидаясь еще „увенчания" прелестной земной жизни жестокой агонией от воспаления брюшины или задержания мочи.. Я жалею этих людей, как христианин, но только в том смысле, что не знаю, как их за это будет судить Бог, но с точки зрения той

„рациональной“ и „утилитарной“ морали, на которой так глупо еще стоят многие современники наши, я вполне их понимаю, в иные минуты не только умом, но и сердцем. Уже не для пользы же ближних жить? Жить и не умирать своевольно для искупления, для загробного венца терпения, для большего очищения души перед невольной и, может быть, более тяжкой смертью, чем своевольная (яды есть такие хорошие, тонкие, а болезни есть такие подлые и обидные!), жить, наконец, просто по малодушию, по животной привычке — это еще все туда-сюда. Но для пользы других! Какая гордая и жалкая иллюзия! Кто верит в себя, в свое влияние, кто имеет большой успех в делах, тому еще простительно иметь эту иллюзию. Она понятна, она питается успехом... А мне? 〈...〉

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] *Жозеф де Местр* (1753—1821)— французский политический писатель и пьемонтский государственный деятель. Выступал против идей французской революции, сторонник Бурбонов и апологет светской власти папы римского. В 1802—1817 гг. представлял в Петербурге сардинского короля. Оказал большое влияние на консервативно-клерикальную мысль XIX в.

154. К. А. ГУБАСТОВУ

25 февраля 1887 г., Москва

〈...〉 Странное дело, что значит привычка терпеть, что значит давно уже жить не сообразно со своими вкусами и действительными потребностями! Вот семь лет подряд я все думал и других уверял, что служба меня ничуть не стесняет, а когда сняли цепь — так я даже удивился, как я теперь этому рад. Сейчас же и писать охота пришла... Кстати, Вы советуете мне писать большой роман... Ах, не знаю... Это очень трудно теперь... Не берусь даже объяс-

нить — почему, сам не понял еще. Впрочем, теперь я еще все житейскими попечениями занят, а позднее, летом, лучше все пойму, вероятно. Насчет политики и социологии (то есть насчет „невозможности“ вести общество) я с Вами не согласен. Вести, не вести, а нельзя сказать, чтобы было неприятно хоть, например, оказаться почти во всем таким пророком, как я оказался! 〈...〉

Я уверен, что летом разразится жестокая война, трудно, чтобы это всеобщее напряжение продлилось безнаказанно долго. Ну, я при моем здоровье, требующем теперь старческой правильности во всем, где же мне подвергаться заразам, неожиданным переездам и т. д. Придется, вероятно, выждать, пока все кончится. Вы советуете Лизу оставить в Крыму. Что Вы это, мой друг, это бесчеловечно и ненужно. Она опять ко мне очень привыкла, и в ее беспомощном состоянии „Божьего“ человека кому ее там поручить. Не думаете ли Вы, что она меня очень обременяет? Если это иногда изредка и случается, то это очень легкое и несерьезное с моими винами наказание за мое прошлое; а вообще ее присутствие и близость вносят в мою жизнь нечто очень хорошее, религиозное, мистическое, нечто для моей совести и сердца очень дорогое и незаменимое. Без нее — надолго — все суше и холоднее. Вы, впрочем, знали ее в самый худший период ее жизни, когда она уже утратила привлекательность молодости, а „Божьим“ человеком еще не стала, была под влиянием матери, весьма безнравственной (во всех отношениях, а не только с „любовной“ стороны), и со мной не ладила. А теперь я ею очень доволен и часто думаю, что мне именно такая жена и была нужна. Да, многие думают, что она мне „крест“; да, в мелочах, пожалуй, но зато во всем высшем души моей она мне утешение теперь. 〈...〉

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение“. 1897. Январь. С. 400.

155. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

27 февраля 1887 г., Москва

⟨...⟩ Видеться нам с ней[1] необходимо было прошлым Великим постом, когда я готовился умереть; что делать, это было нужно и для Бога, и по делам. Но надо, но пора нам понимать самих себя. Я понимаю все недуги сердечные и, зная их, желаю как можно реже встречаться и вспоминать. Есть такие оттенки в манере выражаться, а теперь писать, в тоне, во вкусах и пристрастиях, которые внезапно и с жестокой силой пробуждают во мне чувства (хорошие или худые — все равно), но ненужные, вредные и тяжелые. В Оптиной мы встречались этим летом и кой-как, кой-как донесли это тяжкое бремя до конца (я, по крайней мере, едва-едва), надо же отдохнуть подольше. Есть необходимости, которым приходится покоряться. Этим летом мы были оба люди должностные, и время выбирать для жизни в Оптиной было не в нашей воле. Но подновлять этих жестоких впечатлений не надо и волоском!!! Было бы большим грехом с моей стороны как-нибудь мешать ей бывать при мне в Оптиной, и так как вероятнее всего, что мне и по денежным средствам придется поселиться теперь там, то я обещаю, со своей стороны, всякий раз, пожалуй, уезжать оттуда, когда она будет приезжать, а если болезнь или безденежье не допустят, то буду покоряться воле Божией, как испытанию.

По-моему, злобы нет взаимной, и довольно — забыть, забыть. А эту отвратительную натяжку вроде того, что было в Оптиной, это хождение по канату над бездной гнева и отчаяния... Это можно принять только как наказание Божье! Виноват я, теперь согласен, но я знаю себя и чувствую себя с этой стороны неисправимым. Злобы нет, есть полное желание издали сделать безмолвное добро, если случай... Видит это Бог! Но из того, как я смотрю на всю историю наших прежних отношений, я не могу даже по

разуму ни одной черты уступить ей. И вместе с тем (о. Амвросий был давно в этом прав) мои от нее требования так неосуществимо велики, что даже тончайшее несогласие с ее стороны, даже подозрение в несогласии, даже какая-нибудь едва заметная улыбка невпопад и теперь или поднимает во мне целую бурю, или ложится тяжко от сдержанности на сердце, и без того в жизни довольно наболевшее. Что делать! Не могу! И об „докторше“ [2] не так сидит, как я, и об [нрзб.] не тот оттенок, и об матери Софии [3] не тот, и об Таисе не тот (тут она, впрочем, правее меня) и об, и об... и об завещании Федосьи Петровны не тот. (Никакого завещания морально давно нет; оно морально уничтожено припиской матери, и вольно же было вашему отцу [4] не отнестись свято к воле матери, оскорбленной его займом на „Искру“, а пользуясь моим отдалением и незнанием законов этих, угрожать мне даже тонко в письме, что приписка эта не имеет юридического (!) значения потому только, что мать умерла, не успевши попросить свидетелей подписать это! Резон! А ведь я потому и удивился, что он все-таки сам поехал в Кудиново жить, не спросясь меня! А не отпустил дочь одну!) Вот так-то она скажет, только скажет, а худого ничего не сделает даже, а только намекнет: „Пускай мебель кудиновская стоит у Бабарыкина [5]; это не беда, только ведь вся движимость кудиновская мне завещана, завещание у меня!“ И этого пустяка с меня довольно, чтобы вспоминать, вспоминать, вспоминать без конца! Зачем же это? Пусть я виноват, пусть я не снисходителен, пусть мои внутренние требования ужасны, даже и тогда, когда я для собственного оправдания или меньшей греховности промолчу, но таков я, и только забвение, а не самые добрые и невинные напоминания, водворят действительный мир и равнодушную любовь в сердце моем!

Покажи ей все это. Я был вынужден все это сказать; она теперь подвижнее, живее, впечатлительнее меня, и поэтому у нее легче переменяется настроение и к худу, и

к добру. А мне — избави Бог даже и от самых приятных и добрых чувств, если с ними неразрывно связаны тяжелые и грешные. Что делать: „есть время молчати, и есть время глаголити!“ Жизнь моя теперь еще раз глубоко меняется; нужда заставит встречаться, и поэтому я долгом считаю предостеречь ее и указать ей прямо на мои пороки, которые гораздо сильнее, чем иногда кажутся с виду... „Боже, очисти мя грешного!“ Много ли осталось жить?!

Ответа, пожалуйста, никакого не пиши на эту тему; беда мне эти рассуждения! Беда! И благодарить тоже за что-нибудь от нее не вздумай. Коротко и ясно: если бы я и 1000-чи ей достал и дал, то за ее труды и преданность я этим никогда не заплачу, они слишком велики. А если бы я... если бы я... не знаю, что сделал бы с ней за ее характер и за ее мнения, то и это „не знаю что“ не выразило бы всего моего прежнего негодования. Оно тоже было слишком велико! И нехорошо возобновлять даже нечаянно эти чувства! Грехов, право, и так много! 〈...〉

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] *...с ней...* — М. В. Леонтьевой.

[2] *„Докторша“* — неустановленное лицо.

[3] *Мать София* — урожденная Болотова, в первом браке Янкова, во втором браке Астафьева. Первая настоятельница Шамординского монастыря.

[4] *...вашему отцу...* — брату К. Н. Леонтьева, В. Н. Леонтьеву.

[5] *Бабарыкин* — кудиновский сосед К. Н. Леонтьева.

156. КНЯЗЮ К. Д. ГАГАРИНУ

14 марта 1887, Москва

〈...〉 Последний фазис общей, европейской политики меня пугает. Я очень желаю войны Франции с Германией, а России с Австрией и ее союзниками. В успехе России не

сомневаюсь, а насчет тех 2-х желал бы монархии все-таки победы над республикой, но такой дорогой ценой, чтобы победитель сам был бы чуть жив, дабы нам вперед не мог мешать на Востоке. А невозможного тут ничего нет. Не дай Бог долгого мира! ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

157. К. А. ГУБАСТОВУ

15 марта 1887 г., Москва

⟨...⟩ Теперь о Ваших планах: ради Бога, Губастов, не женитесь; поверьте, вот случай заплатить Вам чуть не сторицей за Ваше добро — отговорить Вас, если сумею. Не женились раньше, избави Бог теперь. Ведь и Вы уже немолоды и не моложавы (простите!). Известного рода „состоятельность“ счастья ведь и тени в эти годы не даст! Относительно русских девиц Вы совершенно правы, и Вы, с некоторою подозрительностью Вашею, с тем внутренним недоверием к себе, которые и я знаю и в которых Вы сами не раз мне сознавались, с русскою женою будете через два-три года самый несчастный и раздраженный муж. Наши дамы до того избаловались, что ужас!.. Я не говорю уже о „плотской“ измене; я убежден, что умной и кроткой жене с этой стороны пожилой и тоже умный „русский“ муж часто может многое простить; я говорю об их „правовом“, так сказать, „фырканье“, об их крайне неделикатном отношении к слабостям и недостаткам мужа, об их дурацком воображении, что они, дуры, словно обязаны иметь свое мнение обо всем и т. д.

Вспомните своеволие и неуважительность к мужу мад⟨ам⟩ Ону, ехидство Хитровой, грубое сердце „Вашей“ Ольги [1] (она очень жестока и груба; я ее жалел, Вы знаете, пока не узнал случайно ближе), истинное зверство и под-

лость Марии Николаевны Новиковой [2], более благородное, конечно, но очень лукавое и несокрушимое своеволие Ольги Новиковой (относительно мужа), вспомните, кстати, и ужасный характер моей Марьи Владимировны (я ведь ее знал с детства, да и то жестоко ошибся в ней!). Ведь я еще целую хартию имен напишу подобных „козлищ" семейной жизни, и все будет то же. Исключений мало; Катерина Дмитриевна Тимофеева [3], которая, изменяя мужу физически, никогда не пользовалась его недостатками, а покрывала их всячески и никогда не оскорбляла Николая Васильевича [4], несмотря даже на весь его идиотизм. Игнатьева, быть может, но ведь она зато деревянная или каменная, а Николая Павловича [5] и пронять чем-нибудь трудно, кроме его тщеславия и честолюбия, а в этом они с женой солидарны.

Свой брак я не привожу в сравнение с прочими по многим причинам: во-первых, Лиза — человек весьма уж исключительный, ее сердце, ее душа до такой степени по природе были выше и чище целых сотен русских девиц и женщин, начиная от высшего круга и до крестьянок (которые тоже — не беспокойтесь — хороши!), что ее и равнять с перечисленными дамами (со стороны чистоты сердца и доброты) было бы ей оскорблением... Жена моя — это „Божий человек", и, как Вы сами очень хорошо знаете, если в течение 10 лет (от 70-го до 80-го, до ее возвращения из Крыма) у нас было расстройство, то виною всего был я, я один, с моим тогда развращенным воображением, с моей нехристианской философией, с моим эстетическим тщеславием... Я ее испортил, и Господь сперва жестоко и всячески покарал меня, потом простил и вот (теперь мы оба старые), я больной и вечно нуждающийся, она — впавшая в детское слабоумие почти и до невменяемости, доживаем вместе и неразлучно наш век в любви и мире душевном!.. (Это милость Божия просто удивительная, если бы я вам некоторые подробности рассказал!). Одним словом, моя жизнь сердечная сложилась так: когда дело идет

о Лизе — я не умею ни в чем почти себя оправдать, когда речь идет об Маше — я не умею себя почти ни в чем обвинить! Тут и христианство не помогает, ибо христианин не обязан во всем себя прямо винить; он имеет право в случаях слишком несомненных (как случай Марьи Владимировны) сказать себе: „Господи! Понимаю, что ее гнусностями против меня я за другое, за иные грехи Твоею рукой наказан!“ „Les plus grandes injustices humaines ne sont fort souvent que l'expression de la plus haute justice divine!“*— сказал Жозеф де Местр. Простите, что невольно отвлекся, возвращаюсь к Вам. Если бы Вы, мой друг, еще были бы настоящий христианин (то есть читали бы Св. Отцов, содержали бы хоть сколько есть сил посты, тяготились бы и скучали бы долго без Церкви, ездили нарочно хоть изредка к строгим духовникам), то тогда все мелочи, неблагородные тяготы семейной жизни представлялись бы Вам неизбежным и душеспасительным крестом, аскетизмом, в некоторых отношениях более тяжким, чем аскетизм монастырский (со стороны самолюбия, например,— со стороны изящества, стыдливости даже: „это, мол, та самая баба, с которой я законно сплю“ и т. д.), то и невзгоды и самые неожиданные горести могут стать сносны... Но ведь до сих пор еще, голубчик, Вы не настоящий христианин, насколько я замечаю; и знаю, Вы и на меня смотрите только так: „Вот-де, как разнообразно развиваются люди! Вот, поди ты, какой любопытный перелом! Ну, положим, он „оригинал“ и „увлекающийся“ человек“ и т. д. А не то, чтобы самому более или менее выйти на мою дорогу, „как вышли“ другие.

И при этом отсутствии настоящего христианского мировоззрения Вы еще хотите найти покой и утешение в такой несносной вещи, как „жена и дети“,— и в наше-то непокойное и растерянное время, когда только и есть якорь надеж-

* Величайшие человеческие несправедливости весьма часто суть лишь выражение высочайшей божественной правды (*фр.*).

ды в мистических опорах, а все „реальное" и „практическое" потрясено до глубины оснований!.. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение". 1897. Январь. С. 402.

[1] *Ольга* — О. С. Карцева.

[2] *Мария Николаевна Новикова* — вероятно, жена Евгения Петровича Новикова (1826—1903), писателя и дипломата, служившего в русском посольстве в Константинополе.

[3] *Катерина Дмитриевна Тимофеева* — неустановленное лицо.

[4] *Николай Васильевич* — вероятно, муж Е. Д. Тимофеевой. Других сведений о нем не найдено.

[5] *Николай Павлович* — граф Н. П. Игнатьев.

158. КНЯЗЮ К. Д. ГАГАРИНУ

22 апреля 1887 г., Москва

⟨...⟩ Если можете прямо через графа Д. А. Толстого помешать разрешению редакции московского журнала „Русская мысль" (Лавров [1] и помощник его Бахметьев [2]) издавать, кроме журнала, и ежедневную газету, то сделаете этим большую пользу. Лавров был всегда отъявленный либерал, а Ник⟨олай⟩ Ник⟨олаевич⟩ Бахметьев — очень умный и способный плут, который в либерализме и т. п. нашел себе выгоды и общественную роль. Главная цель этих господ — все „в пику правительству". Большой журнал это еще ничего, а ежедневная газета в их руках — не дай Бог! ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] Вукол Михайлович *Лавров* (1852—1912) — переводчик Г. Сенкевича и издатель. Самоучка, из купеческой семьи. Основатель журнала „Русская мысль", редактор этого журнала в 1885—1907 гг.

[2] Николай Николаевич *Бахметьев* — неустановленное лицо.

159. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

12 июля 1887 г., Оптина Пустынь

Володя, жена очень здесь соскучилась с тех пор, как Катя уехала в Киев, а Людмила, с которой она много развлекалась, возвратилась в Шамордино [1]; начала сердиться на всех, плакать и проситься к Володе, к Терентьихе [2], к Моське и к Фениным детям.

Ну, Бог с ней! Пока отпускаю ее до сентября, на харчи ее и т. п. прилагаю 15 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩ сначала, а к 1 августа вышлю еще пять рублей, по-прежнему двадцать рублей (от 15 июля до 15 августа). Кроме того, Фене особо 5 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩, т. к. я тогда к 2 мая не в силах был ей ничего подарить, и мне было тогда через это очень жалко. Скажи ей, чтобы она благодарностей никаких не писала, „Я глупостей не чтец, тем паче образцовых!" („Горе от ума"). Пусть лучше лоб лишний раз перекрестит, а то ведь она о Боге-то мало любит думать. Писать же ей самой и трудно („пишет — как слон на брюхе ползет" („Свои люди, сочтемся"). Насчет Лизаветы Павловны убедительно прошу тебя и Наташу — не спаивайте ее. Погубите и мою старость, и ее. Если я раз увижу ее пьяной, я при моих теперь связях запру ее в дом умалишенных непременно, и на вашей душе будет уже не грех, а целое преступление. Что вы с Наташей оба напиваетесь пьяны, в этом меня никто не разубедит (разве о. Амвросий после твоей ему исповеди). Я вас обоих люблю, ты это видишь, может быть, после Лизы и молодых Прониных [3]— больше всех остальных. И вы любите меня и нуждаетесь иногда во мне; но ты по чрезмерной способности увлекаться чем-либо, признаюсь, внушаешь мало доверия, а Наташа при всех своих серьезных достоинствах (добра, тверда, терпелива, независтлива, честна) все-таки, сам знаешь, очень „сера", ну — а „сероватость" есть в России всегда почти залог пьянства. Так как умом тебя Бог не обидел, так старайся

только быть хоть немного потверже, и будет все правильно. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] *Шамордино* — село Козельского уезда Калужской губ., где находился женский монастырь (неподалеку от Оптиной Пустыни).

[2] *Терентьиха* — жена В. В. Леонтьева, Наталья Терентьевна.

[3] *Пронины* — слуги К. Н. Леонтьева Варвара и Александр.

160. С. В. ЗАЛЕТОВУ

24 июля 1887 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Вл. Вл. Назаревскому [1] потрудитесь передать следующее: Леонтьев говорит — пуговку-то электрическую на Страстном бульваре сам Господь вовремя прижал [2]. Это предвещает присоединение Царьграда и сосредоточение там Церковного управления. Теперь надо собрать на памятник, на который я с радостью пожертвую по мере сил. Jurem cuique!* Надо бы представить его в виде трибуна с поднятой десницей и угрожающим лицом, а кругом худых и злых псов, змей и т. п. гадов, отступающих в безумном ожесточении перед его гением. Великий был все-таки человек Михаил Никифорович! ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

Сергей Васильевич Залетов — по всей вероятности, сослуживец К. Н. Леонтьева по цензурному ведомству.

[1] *Вл. Вл. Назаревский* — неустановленное лицо.

[2] *...пуговку-то электрическую на Страстном бульваре сам Господь вовремя прижал.*— Речь идет о смерти М. Н. Каткова 20 июля 1887 г. (на Страстном бульваре в Москве помещалась редакция катковской газеты „Московские ведомости").

---

* Каждому по справедливости (*лат.*).

161. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

24—27 июля 1887 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Я полагаю, что не следует разделять слишком резко монашество от светского христианства, как делают многие, употребляя слово „аскетизм" только в смысле стремления к наивысшему отречению. Вся теория христианства основана прежде всего на отречении вследствие страха Божия и в надежде на вечное блаженство, долженствующее вознаградить нас за это отречение. Ап⟨остол⟩ Павел говорит, что если бы у христиан не было надежды на вечную жизнь, то они были бы самые несчастные из людей (к Коринф. I. 19). Требования от них велики. „Аския" значит по-гречески борьба, подвиг. Аскет — подвижник, борющийся. Если мирянину, например, женатому перестала нравиться его жена, и даже по временам ненавистна ему, а он, молясь Богу и призывая Его на помощь, не оставляет ее, для примера детям или для избежания прелюбодеяния с той и другой стороны, то разве это не тяжкое, не ужасное иногда отречение? Не подвиг о Христе? Это — подвиг, может быть, несравненно больший, чем многие монашеские, особенно для человека с воображением и с изящными вкусами. Монашеское одиночество не пошло, а холодная, дюжинная семья будет нестерпимо пошла, если ее прозу не озаряет, так сказать, хоть из темного уголка в доме лампада чистой, искренней веры. „Богу так угодно,— потерпим даже и прозу и пошлость и возоблагодарим Его, что еще не хуже!" Таких примеров из мирской жизни можно бы привести много. Поэтому и понятно, что чтение Житий Святых и аскетических писателей нужно и светскому христианину точно так же, как и монаху. ⟨...⟩

Не знаю: велика ли потеря для всех нас смерть Каткова? Нельзя, разумеется, не писать и не говорить публично, что утрата велика. Он был истинно великий человек, и слава его будет расти. Надо воздать ему должное. Но

я спрашиваю у себя вот что: 1) Должны ли мы заботиться об укреплении православной Церкви, несмотря на то, что последние времена по всем признакам близки? Конечно, должны. Надо приготовить паству для последней борьбы. 2) Что важнее всего для этой цели? Важнее всего, чтобы учительствующая часть Церкви, т. е. иерархия православная, стояла в уровень века не только по учености, но и по воспитанию и по всему. Надо, чтобы, сверх того, у духовенства было больше самобытной власти. 3) Есть ли надежда на это? Есть. Церковь может жить (т. е. меняться) в частностях, оставаясь неподвижной в основах; на жизнь ее (земную) имеет большое влияние положение духовенства и другие исторические условия. Православная восточная церковь никогда еще не была централизована, а запрета ей быть таковою нигде нет. Взятие Царьграда даст возможность сосредоточить силу и власть иерархии, хотя бы и в форме менее единоличной, чем на Западе, а более соборной. 4) При чем же тут Катков? Он был жестокий противник этой централизации, в частных беседах упрекал меня и Филиппова за такое желание, а в печати молчал пока, ограничиваясь постоянной травлей греческого духовенства, которое при всех недостатках своих более нашего способно будет, по историческим привычкам своим, к властной роли. Он заранее очень обдуманно старался унизить его в глазах русских читателей. Поняли? ⟨...⟩

Я, друг мой, верьте, понимаю Ваши чувства, столь благородные и искренние, и если бы мы были теперь вместе, я бы мог привести Вам из собственной жизни примеры той самой борьбы поэзии с моралью, о которой Вы говорите. Сознаюсь, у меня часто брала верх первая, не по недостатку естественной доброты и честности (они были сильны от природы во мне), а вследствие исключительно эстетического миросозерцания. Гёте [1], Байрон [2], Беранже [3], Пушкин, Батюшков [4], Лермонтов, самый этот теперь дряхлый Аф⟨анасий⟩ Аф⟨анасьевич⟩ Шеншин (Фет) и даже древние поэты, с духом которых я был знаком по переводам

и критическим статьям, с этой стороны в высшей степени развратили меня. Да и почти все (самые лучшие именно) поэты — за исключением разве Шиллера [5] и Жуковского [6] (надо христианину иметь смелость это сказать!)— глубокие развратители в эротическом отношении и в отношении гордости (Петр Евгеньевич [7] взбесился бы на меня за это, но ведь это правда — что делать!). И если, наконец, старее я стал (после 40 лет) предпочитать мораль поэзии, то этим я обязан, право, не годам (не верьте, что старость одна может морализировать, нередко, напротив того, она изощряет в разврате, примеров — даже исторических — бездна), не старости и болезням я обязан этим, но Афону, а потом Оптиной... Из человека с широко и разносторонне развитым воображением только поэзия религии может вытравить поэзию изящной безнравственности...

Если я, по характеру несравненно более Вас легкомысленный, по первоначальным условиям общественным и семейным гораздо более Вас избалованный и развращенный, почувствовал наконец потребность более строгой морали, то тем более какая же возможность Вам забывать мораль, Вам, с Вашей серьезностью, с Вашей глубиной сердечной, при тех суровых требованиях, которые со стороны семейной с таких ранних лет предъявляет к Вам судьба! 〈...〉

Знаете ли Вы, что я две самые лучшие свои вещи — роман и не-роман („Одиссея“ и „Византизм и славянство“)— написал после полутора года общения с афонскими монахами, чтения аскетических писателей и жесточайшей плотской и духовной борьбы с самим собою? (С ужасом и благодарностью я вспоминаю теперь об этих жестоких и возвышающих сердце временах!) Запаса живых впечатлений, мечты о роскоши житейской и т. п. молитва и строгость мировоззрения в молодом человеке и мирянине не убьют,— они только урегулируют их. Но надо доходить скорее до того, чтобы Иоанн Лествичник [8] больше нравился, чем Ф. М. Достоевский... Нужно дожить, дорасти до действи-

тельного страха Божия, до страха почти животного* и самого простого перед учением церкви, до простой боязни согрешить... Я слыхал образованных людей, которые смеются над этим чувством (его во времена умной старины великие герои и богатыри не стыдились!), смеются и говорят: „Что это я буду, как дитя: Ах! Боженька за это камушком побьет!“... Да, побьет! И счастлив тот, кого побьет. Я — счастливый, а Фет — несчастный в своем ате-

* Страх животный унижает как будто нас. Тем лучше — унизимся перед Богом; через это мы нравственно станем выше. Та любовь к Богу, которая до того совершенна, что изгоняет страх, доступна только очень немногим; даже из тех святых, которых жития Вы, конечно, оставили все в Москве (по внушению дьявола), очень немногие позволяли себе говорить то, что позволил себе сказать Антоний Великий [9]: „Я Бога теперь уже так люблю, что и не боюсь Его...“ Сказал он это после таких испытаний и искушений, что нам и подумать страшно. А то, что многие из нас считают любовью к Богу, весьма несовершенно и обыкновенно бесплодно без помощи и примеси страха (Божия). Я до 1871 года, до моей поездки на Афон, очень любил и сердцем и воображением православие, его богослужение, его историю, его обрядность; любил и Христа, чтение Евангелия изредка и тогда, при всем глубоком разврате моих мыслей, меня сильно трогало. Любил и любовь к ближним, в смысле сострадания, снисхождения, благотворительности, но зато и в смысле сочувствия всем страстям: честолюбию, сладострастию, во многих случаях даже и личной жестокости. Любил своевольно, без закона и страха, а когда в 1869, 70 и 71 годах меня поразили один за одним удар за ударом и здоровье само вдруг пошатнулось (и все это в такое время, когда я часто говорил: „Надо уметь быть счастливым! Я счастлив, потому что умею наслаждаться жизнью, а дураки не умеют!“), тогда я испытал вдруг чувство беспомощности моей перед невидимыми карающими силами, и ужаснулся от животного страха, тогда только я почувствовал себя в своих глазах в самом деле униженным и нуждающимся не в человеческой, а в Божеской помощи. И хотя и теперь я нахожу в себе и веру, и страх Божий, и любовь весьма несовершенными по множеству ежедневных примеров, но все-таки путь за эти 16 лет пройден огромный к лучшему. Вот в чем дело. А так называемые „достоинства“: честность, твердость, благородство и даже хорошие, „достойные“ манеры (которые нередко и у мужиков бывают),— это все остается при нас. У монахов-то манеры вообще приличны и гораздо лучше, чем у мирян одного, конечно, с ними сословия. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

истическом ослеплении! Или есть Бог личный, Бог живой,— или нет Его. А если есть, так куда же и Бисмарку, и Петру I, и кому бы то ни было меряться силами с Ним и перед лицом Его помнить о каком-то достоинстве человеческом! Ну, довольно,— Вы поняли меня. ⟨...⟩

Кстати, Вы спрашиваете: что „Две избранницы"?, что „Египетский голубь" [10]? Да ничего. Ни строки. И сундука с бумагами не открывал, и подойти к нему боюсь. Ни тени охоты. В моем „священном уединении", как Вы говорите, летом и так хорошо. Нога болит, гулять далеко нет сил: сижу и два и три часа и больше у себя в скиту, на крыльце, в тени, и по целым часам образа человеческого иногда за яблонями и кустами не вижу... Сосны, ели, птицы разные, изобилие плодов земных вокруг, память смерти и в то же время некоторое кроткое умиление покоем старости моей... Иногда вижу монахов и мирян приезжих. Очень часто у о. Амвросия бывают в келии домашние всенощные; почти всегда не выстаиваю, а высиживаю их в креслах. („Эпикурейская религия", как врет Л. Н. Толстой про образованных христиан, забывая, что мужик, в веру которого он верит, и без веры целый день с детства привык быть на ногах,— а каково мне, например? О. Амвросий так иногда и лежит даже от слабости во время службы).

Что же еще Вам сказать?

Без Александра и Вари немножко скучно, но для службы попался мне хороший и умный мальчик 16 лет.

Лизавета Павловна была со мною, но скоро соскучилась и отпросилась к племяннику [11] в Тулу. Я говорю ей на прощанье:

— И не жаль тебе старого мужа?

А она:

— Э! Довольно мы с тобой жили вместе. Теперь я к моське хочу.

Моська — это собачка у племянника в Туле.

Я предпочитаю такую жену какой-нибудь помощнице в трудах, которая сказала бы:

— Это совершенно верно, мой добрый друг; но вместе с тем безразлично и даже немыслимо для высокоразвитой личности!..

А я бы ее в ухо за это! Вот тебе и „личность“... 〈...〉

На что только это сестрам Вашим высшее или даже среднее образование? Просят... Мало ли что они просят! Какие цели в жизни? 1) Хлеб насущный и вообще материальные блага. 2) Спасение души, религиозное развитие сердца. 3) Эстетика, личная поэзия, достоинство, что ли. И больше ничего. И то, и другое, и третье — одинаково доступно на всех ступенях образования. Материальные блага меряются привычкой и степенью претензий. Для религии образование — обоюдоострое орудие: или лучше, или хуже. А что касается до эстетики, то потрудитесь только вспомнить моего Александра — и громко харкающего товарища Вашего П.[12], или хоть мою Варю — и пискунью М.[12] — так все Вам станет ясно. То-то и беда, что в теории мы все молодцы, все поймем, а на практике идем большею частью за другими... На что Вам принимать участие в размножении „средних людей“? 〈...〉

Впервые опубликовано в журнале: „Богословский вестник“. 1914. Март. С. 452—464.

Анатолий Александрович Александров (1861—1930)— один из тех молодых людей, которые собирались у К. Н. Леонтьева в его московской квартире. Познакомился с Леонтьевым на литературно-музыкальных пятницах у П. Е. Астафьева зимой 1884 г. Вместе с И. И. Фуделем принадлежал к самым преданным приверженцам Леонтьева. Окончил курс историко-филологического факультета Московского университета. Впоследствии редактировал журнал „Русское обозрение“ и газету „Русское слово“.

[1] Иоганн Вольфганг *Гёте* (1749—1832)— немецкий поэт, писатель, ученый, государственный деятель.

[2] Джордж Гордон *Байрон* (1788—1824)— английский поэт.

[3] Пьер Жан *Беранже* (1780—1857)— французский поэт, автор популярных песен.

[4] Константин Николаевич *Батюшков* (1787—1855)— поэт, участник Отечественной войны 1812 г. Служил в русском посольстве в Неаполе. С 1822 г. его поразила тяжелая душевная болезнь.

[5] Фридрих *Шиллер* (1759—1805)— немецкий поэт.

[6] Василий Андреевич *Жуковский* (1783—1852)— поэт и переводчик.

[7] *Петр Евгеньевич* — П. Е. Астафьев.

[8] *Иоанн Лествичник* — христианский отшельник XI в. Автор руководства к иноческой жизни „Лествица райская".

[9] *Антоний Великий* (251—356)— христианский святой, один из основателей монашества, вел аскетический образ жизни в египетской пустыне. История его искушений в течение столетий составляла излюбленную тему писателей и художников.

[10] *„Египетский голубь"*— повесть К. Н. Леонтьева (1881).

[11] *...к племяннику* — В. В. Леонтьеву.

[12] *П. и М.*— неустановленные лица.

162. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

13 октября 1887 г., Оптина Пустынь

Милый мой Александров! Конечно, я не в силах прямым моим влиянием заменить Вам Каткова, но я безотлагательно на днях сделаю, что могу, посредством других людей для того, чтобы доставить Вам стипендию и возможность приготовиться к кафедре русской литературы. Это „совершенно верно" и даже „обязательно".

Сейчас не распространяюсь, потому что занят (по хозяйству, которое гораздо больше меня здесь интересует, чем моя литература), но из этого не следует, что всегда мои ответы будут так кратки, как этот. Летом я доказал Вам противное.

О себе скажу Вам только одно на этот раз: опять раны на ногах, опять кашель и отек ног, опять уже три недели — ни в церковь, ни вообще на воздух. Но унывать — ничуть

не унываю, благодаря Бога. Все мои — около меня; дом очень хорош, просторен, тепел и с такими хорошими видами из окон, что я и сам дивлюсь, почему это они, эти виды, больше уже не вдохновляют меня... Чувствую, что должны бы вдохновлять,— не вдохновляют...

Бывают всенощные в доме; посещают нередко весьма разнообразные монахи: и похуже, и получше, и очень хорошие, и совсем плохие,— всякие есть... ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Богословский вестник". 1914. Март. С. 465—467.

163. КНЯЗЮ К. Д. ГАГАРИНУ

7 ноября 1887 г., Оптина Пустынь

Несравненный и глубокочтимый князь Константин Дмитриевич, видите, как я строго выдержал мое обещание дать Вам отдохнуть до глубокой осени и от моих прошлогодних стонов, и от выражений признательности? Впрочем, слово мое могу теперь сдержать только наполовину: стенать более не о чем, но признательность Вам и Т. И. Филиппову поневоле будет читаться между строчками, как только я начну рассказывать, как мне здесь хорошо!

Слушайте: за Оптиной оградой есть большой каменный двухэтажный дом, просторный, теплый, удобный, одним фасадом он обращен на те „широкие поля" с рощицами, строениями и овражками, о которых я упоминал в первой статье в „Гражданине" (читали?), другим — на монастырский лес и небольшой сад; он принадлежит к этому дому и даже зимой красив и романтичен. Этот дом я нанял у монастыря за 400 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩ (33 с копейками с дровами (без счета), с водой и даже с молоком со скотного двора). Я отделал его заново по своему вкусу, очень недорого, и всем нравится. Старая мебель материнс-

кая (которую перевезли после продажи моего бедного Кудинова к одному знакомому помещику в 15 верстах от Оптиной), привезена теперь ко мне опять и починена; портреты родных, большей частью умерших, развешены и расставлены хорошо; кабинет особо (с видом на поля), спальня большая особо и т. д. Зала большая внизу, есть комнаты и для гостей; и я, хотя и опять совсем больной, счастливее теперь и покойнее многих здоровых. Правда, у меня открылись на ногах опять раны и кашель не дает спокойно спать; я не могу ни в церковь ходить, ни к духовнику в скит съездить (он тоже уже около 20 лет зимой из кельи не выходит и почти все лежит), все это так, но я до того уже привык к болезням моим, что их (кроме некоторых слишком тяжких дней) и страданиями почти не считаю. Чтобы у меня что-нибудь и где-нибудь не болело хоть один день — этого я давно уже не помню, а в особенности с 84 года. Но в этом-то и видно милосердие Божие: не болей я беспрестанно, я бы по живости моего ума и легкости моего характера забывал бы слишком часто о том, „что едино есть на потребу"; а с другой стороны, если бы при этих неизлечимых и все возрастающих недугах, при этом почти всечасном ожидании последнего расчета с жизнью, я был бы по-прежнему озабочен, необеспечен, связан службою и т. д., то это было бы нестерпимо и ужасно.

Но я обеспечен (по здешнему месту), и с избытком, я свободен, я теперь имею все то, что мне привычно и дорого,— монастырь близко, дома жизнь вроде помещичьей, всенощные служат и часы читают в доме, монахи посещают, родина (Калужская губ.), летом природа прекрасная, лес, река, луга большие, вещи родовые кое-какие, а с ними и воспоминания... и, наконец, возможность писать, что хочу (или почти что хочу), в „Гражданине". Можно бы здесь повторить известную поговорку: „Умирать не надо!" Но я скажу совсем другое: как хорошо готовиться к смерти (более или менее все-таки близкой) при такой обеспечен-

ности, при такой независимости, в такой обстановке... „Благослови душе моя, Господи, и не забывай всех воздаяний Его!“

Верьте, что редкий час я не повторяю себе этого, верьте и читайте между строчками!

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

164. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

9 ноября 1887 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Спешу Вас уведомить, что в Петербурге люди очень надежные и влиятельные взялись хлопотать о 600 руб⟨лях⟩ Вашей стипендии. Я надеюсь на успех. Только уж если готовиться на кафедру русской литературы, то еще раз повторяю, надо внести что-нибудь новое в критику Вашу. То есть надо с себя хотя бы на время свергнуть иго гоголевской школы, от которой и Лев Толстой освободиться не мог, по крайней мере — в отношении формы и языка. С этой стороны его первые произведения, например, громко читать несносно! Я здесь, в Оптиной, хотел Александру и Варе прочесть громко „Поликушку“, например,— и не мог. До того наворочено подробностей и все в этом слишком известном у нас роде. Постарайтесь достать „Лукрецию Флориани“ Жорж Санда (1848 или 1849 года) в переводе Кронеберга [1]. Вот высокая простота рассказа! Вот поэзия! Хотя, конечно, и совсем не христианская, но ведь и Венера Милосская не была иконой Богоматери, однако прекрасна.

Чтобы „выжить“ из себя „вчерашнее“, на котором мы все выросли, надо углубляться во все то, что на него не похоже. В этом смысле хороши и Жорж Санд, и Байрон, и Жития Святых, и народные песни, и С. Т. Аксаков (сравните простой и здоровый его рассказ о детстве с

ломаным и все-таки довольно бесцветным хваленым произведением Толстого „Детство и отрочество"). Даже сам же Толстой в своих последних народных рассказах может служить пособием против влияния „шершавой" формы и кропотливого духа „Записок охотника" Тургенева или самого Толстого „Военных рассказов", „Поликушки" и т. д. Даже „Смерть Ивана Ильича" лучше всего этого. Тут есть почти только то, что нужно, хотя содержанию невозможно сочувствовать, потому что бывает и в наше время совсем другая смерть, с иными чувствами, христианскими.

Впрочем, я об этом Вам 20 раз говорил! Сами знаете. (Л. Толстого надо ценить как творца „Войны и мира" и „Анны Карениной", все остальное — приготовление к ним.) ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Богословский вестник". 1914. Апрель. С. 771—773.

[1] *Андрей Иванович Кронеберг* (1814—1855)— критик и переводчик сочинений Плавта, Жорж Санд и Шекспира.

165. Я. А. ДЕНИСОВУ

8—9 ноября 1887 г., Оптина Пустынь

Милый и дорогой Денисов, раз навсегда оставьте эту дурную, хотя и многим свойственную привычку: опоздал ответом или визитом — застыдился и совсем перестал писать и ездить. Никогда не поздно возобновить добрые отношения!— И я опоздал Вам ответом ровно на месяц (Ваше письмо от 6 октября, а получено оно было или 8 или 9). Разный недосуг мешал, но я не забывал и соблюдал очередь в делах, теперь она дошла и до Вас.

Все, что Вы делаете в деревне, мне очень нравится — и то, что Вы так успешно хозяйничаете, что Вы на охоту ходите, и то, что мою книгу дали дядюшке [1] читать. Одно

жаль, боюсь с недугами моими не дожить до удовольствия видеть, что Вы оставили „филологию" и обратились наконец к более живому делу — к истории! Дождусь ли до этого? А образ жизни Ваш, помещичий, очень Вам полезен как противовес Вашим слишком кабинетным наклонностям.

Вы пишете, что все знающие меня жалеют, что участие мое в новом „Гражданине" не будет так деятельно, потому что я остался зимовать в Оптиной... А я здесь блаженствую, потому что имею здесь многое из любимого мною, чего я в Москве был лишен. Чувствую лишь одно лишенье — это отсутствие беседы с такими милыми молодыми друзьями, как Вы, Кристи, Александров, Уманов [2] и т. д. Впрочем, все они (кроме Вас) писали мне не раз. Даже и m-lle Попырникова [3] летом писала мне.

В „Гражданин" я в течение последних недель 3-х (с половины октября) послал уже 5 статей (политических) и готовлю 6-ю; первая уже напечатана 2-го ноября под заглавием „Пробуждение старых мыслей и чувств", 2-я — „Нужна ли правда в политической печати?", 3-я —„Suum cuique"*, 4-я —„Мой исторический фатализм", 5-я — „Судьба Бисмарка и недомолвки Каткова", 6-я будет озаглавлена „Гипотезы Данилевского и мои мечты". Я, впрочем, чувствую, что все хожу вокруг да около главного — и все не решаюсь еще выставить прямо свои 7 столпов... Покажу один немного и смолкну! Сам я не знаю, почему это? Разумеется — не от умственной робости, которой, слава Богу, не страдаю, а, вернее, от желания выразить как можно яснее и убедительнее дорогую мысль. Впрочем, здесь у меня в келье так хорошо, просторно и даже отчасти красиво, и вид из окон так покоен, далек и хорош, что мыслить мне стало гораздо легче здесь, чем в Москве. 〈...〉

Петру Евгеньевичу [4] я писал еще в августе или сентябре, но он поступил, как истинная свинья, в этом случае — не ответил. Не живи я под боком у отца Амвросия, так

---

* Каждому свое (*лат.*)

я давно бы ему это прямо написал. Да что скажет старец, когда я сознаюсь ему, что я сделал это даже не сгоряча, а после неоднократных размышлений. Нет, не мораль призвание русских! Какая может быть мораль у беспутного, бесхарактерного, неаккуратного, ленивого и легкомысленного племени? А государственность — да, ибо тут действуют палка, Сибирь, виселица, тюрьма, штрафы и т. д... Небось, Каткову или Делянову нашел бы время ответить, право, свинья (хотя в других отношениях и прекрасный человек). Ну, прощайте, целую Вас и желаю Вам успеха в хозяйстве и в охоте, и, пожалуй, и в филологии, в надежде на то, что пресытитесь ею наконец и бросите ее!

Ваш *К. Леонтьев.*

9 ноября.

А Вы о главном ни слова мне не пишете: были ли Вы хоть раз в церкви за все это время? Отчего Вы Успенским постом не говели? В деревне летом это так приятно и легко. Смотрите, Денисов! Бог во всем Вам поможет, по опыту Вам говорю!

Впервые опубликовано в сб. „Мирный труд". 1905. Кн. 2.

Яков Александрович Денисов — был студентом катковского лицея в Москве и познакомился с К. Н. Леонтьевым на музыкально-литературных пятницах у П. Е. Астафьева. Впоследствии профессор Харьковского университета.

[1] *Дядюшка* — неустановленное лицо.

[2] Николай Алексеевич *Уманов* — принадлежал к кругу молодых почитателей К. Н. Леонтьева (А. А. Александров, И. И. Фудель, Я. А. Денисов). Впоследствии член городского суда в провинции.

[3] *M-lle Попырникова* — см. примеч. к письму 171.

[4] *Петр Евгеньевич* — П. Е. Астафьев.

166. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

8 декабря 1887 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Ведь в этом человеке[1] столько поэзии: его физическая сила, его рост, его военный вид, его жестокость и его милая иногда светская любезность, его шрам на щеке — след студенческой дуэли на эспадронах. (Один старый студент-дуэлист водил с собою очень большую собаку, которая пугала и беспокоила всех студентов; Бисмарк, тогда еще почти мальчик, подошел к нему и хладнокровно сказал: „Вы, милостивый государь, дурак!“ Дрались, и он был ранен в щеку). Как он разбил кружку об голову либерала, который грубо бранил публично правительство; как он в палате вызвал профессора Вирхова на дуэль за какую-то парламентскую дерзость (тот — на попятный двор). И при этом он хороший охотник; он любит читать Евангелие, а иногда французские романы; ходит за грибами и умеет, кажется, солить их (в России научился). Лучше многих из нас и Россию понимает. И называет все по имени: прямо говорит в Рейхстаге, что не было великих дел без огня и железа. Остряк; пьет много пива. Сам обезоружил студента, который в шестидесятых годах стрелял в него; взял дурака за шиворот и отвел в полицию.

Да ведь это и есть то самое, что нужно, т. е. развитие личности, упадок и принижение которой вредны и для политики, и для поэзии одинаково, даже косвенно и для религии. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Богословский вестник“. 1914. Апрель. С. 773—777.

[1] *...в этом человеке...*— Имеется в виду О. Бисмарк.

167. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

15 января 1888 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ 2) Узнайте, что стоят сочинения Ю. Ф. Самарина [1] (мне нужны богословские особенно, ну, и другие: менее всего нужны его нелюбезные мне „Окраины“ [2]) и сочинения Конст⟨антина⟩ Серг⟨еевича⟩ Аксакова и напишите мне.

3) Попросите Фета выслать мне (посылкой — это дешевле и вернее) „Энеиду“ [3] его и в особенности Шопенгауера („Мир как воля и представление“). Мне это доставит большое удовольствие. И даже очень нужно. Пока я был цензором, он все свои переводы мне присылал, а как я подал в отставку, так и перестал. Это „практичность“, и уж слишком откровенная, чтоб не сказать хуже.

4) Теперь комиссия трудная! Прошлой весною еще был жив в Москве некто Николай Матвеевич Матвеев, бывший в пятидесятых годах портным. Магазин его был у Пречистенского бульвара, именно в том доме, где теперь лавка Арженикова. Я ему с 1853 г. должен 50 р⟨ублей⟩. Вообразите! Смолоду и я по идеалу и по вкусам был европеец (хам), а по действиям — русская дурацкая натура; после 30 лет стал вырабатываться наоборот, т. е. старался утвердить в себе по мере сил западную выдержку и восточные идеалы... Я перед этим бедным Матвеевым тем более грешен и виноват, что он-то поступал со мной очень благородно. Когда я студентом извинялся, что нечем ему заплатить, он, смеясь, говорил мне: „Ничего! После доктором будете, тогда будет у вас много денег, вспомните обо мне!“ А я никогда не забывал этого, но ни доктором, ни консулом, ни литератором, ни помещиком, ни цензором — все-таки не платил. Теперь хочу хоть перед его смертью или перед моею сначала 25 руб⟨лей⟩, а потом и другие 25 руб⟨лей⟩ отдать. Прошлой весной я напал на его след. Есть на Волхонке в подвальном этаже (на левой руке, если

идти от Пречистенки к Моховой) зонтичный магазин Малаевой; года еще два тому назад он был Матвеевой; я ездил беспрестанно мимо, и сам не могу понять, что именно меня задерживало зайти; я думаю то, что никогда у меня в Москве лишних 25 руб⟨лей⟩ не было, а с пустыми руками что и заходить? Когда я увидел, что фамилия на вывеске зонтичного магазина переменилась, я ужаснулся при мысли, что не только сам Матвеев, но и жена его (зонтичница) умерла... Пошел к Малаевой и там узнал, что Николай Матвеевич жив, и обрадовался. Мне дали там его адрес, который и прилагаю (Устинский мост, дом Кайсарова; бани). Теперь Вам по этой нити не то чтобы легко, а все-таки возможно будет найти его. Если он за эти 7—8 месяцев (я плохо помню, когда справлялся у Малаевой) скончался, бедный, то жене или другим наследникам отдайте и попросите их меня, грешного, великодушно простить. Пожалуйста, милый Анатолий Александрович, ради Бога утешьте меня и за это дело возьмитесь скорее. Ведь в крайности можно и через адресный стол или полицию разыскать. Прилигаю сверх 5 руб⟨лей⟩ на объявление и 25 руб⟨лей⟩ Матвееву, еще 5 руб⟨лей⟩ Вам на извозчиков по этому делу, а может быть, и на чай придется кому-нибудь дать. Что останется — не возвращайте: пригодится на покупку книг для меня. ⟨...⟩

Что касается до моря, природы и т. п., то я убежден, что после Гёте, Victor Hugo [5], Пушкина, Фета, Майкова [6], Лермонтова, Жуковского и т. д. едва ли и можно в течение 50-ти лет, по крайней мере, что-нибудь сказать хорошее... Не могу и вообразить! Ведь я в этом отношении не только у Вас, но ни у кого не нахожу теперь ничего замечательного, например у Голенищева-Кутузова [7]... Не нахожу, не впечатлеваюсь! А впечатлеваться я еще могу чем-то иным у новых людей и иным у прежних поэтов. Надо искать. Частью жизнь наведет, частью сам, наконец, найдешь. Ведь я только к сорока годам нашел свой путь — и в греческих повестях, и в социологии, политике и т. д. Для лирики,

конечно, так долго ждать нельзя — она остынет; но что делать, я Вас обманывать не хочу: физиогномии, характера личного в Ваших стихах (кроме посвящений) нет еще. ⟨...⟩ Вздох-то вздоху тоже рознь. Иной вздох у Фета: „И заря! Заря!“... Или у Пушкина: „Напрасно я стремлюсь к сионским высотам, грех тяжкий гонится за мною по пятам“... Или у Кольцова [8]: „Прости ж мне, Спаситель“... и т. д.

Религия, общественная жизнь, культ сильных личностей, пожалуй (ну, хоть Бисмарка, Скобелева)... Отпор демократическому прогрессу... Вот богатое поприще. Будьте резкой антитезой Некрасову [9], Плещееву [10], Минскому [11] — и будет физиогномия. „Голенищевы“ эти нынешние все — все-таки сороковые годы, не более!.. ⟨...⟩

В „Гражданине“ я начал новую статью „Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой“. Конечно, преимущество — Вронскому. ⟨...⟩

Льву Толстому в статьях моих достается, да и всем почти литераторам нашим, но ему как проповеднику и человеку, а не как творцу. Мне любопытно, как Вы познакомились с ним. Не Вы ли это „поднимали“ Иверскую? Кристи рассказывает, что он (Лев Николаевич) пришел к Владимиру Сергеевичу Соловьеву и с негодованием и изумлением говорил: „один студент, кандидат, поднимает Иверскую!“ И начал говорить Соловьеву такую старую детскую речь, что Соловьев хотел было ответить ему: „да и я в 14 лет думал так, как Вы теперь!“ Но воздержался, чтобы не вышло ссоры. А они только что помирились.

По-моему, Лев Николаевич с этой стороны просто глуп стал. Он вовсе ведь и нехорошо говорит. Такие вещи бывают: например, Фридрих II [12] не понимал, что в Гёте хорошего, Наполеон не верил в возможность пароходства и т. п.

Вашу статью о г. Короленко [13] читал в „Русском деле“ [14].

Очень был рад встретить Ваше имя; это полезно. Но восхищаться всеми этими „Тойонами“ и „Макарами“ [15]

никак не могу. Вы, кажется, слишком снисходительны. А впрочем, я всего Короленко не читал и, может быть, ошибаюсь... Только едва ли. Кажется, у него даже убивец (не убийца, а непременно „убивец") описывался? Ох, не то это, не то... Коротко сказать, я в новых повестях желал бы видеть тот самый прозрачный и благодарный романтизм, который был в стихах 30-х и 40-х годов, а в стихах новых, напротив,— силу, мистику, реакционный гнев, политический героизм русского духа и т. п. И то, и другое было бы действительно ново теперь, и ново и резонно. А у нас еще до сих пор в стихах — или нежный романтизм, или вялый нигилизм, а в повестях —„убивец", „Макар! Куда те прет?" и т. п.

Рекомендую Вам убедительно достать и прочесть внимательно „Теократию" Влад. Соловьева [16], изданную в Загребе и запрещенную, к сожалению, у нас. Пойдите прямо к нему и попросите. Он очень охотно даст. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Богословский вестник". 1914. Апрель. С. 778—783.

[1] Юрий Федорович *Самарин* (1819—1876)— писатель и общественный деятель. Родился в богатой и родовитой дворянской семье. Один из основоположников славянофильства. Находясь на службе в Риге, занимался исследованием отношений России и Прибалтийского края. Активио участвовал в освободительных реформах Александра II. Благодаря своему возвышенному характеру, пользовался громадным авторитетом в обществе.

[2] „*Окраины*"— сборники статей Ю. Ф. Самарина „Окраины России", опубликованные за границей (5 выпусков. Берлин, 1867—1878). Посвящены задачам русской политики в Прибалтике. Самарин считал, что там необходимо укреплять те слои общества, которые благоприятно относятся к России, т. е. эстов и латышей в противоположность немецкому дворянству. В 1880 г. Леонтьев написал статью „Наши окраины" („Гражданин", 1882), где высказывал прямо противоположную точку зрения: „Имена немецкой аристократии связаны с военным и политическим величием православной России; а эсто-латышское движение ни с

чем; разве с либеральной модой" (Леонтьев К. Н. Собр. соч. Т. 7. С. 258).

[3] *„Энеида"* — сделанный А. А. Фетом перевод поэмы римского поэта Виргилия о подвигах героя Троянской войны Энея.

[4] *„Мир как воля и представление"* — один из основных трудов немецкого философа А. Шопенгауера. Первый русский перевод принадлежал А. А. Фету.

[5] *Виктор Гюго* (1802—1885) — французский романист и поэт.

[6] Аполлон Николаевич *Майков* (1821—1897) — поэт. Продолжал традиции антологической поэзии К. Н. Батюшкова и Н. И. Гнедича. Противостоял литературе революционно-демократического направления. Занимал пост председателя Комитета иностранной цензуры.

[7] Арсений Аркадьевич *Голенищев-Кутузов* (1848—1913) — поэт. Почетный член Академии наук, лауреат Пушкинской премии.

[8] Алексей Васильевич *Кольцов* (1808—1842) — поэт-самоучка, сын торговца. Благодаря дружбе В. Г. Белинского, познакомился с А. С. Пушкиным н В. А. Жуковским.

[9] Николай Алексеевич *Некрасов* (1821—1877) — поэт, редактор журнала „Современник".

[10] Алексей Николаевич *Плещеев* (1825—1893) — поэт и писатель. Участвовал вместе с Ф. М. Достоевским в революционном кружке Петрашевского. Был приговорен к смертной казни, замененной солдатской службой. По возвращении из ссылки сотрудничал в „Русском вестнике".

[11] *Минский* (настоящ. имя Николай Максимович Виленкин, 1855—1937) — поэт и писатель народнического направления. Сюжет его поэмы „Последняя исповедь" использовал И. Е. Репин в картине „Отказ от исповеди перед казнью". Перевел на русский язык коммунистический гимн „Интернационал". Умер в эмиграции.

[12] Фридрих II (1740—1786) — прусский король, полководец.

[13] Владимир Галактионович *Короленко* (1853—1921) — писатель и публицист народнического направлення.

[14] *„Русское дело"* — литературно-политическая и сельскохозяйственная газета консервативного направления. Выходнла в Москве в 1886—1890 гг.

[15] *Тойон и Макар* — персонажи очерка В. Г. Короленко „Сон Макара" (1885).

[16] „*Теократия*“— историко-богословский трактат Вл. С. Соловьева „История и будущность теократии“ (Загреб, 1887), посвященный философии библейской истории. Теократия — такое устройство общества, при котором верховная власть принадлежит духовенству.

168. А. А. ФЕТУ

3 февраля 1888 г., Оптина Пустынь

А что Вы скажете о моей проницательности, Афанасий Афанасьевич, если я Вам побожусь, что, прочитавши в „Московских ведомостях“ заметку Сельского жителя [1], сейчас же сказал себе: „Это Фет! Во-первых, эти нападки на историческое во имя немедленной практической пользы, а во-вторых, этот пример собаки, которая счесть трех бекасов не умеет, хотя по-своему и умна. Это фетовский genre* сравнения...“ Подумал и угадал.— Горжусь и хвастаюсь, но вместе с тем жалею, что Вы своим этим уподоблением ставите меня (вообразите!) в неловкое положение... Я хотел было возражать (при случае) этому „Сельскому жителю“, а теперь благодаря этому смелому и остроумному Вашему примеру боюсь быть противу Вас невежливым. Я было хотел, похваливши предварительно автора за его остроумие, возразить, что есть различные „кабинетные“ измышления. Есть, например, такие глубокие и светлые, что рано или поздно им придется перейти в сознательную, рациональную практику. Думаю, впрочем, что и Ваша милая и умная собачка отчасти права, что эмпирически хватает только тех бекасов, которых видит или чует обонянием; но прав и охотник, который смотрел выше и рационально считал бекасов.

Кабинетные измышления бывают, я думаю, двух родов: одни имеют непосредственную практическую частную цель,

---

* Жаир (*фр.*).

другие — нечто общее и отдаленное, которое, однако, находит себе применение и в частностях.

Я согласен, что в первом случае — кабинетное хуже простого эмпирического. Но во втором — едва ли... Такова, например, моя гипотеза о разрушительном смешении и об слишком ускоренном движении жизни, собственности и т. д. Динамика социальная чересчур в наше время взяла верх над социальной статикой. Собственность, например, надо прикрепить законом с двух концов: со стороны самой крупной и со стороны самой мелкой. Со стороны дворянства и со стороны крестьянства; со стороны привилегированного землевладения и со стороны снова податного земледелия. И то и другое будет отпором подвижному капитализму, одинаково враждебному и дворянству, и рабочим. Секите, наказывайте, управляйте даже и жестоко (если это необходимо для государства и если теперь справитесь), но исторической этой общины не трогайте, избавьте нас от западной слишком простой и подвижной и вследствие этого неизбежно революционной антитезы — вольного, неприкрепленного капитала (хотя бы и недвижимого, но вполне свободно отчуждаемого) и вольного же батрачества...

Я бы, исходя из моей гипотезы о необходимости сложного и более или менее утвержденного легальными стеснениями расчленения общества, желал бы для России такого рода устройства:

1) Две схемы: богатое дворянское имение и с другого конца — богатая, сытая община неотчуждаемых участков. Между этими краеугольными скалами, во многих отношениях привилегированными, дать больше воли и меньше привилегий — собственности купцов и разночинцев (и тех дворян, которых охранительные реакционные реформы застали не в дворянском положении, вроде моего: столбовой без земли). В среде же дворянства, оставшегося внутри черты новых привилегий, опять устроить некоторую тройственность — меньше отчуждаемости и больше привилегий (земских, судебных, полицейских и т. д.) для самой круп-

ной собственности; гораздо меньше привилегий и строжайшая неотчуждаемость минимума (напр⟨имер⟩ 100 десят⟨ин⟩). Больше свободы и среднего преимущества для всех дворянских земель, помещающихся между 1000 или 2000 десятин (например) и 150 десятин. (Я думаю, впрочем, что минимум у меня хорош, а максимум низок; не решаю, сознаю себя в этой частности Вашей некомпетентной собакой.)

Живой пример: у меня 300 дес⟨ятин⟩, но я все продаю и продаю, не умею хозяйничать или несчастлив в деле, остается 100 дес⟨ятин⟩ — хочу еще 50 продать; местное дворянство всем сословием ссужает меня еще раз, за ним другие, личные достоинства — но все не впрок. Я подаю прошение (кому бы то ни было, не знаю), хлопочу, отказываюсь от некоторых прав (как отказывается от них человек, выходящий в отставку). Извольте. Только теперь ваше политическое положение иное: вы не средний дворянин-землевладелец, а средний купец или разночинец. Социальное положение ваше при вас; граф Шувалов, князь Оболенский [2] (богатые) будут очень глупы (по другим соображениям), если они не будут вас по-прежнему прекрасно принимать, вы можете понравиться их дочерям и жениться на них, но пока ваше земско-политическое положение будет равно слепым, но непривилегированным людям среди разночинной толпы...

Внутри крестьянской общины опять не нужно равенства, здесь — некоторое кулачество должно быть не только терпимо, но и покровительствоваться, богат и легально честен (а до души тут не доходить) — имей больше признанной власти в общине; совсем разорился — выходи, но участок обязана купить та же община или припустить другого на место. И тут — ценз. Это будет похоже с хозяйственной стороны на монастырь; ни равенства, ни свободы, а монастырское хозяйничанье хорошо.

Куда деться этим земельным изгоям? Можно тут широко и умно воспользоваться принципом свободы — пусть

нанимаются по своей охоте в долгосрочную контрактную кабалу к дворянам. Формы и сроки этой новой (либеральной) кабалы установить. К разночинцам в кабалу нельзя, к ним можно идти лишь по краткосрочным договорам.

Тогда Вы увидите, какой будет выгодный и для дворян, и для беднейших крестьян антагонизм между общинами и дворянским землевладением. Будут ласкать и переманивать рабочих друг у друга. А чтобы они не зазнались, то и общины, и дворяне будут иметь право их так или иначе карать.

Итак — три тройственности:

А. Дворянство (до 100 дес⟨ятин⟩); община, вольные разночинцы.

В. Внутри дворянской черты: неотчуждаемые 2000, средние, более [нрзб.] неотчужд. 100 дес⟨ятин⟩.

С. Внутри общины: большие привилегированные мужики, средние, изгои-батраки.

(Соловьеву это должно понравиться.)

Наконец — пожалуй: очень богатая, очень большая община или, вернее, ее представитель, должна равняться среднему дворянину, но не более. Дворянских из сословия земель не продавать вообще. За все эти стеснения наивысшие политические права, но с правом как допущения достойных лиц в свое сословие, так и изгнания недостойных.

Боковым линиям царской крови дозволить браки с дворянами. Это одно и в глазах народа разом опять возвысит дворянство.

Я убежден, что я в этой грубой, но ясной схеме, второпях изложенной, сказал много „физиологических“, так сказать, истин, которые обдумать не мешало бы и почтенным эмпирикам хозяйства и земельных дел. Все моральное, „душевное“ я нарочно оставил тут в стороне; оно, именно, подразумевается, ибо только страхом и только экономикой жить долго люди не могут. Но это принадлежит к другой области: к религии, педагогике, семейным влияниям, к литературе, наконец... Вообще надо, чтобы и с этой стороны русская земля (о других я знать не хочу)

поменьше бы вращалась около своей оси и побольше бы стояла на трех китах.

Я не хочу быть настолько компетентнее собаки, насколько охотник компетентнее ее, я довольствуюсь ролью ястреба, который даже и глупее собаки во многом, но любит парить, хотя случается нередко ему по нужде и на земле поклевать.

Подымусь и вижу всех трех бекасов, которых чисто кабинетный охотник за кустами не видит, а сеттер счесть не может...

„Таков, Фелица, я развратен“ [3] (в моей гипотетической самоуверенности!). И, вообразите, даже думаю, что если чего-то подобного нельзя будет устроить, то и Россия лет через сто, не более,— пропала. Как испанские дворяне, когда уговаривались с своими королями, говорили: „Et si non-non?“*

Довольно этого неожиданного для меня самого трактата.

В милом и дорогом письме Вашем Вы с удовольствием вспоминаете мое соседство и мои беседы (я так понял это, ибо это гораздо выгоднее для моего тщеславия, чем память об аккуратном цензоре). Вот я и побеседовал очень длинно. Присылка Ваших новых „Вечерних огней“ [4] была для меня высшей степенью приятного сюрприза... Я и не знал об этом новом издании — но мне попалось крупное объявление об „Энеиде“ и Шопенгауере, и я, конечно, согрешил — подумать: вот Афанасий Афанасьевич, как только я уехал, так он и знать меня не хочет, книг своих не шлет; а мне Шопенгауер („Воля и представление“) страшно как нужен по-русски. И от „Энеиды“ жду много удовольствия. Я и Александрову писал, чтобы он Вам укорил.

Ваши поэтические „Вечерние огни“ напомнили мне другие, тоже вечерние огни, огни в окнах московских, когда я ехал бывало с таким удовольствием на Плющиху [5]. (Помню даже, что я не раз, в санях сидя, думал: „Какое сквер-

---

* И если нет, так нет (*фр.*).

ное имя Плющиха, не поэтическое! Это Афанасий Афанасьевич, должно быть, на ней купил дом нарочно, чтобы и этим доказать, до чего он в практической жизни боится поэзии"; все собирался Вам это сказать, да забывал.)

Доброту Марьи Петровны [6] и ее милые заботы о моих физических немощах, о „прокормлении" моем в 10 часов вечера — никогда не забуду! Дай Бог ей за это всего хорошего!

Мне здесь живется очень хорошо. Слава Богу. Вещественная моя жизнь понравилась бы Вам, я думаю,— особая усадьба, сад, вид хороший, большой теплый дом, немного фантастический внутри. Лошадь своя, корова и т. д... Пишу (в „Гражданине", не удостоите ли взглянуть?), езжу по воздуху, тихо, но езжу. Следовало бы по совести сказать, и молюсь, и с духовником утешаюсь, но ведь Вы из таких людей, которые умеют допускать и это, но сердцем сами не испытывают ничего подобного, и поэтому об этом с Вами распространяться не следует. Прибавлю, впрочем, без лести, я тем более ценю Вашу благородную в этом вопросе деликатность, Вы никогда не оскорбляете того, что для другого святыня. Это не то что Лев Николаевич Толстой. Он, говорят, дошел даже до того, что накидывается в глаза на образованных людей, когда они дерзают „подымать Иверскую" и т. п.

Хороша „любовь"— отнимать у людей глубокое утешение! Пусть это иллюзия наша, но она нам дорога и никому не мешает. Из-за чего же он бьется? Не ожидал от его ума (в сердце его я, грешный, не очень верю). Это в наше время уже и старо донельзя, и глупо, а уж что оно с людьми нетвердыми и молодыми — подло, так это и говорить нечего. Сунулся бы со мной потолковать об этом! Не ожидал от него такого свинства.

Ну, прощайте; крепко жму Вашу руку и даже, если позволите, обнимаю Вас. Марье Петровне еще раз привет сердечный... Не забывайте.

К. Леонтьев.

По ошибке остался листик. Утешьте Александрова, ободрите его. Его Ф. Н. Берг огорчил не только отказом поместить его стихи, но и тем еще, что написал ему, „что не верит, чтобы Фет и Леонтьев нашли у него талант“.

Как же не видать этого, положим, еще незрелого и не определившегося, но все-таки несомненного дара?

Публикуется по автографу (ИРЛИ).

[1] *...заметку Сельского жителя...* — А. А. Фет чувствовал призвание к практической деятельности и хотел, как Гораций, посвятить себя сельскому хозяйству. Десять лет он был мировым судьей. Писал в „Русском вестнике“ статьи о сельских порядках („Из деревни“). В 1887 г. купил имение Воробьевка в Курской губ., где у него бывали Л. Н. Толстой, Вл. С. Соловьев, Н. Н. Страхов и др.

[2] *...граф Шувалов, князь Оболенский...* — в данном случае эти фамилии употребляются как собирательное понятие аристократии.

[3] *„Таков, Фелица, я развратен“* — цитата из оды Г. Р. Державина „Фелица“, посвященной Екатерине II.

[4] *„Вечерние огни“* — последние прижизненные сборники стихов А. А. Фета, вышедшие под общим названием в 1883, 1885, 1889 и 1891 гг. В подготовке их к печати ближайшее участие принимали Вл. С. Соловьев и Н. Н. Страхов.

[5] *Плющиха* — улица в Москве, где находился дом А. А. Фета.

[6] *Марья Петровна* — жена А. А. Фета, М. П. Шеншина (1828—1894), родилась в купеческой семье Боткиных.

169. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

5 февраля 1888 г. Оптина Пустынь

⟨...⟩ Помолитесь-ка и Вы, дружок, в простоте сердечной, сходите к той самой Иверской, за которую так глупо и так преступно даже (а пожалуй что и притворно) негодует на Вас Ваш гениальный домохозяин [1]. Не верьте, голубчик, ему, не поддавайтесь. Заметьте это: у него была всегда

страсть противоречить течению передовой мысли. Пока господствовал либерализм, он был почти реакционер во многом; теперь, когда все почти лучшие умы обращаются так или иначе к народным, историческим началам, ему не терпится, чтобы не идти противу этого. Я сам недавно это стал в нем угадывать. Пока это не касается святыни, оно оригинально и даже полезно. Но если только хоть на минуту поверить и подумать, что за гробом — вечность блаженства или вечность муки, то каков же будет суд Божий над людьми, играющими из духа противоречия чужою верой! Не скрою, что я все-таки боюсь за Вас, зная, что Вы с ним видаетесь. Это не Фет, которого атеизм никогда не жаждет пропаганды. „Клин клином надо выбивать“, и если меня, грешного, Вам мало, если Вы почувствуете от его (т. е. Толстого) устарелых фраз XVIII века малейшее колебание, послушайтесь меня: познакомьтесь с Владимиром Соловьевым и, подавивши в себе все движения самолюбивого стыда и скрытности, говорите с ним откровенно о Ваших сомнениях, о Толстом и т. д. Это человек благороднейший, в области мышления гениальнее Толстого, отличаясь от него, как небо от земли, и видеть, что Вы прибегаете к нему (хотя бы и по моему совету) неприятно ему не будет. Об иконе Иверской Божией Матери знаете, что я Вам скажу. Вы знаете, как я любил Варю и как я бился прежде с ее тяжелым, сложным характером. Разборчива, упряма, горда, влюбчива, нежна, груба, умна, бестолкова, добра, сердита и злопамятна, религиозна, своевольна и т. д. Беда! Но я молился. И вот, когда насчет женихов стало мне очень трудно, я пошел к Иверской (накануне Троицына дня 1883 года) и помолился так: „Если Господней воле это не противно, помоги мне, усталому в этой борьбе“! И на другой же день на паперти кунцевской церкви мы увидали Александра, и его красота поразила нас. И все состоялось, вопреки 100 препятствий, и поэзия была, и старость моя ими успокоена так, что я считаю себя согрешившим неблагодарностью в тот день,

в который я не вспомню об этой невыразимой милости Божией. Это моя шкура (выражаясь языком натуральной школы) знает, что это такое для меня! ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Богословский вестник". 1914. Апрель. С. 785—787.

[1] *...Ваш гениальный домохозяин.*— Анатолий Александрович Александров жил в московском доме Л. Н. Толстого в Хамовниках и был учителем его сына Андрея, которого готовил к поступлению в гимназию по географии и Закону Божьему.

170. В. И. О. С. и Св. Д. А.
(Студенту Московского университета)
Март 1888 г., Оптина Пустынь

О ВЕРЕ, МОЛИТВЕ, О НЕМОЩАХ ДУХОВЕНСТВА И О САМОМ СЕБЕ

1. „Да (говорите Вы), я в глубине души отношусь к Церкви не только с наружной почтительностью, а со страхом и трепетом, но не так, как повелевает нам закон".

Ответ. Этого я не думаю; думаю, что главные основания Ваши правильны и что те недостатки Ваши, о которых Вы дальше упоминаете, происходят или от неопытности духовной, или принадлежат к тому, что зовется „искушениями". От искушений же и святые не изъяты. И без них ни вера сама не утверждается, ни навык к нравственным подвигам (о Христе) не приобретается. (Я прибавил „О Христе" нарочно, чтобы обозначить, что нравственность самочинная, как у честных атеистов и т. п., ни малейшей цены для загробного спасения не имеет; она может быть для житейских сношений очень удобна и приятна, но освещения она не имеет, она хороший белый хлеб, а не вынутая просвирка.)

Вы говорите: „В Бога я верю, но вера моя какая-то

неровная. Иногда я молюсь с наслаждением, иногда — только по привычке отчитываю молитвы".

И прекрасно делаете, что по привычке их читаете. Это труд, это понуждение, это изволение первичное, этот навык более в нашей воле, чем то наслаждение, которым Вы довольны.

Это один из главных пунктов современных ошибок и недоумения. Мы все нынче ищем сразу сильного чувства, трепетного ощущения, искренности и т. д. (Фуделев [1] в своей брошюре с особенным удовольствием свидетельствует об этой искренности)*. Это большая ошибка. Не только ровную молитву приобрести невозможно, но и ровная вера едва ли кому-нибудь доступна, разве великим подвижникам. (И за то, что у них вера всегда ровна, я не ручаюсь; свидетельств свято-отеческих на это не помню.)

Помните, Евангельское: „Верую, Господи, помоги моему неверию". Можно считать себя верующим, но нельзя никогда считать себя достаточно верующим. Святые отцы оставили нам примеры этому: многие из них, принимая охотно всякие обвинения в грехах страстей (например, ты блудник, ты гордый, ты сребролюбивый и т. д.), соглашались с обвинителем и говорили: Это правда. (И говорили это искренно, ибо тонким и долгим вниманием к своим психологическим процессам узнали на опыте, до чего и они, подвижники, внутренно „удобопреклонны", и до чего в них есть зародыши всех пороков, которые при невнимании могли бы разрастись сильно); но когда им говорили: „Ты еретик", эти Отцы церкви отвечали решительно: „Нет, я не еретик!" Они сознавали, что вера ума, так сказать (или, по-нынешнему, „убеждения"), у них была правильная, претендовали только на качественную правоту своей веры, а, конечно, не на количественную и постоянную высочай-

---

* Но дело не в самой искренности, а в ее направлении. И Желябов [2] был, вероятно, искренний в своей вере человек, коли на виселицу пошел. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

шую интенсивность ее. Первое есть только обязательность поведения, второе было бы духовной гордостью. Поэтому не смущайтесь и Вы через меру ни сухостью молитвы Вашей, ни даже временными колебаниями сердечной веры. Храните крепко только ту веру ума, о которой и выше я говорил, а что касается до сердечных порывов при молитве, то оно само будет приходить как утешение, поддержка и награда от Бога. О! Как мне все это знакомо! И я даже завидую Вам (т. е. дружеской любовию завидую, радуюсь за Вас), завидую, что Вас все эти вопросы волнуют с 20 с чем-то лет, а не в 40, как случилось со мною. Сила молитвы, даже и самой сухой, удивительна. В 85-м году я, живя летом один и больной в Мазилове, познакомился там с известным Пругавиным[3] (я его считаю нигилистом, настоящим, твердым и жестоким, но выжидающим, сдержанным и осторожным). Меня он очень интересовал, и он, со своей стороны, был ко мне с виду довольно внимателен. Говорили мы и о религии. Он мне сказал, между прочим, что один монах советовал ему молиться, чтобы приобрести веру. Пругавин удивлялся, „как это можно молиться Тому, в Кого не веруешь". (Впрочем, для исторической точности замечу, что он поостерегся выражаться (при цензоре, вероятно) так резко, как выразился я; он не сказал: „Тому, в Кого", а просто: молиться без веры... Это все-таки цензурнее.) А монах был прав. С нашей стороны достаточно принудительного изволения, искреннего желания подчиниться учению Церкви; действие молитвенное, смирение, послушание совету — более в нашей воле, чем чувство молитвенное, чем приобретение этого чувства. Знаю это по опыту. В конце 60-х годов (под 40 лет), я был уже исторически подготовлен (если можно так выразиться про отдельное лицо) к восприятию учения Церкви; я очень желал уже и тогда уверовать снова, как верил в детстве, с простотою сердца и живостью. (Простота ума не нужна, простота сердечного отношения необходима.) Я любил веру православную, но у меня не было страха Божия, или, лучше

сказать, тень этого страха только изредка посещала меня на минуту. Мне недоставало только сильного горя, не было и тени смирения, я верил в себя. Я был тогда гораздо счастливее (за 30 лет, в Турции), чем в юности, и поэтому я был крайне самодоволен. С 69 года внезапно начался перелом; удар следовал за ударом. Я впервые ясно почувствовал над собою какую-то высшую десницу и захотел этой деснице подчиниться и в ней найти опору от жесточайшей внутренней бури; я искал только формы общения с Богом. Естественнее всего было подчиниться в православной форме. Я поехал на Афон, чтобы попытаться стать настоящим православным, чтобы меня строгие монахи научили веровать. Я согласен был им подчиниться умом и волей (и этому много помогала и косвенно содействовала одна уже вовсе не личная, не сердечная вещь, а объективная или философская, этому решению, этой охоте подчиниться учению Церкви много содействовало глубокое и давнее отвращение мое к современным прозаическим формам прогресса, к равенству прав, к изобретениям, машинам, сообщениям этим, к какому-то вообще „штатскому" и практическому будто бы мировоззрению и т. д.). Между тем удары извне сами по себе продолжались все более и более сильные, почва душевная была готова, и пришла наконец неожиданно минута, когда я, до тех пор вообще смелый, почувствовал незнакомый мне дотоле ужас, а не просто страх. Этот ужас был в одно и то же время и духовный и телесный одновременно, и ужас греха и ужас смерти. А до этой минуты я ни того, ни другого сильно не чувствовал. Черта заветная была пройдена. Я стал бояться Бога и Церкви (как Его выражения). С течением времени физический страх опять прошел, духовный же остался и все вырастал.

Было время (именно от 71-го до 73-го года на Афоне и в Царьграде), когда я очень горячо и усердно молился о прощении грехов и об отдыхе на земле, но о спасении души, о загробной жизни просто и думать не хотел. Моя молитва и моя вера были тогда с этой стороны какими-то

„ветхозаветными“. Отец Иероним, великий афонский старец и наставник мой, как нельзя проще посоветовал мне повторять только трижды в день: „Господи, пошли мне веру в загробную жизнь и утверди ее в сердце моем“. И послал Бог, и утвердил. А я твердил это чаще сухо, невнимательно, формально (как нынче любят говорить, забывая, что эта форма-то и есть выражение основной идеи — покорности, послушания Церкви и т. п.). Сильно чувствовать всякий раз при молитве невозможно, это не зависит от нас. Взять книжку, прочесть, принудить себя, когда и не хочется, понудить себя при этом к большей сосредоточенности мысли — это все мы можем. Да и что может быть благороднее, возвышеннее, привлекательнее, почтеннее, когда видишь, что человек сильный, по молодой ли энергии, или по зрелому опыту жизни, или умом высокообразованный, склоняется во прахе не только перед невидимым Богом, но и перед обычаями веры, даже перед представителями учительствующей Церкви Его, несмотря на то, что они сами очень часто слабы и недостойны. „Не нам, не нам, а Имени Твоему“.

От этого легок переход и ко второму Вашему сомнению:

2. Священник, о котором Вы говорите, дурной человек, Вы это знаете, и Вас его плохая нравственность смущает при принятии таинств. Не смущайтесь: это смущение есть действие демонических начал. Я сказал —„не смущайтесь“... Я выразился неточно. Смущались Вы невольно. Трудно не смущаться при виде служителя алтаря Божия, который ведет себя неприлично. Преодолеть в себе это чувство вполне невозможно, да пожалуй что и не всегда нужно. В этой досаде кроется и доброе чувство уважения к его сану, к мистическому освящению его особы. (Просфора дурно испечена, но частица все-таки из нее вынута.) Досадовать можно (не злобствуя, а лишь скорбя), но не надо давать себе волю смущаться. Аскетические писатели различают в деле греховной борьбы несколько степеней: 1. Прилог; 2. Сосложение и т. д. до настоящей страсти.

Первый прилог не от нас, он от дьявола; человеку набожному встречается молодая женщина, он обратил внимание на ее красоту (прилог). Начинает он думать, с услаждением останавливается на этом, мечтает — это сосложение. Незнающему — простительно, знающий должен сделать усилие ума и воли, молитвой или другим занятием отогнать прилог этой мысли и т. д. Тогда он прав (хотя все-таки и не безгрешен).

(Как это у Пушкина:

Напрасно я стремлюсь к сионским высотам,

Грех тяжкий гонится за мною по пятам — и т. д., твердо не помню.)

То, что я сказал о женщинах (о блуде), приложимо и к гневному движению, и к зависти, и к корысти, и ко всем грехам. Прилог, сосложение... и, наконец, страсть в полном развитии. Приложимо оно и к Вашим чувствам. У Вас невольное движение досады на неприличного священника (я говорю неприличного, потому что не знаю, какие у него слабости, Вы не пишете; предполагаю у русского священника пьянство и какое-нибудь грубое, слишком уже откровенное, до цинизма искреннее корыстолюбие). Умственный суд Ваш справедлив, нельзя обманываться — он нехорошо ведет себя. Вы судите без злорадства, Вы готовы простить ему это (Вы, положим, никогда не забываете правила „Возлюби ближнего твоего, но возненавидь грехи его"), Вы только скорбите; пока это все еще не беда. Но вот вдруг у Вас является мысль, что у него и Таинство совершиться не может. Вопрос о личной и переменчивой нравственности священника Вы совсем некстати вдруг переносите в область догматической, основной, не подлежащей изменению мистики. Это уже прилог. Эта мысль прилог. Оставьте ее без внимания, отгоните ее, как докучливую муху, скажите себе: „Какой вздор! Боже, помоги моему маловерию!" И муха отлетит. Сосложения не произошло. Остановитесь на этой мысли, Вы смутились и само Св. Причастие приняли не совсем чисто и спокойно. Но все-таки лучше принять, чем

сказать себе: „Ах, я не достоин, я не могу причаститься" и уйти. Мы всегда более или менее недостойны. Если считать, что мы всегда одинаково недостойны, то это смирение будет на границе отчаяния. Средний путь, здравый, тот, что мы всегда недостойны, но в неравной степени. Было бы легко вообразить, что степень Вашего недостоинства при подобном минутном смущении так же велика, как недостоинство другого человека, который, может быть, рядом с Вами причащается вовсе без веры, во-первых, а потому, что того требуют какие-нибудь его практические дела (служба, брак, угода сильному и т. д.), и вдобавок причащается, не говевши, не готовясь, не постясь даже и ни дня, а после ночи, проведенной с любовницей.

Вы обязаны знать при этом, что во всецелости жизни своей этот, в данную минуту преступный человек, быть может, больше Вашего угоден Богу, но в этом частном случае он, конечно, недостойнее Вас.

Не знаю, хорошо ли я объясняю, но я передаю Вам то, чем руковожусь в жизни сам. Так меня учили и древние аскетические писатели, и духовные старцы нашего времени.

Насчет „белого духовенства", а иногда и монахов, я Вам скажу, что эти чувства Ваши как нельзя более мне знакомы по опыту. И после 17 лет моего близкого общения с монахами (и православным учением вообще) не могу освободиться от досады на грубость чувств и манер во многих духовных лицах наших. Но виноваты не эти люди, или бедные, или вовсе неблаговоспитанные, виновато дворянство русское. Оно так пошло отбивалось от религии и от Церкви, что само, лишившись ее утешений и ресурсов, ее могучего мировоззрения, лишило, с другой стороны, Церковь и Иерархию своей благовоспитанности, своих тонких и сильных чувств, своего изящества, своей житейской поэзии.

Что же никто из нас нейдет в монахи? Что же все стараются только в священники? Я не говорю в сельские непременно, не надо возлагать на себя „бремена неудобоносимые", а хоть в соборные протопопы, и то хорошо... Один,

другой, третий и т. д. Это отразилось бы и на многих низших.

Молодые люди все хотят сразу наивысшего подвига и к тому же вольного. А надо вспомнить две крайности: существующее монашество, в котором зависимость от воли других тяжелая, и нигилистов. Отчего нигилисты тверды в достижении своих преступных целей? Оттого что они жестоко друг от друга зависят и боятся друг друга.

И „человечество", и отдельный человек вообще вовсе не так высоки нравственно, как хотят их сделать иные идеалисты. Они могут стать получше и похуже, но нельзя в идеале отказываться ни для себя, ни для других от грубых основ психологических — тонкого страха перед сильнейшими, самолюбия, вещественных нужд и т. д. Величайшие христианские подвижники жестокими усилиями над собою вырабатывали в себе большею частию в поздние годы приблизительную только свободу от всего этого. Они проходили прежде всего строгое послушание другим.

Пусть-ка дворяне и вообще молодые прежде вот на этом поприще испытают себя, на поприще христианского самоспасения, самоисправления, самоподчинения даже и плохому духовенству. А потом уже народ учить... Благородны мысли Фуделя [3], например, и книжка его* очень симпатична, но содержит ли он сам посты? Слушается ли Церкви? Если нет и если он при этом покоен совестно, то Боже избави нас от таких народных учителей. Пусть лучше народ грамоты не знает вовсе, чем видеть такие примеры в учителе. А притворяться только для народа — куда же тогда мы денем ту искренность, которой они (юноши) так гордятся?

Рачинский [4] постится, Катков и Аксаков постились. Вл. Соловьев постится, и я пощусь, иногда по крайней слабости рыбу ем, а уж мяса и молока постом есть не стану. Едва теперь ноги таскаю, а уж не оскоромлюсь (разве в

---

* „Письма о современиой молодежи и направлениях общественной мысли". (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

дороге, да и то не Великим постом); а многие, считающие себя православными, ведь в Страстную даже не могут без мяса продышать.

Уж не внешность ли это одна?

Нет, не внешность одна, а душевный и телесный подвиг. Душевный в том, что я насильно, но с радостью исполняю предписания Соборов. Телесный, конечно, в том, что постное редко кто любит, и многие, от него (в начале особенно) отвыкши, даже болеют. Какая же тут внешность? Внешность от внутреннего побуждения любви к исполнению заповедной Церкви. „Вера без дел мертва". Но дела не в одной милостыне, как многие думают, и в любви к ближнему. Она и в любви к Богу. Земное же, доступное нам, выражение любви к Богу есть любовь к Его заповедям. Бог, Христос, Св. Отеческая Церковь. Кто любит Высшего, тот Ему повинуется и противу вкусов своих. Повинуюсь Св. Отеческому учению, повинуюсь Христу, повинуюсь Богу.

Ясно, надо поститься, надо читать и насильно и сухо молитвы, надо говеть и т. д.

Немощи нашего невоспитанного духовенства не должны нас надолго смущать.

Мы сами, „воспитанные", виноваты, что не хотим и не умеем облечь в церковные формы наше более тонкое содержание. Нельзя пороки сословия переносить на то учение, которому это бедное и грубое сословие, как умеет, по мере сил своих, служит. Врач (человек высшего общественного воспитания), исцели себя сам. К. Леонтьев.

Писано по благословению Оптинского старца отца Амвросия. Март 1888 г. Оптина Пустынь. 〈...〉

Впервые опубликовано в журнале: „Богословский вестник". 1914. Февраль. С. 229—237. Адресаты — неустановленные лица.

[1] *Фуделев* (Фудель).— См. примеч. к письму 171.

[2] Андрей Иванович *Желябов* (1851—1881)— революционер, один из руководителей „Народной воли" и организаторов убийства Александра II.

[3] Александр Степанович *Пругавин* (1850—1920) — исследователь старообрядчества и сектанства, революционер-народник. После Октябрьской революции репрессирован, умер в тюрьме.

[4] Сергей Александрович *Рачинский* (1836—1902) — ботаник, деятель народного образования. Профессор Московского университета. В 1867 г. оставил кафедру и переселился в село Татево Смоленской губ., где целиком посвятил себя крестьянской школе, которую вел на строго религиозной основе. Отношение Рачинского к К. Н. Леонтьеву выражено им в беседе с В. В. Розановым: „Константина Николаевича Леонтьева я еще по Университету помню, и тогда же мы с ним были знакомы, не близко, но как товарищи; он был на медицинском факультете, когда я был на философском (прежнее смешение естественного и философского факультетов). Но он сразу же меня оттолкнул некоторыми своими мыслями, приемами, нравственно смелыми взглядами. *Я от него отскочил*, как ужаленный от гадюки. Я не спорю, что он отлично пишет и вообще он талантлив; но я чувствую к нему непобедимое отвращение (он сказал с ударением), которое от годов молодости ни в чем не ослабилось" (Памяти К. Н. Леонтоева. СПб, 1911. С. 180, 181).

171. И. И. ФУДЕЛЮ

22 апреля 1888 г., Оптина Пустынь

Христос Воскресе!

Милостивый государь Осип Иванович,

Ваше письмо ко мне и Ваша брошюра — большая разница. В брошюре Вы являетесь одним из тех благородных русских мечтателей с христианским оттенком, которых не знаешь, к какому исповеданию отнести; в письме — Вы истинно православный человек, и это „открытие" причинило мне живейшую радость.

Оказывается, я был прав и тогда, когда утверждал, что влияние Достоевского очень полезно для начала; но что останавливаться, да еще (с ранних лет) на том, на чем он состарился, не следует.

Необходимо одушевить его горячим общехристианским чувством, замкнуть его в те готовые формы, к которым не напрасно же в былое даже время пришли не менее, если не более его одушевленные христиане первых веков. Видно, это оказалось и в то время неизбежным для сохранения и постоянного подновления любви, энтузиазма и т. д.

Нелюбовь к обрядности вообще, характеризующая наше время, есть одно из проявлений того духа разрушения, который овладел человечеством с конца XVIII века. Не только в религии, но и в светской жизни, как быть без правил, обряда и т. д.? Я помню, поэт Алмазов[1] в предисловии своем к переводу поэмы о Роланде говорит, что в это первоначальное время рыцарство было исполнено лиризма и не впало еще в обрядность. Но если бы рыцарство „не впало" в нее, то идея его, не находя себе позднее готовых форм для постоянного подновления в людях этих чувств, которые были бы подобны первоначальным, исчезло бы через какие-нибудь сто лет после зарождения. А благодаря тому, что обряды и формы, правила, рыцарские идеи жили на Западе очень долго, при новых условиях жизни перешли отчасти к нам и живут даже до сих пор. Например, дуэль; нельзя не уважать дуэли, это дело благородное и трагическое, и у меня, например, сложилось издавна насчет оскорблений такая постепенность: лучше всего, конечно, „подставить ланиту" по-евангельски оскорбителю (но и то при действительной вере); потом дуэль; потом самому по-русски побить, если в силах; ну, а уж мировому жаловаться, „в политию тащить", как советует Молотов[2] у Помяловского, тут ни христианского, ни малодушного ничего нет, а прямо хамство! И, конечно, многие будут и в наше время со мной согласны. Это я говорю к тому, до чего сохранение обычаев, правил и обрядов важно для долгой жизненности чувств, их создавших. Первоначально идеи и чувства создают формы; потом формы подновляют и охраняют эти же идеи и чувства. Этому же условию надо приписать и то, что

протестантство, которое веками гораздо моложе католичества, одряхлело несравненно больше его. ⟨...⟩

Да и вообще в наше время спутанности и неясности понятий без более короткого знакомства с монашеством трудно и православным настоящим быть. Монашество наводит на сущность дела: Бог и я, мое спасение, а потом уж что Бог даст, отречение от жизни или христианское ей служение. Мария (хороший монах) или Марфа [3] (верующий добросовестный мирянин). Симеон Столпник [4] или Филарет Милостивый [5]. Мария Египетская [6] или св. Олимпиада [7] (она занималась благодеяниями).

Вы делаете мне два вопроса. Первый — почему я говорю, что христианское учение есть учение прежде всего мистико-материалистическое, а потом уже моральное. Потому, во-первых, что христианин прежде всего отличается от людей других исповеданий догматической стороной вышеуказанного характера (Троица единствующая — таинство, рождение во плоти от девы реальной, земной. Вообще воплощение, страдание, обыкновенная смерть; воскресение в новой плоти; вода, хлеб, вино, мощи, обряды, все 7 таинств полубожественны, полувещественны: елей, болезнь, возложение рук, священство; венчание как освящение простого телесного процесса; исповедь: один человек говорит другому человеку, тот покрывает его эпитрахилем и т. д. Наконец, воскресение тел и вечная жизнь этих тел после второго пришествия. И страдания грешных и блаженства праведных будут и телесные, хотя иного вида, чем известные нам).

Итак, кого мы имеем более права называть христианином — изверга Иоанна IV [8] или Роберта Оуэна [9], добродетельного человека? Конечно, первого, а не второго. Первый был порочный, безнравственный христианин, второй — добродетельный атеист. Другое дело, подражать в поведении, другое дело извращать понятие. Определить эту простую разницу необходимо. Иначе мы, как многие ныне, милосердие, воздержание, справедливость станем называть христи-

анством, тогда как есть и турки, и буддисты, и даже атеисты, которых по поведению, по морали можно ставить христианам в пример и в справедливый укор, но нельзя назвать христианами. Это смещение понятий вредно не только для ясности, но и для спасения души, ибо называя (т. е. считая) добродетельного атеиста или деиста христианином, я могу начать не только соревновать ему в морали (это хорошо), но и мало-помалу вослед за ним и учение Церкви отвергать как бесполезное излишнее бремя.

Ну, а как сам Господь будет судить Иоанна IV и Оуэна, почти что известно. „Все грехи прощаются, кроме хулы на Духа Святого". А какая же хула на Духа хуже той, которая совсем Бога отвергает? За великих грешников, злодеев, преступников, за самых жестоких и развратных „христиан" Церковь молится в надежде на прощение их, а за явных атеистов она даже запрещает молиться, независимо от их поведения. ⟨...⟩

И я только приготовительная вторая ступень (после Достоевского) к Отцам Церкви, Амвросию, Иоанну Кронштадтскому [10]; к чтению Иоанна Лествичника, Варсонофия Великого [11], Аввы Дорофея [12] и т. д. И Евангелие надо сквозь их стекла читать, а не свои, вовсе как протестанты. ⟨...⟩

Прощайте. Да поможет Вам Бог на Вашем прекрасном пути! Вы даровиты и набожны, чего же лучше! Молитесь только, чтобы „враг" не сбил Вас. Его действия утонченны, и он пользуется тем, что в его личное существование нынче и многие признающие Христа не хотят верить. „В Бога я верую, ну а в дьявола ни за что не поверю!"

Какие же это христиане? Без дьявола зачем же воплощение, распятие, крестная смерть и т. д.? Дьяволу это очень удобно, что люди не хотят признать его догматического значения.

Зачем же нынче являться? Не являясь, он действует вернее. Явись он, пойдут и к Иверской.

Ваш *К. Леонтьев.*

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

Иосиф Иванович Фудель (1864—1918) — один из наиболее близких к К. Н. Леонтьеву в его последние годы молодых друзей. Познакомился с Леонтьевым в 1888 г. Кончил курс юридического факультета в Московском университете. Под влиянием Леонтьева перешел в православие и стал священником. После смерти Леонтьева вместе с А. А. Александровым разбирал его архив и готовил к изданию собрание его сочинений (в 1912—1914 гг. вышло девять томов, издание на этом прекратилось). Автор статей: „Культурный идеал К. Леонтьева" („Русское обозрение". 1895. Январь); „К. Леоитьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях" („Русская мысль". 1917. Ноябрь-декабрь). В. В. Розанов, лично знавший И. И. Фуделя, писал о нем: „Фудель очень умный, сурово-умный человек, но без блеска, без аромата, без гениальности ... Фудель в самом христианстве понимает только суровость, черствость и дисциплину" „Русский вестник". 1903. Апрель, 645).

[1] Борис Николаевич *Алмазов* (1827—1876) — поэт и критик, член редакции журнала „Москвитянин". Исповедуя славянофильские идеалы, как критик был сторонником чистого искусства. Первый переводчик французского героического эпоса XII в. „Песнь о Роланде".

[2] *Молотов* — главный герой повести Н. Г. Помяловского „Молотов" (1861).

[3] *...Мария ... или Марфа...* — По евангельскому рассказу, сестры Лазаря, резко отличавшиеся друг от друга своим характером: практичная Марфа и восторженно-созерцательная Мария. Их имена стали нарицательными для обозиачения противоположных темпераментов.

[4] *Симеон Столпник* (356—459) — христианский аскет. По преданию, провел на столпе сорок лет.

[5] *Филарет Милостивый* (702—792) — святой, сын богатого византийца, отличался необыкновенной щедростью и роздал бедным все свое имущество.

[6] *Мария Египетская* (VI в.) — по преданию, была блудницей, но, попав с паломниками в Иерусалим, обратилась к вере, удалилась в пустыню и 47 лет провела в покаянии.

[7] *Св. Олимпиада* (?—410) — происходила из знатной коистаитииопольской фамилии. После смерти жениха посвятила себя благотворитель-

ности. Была диакониссой и настоятельницей монашеской общины. Умерла в заточении.

[8] *Иоанн IV* Грозный (1530—1584) — русский царь.

[9] Роберт *Оуэн* (1771—1858) — английский социальный реформатор и филантроп. На своей фабрике заботился о благосостоянии работников и стремился показать, что это выгодио самим владельцам. Оуэна посетил русский император Николай I и предложил ему с 2000 работников переселиться в Россию, но Оуэн не согласился на это. В 1825 г. он купил землю в Америке и основал там коммунистическую колонию, однако потерпел неудачу. Возвратившись в Англию, пытался организовать безденежиую биржу товаров, но после первого успеха и это кончилось неудачей. Содействовал созданию фабричного законодательства. Выступал против всех религий.

[10] *Иоанн Кронштадтский*, (Иван Ильич Сергиев, 1829—1908) — протоиерей Андреевского собора в Кронштадте. Проповедник. Получил всероссийскую известность после того, как был вызван в Ливадию к умирающему Александру III. Привлекал множество паломников и больных, жаждущих исцеления.

[11] *Варсанофий Великий* (V — VI вв.) — отшельиик, весьма почитавшийся на христианском Востоке. Подвизался в Палестине.

[12] *Авва Дорофей* (?—620) — святой, основатель монастыря близ г. Газы в Палестиие. Автор аскетических наставлений.

172. В. А. ПОПЫРНИКОВОЙ

26 апреля 1888 г., Оптина Пустынь

Христос Воскресе!

Милая Валентина Александровна! (Мне, старому человеку, позволительно так бесцеремонно обратиться к Вам после Вашего дружеского и открытого письма.) Присылайте, присылайте скорее Вашу „хартию", Ваше длинное „откровение" — присылайте без колебаний, без недоверия, без стыда. Будьте уверены, что все это будет в надежных руках и будет оценено и понято, как следует. Раскаиваться, уж

конечно, не придется Вам! О, как хорошо я сам по прежнему опыту знаю, что значит искреннее участие старшего и более опытного ума для человека еще молодого и не привыкшего еще к переворотам и тягостям жизненной борьбы! Раз уж явилось у Вас желание поговорить со мной о скорбях Ваших, не противьтесь ему. Не может быть скучно длинное письмо от человека, который сам не скучен, а симпатичен и умен, как Вы. И нашему брату, старику, доверие молодежи — хорошей, конечно,— большое и очень лестное даже утешение. Не скрою, что я при первой встрече моей с Вами возымел на Вас некоторого рода идеальные виды. Мне показалось после первых же разговоров с Вами, что Вы имеете в себе все ресурсы, нужные для успешного служения тем идеям, которым служу я сам. (Если Вы захотите повнимательнее прочесть мои книги, то Вы их поймете ясно.) Но я не высказывал это прямо потому, что меня отпугивали Ваши, по-видимому, исключительно практические наклонности: „издать именно то, что теперь пойдет", независимо от духа, от содержания и т. д., Ваша поездка на Нижегородскую ярмарку, где расходятся преимущественно календари и т. д.

Я пробовал слегка внушить Вам и то, и другое, но видел, что заняты уже прежде знакомства со мною задуманными планами, и замолчал — на время. Годы учат „спешить медлительно", то есть и не торопиться, и не упускать из вида цели своей. Быть может, мы и сойдемся наконец с Вами так же, как сошелся я с Кристи, Александровым, Умановым и другими. „Ce qui est differé n'est pas perdu!"*

Когда Вы слышите от меня такие речи, не вообразите, ради Бога, что я разумею тут что-нибудь глупо-эгоистическое, например, предложить Вам заботы о моих собственных изданиях. Я говорил об этом, видевши, что Вы ищете дел практических, коммерческих, так сказать, и думал так: если

* Отсроченное не потеряно (*фр.*)

она найдет выгодным и для себя издать (пополам доход) что-нибудь мое, то отчего же! И только; и Вы помните, я постоянно в этом смысле и оговаривался, упоминал о недостаточной популярности моей и т. п. Это — между прочим, но не в этом, разумеется, главное дело. Если бы, например, нам с Вами удалось довольно выгодно издать и распродать пополам мои „Греческие повести“ [1], то это было бы служение не высшим идеям, а лишь случайному общему интересу.

Об идеях же разговор длинный-предлинный, и я его вести в этом письме прямо отказываюсь. Осуществления значительной доли моих идей, национальных мечтаний, политических пророчеств и эстетических надежд мне, конечно, уж и видеть не придется по годам и здоровью моему; но те-то идеи особенно и заслуживают названия бескорыстных, чистых и высоких, которым человек пламенно и твердо служит, не только не извлекая из них себе прямых и обязательных выгод, но и не рассчитывая даже насладиться лицезрением их осуществления в исторической жизни своей дорогой Родины!

Еще раз скажу, в книгах моих избыток курсива. За этот избыток меня и словесно, и печатно упрекали; одни видят в этом почему-то „нервность“ какую-то, другие говорят, что я слишком дурного мнения об уме читателей, и что и без частого курсива они могут понять, что я считаю главным. Не об уме я дурного мнения, я дурного мнения о внимании русских, даже и умных читателей. Читают небрежно, рассеянно и через два дня все забыли. А многие и не понимают вовсе или совсем превратно. По поводу превратного понимания я бы мог рассказать много любопытных анекдотов, даже и про известных литераторов, но что-то лень, не хочется сегодня, да это и к делу прямо нейдет.

В заключение скажу Вам еще только два слова: если Вы в самом деле ищете дела и призвания, которое было бы в одно и то же время и идеально, и не без выгод (я знаю, что без этого нельзя тому, кто небогат), и вместе с тем

чувствуете то искреннее и живое расположение ко мне, о котором Вы пишете, то постарайтесь приехать в Оптину — недели на две, не менее. Мы поговорим. На гостиницах жизнь недорога, если многого не требовать... И сверх того, если случится, что в минуту Вашего приезда у меня в доме прежде Вас не поселится какой-нибудь тоже дорогой гость, то я сочту за честь и радость оказать Вам гостеприимство у себя. Дом просторен, но собираются также летом в Оптину и другие знакомые; вот единственная причина, почему я не смею Вас звать прямо к себе. Вдруг кто-нибудь займет прежде Вас свободную и удобную комнату. Ну, а приехали на гостиницу и увидали, что у меня в ту минуту никого нет — и милости просим! Чем богат, тем и рад!

Прощайте, будьте повеселее. За неудачей и горем всегда бывают и утешение и поправка. И радости нам, точно так же, как и горе, приходят часто оттуда, откуда мы их не ждем.

Остаюсь Ваш искренний доброжелатель и готовый к услугам

К. Леонтьев.

⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение". 1898. Январь. 491—493.

Валентина Александровна Попырникова — молодая девушка, принадлежавшая к кружку молодежи, собиравшейся вокруг К. Н. Леонтьева и П. Е. Астафьева на музыкально-литературных пятницах последнего. Впоследствии занималась издательским делом.

[1] *...мои „Греческие повести"* — очевидно, предполагавшийся к изданию сборник повестей К. Н. Леонтьева из жизни христиан европейской Турции.

173. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

12 мая 1888 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Немецкие же подлинники купить надо, но только в крайности. Я много трудиться ненавижу; люблю работать, слегка порхая по цветочкам чужого ума, а с немецким языком не распорхаешься — тут поневоле приходится быть „честным тружеником", что совсем не в моей легкомысленной натуре, и даже отчасти и не в правилах моих. Но в крайности, надо будет и по-немецки читать подлинники. ⟨...⟩

Кстати — есть все в той же Бобарыкинской библиотеке большой роман Писемского „Люди сороковых годов" [1]. ⟨...⟩ По моей критике, это лучший из романов Писемского, и самый неизвестный при этом. Кажется, и Вы его не читали? А такое здоровое произведение Вам, еще пропитанному Достоевским, очень полезно. Помните, впрочем, что я очень боюсь Вас слишком обременять, чтобы Вы мою дружбу не предали анафеме! Это ведь и надоешь до смерти с комиссиями этими!

Посылаю 10 руб⟨лей⟩, ибо цен не знаю. Если увидите, что можно, еще купите Дрепера [2] (по-русски) — как это у него, дурака, называется, не помню, тоже, небось „История цивилизации" какая-то? Да еще бы хоть цену узнать полному собранию Конст⟨антина⟩ Серг⟨еевича⟩ Аксакова (именно то нужно, где он что-то говорит о духе русского народа; я ведь его совсем не знаю — только по отзывам) и Ив⟨ана⟩ Вас⟨ильевича⟩ Киреевского [3] (этого я читал, но что-то плохо помню: немного отвлеченно и бесцветно показалось — не врезалось). ⟨...⟩

Прочтите статью Бестужева [4] „О теории культурных типов" в майской книжке „Русского вестника". Нашего лагеря все прибывает. Я ждал этой статьи с боязнью и нетерпением: боялся — ну, как такой ученый историк да против этой теории? Слава Богу, нет. Но статья, очень

важная по ученому авторитету специалиста, сама по себе слаба. Это все то же либеральное (полуевропейское почти) старое славянофильство — слишком славянское, так сказать, культурофильство.

Культура особая нужна, а славянство, пожалуй, только необходимое зло при этом. Без них (славян) нельзя, но надо морщиться, сознавая это, а не улыбаться. А они все еще улыбаются и слабых сторон Данилевского не видят.

Действительная жизнь, видимо, уже пошла другими путями к их же главной цели. Все они, от Киреевского до Данилевского (включительно), до Бестужева, до А. А. Киреева[5], Шарапова[6] и т. д. более или менее либералы, все — более или менее против сословности в России, например. Но Пазухин[7], граф Дм⟨итрий⟩ Андр⟨еевич⟩ Толстой и сам Государь за сословия, за новые формы привилегий и неравенства. Они — представители действительного течения исторической жизни, выразители практических требований времени, и эти практические требования новейшего времени стремятся исканием своим, разумеется, гораздо больше обособить Россию от бессословной Европы XIX века, чем сам даже Данилевский, который под влиянием духа сороковых, пятидесятых и шестидесятых годов говорит в своей книге, что в России „никто о сословиях и не думает". Все славянофилы этого лагеря (я славянофил на свой салтык) довольствуются иногда такими пустыми отличиями от Запада, что даже жалко видеть, а иногда уж и слишком широкими до невозможности. Нельзя, например, претендовать создать такое позвоночное животное, у которого не было бы легких, или кишок, или сердца. У всех есть. Но разные, и в разное время жизни есть перемены в органах (лягушки в детстве — как рыбы с жабрами, а во время зрелости — как мы с Вами, с легкими и т. д.).

Сословия суть признак силы и необходимое условие культурного цветения. Европа прежде была сословнее современной ей России (например, в XVI, XVII веке); теперь (в XIX) Россия, если хочет жить, должна стать

сословнее Европы и на вопли о социальной неправде не смотреть. Христианство личное, настоящее, думающее прежде всего о том, „Как Я отвечу на Суде Христовом?“, ничего не имеет против сословий и всех неприятных последствий сословного строя. Гражданская эмансипация и свобода христианской совести — это большая разница — и смешивать их — это остаток европейских привычек. Теперь — мало-помалу, но заметно — государственная Россия все хочет делать совсем наоборот противу Запада. Так, уж и в Англии лорды едва держатся и сами готовы отказаться от своих привилегий, у нас ищут противоположного... И т. д. И чем это движение медленнее, чем оно суше, чем бесшумнее, тем вернее. Восторги общие хороши только для войны или для чествования поэтов, а реформы с восторгом — это никуда не годится... Это у меня уже по-Фетовски. 〈...〉

Впервые опубликовано в кн.: „Памяти К. Н. Леонтьева“, СПб, 1911, с. 39—43.

[1] *„Люди сороковых годов“* — роман А. Ф. Писемского (1863) о русском обществе середины XIX века.

[2] Джон Вильям *Дрепер* (1811—1882) — английский химик, физик, физиолог и историк. Жил в США. В России был известен как автор книги „История умственного развития Европы“ (русский перевод 1865—1866 гг.).

[3] Иван Васильевич *Киреевский* (1806—1856) — один из основоположников славянофильства. С детства находился под большим влиянием В. А. Жуковского, близкого родственника его матери. К десяти годам прочитал уже лучшие произведения французской и русской литературы. Получил домашнее образование под руководством профессоров Московского университета, которое продолжил в Берлине и Мюнхене. Был лично знаком с Г. В. Гегелем и Ф. Шеллингом, но вынес из заграничного путешествия в основном отрицательное впечатление. В 1832 г. начал издавать журнал „Европеец“, который приветствовал А. С. Пушкин. Однако уже на втором номере „Европеец“ был запрещен по подозрению в политической пропаганде. Только в 1845 г. М. П. Погодин предложил

И. В. Киреевскому редактировать „Москвитянии", что также из-за цензурных запретов продолжалось недолго. А. И. Герцен писал о нем: „Положение его в Москве было тяжелое. Совершенной близости, сочувствия у него не было ни с его друзьями, ни с нами." Сам Киреевский считал, что „существеннее всяких книг и всякого мышления — найти святого православного старца, который бы мог быть твоим руководителем...". Имение Киреевских Долбино находилось неподалеку от Оптиной Пустыни, которую он неодиократно посещал и был там похоронен.

[4] *Бестужев* — историк К. Н. Бестужев-Рюмин.

[5] Александр Алексеевич *Киреев* (1833—1910)— генерал-лейтенант, публицист и писатель славянофильского направления, брат О. А. Новиковой. Занимался вопросами богословия и проблемой соединения католической и православной церквей. Поддерживал Вл. С. Соловьева в начале его деятельиости, впоследствии резко с ним полемизировал.

[6] Сергей Федорович *Шарапов* (1855—1912)— сельский хозяин и публицист, издавал газеты либерально-славянофильского направления „Русское дело" (1886—1890) и „Русский труд" (1897).

[7] Алексей Дмитриевич *Пазухин* (?—1891)— действительный статский советник, правитель Канцелярии министра внутренних дел, ближайший сотрудник гр. Д. А. Толстого, проводник идей М. Н. Каткова. Один из авторов контрреформ эпохи Александра III, направленных на восстановление сословных учреждений при руководящей роли дворянства. К. Н. Леонтьев высоко ценил деятельность Пазухина и написал в „Гражданине" обшириую статью-некролог „Над могилой Пазухина" (1891. 5—8 марта).

174. КНЯГИНЕ Е. А. ГАГАРИНОЙ

22 мая 1888 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Я готов повторить в применении к современной России слова, сказанные Ламартином [1] о Франции в 48 году: „Франция тоскует, Франция скучает!" Да, Россия тоскует, Россия скучает, и да позволено мне будет сказать откровенно в этом частном письме: только большая война

или, вернее, целый период очень трудных, но победоносных войн может занять и отрезвить лет на 25—50 наше общество. Надо взять Босфор и Дарданеллы [2] и готовиться после этого к ряду войн уже не с Австрией или Германией или с одной Францией, как бывало прежде, а с целой Европой, несколько более противу прежнего согласной. Согласие это возможно только на почве республиканской и нигилистической. Если Германия в неизбежном втором столкновении своем с Францией не победит последнюю опять в прах, то в ней самой начнется переход от демократического конституционализма к республике и т. д.

Буланже [3] мне представляется назначенным только для того, чтобы ускорить схватку с Германией (также как и принц Вильгельм [4]) и дать нам удачный и единственный случай взять Царьград. Будущности серьезно политической я что-то для этого молодца не предвижу. В нем незаметно даже тех идеальных исканий (быть может, преждевременных), которые были у нашего Скобелева. Скобелев был оригинален даже в пороках своих. Буланже ничуть не оригинален. Я не верю, чтобы у него было то творчество, которое нужно для новой серьезной и глубокой борозды на поприще всемирной истории. Лет через 10—15—20 во всей Европе будет пошлейшая буржуазная республика (и в Германии); республика эта, заставши уже нас на Босфоре, захочет и нас обратить насильно в такую же республику... Захотим ли мы этого тогда? Едва ли! Мы в другом периоде, и вот борьба с перерывами за самые дорогие идеи для той или другой стороны. И я нахожу, что если будущая Россия способна уступить Западу и отречься от Церкви Восточной (не для папства, а для нигилизма) и от династии своей для режима хамов штатских, то (pardon pour la crudité du mot)* черт ее возьми, черт ее возьми... Такую подлую и проклятую дурацкую Россию и жалеть нечего! Туда ей и дорога! Но я хочу в могилу унести с собой веру в наших

---

* Простите грубое слово (*фр.*).

потомков и в то, между прочим, что гр. Д. А. Толстой, К. Д. Гагарин и Пазухин органически, физиологически правы в своем упорном искании неравенства прав. Все спасение государств и культур в этом неравенстве. Они précurseur'ы,* и дело их даже и мистически будет оправдано. Пусть не утомляются препонами; чем медленнее, тем лучше, солиднее, естественнее. Разрушение легко, воссозидание медленно. Обратите внимание на многозначительное и роковое совпадение годов: 89 во Франции — годовщина официального безбожия, уравнения прав, 88 и 89 годы — годовщина крещения Руси при упорных стараниях восстановить в новой форме сословное неравенство!..

Esperons! Sursum corda!** ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

Елена Алкивиадовна Гагарина — жена кн. К. Д. Гагариниа, по происхождению гречанка, урожденная Аргиропуло.

[1] Альфонс де *Ламартин* (1790—1869) — французский поэт и государственный деятель. Член французской Академии. По своим взглядам — независимый консерватор, защитник свободы и религиозной терпимости. Во время революции 1848 г.— министр иностранных дел. Решительно боролся с анархией, что привело к падению его популярности и отходу от политической жизни.

[2] *Дарданеллы* — пролив, соединяющий Мраморное и Эгейское моря.

[3] Жорж Эрнест *Буланже* (1837—1891) — французский генерал и политический деятель. Отличился во время Франко-прусской войны 1871 г. Занимал пост военного министра и пользовался широкой популярностью. Его прочили в диктаторы, одиако, запутавшись в политических и личных делах, он бежал из Франции. Покончил жизнь самоубийством после смерти любимой женщины.

[4] *Принц Вильгельм* (1859—1941) — будущий прусский король и германский император Вильгельм II.

---

* Предшественники (*фр.*).

** Будем надеяться (*фр.*). Возвысим сердца (*лат.*).

175. К. А. ГУБАСТОВУ

26—31 мая 1888 г., Оптина Пустынь

Наконец-то я собрался Вам ответить, незаменимый и незабвенный Губастов! В последнем письме Вашем Вы прежде всего объясняете мне те причины, которые помешали Вам приехать ко мне Великим постом, и просите, чтобы я недолго сердился на Вас за это... Я совсем не сердился, потому что сам понял при виде внезапного наступления весны и распутицы, что Вам до начала мая или конца апреля ехать сюда нельзя было... Но, разумеется, мне сгрустнулось от этого.

Человеку почти невозможно с точностью понимать самому, какое впечатление он производит на другого, а потому и Вам все-таки не может быть совсем ясно, что именно Вы в моей жизни представляете... Во-первых, я нахожу, что Ваша дружба ко мне была самою бескорыстною (а потому и самою лестною) из всех... (Простите, что не совсем правильно выразился: из всех... чего?!— дружб и т. д.— нескладно!) Во-вторых, потому, что только Вы (не считая Марьи Владимировны до ее окончательного исступления) понимали меня и мою жизнь так или хоть приблизительно так, как я сам ее понимал. Для всякого человека это очень дорого, а тем более для такого, как я, которого жизнь была очень сложна и который пережил столько внешних перемен и глубоких внутренних переворотов до тех пор, пока ему посчастливилось наконец достигнуть на краю гроба и вещественной обеспеченности, и внутреннего мира „на лоне Православной Церкви".

Вы для меня поэтому незаменимы никем, и когда Вы умрете (прежде ли или после меня), не будет на земле ни одного человека, который бы знал меня. Горсть московской молодежи, любящей меня, видимо, с большою искренностью, узнала меня уже больного, старого (с 83 года), связанного канцелярскими узами, в том среднем положении

полуобеспеченности, полубедности, на которую обречен в столицах всякий второстепенный чиновник, если у него нет своего капитала или доходного имения. С женой невменяемой (лучше этого выражения для нее и не найдешь), тоже старой и добродушно грязной. Я вижу, я знаю, что они находят во мне что-то, что им очень нравится... Это видно было по их обращению, по их веселой откровенной, ласковой почтительности, по почетным отзывам Кристи, по стихам Александрова, посвященным мне, и т. д... Все они теперь со мной в переписке; Кристи был здесь у меня на святках, Александров приедет надолго 15 июня, другие тоже сбираются. Но ведь я всегда по природе был пластик, Вы знаете, „эллин" (как Вы говаривали) — и потому понять даже не могу, что во мне, таком старом, больном, уже неинтересном с виду, и в такой скромной, бедной, городской, буржуазной обстановке им нравится; „внутренний мой человек", как любит говорить психолог Астафьев, „дух моей жизни" или „жизнь моего духа", как любил выражаться довольно туманно покойный Аксаков, вот что их, должно быть, привлекает! А я (Вы-то знаете меня!), я, грешный, распрегрешный эстетик, эти 7 лет московской жизни моей (которые были так выгодны мне с практической стороны по своему теперешнему счастливому результату), я с болью самолюбивого стыда вспоминаю их! Конечно, я ни на миг не забываю при этом чувстве, что это было смотрение Божие, что это было испытание, тернистый путь к теперешнему предсмертному отдыху в удовлетворяющей меня помещичьей, независимой и даже по-стариковски поэтической обстановке; но ведь в том-то и дело, что только Богу да самому испытуемому совершенно ясно, что ему особенно тяжело, особенно больно, в чем именно испытуемый может обнаружить степень и силу своей духовной покорности, своего смирения перед волей Божией. Например, вообразим двух верующих мужей: одному ссоры и дрязги, какая-нибудь мелкая подлость жены (подлость, столь обычная женщинам) гораздо больнее физической ее

измены, другому — эта измена тяжелее и обиднее всяких самых грубейших ссор и т. д.

Вам, например (насколько я Вас знаю), жизнь семейная с какой-нибудь беспокойной и раздражительной женою была бы в сто раз тяжелее той скуки и временной тоски, которые должны одолевать Вас теперь иногда в Вашем одиночестве (да одолевало не раз и прежде, я помню хорошо). Таких примеров бездна.

27 мая.

Мне, по некоторой неизгладимости прежних моих вкусов, моя московская жизнь была очень тяжела по многим причинам, но в особенности потому, что, объективируя ее, так сказать, перед собой как жизнь чужую, я находил ее жизнью, быть может, и почтенною... но слишком обыкновенно печальною... Я этого не люблю. Вы знаете. Упоминаю я об этом для того, чтобы хоть одним живым примером доказать Вам, как Вы незаменимы для меня... Как бы это выразиться яснее? Попробую. Тот только истинно любит, который любит друга даже и со всеми его претензиями, который этими эстетическими, честолюбивыми, тщеславными и т. п. притязаниями не только не возмущается, но даже нередко и с радостью сочувствует им.

Так Вы и делали в былые времена — тогда ли, когда я, назначенный консулом в Тульчу, носил сюртучок цвета Бисмарк, парижский красный шарф, Вами же купленный, и белые триковые панталоны (помните?) и „обмывался" каждый день „vinaigre de toilette"*; тогда ли, когда я, уже полуразрушенный, приехал с Афона в Царьград и когда во мне происходила такая жестокая борьба светских вкусов и развратных страстей с искренностью и глубиной нового в то время религиозного чувства... Кто знал меня таким? Кто понимал? Кто жалел? Кто радовался со мной и огорчался за меня? Кто, сердясь и ропща иногда на меня за

---

* Туалетый уксус (*фр.*)

всю эту бурю, не переставал меня любить?.. Вы и только Вы одни. Только Вы (и бедная Маша еще) с полуслова, с полунамека понимали меня тогда и поняли бы и теперь с полуслова. Вам обоим (с Машей) ясно, что́ мне особенно тяжело и что́ мне особенно приятно. Маша помнит меня с 27 лет, Вы — с 30 почти. Но Маша стала давно уже невозможна в отношениях со мной, она знает отлично, что мне больно и что мне приятно, и не в силах уже не противоречить мне чрезвычайно тонко и умно почти во всем, что мне дорого теперь. Я заметил, вообразите, при краткой последней встрече в Оптиной, что она даже о богословии Вл. С. Соловьева не может со мной спокойно рассуждать, а все выходит из себя. Она, конечно, несчастнее меня, ибо она всегда была первым нападающим в распрях и не может в минуты просветления совести забывать фактов; но как бы то ни было, наше общение сделалось невозможным потому, что даже и при двух очень кратких последних свиданиях наших (в Москве в 86 году, когда я умирал весною, и в том же году летом в Оптиной, куда и она нарочно приехала, чтобы видеть меня) я понял прежде нее, что эти встречи и свидания даже и на 3—4 дня оставляют только одну тягость на сердце, я догадался, наконец, что эти внешние примирения в виде свиданий и будто бы приятных разговоров о том о сем, после того глубокого единомыслия и тождества вкусов, которые нас столько лет с ней соединяли,— большая ошибка, натяжка и ложь; это ненужное, кисло-сладкое какое-то притворство, что они, эти лжесмиренные елейности, для внутреннего, духовного, христианского прощения обид очень вредны. После того, что уже было между нами и в такие зрелые годы, христианское чувство требует одного — забвения и, если нужно и можно, вещественной помощи, вообще какого-нибудь чисто практического добра, без разговоров и свиданий. Понявши это, я сказал это старцу, и он согласился со мной. Теперь она без места пока, гостит по знакомым и, как слышно, довольно покойная (вдалеке от меня она всегда

покойна и даже полнеет. Это мне говорил отец Амвросий еще и тогда, когда старая привязанность еще не позволяла мне совсем с нею порвать). По приказанию о. Амвросия я, пока она без должности, посылаю ей каждый месяц 15 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩ на карманные деньги, да еще даю от время до времени половину с продажи сборника „Восток, Россия и славянство" (он понемногу не перестает продаваться); и мне по приказанию духовника давать стало гораздо легче, чем от себя, ибо в этой форме я почти не чувствую, кому я даю. Сердце даже и добрым чувством не шевелится. А мой идеал по отношению к ней — ничего не чувствовать. Слава Богу, я даже не сам и посылаю, а отдаю все Катерине Васильевне [1] (Вы ее ведь помните?), которая тут живет постриженная (тайным постригом) близко от моей дачи, рядом, и часто у нас бывает. Ей отдаю и отчета не спрашиваю. Отлично! Это помощь; что касается до встреч, то прошлого года летом она приезжала сюда дней на десять говеть и видаться со старцем. Жила у Катерины Васильевны в двух шагах от меня и вследствие дружеских отношений этой последней всячески избегала встречать меня. Однако нечаянно раз, встретившись в садике у Катерины Васильевны, я молча подал ей руку (потому что мы были не одни). Она ушла в дом, а я к себе, вполне счастливый, что так легко отделался и что не было и тени волнения в душе. Отец Амвросий говорит: „Однако должно быть сильно эта женщина оскорбила вас! И в Турции, и где только вы ни были, ни против кого у вас нет такого памятозлобия, как против нее. Конечно, видеться не нужно. А так как сказано: „любите и врагов", то надо деньгами помогать ей и молиться о смягчении сердца!"

Таким образом, мой житейский опыт и моя психологическая тонкость совпали с духовным взглядом отца Амвросия. Она — другое дело. При ее привязанности, страстности и сварливости она готова была бы снова видеться, снова беседовать, жить даже вместе и снова беспрестанно досаждать, укорять, намекать и т. д.

Раза два-три она сама сознавалась, что чувствует себя с этой стороны неисправимой. Итак, из двух людей, меня в самом деле коротко знавших, Вы остаетесь теперь для меня только одним, с которым я могу говорить так, как я мог прежде говорить с двумя.

Мои московские юноши [2] узнали меня уже старым, как я сказал. Для них это, вероятно, полезнее (или, вернее сказать, гораздо безвреднее), но здесь речь не о моем на них влиянии, но о том, что я не могу (и не хочу даже) быть с ними таким откровенным, каким был с Вами и с Машей. Говорится —„noblesse oblige"*, можно сказать и многое другое в том же роде: „expérience oblige, influence oblige, religion oblige, position oblige, réputation oblige".**

Старая же дружба тоже обязывает, только совсем в других отношениях: она обязывает к верности, а не к сдержанности и осторожности в излияниях. Вы от моих излияний (даже и о столь грешном прошедшем моем) не испортитесь и моего доверия никаким бестактным словом не оскорбите...

Вот почему я считаю, что это за грехи мои Бог лишил меня наслаждения видеть Вас у себя в доме и говорить с Вами этим постом. Вы тут ничем не виноваты, и уж одно искреннее желание Ваше побывать здесь у меня — мне очень утешительно и лестно. Хочу этим длинным письмом возместить хоть сколько-нибудь невозможность близкого свидания. Потому отлагаю продолжение до понедельника, до 30-го. Завтра (28) надо в Козельск, а 29-го обедня и панихида по матери (Феодосии); писать же я люблю только с утра. А вечером вообще „гуляю" во всех смыслах этого слова, за исключением крайнего пьянства, а водку пью вечером понемногу. ⟨...⟩

Маленький парантез [3] для Вашего религиозного просве-

---

* Положение обязывает (*фр.*).

** Опыт обязывает, действия обязывают, репутация обязывает (*фр.*).

щения о важности старчества даже и для самих по уму и по нраву самобытных, но верующих мирян. Если бы в нашей жизни вопросы о действии душеполезном и греховном были так ясны, как следующие: „обокрасть благодетеля или помочь сироте?“, „впасть в кровосмешение с тещей или не впасть?“, „выдумать на Губастова небывалую глупость в виде спасибо за то, что Вы мои долги платили?“, так для такого выбора, я полагаю, не только старчества, но даже, пожалуй, и христианства не нужно... Но есть множество случаев в жизни христианина, где и страсти молчат, и намерения добрые — а между тем не можешь решить, которое из двух хороших дел перед судом Всевышнего сочтется за лучшее. Это вздор, что совесть наша тут сама может решить... Совесть глубоко и неразрывно связана с самомнением, тонкою моральною гордостью, с природными вкусами и т. д... 〈...〉

Варя очень похудела и порядочно через это подурнела, так как черты ее, Вы знаете, не особенно красивы. Это происходит оттого, что она вторую дочь слишком долго кормит, нарочно, чтобы отсрочить как можно дольше новую беременность. Это нередко предохраняет. Я этому, признаюсь, сочувствую. И с двумя девочками столько возни, даже и в отдельной от дома детской, что кроме Агафьи (матери Вариной) пришлось еще 14-летнюю племянницу Варину сюда взять за 1 руб〈ль〉 в месяц. А сама Варя для нас в доме больше всех нужна. Лизавета Павловна, слава Богу, очень ее любит. Лизавета Павловна с тех пор, как 2 года тому назад вдруг начала ужасно толстеть, стала покойнее и рассудительнее. Но странное дело, от 71—72 года, как только она пожила в Одессе с матерью и сестрою своими, уже не возвратилась к ней ни при каких переменах, ни внешних, ни внутренних, ее первоначальная щеголеватость и та безукоризненная опрятность, которая даже щепетильную мать мою удовлетворяла когда-то до того, что она ее с этой стороны предпочитала и дочерям своим, и другим невесткам, из которых одна была княжна, а две другие —

„генеральские дочери". Она их всех троих терпеть не могла, презирала и считала mauvais genre*, а Лизу не только любила, но даже чуть не гордилась ею и расхваливала ее своим знакомым: Оболенским, Мещерским, Карамзиным и т. д. Вы Лизу такой уже и не знали вовсе. Я помню, Маша в 60-х годах, когда ей было 15 (16—17) лет, и она Лизу еще очень любила, часто, целуя ее, восклицала: „Господи! Как от нее хорошо пахнет! Даже и в комнате у нее какой-то приятный воздух!" И это было справедливо. Каким образом это все безвозвратно исчезло — не понимаю.

Теперь, напротив, Варя должна за ней как за ребенком следить, чтобы она Бог знает чего у себя в комнате на полу не наделала! (И делала!) С тех пор, как в 80-м году (после Варшавы) мне ее привезли из Крыму худую, пожелтевшую, всю в струпьях и вшах (вообразите мое тогдашнее чувство!), напуганную какую-то, одичалую, убитую, но с припадками самого неосновательного и сильного гнева, с тех пор ее моральное и умственное состояние много изменилось к лучшему. Она стала опять веселее, добрее, смелее и спокойнее; мне очень послушна во всем серьезном и даже не обижается, что в моем отсутствии деньгами распоряжается не она, а Варя или Александр. (Вот и вернувшись из Москвы, она с восхищением рассказывала, что Александр всегда выдавал ей на извозчиков и даже лакомства покупал.) Но уже прежняя внешняя опрятность и изящество, которые и пожилой женщине возможны, не возвратились. Все-таки она нормальным человеком не может быть названа.

Ах, друг мой, что бывает, что бывает на свете и с чем человек ни свыкается, особенно при религиозном взгляде на жизнь! Вот и я — понимаю, что это должно бы казаться мне ужасным, но не чувствую не только ужаса, но даже и огорчения. Все думаю: „И так — слава Богу!" И даже, как Вам это сказать, предпочитаю мою жизнь с этой

* Дурной тон (*фр.*).

бесполезной, грязной и впавшей в детство старухой жизни с какой-нибудь дочерью профессора, которая помогала бы мне в труде! Я снова люблю ее крепко за ее чистосердечие, за ее всепрощение (она никогда меня ничем прошлым не упрекнула!) и за ее оригинальность даже; и не только я, но и все люди в доме и многие посторонние очень ее за ее характер любят и здесь, и в Москве.

Недавно читал в описании юбилея Ап⟨оллона⟩ Ник⟨олаевича⟩ Майкова, что „маститый юбиляр вошел в черном фраке"... И потом „сел за стол, окруженный своей семьей" — я „эстетически" ужаснулся! (В этом я все прежний Леонтьев.) Во-первых, зачем уж поминать о фраке юбиляра? Надо стараться забыть о пластическом безобразии нынешних празднеств; а потом, ведь жену его я видел. У нее давно зубов нет, и она давно уже была в очках. На что эта семья? На что эти домашние подробности, эти „ночные шкапчики" перед публикой? Мораль — для дома. Эстетика — для общества. Я бы старую жену на стариковский юбилей не взял бы.

Отчего это у этих поэтов на бумаге так мало поэзии в жизни? У Пушкина была эта поэзия в жизни, у Лермонтов была, у Фета смолоду. Изо всех других только у Алексея Толстого[4], потому ли, что он был богатый барин, потому ли, что Софья Андреевна[5] имела в себе нечто сатанинское, не знаю, но была.

А этот бедный Майков! Только забывая о нем самом, я могу наслаждаться его стихами. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение". 1897. Март. С. 443.

[1] *Катерина Васильевна* — Е. В. Самбикина.

[2] *Мои московские юноши* — студенты катковского Лицея в Москве Я. А. Денисов, А. А. Александров, Н. А. Уманов и И. И. Кристи, с которыми К. Н. Леонтьев познакомился через профессора этого Лицея П. Е. Астафьева.

[3] *Парантез* — попутное замечание.

[4] *Алексей* Константинович *Толстой* (1817—1875)— граф, поэт, прозаик, автор драматической трилогии „Смерть Иоанна Грозного" (1866), „Царь Федор Иоаннович" (1868) и „Царь Борис" (1870).

[5] *Софья Андреевна* — С. А. Толстая (урожд. Бахметева), жена гр. А. К. Толстого.

176. К. А. ГУБАСТОВУ

1 июля 1888 г., Оптина Пустынь

Вы слишком уж строги к себе в последнем Вашем письме. Говорите, что „писать разучились", а Ваше письмо, как всегда, премилое и преумное; одно в нем нехорошо — слишком кратко... Я очень люблю получать от Вас письма, и если Вы в самом деле... не хочу сказать „старый", а давний и верный друг, то дайте мне слово, что Вы хоть три раза в год будете сами впредь писать мне и без повода с моей стороны. При Вашей твердости и надежности Вы, конечно, исполните это с европейской точностью (точность и выдержка идеи — почти единственная черта, которую я уважаю в „современной" Европе... Есть еще в ней и много прежнего: воинственность, папа, по временам тонкий вкус и порывы идеализма — ну, это, конечно, я очень люблю). 〈...〉

Вы пишете, что прочли „Национальный вопрос" [1] Соловьева и возражения Страхова [2] в „Русском вестнике", и что ни то, ни другое вполне Вас не удовлетворяет. Я почти согласен с Вами (и, может быть, был бы и вполне согласен, если бы Вы потрудились объяснить, что именно Вам не по душе). Я не удовлетворен этими двумя трудами по двум разным причинам. Соловьев — единственный из наших писателей, который подчиняет до известной степени мой ум. Ни старые славянофилы (Киреевский, Хомяков, Аксаков), ни сам Данилевский, ни Катков не могли меня умственно подчинить. Мне все казалось и кажется, что

я многое вернее, яснее, нагляднее их понимаю. Катков в особенности недостаточен, он самым родом своей деятельности, неустанною заботою о „злобе дня“ сузил искусственно свой кругозор (le journalism c'est le tombeau du génie)*. В мнениях его часто важно было не то, *что* говорит человек, а *кто* говорит. Ему верили в Петербурге, и его заслуга историческая не в прозорливости какой-нибудь (он все говорил для своего успеха вовремя, для государства — поздно), а в том, что он умел свой колокол, в котором серебра было уж не так-то много, высоко и выгодно для акустики повесить. У него можно учиться ловкости и чутью, а не идеям. Ни в печати, ни даже в частных беседах я ни слова от него нового не слыхал. Все это я прежде его и тоньше говорил. Но Вл. Соловьев, сознаюсь с охотой, на меня 50-летнего имел (и имеет) огромное влияние. Это настоящий гений и гений с какою-то таинственною, высшею печатью на челе. Мне очень трудно устоять противу его „обаяния“ и не объявить себя открыто почти его учеником. Возражая ему, я все-таки почти благоговею. Жаль, что Вы не потрудились (по-видимому) прочесть целых X — XI моих фельетонов в „Гражданине“ („Владимир Соловьев против Данилевского“, апрель и май, до 2 июня)... Возражения мои ему основаны на двух разного порядка идеях: 1) на идее (и даже на чувстве) православной богобоязненности (то есть не погрешить бы нечаянно противу нашего догмата. Епископы наши большею частию молчат и прячутся за цензуру). С этой стороны я не смею увлечься свободно его римскими симпатиями, хотя очень склонен (как Вы знаете) к ним. Другая идея: по разумению я понимаю, что соединение Церквей, весьма важное для борьбы противу грядущего антихриста и т. п., если и состоится по воле Божией в какой бы ни было форме, то до этого далеко, и так как никакой Восточный Собор еще не объявил, что всякий верующий православный обязан отныне этим делом заниматься, то

* Журналистика это могила гения (*фр.*).

я нахожу, что пока и заботами славянофильского (то есть культурного) обособления от Европы не религиозной, не католической мы имеем и право и долг целый хоть век заниматься, и что этого дела хватит еще на 4—5 поколений, а наше дело теперь толкать к этому Россию. Это мое отношение к Соловьеву, к человеку живому, умственно страстному, гениальному и указывающему ясный и твердый путь (хотя бы и ошибочный, быть может).

Ну, а Страхов — это мыслитель мертвый, без знамени, без страсти, без выхода в практическую жизнь, критик Европы XIX века, отрицатель — и больше ничего. Он годится только в логические наставники, в учителя умственной приготовительной гимнастики — и больше ничего.

Я этого человека не уважаю и не люблю, ни литературно, ни лично.

Я даже очень рад, что Соловьев довольно зло прохватил его. Бессильный союзник, умный, но бездушный. Он ведь и с виду какая-то лепешка широкая, „экстензивная, без интензивности". 〈...〉

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение". 1897. Март. С. 450.

[1] *„Национальный вопрос"* — сборник статей Вл. С. Соловьева, печатавшихся в 1883—1888 гг. в журналах „Русь", „Известия С.-Петербургского славянского благотворительного общества", „Православное обозрение", „Вестник Европы". В них Соловьев резко полемизировал с теориями славянофилов об особом пути и назначении России. 1-й выпуск сборника вышел в 1884 г., 2-й — в 1891 г. Статьи по национальному вопросу ознаменовали разрыв Вл. С. Соловьева с консервативио-национальным течением и переход в лагерь либералов („Вестник Европы" под ред. М. М. Стасюлевича).

[2] *...возражения Страхова...* — Н. Н. Страхов защищал книгу Н. Я. Данилевского „Россия и Европа", на которую едко нападал Вл. С. Соловьев в своих статьях.

177. И. И. ФУДЕЛЮ

6 июля 1888 г.

⟨...⟩ Намерение Ваше писать о прежних славянофилах — очень хорошо; но, право, не знаю, как бы это точнее и яснее выразиться: хорошо ли будет, если в наше время Вы будете держаться безусловно их взглядов. Конечно, и эти несравненно лучше, чем европейский, рационалистический и эгалитарный либерализм; но так как Вы, видимо, желаете, чтобы я был с Вами вполне откровенен, то я скажу, что мне было бы неприятно видеть Вас в конце 80-х годов остановившимся на этом во многом столь мечтательном и неясном учении. Для того, чтобы отнестись правильно к Ив⟨ану⟩ Вас⟨ильевичу⟩ Киреевскому, Хомякову и братьям Аксаковым, надо хорошо изучить, во-первых, Данилевского, во-вторых, надо обратить внимание на те оттенки, которыми отличался Катков от Ив⟨ана⟩ Аксакова в реформенный период и до конца их деятельности. Потом надо познакомиться со взглядами Герцена на Европу и Россию; наконец, полагаю нелишним обратить внимание и на мои славянофилам возражения, там и сям разбросанные. ⟨...⟩

1) Данилевский дает ясную научную гипотезу: история есть смена культурных типов (у славянофилов это не так объективно и органически поставлено, и все с каким-то более сердечным и как бы пристрастным оттенком: правда, истина, цельность, любовь и т. п. у нас, а на Западе рационализм, ложь, насильственность, борьба и т. п.). Признаюсь — у меня это возбуждает лишь улыбку; нельзя на таких общеморальных различиях строить практические надежды. Трогательное и симпатическое ребячество, это пережитый уже момент русской мысли. Есть и у Данилевского этот оттенок, но он у него далеко не так преобладает. В одном месте он прямо даже говорит, что прежние славянофилы напрасно впадали в излишнюю „гуманитарность".

Итак, Данилевский дает Вам в руки мерило твердое — особый культурный тип (особый, независимо, пожалуй, от того, насколько он хорош, морален и т. д.).

2) Герцен. Под конец жизни Герцен, как Вам, я думаю, известно, разочаровался в западном утилитарном прогрессе и объявил во всеуслышание, что он теперь ближе к славянофильскому, чем к какому-либо другому воззрению. В книге Страхова „Борьба с Западом“ (т. 1) Вы все это про Герцена найдете в прекрасном изложении. Герцен был прежде всего эстетик, и притом эстетик, не верующий до конца жизни (вроде Гёте, Байрона и др.). Эти две стороны его личного духа в данном случае очень важны; когда гениальный человек, не верующий лично во Христа и Церковь, верует, однако, в то, что православию еще предстоит историческая жизнь, то нам, христианам, лично для себя верующим, это большая поддержка и утешение, это голос со стороны, это суд объективный и менее нашего пристрастный. Наша с Вами вера в земную будущность православия, в его еще недовершенное земное развитие и такая же историческая вера славянофилов в Россию и Восточную Церковь,— быть может, и ошибочна (хотя и имеет за себя много реальных данных в исторических условиях конца XIX века). И старые славянофилы, и мы с Вами, быть может, верим все в будущность „русского“, так сказать, православия — по невольному, глубокому пристрастию и к самой России, и столь чтимой нашей Церкви. Герцен, не веря лично (то есть для собственного спасения), не имея того личного „страха Божия“, который имеем мы и который, вероятно, имели Хомяков, Самарин, несмотря на то, что они как-то избегали на него указывать прямо в своих изящных и высоких сочинениях, Герцен, говорю я, мог поэтому быть объективнее и беспристрастнее нас. Кроме того беспристрастия, которое могло быть у него плодом личного неверия в догмат, в загробную жизнь, в Св. Троицу и т. д., у него был еще и другой источник того же беспристрастия. Это его общее миросозерцание — более

эстетическое, чем моральное, как я уже сказал. Моральное миросозерцание всегда тенденциознее эстетического. Человек со строго моральным миросозерцанием, которому изменить он не хочет, принужден об одном умалчивать, другое иногда даже искажать из опасения повредить; эстетик свободнее, ему нравится и вредное, и порочное, если оно сильно, изящно, выразительно. Заметьте — Вы нигде не найдете ни у Киреевского, ни у Хомякова, ни у Самарина нападок на скромного буржуа, на среднего европейца. Они понимали, конечно, что этот всепоглощающий тип пошл и бесцветен, но они не смели, не хотели нападать на него так беспощадно и настойчиво, как нападал Герцен. Для Герцена этот „средний европеец“ был, напротив того, главным предметом ненависти. И от социалистов он отшатнулся, и европейского рабочего разлюбил, как только, поживши в Европе, понял ясно, что социализм, и в особенности коммунизм, хочет всех так или иначе привести к однообразию и среднему уровню, и рабочий западный борется на жизнь и смерть только для того, чтобы самому стать таким же средним буржуа, как и тот, против которого он воюет. Идеал этого рабочего до того прост, непоэтичен, сух и груб, и сер, что, понятно, Александру Ивановичу Герцену, московскому настоящему барину, изящному по вкусам, идеальному по воспитанию, ничего не оставалось, как только отвратиться с презрением от этого блузника, который согласен быть самоотверженным героем баррикад лишь для того, чтобы со временем воцарился такой мелочный, неподвижный и серый порядок полнейшей равноправности, когда ум и героизм и все идеальное станет лишним. Сокол, самоотверженно высиживающий куриные яйца окончательного равенства и прудоновской „Justice“* (все равны и все неподвижны). Тогда этот русский ум, изящный и великий в своем только кажущемся легкомыслии, отвернулся от этой средней Европы, сказав: „Здесь чувствуешь,

* Справедливость (*фр.*).

что стучишься головой о потолок мира завершенного" и обратившись с надеждой к России, неожиданно для самого себя понял, что он ближе к славянофилам, чем к западникам.

Его „эстетической" меркой также не мешает проверить „моральных" славянофилов. Говоря о Герцене, я, разумеется, различаю в нем резко две стороны: его натянутое под конец жизни почти бессмысленное революционерство против русского правительства я отличаю от его столь полезных и справедливых нападок и насмешек над буржуазией западною. Вот эта-то острая насмешка над либеральною Европой и есть его главная заслуга, и этой заслуги у славянофилов нет, они этого не умели.

После Герцена надо подумать о Каткове и о том, чем он от славянофилов отличался. Он отличался от них особенно тем, что не ходил далеко за туманными идеалами, а брал то, что есть под рукой. Не мечтал о „будущем", а с жаром в лучшее время своей деятельности (с Польского восстания 62—63 гг. и до кончины) старался сделать пользу тому государственному порядку, который есть. И. С. Аксаков был последовательнее и неизменнее, его статьи возвышали помыслы, но все то, что он предлагал делать сейчас, было некстати. Катков менялся и казался непоследовательнее, но у него было великое чутье времени и срока. Например, Аксаков был за большую свободу печати, он воображал (именно воображал), что эта свобода имеет сама по себе нечто целительное; это неправда. Вред от этой вольной болтовни неимоверно сильнее пользы. Катков, сам вначале стоявший за большую свободу печати, скоро отступился от нее; понял то, чего Аксаков никак уже понять не мог, потому что взирал на человечество и особенно на русское человечество слишком морально. Он, видимо, слишком верил в хорошие качества русского народа, русского племени, русского духа. Катков, видимо, не очень-то в них верил (и был прав! Какая польза в приятном самообмане на поприще политическом?). Катков верил в силу и будущ-

ность государства русского и для укрепления его не слишком разбирал средства (страх — так страх, насилие — так насилие, цензура — так цензура, виселица — так виселица и т. д.). Катков был похож на энергического военачальника, знающего удобопревратную натуру человека; начальник этот в виду наступающего неприятеля не находит возможным „убеждать“ высокими речами заробевших и бунтующих солдат: некогда! Он разбивает сам пулей голову одному, бьет кулаком по лицу другого, ругает третьего, ласково ободряет остальных и кратко взывает к их патриотизму. И. С. Аксаков во время пожара читает благородную лекцию о будущей пользе взаимного страхования любви. Бог с ним в такую минуту. Я люблю полицмейстера, который в такую минуту и меня самого съездит по затылку, чтобы я не стоял сложа руки. Катков в тяжелые дни своеволия и расстройства накидывался на „низших“ (то есть на обреченных самим Богом повиновению); Аксаков либерально и некстати великодушно корил всегда „высших“. Катков не брезговал чиновником; Аксаков всегда бестолково (подобно европейскому либералу) нападал прежде всего на чиновника. Катков не щадил ни студентов, ни народ, ни земство, ни общество и предпочитал (основательно) официальную, казенную Россию, основательно, ибо даже и вера православная пришла к нам по указу Владимира [1] не только, но и въелась в нас благодаря тому, что народ „загнали“ в Днепр [2]. И Катков понимал, что одним „чиновником“ дышать и развиваться нельзя нигде; но что ж делать с неофициальною Россией, когда она слабее, глупее, бесчестнее и несогласнее, пьянее, ленивее и бесплоднее „казенной“? Катков на практике ежедневно служил славянофильскому идеалу гораздо лучше, чем сами славянофилы. Он видел жизнь, он понимал горькую правду нашей действительности, пожалуй и поэтической, но запутанной быстрыми либерально-европейскими реформами. Что ж делать, если из двух русских Европ, так сказать, наша „казенная“ Европа охранительнее, сильнее, надежнее, госу-

дарственнее и даже национальнее Европы либерально-русской. Государственность наша, даже и полуевропейская, несравненно резче отделяет нас от Запада, чем наша общественность, в которой за последние 30 лет ничего бы уже не осталось своего, если бы не сильное правительство...

Я, признаюсь, лично Каткова очень не любил. Но он был истинно великий человек; он был и тем даже велик, что шаг за шагом, не колеблясь, отступал от всех прежних (более либеральных и европейских) убеждений своих, когда понял, что они нам не „ко двору"! Когда понял и то, что русская нация специально не создана для свободы, и то, что и на Западе все либеральное мало-помалу оказывается просто разрушительным. Дайте нам могучесословное, малоподвижное земство, дайте нам общество религиозное (хотя бы наполовину его членов — притворно религиозное, так и быть, из политики... а хоть наполовину искреннее), распространите некоторый фанатизм русских вкусов, и тогда само собою охранение станет меньше нуждаться в официальной помощи. Но где это теперь? Есть только мечты, надежды, начинания.

Катков был за сословия; из его направления вышел Пазухин („Сословный вопрос в России" [3]; его влияние, между прочим, содействовало и мне, когда я писал о разнообразии в единстве и против смешения в последних главах „Византизма и славянства"). Славянофилы советовали дворянству совсем слиться (смешаться) с народом, не догадываясь, что не народ нас своим влиянием оденет в кафтаны и заставит ездить в Оптину, а мы сейчас оденем его в пиджак и научим его верить больше в атомы, чем в Св. Троицу. Это ужасно! 〈...〉

Много хорошего, очень много полезного в религиозном отношении мы найдем у Киреевского, Хомякова и Самарина, но учение Влад〈имира〉 Соловьева, впервые в России осмелившегося хвалить Рим, есть прекрасный противовес морально-протестантским симпатиям славянофилов. Мистицизм Соловьева глубже, возвышеннее, чем ихний, так

сказать. Нет, конечно, нужды, сочувствуя его общему духовно дисциплинирующему направлению, принимать все его выводы. Но проверять его духом полулиберальный дух славянофилов необходимо. Иначе Вы далеко отстанете от новейшего движения русской мысли.

Скажу два слова и про себя. Оба мы с Соловьевым вышли из славянофильства, но он, вдруг отвернувшись с равнодушием от культурно-национальных интересов, приняв от славянофилов к сердцу только их учение о независимой и благодатной Церкви, шаг за шагом, ничем другим не отягощенный, диалектически пришел в Рим. Я же по складу ума более живописец, чем диалектик, более художник, чем философ; я — не доверяющий вообще слишком большой последовательности мысли (ибо думаю, что последовательность жизни до того извилиста и сложна, что последовательности ума никогда за ее скрытою нитью не поспеть), я, вдобавок, много живший и не кабинетной жизнью отвлеченного мыслителя, а боровшийся много и практически на политическом поприще (и как консул, и как цензор, и как публицист „злобы дня"), я пришел к другому, к чему? Вы должны знать мои книги, если удостоиваете обращаться ко мне за советами; во мне — не стану распространяться как — примирены славянофилы, Данилевский с Катковым и Герценом и даже отчасти с Соловьевым. Для меня самого все это ясно и связано органической, живой нитью. Ясен ли я в моем идеале для других — не знаю. 〈...〉

1) *Государство* должно быть пестро, сложно, крепко, сословно и с осторожностью подвижно.

2) *Церковь* должна быть независимее нынешней. Иерархия должна быть смелее, властнее, сосредоточеннее. Церковь должна смягчать государственность, а не наоборот.

3) *Быт* должен быть поэтичен, разнообразен в национальном, обособленном от Запада единстве. (Или совсем, например, не танцевать, а молиться Богу, а если танцевать — то по-своему, выдумывать или развить народное до изящной утонченности и т. п.)

4) *Законы*, принципы власти должны быть строже, люди должны стараться быть лично добрее; одно уравновесит другое.

5) *Наука* должна развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе. ⟨...⟩

Настоящий культурно-славянский идеал должен быть скорее эстетического, чем нравственного характера. Ибо если рассматривать дело с реалистической точки зрения, не увлекаясь какою-нибудь добродушною верою в осуществление того, чего мы сердцем желаем, то придется согласиться, что эстетические требования осуществимее, чем моральные. Надо и для своего народа ждать чего-то такого, чему примеры бывали, а не такого, чего никто не видывал. Можно предполагать, например, что найдется еще где-нибудь такое оригинальное млекопитающее животное, которое не будет похоже ни на одно из ныне известных, но можно ли воображать, что у него не будет мозга, печени, сердца и т. д. Нет, нельзя, как нельзя вообразить себе будущее только моральным, если же мы скажем — эстетическим, то этим мы сказали все, и слово *только* совсем тут и приставить нельзя. Можно начертить такой приблизительно чертеж:

Мистика (особенно положительная религия)	Критерий только для единоверцев, ибо нельзя христианина судить по-мусульмански и наоборот.
Этика и политика	Только для человечества.
Биология (физиология человека, животных и растений, медицина и т. д.)	Для всего органического мира.
Физика (т. е. химия, механика и т. д.) и эстетика	Для всего.

Как же Вы будете хоть бы с оптинской точки зрения судить, например, знакомого Вам турка или буддиста? Что Вам грешно, то ему не грешно, и наоборот. Только в самых общих рассуждениях можно к чужим религиям относиться с свою религиозною меркою — например, насколько в этих религиях, которые я обязан считать ложными (даже и тогда, когда они мне объективно нравятся), есть проблески того, что я должен считать истинным (в мусульманстве — вечная жизнь, в буддизме — аскетизм и милосердие). О своей религии я думаю и должен думать прежде всего с точки зрения спасения моей души (а все остальное и польза ближних „приложится"); о чужой религии я могу только судить с точки зрения исторической, политической, моральной и эстетической, считая и турка, и буддиста (китайца, положим) одинаково не назначенными для того вечного блаженства, которое мне обещано, если я последую за Христом, я могу разбирать с успехом все остальное в этих людях и судить о самом воплощении их учения в нравственной, государственной и эстетической жизни. Нельзя, например, уверить себя насильно, что болгарин (особенно объевропеенный) нравственнее и поэтичнее турка, потому что он нам единоверец. Пробовали у нас, и выходило — противная ложь, натяжка грубая и разочарование одним и стыд другим. Есть истины реальные, от которых не надо притворно и без пользы отворачиваться, раз они открылись уму. Можно сказать, что самый очаровательный мусульманин не получит вечного блаженства, а самый противный серб и болгарин, покаявшись и помолясь, могут его получить, и только. Религии разнообразны и потому исключительны. Практическая мораль одна и ко всем приложима; это ничуть не может колебать наших духовных верований, если они у нас тверды и ясны. Естественная (то есть тоже Богом данная) мораль одна, без таинства религии — не душеспасительна; она очень приятна для сношений земных, она иногда эстетичная, она удобна, уважительна, она может служить даже средством устыдить

плохого христианина — указанием, например, на доброго турка и т. д. Но как не-христиан будет судить Бог, мы не знаем. А для нас есть хоть общие правила.

Итак, мораль есть критерий для всего человечества; то же самое можно сказать и о государственных делах, о политике. Она — для всего человечества. Вы можете, как христианин, знать, что митрополит Филипп [4] святее, я не говорю уж Иоанна Грозного, а хотя бы доброго Алексея Михайловича [5]; но можете ли Вы, оставаясь христианином, разобрать: кто больше угоден Богу (нашему) или дьяволу — Будда [6] или Магомет [7]? Конечно, нет. А их моральную и политическую (историческую) ценность нам не возбранено разбирать.

Биология еще шире. Питается (по-своему), дышит и растет всякая былинка, и умирает всякая инфузория, и самый святой человек имеет подобные же с ними общие процессы. Иметь эти общие биологические процессы удостоил и Сам воплотившийся Господь: Он кушал, дышал, жаждал, уставал, отдыхал, страдал и т. д.

Еще шире два последних критерия — общефизический и эстетический. И тот и другой приложимы ко всему, начиная от минерала и до самого всесвятейшего человека. Минерал весит, разбивается, плавится, уничтожается и т. д. И великий человек тоже имеет вес, одарен механическими органами, в теле его происходят, как и в неорганических веществах, химические процессы и т. д. Это физика. И с другой стороны, с эстетической, то же самое: красивы, прекрасны, привлекательны и т. п. могут быть одинаково: какой-нибудь кристалл и Александр Македонский [8], дерево и сидящий под ним аскет и т. д. Разница между физикою и эстетикой при всей их одинаковой всеобъемлющей экстенсивности та, что как ни премудры и ни удивительны законы физики, но они нам кажутся как бы на своем месте и в уме нашем не приходят в столкновение с законами морали. А в явлениях мировой эстетики есть нечто загадочное, таинственное и как бы досадное потому, что человек, не желаю-

щий себя обманывать, видит ясно, до чего часто эстетика и с моралью, и с видимой житейской пользой обречена вступать в антагонизм и борьбу. Тот, кто старается уверить себя и других, что все неморальное — непрекрасно и наоборот, конечно, может принести нередко отдельным лицам педагогическую пользу, но едва ли польза эта может быть глубока и широка, ибо поверивший ему вспомнит, что Юлий Цезарь[9] был гораздо безнравственнее Акакия Акакиевича[10], и даже Скобелев был несравненно развратнее многих современных нам „честных тружеников", и если у вспомнившего эти факты есть эстетическое чувство, то что же ему делать, коли невозможно отвергнуть, что в Цезаре и Скобелеве в тысячу раз больше поэзии, чем в Акакии Акакиевиче и в самом добром и честном из тех самых сельских учителей, которых Вы нам в Вашей брошюре рекомендуете... Как быть? Возненавидеть эстетику? Притвориться из нравственных мотивов, что не видишь ее? Презирать мораль? Невозможно ни то, ни другое, ни третье... Вот тут-то положительная религия вступает снова в свои всепобеждающие права. Она не нуждается во лжи и притворстве: „Да, это изящно, сильно, эстетично, но это не душеспасительно". Рыцарская дуэль благородна, эстетична, но она не душеспасительна. Человек, отказавшийся от поединка, видимо, не по страху Божию, а лишь по страху телесному (предполагаю, что мы знаем его характер и обстоятельства дела), производит на нас некрасивое впечатление, хоть по собственной доброте мы и пожалели его в его унижении. И, с другой стороны, кажется, трудно вообразить себе борьбу более высокую и трогательную, как в подобном случае борьба человека храброго и самолюбивого и в то же время религиозного. И если желание „угодить Богу" победит чувство чести, если смирение перед Церковью поборет гордость перед людьми, если „святое" и „душеспасительное" подчинит в нем благородное и эстетическое и он, ничуть не робея, откажется от поединка, то это истинный уже герой христианства... Видать я таких еще не

видал, но вообразить можно, и, конечно, в старину на Западе такие люди бывали. Ну, а когда в одной из грубых и топорных повестей (60-х годов) нигилиста Помяловского его грубо-серьезный герой Молотов говорит (басит, небось): „меня если кто ударит, я стреляться с ним не стану, а потащу его в полицию!...“, то я, признаюсь, желаю только одного, чтобы и в полиции этой кто-нибудь догадался ему расквасить его утилитарную и практически-моральную морду. (Грешен, каюсь, но еще каюсь, что не могу даже и грехом большим подобное мое чувство к таким людям считать!)

Когда страстную эстетику побеждает духовное (мистическое) чувство, я благоговею, я склоняюсь, чту и люблю; когда эту таинственную, необходимую для полноты жизненного развития поэзию побеждает утилитарная этика, я негодую и от того общества, где последнее случается слишком часто, уже не жду ничего! И т. д., и т. д.

Эстетика как критерий приложима ко всему, начиная от минералов до человека. Она поэтому приложима и к отдельным человеческим обществам и к социологическим, историческим задачам. Где много поэзии — непременно будет много веры, много религиозности и даже много живой морали. Надо поэтому желать, чтобы в будущей России (и во всеславянстве) было побольше поэзии, не в смысле писания хороших стихов и романов, а в том смысле, чтобы сама жизнь была достойна хорошего изображения. Эстетика жизни гораздо важнее отраженной эстетики искусства. Вообразим хоть графа Вронского или Евгения Онегина, с одной стороны, а с другой — Каратаева („Война и мир“) или Питерщика [11] (у Писемского [12]), все четверо стихов и романов не пишут, Вронский пробует писать картины, но неудачно. Но в них во всех личной, объективной (со стороны глядя) поэзии несравненно больше, чем в чахоточном еврее Надсоне [13] и (по всем вероятиям) в этом несчастном Гаршине [14], который бросился так глупо с лестницы, написавши несколько недурных, но все-таки ничем особенно

не поражающих повестей. Будет жизнь пышна, будет она богата и разнообразна борьбою сил божественных (религиозных) с силами страстно-эстетическими (демоническими) — придут и гениальные отражения в искусстве. Понизится в жизни уровень всех мистических сил, как божественных, так и сатанинских, — понизится и художественная ценность отражения, о котором нынче так много любят толковать (гораздо больше толкуют, чем о жизни). Франция — превосходный пример: все в ней, в ее жизни стало бледнее даже на наших глазах (на глазах людей уже немолодых, как я). Религию гонят и презирают, и верующие люди уже не находят в себе сил для кровавого в пользу веры восстания, пышности настоящей, аристократической, нет, есть капиталистическая фальсификация барства. Монархия прочная, серьезная, требующая подчинения любви, уже неосуществима. И т. д. И вот, хоть я признаю большой талант и у Золя, и у Доде [15], но жизнь не возносит их дарований на ту высоту, на которую возносила прежняя жизнь Франции дух Ж. Санда, В. Гюго, Бальзака, Беранже, Шатобриана, А. де Мюссе [16] и стольких других. На это есть прямо духовное, мистическое объяснение. Однажды я спросил у одного весьма начитанного духовника-монаха: отчего государственно-религиозное падение Рима при всех ужасах Колизея, цареубийств, самоубийств и при утонченно-сатанинском половом разврате имело в себе, однако, так много неотразимой поэзии, а современное демократическое разложение Европы так некрасиво, сухо, прозаично? Никогда не забуду, как он восхитил и поразил меня своим ответом! — „Бог — это свет, и духовный, и вещественный, свет чистейший и неизобразимый... Есть и ложный свет, обманчивый. Это свет демонов, существ, Богом же созданных, но уклонившихся, как вам известно. Классический мир и во время падения своего поклонялся хотя и ложному свету языческих божеств, но все-таки свету... А современная Европа даже и демонов не знает. Ее жизнь даже и ложным светом не освещается!“ Вот что сказал этот

начитанный и мыслящий старец! Кстати напомнить — Вам, вероятно, известно, что святоотеческое христианство признает реальное существование языческих богов, но оно считает их демонами, постоянно увлекающими человечество на свой ложный путь! Боже, до чего совершенно, до чего ясно, до чего умно, идеально и в то же время практично это учение!.. Чем больше его узнаешь, тем больше дивишься!

Итак, желать для своего отечества существования только мирного, только морально-полезного, только средне-утилитарного — значит желать сперва отвратительной прозы, а потом ослабления „света", духа, поэзии и, наконец, разрушения. Желать для него поэзии, искать идеала эстетического, хотя бы с большим неизбежными пороками, страданиями, даже, волей-неволей, и с грехами — значит желать не только более высокого и более прочного (чем идеал утилитарно-моральный), но и даже более душеспасительного. Ибо, раз прилагая это общее правило в частности, например, к России, мы должны признать, что для приблизительного достижения такого культурно-эстетического идеала необходимо значительное усиление мистических чувств, естественно-исторически присущих нашему культурному типу, то есть усиление православия. Если при этом будет, по греховному несовершенству нашему, и много выразительных пороков, и, может быть, много и сект, то с этим мирится не только поэзия и национальное чувство, но и до некоторой степени и чувство религиозное. Если я — верующий человек, я буду стараться сам жить понепорочнее и верить как можно правильнее, но я, во-первых, не буду слишком торопиться судить тех из моих соотчичей, которые, не отвергая ни Бога, ни Церкви, увлечены страстями — кто блудом, кто честолюбием, кто гневной борьбой за существование и обогащение свое... ибо я смиренно знаю, что, быть может, я сам завтра сорвусь хуже и непростительнее их, они же могут внезапно исправиться, а во-вторых, я за православную Родину меньше буду бояться с такими в некоторых (а не во всех) отношениях безнравственными

людьми, как Скобелев, Лермонтов, Потемкин Таврический, чем с такими, пожалуй, и более нравственными, как Сади-Карно [17], Акакий Акакиевич и даже Максим Максимыч (в „Герое нашего времени"). Так же и секты: лучше борьба с упорными и возрождающимися мистическими сектами (вроде скопцов, хлыстов, мормонов, спиритов), чем мирная с виду (надолго ли?) жизнь слабо верующих, но довольно честных граждан с другими тоже морально сносными, но уже вовсе неверующими. Вообразим себе нынешнюю Швейцарию и нынешнюю же одну русскую губернию или две, хоть Калужскую и Тульскую вместе. В этих двух русских губерниях еще возможны и в наше время и отец Амвросий Оптинский, и какой-нибудь блестящий воин, вроде хоть того же Скобелева, и такой романист, как Лев Толстой; и пороков и страстей очень много во всех классах. Мужики очень развратны, хотя и религиозны. В Швейцарии же на такое почти население морали средней, наверное, больше, но зато ни о. Амвросий, ни Скобелев, ни Толстой уже невозможны...

В третьем, дополненном издании „России и Европы" Данилевского есть прекрасное и глубокое замечание о том, что „красота есть духовная сторона материи". Прочтите. Хотя и „культура", и „государство" суть понятия как бы отвлеченные, но в действительности отвлечениям этим соответствует известная совокупность весьма реальных явлений, доступных нашим чувствам: очень большое общество людей, города, села, здания, семейные картины, придворные обычаи, богослужение, междуусобия, войны, литературные произведения, одежды, изречения, замечательные людские характеры, подвиги, страдания, добродетели и низости и т. д. Все эти явления более или менее вещественны, и культура тогда высока и влиятельна, когда в этой развертывающейся перед нами исторической картине — много красоты, поэзии. Основной же общий закон красоты есть, как известно, разнообразие в единстве (добровольно или более или менее насильственно — это при подобном

взгляде вопрос второстепенный); будет разнообразие — будет и мораль, конечно, не всепоглощающая, как нынче хотят, а восполняющая, коррективная, а не сплошная, которая и невозможна. Ибо даже всеобщее равноправное и равномерное благоденствие если бы и осуществилось на короткое время, то убило бы всякую мораль. Милосердие, доброта, справедливость, самоотвержение — все это только тогда и может проявляться, когда есть горе, неравенство положений, обиды, жестокость и т. д... ⟨...⟩

Впервые опубликовано (с сокращениями) в статье: Фудель И. И. Культурный идеал Леонтьева. Русское обозрение. 1895. Янв. С. 261—275.

[1] *Владимир* — Владимир Святославич, в крещении Василий, чтимый православной церковью за крещение Руси святым и равноапостольным, великий князь Киевский (?—1015).

[2] *...народ „загнали" в Днепр.* — Имеется в виду крещение Киевской Руси в 988 г.

[3] *„Сословный вопрос в России"* — статья А. Д. Пазухина („Русский вестник". 1885. Кн. 1), в которой излагалась подробная программа контрреформ, направленных на нейтрализацию преобразований 60—70-х гг.

[4] *Митрополит Филипп* (Федор Степанович Колычев, 1507—1569) — Митрополит Московский. Принадлежал к знатному боярскому роду. Обличал злодеяния Иоанна Грозного и был низложен, заключен в монастырь и задушен по приказу царя Малютой Скуратовым. Причислен к лику святых.

[5] *Алексей Михайлович* (1629—1676) — русский царь, прозванный Тишайшим. Отличался живым и деятельным умом, разнообразными интересами и отзывчивостью.

[6] *Будда* (ок. 557—477 до н. э.) — основатель названной по его имени религии.

[7] *Магомет* (Мохаммед, 571—632) — основоположник ислама.

[8] *Александр Македонский* (356—323 до н. э.) — греческий царь и полководец.

[9] Юлий Цезарь (100—44 до н. э.) — римский государственный дея-

тель, полководец и писатель. Первым присвоил себе титул императора. Убит заговорщиками.

[10] *Акакий Акакиевич* — герой повести Н. В. Гоголя „Шинель", имя которого стало нарицательным для обозначения смиренного, безропотного человека.

[11] Питерщик — герой одноименного рассказа из книги А. Ф. Писемского „Очерки из крестьянского быта" (1856), которую демократическая критика ставила в один ряд с „Записками охотника" И. С. Тургенева.

[12] Алексей Феофилактович *Писемский* (1820—1881)— автор многочисленных и пользовавшихся большой известностью рассказов, повестей и романов реалистического направлеиия. Редактировал журнал „Библиотека для чтения". Вследствие острой полемики с демократами переехал из Петербурга в Москву и стал сотрудником „Русского вестника". Идейные противники не отказывали Писемскому в таланте — Д. И. Писарев ставил его выше И. С. Тургенева.

[13] Семен Яковлевич *Надсон* (1862—1887)— поэт, последователь Н. А. Некрасова. Многие стихотворения Надсона положены на музыку и стали популярными романсами.

[14] Всеволод Михайлович *Гаршин* (1855—1888)— писатель. Участвовал добровольцем в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг. Автор талантливых рассказов. Страдал душевным расстройством и покончил жизнь самоубийством.

[15] Альфонс *Доде* (1810—1857)— французский писатель, драматург и поэт. Автор широко известных психологических романов.

[16] Альфред *де Мюссе* (1810—1857)— французский поэт-лирик. Интимный друг писательницы Жорж Санд, оказавшей на него большое влияние.

[17] Мари Франсуа *Сади Карно* (1837—1894)— французский политический и государственный деятель. Занимал посты министра публичных работ, финансов и президента Республики. Способствовал упрочению республиканского строя, поднятию международного престижа Франции и сближению с Россией. Отличался безукоризненной честностью и прямотой. Убит итальянским анархистом Казерно.

178. Н. Н. СТРАХОВУ

22 июля 1888 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Теперь два слова о Вашей статье [1]. Я был ей очень рад, хотя есть пункты, в которых я с Вами не согласен. Теорию культурных типов, конечно, ни Соловьеву, ни кому другому опровергнуть не удастся, можно только исправлять частности, как и случилось насчет финикиан или насчет Византии и буддизма, но этого рода недосмотры и недомыслия свойственны самым высоким умам. Не понимаю также Вашего несколько гневного тона; не лучше ли обратить этот гнев на Ореста Миллера [2] и вообще на славянофилов чисто политических и поэтому либеральных. Соловьев, разумеется, ошибся в своих поспешных отрицаниях, и выработка резких у нас особенностей от „новой" Европы (на которую „en laid"* так похожа, повторяю, вся эта всеславянская „сюртучная" братия) не только не помешает „Соединению Церквей", если это соединение в Промысле Божием, но даже, напротив того, может ему и послужить в отдаленном будущем, ибо, обособляясь от неизлечимо равноправной Европы, мы неизбежно должны будем прийти к какой-нибудь новой неравноправности и этим самым больше совпасть с феодальными вкусами и преданиями Рима. Конечно, в этой современной „болтушке какой-то" ничего крепкого не заваришь. Вы вот завидуете моему оптимизму, но оптимизм мой весьма условен; если пойдет так-то и так-то (нелиберально, сословно, неравноправно, мистически, а не просто морально), то будет свой тип, а если нет — нет! С 81 года [3] признаков хороших много, зачем же пока отчаиваться?

Ведь даже и заблуждение, если оно сильно и одушевительно, производит великие дела развития... Насчет души я тоже более согласен с Соловьевым, чем с Вами. Я

---

* В карикатурном виде (*фр.*).

понимаю картезианское[4] „cogito ergo sum"*; понимаю и Ваше „я", Ваше самосознание... Как это не понимать. Но дальше что? Дальше я спрашиваю себя, как Св. Отцы и оптинские старцы смотрят на душу. Если не ошибаюсь, они ближе к Соловьеву, чем к Вам.

„В мешке сидит душа" (как Вы серьезно выразились), так в мешке. От Декарта[5] мне ничуть не легче. А от веры в христианский мистический материализм мне легче и жить и умирать. Ведь это наше чистое самосознательное „я", что оно? Простой психологический факт, который должны принять и простые (не мистические, безбожные) материалисты; он сам по себе ни к чему не приводит.

Без воскресения плоти я бы религию и не понимал бы, и не имел тогда страха Божия, не страшась за свою бедную плоть и в будущей жизни, я не стал бы молиться и т. д. Пусть хоть „в мешке", так понятнее для практики и приятнее для сознания. А с точки зрения разума — ни этого картезианского „я", ни нашего „мешка" — постичь вполне невозможно...

Впрочем, я, быть может, и не так Вас понял; я несколько груб в моем реализме, и чисто метафизический труд хотя и доступен мне, но без объясняющих иллюстраций он меня скоро утомляет. Богословская метафизика легче: там понял — не понял что-нибудь — не беда. Надо запомнить и слушаться, а понимание придет само собой позднее... А не придет, так и то не беда, не мой грех; я все-таки повинуюсь. Здесь постараешься послушаться, ждешь прощения, а философия чистая ничего нам такого не обещает и не может обещать. Поэтому, относясь к богословию аскетически (т. е. покорно и с любовью), к метафизике я отношусь эпикурейски: дается — приятно, не дается (как Кант[8] и кой-где Шопенгауэр), ну и побоку ее, из-за чего я буду над ней биться!

---

* Общепринятый (не вполне точный) перевод: мыслю, следовательно существую (*лат.*).

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] *...о Вашей статье.*— Речь идет о статье Н. Н. Страхова „Наша культура и всемирное единство“ („Русский вестник“. 1888. № 6) в ответ на статью Вл. С. Соловьева „Россия и Европа“ („Вестник Европы“, 1888, №№ 2, 4), которая произвела „впечатление бомбы, разорвавшейся в совершенно мирной обстановке людей, убаюканных националистической политикой и видевших уже сладкие сны будущего величия родины, всемирного призвания России, беспредельного культурного творчества и т. д. Пробуждение было тяжелое. Удар Соловьева был направлен против Н. Данилевского с его теорией культурно-исторических типов (...) Впечатление от этого удара было у нас удручающее, потому что трудно было логически оспаривать аргументацию Соловьева, и рассудок *подчинялся* холодным выводам этой аргументации, но *чувство*, но сердце не мирилось с этим и протестовало против этих выводов“ (Фудель И., Константин Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях, Русская мысль. 1917. Ноябрь — декабрь. С. 29). Л. Н. Толстой писал Н. Н. Страхову по поводу его полемики с Соловьевым: „...я проследил ваш спор с Соловьевым и, простите, нашел, что правы и не правы вы оба 〈...〉. Против Данилевского за историческое отрицание народности я с Соловьевым, но в осуждении его узких, пошлых односторонних взглядов я за вас и Данилевского“ (Письмо от 28 июня 1888 г. /Толстой Л. Н., Полн. собр. соч. т. 1—90, М.— Л., 1928—1958. Т. 64. С. 175).

Статья Вл. С. Соловьева вызвала резкое размежевание в русском обществе. Например, В. В. Стасов писал Л. Н. Толстому: „Мне в высшей степени отвратительна статья его в „Вестнике Европы“, но, к моему изумлеиию, Стасюлевич, Репин и множество других — от нее в восхищении“ (Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка, 1878—1906. Л. 1929. С. 86). Настоящее письмо К. Н. Леонтьева является ответом на письмо Н. Н. Страхова, в котором он писал: „Досадно, что статья моя против Соловьева (о которой жду Вашего суждения), очевидно, не возбудила никакого внимания и должна остаться без всякого общего действия“ (ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 186).

[2] *Орест* Федорович *Миллер* (1833—1889)— исследователь и профессор русской литературы. В начале деятельности подвергался резким

и несправедливым нападкам Н. А. Добролюбова. Занимал либерально-славянофильскую позицию.

[3] *С 81 года...*— Имеется в виду отход во внутренней политике от либеральных реформ после убийства Александра II.

[4] *Картезианское* — декартовское.

[5] Рене *Декарт* (1596—1650)— французский философ. Один из первых применил математические принципы к выведению метафизических истин.

[6] Иммануил *Кант* (1724—1804)— немецкий философ. Труды его действительно затруднительны для понимания даже специалистами.

179. И. И. ФУДЕЛЮ

10 августа 1888 г., Оптина Пустынь

Осип Иванович, на прилагаемые при сем 25 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩ Вы можете совершить путешествие в Оптину и вернуться в Москву. От Москвы (на Вязьму) в Калугу билет 3-го класса будет стоить 6 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩. Пара почтовых лошадей от Калуги до Оптиной тоже 6 р⟨ублей (или 5 р⟨ублей⟩ 50 к⟨опеек⟩); итого — 12 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩. И столько же обратно. На „харчи“, извозчиков и т. п. авось-либо у Вас и свои найдутся.

Я сам был когда-то молодым студентом и помню, как невелики были тогда мои физические потребности и как умственные и сердечные нужды брали легко над ними верх.

Если желание Ваше попользоваться от духовной беседы от. Амвросия (а кстати, и со мной поближе познакомиться) довольно живо, то полагаю, что маленькие неудобства езды в 3-м классе и в открытой почтовой тележке в течение всего 7 часов — от Калуги до Оптиной — не могут Вас напугать.

Утешаюсь также мыслью, что Вы человек немецкой крови (на которую Вы напрасно немного ропщете). Я ужасно люблю аккуратность и считаю русскую распущенность и безалаберность полезной только в общеполитичес-

ком отношении. Именно в том смысле, что род наших пороков таков, что свобода нам вредна и равноправная легальность у нас едва ли привьется.

Если Вы приедете в Калугу утром, то можете с вокзала велеть себя прямо отвезти на почтовую станцию и к вечеру будете у меня. Если же пожелаете отдохнуть, покушать и т. п., то поезжайте в гостиницу „Рига". Хозяйку зовут Елена Филипповна Давингоф, очень любезная и умная крещеная жидовка и мне большая приятельница.

Жизнь здесь у меня Вам не будет ничего стоить, и я рассчитываю, что Вы погостите у меня по крайней мере 10—15 дней, если больше нельзя.

Человеческий ум не вмещает в слишком короткое время достаточное количество прочных впечатлений, а мне бы хотелось, чтобы жизнь в Оптиной оставила их у Вас побольше. Одно то уже надо взять в расчет, что от. Амвросий семидесяти пяти лет, очень слабый старец, обременен по [нрзб.] до изнурительности; надо успеть не раз с ним повидаться, когда же в 2—3 дня, „по-нынешнему", налету это успеть?

Принять от меня эти деньги так или иначе (как хотите) тоже, пожалуйста, не стесняйтесь. Иначе Вы меня огорчите. Я очень хочу Вас у себя видеть, и эта сумма теперь ничуть меня не обременяет. Наше свидание будет полезно, надеюсь, не только Вам, но и мне самому; так я сужу отчасти и по брошюрке Вашей, и еще более по Вашим письмам. В Ваши года я, ничуть даже не колеблясь, принимал денежные одолжения от И. С. Тургенева. Да и что в Ваши года! Служа еще так недавно в Москве и гораздо больше нуждаясь, чем здесь и теперь, я не стеснялся иногда Вашим же сверстникам (Кристи, Денисову и т. д.) обязываться какими-нибудь 25 рублями. Когда будут лишние, отдадите, а не будут лишние — и не надо! Что за пустяки это сравнительно с теми для нас обоих последствиями, которые могут произойти от Вашего сюда приезда! Приезжайте прямо ко мне, на оптинском пароме Вам покажут.

На последнее Ваше письмо с вопросом об отношениях национализма к демократии я начал было Вам отвечать, но вышла нечаянно целая статья, которую вместе здесь прочтем и обсудим. Не решится ли и Ник⟨олай⟩ Ал⟨ексеевич⟩ Уманов с Вами приехать? Может быть, он из деревни и привез деньжонок? Было бы прекрасно! Есть большая и покойная комната для двоих. А можно и врозь поместить, если оба не любите в компании спать.

До свидания. Ваш *К. Леонтьев.*

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

180. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

7 октября 1888 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Что касается до меня самого, то Ваше обо мне по этому случаю мнение могло бы показаться мне даже и очень обидным, если бы я хоть на минуту мог забыть, что „errare humanum est“* и что Тургенев был прав, когда заставил своего Базарова сказать Аркадию [1]: „Человек скорее поймет колебания эфира на Сириусе, чем то, почему другой человек так или иначе сморкается!“ Хотя это „сморкается“ очень скверно и относится к той именно „гоголевщине“, которая мне так надоела у всех „корифеев“ наших, но мысль о непостижимости, о неясности индивидуального нашего чувства для других людей выражена все-таки здесь очень наглядно. Откуда Вы это взяли, что я буду бранить Вас за то, что Вы женились, или сердиться на Вас?.. Плохого же Вы мнения о моем „религиозном“ чувстве! Я, кажется, при Вас сказал еще в Оптиной: „Раз от. Амвросий благословил, о чем же тут толковать?“ И в самом деле, после Вашей беседы со старцем я ничего не

* Человеку свойственно ошибаться (*лат.*).

говорил бы, если бы Авдотья Тарасовна [2] не вздумала сама, без всякого вызова с моей стороны (надеюсь, что Вы это обстоятельство хорошо помните), доказывать мне, что Вам жениться на ней очень выгодно, потому что у Вас „рубашки пропадали без нее“ и т. п. Я и теперь готов ей сказать, что так смотреть на Ваш брак — большая ошибка! И дай Бог для ее собственного достоинства, для ее собственного развития к лучшему, чтобы она яснее прежнего поняла, как много Вы ей приносите в жертву (или в дар, если слово „жертва“ Вам не по сердцу) и как мало она.

Привязанность, доброта, верность, честность нашлись бы авось-либо и в другой женщине и помимо ее, не вся же Россия развращена, зла и порочна. Хороших и добрых женщин у нас много... Но найти молодого человека даровитого, трудолюбивого, доброго с твердостью (а не доброго с бесхарактерностью, что весьма скверно!), молодого человека с будущностью и с положением в обществе, уже о сю пору достаточно (по годам и состоянию) почетным, и выйти за него замуж только через одну его привязанность и благородство, без всякого долга даже с его стороны,— это такая редкость и такое счастье для простой и бедной девушки, что лучше бы ей было „посмиреннее“ взирать на свою удивительную судьбу и не гордиться „благодеяниями“ рубашек, кухни и т. д. Авось-либо, это все и так обошлось бы... Конечно, она молода и, по-видимому, не лишена смышлености, и потому есть надежда, что она станет на настоящую точку зрения и достигнет скоро того, что про нее можно будет сказать стихом Майкова: „Ее живит смиренья луч!“

Мне ли не понимать всего „этого“, всех этих оттенков, когда я сам женился точно так же, по старой привязанности и без всякого долга на бедной и безграмотной девушке? Да, но я до сих пор с величайшей радостью и признательностью вспоминаю, что Лиза и вида не показывала, что она может быть мне особенно полезна, она просто-напросто не скрывала своей почти детской эгоистической радости, что вышла

замуж за человека давно любимого и вдобавок за „дворянина“, за „барина“, который ее из последнего наряжает и балует, не позволяя ей, однако, слишком много рассуждать. Да она и сама, слава Богу, рассуждать много не бралась ни обо мне, ни в обществе, ни даже со мною... Вот за это за все я ее высоко ценил и ценю, и если у нас позднее (гораздо позднее, после 8 лет согласной жизни) случились тяжелые распри, о которых мне до сих пор больно вспоминать, то вина была моя, а не ее! Оттого-то я и несу так покорно и даже весело под старость крест ее теперешнего слабоумия, ее неопрятности и т. д. Бог наказал меня, а она своего состояния не чувствует, слава Богу, и старость ее гораздо веселее, счастливее и беззаботнее моей...

Лиза, говорю я, смолоду не бралась много рассуждать, хотя далеко не была глупа, она зато имела женский „такт“ в те года (до последнего несчастного душевного переворота) прежде всего заботиться о „внешности“ своей. И это очень важно, ибо, если муж по доброте и по привычке снисходителен к этому, то на посторонних невнимание молодой женщины к внешности, к манерам, к выбору выражений в разговоре, к щеголеватости даже дома, наедине, производит всегда более или менее удручающее и унылое впечатление, которого, живя в обществе, надо как огня избегать. Товарищи и вообще посторонние люди в глаза этого не скажут и не должны говорить, не имеют права соваться не в свое дело. Если же я позволяю себе это говорить даже ей в глаза, то это потому, что я сознаю, до чего и желание Вам всякого блага и всякого, даже и внешнего, улучшения во мне искренне и сильно; да и потому еще, что я в ней сразу увидел женщину безукоризненно хорошего сердца, прямую и добрую, которая примет мои слова как следует. Хоть ей и досадно будет сначала, ну а потом поймет, что я от избытка дружбы к любимому ею же человеку строг и требователен к ней... Да! Поменьше воображать, что она Вам полезна,— это раз; не так смело

в обществе рассуждать, а больше прислушиваться и присматриваться, „век живи — век учись“ — это два (муж будет со временем иметь видное общественное положение, он уже и теперь известен многим людям в обществе, высоко по званию или по талантам стоящим); третье: в кофточках целые дни дома не ходить (и не принимать в этом виде Уманова, Тиличеева [3], ни даже дворника!), папирос на пол не бросать, „прóценты“ и т. п. не говорить, а просить мужа поправлять с глазу на глаз, ибо лучше, эстетичнее совсем даже не знать, что такое проценты, чем знать и говорить „прóценты“...

Ну, а моральное ее „устроение“, как говорят монахи, вообще очень хорошее. Надо только постараться, чтобы оправдать на деле слова о. Амвросия: „она — девушка приличная и вас не осрамит!“ ⟨...⟩

Читали ли Вы статью „Московских ведомостей“ о Владимире Соловьеве [4] и об книге на французском языке „Русская идея“? Жалко! Потерян он для православия и России — перешел через край! Хочу ее выписать — книгу эту. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПБ, 1911. С. 46—53.

[1] *Базаров и Аркадий* — персонажи романа И. С. Тургенева „Отцы и дети“.

[2] *Авдотья Тарасовна* — невеста, впоследствии жена А. А. Александрова.

[3] *Тиличеев* — неустановленное лицо.

[4] *Читали ли Вы статью „Московских ведомостей“ о Владимире Соловьеве...* — В 1888 г., находясь в Париже, Вл. С. Соловьев прочитал в салоне кн. Витгенштейн (урожд. Барятинской) доклад „Русская идея“, который затем был издан на французском языке (русский перевод появился только в 1911 г.). Основная мысль Соловьева заключалась в том, что историческим призванием России является воссоединение восточного и западного христианства под главенством папы римского. Брошюра Соловьева встретила ожесточенные нападки консервативной

прессы. Сам Соловьев и его друзья опасались, что ему или не разрешат въезд в Россию, или он будет сослан. Статья, о которой писал К. Н. Леонтьев, появилась в „Московских ведомостях“ 30 сентября 1888 г. Анонимный автор писал: „Два первоклассных русских писателя нашего времени, граф Лев Николаевич Толстой и Владимир Сергеевич Соловьев, стали в ряды самых фанатических врагов Православной Церкви, внося авторитетом своего имени бесконечную смуту в нашу так называемую интеллигенцию, уже без того легкомысленно шаткую в своих убеждениях. ⟨...⟩ Втоптав в грязь всю православную Россию, г. Соловьев вступает в свою роль боговдохновенного пророка и провозглашает свою „Русскую идею“, долженствующую указать России на ее историческую миссию и спасти ее из мрака „варварского идолопоклонства“. „Идея“ г. Соловьева удивительно проста, ясна и изящна. Вот ее кощунственная сущность: Россия должна осуществить на земле царство Св. Троицы: роль *Отца* должен принять на себя папа Римский как представитель прошлого, роль *Сына* — русский царь или вообще государственная власть как представительница настоящего и, наконец, роль *Духа Святого* выпадает на долю „Пророков“, то есть на долю г. Соловьева и ему подобных как представителей будущего“.

Книга Вл. С. Соловьева была представлена папе и одобрена им. К. Н. Леонтьев выступил с пространной статьей „Владимир Соловьев против Данилевского“ в газете „Гражданин“ (1888. 8, 11, 14, 16, 21, 2 апреля; 1, 9, 18, 21, 28 мая и 2 июня), в которой пытался смягчить общее неблагоприятное впечатление от высказанных Соловьевым идей. О благожелательно-пристрастном отношении К. Н. Леонтьева к Вл. С. Соловьеву свидетельствует и позднейшее письмо славянофила А. А. Киреева к С. А. Петровскому: „К. Н. Леонтьев пишет, что *в сущности* согласен с моей критикой на его (Соловьева.— *Д. С.*) брошюру, но выгораживает Соловьева и папу (!), удивительно, как все это укладывается у него в голове?! За патриарха стоит, за православие и выгородить хочет папу, т. е. злейшего врага и православия, в России!“ (ЛБ, Петр. 1/64.)

181. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

10 октября 1888 г.

Ответ твой не делает тебе чести. Прескверного духа!

Сестру ничуть не подозреваю в возбуждении твоих дурных чувств.

Собственной твоей бестактности, полагаю, оказалось достаточно для такого ответа.

Лихорадка у тебя была в 40 лет и у меня была 2 года (в Турции) тоже в 40 лет; у кого же молодость? Что за бредни! Ну, и положение это тоже недурно!*

Как хочешь, только не спеши заноситься; я уверен, что рано или поздно совесть-то заговорит в тебе. И ты раскаешься, сознавши, что я был в этом случае прав.

А пока, чтобы избегнуть от тебя наставлений, как мне писать, открытыми или нет... и т. д., я ни с какими более просьбами к тебе обращаться не буду и совсем тебе писать ни о чем не стану. Тем более что ты твоими словами („прошу (!!) Вас о нуждах в открытых письмах мне не писать. К чему это?“) хочешь дать мне почувствовать, что ни морально, ни вещественно более во мне не нуждаешься. Ну, что ж! Насильно мил не будешь. Благодарствуй!

Когда же ты почувствуешь, что ты ошибся и что почему-нибудь ты во мне опять нуждаешься так или иначе, пиши смело. Сделаю, что могу, охотно. И такой „лихорадки“, как у тебя бывает, когда нужно вовремя ответить, у меня, Бог даст, не случится.

А уж принимать мне уроки от тебя, как писать, поздновато! Не прогневайся.

Сестра твоя душу свою за меня полагала, да и то я не „понес“, что она в последнее время уроков моих не принимала, а мне беспрестанно давала наставления. А ты хоть

* Даже и лежа в постели, в горизонтальном положении, можно ответить, если есть совесть. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

и очень хороший человек (когда у тебя нет febris*, лени и жоповатости**), но ее истинно великих, прежних и незабвенных заслуг передо мной не имел и не имеешь. Вероятно, и не претендуешь на это?

Ну, прощай... человек с „достоинством“ и „независимостью“. Помози тебе Господи!... А уж я теперь буду подальше и поосторожнее...

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] *Юлиан Богоотступник* (331—363) — римский император, автор трактата „Против христиан“, сторонник веротерпимости. В его правление произошло кратковременное возрождение запрещенных языческих культов.

182. Н. Н. СТРАХОВУ

26 октября 1888 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Одно для меня стало несомненным: эмансипация есть разрушение, революция.

К сожалению, цензурные условия, которым я, впрочем, всегда охотно готов покоряться, не позволяют мне высказаться до конца. Сущность моего общего взгляда такова: либерализм есть революция; социализм —[нрзб.] создание будущего, „грядущее рабство“, по выражению Спенсера [1]. „Рабство“ в самом широком смысле этого слова, т. е. глубокое, новое неравенство прав.

Не мы ли ответим на этот вопрос? И Достоевский полагает, что мы решим вопрос экономический. Но на это

---

* Горячка (*лат.*)

** Кабы почта это приняла, написал бы в открытом с точками ж. п. в. т. ст. Жаль, что не попробовал. Зашипи теперь: „Што это! Ш дядей невозмошно дело иметь...“ И выстави бороду вперед, как Юлиан Богоотступник [1]. У него, говорят, борода тоже вперед торчала. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

надо века. А пока, чтобы не испортиться, достаточно строгого охранения, реакции. По крайней мере, этоповернее. 〈...〉

Публикуется по автографу (ГПБ).

[1] Герберт *Спенсер* (1820—1903) — английский философ, психолог и социолог. В трактате „Человек против государства" (1884), в русском переводе „Грядущее рабство", выступал против государственного вмешательства и регламентации, которые, по его мнению, вели к рабству индивидуума.

183. И. И. ФУДЕЛЮ

28 октября 1888 г., Оптина Пустынь

〈...〉 Именно для крестьян нужна любовь деспотическая и забота принуждающая. Для воли они, видимо, не созданы. 〈...〉

Насчет письма. Очень рад, что Оптина произвела на Вас хорошее впечатление (мне и Уманов пишет то же об Вас); но насчет эстетики и нравственности — я просто и не понимаю Вас!

Если, как Вы утверждаете, многие мыслители находили, что все прекрасное нравственно, и наоборот, то я их с этим не поздравляю! Тогда бы жить было очень легко на свете! Не было бы той христианской борьбы, посредством которой человек с развитым вкусом беспрестанно должен эстетику приносить в жертву морали. Я знаю, что есть люди (например, Хомяков), которые находят, что мораль и есть высшая эстетика. Но я нахожу, во-первых, что это во многих случаях вопрос темперамента или натуры, а во-вторых, что такое обобщение слов и понятий только затемняет дело.

Больше спорить не расположен об этом, тем более что беды большой нет мыслить так, как Вы. Пожалуй, это даже и удобнее для практической жизни. Но если этот вопрос

Вас интересует по существу своему, то сходите к Влад⟨имиру⟩ Андр⟨еевичу⟩ Грингмуту [1]. Он об этом отлично умеет говорить. Лишь бы он удосужился, а то я, который знал такое множество людей, не помню никого, кто бы именно по этой части меня так бы удовлетворял! Его высоким инстинктам в этом отношении помогает и начитанность, ученость, до которой мне далеко и которой у меня, слишком много жившего по разным местам и в самых переменчивых условиях, и быть не может.

Если Вы поговорите с ним об этом, Вы мне доставите большое удовольствие. ⟨...⟩

Как хорошо, что Вы немец по крови и русский по духу. И Грингмут тоже. Не люблю я нашу чистую русскую кровь! Любил прежде крепко, но беспорядок, бесхарактерность, неустойчивость надоели смертельно! ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] Владимир Андреевич *Грингмут* (1851—1907)— публицист, педагог, общественный деятель консервативного направления. По окончании историко-филологического факультета Московского университета слушал лекции в Берлине и Лейпциге. Преподавал греческий язык в катковском Лицее, где позже был директором. Как ученик и друг М. Н. Каткова, являлся ближайшим сотрудником „Московских ведомостей", а с 1896 г. до конца жизни был их редактором-издателем. В 1905 г. основал Монархическую партию и выступал против нового конституционного строя.

184. Н. А. УМАНОВУ

30 октября 1888 г., Оптина Пустынь

Очень был я рад Вашему письму, милый мой Николай Алексеевич! Очень хорошо Вы сделали, что вспомнили „Оптинского отшельника"! Другой раз только не рвите письма, может быть, уничтоженные были еще лучше этого? Зачем Вы все в каком-то смятении? Молитесь Богу почаще,

а сами не робейте и не смущайтесь и будет легче жить на свете.

В том, что Вы решаетесь поступить в Пензе на службу, беды никакой не вижу и Вашего негодования на провинциальное общество совсем не принимаю.

Губернские города я знаю и люблю гораздо больше, чем столицы. Почему это в Пензе только непременно так дурно, не понимаю! По-моему, жизнь, например хотя бы в Калуге, гораздо занимательнее и приятнее, чем постоянное вращение в кругах редакторских, литературных и ученых. Я с ранних лет смотрел на это последнее общество как на неизбежное зло, как на легкий источник для справок и отчасти как на средство для целей практических. Не понимаю! Смотрите — не предубеждение ли это? Надо уметь видеть и хорошее, отыскивать его вовсе не так трудно. Много значит и то, каков сам человек в обществе. Говорите сами о предметах высших и поверьте, что многие отзовутся. Многие как-то стыдятся сами начинать беседы о высшем; я везде и во все года умел побуждать к этому других, и мне никогда не бывало скучно. Поэзия есть более или менее везде в жизни, а если мы не будем „чуять" ее в жизни, а все в книжках искать — так это плохо! ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

185. Н. А. УМАНОВУ

28 ноября 1888 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Судьба Александрова меня самого очень печалит. Но заметьте, что он приезжал сюда благословиться у отца Амвросия (все успели побывать здесь, кроме Вас и Денисова!)... И от. Амвросий благословил. Александров, видимо, и сам сомневался и поэтому решился принять решение старца как Волю Божию. Старцы же имеют в виду обыкно-

венно не счастье, а загробное спасение наше. С житейской же стороны они стараются только не налагать на нас „бремена неудобоносимые“. Человеку, у которого он видел бы преобладание эстетики над моралью, он (от. Амвросий), вероятно, не благословил бы, ибо ведь по известным Вам обстоятельствам ее прошлого и по неимению детей — прямого долга жениться тут и со строго христианской точки зрения не было. Можно было пресечь блуд с нею, и если жить долго воздержанно не можешь, то искать получше невесту. Но, видно, от. Амвросий быстро угадал то, что Вы, зная Александрова, про него говорите: „все перетерпит и ни на Бога, ни на духовника не возропщет и втайне“. У него, хотя он и поэт, но мораль гораздо сильнее эстетики.

Впрочем, верно то, что она девка добрая и прямая. Именно девка, а не девушка, и тем более не „девочка“! После венца она неожиданно при всех упала ему в ноги... Это, как хотите, ее сердце рекомендует!

Ну, а относительно „изящества“ я с Вами совершенно согласен. Что делать! 〈...〉

Фудель действительно молодец, человек смелый, твердый и с ясным умом. Я недавно еще перечитал его книгу о молодежи. Много там хорошего. Надеяться только на „любовь“ в русской общине не надо, нужно проповедовать любовь, ибо ее очень мало, но не надо ее пророчить, чтобы без пользы не разочароваться горько. Это благородные бредни Аксакова, Достоевского, О. Миллера. Особенно этот „мужик Марей“ [1], помните. Очень это мило, но и очень мало. 〈...〉

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] *„Мужик Марей“* — герой одноименного рассказа Ф. М. Достоевского, воплощающий в себе доброту и отзывчивость русского народа („Дневник писателя“, 1876, февраль).

186. И. И. ФУДЕЛЮ

2 декабря 1888 г., Оптина Пустынь

Если это вы, Осип Иванович, написали статью в „Русском деле“ [1] об Арх. Антонии [2] и Льве Толстом, то поздравляю Вас. Поздравляю! Вы молодец! И если много у нас будет таких юношей, как Вы, у России есть будущность. Прав Уманов, возлагая на Вас большие надежды. Даже и то, что Вы обо мне мимоходом сказали, я считаю искусным выбором, ибо в этих словах моих самая сущность моего взгляда на заблуждение Толстого: вера его в собственное сердце, вдобавок по личному настроению вовсе не особенно доброе.*

К. Леонтьев.

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] ...статью в „Русском деле“...— В газете „Русское дело“ (1888, 28 ноября) была опубликована за подписью „Ф“ обширная хвалебная рецензия на беседы иеромонаха Антония „О нравственном превосходстве православного понимания Евангелия сравнительно с учением Л. Толстого“ („Церковный вестник“. 1888. № 32—37).

[2] *Антоний* — См. примеч. 4 к письму 218.

187. И. И. ФУДЕЛЮ

14 декабря 1888 г., Оптина Пустынь

Дорогой Осип Иванович, сам я вовсе не выезжаю, но я послал о. Амвросию на прочтение те страницы Вашего письма, которые касаются Вашего священства, и получил

* Есть множество доказательств тому, что граф вовсе не добр. Очень многие и спроста, и неспроста гораздо добрее его. Старая-престарая песня: все гордость, вера в себя. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

через одно монашествующее лицо (пользующееся его полным доверием и во многих случаях исполняющее его самые важные поручения) следующий ответ: „О. Амвросий благословляет Вам очень охотно и безотлагательно заняться этим делом и уверен при этом, что даже никаких препятствий особых этому не встретится. Советует прежде всего прямо обратиться к Московскому митрополиту и объяснить ему все откровенно". 〈...〉

Мне-то вовсе не хочется, чтобы Вас послали на какие-нибудь „окраины" для борьбы с иноверцами. Это, конечно, важно, но в 100 раз важнее действие прежде всего на образованных людей нашего великорусского столичного общества... В нем ведь вся суть вреда и пользы, а не в мужиках, не в униатах и не в камчадалах. По моему взгляду, пять-десять людей, особенно мужчин, того общества, к которому мы с Вами принадлежим и которых Вы заставите для самих себя веровать, не стыдиться страха наказания Божия и молиться, стоят 1000 мужиков, 500 униатов простого звания и многих, очень многих якутов и алеутов! Не увлекайтесь также поэзией „сельского" народничества. Я ее сам, разумеется, пережил и понимаю, но опыт и более зрелая религиозно-практическая мысль раскрыли мне глаза на эту мысль, простую, как всякая широкая и глубокая мысль: в нас, в нас все дело, вся сила; а на нас-то трудно действовать по многим причинам, а больше всего по непобедимому дотла во всех нас позитивизму. Проникнуться мистической стороной учения, как проникнуты им были люди в старину и как теперь хорошие монахи и многие хотя и очень простые, но верующие крестьяне, нашему обществу очень трудно. Но зато в случае удачи при нашей собственной искренности и при помощи Божией один председатель суда, один полковник, одна княгиня, один профессор или писатель полезнее для Церкви шириной своего влияния, чем целое многолюдное село, которого жители обойдутся и без „благовоспитанного", идеально настроенного и университетски обученного свя-

щенника. Высшему и среднему образованному обществу претят семинаристы, даже и хорошие. Это чувство вошло в привычку, дошло до несправедливости, до глупости, пожалуй. Но оно есть исторический факт, что делать. Не забывайте этого. И если Вы бы в чем-нибудь оказались бы и менее святы, чем монах несовременного воспитания или священник из „духовных“, то все-таки образованный человек Вам больше поверит, чем им, а под Вашим влиянием он дойдет и до просвир, и до чтения „житий“, и до самого того святого старца, к которому он без Вас бы и не пошел. Свой опыт вернее. „Sapienti sat!“*.

Вы прекрасно делаете, что пишете о Киреевском. Конечно, он грешит тем, чем все тогда грешили, слишком философски, слишком по-„германски“ местами выражается. Неясно, недоступно, но есть зато у него истинные жемчужины чувства и мысли. Обратите внимание на место (стр. 101 1-го тома, письмо к от. Макарию [1], в конце), где он приводит мнение св. отца (Максима Исповедника?!) [2], что любовь (к Богу, конечно) состоит из вожделения и страха. Это не он говорит; но и то хорошо, что упоминает.

Полагаю, что недурно было бы также воспользоваться, если ход Ваших мыслей этому не препятствует, тем местом, где он говорит о „сети монастырей“ (стр. 220, т. 2, Библиография). Тогда страдания были одного рода, теперь другого, но именно для современного рода горя и страданий лучшей стороной могли бы служить хорошие монастыри, если бы в монахи шло побольше просвещенных дворян. Хороша „простота“**, но не на всех она хорошо действует, многих людей тонких она отталкивает и внушает ту мысль, „что этот простой человек не то чувствует, что я“. И мне нужно было ознакомиться с Хомяковым, Аксаковым и

---

* Для понимающего достаточно (*лат.*).

** Я говорю о простоте внешней, конечно, а не о высокой простоте сердца, могущей быть у самого светского человека. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

некоторыми католиками, чтобы захотелось ехать к святым из русских купцов и греческих мужиков. К афонским я скоро привык, по возвращении в Россию мне даже и к повиновению отцу Амвросию трудно было привыкнуть. Помог человек моего круга Константин Карлович Зедергольм, в монашестве о. Климент! Ему я невыразимо обязан! 〈...〉

Ну, прощайте! Поздравляю Вас с приближающимся Рождеством и Новым годом, а еще более с благословением от. Амвросия вступить на прекрасный избранный Вами путь. Дай Бог мне дожить до того, чтобы Вы в цветной хорошей рясе меня посетили здесь и чтобы я поцеловал Вашу пастырскую ручку! 〈...〉

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] *Макарий* — в миру Михаил Иванов (?—1860), старец Оптиной Пустыни, из дворян. Духовник И. В. Киреевского.

[2] *Максим Исповедник* (582—662) — учитель церквн, богослов, знаток античной фнлософии. Занимал в Константинополе придворные должности. Во время религиозных распрей подвергся гоненням и после урезания языка и отсечения правой руки был отправлен в ссылку, где и умер.

188. К. А. ГУБАСТОВУ

22 декабря 1888 г., Оптина Пустынь

〈...〉 О Мейера лексиконе [1] скажу вот что. Вы правы: такой суммы — около 100 р〈ублей〉 с〈еребром〉 я за книгу заплатить не могу... Не потому, что у меня не бывает лишних денег, но потому, что я теперь просто помешался на уплате долгов (старых). И упорно на этом стою. А их у меня, как Вы знаете, немало везде. Я уже за эти полтора года выплатил около 1500 (1700) и с передышками продолжаю (я думаю, Вы ушам или глазам своим не верите!). Да,

мой друг: „Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas!“* Жизнь моя теперь до того тиха и однообразна, что как пошлешь кому-нибудь каких-нибудь 25—30 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩, о которых он уже и забыл, так уж это своего рода сильное ощущение! Других сильных ощущений у меня нет (т. е. нравственных, физические есть — бессонницы, нервные боли, кашли и т. п.). ⟨...⟩

⟨...⟩ ...Не литература может дать мне теперь эти приятные сильные ощущения, а многое другое: прогулка по оптинскому лесу с приятелями, беседа с о. Амвросием, политические известия в моем духе (например, известная телеграмма государя князю Баттенбергскому [2], смерть либерального Фридриха III [3] и воцарение опрометчивого Вильгельма II, который, того и гляди, доведет до войны, которой я так жажду для окончания восточного вопроса и т. д.).

В число этих-то приятных и сильных ощущений я помещаю и расплату с долгами. Но и она была бы быстрее и совершеннее, если бы не было того, о чем Т. И. Филиппов (без подписи) выразился печатно так: „Размеры литературной известности Леонтьева вовсе не соответствуют силе его замечательных и разнообразных дарований“ и т. д. Было бы больше так называемой „славы“ — было бы больше денег, были бы скоро уплачены все долги (я думаю, что и всего-то их у меня, считая и банк, и банкиров, и всяких Варзелли [4] в Турции 8—9000, и даже Вас!). И так как мне самому-то лично вполне достаточно (здесь) того, что я получаю от казны, то сколько бы я сделал добра другим! Делаю я его понемногу и теперь, да все это так ничтожно! Но ясно, что тут рука Божия! Видно, ни мне, ни тем, кого бы я хотел облагодетельствовать, не на пользу душевную были бы эти излишние деньги. Конечно, я теперь веселиться и мотать уже по одному страху Божию охоты не имею и физически для этого слишком ослабел, но делать добро en

* Дни сменяются, но не походят друг на друга (*фр.*).

grand* другим — такое наслаждение само по себе, что Богу, видно, не угодно, чтобы последние годы мои были слишком веселы и чужою радостью. Так думают монахи, и я вполне разделяю их образ мыслей в подобных случаях. Господь знает меру нашу! Именно деньги как результат славы, а не сама слава; выше я потому и приписал „так называемая", что нынешние формы литературной славы мне ужасно не нравятся. Некрасиво. Я понимаю, что когда кто-нибудь из наших генералов въезжал верхом в Адрианополь, например, с музыкой — так это хорошо. Но ведь это чувство разделял с начальником и всякий неизвестный офицер и солдат. Ну, а литература? ...„Вошел маститый (!) юбиляр (!) в черном фраке!.."— И к тому же они все такие дураки в этом отношении... Пишут поэзию, а сами ее не соблюдают в жизни. Натащат на юбилей старых своих жен и целое гнездо детей... и фраки, фраки, фраки. Очень некрасива физически нынешняя слава писателей. Вот слава и жизнь — это Байрона... Этому можно и позавидовать, и порадоваться. Странствия в далеких местах Турции, фантастические костюмы, оригинальный образ жизни, молодость, красота, известность такая, что одной поэмы расходилось в 2 недели по 40 000 экземпляров... Сама ранняя смерть в Миссалонгах, хотя бы и не в бою,— венец этой прекрасной, хотя, разумеется, и нехристианской жизни.

Не подумайте, что я говорю это потому, что „зелен виноград"— нет, я и теперь не прочь от славы, от похвальных статей и т. п. Я их желаю, не стыжусь сознаться; я — человек. Но я редко ошибаюсь в понимании чувств моих. И что же мне делать, если с годами все во мне постепенно перевернулось, и мысль о деньгах, даруемых славой, стала мне приятнее мысли о самой славе (т. е. такой, какая нынче доступна человеку при жизни). Я Вам сделаю сейчас одно очень тонкое, но весьма реальное психологическое примечание. Получишь газету, в которой

---

* Щедро, на широкую ногу (*фр.*).

с почтением или сочувствием помянуто мое имя. Приятно на минуту, но всегда невольно подумаешь: „Вот как поздно схватились!" и потом сейчас же: „Богу не угодно! После смерти больше оценят"... И только. Получишь деньги от Мещерского или от Берга или за Сборник [5]— тоже приятно при виде, во-первых, повестки... А потом целый ряд разнообразных удовлетворений: туда долг, забытый почти кредитором, послал, Лизавете Павловне что-нибудь дал — прыгает, несмотря на свои 50 лет, Варе подарок, платье, студенту бедному, но способному, 25 р⟨ублей⟩ на приезд в Оптину, Саше бархатную поддевку, нищим роздал, Марье Владимировне послал, себе новые книги купил, лошадь купил. Теперь что? Не „фразы" говорю? ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение". 1897. Март. С. 456.

[1] *Мейера лексикон* — немецкая энциклопедия, издававшаяся Библиографическим институтом Г. Ю. Мейера в Лейпциге во второй половине XIX в.

[2] *...известная телеграмма государя князю Баттенбергскому...*— После поражения Турции в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг. было образовано Болгарское княжество, престол которого занял русский ставленник немецкий принц Александр Баттенбергский (1857—1893). В Болгарии на протяжении ряда лет шла борьба партий, приведшая к разрыву с Россией. В 1886 г. князя Александра принудили к отречению от престола, но, благодаря действиям своих сторонников, он сразу был призван обратно. Понимая, что править против воли России невозможно, он обратился к императору Александру III с телеграммой: „Россия даровала мне корону, и в руки ее государя я готов вернуть ее". Царь отвечал: „Я буду воздерживаться от всякого вмешательства в то печальное положение вещей, в каком оказалась Болгария, доколе Вы остаетесь в ней". После этого князь незамедлительно отрекся от престола.

[3] *Фридрих III* (1831—1888)— король прусский и император германский.

[4] *Варзелли* — неустановленное лицо.

[5] Сборник — книга К. Н. Леонтьева „Восток, Россия и Славянст-

во“ (М., 1885—1886), составленная из статей на общественно-политические темы.

189. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

26 декабря 1888 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Поздравляю Вас с Рождеством и Новым годом и Авдотью Тарасовну также. На Новый год Вам желаю в критических статьях побольше смелости в переступании за черты общепринятого и избитого. В критике Гаршина Вы еще все ходите на цыпочках около этих черточек: войну не хвалите прямо, за военный быт в мирное время не вступаетесь, не пользуетесь всяким случаем прочесть мораль (нашу) недалекому все-таки автору и ослам читателям. Христианство в жизни Вашей личной уже настоящее, свято-отеческое, а в статье — еще видно, что сунулись было с евангельского кра́юшка да и назад... Нет, мол, „не хоцца“ говорить настоящее страха ради иудейского (т. е. хамского) и т. д.

Авдотье Тарасовне на Новый 1889 год от всей души желаю носить почаще корсет и вообще всего того, что органически связано с идеей корсета и с житейски-правильным произношением слова „проценты“. Орфография — это пустяки (для не-писателя), а comme il faut* разговора — ужасно важная вещь, которая, кстати сказать, и Законом Божиим нигде не запрещена. ⟨...⟩

Господь с Вами!

Церковь не забывайте... Небось, весь Рождественский пост, как хищные звери, мясо терзали? Мои все Вам обоим кланяются и ждут сюда летом. ⟨...⟩

---

* Светскость, благопристойность (*фр.*).

Впервые опубликоваио в журнале: „Богословский вестник". 1914. Июнь. С. 292—294.

190. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

17 февраля 1889 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Продолжаю радоваться за Фета и сызнова с большим удовольствием и чувством перечитывал все эти дни его старые (т. е. молодые) стихи; но его „Вечерними огнями"[1] восхищаться, как другие, решительно не могу! „Люблю тебя" (кх, кх!)... „Ты села, я стоял" (кх, кх, кх!)... Не понимаю! И совершенно согласен с Вольтером[2], который сказал: „Старая лошадь, старая возлюбленная и старый поэт — никуда не годятся. Я предпочитаю старого друга, старое вино и старую сигару!"

Хотел было я к первому письму (об одеждах, фраках и т. п.) прибавить и второе — о разнице между его утренними и вечерними огнями, с дружеским советом о любви умолкнуть; но, вообразите, о. Амвросий, узнавший от кого-то со стороны о моем намерении, прислал мне из скита запрет — сказал: „пусть уж старика за любовь-то не пронимает. Не надо". Я, конечно, очень охотно положил „дверь ограждення на уста мои". ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 59, 60.

[1] *„Вечерние огни"*.— См. примеч. 4 к письму 167.

[2] *Вольтер* (Фраисуа Мари Аруэ, 1694—1778)— французский писатель и публицист. Пользовался при жизни огромным влиянием в Европе и в России.

191. И. И. ФУДЕЛЮ

1 марта 1889 г., Оптина Пустынь

Дорогой Осип Иванович, я понимаю, что в открытых письмах Вам нельзя было сказать мне, зачем Вы едете в Петербург, но так как я принимаю живейшее участие в Вашей судьбе, то буду ждать нетерпеливо той минуты, когда время позволит Вам сообщить мне откровеннее и подробнее об этом неожиданном деле. Прилагаю при сем две рекомендательных карточки князю Мещерскому и Т. И. Филиппову. Можете и воспользоваться, и не воспользоваться ими по Вашему усмотрению. Насильно я Вам этих (по моему мнению, весьма пригодных Вам) знакомств не навязываю.

Мещерскому я, как видите, ни слова не упомянул о Ваших добрых намерениях стать священником, но Филиппов другое дело. Он специалист по церковным делам и сам лично человек весьма религиозный и способный поддерживать человека без всякого личного интереса, из-за одной идеи. Впрочем, чтобы Вас решительно ничем не связывать, я и Филиппову приготовил две карточки — одну с откровенностью, другую с умалчиванием. Я помню, что Вы желали сохранить в тайне Ваш план на том основании, будто бы „только одни тайные планы осуществляются“, и поэтому и даю Вам возможность поступить по-вашему или по-моему. Мой же совет — от Филиппова-то именно и не скрываться. Он человек с большим влиянием, с большим тактом и большой смелостью, при замечательно тонком и просвещенном уме. Если Господь присудит ему кончить жизнь обер-прокурором Св. Синода, то это будет большим благом для Церкви. Другого такого и не найдем! В настоящую минуту едва ли он может иметь прямое влияние на дела Церкви, потому что он, к несчастью, несколько лет тому назад с Победоносцевым [1] сильно рассорился (все за церковные же вопросы), и хотя, как я

слышал, теперь они будто бы несколько примирились, но все-таки непосредственное влияние, повторяю, теперь Филиппов едва ли может иметь. Но вес его слова, его мнения в Петербурге вообще очень велик, и он вдобавок человек придумчивый, умеющий находить разнообразные пути для достижения целей (я ведь не знаю, зачем Вы едете). Хорошо Вам ему представиться и быть ему известным. Кому же и знать его, как не мне, я могу назвать его прямо „благодетелем" своим. В течение десяти и более последних лет имя его связано в моей сердечной памяти почти со всем тем, что у меня было за это время хорошего и мало-мальски выгодного. И спокойствием моей старости, моей пенсией я более всех обязан ему. Идти к нему лучше всего в половине 10-го, в 10 утра*. Только ради Бога не прячьтесь слишком в Вашу раковину, говорите больше. Это, право, досадно, что в статьях Ваших в 20 раз больше ума и таланта, чем в Ваших разговорах. На все есть мера: хороши кстати осторожность и скрытность, но ne quid nimis**! На что уж у меня есть дар располагать людей к откровенности, но и то Вы в письмах, издали со мной откровеннее, чем в глаза. ⟨...⟩

„Жестоко слово сие"! Но кроме вас, трех —4-х юношей и Т. И. Филиппова вот уже более двадцати лет, как я не вижу ни в ком моим сочинениям серьезной поддержки! Пусть бы опровергали добросовестно и внимательно — я был бы и этим доволен. А то только и слышишь, что „оригинально"! Ведь это глупо, наконец. И сумасшедшие оригинальны, а я что ни скажу, то лет через 5—10—15 осуществляется! Грингмут в зависимости от Петровского [2] и боится. Петровский личный враг, упрямый, хитрый,

* Не забудьте, что он автор книги весьма важной: „Современные церковные вопросы", и что он в России первый (раньше епископов) стал против болгар за Вселенскую Церковь. Первый и один. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

** Ничего сверх меры (*лат.*).

ограниченный и в ненависти своей (личной) даже правый, ибо я действительно оскорбил его однажды. Что же касается до идей, то раз я осмелился находить, что Катков не во всем был одинаково прав, то, конечно, я в глазах Петровского пустой человек, самоуверенный мечтатель и т. п. ⟨...⟩

Здесь летом можно познакомиться с людьми всякого рода, начиная от сановников и придворных до юродивых и ка́лик перехожих! Только, разумеется, надо пожить, а не мелькнуть на недельку. Здесь от мая до октября жизнь несравненно полнее, разнообразнее и поучительнее, чем жизнь в столичном все том же ученом, среднем и литературном кругу. В Оптиной летом, особенно если взять ее вместе с Козельском, соседними деревнями и помещичьими усадьбами, с богомольцами как знатными, так и простыми, видишь в сокращении целую Россию, понимаешь, как она богата. А наша средняя жизнь в Москве, жизнь университета, редакций, типографий и „интеллигентных" товарищеских и семейных кружков — это-то и есть та самая буржуазная Европа, о которой я говорю. Это необходимое зло и только. А Оптина со всеми упомянутыми придатками и пестротой летнего приезда — это хорошая жизнь в современности.

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] Константин Петрович *Победоносцев* (1827—1907)— государственный деятель, юрист, профессор Московского университета, член Государственного Совета, обер-прокурор Св. Синода (1880—1905). Проводил консервативно-охранительную политику. Почти все русское общество крайне отрицательно относилось к нему. „Победоносцев, выдающегося образования и культуры человек, безусловно, честный в своих помышлениях и личных амбициях, большого государственного ума, нигилистического по природе, отрицатель, критик, враг созидательного полета, на практике поклонник полицейского воздействия, так как другого рода воздействия требовали преобразований, а он их понимал умом, но боялся по чувству критики и отрицания, поэтому он усилил до кульминационного пункта полицейский режим в православной церкви. Благодаря ему

провалился проект зачатка конституции, проект, составленный по инициативе графа Лорис-Меликова и который должен был быть введен накануне ужасного для России убийства императора Александра II и в первые дни воцарения императора Александра III. Это его, Победоносцева, великий грех; тогда бы история России сложилась иначе и мы, вероятно, не переживали в настоящее время подлейшую и безумнейшую революцию и анархию" (Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 1—3, М. 1960. Т. 2. С. 260). Свое мнение о К. П. Победоносцеве К. Н. Леонтьев высказал в одном из писем к Т. И. Филиппову: „Человек он очень полезный; но как? Он как мороз: препятствует дальнейшему гниению, но расти при нем ничего не будет. Он не только не творец, но даже не реакционер, не восстановитель, не реставратор, он только консерватор в самом тесном смысле слова; мороз, я говорю, сторож, безвоздушная гробница, старая „невинная" девушка и больше ничего!!" (Памяти К. Н. Леонтьева. СПб., 1911. С. 124).

[2] Сергей Александрович *Петровский* (1846—?)— юрист, сотрудник газеты „Московские ведомости". После смерти М. Н. Каткова — редактор-издатель этой газеты (1887—1896).

192. И. И. ФУДЕЛЮ

9 марта 1889 г., Оптина Пустынь

Дорогой Осип Иванович, третьего дня получил Ваше письмо и сегодня отвечаю. Хочется поскорее хоть чем-нибудь да утешить Вас.

Я вчера еще послал Ваше письмо к старцу, но, к несчастью, на второй неделе его простудили в келье холодными одеждами и тому подобными неосторожностями, и он вдруг до того ослабел, что монастырское начальство послало за опытным и хорошим врачом в Калугу. Все мы были очень смущены (ибо им одним почти держится дух этой обители), но, слава Богу, опасность миновала, а только он еще так слаб, что доктор не советовал допускать его в течение 2-х недель заниматься делами паствы. Вот поэто-

му приближенное к нему лицо не решилось вчера передать ему на прочтение Ваше письмо. Дело Ваше, впрочем, до того важно (не для Вас одних, но и для всякого человека, преданного православной Церкви), что, конечно, от. Амвросий при первой возможности займется им. Большим облегчением служит и Ваш четкий, „бисерный“ почерк. Старцу будет легко и самому Ваше письмо прочесть.

Я дело не затяну, это не в моем духе, и Вы можете быть уверены, что я все другое оставлю, а Вас извещу тотчас же об его ответе.

Пока я не знаю взгляда от. Амвросия, я ничего сам решить даже и „про себя“ не могу; но, зная его систему, думаю, что он одобрит Вас и посоветует только немного обождать. Вспоминаю при этом слова Христа: „Кто любит отца или матерь больше меня, несть меня достоин“.

Разумеется, это хорошо, что мать Ваша горяча, но отходчива. Климент Зедергольм против воли отца перешел в православие, а кончилось тем, что отец-пастор согласился и на переход матери в православие. В моей книге [1] этого нет, но я узнал об этом позднее. Н. И. Субботин [2] напечатал потом позднее подробно о переходе его в православие. Правда, протестанты гораздо податливее католиков; но Бог милостив, дело обойдется, я уверен. Дьявол немедленно начинает класть препятствия на пути того, кто горячо стремится ко благу. Не оставит Вас Господь! Он увенчает Ваши усилия победой.

Все Ваши возражения мне насчет столиц и удаления я одобряю. Другое дело общий взгляд, и другое дело Ваш частный случай. Раз Вы заботитесь прежде всего, чтобы самого себя утвердить и духовно развить, то Вы совершенно правы. Вы беретесь за самый корень дела, и это делает большую честь Вашему духовному настроению. Держитесь его; Вы правы, рассчитывая на то, что и влияние не уйдет, если Вы будете его достойны. И я, когда поехал в 71 году на Афон, то мне было не до влияния, я думал о себе, о своих грехах, о своем неверии, о своем тогдашнем отчая-

нии, и когда я сам, с Божьей помощью, утвердился в верованиях и в познании учения, то и влияние откуда-то само собой пришло, несмотря даже на то, что в то время я еще весьма сильно был борим разными страстями и привычными пороками. Когда я противополагал Вам влияние на высшие классы влиянию на 5—6 крестьянских общин, я противополагал две ветви одного корня друг другу и находил, что на одной будет больше плодов, чем на другой. Но Вы хотите взяться крепко за корень, и мне остается только восхищаться быстротой и силой Вашего духовного роста. Помози Вам Боже! Прибавлю еще и то, что большая разница для Вас служить священником при монастыре (пускай и женском) и быть приходским священником в крестьянской среде. Чичерин [3] (человек, кажется, не особенно православный), однако в своей книге (история политических учений) [4] называет монашество идеализмом христианства. Он умный и ученый человек и ⟨я⟩ вынужден так назвать его. Если современное русское монашество плоховато, то это касается не учения его, а зависит больше всего от того, что люди в него теперь идут не лучшие, а кой-какие. И через это среднего уровня монахи не могут, так сказать, лично особенно нравиться людям развитым и сильно влиять на них. Нужны истинные прозорливцы и особенно одаренные люди, чтобы влиять на нас, как влияет, например, от. Амвросий. Да и то не без предварительной подготовки светскими людьми высокого образования. Не знаю, например, так ли бы легко повлиял на меня от. Иероним Афонский (старооскольский купец образования 20-х и 30-х годов!), если бы меня хоть немного не подготовили славянофилы и некоторые даже католические писатели. Но как бы ни был плох средний уровень монахов, он и в понимании учения и в нравственной дисциплине несравненно выше среднего уровня крестьян. Я ведь знаю хорошо и тех и других, и стоит только сравнить крестьянина немонаха с монахом из крестьян, чтобы видеть уже огромную разницу в степени христианского рассуждения,

если не в степени христианской морали. У монаха из мужиков есть уже ясный идеал — покаяния и смирения, и при самой грубой выработке слышишь эти слова; у мужиков некоторый вид смирения придается гораздо больше внешними условиями нужды, физического страха перед начальством (даже и теперь), чем памятью об учении. В монастыре живешь в воздухе учения, даже и тогда, когда этот воздух не слишком чист и свеж. Это грустно иногда, но так было и в лучшие времена христианской древности, Вы узнаете это из житий Святых и из аскетических писателей. И тогда жаловались на пороки монахов. Но ведь и крестьяне наши большей частью очень порочны (Вы сами это говорите в брошюре Вашей). Но при этом разница между селом и монастырем та, что в монастырях воздух имеет (для нас) $^3/_4$ кислорода и $^1/_4$ азота, а в деревне наоборот — $^3/_4$ азота и $^1/_4$ кислорода.

Когда я писал Вам в пользу столицы, то я сравнивал ее не с монастырем (о котором и речи не было тогда), а с крестьянским сельским приходом. И теперь скажу, столица (для священника Вашего образования) лучше деревни, но монастырь, конечно, лучше и того и другого, особенно для начала, для того утверждения, о котором Вы говорите.

Боюсь только, что пока будет продолжаться у Вас борьба с римским фанатизмом матери, в Лесной монастырь возьмут другого... Я очень рад, что Вы познакомились с Иванцовым-Платоновым [5]; это весьма ученый и образованный человек; прежде, подобно многим нашим ученым „белым" иереям, он, кажется, был против монашества. Но за последние годы повеял такой дух, что многие люди стали быстро изменять свои взгляды к лучшему. Берегитесь только его либерально-славянофильского оттенка. Все-таки этого нельзя в зрелые годы скоро и дотла выкурить из человека.

Я всегда так говорю: „Учреждения пусть будут суровы; человек должен быть добр". Вот христианство. Замечу еще одну не очень утешительную для природы человека черту,

но, я думаю, очень верную психологически: „При суровых законах и обычаях и доброта-то легче". Немного и нужно, чтобы быть уже добрым христианином. Например, при рабстве: прибил раба за дело и умеренно, без внутреннего ожесточения, и то уже и рабу хорошо, и он говорит: „справедливый господин!" И рабовладелец прав и добр и даже, может быть, и подвиг самовоздержания, рассуждения и любви совершил. а когда два свободных хама, один богатый, а другой бедный, приходят в столкновение и ввиду мировой судья, то что же выходит? Богатый не бьет не по страху Божию и любви, а по страху человеческому, а бедный фыркает и ничем не доволен, все ему мало! Кстати сказать: не подумайте, что я оплакиваю крепостное право по личному интересу. Вы жестоко ошибаетесь. Я никогда сам крепостными не владел и над ними не начальствовал и даже постоянно смолоду зря воевал за них с матерью.

Позднее некрепостных я стал иногда бить. И с Божьей помощью раза два случилось, что и Господь оскорбителей бил с отменною опасностью, но с успехом. В этом не особенно каюсь.

Говорю же я о суровости законов и личной доброте — вообще, чтобы резко отделить идею христианской гуманности от юридического свободолюбия.

Суровые нравственные законы, смягченные личным христианством и тонкой образованностью высших классов,— вот мой идеал для России ближайшего будущего. И больше ничего!

Обнимаю Вас крепко и Евгении Сергеевне [6] кланяюсь.

В брошюре моей есть несколько грубых опечаток: на стр. 6, 12, 28 и 43-ей. Объяснить их здесь не в силах. Сами смекайте, коли есть охота.

Ваш *К. Леонтьев.*

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] *В моей книге...*— Леонтьев К. Н. О. Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни. М., 1882.

[2] Николай Иванович *Субботин* (ок. 1827—1905)— профессор Московской Духовной академии, автор трудов по истории русской церкви, посвященных преимущественно расколу.

[3] Борис Николаевич *Чичерин* (1828—1904)— теоретик государства и права, историк, публицист и общественный деятель. Ученик Т. Н. Грановского. Профессор Московского университета. Крупный помещик. Был московским городским головой.

[4] *...в своей книге...*— Имеется в виду кн. Б. Н. Чичерина „История политических учений", ч. 1—5 (М., 1869—1902).

[5] Александр Михайлович *Иванцов-Платонов* (1835—1894)— протоиерей, богослов и проповедник, профессор Московского университета. Автор многих трудов по истории христианской церкви. Был близок к славянофилам.

[6] *Евгения Сергеевна* — жена И. И. Фуделя.

193. И. И. ФУДЕЛЮ

14 марта 1889 г., Оптина Пустынь

Спешу, дорогой Осип Иванович, передать Вам ответ от. Амвросия: 1) насчет матушки Вашей — не слушайтесь, не беспокойтесь, идите своей дорогой, а когда она будет говорить: „Мне через тебя католический священник причастия не дает", то отвечайте ей: „Тем лучше, я Вас тогда сам причащу!" Это собственные слова от. Амвросия, которые он благословляет Вам смело ей сказать. Доверенный его инок, через которого я к нему вынужден был (благодаря моему неизменному зимнему затворничеству) обращаться, прибавляет, что от. Амвросий очень оживился под впечатлением Вашего письма, принял все это дело горячо к сердцу и, видимо, верует, что мать Ваша, именно благодаря Вашему священству, сама перейдет в православие. Я очень всему этому и за Вас, и за дело рад.

2) Насчет женского монастыря, напротив того, я вынужден несколько Вас огорчить. От. Амвросий решительно

не советует по молодости Вашей брать это место. Посредствующий инок (еще до разговора с батюшкой), когда только получил от меня Ваше письмо с инструкциями, от себя сказал мне, что едва ли от. Амвросий благословит в женский монастырь, потому что к такому молодому священнику молодые монахини не станут откровенно обращаться. Да и вообще не годится. Меня это как светом самого озарило! Я думал только о Вашем настроении, а об настроении монахинь вовсе забыл! В этом я грубо и непростительно ошибся! И гораздо чувствительнее так ошибаться женатому теоретику Иванцову-Платонову, чем мне, который 18 уже лет состою недостойным учеником практически духовных старцев. Вспоминаю теперь, кстати, что я часто слыхал и прежде, что не только очень молодые, но вообще женатые священники не очень-то годны для монахинь. Спокойные (сравнительно) сами со стороны плотской борьбы, они не понимают сердцем ту ужасную и утонченную брань помыслов и сладострастия, которые приходится нередко выносить и немолодым уже монахиням. И поэтому бывают несправедливы и слишком строги.

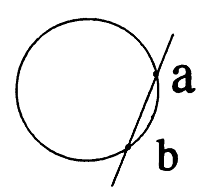
С этой стороны, тронутый Вашими чувствами и мечтами, я ошибся; но мне приятно вспомнить, что я предвидел смелый и добрый взгляд старца на борьбу Вашу с католицизмом матери. Я предвидел, что он не посоветует Вам здесь уступать и смягчаться. Конечно, когда касается до веры и до служения Церкви, то не надо щадить ни мать, ни брата, ни даже столь любимую Вами Евгению Сергеевну. Это я так, на всякий случай говорю; я знаю, что до сих пор она ничем Вам не мешала, а даже поддерживала. Но надо помнить это, на случай. Жена — „сосуд слабый", и мы не должны никогда давать им над собой воли. Избави Боже! Это так, на случай!

Насчет женского монастыря, хотя и поддался Вам, но не скрою, что очень рад теперь резкому совету отца Амвросия не брать этого места и возвращаюсь на старое: столица,

Москва — лучше! Другое дело священник и другое дело мирянин среднего круга, ходящий от редактора к профессору, а от учителя к сотруднику. Священник и в Москве входит посредством исповеди и некоторых треб (если он захочет быть серьезным и не искать только денег) в живые, сердечные отношения с разными людьми, и с горничной, и с дворником, и с графиней, и с купцом; постарается-таки и между монахами найдет себе друзей. Нужно быть общительнее, искать, говорить больше самому и наводить людей на живые и откровенные беседы, не скучать ни с дворником, ни с графиней, потому только, что ни тот, ни другая не лезут на стену от последней передовой статьи какой-нибудь...

Если же хочешь жить живой жизнью, а не одною умственною жизнью теоретических отражений, то надо относиться к ученому и литературному миру, как в геометрии относится линия тангенс (в одной точке) так:

а не погружаться в него как линия секанс:



Вот Влад⟨имир⟩ Андр⟨еевич⟩ Грингмут, умнейший человек, и в идеалах он бы и желал быть тангенсом, но нужда, семейные обстоятельства и лихорадка литературных

ежедневных впечатлений сделали его секансом, по уши воткнули его в деревянного Петровского и К°... И Катков, точно такой еще с 50-х годов, в этот бумажный и кабинетный мир воткнулся и врезался, но его хоть сколько-нибудь вытащили оттуда практический гений, удача, слава, деньги, привели его, не сдвигая почти с места и с просиженного в течение 30 и более лет кресла на Страстном бульваре [1], ⟨пропуск слова в автографе.— *Д. С.*⟩ и с государями, и со знатью, и с архиереями, и со светскими женщинами, и с министрами, и с народом, и с полководцами.

Я не против Москвы, я только против постоянного и неизбежного вращения в мире печатной бумаги, в кругу редакторов, сотрудников, профессоров. Деятелю всякому, даже и духовному, в наше время их нужно касаться с осторожностью и расчетом. Не надо всасываться в этот круг исключительно.

Вы напрасно думаете, что я бежал из Москвы от московской жизни. Я бы сумел жить в Москве сообразно моему возрасту, личным вкусам и религиозным правилам. И жил-таки, насколько позволяли разбитое здоровье и средства. Я понимаю и испытал не раз одинокую жизнь в келье, но [нрзб.] я хочу простора, помещичьей по крайней мере, если уж не богатой, обстановки. И теперь, если бы я имел больше средств и чуть-чуть побольше сил телесных, я бы на три-четыре зимних месяца брал бы большой номер в „Славянском базаре“ [2] или дорогую квартиру и ездил бы в Москву. Это была и мечта моя — большую часть зимы в Москве, а от мая до ноября или декабря в Оптиной. Но средства осуществить ее не позволяют, и я предпочитаю жить здесь безвыездно, но по-дворянски и поблизости отца Амвросия, чем в Москве без него и скромным тружеником. Мое воспитание, мои привычки другие, я избалован, испорчен даже, а Вы нет. С этой стороны Вам лучше, и Вы сами лучше. Но одно тут общее должно быть — не погружаться по уши в бумажный и ученый мир, а быть искусным, расчетливым тангенсом,

чтобы Вас только не забывали в нем. Имея в жизни нечто другое* (в Вашем случае прекрасное нечто — священство), никогда не впадешь в душевное рабство перед этим миром, будешь покойнее и в самолюбии, будешь иметь другие утешения, другие скорби, другую жизнь, другие радости, другую борьбу. У Льва Толстого вот было имение родовое и любимое, хозяйство, война, высший круг, охота, мужики, и поэтому в нем никогда не было того до ребячества литературного исступления, которым страдал Достоевский, принужденный погрузиться в одну точку по бедности и неимению ни службы и другой еще карьеры, ни своей любимой деревни, ни войны, ни высшего общества (только Сибирь — одно живое воспоминание). Тургенев был богаче и странствовал много, но и он был чувствительнее Толстого ко всему бумажному, потому что мало другой жизни имел. Достоинство, с которым всегда держал себя Фет, вопреки грубейшей к нему несправедливости критики и дурацкой публики нашей, значительно зависело от того, что он сперва был лихим уланом и кирасиром (и от души), а потом серьезным хозяином, помещиком и мировым судьей, а не был только писателем.

Вот в чем дело, голубчик мой, а не в противоположности Москвы и деревни. Круг важен, а не местность.

У хорошего священника, если он сумеет взяться, в наше время в большом городе круг этот будет шире и поучительнее, чем в глухом селе или в удаленном женском монастыре. Оптина славится, а кто пойдет в этот Лесной?! А спасаться? Авось-либо отец Иоанн Кронштадтский и около Петербурга, куда его то и дело возят, спасается! „Царствие Божие внутри нас“.

---

* У меня это другое было постоянно: сперва 8 лет практика медицинская, военная жизнь в Крыму, связи в богатом кругу, потом Турция, служба, Афон, своя деревня, опять цензорская служба, все-таки власть, а не теория, не мысль одна, теперь Оптина. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

Прощайте! Крепко обнимаю и целую Вас: „Будьте чисты, как голубь, и мудры, яко змей“. Отцу Иванцову-Платонову ни слова о том, что отец Амвросий не велел туда и почему. Он монахов не любит, и на Вас за это оскорбиться может, поберегите его для своей пользы, на случай, но ему не доверяйтесь так, как оптинским. Уж солгите лучше на себя, что передумали и т. п. „Есть время молчать и есть время глаголати“.

Вы вот некстати все молчите, молчите в обществе, а тут вдруг, где не нужно, дьявол сам и разверзнет Вам уста для неуместного изречения правды. Лгать не лгать хоть, ну а „бисер“ метать тоже не надо. Духовная власть великого старца это бисер, а ученые богословы наши эти хоть и не свиньи, положим (зачем же!), ну а все-таки в них большею частию немножко Лютер сидит.

И Самарин, друг Иванцова-Платонова, видимо, предпочитал Феофана Прокоповича[3] старцу Яворскому[4]; и Хомяков к протестантам обращался любовно, а к папству с ненавистью. а из двух зол — лучше наоборот.

Прощайте... Доброй, милой и, по-ви́димому (?), не ищущей преобладать Евгении Сергеевне мой привет. И от моих домашних всех тоже.

К. Леонтьев.

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] *...кресла на Страстном бульваре...* — там помещалась редакция газеты „Московские ведомости“.

[2] *„Славянский базар“* — гостиница в Москве.

[3] *Феофан Прокопович* (1681—1736) — проповедник, писатель и богослов. Противник католицизма, сторонник новой европейской науки Ф. Бэкона и Р. Декарта. Главный помощник Петра I в делах церковного управления. Автор „Духовного регламента“. Первенствующий член Св. Синода. Находился под сильным влиянием протестантского богословия.

[4] Стефан *Яворский* (1658—1722) — иерарх русской церкви. Учился в католических школах Польши и воспринял там враждебное отношение

к протестантизму. Был местоблюстителем патриаршего престола и находился в открытой оппозиции к Петру I, который тем не менее назначил его президентом Св. Синода. Пользовался широкой популярностью как проповедник.

194. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

15 марта 1889 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Да, если разыскивание книг должно будет задержать отправку красок, то, пожалуйста, уж книги пришлите после, а краски скорее. И Дрепер (кажется), и Спенсер — европейские либералы, и я выписываю их отчасти из любознательности, отчасти по злобе, чтобы придираться к ним; ну, а краски для яиц — это поэзия моей старости! ⟨...⟩

Вы выразились печатно, что я пишу роман „не спеша“ — уж так не спеша, что и в руки его не брал с прошлогоднего нашего свидания. Скучно! Все думается, что нехорошо напишу, если буду в тенденциях своих стесняться, а дам им волю, так все с презрением скажут: „себя описал, свои барские, пессимистические и оптинские бредни понес, испортил публицист рассказчика“. Третьего пути нет! Изливать душу — испортишь направлением, длиннотами... Не изливать — охоты мало сочинять самый ход дела.

Да и вообще, как разочтешь, что будет от Мещерского или от Берга денег столько-то и то-то, то и впадешь в такой приятный покой, долгий и сладкий, и начинаешь находить, что гораздо приятнее думать, как взбредет на ум, для себя („отчего слон родится не в скорлупе?“ и т. п.), чем мыслить последовательно и принудительно для публики, которая и знать-то меня не желает. Как брошу на месяц, на два писать (при деньгах), так помолодею, размечтаюсь, точно мне еще 30 лет — не больше!

Какая прелесть повесть Гнедича [1] „Свободные худож-

ники“! Не без хамских словечек, но все-таки прелесть. Умно, остро, изящно, добродушно; фантазия, комильфотность и сила! И, заметьте, как это мило: кусок из Достоевского (в лицах Урюпеева, Бузикова, хохла Коржа и пьяного ветеринара) вставлен в массу Толстого! И главное действующее и очень изящное женское лицо — княгиня — немолодая. И нет любви сексуальной, а христианской или моральной, что ли,— бездна!

Уж не прогневайтесь, это лучше Гаршина, хотя и от него много бы можно было ждать, если бы он не ограничился раскрытием Евангелия, а пошел бы поговорить с от. Иоанном Кронштадтским или с монахами, даже и Невской лавры, *даже и Невской лавры*, ДАЖЕ И НЕВСКОЙ ЛАВРЫ! (Это я все громче и громче кричу!) Не бросился бы с лестницы! ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. М., 1911. С. 61—64.

[1] Петр Петрович *Гнедич* (1855—1925)— писатель и драматург. Автор „Истории искусств с древнейших времен“. Переводчик трагедий Шекспира.

195. К. А. ГУБАСТОВУ

15 марта 1889 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Я долго не хотел верить (судя по себе), чтобы личные расчеты, пристрастия, личные досады, личная лень и нерадение играли такую огромную роль в нашей газетной литературе, как меня уверяли. Теперь, поживши в течение 7—10 последних лет поближе к этому миру печатной бумаги, я убедился, что это правда. Катков и Аксаков хотя и вносили тоже в дело свою страстность и свои как политические, так и всякие другие расчеты, но у них все было крупно и до мелких и подлых придирок никогда не

доходило. Без них нравственный уровень охранительных газет („Гражданин“, „Московские ведомости“, „Русское дело“) немедленно и ужасно понизился. Я говорю „нравственный уровень“, потому что со стороны умственной, государственной, литературной — все они ведутся не только недурно, но и в некоторых отношениях даже очень хорошо, дельно. 〈...〉

Лассаля [1] (хоть что-нибудь, в чем виден основной дух его) и Луи Блана [2] мне очень бы нужно иметь для одной большой работы, которая — будет ли окончена или нет,— но я надеюсь, что если она останется после меня и неоконченною, то будет иметь ценность. Задача ее ясна из заглавия: „Средний европеец как идеал и как орудие всемирного разрушения“. Без помощи социалистов как об этом говорить? Я того мнения, что социализм в XX и XXI веке начнет на почве государственно-экономической играть ту роль, которую играло христианство на почве религиозно-государственной тогда, когда оно начинало торжествовать.*

Теперь социализм еще находится в периоде мучеников и первых общин, там и сям разбросанных. Найдется и для него свой Константин [3] (очень может быть, и даже всего вероятнее, что этого экономического Константина будут звать Александр, Николай, Георгий, то есть ни в каком случае не Людовик, не Наполеон, не Вильгельм, не Франциск, не Джемс, не Георг...). То, что теперь — крайняя революция, станет тогда охранением, орудием строгого принуждения, дисциплиной, отчасти даже и рабством.

Местами я указывал на это в „Сборнике“ моем. Социализм есть феодализм будущего.

Указывал, но хочу доказать, что в сущности либерализм есть, несомненно, разрушение, а социализм может стать и созиданием. Но это купится ценой долгой приостановки

---

* А без религии, само собой, жить все люди не будут. Социализм еще ие значит атеизм. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

того безумного движения, которое охватило теперь (с XVIII века) разрушаемый эгалитарною свободой старый мир.

Иначе (если социализм не будет в силах создать попеременным путем — и крови, и мирных реформ — новое неравенство прав и новую разнородность развития, другими словами, если он не может положить предел распространению Перипандопуло [4], Троянских, Сади-Карно, Базилио [5] и т. д.), иначе близится конец всему... Однородное буржуазное человечество, дошедшее до того именно, чего в 40-х годах имел слабость желать Прудон [6], т. е. дошедшее путем всеобщей, всемировой, однородной цивилизации до такого же однообразия, в котором находятся дикие племена,— такое человечество или задохнется от рациональной тоски и начнет принимать искусственные меры к вымиранию (например, стоит только приучить всех женщин перед совокуплением впрыскивать известные жидкости, и они все перестанут рожать; это очень легко, нужно только, чтобы к этой мысли люди привыкли, как привыкли они теперь ко многому, что 200 лет тому назад показалось бы или ужасным, или несбыточным); или начнутся последние междуусобия, предсказанные Евангелием (я лично в это верю); или от неосторожного и смелого обращения с химией и физикой люди, увлеченные оргией изобретений и открытий, сделают наконец такую исполинскую физическую ошибку, что и „воздух, как свиток, совьется", и „сами они начнут гибнуть тысячами". С моей стороны прибавлю, если цель всей истории не что иное, как Троянский или даже и Ястребов [7], не говоря уже о Вирхове и Сади-Карно, то я и грехом не считаю от всей души желать, чтобы они, средние всеевропейцы будущего, полетели вверх тормашками в какую-нибудь цивилизацией же ископанную бездну! Туда этой мерзости, этому „пиджаку" и дорога! Заметьте, кстати: Луи Блан в одной из речей своих (по свидетельству русских журналов) говорит, что „торжествующий социализм должен будет непременно запретить большую часть

машин". А Герберт Спенсер, либерал, стращает: „социализм есть ужасное порабощение общинам и деспотическому государству!" Вот и та остановка подвижности, посредством которой социализм может задержать (но не навсегда устранить) приближение неминуемого все-таки „светопреставления". Вот о чем я пишу. И если буду жив и окончу, то как бы не пришлось и мне это за границей печатать. Это было бы оригинально, не правда ли?.. Только едва ли придется; здесь я все толстею в теле и все слабею. Ожирение сердца, должно быть, а это опасно и можно вдруг умереть... Да это, положим, и не беда теперь. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение". 1897. Май. С. 398—402.

[1] Фердинанд *Лассаль* (1825—1864) — немецкий юрист, экономист и политический деятель социалистического толка. Сотрудник „Новой рейнской газеты" К. Маркса и Ф. Энгельса. Деятельно участвовал в революции 1848 г. Один из вождей Демократической партии. Президент Всеобщего немецкого рабочего союза. Из-за любовной истории убит на дуэли.

[2] *Луи Блан* (1811—1882) — французский социалист и политический деятель. Участвовал в Революции 1848 г., после поражения которой бежал в Англию. К Парижской Коммуне 1871 г. относился отрицательно.

[3] *...свой Константин...* — Имеется в виду римский император Константин I (ок. 285—338), разрешивший законом свободное исповедание христианства, хотя официальной религией при нем оставалось язычество. Сам Константин крестился незадолго до смерти.

[4] *Перипандопуло* — неустановленное лицо.

[5] *Базилио.* — Возможно, Леонтьев пишет о Константине Михайловиче Базили (1809—1884), дипломате и писателе, по происхождению албанском греке. К. М. Базили служил русским консулом в Сирии и Палестине, а также в Азиатском департаменте министерства иностранных дел. Его литературные труды посвящены Ближнему Востоку.

[6] Пьер Жозеф *Прудон* (1809—1865) — французский экономист и политический деятель. Самоучка, сын крестьянина. Автор трудов по теории собственности и политических систем.

[7] Иван Степанович *Ястребов* (1839—1894)— писатель. Занимал консульские должности в Греции, в том числе в Салониках. Писал корреспонденции с Востока для журналов „Православное обозрение" и „Известия С.-Петербургского славянского благотворительного общества".

196. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

17 марта 1889 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Вл⟨адимир⟩ Серг⟨еевич⟩ Соловьев жестоко „предает" меня своим молчанием! Видите, как даже у высоконравственных людей мораль естественная несовершенна! А если бы он, при своей сердечной любви ко мне и при значительном умственном нашем совпадении в частностях, считал грехом свое молчание, то уж с его изобретательностью как не найти, где отозваться о брошюре [1], которую он, по словам Кристи, на словах превозносит! Если в „Вестник Европы" нельзя, потому что там надо меня безусловно порицать, то в „Русской мысли" можно бы ему легко найти modus vivendi!*

Именно — fatum**, как Вы писали! ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 64—65.

[1] *...о брошюре...*— Речь идет о брошюре „Национальная политика как орудие всемирной революции" (М., 1889).

---

* Способ существования (*лат.*).

** Судьба (*лат.*).

197. И. И. ФУДЕЛЮ

15 апреля 1889 г., Оптина Пустынь

Благодарю всем сердцем аккуратных и православных друзей за милое поздравление с „красным яичком".

А каково „искушение" для праздников? Насчет „Национальной политики" [1]?

Каковы „редакторы" и их сотрудники вообще?

Хочу спросить у от. Амвросия, будет ли грех назвать их всех (в этом частном случае) „скотами" и предателями? (Кроме бедного С. Ф. Шарапова.) Я думаю, если при этом внутренне самому не раздражаться, то мало будет греха назвать людей только по имени их!

К. Леонтьев.

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] *...насчет „Национальной политики".*— См. примеч. 1 к письму 196.

198. КНЯГИНЕ Е. А. ГАГАРИНОЙ

24 апреля 1889 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Молюсь я о том, чтобы Господь позволил мне дожить до присоединения Царьграда. А все остальное приложится нам само собой! Узел там и больше нигде. Это — цель; остальное все или средства, или последствия. Я уверен, что и в самых высших сферах так думают. Если же и нет, то отчаиваться не надо.

„L'appétit vient en mangeant!"* Будут вынуждены обстоятельствами так думать. Пусть только Германия втянет Турцию в союз противу нас, и я воскликну: „Ныне отпущаеши раба Твоего?" Тогда политическое положение станет

* Аппетит приходит во время еды (*фр.*).

легче в смысле определенности главной цели, а что стратегическое будет несколько труднее, не беда. Восточный вопрос — не Польский какой-нибудь или Туркестантский или Афганский, его разрешение в нашу пользу есть событие мировое 1-й важности. Точка великого поворота в истории. Относительно же военных трудностей скажу вот что: насчет созидания, насчет творчества, самобытного устроения, прочности и т. п. Россия остается еще сфинксом; способна ли она ко всему этому — еще вопрос, и очень горький даже. Но что касается до способности всеразрушения — в этом никто ее не превзошел. С 15—16 столетия, со времен Иоаннов все слабое или мало-мальски ослабленное вокруг России одно за другим рушится и гибнет: Казань, Астрахань, Сибирь, Малороссия, Швеция, Польша, Турция, Кавказ, азиатские ханства... Смешно даже видеть и читать, когда наши обижаются или притворяются обиженными тем, что Запад нас так боится! Это что-то роковое и почти невольное. Как же не бояться! Не то страшно, чего хочет великий народ, а то страшно, что он и нечаянно, быть может, иногда, да делает. Самые большие неудачи наши (Тильзит [1], Парижский и Берлинский трактаты [2])— пустяки сравнительно с нашими приобретениями и торжеством медленным, но верным, фатально верным.

Что мы такое: действительно ли мы новый культурный мир, как думал Данилевский, орудие ли примирения Церквей без всякой особой гражданской оригинальности, как желает и надеется Влад⟨имир⟩ Соловьев, или, наконец, мы таим в загадочных недрах нашей великой отчизны зародыш самого ужасного отрицания и нигилизма (иногда, увы! думается, признаюсь, и так!), задатки самого гнусного и кровожадного хамства (равенства то есть); во всяком случае, наше призвание, огромное и грандиозное, еще далеко не исполнено, и поэтому „горе тому, кто станет на дороге этому не нами, а Свыше предначертанному стремлению“.

Могу Вас уверить, что мне иногда очень жаль не только и без того в истории и семье столь несчастливого Франца-

Иосифа [3], не только турок, которых я до смерти люблю (все-таки на европейских демократов не похожи), но даже и великого, грозного Отто Ф. Бисмарка!

Просто жаль, как бабочку, которая летит на огонь...

И Вы должны мне верить, ибо если Вы или Константин Дмитриевич [4] мало-мальски внимательно читали мои книги, то Вы должны сознаться, что я уже не раз был пророком.

Оттого-то и становятся многие перед моими мнениями в тупик, что (по выражению Т. И. Филиппова) читатели наши привыкли к мыслям уже жеванным (или Катковым, или европеистами, или старо-славянофилами), а я даю новую и твердую пищу. Надо оспаривать или соглашаться. Первого не умеют, второе обидно. Поэтому редакторы или молчат, или без доказательств зовут меня „психопатом", „фанатиком", „хищным мистиком" или „умом великим, но взбалмошным или больным". Не верьте им. Я умом здоров, а они умом слабы, и больше ничего.

Что касается до Франции, то сама по себе она, разумеется, „un ramassis de goujats"*, и только; но, я думаю, Дерулед [5] был прав, говоря в Москве так: „Вы, русские, не обязаны нас защищать, если на нас нападет Германия; но мы — другое дело, нам нужно возвратить провинции и смыть позор, поэтому мы вынуждены будем вам помочь. И в тот день, когда у вас произойдет с Германией разрыв, у нас на восточной границе при всяком правительстве ружья и пушки начнут сами палить!"

Sapienti sat!**

Дай, Господи, князю побывать на Афоне и вернуться оттуда не с одними впечатлениями „туриста", это для меня было бы большим огорчением, а с тем страхом Божиим и с тою верою, без которых не может быть истинно русский государственный человек.

(Шувалов [6], например, был хорош тем, что он был не

---

* Шайка хамов (*фр.*).

** Понимающему достаточно (*лат.*).

либерал, но с религиозной стороны он был анафема и даже свинья.)

Графу Дмитр⟨ию⟩ Андр⟨еевичу⟩ Толстому относительно сословных его реформ продолжаю горячо сочувствовать и очень рад, что он берет верх.

Прочно ли все это только? Дворянство наше ужасно легкомысленно, и русских настоящих в его среде очень мало.

Я думаю-таки, если новая сословность у нас утвердится хоть на 100 лет, то прав до известной степени Данилевский: будет своя цивилизация.

Если нет и все усилия Толстого дадут плоды такие же непрочные, как французская реакция 20-х годов, то наша будущность пойдет по разрешению Восточного вопроса очень быстро, или по пути Влад⟨имира⟩ Соловьева (т. е. придется искать другого рода сильную дисциплину), или по пути самой крайней революции. Qui vivra verra!*

Господи, спаси Россию! ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] *Тильзит* — город в Восточной Пруссии (ныне Советск Калининградской обл.), где был заключен в 1807 г. Тильзитский мир с Наполеоном после разгрома русской Армии при Фридланде. Россия и Франция обязывались по договору помогать друг другу в войнах. Россия присоединялась к Континентальной блокаде против Англии. Договор поставил Россию в тяжелое положение. Через 14 лет А. С. Пушкин писал: „Тильзит! При звуке сем обидном теперь не покраснеет Росс".

[2] *Парижский и Берлинский трактаты...* — Парижский мирный договор завершил Крымскую войну. Россия уступила часть Бессарабии с Измаильской крепостью, отказалась от военного флота на Черном море и должна была срыть там все береговые укрепления. О Берлинском трактате — см. примеч. 1 к письму 102.

[3] *Франц Иосиф* (1830—1916) — император австрийский, весьма несчастливый в личной жизни (самоубийство единственного сына Рудоль-

---

* Поживем — увидим (*фр.*).

фа в 1889 г. и смерть императрицы Елизаветы от руки анархиста в 1854 г.).

[4] *Константин Дмитриевич* — муж кн. Е. К. Гагариной, кн. К. Д. Гагарин.

[5] Поль *Дерулед* — французский поэт и политический деятель. Поддерживал генерала Ж. Буланже. Дважды приезжал в Россию: в 1886 г. для антигерманской пропаганды и в 1887 г. на похороны М. Н. Каткова.

[6] Петр Андреевич *Шувалов* (1827—1889)— государственный деятель. Был петербургским полицмейстером, управляющим III Отделением и шефом жандармов, генерал-губернатором Остзейского края, послом в Лондоне. Входил в состав русской делегации на Берлинском конгрессе. Принадлежал к крайним консерваторам.

199. С. В. ВАСИЛЬЕВУ

9 мая 1889 г., Оптина Пустынь

Милостивый Государь Сергей Васильевич!

(Так, кажется?— если не так — простите!)

Я давным-давно уже — величайший почитатель и поклонник Вашей театральной критики; мне и прежде не раз приходила мысль написать Вам о том, как я люблю Ваши статьи в „Московских ведомостях“. Почему я этого не сделал, до сих пор не могу объяснить точно. Вероятно, и со мной случилось то же, что бывает со многими в таких случаях. Зачем?.. Частное письмо — не печатная похвала; много ли от частного письма человеку прибавится удовольствия? Он и сам знает, я думаю, что статьи его хороши? И тому подобное. Но когда я прочел последнюю Вашу статью, как ставили и судили „Грозу“ Островского в Париже, чаша, так сказать, моего чувства переполнилась, и я решился написать Вам об этом. Отчего Вы до сих пор не издадите отдельный сборник? У меня есть собрание фельетонов Теофиля Готье [1] за 25 лет. Они очень хороши и занимательны, но я нахожу, что Ваши гораздо серьезнее,

как серьезнее и русский театр нового времени театра французского. Я не могу равнять Скриба[2] и Дюма-сына[3] с Островским и драмы ихние с Ал⟨ексеем⟩ Толстым. Может быть, второстепенные у них и лучше наших таких; это и естественно, потому что вся жизнь и люди Франции XIX в. ближе к „среднему“ чему-то, чем жизнь и люди в России. Но трилогия Ал⟨ексея⟩ Толстого[4] (которую почему-то боятся давать на сцене) и лучшие пьесы Островского стоят тысячи посредственных, приличных и занимательных французских драм и комедий.

В Вашей последней статье о „Грозе“ столько чувства, ума и правды, что она меня восхитила и переполнила через край ту „чашу“, о которой я говорил! Как хорошо Вы подобрали цитаты из французских критиков! И как искренно и тепло выражена у Вас религиозная сторона дела!.. Видите ли, я давным-давно почти перестал ездить в театр по многим причинам, о которых распространяться не буду; прослуживши семь с лишком лет в Москве цензором, я был в театре только два раза: в „Жизни за царя“[5] и в „Трогирском воеводе“ Аверкиева — для костюмов и картинок (потому что ненавижу современный мужской костюм и отдыхаю глазами и душою на всех других, менее подлых, бессмысленных и менее позорных одеяниях!).

Когда я живу в городе, мне после всего другого приходит в голову истратить деньги и предпринять какие-то хлопоты для того, чтобы быть в театре. Но Ваши статьи засталяют меня снова любить театр! Значит, они хороши!

Во-первых, Вы меня заставляете в чтении гораздо больше понимать, чем бы я понял сам в действительности. Говорю я это не потому, что считаю себя непонятливым... Нет, увы! Я особенно умственною скромностью не отличаюсь! А потому, что это правда; надумавшись, намыслившись за день о множестве других вопросов, я уже не в силах еще над пьесой или игрой актеров мыслить внимательно.

Во-вторых, это ясное понимание достоинств и недостат-

ков пьесы и ее исполнения дается мне Вашими статьями даром: и без траты денег, и без физической возни (билет достать, не опоздать и т. д.). Воображения у меня самого много, и так как я прежде, в детстве и молодости, довольно много бывал в театре — видел Щепкина [6] и Каратыгина [7], и Мартынова [8], и Мочалова [9] и M-r и M-me Allan [10], и Virginie Bourbier [11] немного помню, и Alexandre [12] в Ришелье (это был верх совершенства!), и Brissout [13], и Paul Minet [14], и Вернета [15], и Рашель [16] и Ристори [17], слышал и Тамберлика [18], и Лагруа [19] и кое-кого еще, то, читая Ваши картинные, тонкие, изящные и хорошим гражданским духом вдобавок проникнутые разборы, я все это вижу, воображаю и радуюсь, не сходя с кресла, подобно тому как отставной генерал на деревяшке всею душой увлекается чтением отчетов и рассказов о последних блестящих и кровавых победах, в которых он уже и не может и даже не хочет участвовать.

Положим, случалось, что я в каких-нибудь частностях бывал с Вами не согласен, но эти несогласия мои относились больше к самой жизни, и русской, и вообще, которую я „претендую" знать и, главное, понимать особенно хорошо, но никак не в театральной критике, где я готов безусловно Вам подчиниться. Помню одну Вашу прежнюю статью, за которую я на Вас таки посердился — это по поводу пьесы моего же бывшего „протеже", Н⟨иколая⟩ Як⟨овлевича⟩ Соловьева —„Ликвидация". Там слишком некстати и неосновательно (извините!) проглянула у Вас та самая консервативная или реакционная тенденция, которой я вообще не только все душой сочувствую, но и которой, как Вам, я думаю, несколько известно, и сам издавна служу пером и разговорами (а где только можно — то и действием, и всею жизнию моей); хороша она, но именно для того случая, в котором она у Вас тогда сильно выразилась, она вовсе не годится... Вы укорили Соловьева за то, что он, видимо, сочувствовал той барышне, которая влюбилась в молодого сына разбогатевшего мужика и вышла за него

замуж. Вы увидели в этом чуть не совет молодым обедневшим дворянкам нашего времени и пороптали на автора. Помилуйте! И чистая эстетика (жизни, *жизни*, а не искусства), и требования грубейшей действительности заодно здесь против Вас. За кого же ей, такой девушке, предпочесть выйти?! За более „образованного" человека? Ах, эти нынешние образованные люди! Да ведь это больше, чем высшая степень пошлости! Худые, болезненные, раздражительные, впалая грудь, длинные костлявые пальцы, борода на впалой груди с ранних лет у них почему-то всегда почти огромная... Положение вечно неопределенное и т. д., и т. д. Да если б у меня дочь окончила даже курс у Фишер [20] и была бы при этом и красивая, и вполне светская девушка, то я сам бы предпочел выдать ее за богатого Бородкина и тем более Белугина, чем, например, за Надсона или даже Гаршина... Я понимаю, если бы она Белугину предпочла — ну, например, Н-ва или О-ва [21] (Вы знаете их? Они оба учились в лицее)... Но ведь таких добыть девушке среднего круга очень трудно — и приходится считать за счатье, если отдашь за Белугина, а не за Гаршина и Надсона... Я выбираю, видите, еще даровитых разночинцев нарочно, чтобы моя мысль была яснее. Что толку писать поэзию какую-то, когда в жизни-то моей вокруг нет никакой поэзии — ни аристократической или придворной (как у Вронского, Облонского, Карениной), ни помещичьей и вообще деревенской, ни религиозной, как в монастырях или около них, ни боевой, как бывало на Кавказе или теперь в Средней Азии?.. Вот они, эти даровитые-то, и злятся и идут в нигилисты — то чахнут, как Надсон, то с лестниц бросаются, как Гаршин... И я знаю эти петербургские лестницы, живал смолоду и я на них, и если не бросился в свое время, то это потому, что я презирал эту жизнь и был уверен, что это ненадолго и что уж куда-нибудь да убегу в более свежее и здоровое место и в менее книжный и бумажный мир... И за таких-то отдавать дочь! И в таких-то влюбляться!.. Это практика действительности; к

тому же и эстетика имеет свои независимые законы. Вы это знаете не хуже меня. Один из этих законов можно выразить так: жизнь прекраснее (красивее, полнее, содержательнее, солиднее и т. д.), когда есть резкое разделение сословий и положений. Эстетическое suum cuique*: Николай I, Филарет [22], Серафим Саровский [23], графиня Воронцова-Дашкова [24] и ее любовники, князь Барятинский [25], Лермонтов (не как сочинитель, а как сам гусар и сам Печорин), игуменья Тучкова [26], крепкая баба, которая пашет, мужики, вроде Каратаева, Бирюка, Хоря и Калиныча и т. д. В Европе все это ведь более и более сливается в среднего человека!.. Другой закон — антитеза первому, но в этом смысле, что исключение служит общему правилу, вот он. Всегда эстетика или поэзия находили огромную и живую пищу в случайном нарушении сословных границ, в поразительных переходах из одного положения в другое, благодаря ли особому дарованию человека или благодаря торжеству любви. (Издавна поэты любили разные сочетания такого рода: богиня и мертвый принц и пастушка, царь и простая подданная, господин и рабыня, Любаша, царская дочь, и пахарь Пршемысл [27]; у Ж. Санд это беспрестанно...). И в этом-то смысле, с одной стороны, очень желательно, чтобы в России дворянство было отделено правами, богато, изящно, молодцевато, даже немножко и гордо, а с другой — mésalliance** при интересности общих лиц всегда будет иметь в себе много поэзии... И, возвращаясь к частному примеру деревенской любящей хозяйство, молодой и бедной дворянки (у Соловьева), полюбившей молодого, богатого, румяного и доброго юношу-мужика, мы видим, mésalliance имеет в себе много поэзии, независимо от политического вопроса, и потому уже имеет полное право на изображение в искусстве. Я привязался к этому так многословно, признаюсь, и потому еще, что на Соловьева тут

* Каждому свое (*лат.*).
** Неравный брак (*фр.*).

имели несомненное влияние и мои эти теории, и сама действительность (я ведь знаю, кого именно он имел в виду).

Молоденькая, но бедная дворянка в наше время выходит замуж за богатого, молодого и немножко, чуть-чуть грамотного крестьянина — это картина, согласитесь, лучше, чем следующая: „дочь инженерного полковника выходит замуж за учителя латинского языка“. Само по себе, независимо от красоты и достоинства лиц,— первое милее, занимательнее и красивее...

Простите, что увлекся, но, защищая пьесу Соловьева, я защищаю тут свои взгляды на эстетику жизни. Когда эта Ваша статья „О ликвидации“ появилась, я в тот же вечер говорил о ней в этом же духе с Петром Евгеньевичем Астафьевым, и мне было очень приятно, что этот столь тонкий и нередко глубокий психолог согласился со мной.

Не могу также сочувствовать Вашему беспокойству о том, чтобы наши пьесы ставились в Париже хорошо... Пусть или сами французы, или наследники авторов хлопочут об этом; дипломатам и консулам никак нельзя брать на себя обязанность присмотра!.. Каково это — отвечать за чужую эстетику! Это никто из служащих не согласится. И я был консулом и мог быть и при посольстве, если бы случилось... И понимаю, что это невозможно для человека, не специально назначенного с такою именно целью... А претензии русских авторов или наследников их? Это ужасно! К тому же, насчет незнания иностранцев, я слышал недавно рассказ о московском профессоре К-ском [28]... Кто-то жаловался при нем на то, что европейцы все еще плохо понимают нас... Тогда К-ский сказал: „И слава Богу! Чем меньше они нас понимают, тем лучше для нас... Пусть себе ошибаются!“ Я вполне с ним согласен и даже думаю, что и политически мы более выиграем, если постараемся даже быть вечною загадкой для них!.. Придет время, так прихлопнем всю эту анафемскую демократию, что только мокро останется... И „Оптинские старцы“ даже не откажут

в своем благословении на такой exploit*. Ведь их „любовь“ — не только не толстовская, но даже не туманы „гармонии“ Достоевского. Их „любовь“ есть личное наше старание исполнить от всего сердца заповеди, а воевать и политически прихлопнуть демократию не только можно, но, при Божьей помощи, и должно.

Больше ничего не имею сказать. Извините, что обеспокоил.

Остаюсь навсегда почитатель Ваш и готовый к услугам

К. Леонтьев.

Издайте Ваши статьи и пришлите мне экземпляр — право! Тогда, если буду жив, и печатно то же скажу, что здесь...

Письмо написано 9 мая 1889 года
в Оптиной Пустыни.

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение“. 1893. Январь. С. 217—222.

С. В. Васильев — псевдоним Сергея Васильевича Флерова (1841—1901), педагога и журналиста, постоянного сотрудника „Русского вестника“ и „Московских ведомостей“, где он выступал с рецензиями и обзорами театрально-музыкальной и художественной жизни.

[1] *Теофиль Готье* (1811—1872)— французский поэт-романтик, прозаик и критик. Совершил путешествие в Россию, после которого написал книги: „Voyage en Russie“ (1866) и „Tresors d'art de la Russie“ („Путешествие в Россию“ и „Сокровища русского искусства“).

[2] Огюст Эжен *Скриб* (1791—1861)— французский драматург, член Французской Академии. Отличался необычайной плодовитостью, иногда писал каждый месяц новую пьесу. Его легкие, веселые комедии пользовались огромным успехом и до сих пор остаются в репертуаре театров.

[3] Александр *Дюма-сын* (1824—1895)— сын французского романиста А. Дюма. Драматург, член Французской Академии, автор психологических драм. Писал также романы и публицистические очерки.

[4] *...трилогии Ал⟨ексея⟩ Толстого...*— См. примеч. 8 к письму 174.

---

* Подвиг, деяние (*фр.*)

[5] *„Жизнь за царя“* — опера М. И. Глинки. На советской сцене ставилась под названием „Иван Сусанин“.

[6] Михаил Семенович *Щепкин* (1788—1863) — драматический артист, сын крепостного. Выступал на сценах Петербурга и Москвы. Игру Щепкина современники оценивали как идеальный образец. „Жить для Щепкина, — говорил С. Т. Аксаков, — значило играть на театре, играть — значило жить“.

[7] Василий Андреевич *Каратыгин* (1802—1853) — актер из театральной династии Каратыгиных. Играл на петербургской сцене классические трагедии В. Шекспира, Ф. Шиллера и новые французские драмы.

[8] Александр Евстафьевич *Мартынов* (1816—1860) — драматический актер. Выступал на петербургской сцене в пьесах Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, А. Ф. Писемского. Отличался редкой среди актеров скромностью и отсутствием самомнения.

[9] Павел Степанович *Мочалов* (1800—1848) — трагик. Выступал на московской сцене главным образом в трагедиях Шекспира и Ф. Шиллера. В. Г. Белинский посвятил ему статью „Гамлет, драма Шекспира, и Мочалов в роли Гамлета“ (1838).

[10] *M-r и M-me Allan* — Аллан (Луиза Депре, ок. 1809—1856), французская драматическая актриса, которая вместе с мужем играла первые роли в парижских театрах. Оба они гастролировали в Петербурге.

[11] *Virginie Bourbier* — Виржини Бурбье (?—1857), французская драматическая актриса. В 1828—1841 гг. выступала на Михайловской сцене в Петербурге. После возвращения в Париж имела там блестящий успех.

[12] *Alexandre* — Огюстэн Александр (1814—19.?.), французский артист комедийного жанра.

[13] *Brissout* — вероятно, французский артист или артистка, других сведений не найдено.

[14] *Paul Minet* — вероятно, французский артист, других сведений не найдено.

[15] *Вернет* — Виктор Вернэ (1797—1848), артист комического жанра французской труппы в Петербурге.

[16] *Рашель* (1821—1858) — Элиза Рашель Феликс, французская драматическая актриса классического репертуара. Дважды, в 1853 и 1854 гг., приезжала на гастроли в Россию.

[17] Аделаида *Ристори* (1821—1906)— итальянская драматическая актриса. Выступала на парижской сцене с одинаковым успехом как в трагеднях, так и в мещанской драме. В 1861 г. приезжала в Петербург.

[18] Энрико *Тамберлик* (1820—1888)— итальянский певец-тенор. Несколько раз приезжал на гастроли в Петербург.

[19] *Лагруа* — вероятно, французский артнст или артистка, других сведений не найдено.

[20] Софья Ннколаевна *Фишер*, урожденная Вейс (1836—?)— основательница и начальннца частной женской классической гимназнн в Москве, открытой при поддержке М. Н. Каткова в 1872 г.

[21] *Н-ва или О-ва* — неустановленные лнца.

[22] *Филарет* — по всей вероятностн, митрополнт московский Филарет (в миру Василнй Михайловнч Дроздов, 1783—1862). Проповедннк, богослов н церковный деятель. Автор текста манифеста об освобождении крестьян. Инициатор перевода кннг Св. Писання на русский язык.

[23] Серафнм Саровский (в мнру Прохор Мошннн, 1760—1833)— один нз наиболее почитаемых русской церковью святых. Монах Саровской Пустынн в Тамбовской губ.

[24] *...графиня Воронцова-Дашкова...*— княгння Екатернна Романовна Воронцова-Дашкова (1749—1810). Была в блнзкнх отношениях с Екатериной II в бытность ее цесаревной. Участвовала в дворцовом перевороте 1762 г. Днректор Академнн наук и президент учрежденной по ее докладу Российской академии. Писала стихи и драмы, участвовала в составлении „Толкового словаря русского языка".

[25] *Князь Барятинский* — по всей вероятности, кн. Александр Ивановнч Барятннский (1814—1879), наместннк Кавказа. Завершил завоевание восточного Кавказа взятием аула Гуниб н положнл начало покорению западного Кавказа. Член Государственного Совета. После отставки в 1862 г. жил и умер за границей.

[26] Маргарита Мнхайловна *Тучкова* (1781—1852)— урожденная Нарышкина, впоследствии мать Меланья, вдова убнтого в Бородинском сражении генерала А. А. Тучкова, тело которого было не найдено. Построила на месте бнтвы храм н основала Спасо-Бородинский монастырь, где была игуменьей.

[27] *Любаша и пахарь Пршемысл* — Любаша (правнльнее Любуша), легендарная правнтельница Чехии, выбравшая себе в мужья Пршемысла,

который стал первым чешским князем. Ими, по преданию, была основана Прага.

[28] *...рассказ о московском профессоре К-ском* — Возможно, речь идет об историке Василии Осиповиче Ключевском (1841—1911), занимавшем должность профессора Московского университета с 1885 г.

200. И. И. ФУДЕЛЮ

19 мая 1889 г., Оптина Пустынь

Осип Иванович, получил Ваше открытое письмо, которое меня, конечно, в высшей степени обрадовало и, не дожидаясь второго, подробного, посылаю Вам 25 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩ с настоятельной просьбой приехать ко мне до отъезда в Вильню на несколько дней. Если можно, на неделю. Приглашаю Вас по благословению о. Амвросия, и даже деньги эти он сам мне дал взаймы, чтобы Вас выписать. Он знает мои обстоятельства и знает, почему Вы мне лично очень нужны. Именно Вы, а не кто другой. Некоторые Ваши личные свойства располагают меня к этому выбору, и о. Амвросий одобряет его. Здесь Вы узнаете все подробно, но пока могу Вам только сказать, что это свидание с Вами желательно мне для самых близких сердцу моему посмертных дел и поручений.

Думаю, что Вы не откажетесь успокоить меня этим. Хорошо бы Вам пробыть у меня не менее недели, иначе я сумею, быть может, досказаться до настоящего успокоения. ⟨...⟩ Эти 25 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩ я даже и не в виде долгосрочного займа Вам предлагаю, а просто без отдачи, ибо, если Вы приедете, то прямо для моих, крайне существенных интересов, а не для Ваших... Ясно? ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

201. КНЯЗЮ К. Д. ГАГАРИНУ

22 мая 1889 г. Оптина Пустынь

⟨...⟩ Очень может быть, что и Дурново[1] будет хорош в том смысле, что пойдет „по стопам" Толстого. ⟨...⟩ Про Дурново в „Гражданине", помните, писали, что он мягкий, и там же прибавляли, что раз путь реформы уже твердо намечен Толстым, преемник мягкий даже полезен может быть. Едва ли это так; наоборот, мне кажется, законодательная сторона трудной реформы требует, конечно, твердости в борьбе с людьми влиятельными и противного мнения, но для удачного приложения к жизни реакционной реформы, пожалуй, энергия воли, смелость, а иногда даже и жестокость — еще необходимее. А что сделает министр мягкий, если и при земских начальниках будут продолжаться все те же поджоги из-за пустой досады или повторяться те аграрные убийства, которых у нас уже было немало? Если освирепевший народ не убоится этих земских начальников и будет их бить, как бивали уже не раз становых? Дело просто само по себе — издать указ, что временно все посягательства подобного рода будут судиться военным судом и наказываться смертию (подобно делу огаревского управляющего, ни за что ни про что убитого мужиками).

Но для того, чтобы предложить и поддержать такую меру, надо иметь в наше время волю сильную и такое настроение совести, при которых в минуты колебаний человек умел бы больше думать о том, что и Святоотеческая и древняя Апостольская Церковь этого рода легальные „убийства" разрешают и даже благословляют, а вспоминая о „Европе" и „либералах" — улыбаться и пожимать плечами.

Не знаю, таков ли новый министр. Дай Бог!

Вот мои мысли по поводу всех этих перемен. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] Иван Николаевич *Дурново* (1830—1903)— государственный деятель, министр внутренних дел, председатель комитета министров. Проводил реформы управления, усилнвавшие влиянне дворянства, купечества н крупных промышленников.

202. О. А. НОВИКОВОЙ

30 мая 1889 г., Оптина Пустынь

Наконец-то Вы вспомнили обо мне, Ольга Алексеевна! И за то спасибо. Я часто об Вас думал и часто глядел на портрет Ваш, „всегда ли с добрым чувством?“— Вы спросите, может быть, и на этот естественный вопрос я отвечу: „Нет! Не всегда!“ Иногда с очень добрым, иногда не то чтобы с дурным, нет, а с колеблющимся и недоверчивым... Вы так умны, так гениально догадливы, так житейски опытны, что объяснять Вам эти чувства мои будет ненужным трудом. Сами все знаете и обо всем сами догадаетесь скоро. Слава Богу, что Вы хоть на короткое время возвратились на родину, которую Вы всегда так хорошо и талантливо защищаете с политической стороны, но от которой, боюсь, Вы в культурно-бытовом, так сказать, смысле, должно быть, совсем отвыкли. Нечто подобное испытал я после долгой жизни в Турции, и если бы не разные неизбежности и непреодолимые вещественные препятствия в начале 70-х годов, то я, вероятно, и жил бы до сих пор в Турции, как Вы живете в Англии, то есть только на короткое время посещая Россию и оставаясь духом ей верен, как верны и Вы. Поэтому я и ничуть не осуждаю Вас за это, а только жалею, что этот образ жизни лишает меня всякой надежды увидать Вас хоть раз еще! Если бы Вы жили в России постояннее, то, кто знает, если бы не набожность (ее я в Вас не замечал), то хоть славянофильское чувство и любопытство понудило бы Вас когда-нибудь посетить нашу знаменитую Пустынь. „Здесь русский дух! Здесь Русью

пахнет", и во многих отношениях Русью очень старой даже, до сих пор еще благополучно отстаивающей себя от России новой, либеральной и космополитической, от мерзкой России пара, телефонов, электрического света, суда присяжных, пиджака, „Вестника Европы", польки-трамбант и всеобщего равномерного „диньите де л'ом"[1]! Здесь именно тот русский византизм, который так ненавистен глупым славянофилам стиля Ореста Миллера и без которого будет finis* не только для России, но и для всего остального славянства (пока еще столь бессодержательного и не самобытного духом). ⟨...⟩

Почему я так мало пишу нынешний год? Охоты нет и нужды, слава Богу, нет. Живу я здесь покойно, недорого, в достатке. У меня за 400 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩ в год совсем особая при монастыре небольшая усадьба, просторный, двухэтажный, старый дом, построенный уже давно одним набожным барином, здесь и умершим, особый садик, обращенный к лесу и загороженный домом и оградой от людей и всякого движения, так что я иногда и по целым часам сижу в буддийском созерцании на балконе и ничего и никого, кроме зелени и леса, не вижу, и ничего, кроме пения птиц, не слышу. Зимой дом очень тепел и так просторен, что я один на свою долю занимаю наверху 4 комнаты с прекрасными видами из окон (даже и зимой). Звуков — вообразите, даже зимой особенно — никаких по целым часам не слышу, тем более что домашние мои, зная, до чего я люблю это безмолвие и молчание вокруг, остерегаются стучать и шуметь. Летом, впрочем, здесь бывает очень много приезжих не только среднего, но и весьма отборного общества, большею частию с целью видеть от. Амвросия и посоветоваться с ним. Мое жилище тем хорошо, что оно в стороне, и от меня вполне зависит видеть людей или скрываться от них. Зимой, так как я не выезжаю, у меня в доме служат часто всенощные и часы. Говею

---

* Конец (*лат.*).

4 раза в год, недавно, по благословению старца, отказался от мяса, которое я ужасно любил и (вот одно из тех „внутренних чудес“, на которые так верно указывал Хомяков, в точности его слова не помню) не чувствую даже ни малейшей потребности его есть, когда рядом со мной едят его другие. Пришло время, и оно не существует для меня... Теперь — очередь за литературой. Если бы год или два тому назад кто-нибудь предсказал бы мне, что я о мясной пище вовсе забуду и почти вдруг, мне показалось бы это более невероятным, чем если бы теперь кто-нибудь сказал бы мне, что я скоро перестану писать для печати. „Просите, и дастся вам“,— а я пламенно желаю оставить всякую газетную и журнальную работу. Пока есть еще этому одно вещественное препятствие, но я надеюсь скоро его отстранить и тогда буду уже совсем вольный казак! И тогда благословлюсь у от. Амвросия бросить литературу, как бросил многое другое. Это не зарок, это мечта и молитва. Вы совершенно правы, когда говорите, что пишете „не зря“ и „не даром“, и поэтому Вам приятно действовать в Англии. Я же, как Вы сами знаете, совсем в другом положении и чувствую противоположное, чувствую именно, что пишу „зря“ и „даром“ (не в денежном, конечно, а в нравственном смысле). Ведь надоест наконец, да немножко ведь и стыдно станет выходить на улицу с товаром, на который мало спроса. Один (Вам) известный человек пишет (по секрету мне в частном письме, а не печатно) по поводу моих взглядов на политику племенных освобождений и объединений в XIX веке приблизительно следующее лестное мнение: „наша беззубая публика привыкла к пище жеваной, а Вы даете пищу новую и твердую. Читатели наши привыкли или к нигилизму, или к катковской манере*, и Ваши статьи производят на них даже болезненное впечатление. Это Ваша доля и Ваша честь“. Выражения

---

* Жаль, что он не прибавил еще: или к обыкновенному славянофильству. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

„беззубая“ публика и „жеваная“ пища неизящны, слишком бранчивы и поэтому не нравятся мне, но, может быть, он и прав, не могу решить и быть совершенно беспристрастным судьей в своем деле. Но факт постоянного (сравнительно) неуспеха остается фактом; все равно, кого бы ни винить — меня или критику с публикой. Я ли „психопат“ и статьи мои „психопатические парадоксы“, как думает „Свет“ г-на Комарова, или другим в самом деле неловко и тяжело стать на непривычную им точку зрения. Я ли (как назвал меня некто Аристов [2] в „Русском деле“) „старый честолюбец-неудачник“, который „бредит“ чем-то ужасным... Или ко всем рецензентам и большинству читателей можно приложить по этому случаю слова Страхова: „Люди понимают лишь то, что им нравится, до остального им дела нет“. Решите Вы, если Вас это интересует, а я, конечно, не берусь. ⟨...⟩ Зачем давать концерты, на которые никто билетов не берет? Христианство не обязывает быть глупым и малодушным. Позволят обстоятельства устранить те вещественные препятствия, о которых я упоминал,— прекрасно! Надо оставить все это, и чтобы не быть без дела и не скучать — надо будет приняться за подробные и вполне откровенные посмертные записки и о себе самом, и о стольких замечательных людях, с которыми я имел сношения в разных местах и на разных поприщах моей прежней, практической деятельности. Я думаю, это будет труд, не лишенный интереса, и если я успею написать побольше, то он будет выгоден и для наследников или, вернее, наследниц моего литературного права. Наследницы эти суть пополам: 1) Марья Владимировна (с которой я, положим, уже 3 года по „несовместимости нравов“ не вижусь, даже и тогда, когда она на короткое время приезжает к от. Амвросию, но этот неизбежный для нашего духовного мира внешний разрыв не лишает ее прав на мою глубокую признательность и помощь), 2) Варя, которая замужем с 84-го года и живет с мужем у меня, успокаивая очень добросовестно мою болезненную старость (Вы, я думаю, хоть немного да

помните их? Вы иногда называли их, шутя: „Ваши дамы“). Если я исполню эту мечту мою о „Записках“, и если рукопись останется после меня интересная и большая, то пожалейте их и Вы и напишите о ней что-нибудь и в России, и в Англии, и во Франции, чтобы она продавалась. Ведь за других просить не стыдно, не правда ли? Бедной, полуюродивой жене моей, несомненно, правительство даст хорошую пенсию, надеюсь не менее 1/2 того, что я получаю, а может быть, и все. Правительственные лица, замечу кстати, были всегда ко мне гораздо справедливее, чем литературные редакторы и критики; по службе 21 год всего на должностях второстепенных и менее: военный врач, консул, цензор — я едва-едва имел право на 1 500 р[ублей] с[еребром], но граф Делянов, покойный Д. А. Толстой, поддерживаемые приватно Т. И. Филипповым и князем Гагариным, бывшим товарищем министра внутренних дел,— настояли, чтобы мне дали 2 500 р[ублей], и в указе об отставке моей сказано, что государь император дает мне 1 500 р[ублей] за особенно усердную службу и 1 000 за литературные труды. Книга моя („Восток, Россия и славянство“) была переплетена в дорогой переплет на казенный счет (как мне сказали в Петербурге) и представлена государю Деляновым, который предварительно просил Филиппова заложить бумажками все страницы и места, для прочтения государем особенно пригодные. (Увы! В России ничего не только сильного, но, кажется, и справедливого без участия начальства нельзя сделать.) Быть может, впрочем, это с культурной точки зрения лучше (т. е. не с точки зрения по-европейски понятой цивилизации, а с точки оригинального нашего развития). Вы, конечно, знаете, что Герб⟨ерт⟩ Спенсер с ужасом пророчит для ближайших веков „грядущее рабство“. Он как англичанин кровный, конечно, индивидуалист и трепещет за человечество. Я же русский человек, гораздо, может быть, еще более его самобытный в сфере мысли (ибо для Спенсера личная легальная свобода и вообще либеральный европеизм все-таки пес

plus ultra*), нахожу, что в сфере практической воли гораздо приятнее и полезнее повиноваться от. Амвросию, Дм⟨итрию⟩ Андр⟨еевичу⟩ Толстому, К. П. Победоносцеву и даже здешнему исправнику, чем своей будто бы воле, подчиненной все-таки мнению большинства или общественному мнению, которое, по верному определению Дж⟨она⟩ Ст⟨юарта⟩ Милля, есть все-таки не что иное, как мнение собирательной бездарности или пошлости. ⟨...⟩

Если определять сущность революции не так уж „добродушно" и неустойчиво, как вы, а так, чтобы вынудить согласиться рано или поздно с этим определением одинаково и фанатиков ее, и врагов, то лучшее самое ясное ее определение будет прудоновское: „революция есть стремление ко всеобщей наиполнейшей равноправности и счастию на земле". „Нужно даже,— по его мнению,— равенство умственное". Одно из главных средств к подобной всеобщей уже вполне реальной ассимиляции есть равноправность юридическая, равноправность и смешение сословий, лиц, вер, племен и наций. И вообще — смешение... ⟨...⟩

Аксакова у меня есть три тома [3], и я их очень ценю, читаю и делаю даже gratis** из него выписки в „Гражданин", вроде афоризмов мудрых. Если бы Анна Федоровна [4] не имела бы ко мне той физиологической ненависти, которую она имеет, я бы попросил у нее в дар все собрание сочинений и писем. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГБЛ).

[1] ...*„диньите де л'ом"*...— ироническая транскрипция французского выражения dignité de l'homme (достоинство человека).

[2] *Аристов* — возможно, Василий Иванович Аристов (1831—1903), член С. Петербургского Славянского благотворительного общества, артист и режиссер Кружка любителей драматического искусства в Петербурге.

---

* Крайний предел (*лат.*).
** Безвозмездно (*лат.*).

[3] *Аксакова у меня есть три тома...*— Имеется в виду собранне сочинений И. С. Аксакова в семи томах (1886—1887).

[4] *Анна Федоровна* — вдова И. С. Аксакова, дочь поэта Ф. И. Тютчева А. Ф. Аксакова (1829—1889). Воспнтывалась за границей. Жила прн дворе, где была воспитательницей детей Александра II, вел. кн. Марин и вел. кн. Сергея. «Она была женщина очень умная н образованная, с благородным пылом, но раздражительного характера ⟨...⟩. Прожившн весь век при дворе, она плохо говорила по-русскн, н с нею надобно было вести беседу на французском языке, тогда как с ним (И. С. Аксаковым.— *Д. С.*), наоборот, неловко было говорить по-французскн. Они расходились и в мненнях: „Что мне делать?— говорнла она иногда с отчаяннем.— Я терпеть не могу славян и ненавнжу самодержавне, а он восхваляет и то н другое“. Одно, в чем они вполне сходились, это — глубокое благочестне, соедлненное с искренней привязанностью к православной церквн» (Чнчерин Б. Н. Воспоминания: Москва сороковых годов. М., 1929. С. 242—243).

203. К. А. ГУБАСТОВУ

5—7 июня 1889 г., Оптина Пустынь

Друг мой, Константин Аркадьевич, за книги благодарю, я получил их давно, не писал же Вам так долго об этом потому, что не к спеху, и были другие занятия. За сборник Гартмана [1] очень Вам благодарен, многое в нем мне нравится, даже и некоторые из суждений его о России. Нордау [2] был у меня и прежде, по-немецки (Кристи из-за границы привез), но по-французски мне, конечно, еще легче и приятнее было перечесть. Вы правы относительно главы „Ложь политическая“; поместить ее, хотя отрывками, и у нас было бы очень полезно. Не знаю, почему никто не догадается. Я теперь не могу этого сделать. Вообще, надо признаться, что 2 книги Вашего выбора гораздо больше удовлетворили меня, чем назначенные мною: Лассаль, Луи Блан и Папарригопуло [3]. Меня уверили, что Лассаль попу-

ляризировал идеи тяжелого Карла Маркса, с которым я несколько знаком. Мне хотелось получше познакомиться с „последним словом“ социализма (в будущность которого — весьма, впрочем, нелиберальную — нельзя не верить; и Катков сознавался, что верит в нее). Я ожидал встретить легкое, блестящее и доступное изложение, что-то вроде Герцена, и вдруг увидел на первых страницах такую „серьезность“, да еще на немецком языке, что испугался, и до сих пор оба тома стоят на полке, разрезанные мальчиком моим, но не читанные. ⟨...⟩

Если можете, на остальные 11$^1/_2$ гульденов вышлите мне тоже запрещенное у нас сочинение Владимира Соловьева — La Russie et l'Eglise Universelle; Paris, Nouvelle Libraire Parisienne [4]; издатель Savine. В достоинствах этой книги — как бы она ни противоречила с известной стороны моим убеждениям — конечно, уж не ошибешься. Можно не разделять мнения автора, что центр Вселенской Церкви должен быть непременно в Римском папстве*, но надо сознаться, что он самый гениальный из современных нам мыслителей, точно так же, как Лев Толстой (в „Войне и мире“, в „Карениной“)— самый гениальный из нынешних романистов; Эд. ф. Гартману — далеко до него, во-первых, потому, что диалектика Соловьева гораздо увлекательнее и яснее, чем у него (его „История теократии библейской“— верх блеска и ума!), а во-вторых, практический выход в жизнь у них обоих — как небо от земли. У Гартмана — буржуазный мелкий стоицизм, весьма и без того распространенный на трудовом Западе, и в будущем все большее и большее уравнение, однообразная и безвыходная зависимость лиц от общества, старческое торжество печального сознания над бессознательным, то есть над всеми чувствами и страстями (хорошими и порочными — все равно), и, наконец, по достижении доступного на земле

* И что оригинальности у нас никакой решительно не может быть и не будет. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

совершенства в этом сознании и познании и себя, и мира — тоска, бесцветность и всеобщая жажда смерти от скуки*. Ведь — иногда и теперь — нечто подобное проглядывает, когда есть и неравенство, и войны, и азиатские „варвары“, и много еще простых и диких людей. ⟨...⟩

Вообразите себе человека живого, молодого еще и полного силы, какие еще есть теперь, слава Богу,— вообразите, что он стал искренно и твердо на точку зрения Гартмана... Он только что вступает в жизнь и хочет действовать — что же ему делать? Что? Когда Гартман не дает ему даже того утешения, которое доставляют своим последователям вожди и учители социальной революции; эти последние говорят: „жертвуй собой, иди на смерть; ты служишь постепенному водворению полного равенства и рая на земле“. Ученик Гартмана (понявший хорошо сущность его учения) должен сказать себе: „Не все ли равно? Стоит ли чем-нибудь жертвовать для будущего человечества, когда сам Гартман очень ясно доказывает, что оно (человечество) тогда только поймет вполне весь безвыходный ужас своего положения, когда прогресс принесет уже все доступные ему плоды, ибо прогресс ведет к тому, чтобы каждый человек наименее зависел от природы (от сильного физического труда, от болезней, от голода, от непогоды и урожаев) и как можно больше от общества (от эгалитарного деспотизма всех над каждым)“. И тогда станет ясно, что корень страданий не вовне, а в нас самих. Люди обеспеченные и не обуреваемые при этом страстями нестерпимо скучают. Значит, на практике жизни, человеку, последовательно исходящему из Гартмана, остается жить без идеи, а только по личным наклонностям, вкусам и выгодам. Можно и так, можно и этак. Ибо религии с их загробной жизнью — детство и вздор. Благоденствия земного никогда не будет, а разно-

* Это ведь не мои предсказания, а самого Гартмана. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

образного и пышного развития тоже теперь уже ожидать трудно — все идет к одному знаменателю!

Вот правильный выход в жизнь из учения Гартмана. Что касается до Соловьева, то он при всем своем высоком метафизическом полете дает мистицизмом своим практическую возможность выяснить путь жизни и для своей души, и для национального призвания. Примирение Церквей, подчинение Папе, ограниченная только Церковью власть русского царя, пекущегося о наилучшем материальном устройстве жизни (охранительный социализм). Таким был его идеал года 2—3 тому назад. Не знаю, что в этой последней книге. Оригинальную славянскую культуру он считает и невозможною, и даже вредною, как помеху соединению Церквей. Сочувствовать, Вы понимаете, я этому не могу, но, сознаюсь Вам, что Соловьев — единственный и первый человек (или писатель, что ли), который с тех пор, как я созрел, поколебал меня и насильно заставил думать в новом направлении. Вы-то лучше других знаете, что ни Аксаков, ни Хомяков, тем более ни Катков, ни даже Данилевский вполне не удовлетворяли меня. Я чувствовал, что я перерос их моею мыслью, и если я не сумел выразить ее, эту мою мысль, в моих сочинениях ни достаточно популярно, ни достаточно научно, ни достаточно завлекательно, ни достаточно убедительно, то этот сравнительный неуспех ни разу не колебал во мне внутренней веры моей в особое культурное призвание России. В первый раз Соловьев заставил меня задуматься и поколебал меня. Поколебал не личную и сердечную веру мою в духовную истину Восточной Церкви, необходимую для спасения моей души за гробом. (Он этого и не ищет; он также верит, что в православии можно спастись, точно так же, как и в католичестве: „обе враждующие сестры-Церкви соединены, по его мнению, внутренним единством благодати“.)

Он поколебал, признаюсь, в самые последние 2—3 года, мою культурную веру в Россию, и я стал за ним с досадой, но невольно думать, что, пожалуй, призвание-то России

чисто религиозное... и только! Ибо если даже и допустить, хотя бы и с реалистической точки зрения, что перед концом света (земли и человечества), всячески рано или поздно неизбежном, воцарится на время то высшее материальное благоденствие с нестерпимою душевною скукой, о которой пророчит Гартман (весьма правдоподобно), то ведь все-таки предварительной-то борьбы, работы, побед, поражений, неожиданных, то приятных, то ужасных открытий, стеснений и разделений, предстоит еще столько (особенно если вспомнить, какие есть еще миллионы нехристиан на земле), что будет время и для России исполнить какое-то (теперь еще неясное и спорное), но, во всяком случае, великое назначение.

Будет ли это та новая, пестрая, своеобразная культура, о которой мы с Данилевским мечтали (увы, едва ли!), или исключительно соловьевское религиозное призвание, последнее возрождение вселенского христианства для последней отчаянной борьбы с безверием (или антихристианством, анти-Христом), или, наконец, то разрушительно-социалистическое назначение, возможности которого на Западе с нашей стороны (не без основания также) многие опасались и опасаются. Все равно — в исполинском каком-то назначении нашем теперь уже и сомневаться нельзя. Припомните все, от фаталистических обстоятельств 1 марта до последнего тоста царского князю черногорскому [5], и Вы, разумеется, согласитесь с этим.

Итак, Вл⟨адимир⟩ Соловьев уж тем хорош или (если хотите) тем опасен, что, при всей воздушной высоте своей мистики и метафизики, он дает уму осязательную, видимую цель: подчинение папству — раз, сохранение самодержавия — два, идеал приблизительного хозяйственного улучшения — три (социализм консервативный). Я, оставаясь сам лично для себя на незначительный остаток земных дней моих неуклонно на почве простого и старого, афонского и оптинского, православия, как мыслящий человек все более и более начинаю думать, что учение его имеет

будущность в России. Не добрались, не додумались до него еще наши молодые люди, большинству из них еще не успел наскучить западный либерализм, и при вступлении в жизнь, при первой свободе от власти родителей и учителей эта пошлость так лично приятна и соблазнительна, что естественно желание — свои молодые страсти согласить с мировым принципом и им, кстати, оправдать и себя.

Но нынче это у многих скоро проходит, и западная идея эгалитарной свободы, как Вы сами, я думаю, видите, все больше и больше теряет то прежнее неотразимое обаяние, которым она, эта разрушительная идея, обладала 100 и даже 50 лет тому назад. Все истинно передовые умы один за другим от нее отказываются: Ренан, местами Дж⟨он⟩ Ст⟨юарт⟩ Милль (он ужасно непоследователен), Эд⟨уард⟩ ф. Гартман — верит в будущее эгалитаризма, но как в неизбежное зло своего рода, и др.

Занадобится молодежи нашей что-нибудь потверже и хотя идеальное, но ясное и достижимое — посмотрите, как она кинется на учение Соловьева.

Оттого-то и основательно, с точки зрения старого православия, начальство запрещает у нас его книги. Православное начальство обязано так делать, точно так же, как и я лично по богообязанности обязан не принимать вполне его учения („не наше дело это решать, а собора епископов"). Но в силу его я верю. Если даже она и догматически неправильна, то ведь разве неправильное не имеет огромного успеха? Это все сказалось у меня почти нечаянно и кстати. Я по-прежнему нахожу блаженство в беседе с Вами. Впрочем, для здоровья надо идти гулять в лес, и я отлагаю продолжение до вечера, либо до завтра. ⟨...⟩

Варя беременна, в сентябре родит; из прежних 3-х детей у нее жива и растет только одна 2-х летняя девочка, очень хорошенькая, но капризная. Александр зимой очень ленился, скучал с нами и все таскался туда-сюда по приятелям, а теперь много работает в саду и около дома. Лизавета Павловна стареет, все так же неопрятна и растрепана,

целые дни и зимой и летом ходит-бродит туда-сюда по воздуху и по гостиницам. Во всех классах общества заводит знакомства и все тщетно просится в Крым или в Москву. Иногда мечтает выйти еще замуж; не так давно распустила сама слух, что она беременна от одного монаха, так что пришлось ей даже притворно-строгий выговор сделать (монах очень расстроился). Вообще, хотя она стала веселее и менее дика, чем было вначале по возвращении из Крыма, но все-таки слабоумие ее (dementia) уже вполне неисправимо, и она минуты подряд не может держаться правильного хода мыслей. Не знаю, как с ней будут без меня справляться, часто об этом горюю. ⟨...⟩

Марья Владимировна имеет хорошее место в Москве. Была здесь прошлое лето в течение 2-х недель и запрошлое, будет и этот год, но я для внутреннего мира души („Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим!“) не пожелал встречаться. Зачем „тревожить язвы старых ран“! Зажить они вполне у обоих не могут, и рубцы их все будет побаливать. Поэтому „вырви око“, которое соблазняет тебя и вводит в грех и пробуждает невольно жестокие и лютые воспоминания! ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение“. 1897. Май. С. 403—412.

[1] Эдуард фон *Гартман* (1824—1906)— немецкий философ-метафизик. Развивал идеи А. Шопенгауера, доведя их до крайних пессимистических выводов.

[2] Макс *Нордау* (1849—1923)— немецкий писатель, автор популярных философско-политических сочинений.

[3] Константин *Папарригопуло* (1815—1891)— греческий историк, автор монументального труда „История эллинистической цивилизации“ (1867), в которой доказывает, что, вопреки распространенному мнению, Византия не была инертным и застойным государством.

[4] *La Russie et l'Eglise Universelle.* Paris, 1889.—„Россия и вселенская церковь“, богословский трактат Вл. С. Соловьева, написанный по-французски и изданный в Париже. „Книгу мою французскую не одобря-

ют с двух сторон: либералы за клерикализм, а клерикалы за либерализм" (Вл. С. Соловьев: Письма. Т. 1—3 СПб. Т. 1. 1908. С. 179). Славянофил А. А. Киреев писал С. А. Петровскому: „⟨...⟩ теперь он перешел окончательно во враждебный лагерь и нисколько не гнушается союзом с разной дрянью, лишь бы эта дрянь относилась враждебно к православию и России. Он озлобленный фанатический папист" (Письмо от 24—26 декабря 1889. Автограф. ГБЛ, Петр., I, 64). Впоследствии Н. А. Бердяев так оценивал эту книгу Соловьева: „В книге этой, замечательной по проникающему ее вселенскому духу, неприятно поражает обилие схоластики ⟨...⟩. Решительно нужно сказать, что в мучительной проблеме взаимоотношения православного Востока и католического Запада Соловьев слишком упирал на сторону политическую и преследовал цели слишком публицистические. В книге, написанной на французском языке и предназначенной для западного мира, Соловьев не сумел показать этому миру святыни православного Востока, с которой только и может быть связана мировая миссия России" (Сборник первый. О Владимире Соловьеве. М., 1911. С. 112, 116, 117).

5 *...от фантастических обстоятельств 1 марта до последнего тоста царского князю черногорскому...* — Имеется в виду убийство Александра II, совершенное 1 марта 1881 г., и тост, произнесенный Александром III при посещении Петербурга черногорским князем Николаем I „За единственного искреннего друга России".

204. К. А. ГУБАСТОВУ

17 августа 1889 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Сперва о Соловьеве два слова. Я согласен с Вами, что книга „La Russie et l'Eglise Universelle" [1] слабее других его трудов, но все-таки в ней, особенно для религиозного человека, есть прекрасные и потрясающие страницы... Его критика наших „синодальных" порядков, к несчастию, очень похожа на истину. Религия православная в России держится только нашими искренними личными чувствами, а церковное устройство вовсе не таково, чтобы могло

усиливать и утверждать эти личные чувства. Эти чувства сильны не только в простом народе, но и у многих лиц высшего образования (здесь-то я сам вблизи вижу, как много у нас людей высшего и среднего круга, которые ищут в религии опоры и руководства). Огромное множество людей у нас, гораздо больше, чем в Европе, изверилось в спасительности „прогресса"! Это и по литературе видно. Это видно даже и из тех двух книг, которые Вы мне прислали, из Ренана и Соловьева. Русский великий мыслитель убивается в поисках духовной, жреческой дисциплины и власти; умный, тонкий, ученый (конечно, не великий), однако идеалист, француз удовлетворяется личными своими тонкими и бесплодными мечтами, примиряется охотно с тем, что западные общества стремятся к американскому типу.

У нас же, Вы не поверите, какой поворот к религиозности! Я говорю не о той политической защите православия, за которую так бранили и презирали меня всего лет 10—15 тому назад и за которую взялись теперь эти же самые порицатели мои (Как видно, между прочим, и из той статьи „Нового времени" [2], которую Вы мне так умно и кстати прислали); нет, я говорю о чувстве личном, о том сильном, искреннем и простом чувстве, которое влечет людей образованных поговеть в Оптиной, поговорить с отцом Амвросием, посоветоваться с ним и т. д.... Я говорю о том чувстве, которое так просто выражено в словах: „Верую во Единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца... И во Единую, Соборную, Апостольскую Церковь... Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь!"

В этом смысле, простом и глубоком, я вижу вокруг себя большое улучшение. И слышу то же от других. Даже и оптинские монахи, которые были лет 15—17 тому назад гораздо более пессимисты относительно русского общества (с этой точки зрения) и жаловались на всеобщее „отступление", теперь утешаются и радуются на то улучшение, о котором я пишу. Не думайте, что я „увлекаюсь". Это

слово многие любят зря прилагать ко всем впечатлительным и горячим людям; впрочем, Вы-то лучше многих знаете, как мое внутреннее устройство стойко, и потому поверите мне, если я скажу, что я за эти годы стал относительно России (той оригинальной, не европейской России, которую я в мечте так любил) большим скептиком. Все мне кажется, что и религиозность эта наша, и наш современный национализм — все это эфемерная реакция, от которой лет через 20—30 и следа не останется. Сознаюсь, я иногда так думаю; но ведь это еще вопрос, прав ли я в этих сомнениях? Быть может, это старость, усталость сердца, холодность, при которой чистый разум работает свободнее — да! Но всегда ли эта свобода ума дает правильные результаты во мнениях — это еще неизвестно. Новейшая философия признает за чувством не только психологические права (этого никогда нельзя было у чувства отнять, ибо оно есть и действует сильно), но права логические, то есть признается, что сильное чувство нередко поразительно предугадывает верную мысль. Итак, быть может, и сомнения мои происходят от общего охлаждения чувств моих, и эти остывшие чувства мои перестают мало-помалу так пламенно и так верно пророчествовать, как пророчествовали они прежде. Я чаще прежнего сомневаюсь в религиозной культурной будущности России, но я же, с другой стороны, и сомнениям своим, как видите, не доверяю. Не нравится мне, с одной стороны, некоторая вялость правительственных мер, а с другой — я вспоминаю, что все истинно прочное, вековое создавалось медленно, толчками, нередко неожиданными, идеями смутными, неясными. Так создалась прежняя аристократическая великобританская конституция, так сложились у нас постепенно два великих учреждения — самодержавие и крепостное право.

Так даже в первые века слагалось учение самой Церкви, устроялся догмат, порядок и обряд ее.

Иногда я боюсь разрешения Восточного вопроса, боюсь,

чтобы неизбежная, физическая даже, близость ко всем этим „единоверцам“ нашим, неисцелимо, кажется, либеральным, не погубила вконец те реакционные всходы, которые начали только снова зеленеть у нас при новом государе [3].

А с другой стороны, я чувствую, что на взятие Царьграда одна надежда для того, кто именно хочет, чтобы это реакционное движение и властей, и умов независимых в России не остановилось.

Понимаете: Византия, предания, географическая близость к св⟨ятым⟩ местам, необходимость для властей наших отыскать такие начала, при которых было бы удобнее справляться с миллионами этих либеральных „союзников“ (Греция, Сербия, Болгария, Румыния). Сверх того, в умах русских — все возрастающая независимость от западной мысли, все возрастающая потребность найти, наконец, путь и умственного первенства и т. д. Это все благоприятно... Во всяком случае, ждали мы долго, теперь осталось ждать немного; борьба разгорится неминуемо: где? откуда? когда именно? из-за чего именно? Не знает никто, но только не знающий духа истории может думать, что XIX век при конце своем не сведет своих счетов, как сводил XVIII с 89—90 годов и до 1815-го.

Qui vivra — verra!* Признаюсь, мне бы очень хотелось дожить до того, только до того, чтобы видеть, куда невидимый стрелочник истории повернет после завладения Босфором путь России: направо, то есть по моему желанию, или налево, то есть по духу Стасюлевичей, Пыпиных [4], Стамбуловых [5] и т. д. ⟨...⟩

За Ренана я Вам столько же благодарен, сколько и за Нордау. Оба хуже. То есть я Вам за присылку благодарен, особенно потому, что эти книги утешают мое антиевропейское злорадство. Ясно, что этим людям и на этой почве („прогресс“) нечего больше сказать! И слава Богу! Из Ренана (которого теплоту Вы так хвалите) я пока прочел

* Пожнвем — увндим (*фр.*).

только предисловие и только изумился — чем этот доволен во Франции и во всей Европе! Везде будет демократия, везде будут машины, „а я молча буду сидеть в кабинете или на берегу моря и думать" (то есть если не я сам, то мыслящий потомок вроде меня). Скромная доля будущих кротких и чувствительных людей! Ну, а если мыслителю великому, но нескромному захочется исковеркать всю эту Америку — так ему тоже удовлетворяться одинокою мечтой об этой ломке? Или позволительно поднять движение „научное", кровавое и действительно все переломать? Нет! Я когда думаю о России будущей, то я как conditio sine qua non* ставлю появление именно таких мыслителей и вождей, которые сумеют к делу приложить тот род ненависти к этой все-Америке, которою я теперь почти одиноко и в глубине сердца моего бессильно пылаю! Чувство мое пророчит мне, что славянский православный царь возьмет когда-нибудь в руки социалистическое движение (так, как Константин Византийский взял в руки движение религиозное) и с благословения Церкви учредит социалистическую форму жизни на место буржуазно-либеральной. И будет этот социализм новым и суровым трояким рабством: общинам, Церкви и Царю. И вся Америка эта ренановская — к черту! ⟨...⟩

Здесь летом было довольно много посетителей хорошего общества, и соседи есть очень приятные. Изредка раскачиваюсь, влезу с трудом в экипаж и поеду. Говорю там, говорю до полусмерти и так рад опять своему домашнему глубокому безмолвию. Варя беременна, на сносе. Я всякий раз боюсь за нее и за себя. Умри она — едва ли можно будет без нее жить семьей. И Лизавета Павловна ее сильно полюбила: „Варуся! Варуся милая!"— так она ее зовет.

Без нее мы оба в доме с тоски помрем; а к новой — разве старому человеку легко привязаться? Как бы в случае несчастия не пришлось в скит уйти, а Лизавету Павловну

---

* Непременное условие (*лат.*).

особо в Козельске устроить. Невольно приходят такие мысли по мере того, как приближается срок родить ей! Помилуй Боже! Впрочем, и то сказать, Бог знает, что лучше для всех нас!

Посылаю Вам довольно удачный портрет мой. Берегите его, он, вероятно, последний, ибо, если бы я долго еще прожил, то очень дряхлым я себя снимать не позволю. Что за охота! Видел я недавно портреты Дарвина [6], Пирогова [7] и А. Н. Островского в последние годы их жизни. Ну, что за гадость! Чистые орангутанги... Кому это нужно — не понимаю. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение“. 1897. Май. С. 412—420.

1 „*La Russie et l'Eglise Universelle.*“.— См. примеч. 4 к письму 202.

2 „*Новое время*“— издававшаяся в Петербурге в 1868 по 1917 гг. ежедневная газета. В 1876—1912 гг. редактором-издателем был А. С. Суворин, переориентировавший ее с либерального на консервативное направление.

3 ...*при новом государе* — то есть Александре III.

4 Александр Николаевич *Пыпин* (1833—1904)— исследователь русской литературы, фольклора и общественности. Двоюродный брат Н. Г. Чернышевского. Профессор Петербургского университета. Был избран членом Академии наук, но не утвержден из-за противодействия министра внутренних дел гр. Д. А. Толстого. Сотрудничал в журналах „Отечественные записки“ и „Современник“. Ближайший сотрудник и член редакции „Вестника Европы“. Автор около 1200 работ.

5 Стефан *Стамбулов* (1854—1895)— болгарский государственный деятель. Участвовал добровольцем в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг. Президент палаты депутатов. После свержения князя Александра Баттенбергского — регент. Отстаивал независимость Болгарии от России и установил деспотическое правление. После избрания болгарским князем Фердинанда Кобурга — премьер-министр. В 1894 г. народное возмущение заставило его уйти в отставку. Убит террористами.

6 Чарлз *Дарвин* (1809—1882)— английский ученый-естествоиспытатель. Автор теории естественного отбора.

[7] Николай Иванович *Пирогов* (1810—1881)— врач, специалист по военно-полевой хирургии. Профессор Петербургской медико-хирургической академии. Руководил медицинской службой во время Севастопольской обороны 1854—1855 гг.

205. Н. А. УМАНОВУ

27 августа 1889 г., Оптина Пустынь

Уманов! Как это Вам не стыдно, Вы как женщина! Второстепенные соображения для Вас важнее главных. Разве это можно перестать совсем писать ко мне оттого, что совестно — долго не писали! Мне так объяснил Александров причину Вашего молчания. Если чувствуете себя неправым, давно бы сказали для формы 2—3 слова извинения, и кончено! Я говорю „для формы“, потому что сам я, как видите, вовсе на Вас не обижаюсь за это, а только не могу не порицать строго Вашей русской невыдержки... Больше одного года не устояло со мною Ваше доброе, искреннее ко мне чувство! Помните, голубчик, что некоторое тонкое понуждение воли необходимо во всем — и в вере, и в любви, а не в одной работе или науке. Нельзя делать все только по влечению, с этим далеко в жизни не уйдешь. Положим, что Вы еще молоды, а Петр Евгеньевич [1], который много старше Вас, сделал со мной еще хуже: тот вовсе не ответил мне на мое первое отсюда письмо и тоже укоряет себя (как слышно); и тоже ни с места; но из этого не следует, что Вы оправданы дурным примером старшего. „Возлюби ближнего твоего и возненавидь грехи его!“ Петр Евгеньевич человек благородный, добрый, великодушный, способный на рыцарский поступок, притом же ума из ряда вон выходящего, но у него, так же как и у Вас, „психический ритм“ слишком быстр. Надо это помнить и бороться противу этого. Выравнивать немного душу свою; признаюсь Вам для пользы Вашей, что я в Ваши годы сам был таков,

но рано понял это и рано стал ненавидеть в себе эту неровность и годам к 30 много, очень много исправился. Иначе посмотрите, какие выходят крайности: с начала нашей разлуки никто из товарищей Ваших так часто и так много мне не писал, как Вы. Прошел только год — и я не существую уже для Вас. А Кристи, Фудель и Александров у меня не только были здесь в течение 2-х лет по два раза, но и никогда не прекращают со мной переписку.

Я понял бы это, если бы Вы переменили вообще образ мыслей, как бы сохраняя прежнее со мной единомыслие, лично бы за что-нибудь отступились бы от меня. Все это в порядке вещей; но — зря! Это ужасно, когда подумаешь, сколько людей в России способны так всем пренебрегать, все запускать, перед всякими мелочами останавливаться (вроде —„давно не писал, стыдно!“). Александров сказал мне еще, будто Вы находите, что из провинции не о чем писать! Ну, голубчик мой, это еще хуже! Исправьтесь, *исправьтесь*, ИСПРАВЬТЕСЬ!

Неужели только и жизнь, что ходить из редакции в редакцию впечатлеваться постоянно не одной действительностью, а передовыми статьями и фельетонами?

Послушайте, знаете, сколько я счетом годов прожил в столицах из 58-ми лет моих? Сейчас сочту: оставим раннее детство, но с 14 лет до 18 (4 года) я учился в Калуге, от 18 до 23 (5 лет) проживал только зимы в Москве, студентом. Начиная с осени 54 года и до осени 57 я был в Крыму военным врачом (сам не хотел брать место в Москве). С 61 до конца 63 прожил (и то с перерывами) в Петербурге, а потом, от 63 до 74-го —11 лет,— в Турции, большею частию по разным провинциям, на Афоне и в Царьграде... Потом, с 74 по 81, опять туда-сюда и только последние 6 лет, от 81 до 87, подряд в Москве. Значит, всего на 58 лет не более 11—12 полных годов в Москве и Петербурге! А что, я разве глупее от этого? Надо, во-первых, в себе самом носить идеалы, хранить их, независимо от среды. Во-вторых, надо делать все возможное,

чтобы находить жизнь везде. Да, везде она так или иначе интересна, а тем более в русской провинции.

Читайте книги с выбором, а не зря, наблюдайте людей, сходитесь с ними, сейте в них добрые семена, не прикрывайте всем нам свойственную лень такими плохими словами лжесмирения: „Да где мне“ и т. д. Это все глупости 40-х годов, „лишние люди“, герои Достоевского, „гамлеты“ Тургенева. Истинное смирение, христианское, есть вещь духовная, она относится ко грехам, а не к способностям и к политическому влечению. Вот если редко в церковь ходите, скоромное по постам едите, старым друзьям без причины не пишете — смиряйтесь: „Mea culpa! Mea culpa!“* Ну, а когда дело идет о полезном влиянии на людей, то совсем некстати в себе отчаиваться...

И еще, как это у Вас не будет интересного материала, когда Вы в суде служите? Да сколько, я думаю, Вы видели за этот год и слышали! И не хотите писать...

Ну, довольно укорять!

Посылаю Вам портрет мой (провинциальной работы), несравненно лучший, чем прежний, московский,— в „облаках“, который даже прошу Вас теперь, имея лучший, разорвать. Так он гадок!

О себе мог бы сказать много хорошего, но не стану и трудиться, пока Вы длинным письмом не докажете, что Вы во мне еще хоть сколько-нибудь да нуждаетесь... Бог с Вами!

Ваш *К. Леонтьев.*

Публнкуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] *Петр Евгеньевич* — П. Е. Астафьев.

* Моя внна! Моя внна! (*лат.*).

206. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

7 сентября 1889 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Об издании „Одиссея“ я еще не отложил попечения. Лучше всего будет (через Кристи или через кого-нибудь еще) обратиться сначала к Суворину. Тогда увидим. Благодарю за намерения, но отчего же Вы не решаетесь все-таки испытать Л. Н. Толстого с этой стороны? [1] Если неожиданно согласится, подивимся вместе и порадуемся за меня. Если, как и вероятно, откажется, не будем плакать и тоже порадуемся за идею, т. е. за невыдержку чистой этики без Бога, Христа и старцев. Старец, знавши, что „Одиссей“— вещь безвредная, и услышавши от него сознание в том, что он действительно ее не раз и при самом авторе публично хвалил и что автору нужны деньги, даже не для себя, а для уплаты старых долгов и т. д., старец, говорю я, прямо бы велел ему приклеить к этому изданию свой популярный штемпель. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 70—72.

[1] *...не решаетесь все-таки испытать Л. Н. Толстого с этой стороны?*—„К. Н. Леонтьев просил меня поговорить с Л. Н. Толстым, чтобы он написал предисловие к его „Одиссею“. Ничего из этого, конечно, не вышло“. (Примеч. А. А. Александрова.)

207. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

12 сентября 1889 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Я не признаю себя сильным в метафизике и всегда боюсь, что я что-нибудь слишком реально и по-человечески, а не по-философски понял. Вы знаете, как определял метафизику Вольтер? Слушайте:

„Когда человек говорит, и никто его не понимает, и когда он сам наконец начинает ничего не понимать,— это метафизика!“

Конечно, и на этом Петр Евгениевич мог бы меня сейчас поймать, воскликнув: „психология или метафизика — большая разница!“ Но я остаюсь прав по чувству: я понимаю очень ясно, я чувствую психологию более конкретную (самолюбие, гнев, любовь, твердость, „самовар и раскаяние“ у русских по Рошфору [1] и т. д.); но когда начинается психология более метафизическая (эмоции, навыки, ассоциации и т. д.), у меня начинает „животы подводить“ от страха, что я не пойму... Никак всего этого пальцами не ухватишь, и, верьте, есть, например, у Шопенгауера страницы (например, об эстетике), которые для меня ясны, как день, а в его „законах достаточного основания“ и т. п. решительно ни бельмеса не понимаю! 〈...〉

Впервые опублнковано в кн.: Памятн К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 72—73.

[1] *Рошфор* — возможно, известный французскнй публнцист н полнтический деятель Внктор Анрн Рошфор (1831—1913).

208. Н. А. УМАНОВУ

22 сентября 1889 г., Оптина Пустынь

И за то спасибо, дорогой Николай Алексеевич, что скоро ответили. Что ж с Вами делать, если Вы такой „унывающий россиянин“! Вот именно Вам-то, при Вашей впечатлительности и наклонности унывать, на которую Вы сами горько жалуетесь, Вам-то и не годится надолго прекращать переписку с теми друзьями, которых участие может Вас ободрить. Я говорю не только про себя, но и про Фуделя, и про Александрова, например. Не прекращайте впредь сношения с ними, ни со мной. Если замолчите

случайно надолго (то есть не случайно, а вследствие упадка духа), не стесняйтесь (это недостойно даже Вашего ума!), а понудьте себя выйти наконец из этого молчания. Вот хоть бы и я; один раз я простил Вам Ваше забвение, ну, а 20 раз не стану набиваться молодому человеку с моими любезностями, когда он в них не нуждается и вместо того, чтобы в грустные минуты искать утешения в дружеской и откровенной беседе, бранит только себя „Гамлетом" и больше ничего. Пожалуйста, оставьте этот дух сороковых годов! 40-е эти годы хороши только со стороны эстетических взглядов. Все остальное в их духе прескверно. В религии — полное отчуждение от Церкви, в политике — либерализм, в личной жизни — ни к чему не ведущее, вечное недовольство собой, ничего общего с христианским „смирением" не имеющее... или очень мало, по крайней мере. Истинный христианин при наивном смирении (то есть сознании и понимании своих грехов) совершенно покоен, а „Гамлеты" сороковых годов все волнуются: то слишком много требуют от себя, то слишком много от жизни и людей. Многие литераторы и наставники ваши вас, господа, сбивают тем, что хвалят 40-е годы эти, но ведь их дух можно хвалить только по сравнению с 60 и 70 годами, но идеи, вкусы и веяния и молодые люди 80-х годов несравненно лучше людей 40-х... Несравненно! Тогда невозможны были ни Фудели и Веригины, ни Кристи, которые учатся богословию и молятся для себя, ни Александровы, которые не хотят жениться без благословения старца... Не падайте же духом, голубчик! Вы живете в хорошее время...

Прочно ли это движение в „новейшей" России — не знаю, но что оно прекрасно — это верно.

Никогда еще образованные люди в России не стремились так к Церкви, как теперь! А Церковь и учение ее — это сама суть. При этом и государственность, и эстетика, и мораль — все выразится сильнее... 〈...〉

Дело прежде всего не в том, чтобы писать статьи в защиту православия, а в том, чтобы самому и для себя

верить и иметь „страх Божий“! Одна среда, в которую человек с отвращением и даже досадой от непривычки поест постное, одна всенощная, которую он с любовью отстоит, одна домашняя молитва: „Господи, подкрепи меня, утешь меня, прости мне!“ — стоят десяти статей для других.

Бог и я, как говорят монахи, а потом польза других, она при вере и молитве сама собой выйдет.

Фудель и даже Веригин гораздо для меня дороже всех сентиментальностей Достоевского, которому за них платили деньгами и славой!

Пожалуйста, пожалуйста, будьте для себя православным и поверьте, что и Пенза будет больше Вам нравиться, когда Вы в себе найдете больше внутренней жизни. 〈...〉

Публнкуется по автографу (ЦГАЛИ).

209. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

11 января 1890 г., Оптина Пустынь

〈...〉 В заключение прибавлю, что роковые в моей жизни цифры —89, 90, 91 (49, 50 и 51; 61 и 62; 70 и 74; 79, 80, 81 — все эти годы были для меня очень жестоки и тягостны), о которых я Вам говорил (или нет — не помню), уже сильно дают себя чувствовать. Если не смерть близится, то надо ждать какой-то новой, тяжелой и значительной в моей жизни перемены. Уже признаки начала и конца и обнаружились один за другим. Во-первых, отец архимандрит крайне недоволен юродствами бедной Лизаветы Павлоны, ее шутками с молодыми монахами и т. п. Перед Рождеством, после одной ее глупости, он потребовал ее удаления в Козельск; там она прожила 2 недели, после чего я обещал ему смотреть за ней строже, и ее вернули с уговором — испытать до мая. Но разве за ненормальным и слабоумным человеком долго уследишь? Я предвижу, что

мое положение в этой милой усадьбе уже непрочно, и можно со дня на день ожидать, что я буду вынужден или всем домом переехать в Козельск, или их с Варей устроить в Козельске, а самому удалиться в скит.

Но это еще ничего, а случилось еще нечто гораздо худшее. Александр увез от Вяземских [1] молодую девушку (горничную), поселил ее в Козельске и, по всем признакам, содержал ее, потому что она ничем не занималась, кроме пения, пляски и кутежа. Но это так и быть! Это его личный грех, и даже Варя на это собственно смотрит еще довольно рассудительно для молодой и любящей жены. Но беда в том, что он как русский человек не мог ограничиться скромной и приличной, так сказать, изменой, а начал кутить, „чертить", что называется: пил, скакал с ней по городу, мои комиссии исполнял все хуже и хуже, домой постоянно опаздывал и даже в деньгах запутался так, что много задолжал. Если бы кто-нибудь мне предсказывал, что и этот осторожный, честный, покойный и даже весьма дипломатический характер так неожиданно и „широко" прорвется, я бы не поверил. Да и не верил до тех пор, пока не стало слишком очевидно и сам сознался наконец. Пока батюшка, я и Варя уговорили его уехать к отцу на несколько месяцев для перелома в чувствах. Конечно, он кается, но Вы, конечно, понимаете, как важен и для него, и для Вари, и для меня этот первый шаг на скользком пути! Вера моя в его солидность уже раз навсегда поколеблена, для Вари впереди ждешь скорбей и слез, для него — дома скука от неизбежных укоров и желания снова находить утешения на стороне. В моем доме ему уже более не предстоит надолго занятий и службы вследствие моего недоверия и моей, так сказать, природной „неотходчивости" в подобных случаях. Струна какая-то у меня лопнула, и даже Варя со мною согласна, что открытый кутеж и все эти его беспорядки хуже самой измены, которая, при всей греховности своей, могла бы быть соблюдена без шума и расстройства дел...

Хорошо, если Бог поможет образумить и устроить его где-нибудь здесь, неподалеку, а если он предпочтет остаться под Москвой, ведь рано или поздно и Варя должна будет оставить и меня, и Лазвету Павловну. А Варя — единственная душа в доме, с которой я могу душу отвести.

Поняли теперь, что такое для меня эти цифры —90-й и 91-й? Пока благодарю Господа, принимаю все это покойно и твердо, но что буду чувствовать тогда, когда все это вокруг меня рухнет? Не знаю и боюсь, что будет очень тяжко и скучно. 〈...〉

Впервые опубликовано в кн. Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 82—85.

[1] *Вяземские* — семья богатых помещиков, живших неподалеку от Оптиной Пустыни.

210. И. И. ФУДЕЛЮ

12—13 января 1890 г., Оптина Пустынь

〈...〉 Есть и другая история. Пока она еще сносна, но может тоже со временем повлечь за собой ряд горьких последствий. Мой солидный, твердый, верный, умный, осторожный Саша Пронин вдруг, после стольких лет приличного поведения, прорвался совсем по-великороссийски. Увез горничную молоденькую от князя Вяземского (из имения), устроил ее в Козельске на свой счет, собрал компанию, кутил, начал пренебрегать всеми моими делами и, наконец, наделал долгов. Варя была очень огорчена; вмешались мы с от. Амвросием и убедили его уехать на несколько месяцев к отцу (под Москву), чтобы отвыкнуть, пережить чувства, так сказать. Он очень умен и вовсе не бесхарактерен, так что можно надеяться, что он обуздает себя хоть на время. Мне он сам не нужен ни для хозяйства,

ни для сердца; и для того, и для другого нужна Варя. Его можно будет устроить на должность где-нибудь поблизости здесь. Но за ее будущее мне страшно: раз молодой и красивый муж решился на подобный первый шаг, захочет и второй, и третий раз развлечься. Она же, Варя, женщина хотя и умная и очень добрая и благородная и набожная, но не из тех ловких жен, которые умеют с этого рода делами мириться и через снисхождение и ловкость эту сохраняют навсегда дружбу мужей. Она, вопреки всем моим просьбам и советам, не может воздержаться, чтобы не наскучить ему укорами. А это, увы, самое верное средство удалить от себя и самого доброго мужа.

Видите, голубчик, и с этой стороны „почва" под моими ногами колеблется! И по поводу всех этих неожиданностей приходится подивиться и с ужасом подумать: как это столькие люди живут без религии и особенно в старости, когда уже нет утешения ни в житейской борьбе, ни в тех страстях, которые увлекают людей помоложе.

А при вере все-таки и на этой обманчивой земле много легче.

„Богу так угодно! Бог милостив!" И легче. ⟨...⟩

13 января день моего рождения; 59 лет, а по статистике только 1 человек на пятьсот доживает до шестидесяти лет. ⟨...⟩

За портретик благодарю. Он очень мил, хотя и мал. Но поэтому же у Вас, в Белостоке, фотографическая мастерская называется фотоателье.

Вот холуевина-то!

Публнкуется по автографу (ЦГАЛИ).

211. К. А. ГУБАСТОВУ

14 января 1890 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Скажу Вам только две новости: 1) вчера, 13 января, мне минуло 59 лет. Это удивительно! Никак вполне к этим „законам природы“ не привыкнешь! А 2) вот что: Марья Владимировна гостит здесь, в Оптиной, уже 3 месяца на гостинице, в 20—30 шагах от моего дома, и пробудет и еще, пока отец Амвросий не достанет ей место где-то в Полтаве.

И мы не только не видимся, но даже не волнуемся оба, находим это совершенно естественным.

Вот уж именно: „Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas!“*

За воспоминания Ренана[1] очень Вам благодарен. Они действительно очень сердечны и милы, и даже могут и религиозную пользу принести, ибо если он сам утратил веру безвозвратно, то ведь никто не обязан в этом ему сочувствовать или подражать. Но он местами о вере других пишет умно, благородно и справедливо.

Утратить безвозвратно веру — это то же, что в другой сфере impotentia virilis**. Глуп будет человек, который будет уверять, что в половых отношениях нет ничего приятного и даже высокого, оттого что он сам импотент!

Ренан — импотент в религии, но он достаточно умен, чтобы понимать, что сама-то по себе религия хороша и утешительна ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение“. 1897. Июнь. С. 906—907.

[1] *...воспоминания Ренана.*—„Souvenirs d'enfance et de jeunesse“, („Воспоминания детства и юности“), 1883.

---

* Дни сменяются, но не походят друг на друга (*фр.*).
** Мужское бессилие (*лат.*).

212. И. И. ФУДЕЛЮ

11 февраля 1890 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Я тоже на этот раз буду краток. Ничего нового у нас здесь нет. В моей жизни никаких пока особых перемен. Завтра начинаю говеть, дома, конечно.

Есть, впрочем, одно новое и утешительное. Двое молодых людей из хорошего дворянства — Шидловский[1] и двоюродный брат его Черепанов[2] — поступили недавно в скит. Они оба женаты, жены их молоды и хороши собой, жили согласно, как слышно, но решились отказаться от мира и друг от друга. Их одели (то есть надели с молитвой ряски) всех 4-х в один день; на гостинице прощались, и даже от. Петр[3], известный Вам и Евгении Сергеевне гостиник, мужичок скорее хитрый, чем чувствительный, и тот заплакал, глядя на слезы Черепановой[4]. Другая (Шидловская)[5] посуше, кажется, и с „душком“.

Дамы после этого уехали в Воронежскую губ., в общину, которую Шидловская устроила в своем имении, а мужья остались в скиту. Помоги им Господь! ⟨...⟩

Ходят слухи об отставке Бисмарка... Дай Бог! Император[6] очень жив и опрометчив и без тормоза наделает ошибок нам на пользу... Вот и люби все человечество это по рецепту Достоевского и Соловьева. Я не умею! И без тени покаяния даже буду очень рад таким невзгодам Германии, от которых долготерпеливая Россия наша попользуется для разрешения Восточного вопроса (т. е. хочу и сам дожить до взятия Царьграда). Это — главное. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] Борис Вячеславович *Шидловский* — двоюродный брат С. А. Толстой, жены Л. Н. Толстого, служил в лейб-гвардии гусарском полку. В монастыре пробыл недолго.

[2] *Черепанов* — других сведений об этом лице не найдено.

[3] *От. Петр* — других сведений об этом лице не найдено.

[4] *Черепанова* — неустановленное лицо.

[5] Вера Николаевна *Шидловская* (1861—1918)— урожденная Шабельская, жена Б. В. Шидловского.

[6] *Император* — то есть германский император Вильгельм II.

213. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

12 февраля 1890 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Не горюйте слишком обо мне и об Варе, мы давно уже оба успокоились; Александр все еще у отца, под Москвой, и я хочу благословиться у от. Амвросия, чтобы продлить его изгнание до Пасхи. Варя отнеслась к первой измене его гораздо рассудительнее, чем можно было от ее прежней страстности и вспыльчивости ожидать. Она прежде всего была рада, что он не на глазах, что она не видит его проказ и не слышит о нем рассказов, которые ее раздражали. До сих пор не скучает и даже весела. Что касается до меня, то, увидавши ее рассудительность, я стал покойнее за ее будущность, ибо для любящей женщины труднее всего перенести именно первую измену. Потом, если мужчина с ней-то самой хорошо обращается, то многие из них привыкают к этому. Что касается до меня, то, с одной стороны, я за ее будущность тревожился при этом первом его приключении; а для себя видел в этом предзнаменование (в числе многих других) о приближении какого-то нового и нелегкого перелома в моей жизни (90-й, 91-й год. Помните?). Мне все кажется (хотя, разумеется, я не знаю), что если я в течение этих двух роковых лет не умру, то какая-то совокупность обстоятельств и перерождение собственных моих чувств приведет меня к оставлению того подобия семейной жизни, которым я был до сих пор доволен. Как бы не пришлось в скит или монастырь переселиться, а жену с Варей — в Козельск? Иногда и жутко что-то, как начнешь думать... Но это все еще неясно;

ясно одно, что для дома моего здесь Саша не только бесполезен, но даже и обременителен. Получает 10 руб⟨лей⟩, а леность его и равнодушие к делу (которого у него меньше всех) до того мне наскучили и утомили меня, что без него стало гораздо легче. Его ум и прекрасный, ровный характер обезоруживают, правда... Но все-таки я не люблю его небрежности и буду искать ему поблизости другое место. У чужих, небось, будет построже к себе. Пишет нам, что очень кается и без нас скучает. Я ему ответил очень строго: „Без нас ли? Или без кого еще? Главное, без двух товарищей кутежа?“ К девице-то этой он, кажется, не очень привязан (хотя она, слышно, очень красива). Он, видимо, не столько ее полюбил, сколько кутеж и приключения во всецелости. Понимаю это по старой памяти, и не за это строго сужу, а за крайнюю неисполнительность по хозяйству. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 86—90.

214. И. И. ФУДЕЛЮ

28 февраля 1890 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Сейчас ушел от графа Л. Н. Толстого [1]. Был ужасно любезен, но 2 часа спорил... Он неисправим. ⟨...⟩

Впервые частично опубликовано в кн.: Летописи Государственного литературного музея. Кн. 12. М. 1948. С. 164.

[1] *...Сейчас ушел от графа Л. Н. Толстого* — Толстой посетил 27—28 февраля 1890 г. в Оптиной Пустыни свою сестру М. Н. Толстую. О встрече с Леонтьевым он записал в своем дневнике: „Он сказал: вы безнадежны. Я сказал ему: а вы надежны. Это выражает вполне наши отношения к вере“ (Толстой Л. Н., Полн. собр. соч. Т. 51. М., 1952. С. 23—24).

215. И. И. ФУДЕЛЮ

15 марта 1890 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Тот же, кто и чувствует сильно, и форму эту личную нашел, тот наложит свою личную печать на произведение и в том случае, если тема была уже испробована и прежде его лучшими поэтами. Фет и Тютчев [1] писали об осени после Пушкина, и стихи их, несмотря на это, прекрасны. Вообще же, и темы лучше выбирать поновее. Я даже Александрову, у которого несомненный лирический дар, говорил, чтобы он о природе, по возможности, бросил писать, ибо после такого периода, как наш русский стихотворный период от Батюшкова, Жуковского и Пушкина до Фета, Полонского [2], Майкова, Тютчева, что можно сказать о природе нового! Никакого нет сомнения, что и содержание исчерпывается надолго после богатых периодов во всяком роде литературы. Возьмем примеры из другой сферы: что можно теперь сказать нового в повестях и стихах об разных „оскорбленных и угнетенных" после Гоголя, Достоевского, Некрасова, отчасти и Тургенева? Уже и роман Достоевского „Оскорбленные и униженные" в 62-м или 63 году показался и мне, и многим несносной старой песнею. И только страстная тенденциозность Вл⟨адимира⟩ Серг⟨еевича⟩ Соловьева могла побудить его вспомнить через 20 лет в публичной речи об этом плохом произведении писателя на столь избитую тему. Жизнь не искусство, а искусство не жизнь. Роды искусств, их приемы и само содержание изнашиваются гораздо прежде жизни. Изнашиваются идеи и формы самой жизни, но много позднее. Пример: римская жизнь дотла износилась к IV и VI-му веку (в IV — воцарение христианства, перенесение столицы в Византию, в VI — Одоакр [3] и т. д.); а сколько времени жило римское общество (еще прежде этих событий), перебивалось, так сказать, прежними старыми поэтами: Горацием [4], Вергилием [5], Овидием [6], Ювеналом [7] и т. д.

Все они явились друг за другом в течение сравнительно короткого времени, от Августа [8] разве-разве до Адриана [9] (Ювенал?).

И для предметов поэзии и вообще искусства нужен роздых какой-то, нужно времени забвение. Писал по-своему хорошо Жуковский о 12 годе, современник события („Певец во стане русских воинов“), через 20—30 лет написал Пушкин „Бородинскую годовщину“ и „Клеветникам России“, а Лермонтов свое „Бородино“, а через пятьдесят только лет явился человек, который, вспомнив о 12 годе, сумел иначе, но прекрасно осветить эту эпоху,— Лев Толстой. Нынче слишком много пишут, слишком много печатают, это очень вредно, ну, публицистика, наука, религия, что делать, нельзя не писать об них — борьба за жизнь самую идет везде. Но стихи, повести, романы? На что это? Или прекрасно, оригинально, сильно, или ничего! ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

[1] Федор Иванович *Тютчев* (1803—1873)— поэт и публицист славянофильского направления. Занимал пост председателя Комитета иностранной цензуры.

[2] Яков Петрович *Полонский* (1819—1898)— поэт-лирик и романист.

[3] *Одоакр* (?—493)— германский предводитель, вступивший на римскую службу. Вел борьбу за власть, 13 лет управлял Италией. Был убит.

[4] *Гораций* Флакк (65—8 до н. э.)— римский поэт-классик эпикурейского направления. Писал панегирики, восхвалял императора и величие Рима.

[5] *Вергилий* (70—19 до н. э.)— римский поэт-классик, воспевал сельскую жизнь. Автор поэмы „Энеида“, ставшей настольной книгой в римском образованном обществе.

[6] Публий *Овидий* Назон (43 до н. э.—17)— римский поэт. Автор „Метаморфоз“— монументального поэтического труда в 15 книгах на мифологические темы. Умер в ссылке на берегу Черного моря. Его произведения считаются образцовыми по языку и стихосложению.

[7] *Ювенал* (ок. 60— ок. 127)— римский сатирический поэт резко обличительного направления. В своих сатирах отобразил все стороны римской жизни.

[8] *Август* (63 до н. э.—14 н. э.)— римский император.

[9] *Адриан* (76—138)— римский император.

216. Э. К. ВЫТОРПСКОМУ

13 апреля 1890 г., Оптина Пустынь

Посылаю Вашему преподобию 2 первые главы ответа и глубоко страдаю за Вас, помышляя о том, каким скверным почерком я это написал! И сколько Вам нужно будет догадки и внимания, чтобы местами угадывать даже недописанные окончания слов...

Что делать! Простите! Чем сильнее волнует меня предмет, тем я хуже пишу. Именно волнует... Например, когда я пишу такие вещи, как „Добрые вести“ [1], то я покойнее и пишу чище, я знаю, что за спиной у меня целая Церковь. А „Культура“ [2] эта, кто ее знает? Это всей тяжестью на моих плечах. Ну как соврем на весь мир?

Грешный *К. Леонтьев.*

Публикуется по копии (ЦГАЛИ).

Э. К. Выторпский — по всей вероятности, монах Оптиной Пустыни.

[1] *„Добрые вести“*— статья К. Н. Леонтьева о возрождении религиозности в русском обществе (Гражданин. 1890. 22, 24, 28 марта, 7 апреля).

[2] *„Культура“*— вероятно, одна из замышлявшихся и оставшихся незавершенными или неопубликованными статей К. Н. Леонтьева.

217. В. М. ЭБЕРМАНУ

1 мая 1890 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Влад⟨имир⟩ С⟨ергеевич⟩ Соловьев, конечно, гений, но гений, находящийся, во-первых, в духовной прелести [1], а во-вторых, взбешенный донельзя тем, что у нас все (за исключением легальных нигилистов) восстали против него единодушно.

И что за вздор: Россия Ксеркса или Христа? [2] „Россия — России“— вот что нужно. Св. Константин, Феодосий Великий [3], Юстиниан [4] были христианскими Ксерксами [5], во-первых, а во-вторых — Европа либеральная, которой он нас стращает, находится теперь вовсе не в периоде перед Персидскими войнами [6], а скорее похожа на Грецию после Пелопеннесской [7] и Фиванской [8] войн, т. е. в периоде разложения и духовного упадка; а мы, как ни плохи, а растем еще, как Рим после Пунических войн [9]. Он хочет ломать историю в угоду своей тенденции, да ее не сломаешь!

Мало ли что он „орел“ умом и талантом, а все его противники едва-едва в ястребы годятся; и Наполеон I был неизмеримо выше и Кутузова [10], и Блюхера [11], и Шварценберга [12], и Веллингтона [13]; однако история была за них, а не за него, и они соединенными силами низложили его.

Не мы, его слабые противники, победим его; его победят факты самой жизни православного Востока... И от учения его останется только то, что в нем было действительно важного (в особенности, я думаю, теория развития Церкви, ясная, как дважды два —4; ну, и вообще тот именно богословский дух, который он первый у нас внес в философию). ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

Владимир Михайлович Эберман. Об этом адресате К. Н. Леонтьева его биограф пишет: „Познакомился Константин Николаевич через Вла-

димира Соловьева с неким Э⟨берма⟩ном, который в Москве еле-еле перебивался то корректорской работой, то случайными занятиями при газете, а иногда оставался без куска хлеба с женой и тремя детьми. Леонтьев и Владимир Соловьев часто помогали ему деньгами, устроили в одной аристократической гостиной литературный вечер и собрали для него около 200 рублей. К⟨онстантин⟩ Н⟨иколаевич⟩, кроме того, уговорился с Э⟨берма⟩ном, чтобы тот хлопотал за него по редакциям, типографиям и др⟨угим⟩ местам, за что платил ему 10 % из своего литературного заработка". (Коноплянцев А. Жизнь Константина Николаевича Леонтьева. Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 126). Других сведений о В. М. Эбермане не найдено.

[1] *...в духовной прелести...*— Здесь слово „прелесть" употреблено в его старинном значении как „обман, заблуждение".

[2] *...Россия Ксеркса или Христа?*— отклик К. Н. Леонтьева на стихотворение Вл. С. Соловьева „Ex oriente lux" („Свет с Востока"), опубликованное в журнале „Вестник Европы" (1890, № 4) и заканчивающееся следующим четверостишием:

О, Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

[3] *Феодосий I Великий* (346—395)— римский император и полководец. Первый установил христианскую религию как государственную и строго преследовал как еретиков, так и язычников.

[4] *Юстиниан* Великий (ок. 483—565)— византийский император. Происходил из крестьянской семьи. В его правление была проведена кодификация римского права („Кодекс Юстиниана").

[5] *Ксеркс* (?—465 до н. э.)— персидский царь. Усмирил восстание в Египте, предпринял неудачный поход в Грецию. Убит в дворцовом перевороте.

[6] *Персидские войны* (500—449 до н. э.)— составляют самый блестящий период греческой истории (битва при Марафоне, защита Фермопил, Саламинское сражение). После этой войны Персия лишилась всех своих владений на Эгейском море, Геллеспонте и Босфоре, и наступил период расцвета греческого общества.

[7] *Пелопоннесская война* (431—404 до н. э.)— крупнейшая в исто-

рии Древней Греции война между объединениями городов-государств, главным образом между Спартой и Афинами. Афины были побеждены, а всей Греции нанесен непоправимый урон.

[8] *Фиванские войны* — многочисленные войны (VI — IV вв. до н. э.) древнегреческого города-государства Фивы с другими греческими городами-государствами за преобладающее положение.

[9] *Пунические войны* (264—146 до н. э.)— войны между Римом и Карфагеном, в результате которых Карфаген был разрушен, жители проданы в рабство, а территория превращена в римскую провинцию Африка.

[10] Михаил Илларионович *Кутузов*-Голенищев (1745—1813)— полководец и дипломат. Отличился в сражениях при Ларге и Кагуле. Тяжело ранен во время осады Очакова. Совершил выдающийся подвиг при штурме Измаила. С успехом вел переговоры в Константинополе и Берлине. В 1805 г. во главе русской армии потерпел сокрушительное поражение под Аустерлицем. Во время войны 1812 г. сменил М. Б. Барклая-де-Толли на посту главнокомандующего.

[11] Гебгард Леберехт *Блюхер* (1742—1819)— прусский фельдмаршал. В 1813 г. с успехом командовал соединенными русско-прусскими войсками. Во время битвы при Ватерлоо своевременный подход Блюхера решил исход сражения.

[12] Карл Филипп *Шварценберг* (1771—1820)— австрийский фельдмаршал. Во время войны 1812 г., командуя союзной с французами армией, занимал выжидательное положение. В 1813 г. получил главное командование войсками союзников и разбил Наполеона под Лейпцигом, но после этого действовал с излишней осторожностью и не сразу решился занять Париж.

[13] Артур *Веллингтон* (1769—1852)— английский полководец. Во время Наполеоновских войн успешно действовал на Пиренейском полуострове. Во главе англо-голландской армии и при содействии Г. Л. Блюхера одержал решающую победу над Наполеоном при Ватерлоо. Занимал посты премьер-министра и министра иностранных дел.

218. И. И. ФУДЕЛЮ

1—2 мая 1890 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Конечно, очень жаль, что Вы долго были под исключительным влиянием Гейне [1] и Некрасова. Это поэты ломаные, коверканные, противные, у которых именно лиризма-то пламенного, искреннего и нет. В них бездна лживого, натянутого и изысканного. И, заметьте, изысканность их не в том, чтобы выражаться полюбезнее или покрасивее, как было у поэтов XVII и XVIII веков, а напротив, в том, как бы произвесть более болезненное, тяжелое и противное впечатление. Еще Гейне тем искреннее, что он сам был человек больной, который пролежал не знаю сколько лет на диване в параличе, продолжая писать свои коверканные стихи. Ну, а наш Некрасов просто был подлец, который эксплуатировал наши модные чувства, наши демократические наклонности 40—50 и 60 годов, нашу зависть к высшим, нашу лакейскую злость, и писал обо всем этом, за немногими исключениями, „деревянными виршами“, как прекрасно выразился о нем Евг⟨ений⟩ Марков. И у Гейне, и у Некрасова (и тем более у Гоголя, о котором Вы тоже помянули) образы очень ярки, очень выпуклы, нередко до грубости выпуклы. Не в недостатке образности вина этих стихотворцев (Гоголя пока оставим), а в исковерканности одного (Гейне) и в лживой какофонии другого. Не то беда, что Некрасов писал „о мужике“, а то беда, как он о нем писал! Прежде всего, и нескладно, и неискренно. Ведь и Кольцов писал и о мужике, и о бедности. Но КАК! Ведь это прелесть.

Впрочем, я отвлекся. Дело не в них, дело в Вас. Будьте покойны — они оставили на Вас очень мало следа. Если бы Вы мне теперь не сказали, что Вы увлекались Некрасовым и Гейне, я бы никогда не догадался сам об этом. В Вашей натуре гораздо более чистого лиризма, чем в натурах Гейне и Некрасова. Вам по собственному складу Вашему были бы

всех других поэтов сроднее Шиллер, Жуковский и Тютчев. Знаете ли Вы их хорошо? Они и к христианству всех ближе. Великие Байрон и Гете*— оба глубоко развратны и в высшей степени чувственны (особенно Гете). Они оба на эстетическое чувство (в самой жизни, на развитие истинно эстетического мировоззрения, а не то что журнальной критики какой-нибудь!) действуют неотразимо!

Гордость, отвага, страстность, сила воли, физическая красота и физическая сила, тонкое сладострастие, какое-то скрытое во всем языческое богословие прекрасного в реальной жизни, глубокий аристократизм мировоззрения — вот положительная сторона у Гете и Байрона. Это, конечно, гораздо лучше и выше этой промозглой позднейшей музы „скорби и печали“, столь некрасивой и хамской (надо сознаться!), но и Гете, и Байрон для христианства истинного очень вредны. Они могут, пожалуй, к нему привести человека путем психических антитез, как привела к нему языческая эстетика весь Рим и всю Грецию. Но не иначе. Я знаю по опыту моего собственного многогрешного сердца, каким горьким способом такая поэзия приводит к Богу и Христу. ⟨...⟩

Надо возражать, надо спорить. Иначе не разъяснится дело. Спорить „хорошо“ и небесплодно могут только те, которые наполовину уже согласны. Иначе и не следует, ибо кроме гнева и злобы из спора ничего не выйдет.

Вы говорите, что многие священники (из Академии) думают все только об общественной пользе, о любви и т. д. Я же Вам скажу, что я со многими монахами воюю за то, что они зато вовсе не хотят об этом думать. (Отец Амвросий думает, но он „алмаз“ среди грубых гранитов, по выражению Гоголя.) Да, это беда наша русская, что одни создают свои общественные христианские идеалы не на аскетической сущности, а другие, служа лично по совести

---

* Пушкин по духу — середина между ними. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

аскетическому идеалу, знать не хотят общественной жизни. Знаете что? Я знал одну великую игуменью (из дворянок), она 2 года тому назад умерла всего 43-х лет. Она говорила: „нам нужны новые монашеские ордена, которые бы могли больше влиять в мире. Единственный у нас орден Св. Василия [2] не должен быть „разжижаем" или изменяем. Молитва, телесные подвиги в общежитии, богослужение, вот назначение этого ордена. Избави Бог ослаблять его разными телесными отношениями с миром; но и для мира женатое духовенство недостаточно. Нужны новые ордена!" Великая мысль, и я впервые от нее это услышал. Но ведь для этого нужно „творчество"! А способна ли к нему русская и вообще славянская кровь? Боюсь, что неспособна! А впрочем, Господь, когда захочет, то не только „из камней", как сказано в Писании, но и из этого подлого славянского теста воздвигнет пророков... (Взятие Царьграда [3]! Взятие Царьграда: православные греки, православные турки, православные черкесы, православные немцы, даже искренно православные евреи — все будет лучше этой скверной славянской отрицательной крови, умеренной и средней во всем, кроме пьянства и малодушия!) Люблю Россию как государство, как сугубое православие, как природу даже и как красную рубашку... Но за последние годы как племя решительно начинаю своих ненавидеть... Ну, какая у них „любовь", ни одного дела любви до конца выдержать не умеют, как выдержит англичанин, немец, турок, испанец, а иногда даже и француз!

Статьи отца Антония [4] и Влад⟨имира⟩ Соловьева читал [5]. Не удовлетворен. Я нуждаюсь во внешнем, видимом авторитете... Да и плохо понимаю его способ рассуждения. Не согласен с тем, что духовенству православному не нужно вовсе влиять на государственную жизнь. Надо возвышать духовенство, сосредоточить его, облагородить его и дать ему больше влиять. Что-то есть такое в статьях этих „недостаточное". Пока другого выражения не придумал.

У Соловьева — ясно, тут — темно. Неужели я так слаб умом? Может быть, пойму отца Антония позднее.

Вообще сказать, Соловьев и все противники его напоминают мне борьбу Наполеона I-го со всеми европейскими полководцами. Никто отдельно взятый, ни Веллингтон, ни Блюхер, ни Брауншвейгский герцог [6], ни Мелас и Шварценберг австрийские, ни наш Кутузов и Багратион [7] не могли с ним равняться, но которые их совокупными усилиями низложили его. Я уверен, что с римскими выводами Соловьева (вовсе из основ его не вытекающими неизбежно) Россия справится через посредство Страховых, Астафьевых, Бестужевых, иеромонахов Антониев и т. д. Несмотря на то, что Соловьев истинный орел умом, а они все, начиная с добрейшего Петра Евгеньевича и кончая лукавым Страховым,— немного выше петухов и гусей взлетают.

Я бы еще мог что-нибудь — я очень ясно вижу, где Соловьев прав и где нет, но разница огромная — видеть самому и уметь другим открыть глаза! Сил физических, прямо сил нет вступить с ним в серьезную и открытую борьбу. Мы оба с ним одни, но ему 35 лет и он ничем другим не связан, а мне 59, я постоянно болен и связан многим побочным. Перед публикой надо выходить во всеоружии фактической подготовки, а мне эта работа уже потому не под силу, что я постоянно занят другими мыслями; эти мысли хоть и близки к тому вопросу (или, лучше сказать, к тем вопросам), о которых препирается Соловьев с противниками своими, но все-таки и особливы настолько, что поглощают все мои досуги. 〈...〉

Публикуется по автографу (ГЛМ). Впервые опубликовано в журнале „Вестник русского христианского движения“, 1977, № 121, С. 338—346.

[1] Генрих *Гейне* (1797—1856)— немецкий поэт и публицист. Начинал как романтик, впоследствии в его творчестве преобладали гражданские и сатирические мотивы. Последние 25 лет жизни, опасаясь преследований, жил в Париже.

[2] *Орден Св. Василия* Великого — греко-униатский монашеский орден, существовавший на территории Польши под руководством иезуитов. После раздела Польши базилианские монастыри в России существовали до 60-х гг. XIX в.

[3] *Взятие Царьграда* — взятие турками после осады и штурма в 1453 г. столицы Византии Константинополя, после чего прекратила свое существование Византийская империя. Это событие наряду с открытием Америки (1492 и изобретением книгопечатания (ок. 1450) принято считать водоразделом между средними веками и эпохой Возрождения.

[4] *Антоний* (Алексей Павлович Храповицкий, 1863—1936)— иерарх церкви и духовный писатель. В 1890 г. ректор Петербургской духовной семинарии. Впоследствии архиепископ Волынский. Член Государственного Совета. Основал при Московской духовной академии журнал „Богословский вестник".

[5] *Статьи отца Антония и Влад. Соловьева читал.*— Статья иеромонаха Антония „Превосходство православия над учением папизма в его изложении Вл. Соловьевым" („Церковный вестник". 1890. № 10—13).

[6] *Брауншвейгский герцог* — Фридрих Вильгельм (1771—1815), немецкий полководец эпохи Наполеоновских войн. Совершал смелые партизанские набеги на французские отряды. Убит в битве при Катр-Бра.

[7] Петр Иванович *Багратион* (1765—1812)— полководец, герой Отечественной войны 1812 г. Отличился при взятии Очакова и штурме Варшавы, а также в Итальянском походе А. В. Суворова. Прославился в сражениях при Шенграбене и Аустерлице. Скончался от ран, полученных в Бородинском сражении.

219. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

3 мая 1890 г., Оптина Пустынь

〈...〉 Чернова статья [1], в сущности, весьма бестолкова, не только там, где он говорит собственно обо мне, но и почти во всем остальном. Его лестные обо мне отзывы и тогда не ослепили меня вполне, но я, по немощи человеческой, находил удовольствие закрывать глаза, пока дело

шло о прославлении моего имени. Но когда он позднее прислал мне целую книжку свою „Русский национальный дух при Александре III“ [2], я увидал, что в других статьях этого „благонамеренного“ сборника он совсем сбился с толка, и понял, что не в моих выгодах и поминать у нас о его лестном, но бестактном обо мне отзыве. У нас моими сочинениями интересуются, дай Бог, 50 человек на всю Россию, а он придает мне какое-то необыкновенное значение. „Россия в миниатюре!“ Шуточка это! Если бы даже предположить, что есть и подобие правды в этом комплименте (т. е. в том смысле, что я в мыслях переживаю на 10—15 лет ранее других те фазисы, в которые позднее всякий раз вступает передовая русская мысль вообще и даже само правительство), то все-таки надо говорить об этом доказательнее, чем делает бедный мосье Портье! Спасибо ему. Но ведь и медведь хотел услужить пустыннику... Конечно, успех — вещь приятная; но что же делать: „habent sua fata libelli!“* Я все-таки и при жизни уже гораздо счастливее Данилевского; мое имя все-таки так или иначе многие знают. О Данилевском же всего лет 5—6 тому назад кто слышал? Начну я, бывало, говорить о нем... „Кто такое? Что такое? Не знаем, не слыхали, не читали“. А теперь, видите, какая борьба, какая многозначительная, серьезная борьба поднялась над его могилой! И она еще не скоро кончится!.. А почему? Заблуждений (либеральных) у него очень много, но он сказал только одно великое слово, сделал один исполинский шаг в области исторической мысли: „Теория культурных типов и смена их!“

Надо, конечно, различать в этом вопросе прошедшее человечества от его будущего и, сверх того, собственно научную его мысль от его же патриотических надежд и пристрастий. Яснее: культурные типы были; теория этих типов — превосходна, она лучше всяких других делений для понимания истории; но будут ли еще новые культурные

---

* У книг своя судьба (*лат.*).

типы, это — другой вопрос. Весьма возможно, что и не будет их более, а что человечество после целого периода кровопролитий и борьбы примет (вопреки желаниям Данилевского и моим) известный всем нам общеевропейский утилитарный характер и, дойдя на этом пути непременно до абсурда, погибнет, то есть или начнет постепенно вымирать, или, посредством прогрессивного физико-химического баловства своего, произведет какую-нибудь ужасную и неожиданную всеземную катастрофу. Это весьма возможно и потому ценность теории культурных типов для прошедшего человечества нельзя равнять с ее ценностью для будущего. Это раз. А потом, допустивши даже, что будет еще (до неизбежного и надвигающегося светопреставления) один или два новых культурных типа, мы все-таки не имеем еще через это права (рационального) надеяться, что этот новый культурный тип выработается непременно весьма уже старою Россией (900 лет с крещенья, и больше 1000 с призвания князей!) и ее славянскими единоплеменниками, отчасти переходящими (как болгары и сербы) прямо из свинопасов в либеральных буржуа, отчасти (как чехи и хорваты) давно уже насквозь пропитанных европеизмом. И мне бы очень хотелось хоть с того света увидать этот новый и пышный (четырехосновный, по Данилевскому) культурный всеславянский тип! Но — увы! Признаки благоприятные есть, но они так слабы и так еще мелки... И неблагоприятного со всех сторон так много, что мне, признаюсь, все чаще и чаще представляется такого рода печальная картина: эта национальная и религиозная реакция, которая теперь довольно сильна в русском обществе, не есть ли это одна из тех кратковременных реакций к лучшему, к здоровью и силе, которые иногда испытываю на себе и я (например) в моей старости?.. Таких малых реакций, небольших обратных течений на старой почве было в истории много (постарайтесь припомнить), но все это не было реакцией вековой, на новых основах; примерами последних были: византийское православие, папизм

через 400—500 лет для Запада — феодализм и папство, а для Востока — мусульманство и буддизм (привившийся в Китае и Тибете).

Хорошо, кабы так. Иногда я думаю (не говорю — мечтаю, потому что мне, вкусам моим это чуждо, а невольно думаю и беспристрастно предчувствую), что какой-нибудь русский царь — быть может, и недалекого будущего — станет во главе социалистического движения (как Св. Константин стал во главе религиозного — „Сим победиши!“) и организует его так, как Константин способствовал организации христианства, вступивши первый на путь Вселенских Соборов. Но что значит „организация“? Организация значит — принуждение, значит — благоустроенный деспотизм, значит — узаконение хронического, постоянного, искусно и мудро распределенного насилия над личной волей граждан. Поэтому либерал (по выводам своим дурацким, а не основам, вполне верным) Спенсер с ужасом видит в социализме новое грядущее государственное рабство. И еще соображение: организовать такое сложное, прочное и новое рабство едва ли возможно без помощи мистики. Вот если после присоединения Царьграда небывалое доселе сосредоточение Православного управления в соборно-патриаршей форме (разумеется, без всякой теории „непогрешимости“, которую у нас и не потерпят) совпадет, с одной стороны, с усилением и того мистического потока, который растет еще теперь в России, а с другой — с неотвратимыми и разрушительными рабочими движениями на Западе и даже у нас (так или иначе), то хоть за две основы — религиозную и государственно-экономическую — можно будет поручиться надолго. Да и то все к тому же окончательному смешению несколько позднее придет. Человечество, без сомнения, очень устарело. Сама сила точной науки (или, вернее, ее приложений), на которую почти все молятся и против которой даже столь смелый еп⟨иской⟩ Никанор [3] и я, которому терять в литературе нечего, едва-едва смеем кой-что говорить,— сама сила этой науки есть признак

глубокого устарения, стариковский интерес: „удобства, удобства, удобства"... И Эд⟨уард⟩ фон Гартман верно „чует" дело, когда говорит, что признак близости конца для человечества есть преобладание сознательного над бессознательным. В этом он совпадает с христианством: „плоды древа познания добра и зла" убийственны для людей, и, насытившись ими до высшей меры своей, человечество уже не найдет обратного пути к „древу жизни"... (Вот, кстати сказать, о чем надо писать теперь стихи, а не о том, как волны Черного моря плещут у Ланжероновой дачи в Одессе, и не о „русалках", милый мой... Наши старые поэты все давно уже какими-то рвотными конфетками угощают нас, и Фет, и Майков; Голенищев-Кутузов прекрасно делает, что взял в жреческие руки свои (слабоватые) „банковую метлу", ну, а младшие — либо: „Любовь, любовь, любовь!", „Во всеоружьи Европа... О, Христос!.." Ни к селу тут, ни к городу — всуе! Либо: „О да, я верю, что все люди станут как березы в роще! Что все станут и ученее и проще"... Поэзия!!!) Но как бы то ни было, будет ли новый культурный тип или нет, славяне ли с непривычки как-нибудь нечаянно с действительно новой, неевропейской и нелиберальной культурой в одно утро проснутся, или они, попытавши чуточку сделать что-то свое, плачевное и половинное, после взятия Царьграда лопнут, как мыльный пузырь, и распустятся немного позднее других все в той же ненавистной всеевропейской буржуазии, а потом будут (туда и дорога!) пожраны китайским нашествием (N. B.). Заметьте, что религия Конфуция [4] есть почти чистая практическая мораль и не знает Личного Бога, а буддизм в Китае, тоже столь сильный, есть прямо религиозный атеизм... Ну, разве не Гоги и Магоги [5]? и т. д., и т. д.— во всяком случае, про Данилевского можно сказать, что он сделал великий шаг — указанием на эти культурные типы. Можно ведь и так его теорию обернуть: существование разных культурных типов есть признак жизненности человечества, невозможность создать новый, смешение всех

типов в один средний есть признак приближения человечества к смерти.

Данилевскому принадлежит честь открытия культурных типов. Мне — гипотеза вторичного и предсмертного смешения.

Пусть-ка ее опровергнут! Что-то не суются... И опровергнуть было бы тоже для науки полезно.

Ну, так что же изо всего этого следует? Данилевский со своими культурными типами был лет 6—7 никому почти неизвестен, кроме Страхова, меня и, может быть, еще сотни разбросанных там и сям по России людей. Теперь идет за книгу его борьба, как у троянцев с греками за труп Патрокла [6]. ⟨...⟩

Катков и Аксаков еще давали пример хорошего тона в полемике. У них она никогда не носила личного характера. А вникните, что печатали друг против друга „Московские ведомости" и „Гражданин" и „Новое время". Особенно Н. А. Любимов и Васильев отличались в „Московских ведомостях". Ну, и Шарапов тоже лез в это. Померли „господа" (Катков и Аксаков), лакеи теперь, подлецы, дерутся. Все-таки бестолковый и бестактный, нередко даже глупый князь Мещерский всех их порядочнее. У него еще видна иногда в литературных сношениях мораль; у „Московских ведомостей", кроме подлой злости в полемике, ничего не видно. Даже и молодой еще (говорят) Ю. Николаев [7] (Говоруха-Отрок, Неуважай-Корыто...) и тот, видимо, кривит душой. Ну, поверю я, что он Вл. Соловьева считает неглубоким писателем?.. Да, милый мой, не вижу я в русских людях (куда ни погляжу!) той какой-то особенной и неслыханной „морали", „любви", с которыми носился Ваш подпольный пророк Достоевский, а за ним носятся и другие, и на культурное (!) значение которой рассчитывает весьма туманно наш добрейший Петр Евгениевич в своей статье „Национальное сознание". У него самого действительно есть „мораль" в русском стиле, сам он удивительно добр, очень благороден, способен пренеб-

речь обязанностью и с радостью исполнить какой-нибудь высший долг. Но где же он эту специальную наклонность к высшему долгу нашел в русских вообще — не знаю. Я скажу в духе фетовском: „Из того, что русские хуже всех народов исполняют мелкие обязанности, никак еще не следует, что они любят исполнять высший долг“. Я 59 лет живу на свете и давно уже без ума радуюсь, когда встречу русского человека, любящего долг для долга, а не по одному страху Божьего наказания. Положим, что для смирения это полезно, но во всем же есть мера, нельзя же ставить идеалом своим старика Мармеладова [8].

„Самовар и раскаяние — вот русский девиз“,— говорит Рошфор. „Смирение и пьянство, смирение и бесхарактерность, всепрощение и собственная вечная подлейшая невыдержка, даже и в делах любви“... Некрасиво! Хотя, по пристрастию сердца к России, я часто думаю, что все эти мерзкие личные пороки наши очень полезны в культурном смысле, ибо они вызывают потребность деспотизма, неравноправности и разной дисциплины, духовной и физической; эти пороки делают нас малоспособными к той буржуазно-либеральной цивилизации, которая до сих пор еще так крепко держится в Европе.

Как племя, как мораль мы гораздо ниже европейцев, но так как, и не преувеличивая (в патриотическом ослеплении) молодость нашу, все-таки надо признать, что мы хоть на один век, да моложе Европы, то и более бездарное и менее благородное племя может в известный период стать лучше в культурном отношении, чем более устаревшие, хотя и более одаренные племена... Довольно об этом!

Что я делаю? Пишу все о той же культуре. Очень слаб, хожу, но плохо, гортань этой весной хуже. В доме пока все по-старому. Александр готовится к экзамену в урядники. А я думаю о переходе в ограду, в скит или монастырь. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 92—99.

[1] *Чернова статья...*—„Под псевдонимом Чернова француз Портье д'Арк напечатал в журнале „La Nouvelle Revue" (1889, Févr.) статью о К. Н. Леонтьеве, очень по отношению к нему благожелательную, а местами прямо восторженную, но не лишенную и некоторых неточностей. Для ознакомления русского общества с этой статьей и для исправлення ее неточностей я написал статью по поводу нее. О ней-то и идет речь здесь и в следующих письмах". (Примеч. А. А. Александрова.). Имеется в виду статья: Tchernoff A. Un portrait litteraire russe: M. Constantin Leontieff. La Nouvelle Revue. 1889. T. 58, Fevr. (Чернов А. Портрет русского литератора: Константин Леонтьев). Сведений об Альфреде Портье д'Арке, писавшем под псевдонимами Чернов и Доверин, не найдено.

[2] *„Русский национальный дух при Александре III"*.— Имеется в виду книга Альфреда Портье д'Арка: Doverine A. (Tchernoff). L'esprit national russe sous Alexandre III. Paris, 1890. (Второе издание —1897 г.)

[3] *Еп. Никанор* (Александр Иванович Бровкович, 1827—1890)— архиепископ Херсонский и Одесский. Духовный писатель, автор многих книг по вопросам философии и религии. Выступал против учения Л. Н. Толстого. В 1885 г. К. Н. Леонтьев написал статью „Епископ Никанор о вреде железных дорог, пара и вообще об опасностях слишком быстрого движения жизни".

[4] *Конфуций* (551—478 до н. э.)— китайский мыслитель, основатель конфуцианства, представляющего собой учение о праведной жизни, авторитете старших и культе предков.

[5] *Гог и Магог* — согласно Апокалипсису, Гог и Магог означают все земные царства, которые в последние дни мира восстанут против Христа.

[6] *Патрокл* — герой Троянской войны, воспетый Гомером в „Илиаде".

[7] *Ю. Николаев* — псевдоним Юрия Николаевича Говорухи-Отрока, журналиста и литературного критика. Говоруха-Отрок родился на юге России в богатой дворянской семье, но гимназического курса не кончил. Участвовал в революционных кружках, ходил в народ и был судим на процессе 193-х в 1874 г. В тюрьме он проникся религиозным настроением, а после освобождения быстро отошел от идей шестидесятников. В 1889 г. его пригласила редакция „Московских ведомостей", где он

регулярно печатался вплоть до самой кончины, обличая либерализм и западников. Особенно резко Говоруха-Отрок критиковал Вл. С. Соловьева и бывшего своего друга Н. К. Михайловского. Он считал, что главный порок русской литературы — атеизм и разрыв с православием.

[8] *...старика Мармеладова.*— Имеется в виду герой романа Ф. М. Достоевского „Преступление и наказание".

220. И. И. ФУДЕЛЮ

16—17 мая 1890 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Моего возражения Астафьеву [1] в рукописи не посылаю, потому что еще не окончилась моя тягостная борьба; рукопись сегодня вечером будет переписана набело, и я то решаюсь с сердечной скорбью послать ее Мещерскому, то опять говорю себе: „На что это! Все прах и все суета!"* И в моих мнениях, видимо, никто не нуждается! Зачем я буду огорчать своим обличением этого доброго господина (Астафьева)? Если решусь послать Мещерскому, то Вы получите своевременно 2 № „Гражданина", если не пошлю, вышлю Вам (и только Вам) рукопись заказным письмом.

Не могу выразить, как мне этот год что-то грустно и тяжело. ⟨...⟩

Мне очень грустно еще иногда, когда я вспоминаю, что даже и Вы с Вашей независимостью почему-то нашли нужным назвать „парадоксами" мои мнения в той статье Вашей, которую в гранках высылал мне прошлого года сюда предатель Грингмут. Что такое парадокс? Это значит мысль странная, новая, удивительная и больше ничего. Но у нас, в робкой литературе нашей, это название „парадокс"

---

* 17 мая. Решился! Послал Мещерскому. Смягчил, как только мог и послал; заметьте, по благословению старца! Неприятно!!! (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

есть почти порицание; все привыкли соединять с ним представление о чем-то непростительном, причудливом, ненужном и даже почти безумном. Киреев прав, защищая меня с этой стороны. Всякая великая мысль сначала кажется толпе парадоксом. Но Вы не толпа. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] *...возражения Астафьеву...* — в связи с полемикой вокруг статьи К. Н. Леонтьева „Национальный вопрос как орудие всемирной революции" (М., 1889).

221. И. И. ФУДЕЛЮ

После 17 сентября 1890 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Вчера получил письмо и, не медля, отвечаю на тревожные вопросы: 1. Не поссорился ли я с Соловьевым? Ответ: не только не поссорился, но все обнимались и целовались. И даже больше он, чем я. Он все восклицал: „Ах, как я рад, что Вас вижу!" Обещал приехать ко мне зимою. Да не надеюсь: до глупости увлекается своими писаниями. Поседел! Безумие! ⟨...⟩

Владимир Сергеевич сознался мне, что, хотя он находит меня „умнее Данилевского, оригинальнее Герцена и лично религиознее Достоевского", он потому до сих пор не собрался писать обо мне особой статьи, что теоретически он со мной все-таки во многом не согласен, а практического побуждения нет, потому что мои мысли не в ходу, как мысли старого славянофильства ⟨...⟩. „Думал сделать это по чувству справедливости и начал даже („Хотите, привезу вам начатые листы"), да побоялся оскорбить резкостью; побоялся, потому что, сами знаете, как я вас люблю. А вот дайте мне повод сами, и я найду возможность и вообще о вас поговорить". ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русская мысль". 1917, Ноябрь-декабрь. С. 25, 26.

222. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

20 сентября 1890 г., Оптина Пустынь

Милый Анатолий Александрович! Сегодня четверг, а в понедельник я возвратился к „очагам" и „пенатам" моим, развеселый оттого, что не вижу более ни паровых машин, ни конок, ни тысячей хамов, что не слышу треска пролеток по мостовой, что сплю на собственном волосяном тюфяке, а не на дьяволом изобретенном пружинном матрасе, который движется под тобой тогда, когда ты этого совсем не желаешь, и т. д., и т. д. Истратил, прожил, проездил рублей до 400 в один месяц, измучился и теперь, избавившись от „цивилизации", ежечасно восклицаю: „Благослови, душе моя, Господа и не забывай всех воздаяний Его!"

В Москве все знакомые и приятели были мне до того рады, что я и не ожидал! Удивился. Оно, конечно, приятно... Но вот поди, угоди человеку! Несколько хороших, строгих даже и справедливых критических статей при сердечном ко мне равнодушии больше бы меня утешили, чем эта личная любовь без статей... Эта любовь (личная), которую мне обнаружили все бывшие сослуживцы по цензуре (особенно сухой председатель и лукавый Назаревский), Грингмут, юноша Погожев [1], отчасти Дениска [2], Вл⟨адимир⟩ Серг⟨еевич⟩ Соловьев (все обнимает и целует и говорит: „Ах! Как я рад вас видеть!") и двое новых знакомых, отставные нигилисты (Говоруха-Отрок и Л. Тихомиров [3])— эта любовь заслужена, вероятно, какими-нибудь уживчивыми и ничтожными сторонами моего характера: „добрый малый", „хороший старик" и т. д.

Но, приближаясь все более и более к последнему дню расчета со всем земным, хотелось бы знать, наконец, стоят

ли чего-нибудь твои труды и твои мысли или ничего не стоят! Такое упоминание моего имени, какое теперь, за последние два-три года, стало все чаще и чаще случаться, ни самому автору, ни читателям ничего не объясняет. „Великая заслуга указать на болгар" и т. д., „блестящее изложение", „самобытный ум"; „оригинальный публицист" и т. д. (и сумасшедшие очень оригинальны и все уроды). А я бы желал, чтобы мне самому люди умные объяснили, в чем я действительно полезен и в чем только даровит, но заблуждаюсь... Мне самому, для себя нужна честная и строгая критика!

Собирается кой-кто теперь — после моих прямых укоров за это публичное молчание (при величайших похвалах в разговорах, где никогда почти систематически нельзя высказаться)— Юр⟨ий⟩ Николаев (Говоруха), Вл⟨адимир⟩ Серг⟨еевич⟩ Соловьев и т. д. Посмотрим!.. ⟨...⟩

А у нас здесь важная новость: от. Исаакий [4] (архимандрит) умирает — вчера первый удар, сегодня — еще хуже. Переворот большой для обители. Все изменится. Для меня же, по правде сказать, все равно. К нему я равнодушен лично; для Оптиной особенно полезным его не считал (слишком купец), а со всеми возможными преемниками его я настолько хорош лично, что за себя мне опасаться нечего. Если же Вы спросите меня, которого из этих возможных преемников я считаю лучшим, то я прямо скажу: ни одного, „все хуже"... Для Оптиной в наше время нужен игумен образованный, а такого человека между оптинскими иеромонахами нет. Есть деловые, добрые, практически умные, но все, за исключением скитоначальника отца Анатолия [5], купцы по роду и по духу. И посмотрите, что именно от. Анатолия-то они и не выберут. Не выберут потому, что слишком идеален, а они, эти старшие здесь, хоть и честные, искренние монахи в своей специальной сфере, но в деле управления помешаны на хозяйстве, а о том, какую историческую великую роль играет в XIX веке в России Оптина Пустынь и как важно для мирян ее идеальное влияние, они

мало думают. Они все неясно понимают, что кругом их на свете теперь делается, а живут мыслию все по „старинной простоте“: внешние, телесные труды монашества да хорошее хозяйство — вот и ладно... Конечно, пока от. Амвросий жив, он все будет озарять и согревать — но ведь и ему 79-й год! 〈...〉

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 104—108.

[1] *Погожев* — неустановленное лицо.

[2] *Дениска* — Я. А. Денисов.

[3] Лев Александрович *Тихомиров* (1852—1923)— революционер, член Исполнительного комитета партии „Народная воля“. Бежал за границу, где вместе с П. Л. Лавровым издавал „Вестник Народной воли“. Впоследствии отказался от своих убеждений, вернулся в Россию и стал деятельным сотрудником консервативных изданий „Русское обозрение“ и „Московские ведомости“.

[4] *От. Исаакий* (Иван Иванович Антимонов, 1810—1894)— сын богатого курского купца. С 1862 г. настоятель Оптиной Пустыни.

[5] *От. Анатолий* (1822—1894)— монах Оптиной Пустыни. С 1874 г. скитоначальник и духовник всего братства.

223. О. А. НОВИКОВОЙ

20 сентября 1890 г., Оптина Пустынь

Да, Ольга Алексеевна, видно, „нам запрещено судьбой снова свидеться!“ Я выехал из Оптиной в Москву 16 августа, а Ваше письмо пришло сюда без меня в 20-х числах и пролежало у меня в доме до 17 сентября, т. е. до дня моего возвращения; значит, я пробыл в Москве от 18 августа до 14 сентября, а Вы были также в Москве от 2-го до 5-го сентября. И мы друг о друге ни от кого не слыхали и не подозревали оба, что живем так близко друг от друга (я жил на Страстном бульваре в гостинице „Виктория“).

Теперь Бог знает, когда я соберусь опять в Москву! Езда по железным дорогам, даже и в 1-м классе, при срочности и поспешности всех порядков их, мне теперь очень тяжела; ноги у меня ослабели, шум и многолюдство мне все несноснее и несноснее, вид этой всесюртучной, всепиджачной и всепальтовой толпы все ненавистнее и ненавистнее, треск экипажей по мостовым, дороговизна, чужая прислуга, которую бить за ее европейский вид закон не позволяет... Нет! Это слишком все глупо! 〈...〉

Теперь я вернулся домой и не нарадуюсь, что, кроме осенних мух, которые стучатся в потолок и окна, почти ничего не слышу в своем просторном и тихом доме. 〈...〉

О себе теперь мало имею что сказать интересного. Живу здесь вот уже 4-й год очень хорошо и покойно. Тишина и свобода полные. Здоровье вообще лучше, чем в Москве, но ходить ленюсь, и потому ноги стали слабы, а сам в теле толст и тяжел. 〈...〉

Чего Вам пожелать — не знаю. Потому что не знаю, что Вам теперь может доставить большее удовольствие. Вы хотели от меня длинного письма („несколько страниц"). Послушайте — на что это? Жизнь моя не такого рода теперь, чтобы описание ее было занимательным. Ну, а литература? Эх, Ольга Алексеевна! Ну — сами знаете...

Ваш *К. Леонтьев.*

Дивлюсь одному: это умению Вашему представляться проще и поверхностнее умом, чем Вы на самом деле! Доколе это? Например: „революция (т. е. обращение всех в среднего европейца) есть борьба противу зла". Что такое зло? Только по-церковному оно ясно. Ай! Ай! Ай! Comme tout cela est peu sincère!*

Публикуется по автографу (ГБЛ).

---

* Как мало во всем этом искреиности (*фр.*).

224. О. А. НОВИКОВОЙ

19 октября 1890 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Вот моя аскетическая философия, она меня много утешает, и без нее с моими известными Вам претензиями было бы очень трудно доживать мне век.

От этих „претензий“ я foncierement* отказаться не в силах, как не мог, например, Дюмурье [1] на чужбине отказаться от мысли, что он призван к великим стратегическим делам, и почти всем державам предлагал тщетно свою шпагу против Наполеона, но разница в том, что он сердился и роптал, а я ежеминутно вспоминаю слова Жозефа де Местра: „Самые возмутительные несправедливости человеческие суть нередко лишь орудия Высшей Божией правды“! Вы грешны в одном чем-нибудь (или даже во многом, положим), и Бог попускает людям чинить Вам неправду совсем в другом отношении... Человек вместо церкви пошел в кабак и сидел там смирно, а его там ни за что, ни про что прибили. Ясно? Sapienti sat!** ⟨...⟩

Читаете ли Вы „Благовест“ [2]? Мне его высылают даром, вероятно, по желанию Шарапова, который ко мне благоволит. Не знаю как Вас, а меня этот бешеный панславистический вой раздражает. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГБЛ).

[1] Шарль Франсуа *Дюмурье* (1739—1823) — французский генерал. Во время французской революции 1789 г. — министр иностранных дел, затем командующий Северной армией. Одержал блестящие победы при Вальми и Жемаппе, однако после поражения при Неервиндене бежал к австрийцам. Не встретив поддержки, странствовал по Европе.

[2] „*Благовест*“ — церковно-общественный журнал. Издавался в 1883—1897 гг. сначала в Харькове, потом в Петербурге.

---

* Вполне (*фр.*).

** Понимающему достаточно (*лат.*).

225. А. А. ФЕТУ

12 ноября 1890 г.. Оптина Пустынь

Сердце сердцу весть подает, Афанасий Афанасьевич! Я только что собирался Вам послать оттиск моей статьи „Анализ, стиль и веяние“ [1] („Русский вестник“), как получил оба тома Ваших интересных воспоминаний [2]. Спасибо Вам, я их, конечно, в „Русском вестнике“ читал, но прочесть то же самое в отдельной книге почему-то всегда приятнее и полезнее. Представление о труде в этом виде — яснее, цельнее, „дифференцированнее“, если можно так выразиться. Надо ведь сознаться, что не только газеты, но и журналы суть одно из проявлений того „вавилонского“ смешения, к которому, по-видимому, неудержимо стремится современное человечество. Они смешивают мысли, путают, затемняют представление. Свои оттиски я опоздал выслать потому, что заказал одному монаху (переплетчику) сброшюровать их, а другому (краснописцу) исправить (экземплярах в 18) опечатки по одному, мною исправленному экземпляру. Ф. Н. Берг недосмотрел, и корректоры напутали много („совершенно“— вместо „современно“, „новорожденный глаз“, вместо „невооруженный глаз“ и т. д.). Бергу, однако, мысль статьи (противу порчи языка) очень нравится, и он хотел позаботиться об особом издании. Не знаю, сдержит ли слово. Русские приятели и единомышленники, Вы знаете, ненадежны! Надежные очень редки!

Соловьев (Владимир) находит большой моей заслугой то, что я отвергаю „гомерический“ (это его слово) характер „Войны и мира“. Но неужели и были у нас люди, которые уподобляли „Войну и мир“ „Илиаде“? Шекспир (как воскликнул Флобер [3])— я понимаю, но Гомер — это странно. Гомер прежде всего наивен, а у Толстого — никогда наивности и тени ни в чем не было.

Хотя Льва Николаевича за его новейшие проповеди готов бы был сослать в самое суровое заключение и не

полагаю даже, чтобы было грехом желать его смерти для пользы истинной религии, но так как статья до этой проповеди мало касается, а трактует о его действительных и незабвенных заслугах, то думаю один экземпляр этих оттисков и ему в Ясную Поляну послать... „Автору, мол, „Войны и мира“ и т. п. Но не автору „Моей веры“, „Исповеди“ и т. д. Тем более, что он у меня Великим постом прошлым был и проспорил очень любезно (и очень беспутно) целых два часа.

С грустью и участием прочел я о том, что Вы, дорогой Афанасий Афанасьевич, жестоко скучаете. Это было видно и из некоторых прежних Ваших писем.

Я верю Вам, я догадываюсь, что это, должно быть, иногда ужасно, вспоминаю при этом две-три эпохи из моей прежней жизни, чтобы уяснить себе Ваше состояние, но личным чувством понять Вас, к счастию своему, не могу. Именно здесь, в Оптиной, именно теперь, эти последние годы, я не знаю, что такое скука! Да и вообще я ее в жизни мало знал, а когда случалось нечто в этом роде, то, понятно, это хуже всего на свете! Послушайте, что я Вам по секрету скажу. Я помню все Ваши беседы хорошо. Раз я, уходя, протянул Вам руку „через порог“, Вы отступили и меня заставили вернуться, говоря: „без суеверий нет человека“.

Вспомните также, что любимый Вами Шопенгауер верил в колдовство как в особого рода естественный факт.

Итак, послушайтесь моего суеверия и давайте поколдуем вместе.

Вставши утром, каждый день в течение трех, например, месяцев, креститесь на образ и приговаривайте мысленно: „Господи, пошли мне веру в Церковь и загробную жизнь“. И больше ничего!.. Придет вера — пройдет старческая скука (или хоть значительно уменьшится).

Я не могу требовать, чтобы Вы сразу стали чувствовать то, что я чувствую, когда читаю или слышу: „Верую во Единого Бога Отца...“, „И во Едину Соборную Апостольс-

кую Церковь...", „Чаю воскресения мертвых..." и т. д. Подобною силой внушения я не одарен... Но я прошу Вас допустить сначала, что это особого рода весьма распространенное и миллионам людей доступное колдовство. И этого довольно... В самом решительном согласии на подобный опыт есть уже некоторый оттенок духовного смирения: „Кто знает! Я наверное не знаю! Нечто мистическое и разумом моим я отвергать не могу!" и т. д.

А-в [4] совершенно прав, говоря: „Я хочу верить и буду верить!" „Хочу" и потому стремлюсь; стремлюсь и потому готов и просить Кого-то!.. А этот „Кто-то" сказал: „Просите — и дастся вам; толцыте и отверзится вам".

Не доводам моим слабым подчиняйтесь, а верьте моему личному опыту, точно такому же ровно двадцать лет тому назад на Афоне! Аминь... Помози Вам Господь, а я Вас очень люблю и жалею так, как жалеешь того, которого при этом искренне уважаешь!

Уважающий Вас *К. Леонтьев.*

P. S. Мне очень было приятно есть Ваши „бифштексы", но, зная доброту Марьи Петровны [5] и любезность ее, я убежден, что ей угощать меня было еще приятнее, чем мне есть. Будучи осенью этой в Москве и не без хлопот, я позволил себе опять есть мясо, и по бессилию, и во избежание лишних забот об особой пище, которую доставать труднее, но, возвратившись домой, я опять от него отказался, ибо я уже третий год здесь не ем его, по благословению старца, и нахожу в этом маленьком отречении большую „суеверную" отраду.

Вот видите, Вы откровенны, и я тоже...

Скажите Вл. С. Соловьеву, что его равнодушие ко мне очень меня огорчает. А ведь он меня очень любит.

Бог с ним, право! Такой уж у него фанатизм своей проповеди, что все чувства забываются.

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение". 1893, Апрель. С. 842—844.

[1] *„Анализ, стиль и веяние“.*—„Книга Леонтьева „О романах Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние“ (1890, изд. 1911), содержит ценные наблюдеиия над стилем Толстого, эволюцией его эстетики, интересные сопоставления „Войны и мира“ и „Анны Карениной““ (Краткая литературная энциклопедия. Т. 4, М., 1967. С. 139.). Толстовед Н. Н. Гусев считал эту работу „замечательной“.

[2] *...оба тома Ваших интересных воспоминаний.*— Фет приступил к своим мемуарам в 1860-х гг. и начал со времени службы в гвардии и знакомства с петербургским кругом литераторов (1853—1856). В дальнейшем он довел их до 1889 г. (Фет А. Мои воспоминания. Ч. 1—2. М., 1890).

[3] Гюстав *Флобер* (1821—1880)— классик французской литературы, романист, глава реалистической школы.

[4] *А-в* — неустановленное лицо.

[5] *Марья Петровна* — М. П. Шеншина, урожденная Боткина, жена А. А. Фета.

226. К. А. ГУБАСТОВУ

10 декабря 1890 г. Оптина Пустынь

Вы уже второй раз, дорогой и незабвенный Константин Аркадьевич, спрашиваете мое мнение о „Крейцеровой сонате“ Толстого [1]. Вообразите — я ее не читал. У здешнего предводителя кн. Оболенского [2] она есть в рукописи, и он мне предлагал ее, предупреждая, что рукопись неразборчивая. Я, уже будучи давно крайне недоволен Толстым последнего периода (с 82—83 года), отказался трудиться над чтением вещи, которая, вероятно (думал я), меня только раздражит. Я читал только критики на нее в наших консервативных газетах. Судя по этим-то критикам, вижу, что я отчасти ошибся в своих предположениях, отчасти же нет. Я думал: „опять какая-то буржуазная мораль без таинства, без религии!“ Оказалось, это только отчасти так. Критик „Московских ведомостей“ Говоруха-Отрок (Юрий

Николаев, как он подписывается) — человек лет 35, не более — прямо указывает на то, что исход из брачных затруднений и опасностей должен быть старый: „брак вовсе не осуществление идеальной любви, а таинство; лучше этого ничего не придумаешь. Тогда и проза брака, и его тревоги могут озариться высшим смыслом, вне сердечного идеализма стоящим“.

Я, конечно, совершенно согласен с ним (или, вернее сказать, он — Говоруха-Отрок — со мной согласен, так как при первом знакомстве со мной в нынешнем августе в Москве он рекомендовался как много обязанный мне „ученик“, и мне другие люди говорили, что он, еще живя прежде в Харькове, после своего обращения из нигилизма читал и даже выписывал мои книги).

Да! Идеализм сердечный один без помощи „страха Божия“ и веры в таинство, т. е. без помощи мистики христианской, не может налагать узду на поведение наше в семье и после охлаждения плотской страсти... Знаю это по горькому опыту!

Итак, я был прав, предполагая, что Толстой и знать не хочет „таинства“. Но я ошибся в другом: я воображал, что он и в своей повести этой проповедует опять то же, что года 3—4 тому назад: „надо без всякого таинства сойтись с одною женщиной и быть ей всю жизнь верным; она же должна рожать детей и сама кормить и растить, занимаясь хозяйством“. Оказывается (все по критикам и рассказам), что он, напротив того, теперь советует совсем воздерживаться от половых отношений и таким образом постепенно прекратить существование рода человеческого. Это в его устах для меня — новость. Этого я от него никак не ожидал! Я ничуть не согласен с теми, которые находят, что жизнь вообще до того нехороша, что лучше не жить, и нахожу, что и в нынешней жизни еще очень много приятного (если только мириться в принципе с мыслью, что страдания не только неизбежны, но и нужны), но это мой личный взгляд на жизнь, который я (помните?) исповедо-

вал и будучи нехристианином, но которому и после обращения остался верен, ибо христианство вовсе его не исключает. (Многие хорошие афонские монахи очень веселы и даже часто смеются, как и Н. Н. Страхов заметил в 1881 году). Это мой личный взгляд на жизнь, субъективное мое к ней отношение. Но при общем и не личном взгляде на то, как вообще в мире идут дела, я убеждаюсь все более и более в том, что человечество весьма быстро стремится к тому, что попросту зовется „светопреставлением“. Я давно об этом начал думать (если помните?) и вижу этому многие признаки: безумные — дерзновенные, быть может, и в высшей степени рискованные — изобретения эти (физические и технические)— раз; неудержимую повсюду потребность равенства и даже сходства, а при таком строе трудно долго прожить, ибо он противуестествен,— это два; последнюю проповедь христианства даже в Японии и Китае — три; и, наконец, этот нехристианский пессимизм, который привлекает к себе все больше и больше приверженцев — четыре. ⟨...⟩

Хорошо и умно, что пессимизм говорит: „сколько ни старайся устроить общество по демократическому плану — благоденствия не будет, ибо страдания в нас, а не во внешних условиях; тоска будет расти по мере возрастания жизненных удобств“. Это, согласитесь, гораздо умнее, чем воображать, что, стоит только всех сделать „средними людьми“, и все будут счастливы и веселы. Этою умною стороной пессимизма и христианин может с успехом для укрепления своего мировоззрения воспользоваться.

Слабою же стороной германского пессимизма я считаю отрицание личного, сознательного Бога и нахожу это не только потому, что я сам в Него верую, но и по холодному рассуждению. Еще вопрос о нашем личном бессмертии туда-сюда: и допуская сознательного Бога, можно, оставаясь разумным, не верить в наше бессмертие. Этот вопрос

гораздо темнее и сложнее*, но механизм мира без Механика?

Если вселенная выросла сама собою и бессознательно, как дерево, то откуда же на этом дереве явился и созрел такой самосознательный плод, как человек? Значит, возможность проявления сознания была затаена в вещественной природе, и если она обнаружилась в высшем ее явлении — в человеке, то не естественно ли думать, что человеческое самосознание и человеческая личность суть только бесконечно слабые отражения Всемирного Самосознания и Всемирной Личности?

По Гартману, например, выходит, что неимоверно глупая бессознательная воля создала и развила все до разумного и самосознательного человека... Это, по-моему, никуда не годная сторона пессимизма... И этой глупости придерживается, по всем признакам, и Толстой. Мне теперь привезла на днях одна молодая помещица его Евангелие (рукописное, конечно). Она давно его приобрела, но боится без моей помощи с ним знакомиться... Я начал было его, но скоро соскучился, увидавши с первых страниц, что это весьма известная и не новая проповедь всечеловеческой „любви", как „искусства для искусства", без всякой надежды на помощь и награду свыше, ибо особого Бога (как он говорит) нет; однако положил себе уроком дочесть до конца понемногу этот преступный и пошлый бред зазнавшегося и избалованного человека, который, видимо, верит в какую-то святость собственных наклонностей и мыслей и повинуется им слепо, меняя даже беспрестанно характер своей проповеди, а бараны всюду бегут за ним с восторженным блеянием... Вот ужас же, в России теперь есть другой

---

* До твердой веры в бессмертие человеческой души и в воскресение плоти довольно трудно дойти одним разумом; путь тут более сложный: „я верую и не могу не веровать в личного Бога; я хочу общения с Ним, принимаю для этой цели то исповедание, которое мне больше по сердцу, а все христианские исповедания и даже мусульманское требуют веры в бессмертие души — и я покоряюсь". (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

человек в 20 раз гениальнее его как писатель... Это Владимир Соловьев. Что же не ломятся за его книгами люди толпами в магазины ни у нас, ни в Европе? Не по плечу, видно! А безбожная болтовня Толстого по плечу всякому... Я и с Соловьевым далеко не вполне согласен, особенно в последние три года, но нельзя их даже и сравнивать на почве мысли! Многие у нас и Соловьева чтут, имя его знают очень многие, но как-то издали, больше верят в его талант и познания, чем знают и ценят их с полнейшею сознательностью; а за старым преступником бегут, как овцы! Он — преступник по тому одному, что, приставая ко всем с „любовью" (которой у него самого очень мало — знаю это по многим рассказам и по личному опыту по поводу одного благотворительного дела), сам поступает весьма жестоко, разрушая старую и весьма утешительную веру в сердцах людей шатких, молодых, неразвитых и т. д. Он бы ходил и по всем деревням, убивая веру мужиков, если бы не знал, что ему не даст полиция этого делать! А где может — делает. Был ведь он и у меня прошедшим Великим постом. Просидел часа два и проспорил; был очень любезен, обнимал, целовал, звал: „голубчик, Константин Николаевич!" Конечно, говорил мне все то же, но мы, Вы сами знаете, „сами с усами". (Что, впрочем, и он за глаза про меня говорит общим знакомым.) Я спорил даже только du bout des lèvres*. На что? Человек доволен своими взглядами, такого, да еще и старого, сразу не собьешь. Но под конец свидания и беседы я сказал ему:

— Жаль, Лев Николаевич, что у меня нет достаточно гражданского мужества написать в Петербург, чтобы за Вами следили повнимательнее и при первом поводе сослали бы в Тобольск или дальше под строжайший надзор; сам я прямого влияния не имею, но у меня есть связи, и мне в Петербурге верят сильные мира сего.

А он в ответ, простирая ко мне руки:

---

* Неохотно (*фр.*).

— Голубчик, напишите, сделайте милость... Я давно этого желаю и никак не добьюсь!

Я Филиппову описал в точности этот разговор без особых заключений, но, конечно, если бы знал, что меня послушают, то я и не тайно только, но и всенародно готов это сказать в газетах. Но думаю, что наше высшее правительство, которое, кажется, теперь робостью особою не грешит, обдуманно не налагает на него рук: опасается усилить еще более его вредную популярность.

Не довольно ли на этот раз о Толстом?

Когда случится самому прочесть „Крейцерову сонату", напишу Вам свое мнение о ней, как о повести... Возражения у нас были прекрасные, особенно хороша „беседа" Никанора, епископа Одесского по этому поводу.

Кстати, почему я теперь, когда я так им недоволен, написал об его прежних романах такую все-таки хоть наполовину похвальную статью? А потому, что умирать пора, и мне хотелось оставить по себе эти указания на порчу языка и стиля, а похвалы — вполне, впрочем, искренние — его анализу и его поэзии вынуждались как чувством справедливости, так и опасением, чтобы не сказали, что я только нападаю на слог и забываю о великих достоинствах другого рода. Больше я критикой заниматься не буду... ⟨...⟩

Из домашних новостей есть только одна (не знаю, сообщил ли ее Вам). Александр служит с августа урядником, и мы его очень редко и всегда на минуту видим. Начальство его хвалит. Варя без него ничуть не скучает и проводит время очень охотно с нами; она только одним недовольна, что Александр привык пить с товарищами. Но так как он пьет, но не напивается никогда до забвения своих обязанностей, то я большой беды в этом еще не вижу. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение". 1897. Июнь. С. 910—915.

[1] *„Крейцерова соната"* — повесть Л. Н. Толстого, которая была за-

прещена цензурой, но широко распространялась в списках и литографированных изданиях. Была напечатана в 1891 г. после аудиенции С. А. Толстой у Александра III.

[2] Алексей Дмитриевич *Оболенский* (1857—?)— князь, государственный деятель. Занимал посты товарища министра внутренних дел, товарища министра финансов, члена Государственного Совета, обер-прокурора Св. Синода.

227. М. К. ОНУ

10 января 1891 г., Оптина Пустынь

Наконец-то, дорогой и добрый Михаил Константинович, собрался послать Вам для перевода на греч⟨еский⟩ язык две повести „Хризо“ и „Капитан Илия“. Я исправил кой-какие опечатки и сделал 2—3 *особых замечания* для переводчика. Пусть г. Рангаве [1] потрудится прежде над маленькими, и сам он увидит тогда, стоит ли ему трудиться над „Одиссеем“. Весь „Одиссей“ *вполне* еще не был издан; самая длинная и последняя его часть —„Камень Сизифа“ находится только в „Русском вестнике“. Для того, чтобы издать его отдельно, потребуется много *такого рода* хлопот и забот, к которым я всегда был не расположен (я находил их и нахожу чем-то унизительным и пошлым); а *теперь* в постоянном удалении от столиц и при большой физической слабости об этом и думать нечего. Для этого нужна какая-нибудь особая счастливая случайность, которой сейчас не предвидится. К тому же и Вы имели добросовестность и прямоту сами сознаться в одном из Ваших писем, что *не так внимательно и строго отнеслись к просьбе моей о поправках, как бы следовало.* Я, конечно, тотчас по получении тетрадки с вашими ответами заметил это; но не считал себя вправе *обижаться* на это. Не присягу же Вы давали вникать глубоко в это дело! И за то спасибо! Но так как Вы сами в этом имели благородство сознаться, то

теперь и я могу говорить прямее. *Разумеется*, что надо будет еще раз пересмотреть всего „Одиссея"; и *в особенности стихи и песни*. Когда я увижу, что в силах этим заняться, и когда г. Реньери[2] исполнит свое намерение (т. е. хоть эти две маленькие повести переведет), то я, через ваше посредничество и рекомендацию, могу прямо обратиться к нему с просьбой о проверке этих стихов и песен, с указаниями источников, из которых я их брал. Вот пока и все. Я по многим причинам не мог раньше этого весьма небольшого дела кончить. В августе я ездил в Москву и пробыл там до 1/2 сентября; отвыкши за эти $3^1/_2$ года в Оптиной от всякого движения и шума, я чувствовал себя ужасно неловко и на железных дорогах, и в гостиницах, и среди уличного треска, и почти обезумел от радости, когда в Калуге сел в карету четверней (по-старинному) и забыл весь этот „прогресс" и все эти *будто бы* удобства! Здесь в моем безмолвном и просторном доме я долго отдыхал и восхищался, что опять далеко от *пружинных тюфяков*, шумных соседей в №-рах, от насильственной компании в вагонах и т. п.

Отдохнувши, принялся я за одну работу для журнала, над которой трудился до самого Рождества и только теперь освободился настолько, чтобы заняться греч⟨ескими⟩ повестями. К тому же, по старой дружбе прибавлю откровенно, que je trouve contraire à la dignité de l'homme de s'agiter comme on s'agite généralement aujourd'hui. On parle beaucoup de cette „dignité de l'homme" au XIX siéele (qu'il soit maudit ce siècle!), mais je ne vois aucune dignité ni dans cette ridicule précipitation avec laquelle on *travaille maintenant*, ni dans cette manière de voyager „сломя голову", ni dans cet esclavage où l'on se trouve en chemin de fer, ni dans les agitations du journalisme, ni dans la passion de publier une masse de livres, que personne n'a ni le temps de lire avec attention, ni les moyens d'acheter...[3] Одним словом свинство!

Вы не поверите, как я счастлив иногда в моем „Эрмитаже"[4] и как я благодарю Бога и Правительство наше за то,

что могу в 60 лет сидеть независимо „под виноградником моим и под смоковницею моею“. Больше двух часов и редко 3-х в день не занимаюсь, и нахожу это и „душеспасительнее“, и „благопристойнее“, чем *лезть* на стену, как у нас все почти лезут в столицах. ⟨...⟩

Если вам не лень — сообщите мне побольше подробностей о вашей семье. Я, вы знаете, человек искренний и сердцем горячий и ни *добро*, ни (увы!) *зло* не забываю. У вас же и *от* Вас я кроме добра ничего не видал.

Ну, прощайте; обнимаю Вас крепко! Чтобы посылка не была слишком мала, я к „Хризо“ и „Капитану“ прибавил еще два тоже моих сочинения для г-на Бахметьева, о знакомстве с которым я тоже сохранил самую приятную память.

Неужели вы этого моего „Сборника“ [5] не читали со *вниманием*? Это гораздо важнее всяких „Одиссеев“! Там множество такого, что должно возбудить ваше сочувствие.

Вот Ионин (говорят, будто это он пишет под именем Spectator'a [6] в „Русском обозрении“) отдает мне публично ту справедливость, что я только один уже 20 лет тому назад разгадал славян. Не скрою, что мне эти *два — три* слова доставили большое удовольствие. Пора бы уже критике стать немножко посправедливее ко мне! Конечно, на все воля Божия; но и человек не *деревянный* все-таки. Наскучит эта *подлость* самому терпеливому.

Ваш *К. Леонтьев.*

Впервые опубликовано в кн.: Архимандрит Киприан. Из неизданных писем Константина Леонтьева. Париж, 1959. С. 29—31.

[1] *Рангаве* — неустановленное лицо.

[2] *Реньери* — неустановленное лицо.

[3] *... que je trouve contraire à la dignité de l'homme de s'agiter comme on s'agite généralement aujord'hui. On parle beaucoup de cette „dignité de l'homme“ au XIX siécle (qu'il soit maudit ce siécle!), mais je ne vois aucune dignité ni dans cette ridicule prècipitation, avec laquelle on travaille maintenant, ni dans cette manière de voyager „сломя голову“, ni dans cet*

esclavage où l'on se trouve en chemin de fer, ni dans les agitations du journalisme, ni dans la passion de publier une masse de livres, que personne n'a ni les temps de lire avec attention ni les moyens d'acheter... (фр.)—...я нахожу несовместимым с человеческим достоинством всю эту суету, столь распространившуюся в наше время. В XIX веке (будь он проклят!) слишком много говорят о „достоинстве человека", но я не вижу никакого достоинства ни в этой дурацкой спешке, с которой теперь работают, ни в этой манере путешествовать „сломя голову", ни в этом рабстве, когда попадаешь на железную дорогу, ни в этих безумствах журнализма, ни в поветрии печатать горы книг, на которые ни у кого недостает ни внимания, ни денег...

4 *...в моем „Эрмитаже"...*— то есть в месте отшельничества (от фр. hermitage.).

5 *„Сборник"*— книга К. Н. Леонтьева „Восток, Россия и славянство" (1885—1886).

6 *...под именем Spectator'a...*— На самом деле это был псевдоним В. А. Грингмута.

228. Н. Н. СТРАХОВУ

23 января 1891 г. Оптина Пустынь

Ну что ж, Николай Николаевич, не хотите жертвовать книги молодым людям — это воля Ваша. И толковать нечего. О „материях же важных", о которых Вы упомянули, желая знать мое мнение, я теперь рассуждать не могу: недуги, слабость и т. д. Да и вообще, когда у нас с Вами дело дошло до вопроса об „искренности" и „фальшивости" того или другого русского писателя, то я предпочитаю не отвечать. Откровенность завела бы меня далеко. А я желаю „прочее время живота моего в мире и покаянии скончати".

Поэтому мне в данном случае приличнее всего вспомнить слова Царя-псаломопевца [1]: „Уклоняющегося от меня

лукавого не познах“ (т. е. не стал с ним водиться, связываться). A bon entendeur — salut!*

Ваш *К. Леонтьев.*

Публикуется по автографу (ГПБ).

[1] *Царь-псаломопевец* — второй царь Иудейский Давид (царствовал в 1055—1015 гг. до н. э.), победитель великана Голиафа. Искусно играл на арфе, его вдохновенные песни-псалмы составили одну из книг Ветхого Завета — Псалтирь.

229. Н. Н. СТРАХОВУ

24 января 1891 г., Оптина Пустынь

(Черновой вариант)

Не могу никак, Николай Николаевич, одобрить Вашего отказа подарить книги молодым людям. Если они продаются очень плохо, то не надо и рассчитывать на серьезные доходы, и тогда все равно, отчего же не пожертвовать хоть немногим для „идеи“; если же они продаются очень хорошо, то от избытка и тем более можно уделить. Не одобряю! Истинно сказать — вот уж от Вас, как от козла,— ни шерсти, ни молока (по крайней мере мне грешному); уж простите, Христа ради, да и то, если для Вас Христос не „легенда“ и в самом деле Бог, которого Вы боитесь, если же нет, как по многим признакам мне подозревается, то и прощения-то не стоит у Вас просить; а не велик грех будет и в тартары Вас проводить вместе с (   )** и Л. Н. Толстым. Вы спрашиваете, почему я в последнем письме моем был так „скуп“ на слова и ни слова не сказал о споре Вашем с Соловьевым [1]? Во-первых, потому, что я до сих пор не могу добиться последней статьи его против

* Внемлющему — благо (*лат.*).

** Пустое место, оставленное самим Леонтьевым (*Д. С.*).

Вас („Мнимая борьба с Западом“) [2]. Я видел его в сентябре в Москве и теперь не могу вспомнить, почему он мне не дал своей брошюры. Смутно помнится, будто он говорил мне, что не прислал потому, что мне многое будет в ней не по душе. Впрочем, и за это не ручаюсь, не помню. Не знаю даже, в каких из „либеральных“ журналов она была напечатана. О Вашем ему ответе тоже ничего не знаю. Сведения мои об этом споре остановились (прошлого, кажется, года) на его весьма скверной по тону статье („О грехах и болезнях“?) [3] и на Вашем ему ответе [4], в высшей степени достойном и благородном. Его эта статья с того, что не понравилась и по направлению и по тону, что я даже написал ему письмо, наполненное самыми суровыми укорами дружбы (я его очень люблю лично, сердцем

[Письмо не окончено].

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] *...о споре Вашем с Соловьевым?* — Речь идет о резкой полемике между Вл. С. Соловьевым и Н. Н. Страховым по поводу книги Н. Я. Данилевского „Россия и Европа“.

[2] *„Мнимая борьба с Западом“* — статья Вл. С. Соловьева (Русская мысль. 1890. Август) о книге Н. Н. Страхова „Борьба с Западом в нашей литературе“ (вып. 2, СПБ., 1890).

[3] *„О грехах и болезнях“* — статья Вл. С. Соловьева в журнале „Вестник Европы“ (1889, январь).

[4] *...на Вашем ему ответе* — то есть статье Н. Н. Страхова „Последний ответ г-ну Соловьеву“ („Русский вестник“. 1889. Февраль).

230. И. И. ФУДЕЛЮ

19—31 января 1891 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Моя независимость, моя обеспеченность, мой просторный дом, зимою теплый, летом веселый, в зелени, поддержка старца, любовь моя к моей милой Варе [1] и ее обо

мне сердечные (хотя и не всегда толковые) заботы, свежесть ума моего в полуразрушенном этом теле — возможность делать кой-какое, хотя бы и мелкое добро и многое другое... Это все свет моей старости. Я счастливее многих, очень многих стариков.

И вот в числе этих приятных поводов — благодарить Бога — один из самых приятных и значительных — это Ваша дружба и Ваше со мной полное единомыслие (почти), мой голубчик, Осип Иванович!

Вот Вам, душенька, какой сегодня „документ“! (Это моя Варя раз так сказала вместо „комплимент“.)

Да, я, право, все больше и больше к Вам привязываюсь и даже прошу Вас не изменять мне хоть сердцем, если мне даже суждено дожить до той горькой минуты, когда Вы мне мыслью измените.

Все почти близкие ко мне прежде юноши отвыкли от меня и оставили меня: Денисов, Уманов, Замараев, Волжин, Озеров, братья Нелидовы [2] и т. д. Остаются верными только Кристи, Александров и Вы. Но Кристи теперь болен (быть может, и неисцелимо), да и прежде был нестерпимо неровен и неаккуратен. То три огромных письма подряд, прекрасных по уму и чувствам, то почти год молчит...

Александров, как я более и более убеждаюсь, менее Вас вообще способен, к тому же пишет письма всегда короткие и мало интересные, хотя и согретые в высшей степени добрыми ко мне чувствами. Сверх того, мне мешает как-то эта женщина [3], которая наросла на нем, как огромная какая-то шишка, и которую я „любить“ могу только в случае нужды самым сухим христианским состраданием, а физиологически, по естественному чувству, едва-едва выношу ее как вредный нарост на любимом мною и в высшей степени благородном человеке. Потом он будет профессором, а Вы — иерей в рясе, „хамства“ все-таки меньше. Я ведь с этой стороны не только неисправим, но даже и не желаю испра́вляться! Любя его и уважая глубо-

ко, я буду извинять ему „профессорство“, а Вам —„Священнику“, с этой стороны, что извинять? Так что я и объективно, и субъективно Вами доволен более, чем всеми другими моими молодыми приятелями.

Объективно потому, что Вы очень умны, очень тверды, верны и достаточно смелы, потому что Вы религиозны, потому что на Вас не „полупердунчик“, а ряса. Пишете очень хорошо, ясно, прямо, решительно и с чувством; потому, наконец, что Вы сумели выбрать себе жену умную, которая не мешает Вам делать дело, не корячится, как другие чертовки нашего времени.

Субъективно потому, что Вы меня как человека искренне любите и как писателя смело, независимо и талантливо готовы поддерживать, когда есть малейшая возможность и повод...

Просто сказать и коротко: на Вас моя главная надежда! И, пожалуй, что ни на кого больше. „Враг силен“, а так как даже и личная наша дружба зародилась и выросла прежде всего на почве религиозного единомыслия, то дьяволу едва ли она может нравиться. Боюсь его действий и, разумеется, за молодого человека больше, чем за себя... N. B.! N. B.! 〈...〉

Книгу Данилевского не хотелось мне Вам свою посылать, она вдруг может мне понадобиться самому; просил Страхова выслать даром 2 экз〈емпляра〉 (другой для одного здесь гостящего и обращенного юноши). Этот противный человек извинился и отказал. И, вообразите (не фатум ли опять?)— этот сравнительно неважный случай будет, вероятно, причиной нашего окончательного с ним разрыва. (Астафьев — раз, Страхов — два, пожалуй, при некоторых условиях, которые я почти предвижу, и Соловьев... 91-й год).

При отказе Страхова прислать книги были в письме его еще и вопросы о том, что я думаю об его споре с В. Соловьевым и о том, кто из них двух правее, обвиняя друг друга в фальшивости. Если бы Страхов не упомянул слово „фаль-

шивость", то, может быть, дело как-нибудь и обошлось; но тут мое чуть не 30-летнее с ним (и с его противу меня прямо подлостью) долготерпение не выдержало. И я после усердных молитв и 3-х дневной борьбы послал ему очень краткий ответ открытым письмо ⟨...⟩.

Прошу Вас вообразить, какую борьбу духовного чувства с литературным самолюбием (по-„человечески" говоря, справедливо оскорбленным) и пережил я в эти несколько дней. Я принял очень серьезно к сердцу и то и другое. Я написал ему три письма, одно за другим, и всякий раз в усердной молитве с просьбой, чтобы Господь наставил меня — как поступить? Дать ли волю накопившемуся негодованию (у Соловьева сучок видит, а у себя бревна не видит!) или „положить дверь ограждения на уста мои"? Варсанофий Великий учит в подобных трудных случаях до 3-х раз искренно помолиться и потом уже следовать туда, куда после 3-й молитвы склоняется сердце наше. Все три первые письма были слишком откровенны, грубы и отчасти длинны. Сверх того, я находил, что несколько унижаю себя тем, что указываю ему слишком прямо на то, как я нуждался в его отзывах, а бесполезное унижение своего достоинства перед кем попало вовсе не то духовное смирение, которое состоит в ежеминутном сознании своей греховности, иногда даже едва-едва уловимой. Вот и кончилась эта борьба тем, что я отправил ему упомянутое открытое письмо, где только все тонкие намеки на „толстые обстоятельства" его против меня писательской несправедливости, а прямого ничего нет. И теперь успокоился. Все 3 первых письма я не разорвал, а хочу сохранить вместе с его письмом в особом конверте (есть и копия посланного открытого). В сущности, я очень рад, что наши личные сношения прекратятся. Эти сношения (личные) при всем том, что мы с ним на 2/3 единомышленники, были издавна натянуты и ложны. Если он вздумает мне ответить в конверте, то я, конечно, не стану распечатывать, а верну в другом конверте. Я уже это не раз в жизни делал

с людьми, которых письма меня тревожили, и таким путем заставлял их замолчать. ⟨...⟩

При всем моем личном пристрастии к Владимиру Сергеичу и при всем даже почтительном изумлении, в которое повергают меня некоторые из его творений („Теократия“ [4], некоторые места из „Критики отвлеченных начал“ [5] и „Религиозных основ“ [6], например), я сам ужасно недоволен им за последние 3 года. То есть с тех пор, как он вдался в эту ожесточенную и часто действительно недобросовестную полемику против славянофильства. Недоволен самим направлением, недоволен зловредным и ядовитым тоном, несомненной наглостью подтасовок. Не согласен даже с тем, что соединению Церквей [7] так сильно может мешать своеобразное национальное развитие России, как он думает*. Если бы он не находил, что самобытность национального духа нашего и утверждение наших от Запада государственных и бытовых особенностей помешает его главной цели — соединению Церквей с подчинением Риму, то и не нападал бы на культурное славянофильство** с такою яростью и с таким ослеплением. Но я нахожу, что он в этом-то и ошибается; Россия, проживши век или 1/2 века (а может быть, и меньше) в некотором насыщении своим национализмом и чувствуя все-таки, что и этого как-то недостаточно для достижения апогея ее, легче после этого, чем до этого, может пожелать главенства Папы. Вспоминаю при этом добродушного, но умного пустозвона нашего Шарапо-

* Испанцы, поляки, французы, южные немцы, итальянцы лет 300—400 тому назад (и даже много ближе) все одинаково и единовременно исповедовали римский католицизм; а разница государственного строя, общественного духа, вкусов и умственной жизни была между ними очень большая. Я ему писал об этом. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

** Что же это А. В. [8]... не может понять глубокой между нами разницы в том, что Соловьев враг не политического панславизма, на который он даже не прочь надеяться для католицизма. Он ненавидит именно особый культурный руссизм. Я же наоборот. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

ва. Он мимоходом в „Русском деле“ сказал: „На что самому Папе будет Россия слабая, вялая, ничтожная?“ (наверное эпитета не помню). Верно! На что и самому папству Россия, как две капли воды похожая на ту самую либеральную Европу, которая вот уже 100 лет как гонит папство. На сегодня довольно.

26 января. Подумавши, решил отправить Вам всю пачку с письмом Страхова и моими ему 4-мя ответами, из которых послал только последнее. Держите их у себя до случая. Это избавит меня, между прочим, от необходимости повторяться. В первых (неотправленных) моих ему ответах было кое-что такое, что может служить отчасти ответом и на некоторые весьма важные мысли, например, на то место, где я говорил ему об императрице Ирине [9]. Да! Много в Четьи-Минеях [10] Вы найдете святых несравненно более безукоризненных с „нынешней“ точки зрения, но они не сделали того для Церкви (и для нас с Вами лично), что сделала эта великая женщина. Св. Олимпиада, ученица и друг Иоанна Златоуста [11], всю жизнь свою посвящала благотворениям и была безукоризненной личной жизни. Но все-таки она сделала для учения церковного меньше, чем эта Ирина, быть может, и честолюбивая, желавшая сама царствовать женщина! (Я говорю, заметьте, все-таки „быть может“, ибо если мы про знакомых и близких говорим не без основания: „чужая душа потемки“, то как браться 1 000 лет спустя решить, что именно чувствовала и какую борьбу переживала византийская царица, приступая к низложению и ослеплению сына-иконоборца!)

„Дары“— разные, говорится; ну, и „заслуги“— разные. Олимпиада — поучительный пример частной православной жизни. Ирина — пример православной твердости на государственном поприще и при тяжких условиях догматической неурядицы. Благодаря низложению и ослеплению иконоборца царя Константина [12] стал возможен 7-й Вселенский Собор, на котором иконопочитание возведено в догмат. Хороши бы мы были теперь с Вами, мой друг, без икон

и без всей той „внешности“, в которой до тонкости воплощены и догмат Восточной Церкви, и вся история правоверия от Адама до наших дней!

Вот видите, как же быть-то? Так ли это, что только простые умы и сердца могут осуществить такое великое дело, как соединение Церквей? Я, заметьте, спорю об основной только мысли Вашей (и Страхова тоже), что высшие религиозные плоды даются только тем людям, которые кажутся нам добродетельными, искренними или „простыми“ (как Вы выражаетесь); прибавлю, что это слово „простой“ имеет в нашем языке такое множество значений, что его употреблять надо весьма осторожно, если хочешь быть ясным; простой — значит: 1— глупый, 2— щедрый, 3— откровенный, 4— доверчивый, 5— необразованный, 6— прямой, 7— наивный, 8— грубый, 9— не гордый, 10— хоть и умный, да не хитрый. Изволь понять это словечко в точности! За это я его не люблю.

Я спорю здесь только против основной мысли — об исключительном призвании простых людей к решению великих религиозных вопросов, а не о том, нужно ли соединение Церквей и возможно ли оно. Надо на этот раз этот, собственно, более частный вопрос по возможности устранить. (Как слишком трудный и сложный для частного письма). Помнить только не мешает, что пока все наше восточное духовенство и все наши известные богословы понимают и признают только один вид подобного соединения: полное отречение католиков от filioque*, от единоличной непогрешимости Папы и т. д. Правдоподобно ли это? А если так, то мы с Вами, „послушники“ Восточной Иерархии, имеем ли мы право даже и в сердце желать иного соединения? Конечно, не имеем, говоря строго. Но я не скрою от Вас моей „немощи“: мне лично папская непогрешимость ужасно нравится! „Старец старцев“! Я,

* Член католического символа веры, означающий исхождение Св. Духа не только от Отца, но и от Сына (*лат.*).

будучи в Риме, не задумался бы у Льва XIII[13] туфлю поцеловать, не только что руку. Ибо руку-то у папы и порядочные протестанты целуют, а либеральная сволочь, конечно, нет. Уж на что Т. И. Филиппов строгий защитник „старого“ православия, но и тот говорит всегда: искренне верующий православный не может не сочувствовать католикам во многом и не может не уважать их и вынужден даже нередко из усердия к своей вере завидовать им. Сверх того, что римский католицизм нравится и моим искренне деспотическим вкусам, и моей наклонности к духовному послушанию, и по многим еще другим причинам привлекает мое сердце и ум, сверх этого я еще думаю, что такой оригинальный (для русских) взгляд, как Влад⟨имира⟩ Соловьева, и при тех ресурсах, которыми его одарила судьба, не может пройти бесследно. Я уверен даже, что не пройдет. „Богобоязненность“ и послушание своему духовенству, Вы знаете, у нас слабы, а жажда нового и в особенности жажда ясного и осязательного у нас в обществе неутолима. Разлюбивши простой, утилитарный прогресс, разочаровавшись в нем, грядущие поколения русских людей не накинутся ли толпами на учение Соловьева, не только благодаря его таланту (или, вернее, гению), но и благодаря тому, что самая мысль „идти под Папу“— ясна, практична, осуществима и в то же время очень идеальна и очень крупна.

В его учении много сторон, но, не распространяясь здесь, предложу Вам поискать об этом в письмах моих Страхову, там есть кратко об этом; не знаю, право, насчет земного благоденствия после соединения Церквей под Папой — как решить: хитрит Соловьев или верует сам в эту химеру? Иезуитизм ли это (весьма ценный и целесообразный в наше дурацкое время) или та „духовная прелесть“,

о которой я упоминал (в письме)*? „Чужая душа потемки"! Из уважения к его уму желал бы думать, что он весьма ловко и даже как бы вдохновенно иезуитствует, но не верит, ибо это глупо. Из желания же верить его сердечной совестливости (так как я его крепко люблю) хотел бы предпочесть искреннее и глупое заблуждение.

Но допустим, что это иезуитизм в том смысле, что он говорит сам себе: „Нынешнему народу скажи просто Церковь, Папа, спасение души — они отворотятся, а скажи, что при посредстве Папы и Церкви на земле воцарится на целое 1000-летие та любовь, та гармония и то благоденствие, о котором вы вот уже более 100 лет все слышите от прогрессистов, а без Церкви и Папы — это невозможно, ибо только через них действует Бог, Которого признавать необходимо и Которого очень многие теперь ищут и жаждут... Скажи так (мечтательно и ложно)— они примут во имя этой лжи и этой мечты и то, что в моем учении возможно, правильно, реально, осуществимо" и т. д.

Допустим, что он так думает; разве с практической стороны он не прав? Допустите еще, что лет через 10—20 его учение (при слабой по-прежнему организации нашей учительствующей Церкви и т. п.) приобретет множество молодых, искренних и энергических прозелитов, подобно нигилизму (тоже ясному) 60-х и 70-х годов. Из общества идеи просачиваются понемногу и в духовные училища, и ко двору. (NB). Мы видели, что в настоящее время хомяковские оттенки (по-моему, неправильные и в некоторых отношениях полупротестантские) просочились уже в духовные академии. А ведь соловьевская мысль несравненно яснее

* К Н. Страхову. Там он писал: „Монахи зовут „духовной прелестью" то состояние, в котором строгий аскет начинает, забывшись, воображать себя святым, свыше на что-то особо призванным и т. д. Пожалуй, что построение Соловьева больше похоже на это, чем на рассчитанное притворство". (*Примеч. И. Фуделя.*)

и осязательнее хомяковской*. („Любовь“, „любовь“ у Хомякова; „истина“, „Истина“ — и только; я у него в богословии, признаюсь, ничего не понимаю, и старое филаретовское и т. д., более жесткое, мне гораздо доступнее как более естественное). Вообразите, что в духовных академиях не удовлетворяются более „сладким“ туманом Хомякова и спрашивают себя: „Ну, а дальше что?“ Вообразите при этом все большее и большее сближение с католическими славянами; вообразите, что осуществится тот панславизм, которого я так боюсь (не с католической, конечно, а с либеральной стороны; а как удержаться от этого панславизма надолго в случае всеобщей войны и прямой невозможности сохранить более единство Австрии). Вообразите в то же время и на Западе возврат к религии после ужасов социалистической анархии. Не забудьте при этом и наш императорский двор. Это дело первейшей важности! Уже Александра Иосифовна [14], как я слышал, раз входила в совещание с Вл⟨димиром⟩ Соловьевым об унии, но он эту внешнюю цель отвергает и говорит, что теперь нужно общественную почву только приготовлять. А вот наш здешний предводитель Оболенский от сочинений Вл⟨адимира⟩ Серг⟨еевича⟩ без ума. А младший его брат, Николай Дмитриевич [15], избран государем в спутники и товарищи путешествующему ныне наследнику российского престола. Вообразите только как пример передачу впечатлений и мыслей от брата к брату, а от брата — спутнику молодому и т. п., и т. д., и т. д.

И если таким образом через 20—25 лет те семена, которые он сеет теперь с такой борьбой, с такой, допустим,

* Потрудитесь прочесть внимательно и строго в „Благовесте“ (Вып. 6 и 7. 1 ноября 1890 г. и 16 ноября) статью „Ал⟨ексей⟩ Ст⟨епанович⟩ Хомяков как богослов“. Понимаете Вы что-нибудь, кроме отдельных „высоких слов“? Я ничего не понимаю. Напр⟨имер⟩, Вып. 6, стр. 167: „Церковь — это сам человек в его высшем нравственном определении“?! Можно ли представить себе что-нибудь живое на основании такой фразы? Это ужасно! (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

хитростью и даже несимпатичной злобой, начнут приносить обильную жатву (реальными и здоровыми сторонами учения), то разве не простят ему все его извороты или его мечтательные бредни?

„Гармонии" à la Достоевский, „всеобщей любви", конечно, не будет (для этого, как справедливо сказал в „Русском обозрении" Ионин и как я давно думал, надо нам „химически"* переродиться); „молочные реки" и тогда не потекут в „кисельных берегах" — это все чушь, противная и здравому смыслу, и Евангелию, и естественным наукам даже. И если совокупность всех выше перечисленных условий приведет (например, все это) к соединению Церквей под Папой, то скорее может случиться, что русские, в одно и то же время столь расположенные к мистическому подчинению и столь неудержимые в страсти разрушать, столь бешеные, когда они одушевлены, скорее, говорю я, может случиться, что эти русские паписты не только не будут кротки, как советует им зря Владимир Сергеевич, а положат лоском всю либеральную Европу к подножию папского престола, дойдут до ступеней его через потоки европейской крови. 〈...〉

И тогда разве не простится ему и ложь его? Простится, мой друг! Да еще скажут: „Великий человек! Святой

---

* Впрочем, Соловьев, кажется, и до этого домечтался (или „дохитрил" — не знаю). Астафьев еще в 83 году рассказывал мне следующее. Он спросил у Вл. Серг.: „что такое будет у вас в вашем предполагаемом третьем отделении, в „Теургии". (Теософия, Теократия, Теургия; Богомудрие („Крит. отвл. нначал"), Боговластие, Боготворчество)". Соловьев отвечал: „там будет о семи Таинствах, под влиянием которых после примирения Церквей весь мир переродится не только нравственно, но и физически и эстетически". Вот как далеко он поднялся! Поэтому ему и известный Фурье [16] нравится; у него тоже предсказывается 40 000 лет апогея блаженства на земле под влиянием приятной и любвеобильной организации общества не против страстей, а по страстям и влечениям. Изменится даже вкус моря на приятный, разовьются новые органы у людей и т. д. (Консидеран [17], ученик Фурье, продолжил эту теорию в 40-х годах). (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

мудрец! Он сулил журавля в небе, но он знал, что даст этим нам возможную синицу в руки!" И если кто (предполагаем в случае успеха) скажет тогда: „Он не хитрил, он сам заблуждался и мечтал о невозможном"... на это ответят: „Тем лучше. Это трогательно".

От деятельности всех истинно великих умов и характеров остается нечто прочное, а то, что имело более косвенное и преходящее значение, скоро пропадает. Победы Наполеона I-го имели косвенное и преходящее значение, ибо цель его — господство Франции над всей Западной Европой — не была достигнута; но, знаете, благодаря чему вот уже скоро 100 лет, как будничная жизнь Франции (полиция, суд, отношение собственности, торговля, промышленность, весь строй административный) считается образцовой с точки зрения порядка? Благодаря тому, что во время Консульства и Империи (т. е. в течение каких-нибудь 15 лет) Наполеон между двумя войнами находил время устраивать эту ежедневную жизнь на новых, данных революцией началах всеобщего гражданского равенства. Этого равенства в то время нигде, кроме Франции, не было, и на этом „песке" равенства (как Наполеон сам говаривал) приходилось все утверждать; он это сделал, и какова ни была дальнейшая будущность Запада и человечества вообще, приходится признать, что с его времени ни одна другая держава не может у себя производить эгалитарных реформ без сознательных заимствований и невольных подражаний демократическим порядкам Франции. И у нас тоже все „благодетельные" реформы, за незначительными оттенками, суть реформы наполеоновской Франции. Значительно у нас только то, что крестьянские земли сделаны не то что совсем неотчуждаемыми, а трудно отчуждаемыми, и теперь государственная мысль колеблется между риском постепенного обезземеления мужиков и смелой решимостью объявить их земли раз навсегда государственными и неотъемлемыми; это действительно своеобразно, остальное же в

реформах наших почти все чужое и более или менее французское. (Увы!)

Так и от Соловьева нечто большее должно остаться. Останется же столь поразительная и простая идея развития Церкви, против которой тщетно спорят и, вероятно, будут еще до поры до времени спорить наши православные богословы, воображая почему-то заодно с самим Соловьевым, что идея эта непременно ведет в Рим. Тогда как, напротив того, она скорее может подавать нам надежды на дальнейшее самобытное развитие Восточной Церкви. (К.[18] очень хорошо об этом писал, хотя и мимоходом; мысли эти мои, но он, спаси его Господи, кстати и очень ловко ими воспользовался в „Гражданине". Я был рад, потому что Вы знаете, какое у меня дурацкое обилие мыслей, сам же я физически не в силах уже их распространять; кстати же сказать — и Вы воруйте на здоровье, что понравится и с чем сердце Ваше согласится. Это мне будет лестно и только. Иначе ведь и нельзя развивать учение.)

Останется ли от Соловьева только эта идея развития Церкви или нечто еще более общее — только истинно великий толчок, данный им русской мысли в глубоко мистическую сторону, ибо он, будучи несомненно самым блестящим, глубоким и ясным философом-писателем в современной Европе, посвятил свой дар религии, а не чему-нибудь другому? (Небывалый у нас пример, да и нигде в XIX веке.) Или произойдет действительное соединение Церквей, под Папой ли или, напротив того, благодаря соборно-патриаршей централизации, на Босфоре (причем „кисельные берега" отвалятся сами собой и будет по-прежнему на земле стоять стон от скорбей, обид и лишений); как бы то ни было, след будет великий...

Это кончено! А о том, прав ли он чисто догматически,— что сказать? Теперь, конечно, не прав, потому что все восточное духовенство с ним несогласно. Но вот в чем вопрос — всегда ли он будет не прав? Всегда ли наше духовенство будет несогласно? Ведь это правда, что католи-

ки не названы еще еретиками ни на каком Восточном Соборе. А раз этого не было, взгляд можно изменить со временем, не впадая в прямое противоречие ни с одним из 7 Вселенских Соборов. Есть большая разница между взглядами восточных иерархов на Рим, католицизм. Греческие патриархи считают его прямо ересью (хотя и Собора не было). А у нас многие, подобно Филарету, не решаются считать их таковыми, ибо только у одних католиков изо всех отклонившихся от греческого православия не нарушены ни благодать апостольского преемства в иерархии, ни предания Св. Отец, ни учение о 7 таинствах[19]. Вот и разберитесь, мой друг, во всем этом. Другое дело теперь, и другое дело будущее.

Довольно бы о Соловьеве, я и так отвлекся. Но в заключение скажу: печатные политические воззрения его просто поражают меня, не знаю только чем: ребячеством своим или наглым притворством. „Никого не обижай, у поляков проси прощения, евреям дай равноправность; Данилевский проповедовал ненависть к Европе — он безнравственный писатель“ и т. д. Боюсь, что притворство. Ибо не далее как в последнее свидание со мною он говорил мне: „Если для соединения Церквей необходимо, чтобы Россия завоевала постепенно всю Европу и Азию,— я ничего против этого не имею“. Отчего же не печатать этого? А все противоположное?

Вернее, что Вы оба со Страховым правы, обвиняя его во лжи и иезуитизме; только, по-моему, иезуитизм с определенной мировой целью гораздо понятнее и простительнее той личной и ненужной фальшивости, которой дышит сам Страхов. Он тоже печатно и за всеобщий мир стоит, как будто, а посмотрите, как будет рад нашим победам при случае. Тут какая же цель лгать? Ведь он не дипломат, не обязан присягой и пристойностью скрывать свои политические чувства. А уж его собственное поведение (литературное)— это верх предательства и свинства! Дело не в том, чтобы хвалить, а в том, чтобы человек, печатающий такие

вещи, которые всеми признаются за самобытные, понял бы наконец, с помощью честной критики, в чем он правее, в чем он слабее и т. д. А ведь я до сих пор этого не понимаю; в частных письмах и на словах восторги с разных сторон, в печати — или молчание, или краткие заметки: „великие заслуги", „остроумный К. Н. Леонтьев", „оригинальный талант", „великий, но взбалмошный ум", „блестящие картины", „глубокие мысли" (Астафьев), „несерьезный писатель" (он же!) и т. п. Ну, может ли все это служить школой для публициста? А я, который от серьезной школы и в 60 лет не прочь, вот уже с 73 года жарюсь в своем собственном соку! И Страхов-то мне на 2/3 единомышленник. Бог с ним. Довольно. Письмо это обратилось в дневник и, вдобавок, в дневник ⟨не⟩ только меня утешающий, а для Вас тоже полезный, ибо замечаний-то к Хомякову, Данилевскому и Киреевскому я все-таки не сделаю. Боюсь труда!

28 января

Хочется, впрочем, возразить Вам еще кой-что насчет простоты ума и сердца, о которой Вы пишете как о необходимом условии для всякого религиозного дела. Ох-ох, заблуждаетесь Вы, мой голубчик!

Примеры из истории. Соловьев считает патриарха Фотия [20] преступником за то, что он не послушался Папы и отложился. А греко-российская Церковь зовет его „блаженный Фотий" и восхваляет за то же самое. (И даже столь „моральный" Хомяков, считая его человеком лично нечистым, честолюбцем и называя его „похитителем" патриаршего престола, за стойкость в борьбе с папизмом отдает ему справедливость.) Значит — по мнению Св⟨ятой⟩ Соборной Апостольской Церкви этот честолюбец ей (Св⟨ятой⟩ Соб⟨орной⟩ Ап⟨остольской⟩ Церкви) сделал пользу! Это раз.

А потом святой Кирилл [21], Патриарх Александрийский, на Ефесском Соборе [22] спас православие в союзе с святою же императрицей Пульхерией [23]. (Она в то время не была

еще императрицей, императором был ее брат Феодосий младший [24]; она сперва была вроде регентши, а когда брат вырос, то сохраняла большое влияние, а так как он рано умер бездетным, то императрицей избрали ее и уговорили ее выйти замуж за благочестивого полководца Маркиана [25], с которым она, по взаимному согласию, и прожила, как сестра с братом.)

В то время ересь, вводимая Константинопольским патриархом Несторием* [26], до того поколебала умы, что огромное большинство духовенства и сам император Феодосий Младший были на его стороне.

Вот если бы, ⟨Вы — *Д. С.*⟩ мой друг, могли прочесть (по-французски, перевода нет) „Историю" Амедея Тьерри [28] об Ефесском Соборе. Вы бы не стали больше никогда говорить об исключительной ценности „простых" умов и „простых" сердец! Любя всей душой православие и веруя в него как в святыню, Вы бы, читая этого светского и даже легкого, но понимающего дело историка, пришли бы в ужас за Церковь, когда увидели бы, в какие крайности могли бы завести одинаково и умаление Божественности, и умаление человечности в Христе. Уменьшая Божественность Христа, можно было шаг за шагом уничтожить в христианстве „духовный страх" и почтение, умаляя же человечность Его (по Евтихию) [29] и сохраняя за Ним только божественность, можно было подсечь в корне ту любовь к человеку — Христу, которую мы чувствуем теперь, веруя, что Он, как мы, алкал и жаждал, уставал, спал, огорчался, даже смерти боялся в последние часы („моление о чаше" и т. п.).

Вы бы поняли, читая Амедея Тьерри, как нужен тут был человек прежде всего энергический и даже на средства неразборчивый...

И этот человек нашелся в лице крутого и неразборчивого (по свидетельству светской истории) Кирилла Алек-

* Он до некоторой степени продолжил дело Ария [27]; как бы умалял божественность Христа и Богородицу даже называл „Христородицей".

сандрийского. Ам⟨едей⟩ Тьерри говорит, что он набрал с собою на корабли сверх лихих матросов еще толпу полудиких египетских монахов и много банщиков и, воспользовавшись попутным ветром, прибыл в Ефес на день (или на два, не помню) раньше Иоанна[30], патриарха Антиохийского, который был вождь евтихианцев самый сильный, ибо его епархия в то время была очень обширна и многолюдна, и сверх того имел за себя сочувствие императора со множеством всегдашних человекоугодников. Св. Кирилл, прибывши в Ефес и не дожидаясь Иоанна (что было, конечно, весьма непростосердечно), быстро собрал все бывшее налицо духовенство хорошего направления и занял председательское место на Соборе. Партизанов ереси было тоже в городе уже немало, но, вероятно, не без согласия (Святого) Кирилла матросы, банщики, полунагие египетские монахи начали бегать по городу и кричать: „Смерть несторианам!" Духовные лица, бывшие на стороне новой ереси, испугались и не выходили из жилищ своих. И еще: для правильного открытия Собора нужен был особый указ императора; чиновник был уже прислан с полномочиями, но этого особого указа ad hoc* он еще не получал. Кирилл, воспользовавшись, видимо, некоторою неопытностью тогдашнего „комиссара" и действительного статского советника, сказал ему, что достаточно и полномочий (или, может быть, просто декрета об его назначении в Ефес для Собора), и самовольно открыл Собор.

Обсудили дело скоро и прокляли как раз ересь Нестория и его самого и всех его сообщников. Через пять только дней Иоанн (патриарх Антиохийский) въехал сухим путем в город с огромной свитой духовенства. Но везде уже по городу висели (или были наклеены, не знаю) воззвания Кирилла с Собором, проклинавшие противников. И вот, несмотря на сопротивление Иоанна со множеством влиятельных и властных пособников, несмотря на сочувствие

* К сему случаю (*лат.*).

императора, несмотря ни на что, правоверие восторжествовало, на этот раз вовсе не наивными, не „любвеобильными“, не „кроткими“ и не „прямыми“ средствами, как видите. Ловкому и отважному Кириллу сочувствовала и содействовала тайно, не забудьте, во всем этом деле безукоризненная, честная девственница Пульхерия*.

И вот, когда мы с Вами теперь молимся на чудотворную икону Иверской Божией Матери и с любовью глядим на младенца Бого-человека на руках ее, то этой возможностью, этим утешением, этой простою и возвышенною радостию мы обязаны в высшей степени двум людям, вовсе не простым ни умом, ни сердцем: св. Ирине (иконозащитнице) и св. Кириллу (восстановителю двух естеств во Христе). Нет, голубчик, не пытайтесь „морализировать“ историю Церкви больше, чем сама Церковь того требует! „Сила Божия и в немощах наших познается“. Церковное дело требует своего „домостроительства“ (т. е. политики), а домостроительству этому не довлеют в отдельности своей ни одни чисто идеальные, ни одни грубо практические средства. А смотря по обстоятельствам (точнее, смотря по указанию и избранию Божию**). Жаль, что Вы не знакомы с тою частью Теократии Соловьева (изданной за границей), где он объясняет как характеры Авраама [31], Исаака [32] и Иакова [33], так и отношение Божьей воли к этим характерам их. ⟨...⟩ Я ничего подобного не читал в этом роде! И до чего хомяковский туман против этого слаб, я выразить не могу. Конечно, мораль Нового Завета и мораль Ветхого — огромная разница, но Бог — все Бог; и Человек, сколько ни смягчайся нравами, все-таки человек! И если в Ветхом Завете Господь пользовался, так сказать,

* Читал я это в 73 году, теперь книги не имею и могу ошибаться в частностях, но за дух событий ручаюсь. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

** Единство Божественной цели в разнообразии средств и путей. Или: Единство Божьей благодати в разнообразии человеческих натур. (Мое домашнее, для собственного употребления Богословие.) [*Примеч. К. Н. Леонтьева.*]

разнообразными человеческими ресурсами для божественных целей своих, то из того, что мораль Нового Завета неизмеримо строже (к себе) и мягче (к другим), чем было в Ветхом, не следует еще, чтобы только одни „чистые сердца“ и „добрые люди“ имели право и назначение служить дальнейшему делу Церкви.

Факты церковной истории противоречат такому воззрению. Еще примеры: наш Владимир был, положим, простой и добрый человек; но Константин, царь (которого дело как инициатора в 100 раз важнее, чем дело Владимира — только последователя), разве не был прежде всего великий политик, который вовремя понял, что сила политическая в империи начинает переходить на сторону христиан? И какая же в этом беда? Это соображение ничуть не исключает и сердечного влечения. Философия греческая уже подготовила образованный класс и к единобожию, и к метафизической троичности основ. Религия и греческая, и римская приучили, с другой стороны, людей к антропоморфизму, т. е. не к чудовищному воплощению богов*, как в других политеистических исповеданиях, а к человекообразной их красоте и вообще к человекообразию. Христианство растет и растет... Оно говорит: Бог один, но троичен в лицах и явился тогда-то и там-то в виде обыкновенного человека такого-то и т. д. Константин все это знает, все это понимает и чувствует, его это привлекает; ни личное честолюбие или желание утвердить свою власть на сочувствии христиан, ни сознание государственного дела, требующего соображения с обстоятельствами, не только не могли мешать этому естественному влечению, но, напротив того, усиливали его. И вот он издал указ о прекращении гонений и потом созвал 1-й Никейский Собор [34], с которого, собственно, началось существование той самой Церкви, которой мы с Вами

* Как у египтян, индусов и, вероятно, у ассирян, финикийцев и т. д. Полубыки, птичьи головы на человеческом туловище, полульвы, огромные размеры, кровожадность и т. д. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

повинуемся, поклоняемся и служим. А этот равноапостольный царь пролил довольно много крови в междуусобных бранях и казнил еще вдобавок жену свою и сына!..

Значит, оказалось, что и вопреки немощам его, сила Божия могла самым поразительным образом обнаружиться через него, благодаря его дарованиям, его энергии, его уму и его (не без Бога же) высокому положению. Поймите также, умоляю Вас, раз навсегда, что ни жестокосердие, ни лукавство личной натуры ничуть не исключают искренности убеждений и верований. Другое дело мировоззрение и другое дело характер. Согласитесь с этим и не сбивайте сами себя вперед смешением этих двух сторон того человека, которого Вы судите.

Вы сами человек прямой, честный, искренний и меня, грешного, считаете тоже таковым. Пусть будет по-вашему (я сам думаю, что я до известной степени таков, за исключением честности в деньгах, ибо как должник и заемщик я много и сознательно даже в жизни награбил*). Хорошо; мы с Вами оба довольно искренни и прямы (а Вы, по-видимому, вдобавок и честны всячески); останемся таковыми, но не будем пристрастны к тому психическому типу, к которому мы более или менее принадлежим и которому, естественно, сочувствуем. Будем пообъективнее в суде нашем и воздадим suum cuique**... И для высоких целей нужны не только Св. Павел Препростый [35] (сподвижник Антония Великого), не только кроткая и невинная Св. Олимпиада, не только простой сердцем и неученый Св. Спиридон [36], епископ тримифунтский, не только мудрая, но честная и безукоризненная Св. Пульхерия-царица, но нужны и хитрый политик и во многом жестокий Св. Константин, и Св. Кирилл, столь страстный и столь изворотливый, и Св. Ирина, не пожалевшая сына для Церкви. Пороки при них, и пусть их судит, как Ему угодно,

* И только теперь стал исправляться. (*Примеч. К. Н. Леотьева*).
** Каждому свое (*лат.*).

Господь; а исполинские их заслуги при нас остались и в нас живут, ибо, благодаря им,— мы то, что мы есмь теперь — православные люди, верующие в Троицу, в бого-человечность Христа и в святость икон.

А Филарет — светильник московский, разве был прост умом (!!) и сердцем? Едва ли!

И почему Вы говорите, наконец, что от. Амвросий — человек простой умом и сердцем. Вы упоминаете также по тому же поводу имя от. Иоанна Кронштадтского. Его я лично не знаю, в молитвенность великую и чудодействие его верю и даже в 87 году из Москвы писал ему больной, прося молиться за раба Божия Константина и получил очень скоро исцеление. Это особый дар; а вот проповеди его из рук вон слабы и рутинны, особенно если вспомнить о великолепных проповедях Амвросия Харьковского [37] и Никанора [38] покойного (тоже не из „невинных" был, кажется, покойник!). Судя по проповедям от. Иоанна, ума в нем действительно особого не видно. Но что касается до ума от. Амвросия, то уж это мы знаем. Это удивительно тонкий ум и именно в практическом направлении, а не в собственно — мыслительном. Мудрость, скажу просто — даже ловкость батюшки от. Амвросия изумительны и в способе духовного руководства, и в хозяйственных делах (например, создание Шамордина [39] в 4 с половиной года) и, наконец, и в политике даже, которую он по своему положению и значению вынужден вести между архиереями (которые все меняются), между требованиями разнообразной паствы своей, претензиями монахов и простодушной, но жестокой тупостью от. архимандрита нашего и т. д. Это удивительно. Какая тут простота ума! В высшей степени сложная его (ума т. е.) изворотливость и быстрая находчивость! Твердость характера, справедливость, прямота веры и добрых целей — да! Чистота намерений — да! Простота же средств и приемов — нет. Не могу признать этого.

Здесь были и есть духовники, которые проще его сердцем; например, от. Анатолий, скитоначальник. Это, как

зовет его один из его почитателей,— огромное дитя (сердцем, характером). Увлекающийся, жалостливый, бесконечно добрый, доверчивый до наивности, без всякой природной хитрости и ловкости, при этом не только не глупый и даже не простой умом, но очень мыслящий, любящий пофилософствовать и побогословствовать серьезно. Понимает прекрасно (по-моему, лучше от. Амвросия)* теоретические вопросы вообще. Однако... однако... все мы руководство практическое отца Амвросия несравненно предпочитаем. А был еще здесь, ныне умерший, от. Пимен [40], духовник же, необычайный подвижник, простак, добряк, смиренный; сам от. Амвросий очень любил и ценил его и всегда у него сам исповедовался. Однако его детская простота, соединенная с резкой грубостью, подчиняла больше всего деревенских баб, а мы все уважали и любили его, а советоваться не к нему шли, а к мудрому и вовсе уже не столь простому Амвросию...

У монахов даже есть особого рода отзыв про таких-то людей: „Свят да не искусен“. То есть: для своего спасения хорош, а другим-то мало полезен!

Да если я не остановлюсь, то я еще несколько страниц только примерами живыми испишу.

Все это, повторяю, я написал не собственно с целью защитить Влад⟨имира⟩ Соловьева (которым, Вы знаете, я теперь очень недоволен), а с целью горячо возразить Вам на Вашу неосторожную, по-моему, теорию простоты и искренности. Искренность есть большая и у врагов Церкви, у нигилистов и т. д. Искренность искренности рознь; за другую искренность казнить смертью нужно. И изворотливость изворотливости рознь; за другую изворотливость

* Может быть, и потому только, что его практическое старчество позднее расширилось, чем у от. Амвросия, и прежде он имел много времени для постоянного чтения и рассуждения; а у от. Амвросия давно уже этого времени нет. А может быть, и по природному более метафизическому складу ума. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

прославлять следует. А Вы пишете, что для Вас искренность важнее направления! Голубчик! Что с Вами?.. Это проклятое студенчество Ваше в Вас „отрыгнуло“, с позволения сказать, на минутку! Симпатично? В личном отношении? И то не всегда! За другую искренность по морде ударишь. Искренность — хорошее направление. Так скажите. Это совсем другое дело. Вот мне вчера случайно попалась в „Русском деле“ 88 года горячая, искренняя статья студента-юриста* (гм!) против военной дисциплины в Университете и вообще против палки. Я ей обрадовался (по личной любви и даже спрятал ее), головой покачал. Да разве в России можно без принуждения, и строгого даже, что бы то ни было сделать.

29 января

и утвердить? У нас что крепко стоит? Армия, монастыри, чиновничество и, пожалуй, крестьянский мир. Все принудительное. Да и сам этот студент-юрист, недавно еще поклонник и приверженец неопределенного морального идеализма, теперь запрягся по своей охоте в оглобли и хомут строжайшей и очень определенной спиритуалистической и обрядовой дисциплины... И теперь, в случае нужды (по примеру самих Св. Отцов), конечно, готов будет допустить даже и „палку“, не какую-нибудь аллегорическую, но настоящую деревянную палку. (Тоже некрасивое средство для прекрасных нередко целей.) Для юноши живого и даровитого —88-й год и 91-й — это 10 лет. На что же эта студенческая „отрыжка“ à la Достоевский, à la Лев Толстой и т.п. „Простота ума и сердца!“ „Искренность“ дороже направления и т. д.

И. С. Аксаков был гораздо прямее, искреннее и благороднее Каткова. А кто из них больше сделал не только для государства, но даже и для веры нашей? „Русь“ [41] Аксакова очень часто (по признанию людей, достойных доверия)

---

* Это была моя статья в „Русском деле“ за подписью „студент — юрист“. (*Примеч. И. Фуделя.*)

лежала неразрезанной даже у единомышленников и друзей его, а „Московские ведомости“ читались с жадностью всеми добрыми и толковыми гражданами России, начиная с Зимнего дворца и кончая оптинскими кельями, в которых имя его прославлялось до небес. Архимандрит наш, который ничего современного не знает и не читает, и тот, бывало, восклицал: „У нас только Катков и есть, спаси его, Господи!“*

Говорю все это вопреки моему личному нерасположению к покойному Каткову и вопреки моей личной же преданности Филиппову (которого вдобавок я считаю в некоторых важных пунктах церковных дел правым, а Каткова неправым). Катков лично производил на меня впечатление самого непрямого, самого фальшивого и неприятного человека; но, как я уже говорил, фальшивость характера ничуть не исключает глубокой искренности общих убеждений. Я не сомневаюсь ни на минуту, что Катков положил бы героем на плаху голову свою за Россию, если бы оказалось это нужным. А прежние московские бояре, на что уж были хитрецы, интриганы и даже часто мошенники, а разве они не были искренни и в вере, и в патриотизме своем?

Варя, увидавши, что я все Вам это пишу, а не статью для „Гражданина“, бранит меня: „Как Вы мне, право, надоели, в доме денег нет, в банк надо платить, а Вы вместо статьи все Осипу Иванычу пишете!“ Увы! с „утилитарной“ точки зрения она совершенно права. Я эту зиму ничего еще за литературу не получил, а 400 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩ у Берга и Цертелева набрал вперед. Но что же делать, если

---

* А когда Тертий Ив. Филиппов сделал известный промах, т. е. на другой день смерти Каткова напечатал в „Гражданине“ неблагоприятный о нем отзыв, то я сам слышал, как один здешний добродушный, почтенный и простой иеромонах называл его за это „Чертий Иваныч“. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

мне частная беседа с Вами несравненно приятнее, чем беседа с „публикой“ нашей. И не только с Вами, но и с другими людьми, которые по почте обращаются ко мне с вопросами и за советами. Недавно я три утра с лишком пожертвовал на длинный ответ одному из молодых сотрудников „Гражданина“ (г-ну Колышко[42]). Он умолял сказать ему правду об его романах и повестях (его псевдоним Райский), и я по совести исполнил его желание. Разобрал очень строго и беспощадно, рискуя создать себе врага. Но он оценил это как нельзя благороднее и теперь (судя по ответу его) служить мне в печати всячески готов и ужасный стиль свой собирается исправлять по-моему и даже в Оптину собирается. Это немедленные плоды, это, конечно, вознаграждение нравственное за прямоту, за понимание и за труд. А Вам писать — и в 10 раз более. А чем вознаграждает меня печать? /.../

На Данилевского постараюсь тоже сделать и без книги примечания.

Но пока замечу только вот что:

1. Хотя Соловьев весьма нападает на самую теорию культурных типов, но я думаю, что с этой стороны Страхов и Бестужев-Рюмин (защищающий ее) оба правее его.

Культурные типы были и есть (хотя и везде более или менее тают на наших глазах).

Соловьев, кажется, прав в одном обвинении: культурные типы не связаны с одной национальностью, и если весь тип во всецелости действительно другой, уже сложившейся, национальности непередаваем, то по кускам, так сказать, легко передается (религия сполна, государственные законы, моды и обычаи, философия, стиль искусства и т. д. Примеров бездна.).

2. Особые культурные типы были, но из этого еще не следует, что они всегда будут; человечество легко может смешаться в один общий культурный тип. Пусть это будет перед смертью — все равно.

3. И если даже допустить, что романо-германский тип,

несомненно разлагаясь, уже не может в нынешнем состоянии своем удовлетворить все человечество, то из этого вовсе еще не следует, что мы, славяне, в течение 100 лѣт не проявившие ни тени творчества, вдруг теперь под старость дадим полнейший 4-х основный культурный тип, как мечтает и даже верит Данилевский.

Вот главные мои несогласия с Данилевским, мои поправки.

Я понимаю, что Вы тоже плохо верите во все другие назначения России, кроме религиозного, но почему Вы пишете — не только не верю, но и не желаю. Это странно! Отчего не желать добра и силы отчизне своей, хотя бы и сомневаясь в исполнении желаний этих?

Я сам плохо верю в это (и в этом мы согласны; не понимаю, откуда Вы взяли, что мы в этом не сходимся? Даже досадно на Вас!). Но и самые сомнения наши могут быть ошибочны; это не математика и не догмат веры. Ошибиться можно и по недоверию, точно так же, как и по доверию.

Например, обоим нам с Вами не мешает помнить, что и для исполнения особого и великого религиозного призвания Россия должна все-таки значительно разниться от Запада и государственно-бытовым строем своим, иначе она не главой религиозной станет над ним, а простодушно и по-хамски срастется с ним ягодицами* демократического прогресса (родятся такие уроды — ягодицами срослись). Конец!

Обнимаю, жму руку милой попадье нашей. Прошу благословения и молитв и не отчаиваюсь еще увидеться на белом свете.

К. Леонтьев.

Нет, еще не конец! Приготовляя посылку, я увидел, что Исаак Сирин [43] гораздо толще Данилевского, и через это на

* Вы знаете, что это значит „ягодица", надеюсь? (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

посылке с одной стороны будет яма. Я этого выносить не могу, и эта вещественная причина принесет, быть может, Вам случайно (по-видимому — но едва ли в самом деле случайно) невещественную пользу. Я решился послать Вам еще 3 сборника брошюр. Рекомендую:

1. Статью Пазухина о сословиях и особенно о дворянстве, и советую сравнить эту ясность, деловитость, простоту с воплями и туманными фразами Ник. Петр. Аксакова [44] (в „Русском деле" и „Благовесте"), с неопределенностью взглядов на дворянство И. С. Аксакова и т. д.

Не мешает также вспомнить о моем смешении; сословные перегородки — главное ему препятствие.

2. Вл. С. Соловьева неосновательную защиту Достоевского против меня, в конце 3-х речей о Достоевском. (Замечу, что я после этой странной защиты издал 2-й том сборника моего, после нее вставил в мою статью против речей Достоевского все то место, где говорю, что „иные видят в этой речи что-то апокалипсическое" (см. т. II, стр. 307—308)*.

3. Весьма полезно будет тотчас после уверений Достоевского и Соловьева, что „небесный Иерусалим" сойдет на землю, прочесть взгляды еп⟨ископа⟩ Феофана [45] („Отступление" и т. д.). Он говорит совершенно другое, и, разумеется, под этими его рассуждениями подписались бы как покойные еп. Алексей [46] и Никанор и т. д., так и все оптинские и афонские старцы. А когда Достоевский напечатал свои надежды на земное торжество христианства в „Братьях Карамазовых", то оптинские иеромонахи, смеясь, спрашивали друг у друга: „Уже не вы ли, отец такой-то, так думаете?" Духовная же цензура наша прямо запретила

* Катков дал Достоевскому за помещение пушкинской речи в „Московских ведомостях" 600 р. по назначению самого Достоевского, но близким своим сказал: „Достоевский уверяет, что все называют его речь событием; я никакого события в ней не вижу, а 600 р.— отчего же ему не дать". (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

особое издание учения от. Зосимы, и нашей было предписано сделать то же. („Ибо,— сказано было,— это может подать повод к новой ереси".)

Вот в чем уже вовсе не прав В. Соловьев (вместе с Достоевским)— в этой явной ереси; а в стремлении к католичеству гораздо меньше вины.

4. Советую также перечесть —„О развитии (догматическом) Церкви" [47] Соловьева же. Вот где его торжество! Это, согласитесь, верх совершенства по силе, ясности и правде. Католичество отличается достаточно от православия количеством весьма резких и известных признаков, и нет нужды докапываться до какой-то особо общей сущности, ни по-славянофильски натягивать все на рационализм, ни по-стояновски лишать права православие на живое развитие.

(Может быть, не будет, а может быть, и будет; это другое дело.)

Весьма бы Вы хорошо сделали, если бы из этих 3-х брошюр и изо всего того, что пришло еще на подержание, Вы не поленились сами (или Евгению Сергеевну [48] попросите) сделать нужные выписки.

Весьма пригодится и избавит раз навсегда от новых перечитываний и разыскиваний „текстов".

И Вы долго еще не будете в силах покупать много книг, и я все не могу отдать Вам теперь, так как при всем своем желании бросить мое неутешительное писательство — нельзя еще этого сделать.

Исходите всегда мыслью из идеи развития, осложнения и смешения — и Вы редко будете ошибаться. Ибо это реальнее всего и дает мало простора пристрастиям и несбыточным мечтам. Как видите, идею эту можно с успехом и к религии приложить, не рискуя ни погрешить, ни согрешить. Ибо и религия — вещь вполне естественная. 〈...〉

Впервые опубликовано в кн.: К. Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни. М., 1912. С. 5—30.

[1] *Варя* — Варвара Пронина, горничная в доме Леонтьевых.

[2] *Волжин, Озеров, братья Нелидовы* — неустановленные лица.

[3] *...эта женщина...* — жена А. А. Александрова.

[4] „*Теократия*" — книга Вл. С. Соловьева „История и будущность теократии" (см. примеч. 15 к письму 166).

[5] „*Критика отвлеченных начал*" — философский трактат Вл. С. Соловьева, посвященный теории познания и защищенный им в качестве докторской диссертации в Петербургском университете (1880).

[6] „*Религиозные основы* жизни" — книга Вл. С. Соловьева о проблемах религиозной этики (1884).

[7] *...соединению Церквей* — Греко-православной и Римско-католической.

[8] *А. В.* — неустановленное лицо.

[9] *Ирина* (?—803) — византийская императрица, правившая государством за малолетнего сына, которого устранила от престолонаследия и ослепила. Созвала VII Вселенский Собор, восстановила иконопочитание. Впоследствии была свергнута и умерла в ссылке.

[10] Четьи-Минеи — произведения русской духовной литературы, в которых по порядку месяцев и дней излагаются жития святых православной церкви.

[11] *Иоанн Златоуст* (ок. 344—407) — отец Восточной церкви, блестящий оратор (отсюда его прозвание), архиепископ Константинопольский. Многое сделал для улучшения нравов, боролся с арианской ересью. Умер в ссылке. Причислен к лику святых.

[12] *Константин* — византийский император Константин Копроним (719—775), поддерживал ересь, отрицающую почитание икон и ряд других религиозных обычаев.

[13] *Лев XIII* (1810—1903) — папа римский (1878—1903). Выступал против новых течений в католичестве за безусловную и повсеместную папскую власть.

[14] *Александра Иосифовна* (1830—1911) — супруга вел. кн. Константина Николаевича, второго сына императора Николая I.

[15] *Николай Дмитриевич* Оболенский — князь, флигель-адъютант Александра III, управляющий кабинетом императора при Николае II.

[16] Шарль *Фурье* (1772—1837) — один из основоположников утопического социализма во Франции. В 30—40-х гг. XIX в. учение Фурье

было широко распространено в Европе и Америке, делались попытки его практического осуществления, но неудачные.

[17] Виктор *Консидеран* (1805—1893)— французский писатель, утопический социалист, глава школы фурьеристов.

[18] *К.*— неустановленное лицо.

[19] *7 таинств* — крещение, миропомазание, причащение, покаяние, священство, брак и елеосвящение.

[20] *Фотий* (820—891)— патриарх Константинопольский. Получил блестящее образование, стоял во главе церковного и национального движения греков против Рима.

[21] *Кирилл* (?—444)— архиепископ Александрийский, отец церкви. Успешно боролся с несторианской ересью, которую поддерживал император Феодосий.

[22] *Ефесский собор* — III Вселенский Собор в Ефесе (месте последних лет жизни Богоматери), состоявшийся в 428 г., на котором была осуждена несторианская ересь, признававшая Богоматерь не Богородицей, а Христородицей.

[23] *Пульхерия* (398—453)— сестра византийского императора Феодосия II, руководившая его воспитанием и правившая государством. После смерти Феодосия была провозглашена императрицей, но отказалась от престола.

[24] *Феодосий II Младший* (401—450)— византийский император.

[25] *Маркиан* (?—457)— византийский император. Возведен на престол императрицей Пульхерией, вышедшей за него замуж. Был справедливым и энергичным правителем.

[26] *Несторий* (?—430-е гг.)— ересиарх, патриарх Константинопольский. По его учению, Богородица родила не Бога, а человека. Осужден на соборе в Ефесе, низложен и умер в ссылке.

[27] *Арий* (256—336)— ересиарх, учивший, что Бог-сын не равен Богу-отцу. Осужден собором Александрийской церкви в 320 г., но арианство получило широкое распространение и существовало до VI в.

[28] *Амадей Тьерри* (1797—1873)— французский историк. Труды посвящены происхождению французского народа и национальной цивилизации, а также Римской и Византийской империи.

[29] *Евтихий* — греческий ересиарх V в., основатель ереси монофизитов, то есть еретиков, признававших в Христе одно божеское естество.

[30] *Иоанн* — патриарх Антиохии (V в.), глава партии монофизитов.

[31] *Авраам* (евр. „отец народов“)— по библейскому сказанию, родоначальник израильтян и арабов.

[32] *Исаак* — ветхозаветный патриарх, сын Авраама.

[33] *Иаков* — ветхозаветный патриарх, сын Исаака.

[34] *1-й Никейский собор* — Вселенский Собор в г. Никее (325 г.) против арианской ереси.

[35] *Павел Препростый* (?—341)— считается первым христианским монахом. Во время гонений бежал в Фиваидскую пустыню в Египте, где прожил 91 год.

[36] Св. Спиридон (?—348)— епископ Тримифунтский. Присутствовал на I Вселенском Соборе в Никее, где отстаивал православие против арианской ереси.

[37] *Амвросий Харьковский* (Алексей Иосифович Ключарев 1821—1901)— считался красноречивым проповедником-обличителем. Основал журналы „Душеспасительное чтение“ и „Вера и разум“. Сотрудничал в „Московских ведомостях“.

[38] *Никанор* — архиепископ Херсонский и Одесский (см. примеч. 2 к письму 218).

[39] *...создание Шамордина* — то есть Шамординского женского монастыря неподалеку от Оптиной Пустыни.

[40] *Пимен* — монах Оптиной Пустыни, с которым встречался Л. Н. Толстой. „Только старец Пимен, как и в первый раз, тронул Льва Николаевича своею простотою и наивностью: он был действительно человеком не от мира сего“ (Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. Т. 1—2. М., П. Т. 2. 1923. С. 184).

[41] *„Русь“* — газета, основанная И. С. Аксаковым и являвшаяся по преимуществу его личным органом. Выходила в 1880—1886 гг.

[42] *И. Колышко* (ок. 1880—?)— офицер, литератор (псевдоним Райский), автор книги „Маленькие мысли“ (1898—1899). Других сведений о нем не найдено.

[43] *Исаак Сирин* (то есть сириянин)— христианский аскет VIII в. Оставил много сочинений. Причислен к лику святых.

[44] Николай Петрович *Аксаков* (1853—1909)— поэт и публицист славянофильского направления.

[45] *Феофан* (Георгий Васильевич Говоров, 1815—1894) — ректор Петербургской Духовной академии, епископ Владимирский и Суздальский, духовный писатель.

[46] *Алексий* (Александр Федорович Лавров-Платонов, 1830—1890) — архиепископ Литовский. Резко выступал против реформы церковного суда.

[47] *„О развитии (догматическом) Церкви“ Соловьева* — книга Вл. С. Соловьева „Догматическое развитие церкви в связи с вопросом о соединении церквей“ (1886).

[48] *Евгения Сергеевна* — жена И. И. Фуделя.

231. О. ТИМОФЕЮ

10 февраля 1891 г., Оптина Пустынь

Прошу Вас, Отец Тимофей, простить мне мою вчерашнюю вспыльчивость. Зная свой характер, я пытался не раз прекратить этот спор, но впал в искушение и не мог воздержаться. Виноват и горько каюсь, но и Вас впредь прошу быть поосторожнее с моей гордостью и гневливостью. „Друг друга тяготы несите!“

Грешный *К. Леонтьев.*

Публикуется по автографу (ГЛМ).

О. Тимофей — по всей вероятности, монах Оптиной Пустыни.

232. И. И. ФУДЕЛЮ

19 марта 1891 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Получил вчера телеграмму от Владимира Соловьева: он не хочет ввязываться в наш спор с Астафьевым, рукопись возвратит и письмо с объяснениями пришлет. Я очень рад. Я так недоволен его гнусным и все более

и более тесным союзом с прогрессом, что страдал от мысли некоторым образом обязаться ему. Теперь у меня руки на всякий случай развязаны, и я, конечно, не пощажу его, когда придется кстати; не за Рим, не за „развитие“, конечно! А за хамство... ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ЦГАЛИ).

233. К. А. ГУБАСТОВУ

25 марта 1891 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Если бы я верил, что статьи мои действительно влиятельны и полезны для России, то я подумал бы, что сам Господь, зная мое теперешнее нежелание заниматься текущею публицистикой, не дает мне распутаться, чтобы я поневоле писал. Но я не верю в их серьезную пользу: для одних это остроумные парадоксы и больше ничего, для других — старческое безумие и упрямство, для ученых — легко и недоказательно, для мало ученых — слишком мудрено и слишком учено (и это я слыхал — вообразите!), для большинства — просто неизвестно, или по предубеждению против охранительных органов, в которых я печатаю и которые это большинство и не раскрывает, или прямо по недостатку славы или хоть большой известности (ведь и то сказать — все читать не нужно, вредно и глупо даже, а большая известность поневоле рекомендует человека даже и тем, которые с ненавистью его прочтут).

Ну, что ж за охота на разные лады повторять теперь, в сущности, все то же и то же; все это, что я теперь пишу, внимательный найдет уже в моих 2-х томах („Восток, Россия и славянство“), а невнимательному что ни толкуй — с него все как с гуся вода. Я там если не все одинаково развил, то все, по крайней мере, наметил. Пусть новые люди прочитывают и развивают дальше то, что им

кажется истиной. Если приедете, я расскажу Вам по этому поводу много интересного про Москву и Петербург.

Мыслей у меня много, и они мне кажутся ясными; но то, что для самого себя кажется ясным, для других надо излагать гораздо последовательнее и яснее. И это уж труд, а не удовольствие. И когда я решаюсь теперь (при глубокой усталости моей) к этому труду себя понудить, то мне никогда не рисуется впереди настоящий успех или влияние на дела, а построчная и полистная плата („говнорар“, как принято нынче теперь это называть). Пенсия моя совершенно достаточна для этой спокойной и однообразной жизни, которою мы здесь живем, но банк требует своих процентов и „погашений“; Марья Владимировна решительно удалилась в Орловский монастырь, и отец Амвросий требует, чтобы я выдавал ей по крайней мере 20 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩ в месяц. Вот уже 240 в год, да банк возьмет около того же. Да и старые долги хоть постепенно, да платить очень хочется. И не только пишешь, но и печатаешь. Не спорю, бывают иногда и от литературы минуты утешения; так, например, недавно умер Алек⟨сей⟩ Дмитр⟨иевич⟩ Пазухин, который вместе с графом Дм⟨итрием⟩ Андр⟨еевичем⟩ Толстым трудился над восстановлением дворянства нашего, и они вместе положили основание той сословной (антиэгалитарной) внутренней политики, которая составляет, видимо, одну из главных задач нынешнего царствования. (Государь, как слышно, за нее сам неуклонно держится.) Пазухин умер 46 всего лет от нарыва (в голове); я написал для „Гражданина“ статью „Над могилой Пазухина“. Она просто сорвалась у меня почти неожиданно. И вот я получаю от Филиппова письмо с похвалами и чуть не с благодарностью за нее, а также и от самого редактора князя Мещерского. Филиппов сообщает сверх того, что министр внутренних дел обратит на нее особое внимание государя как на статью, имеющую государственное значение. Конечно, внимание одного государя в России дороже, чем похвалы 5 000 читателей. Но так как

в статье этой никаких проектов для дальнейших мероприятий не предлагалось, а только одобрялся общий дух реакционной внутренней политики 80-х годов, одобрялись меры, уже принятые (без меня, так сказать, без моего совета и участия), и общий дух этот поставлен был мною в связи с высшими религиозными вопросами (демократия, конец мира и т. д.), то все-таки я не мог почувствовать той живой радости, которую чувствует убежденный гражданин, когда высшие власти принимают к сведению его проекты для дальнейших мер и располагаются к осуществлению его планов и надежд. Очень рад, слава Богу!— воскликнул я, получив письмо Филиппова. Но на другой же день я впал в какую-то тоску совершенно личного характера и говорил себе: „до 81-го года я был никому не нужен (как публицист), потому что никто и слушать меня не хотел, а теперь я не нужен потому, что Россия и без моих книг и статей сама хорошо идет. Толстой (М⟨инистерство⟩ Вн⟨утренних⟩ Д⟨ел⟩) и Пазухин моего сборника до 87 года, вероятно, в глаза не видали, а дошли сами до таких практических мер (на почве моих же „основ“), о которых думать мне-то и в голову не приходило! (Земские начальники из дворян, губернаторы большею частию из предводителей, численное преобладание гласных из дворян в земстве, Дворянский банк, проекты о неотчуждаемых дворянских участках, о которых (помните?) я дерзал ни к селу ни к городу иногда писать еще в 80-м году у доброго нашего князя Н. Н. Голицына, и т. д.). За Россию я радуюсь, и сильно радуюсь, но именно потому, что есть основания радоваться, не естественно ли тому, кому за себя-то (в литературе) радоваться нечему, мечтать о возможности воскликнуть: „Ныне отпущаеши, Владыко, раба твоего с миром“... Однако этой возможности нет и нет! И я умру, должно быть, увы, с пером в руке. Да будет воля Господня! Если смотреть на это как на своего рода крест, возложенный свыше на самолюбие мое, то, разумеется, это другое дело. Я так и смотрю. Но согласитесь, что с точки зрения

литературной собственно вовсе не ободрительно и не весело. Я могу смотреть на мое теперь писательство только как на трудный долг христианский для моего личного смирения и очищения (уплата старых долгов, помощь нуждающимся, утешение близких, т. е. через деньги за труд), а уж, конечно, не как на ободряющий долг гражданский. Это было бы глупо и смешно. И я уверен, что при Вашей опытности, „себе-на-умизме“ и тонкости Вы совершенно ясно поймете меня и согласитесь со мной. ⟨...⟩

В домашней моей жизни пока, слава Богу, нет особых перемен. Лизавета Павловна все та же. Ни то ни се — не совсем помешанная, но и не в разуме; все так же часто на всех сердится, жалуется на здешнюю скуку и просится в Крым, а я все так же в этом ей отказываю, не только по неимению лишних денег, но и потому, что ее невозможно одну так далеко пустить. Варя беременна пятый уже раз; двое детей у нее умерло, двое растут — это будет пятый. Ей уже 26-й год; она стала очень ровна характером, хозяйничает, и мне она великая поддержка, даже и как истинный друг, и умный собеседник. Боюсь только, не готовит ли Бог нам с ней нежданного прежде и негаданного испытания. Александр наш совсем испортился! Этот еще недавно столь примерный юноша вот уже второй год дурачится донельзя. Пьет и дела не делает. Прошлым августом (1890 г.) он поступил по моей рекомендации в урядники, жалованья 35 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩, я дал ему лошадь и револьвер; прекрасно. Жена и дети на моем попечении. Только бы служить. Он сначала и взялся; как самого видного из урядников и лихого, ловкого наездника его сейчас же назначили встречать губернатора, и он так все хорошо делал, что предводитель и мне, и ему самому выразил восхищение свое. А теперь у него по месяцам лежат бумаги от станового на столе, а он пьет и пропадает с какими-то мерзавцами! Его не прогоняют только через меня, и на днях становой (большой почитатель моих книг) приезжал ко мне опять на него жаловаться. Я сказал: я ничего уже не

могу сделать с человеком, который сам плачет, сам кается, сам говорит: „Не знаю, куда моя прежняя твердость делась?! Я не могу не пить и не болтаться". Становой сам его жалеет, ибо собственно „худого" за ним ничего нет, и решился еще подождать и урезонивать его. А я даже скоро 1/2 года, что почти и не вижу его, не желаю: больно и бесполезно. Святками приезжал нарочно из-под Москвы отец его — мужик честный, очень умный и суровый; мы вдвоем усовещевали его — плачет; посылали к отцу Амвросию — и у него плачет. И опять за то же. Может быть, с годами произойдет перемена, это бывает. Но пока мы с Варварой боимся, что нам предстоит скорая разлука. Если его выгоняют в отставку, здесь подходящего ему дела нет, придется вернуться к отцу, под Москву,— при родителях, которые его очень любят, авось образумится. Для него это урок полезный: с 35 р⟨ублей⟩ сер⟨ебром⟩ на всем готовом на бесплатную работу батраком у отца. Я тоже надеюсь на Бога; если он потребует жену и детей, то Господь в какой-нибудь просторной келье меня устроит. (С одною Лизаветой Павловной и с новыми, чужими сердцу, неизвестными слугами в большом семейном доме оставаться было бы нестерпимо.) Лизавету Павловну тоже, с Божией помощью, куда-нибудь сбудем; ей везде скучно и везде весело, смотря по минуте.

Но мне больно и страшно за бедную Варю. Привыкла к простору, к покою, к обеспеченности, старуха-мать ходит за ее детьми, старец, которому она безусловно верит, близко, моя ласка и дружба что-нибудь да значит. И хотя ее в семье мужа любят и уважают, но изба тесная, семья многолюдная, и она стала болезненна, нервна, утомилась родами. И меня оставить жаль, и Оптину, и старца, и старуху-труженицу мать придется на старости бросить и вернуть на прокорм на родину к другим сестрам, которые очень бедны и от нас рады получить помощь.

Да, голубчик мой, Константин Аркадьевич, ничто не прочно, даже и при доброй воле заинтересованных в этой

прочности „сторон“! И вижу, вижу, что 1891 год мне даром не пройдет: или смерть, или какая-нибудь другая крутая перемена в жизни. Эти цифры у меня роковые: 1850 и 1851— первое и жестокое расстройство здоровья (В 20 и 21 год*), атеизм, горести в семье, первая болезненная и тяжелая любовь, первое знакомство с Тургеневым и первое решение быть писателем; 1860—1861— решение бросить практическую медицину, женитьба, нужда, жестокие скорби на писательском пути и первая мысль ехать на Восток консулом. Успокоилось все в 1863 году. 1870 и 1871— расстройство с Лизой и Марьей Владимировной. Искание утешения в вере, Афон и т. д. 1880—1881— первое убеждение, что Кудиново не спасти одними катковскими деньгами (продано в 1882 году), „Варшавский дневник“ (со всеми его последствиями), возвращение Лизаветы Павловны из Крыма в совершенно ненормальном виде, цензорство, цареубийство со всеми его косвенными последствиями. Теперь в 1890—1891 году Александр начал пить и бросать дело... Посмотрим!.. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение“. 1897. Июль. С. 422—430.

234. В. В. РОЗАНОВУ

13 апреля 1891 г., Оптина Пустынь

(Христос Воскресе!)

Читаю Ваши статьи постоянно. Чрезвычайно ценю Ваши смелые и оригинальные укоры Гоголю [1]: это великое начинание. Он был очень вреден, хотя и непреднамеренно.

Но усердно молю Бога, чтобы Вы поскорее переросли

---

* Поправился в 24—25. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

Достоевского с его „гармониями“, которых никогда не будет, да и не нужно.

Его монашество — сочиненное. И учение от. Зосимы [2] — ложное, и весь стиль его бесед фальшивый.

Помоги Вам Господь милосердный поскорее вникнуть в дух реально существующего монашества и проникнуться им.

Христианство личное есть, прежде всего, трансцендентный (не земной, загробный) эгоизм. Альтруизм же сам собою „приложится“. „Страх Божий“ (за себя, за свою вечность) есть начало премудрости религиозной.

К. Леонтьев.

Впервые опубликовано в журнале: „Русский вестник“. 1903. Апрель. С. 643—644.

Василий Васильевич Розанов (1856—1919) — писатель, критик, публицист, философ. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Преподавал в провинциальных гимназиях. По рекомендации К. Н. Леонтьева поступил на службу в Государственный контроль. С 1898 г. — сотрудник газеты „Новое время“. Много писал по религиозным вопросам, неоднократно менял свои взгляды на противоположные. Под конец жизни перешел к жанру парадоксально-афористических сборников с внутренне противоречивым содержанием. Умер в Сергиевом Посаде, похоронен рядом с К. Н. Леонтьевым. Сам Розанов писал о своих отношениях с Леонтьевым: „К. Н. Леонтьева я знал всего лишь неполный год, последний, предсмертный его. Но отношения между нами, поддерживавшиеся только через переписку, сразу поднялись таким высоким пламенем, что и не успевши свидеться, мы с ним сделались горячими, вполне доверчивыми друзьями“ (Русский вестник. 1903. Апрель. С. 633). Розанов много сделал для пропаганды идей К. Н. Леонтьева, этому посвящены его статьи: „Европейская культура и наше к ней отношение“ („Московские ведомости“. 1891. 16 августа); „Поздние фазы славянофильства“ („Новое время“. 1895. 14 февраля); „Неузнанный феномен“ (Русский вестник“. 1903. Апрель). Письма Розанова к К. Н. Леонтьеву опубликованы в кн.: Розанов В. В. Соч. М., 1990. С. 466—488.

[1] *...укоры Гоголю...* — в первых главах напечатанной в тот же год „Легенды о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского". «„Укоры" эти действительно у меня были; были прямы и резки и подняли в критике тех дней бурю против меня. Гоголь был священен, и, как видно, для толпы „безукорен"». (Примеч. В. В. Розанова.)

[2] *От. Зосима* — персонаж романа Ф. М. Достоевского „Братья Карамазовы", прототипом которого в литературоведении считается от. Амвросий Оптинский. Настоящее свидетельство К. Н. Леонтьева, близко знавшего о. Амвросия, опровергает эту версию.

235. В. В. РОЗАНОВУ

8 мая 1891 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ О „пороках русских" напишу я Вам в другой раз... Коротко и ясно замечу только, что пороки эти очень большие и требуют большей, чем у других народов, власти церковной и политической. То есть наибольшей меры легализованного внешнего насилия и внутреннего действия страха согрешить. А куда нам „любовь"! Народ же, выносящий и страх Божий, и насилие, есть народ будущего ввиду общего безначалия... Ясно? Если не ясно, еще потом объясню. ⟨...⟩

Если женатый и если задумаете в Оптину приехать, то не берите с собой на 1-й раз супругу Вашу, какая бы она прекрасная женщина ни была. Знаю по прежнему опыту, как полезно в хорошем монастыре пожить неделю, месяц одному и как отвлекают именно близкие люди, приехавшие с нами, наше внимание от тех впечатлений и дум, которых влияние так дорого. Позднее — другое дело.

Хотя в статье Вашей о „Великом Инквизиторе" многое множество прекрасного и верного, и сама по себе „Легенда" есть прекрасная фантазия, но все-таки и оттенки самого Достоевского в его взглядах на католицизм и вообще на христианство ошибочны, ложны и туманны; да и Вам дай

Бог от его нездорового и подавляющего влияния поскорей освободиться! [1]

Слишком сложно, туманно и к жизни неприложимо.

В Оптиной „Братьев Карамазовых“ правильным православным сочинением не признают, и старец Зосима ничуть ни учением, ни характером на отца Амвросия не похож. Достоевский описал только его наружность, но говорить его заставил совершенно не то, что он говорит, и не в том стиле, в каком Амвросий выражается. У от. Амвросия прежде всего строго церковная мистика и уже потом — прикладная мораль. У от. Зосимы (устами которого говорит сам Федор Михайлович!) прежде всего мораль, „любовь“, „любовь“ и т. д., ну, и мистика очень слаба.

Не верьте ему, когда он хвалится, что знает монашество; он знает хорошо только свою проповедь любви — и больше ничего.

Он в Оптиной пробыл дня два-три всего!..

„Любовь“ же (или, проще и яснее, доброту, милосердие, справедливость) надо проповедовать, ибо ее мало у людей и она легко гаснет у них, но не должно пророчить ее воцарение на земле. Это психологически, реально невозможно и теологически непозволительно, ибо давно осуждено Церковью как своего рода ересь (хилиазм, т. е. 1000-летнее царство Христа на земле перед концом света). Смотри „Богословие“ Макария [2], т. V, стр. 225, изд. 1853 г.

Впервые опубликовано в журнале: „Русский вестник“. 1903. Апрель. С. 644—652.

[1] К. Н. Леонтьев был лично знаком с Ф. М. Достоевским: «...он при последней встрече нашей в Петербурге (в 80-м году, всего за месяц до *речи*) был особенно любезен, ибо весьма сочувствовал моим передовым статьям в „Варшавском дневнике“» („Русский вестник“. 1903. Май. С. 175).

[2] *Макарий* (Михаил Петрович Булгаков, 1816—1882)— богослов и церковный историк. Член Академии наук и почти всех исторических

и археологических обществ. Ректор Петербургской Духовной академии. Автор классического труда „Богословие догматическое" (1849). Его тринадцатитомная „История русской церкви" по своему значению аналогична „Истории России" С. М. Соловьева. Макарий занимал епископские кафедры в Тамбове, Харькове и Вильне.

236. К. А. ГУБАСТОВУ

14 мая 1891 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Тотчас после 15-го августа я по благословению старца и прямо по совету его вынужден покинуть Оптину и переселиться навсегда на Троице-Сергиевский посад... Неприятностей, слава Богу, с людьми никаких не случилось, все мирно и прекрасно, но вышла такая совокупность внутренних моих условий, при которых от. Амвросий находит более правильным жить у Троицы — и больше ничего. Покидаю старца, прекрасную усадьбу мою и оптинских монахов, с которыми так свыкся, с сожалением, конечно, но бодро, ибо верю, что Богу, по Его милостивому (ко мне, грешному,) смотрению, так угодно. Троица — после Оптиной единственное место в России, где мне теперь не противно жить... Городок вроде уездного, монахи и хороший воздух, и тут и там есть друзья. Главные черты сходны. Там подороже через кой-что, но не слишком, но зато я намерен уже окончательно (все, конечно, не без ведома старца) разделиться с женой и Варей, жить особо и их держать особо. А это значительно уменьшает некоторые расходы (как уже показал опыт) и суживает весьма благотворно для духа круг моих забот. (Ибо Варя, как ни мила характером, но в хозяйстве заменить Марью Владимировну не может; та действительно заставляла меня забывать, что есть такая вещь на свете, которая называется „хозяйством", я верил в сердце, что она не меньше моего все, что нужно для порядка и для моего спокойствия, заметит и вспомнит,

а бедная Варя не в силах до этого дойти, она может только денежное дело и „харчи“ в порядке держать.) А то, как Вы знаете, хозяйственное спокойствие или, вернее, беззаботность эта при Марье Владимировне покупалась с нравственной стороны такой дорогой ценой, что не только убежденному, но и никакому порядочному и не совсем уже бесхарактерному человеку нельзя было жертвовать до такой степени миром души и морально — чему-то второстепенному — порядку в доме. Лучше уж было, конечно, на себя взять это, чем нести духовное бремя почти ежедневного греха злобы и с той, и с другой стороны. Впрочем, все это не к делу. Это я увлекся некстати в сторону. Неосторожность! Ибо я тогда только могу вполне спокойно относиться к воспоминаниям об этой несчастной женщине, когда забываю о ней. Иначе... Что делать... Homo sum!* Не спешите строго судить. Ошибетесь! 〈...〉

Насчет свидания Вашего с Марьей Владимировной скажу вот что. Она в Оптиной бывает и проживает иногда по 2—3 недели на гостинице. За все четыре года моей здесь жизни раза 3 не то два она с разрешения моего была и в доме моем. Она вот уже год, кажется, как живет при Орловском женском монастыре (в ближайшем не хочет). В переписке настоящей я с ней не состою, но каждый месяц посылаю ей 20 р〈ублей〉 с〈еребром〉 (больше по приказанию старца, чем по собственной охоте) и больше ничего. Насчет Вашего желания встретиться с ней я могу ее известить, и невозможного тут нет ничего; она, как слышно, скоро уезжает из Орла гостить к кому-то из знакомых до окончания каникул, так как она учит девочек в монастырском приюте. Вот в июле и она будет свободна, а после Успеньего дня, вероятно, нет.

Впрочем, на дорогу ей для свидания с Вами целых 40—50-ти рублей (или даже и меньше) не только не могу, да уж простите, и не желаю жертвовать. К отъезду с таким

* Человек есмь! (*лат.*).

переворотом мне каждый рубль будет дорог, и вдруг я пожертвую хотя бы и 25 ⟨рублей⟩ на что же? На то, чтобы Вы виделись с женщиной, которая, вероятно, не то будет говорить Вам, что я говорю! Ведь ей, в случае Ваших намеков или вопросов о нашем разрыве, придется что-нибудь одно из трех: или просить Вас оставить это и отделаться общими местами, или, рыдая, каяться и сознаваться, что она довела меня до крайностей неустанной злостью, ежедневным, ежечасным почти излиянием тончайшего яда (даже часто бессознательным — заметьте, это еще сильнее, до чего, значит, глубоко была пропитана озлоблением и ревностью ко мне, что сама, видимо, не чувствовала, что она мне преспокойно говорит!). Едва ли она станет это делать, а если не захочет ни каяться, ни уклоняться, то ей останется третье — лгать, себя даже обманывать, обвиняя меня. Что она, впрочем, и делала, как до меня дошло.

Я же достаточно в жизни нагрешил специфически, так сказать, свойственными мне грехами, чтобы еще брать на себя несвойственные мне пороки: ревность, сварливость, бестолковое бешенство, а позднее и постоянное излияние холодного яда.

Должно по-христиански считать себя во всем грешным духовно, ибо зародыши всякой „скверны" есть во всех; но христианство не было бы столь праведным учением, каково оно есть, если бы оно требовало, чтобы ограбленный считал себя столько же (в данном случае) не правым, сколько не прав грабитель, смертельно раненый столько, сколько убийца, от которого он пострадал, и т. д. Я согрешил чем-то другим перед Богом, ясным для меня или неясным — все равно, и праведный Бог наказал меня за это косвенно неправедною рукой другого грешного человека! Вот правило „смирения", а не взводить на себя небывалых дел; не я ссорился, не я ревновал, а она... Баста! Сам старец за многое корил меня строго, но в этих делах был всегда на моей стороне, а говорил только: „Вам жить вместе нельзя больше, вы оба слишком много друг от друга требуете,

она — чтобы вы любили ее так, как она хочет, и ревнует ко всем, а Вы требуете, чтобы она переменилась вовсе и все надеетесь на ее большой ум, а сердце ее не берете в расчет". Что правда, то правда! Это и не старец скажи, так я согласился бы, что верно. Я от нее требовал невозможного — нормальных и простых дружеских отношений... Для нее и ко мне — невозможно! ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русское обозрение". 1897. Июль. С. 430—432.

237. В. В. РОЗАНОВУ

24—27 мая 1891 г., Оптина Пустынь

Очень рад, Василий Васильевич, что мой неудачный черный портрет удовлетворил Вас — только поверьте, „черт не так страшен, как его рисуют!"... Я вовсе (увы!) не „мрачен" на деле. Очень желал бы быть природно, естественно мрачнее, это выгодно в жизни; к несчастию, я лично не только весел, но даже и очень легкомыслен. А если в сочинениях моих много мрачного, то это уж не мой личный характер, а правда жизни самой, на которую ранние занятия анатомией, медициной, зоологией, ботаникой и т. д. приучили меня смотреть объективно, т. е. по возможности независимо от моего личного характера и личных обстоятельств. Так мне кажется, а впрочем, себя судить трудно, и я могу ошибаться в понимании источников такой комбинации: сам веселый и даже нередко легкомысленный, по воззрениям пессимист (впрочем, „оптимистический", т. е. „слава Богу, что не хуже", „страдания полезны" и т. д.). В понимании источников могу ошибаться, но самый факт сочетания этого верен.

Так себя и рекомендую на случай личного знакомства.

Дальше и я буду отвечать Вам по пунктам.

1) Вы женитесь! Дай Господь мир и любовь. Не знаю, какова Ваша невеста, но, расположившись к Вам за Ваше ко мне заочное и неожиданное сочувствие (Вы догадываетесь, конечно, что я этим не избалован, как Толстой и Достоевский) и замечая и по статьям Вашим и по письмам, что Вы человек, глубоко все чувствующий, молю Бога, чтобы Он подкрепил Вас на этом столь скользком пути в наше время! Главное для меня, самое главное, чтобы Вы прежде невесты успели поставить ногу на венчальный коврик! Вы, конечно, знаете, что это значит?

Один 40-летний супруг, жену свою любивший неизменно и нежно в течение 20 лет и вполне ею довольный, говаривал мне, однако, не раз: „Муж должен быть главою, но пусть хорошая жена вертит им так, как шея вертит голову. Кажется, будто голова сама вертится, а вертит ею шея; не надо, чтобы жена видимо командовала, это скверно". И я совершенно с ним согласен.

Мы давно уже привыкли к улыбочкам и шуточкам при чтении свадебного апостола, когда диакон возгласит: „А жена да боится мужа своего!" А шуточного или „несовременного" тут нет ничего. Хорошая жена должна хоть вид подчинения показывать, если у нее и нет настоящей боязни. Разумеется, и у апостола Павла тут дело идет не о том, чтобы у всякой жены ноги подкашивались от страха при взгляде на мужа, но о духовном страхе, о страхе согрешить не только изменой, но и всякими мелкими сопротивлениями и словесными оскорблениями, на которые так падко большинство женщин. (Особенно они стали падки до этого в XIX веке, с тех пор, как их стали, к сожалению, реже за это бить!) Мужчина мужчины боится (всякий, хоть до известной степени): у мужчин слова не шутка, во всех классах общества пощечина, кулак, топор, поединок — все это помнится очень хорошо. Но нынешние женщины привыкли безнаказанно говорить мужьям, любовникам, братьям, знакомым, даже отцам или воспитателям такие вещи, за которые телесное наказание весьма еще слабое возмездие.

Ибо боль от телесного наказания скоро проходит, а боль от некоторых слов бывает так глубока, что десятки лет дает себя при случае опять чувствовать. Я не верю даже, чтобы самый искренний христианин мог вполне забыть эти обиды; он может простить (и то после долгих молитв и размышлений духовного рода, иначе он пустой человек), может не мстить, даже с радостью заплатить добром, но боль и негодование при случайном воспоминании останутся навсегда! Дай, Господи, чтобы Ваша будущая супруга была в этом отношении одной из тех исключительных женщин, которых и мне посчастливилось изредка встречать. Встречал, но мало, а больше несносны! Трудная вещь брак! Труднее монашества, уже потому, что монашество прямо имеет в виду тернии, а на этих терниях все-таки расцветают хоть и не розы, ну, а мелкие и весьма иногда милые и душистые цветы неожиданных утешений; брак же с привлекательной девушкой, разумеется, в первое время похож на венок из роз и жасминов, но тем ужаснее колют шипы его!

Смолоду я сам был пламенный защитник женщин, но к 1/2 жизни я жестоко разочаровался в них и перешел на сторону мужчин. Недавно мне случилось присутствовать при беседе одной дамы с молодой, но очень умной служанкой, весьма при этом доброй и религиозной. Дама начала бранить мужчин, а молодая служанка (сама замужняя) возразила ей на это: „Однако, правду сказать, и у нашей сестры много подлости есть!“ Я ее чуть не обнял за это!

Конечно, все, что я пишу — не совсем „свадебно“ и празднично, и я прошу Вас простить мне этот cri de l'âme*. Насмотрелся, особенно в России (на Востоке женщины посдержаннее), и не скажу — теперь, а даже с ранних лет!

Прошу Вас, какова бы ни была Ваша невеста — станьте первый на коврик... Если она кроткая, ей это понравится, если вспыльчивая, тем нужнее это. У меня прошлого года была напечатана в „Гражданине“ статья „Добрые вести“,

---

* Крик души (*фр.*).

в 4-х главах, о современном весьма сильном религиозном движении в среде русской образованной молодежи (идут в священники, в монахи, ездят к старцам, советуются с духовниками, решаются даже поститься; Достоевским, слава Богу, уже не удовлетворяются, а хотят настоящего православия, „мрачно-веселого“, так сказать, сложного для ума, глубокого и простого для сердца и т. д.). Трех первых глав у меня нет, а есть одна IV; в ней говорится о религиозности женщин, о семье, о монастырях, которые посещать нужно, и т. д. Позвольте мне предложить эту главу невесте Вашей как свадебный подарок. Кто знает, может и пригодится. А пока пришлите мне, пожалуйста, и Вашу фотографию, и фотографию невесты. Хочется вообразить, и никак не могу.

Теперь —2) Вы пишете, что подозреваете и Страхова, и Соловьева в „зависти“. Избави Боже Вас это думать, особенно про Влад⟨имира⟩ Соловьева. В Соловьева как в человека я влюблен (хотя ужасно недоволен им за его наверно лживый переход на сторону прогрессистов и Европы). И он — я имею этому доказательства — меня очень любит лично; у нас были особого рода условия для личного сближения, между прочим, мое короткое знакомство с человеком, к которому он давно привязан. Я не могу сверх того вообразить даже, чтобы человек, который во всех отношениях выше меня, стал бы мне завидовать! В чем же? Помилуйте! Не в успехе ли?! Я, конечно, с другой стороны, не могу не считать себя правее его в моих воззрениях на веру, жизнь России и т. д. Иначе зачем бы я писал (не видя, вдобавок, даже и тени справедливости к себе со стороны серьезной критики)? Но ведь правильность и правда взгляда не значит еще превосходство таланта и познаний? Эти последние на его стороне, бесспорно. Чему же завидовать! Дарований и знания у меня меньше (разве он этого не знает?), годов гораздо больше, т. е. силы и охоты к борьбе гораздо меньше, а успеха, популярности, даже простой известности — очень мало. А не писал он обо

мне (т. е. он не раз и с большой похвалой упоминал обо мне, но всегда мимоходом, а не специально) по двум главным причинам: во-первых, по разным случайностям (fatum!)*, вроде хоть Вашей же (начали статью и бросили), женитьба, экзамены и т. д. Разве не fatum? А во-вторых, именно потому сам признавался, что мягко писать против большинства моих идей ему трудно; начал прошлого года специальную статью, но бросил, побоялся оскорбить человека, резко разбирая писателя. 〈...〉

4) Вы желаете, чтобы я Вам побольше написал о Страхове. Простите, не хочется! Я всегда имел к нему какое-то „физиологическое" отвращение, и очень может быть, что и у него ко мне такое же чувство. Но разница в том, что я всегда старался быть к нему справедливым (т. е. к сочинениям его) и пользовался всяким поводом, чтобы помянуть его добром в печати: советовал молодым людям читать его, дарил им даже его книги, а он ото всего подобного по отношению ко мне всегда уклонялся, и примеров этой его недобросовестности я могу при свидании (о котором мечтаю!) рассказать Вам много. Но и в нем зависти собственно ничуть не подозреваю. Хотя его-то, с его тягучестью и неясностью идеалов, я уже никак не намерен считать выше себя (подобно тому, т. е., как считаю Владимира Соловьева, несмотря на его заблуждения и прогрессивное иезуитство), ибо доказателен ли я или нет, не знаю, но знаю, что всякий умный человек поймет, чего я хочу, а из Страхова никто ничего положительного не извлечет, у него все только тонкая и верная критика да разные „уклонения", „умалчивания", „нерешительность" и „притворство". Но ведь из того, что я считаю его по всем пунктам (за исключением двух: систематической учености и умения философски излагать) ниже себя, не следует, что и он в этом со мной согласен. Я думаю, наоборот, он себя считает гораздо выше, иначе он писал бы обо мне давно.

---

* Судьба (*лат.*).

У него есть три кумира: Аполл⟨он⟩ Григорьев, Данилевский и Лев Толстой. Об них он писал давно, много и настойчиво, о двух первых даже он один, и писал постоянно и весьма мужественно. И даже нельзя сказать, что он критиковал их: он только излагал и прославлял их. Их он считает выше себя и честно исполняет против них свой литературный долг. И в этом он может даже служить примером другим. Владимир Соловьев правду говорит, что характер его очень непонятный и сложный: и добросовестен, и фальшив и т. д. ⟨...⟩

Вл⟨адимир⟩ Соловьев о Достоевском в частном письме.

Лет 6 тому назад Соловьев, почти тотчас же вслед за произнесением где-то трех речей в пользу Достоевского (где, между прочим, он возражал и мне на мою критику пушкинской речи Достоевского и утверждал, что христианство Достоевского было настоящее святоотеческое), написал мне письмо, в котором есть следующее, весьма злое, место о том же самом Федоре Михайловиче: „Достоевский горячо верил в существование религии и нередко рассматривал ее в подзорную трубу как отдаленный предмет, но стать на действительно религиозную почву никогда не умел".

По-моему, это злая и печальная правда!

Ведь я, признаюсь, хотя и не совсем на стороне „Инквизитора", но уж, конечно, и не на стороне того безжизненно-всепрощающего Христа, которого сочинил сам Достоевский. И то и другое — крайность. А евангельская и святоотеческая истина в середине. Я спрашивал у монахов, и они подтвердили мое мнение. Действительные инквизиторы в Бога и Христа веровали, конечно, посильнее самого Федора Михайловича. Иван Карамазов, устами которого Федор Михайлович хочет унизить католичество, совершенно не прав.

Инквизиторы, благодаря общей жестокости века, впадали в ужасные и бесполезные крайности, но крайности религиозного фанатизма объяснять безверием — это уж

слишком оригинальное „празднословие“. Если христианство — учение божественное, то оно должно быть в одно и то же время и в высшей степени идеально, и в высшей степени практично. Оно таково и есть в форме старого церковного учения (одинакового с этой стороны и на Востоке, и на Западе). А какая же может быть практичность с людьми (даже и хорошими) без некоторой доли страха? „Начало премудрости (духовной) есть страх Божий; плод же его любы“.

Все прибавки к вере и все „исправления“ XIX века никуда не годятся, и наши русские и тем более, ибо они даже и не самобытны; я могу привести цитаты из Ж. Занда и других французских авторов, в которых раньше Достоевского говорится о „любви“ и против суровости католичества. Старо и ошибочно. Разница между православием и католичеством велика со стороны догмата, канонических отношений, обрядности и со стороны истории развития их, но со стороны церковно-нравственного духа различия очень мало, различие главное здесь в том, что там все ясно, закончено, выработано до сухости, а у нас недосказано, недоделано, уклончиво...

Но это относится не к сущности нравственного учения, а к истории и темпераменту тех наций, которые являются носительницами того и другого течения.

3) Насчет Ваших книг [1]. За присылку их очень Вам признателен; брошюры все прочел с величайшим удовольствием, и это чтение усилило во мне еще большее желание видеть Вас. Вы уже тем подкупили меня еще и раньше, что имели неслыханную у нас смелость впервые с 40 годов заговорить неблагоприятно о Гоголе. Это большая смелость и великая заслуга. Сочинения последнего его периода, т. е. самые знаменитые, очень обманчивы и вредны; я тоже писал об этом кое-где мимоходом, но я стар, а Вы молоды. Честь и слава Вам за это! За большую книгу „О понимании“ еще не принимался. Боюсь немножко, ибо, хотя я не лишен вполне способности понимать отвлеченности, но

очень скоро устаю от той насильственной и чужой последовательности и непрерывности, в которую втягивает меня всякий философ. Большею частию по философским книгам только „порхаю“ с какой-нибудь своей затаенной „тенденцией“, ищу — и порхаю, не как бабочка, конечно (ибо это для 60-летнего старика было бы слишком „грациозно“), ну, а как какая-нибудь шершавая пчела (трутень?).

4) Что Вы нашли „благообразного“ в наружности Ник⟨олая⟩ Ник⟨олаевича⟩ Страхова? Не понимаю!

Вот наружность Соловьева — идеальна, изящна и в высшей степени оригинальна.

А Страхов? Не понимаю!

De gustibus non est disputandum!*

Впрочем, я пристрастен: у Соловьева мне и слабости, и пороки нравятся, а у Страхова я и самое хорошее признаю... конечно, признаю, но — прости мне Господи — скрепя сердце!

Когда дело идет о Соловьеве, мне надо молиться так: „Боже! Прости и охлади во мне мое пристрастие!“ А когда о Страхове, то иначе: „Боже! Прости и уменьши мое отвращение!“

И то и другое — грех; христианство — царский путь, средний! ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русский вестник“. 1903. Май. С. 155—167.

[1] *Насчет Ваших книг...* — К этому времени В. В. Розанов написал большую книгу „О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания“ (1886), а также статьи „Место христианства в истории“ („Русский вестник“. 1890. Январь) и „Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского“ (Русский вестник. 1891. Кн. 1—4).

---

* О вкусах не спорят (*лат.*).

238. В. В. РОЗАНОВУ

13 июня 1891 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Неприятно мне было только то, что Вы говорите против материальных чудес. Какое же без них христианство? Зачем до конца полагаться на нашу логику. Credo quia absurdum*. Я же прибавлю: и на других, и на самом себе видел вещественные чудеса. Если увидимся — расскажу. И зачем это все понимать? И так уж мы стали в XIX веке понимать или, вернее, знать слишком много. Дай Бог, чтобы в XX веке более глубокое понимание некоторых привело к ослаблению знания у большинства (рациональный, развивающий обскурантизм). Впрочем, насчет чудес следует Вашу терминологию употребить обратно: о чудесах полезно знать (факты), но понимать их — избави нас Боже!

Поймите, прошу Вас, разницу: русское царство, населенное православными немцами, православными поляками и даже отчасти православными евреями, при численном преобладании православных русских, и русское царство, состоявшее, сверх коренных русских, из множества обруселых протестантов, обруселых католиков, обруселых татар и евреев. Первое — созидание, второе — разрушение. А этой простой и ужасной вещи до сих пор никто ясно не понимает... Мне же, наконец, надоело быть гласом вопиющего в пустыне! И если Россия осуждена после короткой и слабой реакции вернуться на путь саморазрушения, что „сотворит" один и одинокий пророк? Лучше о своей душе побольше думать, что я с помощью Бога и старца и стараюсь делать... Моя душа без меня в ад попадет, а Россия как обходилась без моего влияния до сих пор, так и впредь обойдется. Пусть гипотеза моя есть научное открытие, и даже великое, но из этого еще не следует, что

---

* Верю, ибо несообразно (с разумом) (*лат.*).

практическая политика в XX веке пойдет сообразно этому закону моему. Общественные организмы (особенно западные), вероятно, не в силах будут вынести ни расслоения, ни глубокой мистики духовного единства, ни тех хронических жестокостей, без которых нельзя ничего из человеческого материала надолго построить. Вот разве союз социализма („грядущее рабство", по мнению либерала Спенсера) с русским самодержавием и пламенной мистикой (которой философия будет служить, как собака)— это еще возможно, но уж жутко же будет многим. И Великому Инквизитору позволительно будет, вставши из гроба, показать тогда язык Фед⟨ору⟩ Мих⟨аиловичу⟩ Достоевскому. А иначе все будет либо кисель, либо анархия...

Старо человечество, старо! Вот и я понимаю теперь, в 60 лет, чего бы я должен был избегать в 20, 30, 40 лет, чтобы не изнемогать, как теперь изнемогаю, но уже вернуть прошлого не могу!

Ну, а ряд блестящих торжеств еще будет у России бесспорно в ближайшем будущем. Да мягки мы все стали слишком и к себе, и к другим. Страх Божий утратили, а этой пресловутой, какой-то еще неслыханной „любви" все нет как нет. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русский вестник". 1903. Май. С. 168—182.

239. В. В. РОЗАНОВУ

30 июля 1891 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ В заключении хотелось бы мне поговорить с Вами о Вашей брошюре „Роль христианства в истории". Но отлагаю это по необходимости до другого раза. Ко мне вчера вечером приехал гость, и мне никак нельзя на все утро оставлять его одного.

На этот раз скажу только вот что. Нагорную ли проповедь надо при вопросе о примирении религии с наукой противополагать системе Коперника [1]? Эти примеры слишком выгодны для Вашего желания примирить их. А попробуйте сопоставить воскресение, вознесение, рождение от Девы, оставшейся Девой, и т. п. с современной физиологией, целлулярной анатомией [2], дарвинизмом и т. д. Как хотите, а значительной частью того или другого надо пожертвовать. Я для моей личной жизни давно, давно и с радостью пожертвовал наукой, и во многих смыслах, во-первых, в том смысле, что я ее уже давно сердцем перестал любить в основании, а смолоду любил, во-вторых, в том смысле, что в случаях сомнений считаю эти сомнения мои действием злого духа и отгоняю их от ума моего как грех, в-третьих, в том, что все усовершенствования новейшей техники ненавижу всей душою и бескорыстно мечтаю, что хоть лет через 25—50—75 после моей смерти истины новейшей социальной науки, сами потребности общества потребуют если не уничтожения, то строжайшего ограничения этих всех изобретений и открытий. Мирные изобретения (телефоны, железные дороги и т. д.) в 100 раз вреднее изобретений боевой техники. Последние убивают много отдельных людей, первые убивают шаг за шагом всю живую органическую жизнь на земле. Поэзию, религию, обособление государства и быта... „Древо познания“ и „Древо жизни“. Усиление движения само по себе не есть еще признак усиления жизни. Машина идет, а живое дерево стоит.

И к тому же большая разница не только между Коперником (не скажу гением, а человеком XVI века) и средней „интеллигентной“ массой XIX века, но и между этой массой и нами; мы еще с Вами сумеем как-нибудь переварить это точное с таинственным (я первое обыкновенно подчиняю второму, говоря: „быть может, ученые ошибаются“), но пока популярная наука, ходячая, не примет того пессимистического, самоотрицающего характера, о котором

мечтаю, не только студенту и даже профессору дюжинного ума, но и нынешнему волостному писарю не легко будет справиться с этим антагонизмом, и сила более ясная и грубая (вдобавок же, и модная), т. е. сила точной науки будет торжествовать над истиной и личной, т. е. богобоязненной религией (т. е. над трансцендентным эгоизмом, о котором я Вам уже писал). ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русский вестник". 1903. Июнь. С. 411—414.

[1] Николай *Коперник* (1473—1543) — польский ученый, окончательно утвердивший идею гелиоцентрической системы.

[2] *...целлулярной анатомией...* — то есть анатомией, изучающей клетки организма.

240. В. В. РОЗАНОВУ

13—14 августа 1891 г., Оптина Пустынь

⟨...⟩ Опасаюсь, что очень немногие поймут слово „эстетика" так серьезно, как мы его с Вами понимаем.

Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что в наше время большинство гораздо больше понимает эстетику в природе и в искусстве, чем эстетику в истории и вообще в жизни человеческой.

Эстетика природы и эстетика искусства (стихи, картины, романы, театр, музыка) никому не мешают и многих утешают.

Что касается до настоящей эстетики самой жизни, то она связана со столькими опасностями, тягостями и жестокостями, со столькими пороками, что нынешнее боязливое (сравнительно, конечно, с прежним), слабонервное, маловерующее, телесно само изнеженное и жалостливое (тоже сравнительно с прежним) человечество радо-радешенько видеть всякую эстетику на полотне, подмостках опер и

трагедий и на страницах романов, а в действительности — „избави Боже!“.

Мне иногда кажется, что по мере расширения круга среднего понимания природы и искусства круг эстетического понимания истории все сужается и сужается. В этом случае само христианство (по-моему, конечно, ложно понимаемое большинством, т. е. понимаемое более с утилитарно-моральной, чем с мистико-догматической стороны) часто играет в руку демократическому прогрессу. Например, в вопросах войны и мира. Истинное, церковное христианство, и западное, и наше, вовсе так войны не боится, как боится ее разжиженное утилитарно-моральное христианство XIX века. ⟨...⟩

Я считаю эстетику мерилом, наилучшим для истории и жизни, ибо оно приложимо ко всем векам и ко всем местностям. Мерило положительной религии, например, приложимо только к самому себе (для спасения индивидуальной души моей за гробом, трансцендентный эгоизм) и вообще к людям, исповедующим ту же религию. Как Вы будете, например, приступать со строго христианским мерилом к жизни современных китайцев и к жизни древних римлян?

Мерило чисто моральное тоже не годится, ибо, во-первых, придется предать проклятию большинство полководцев, царей, политиков и даже художников (большею частью художники были развратны, а многие и жестоки); останутся одни „мирные земледельцы“ да какие-нибудь кроткие и честные ученые. Даже некоторые святые, признанные христианскими церквами, не вынесут чисто этической критики. Например, св. Константин, св. Ирина, св. Кирилл Александрийский и почти все ветхозаветные святые (которым, однако, велено молиться)... Это во-первых. А во-вторых, этическое мировоззрение неизбежно и всегда колеблется между двумя разными моралями: моралью внутренней борьбы (или моралью стремления) и моралью внешнего результата (мораль осуществления). Пример 1-й морали: я рабовладелец, могу бить, могу даже изувечить

раба, но воздерживаюсь от последнего с большой победой над собою, хотя, однако, все-таки бью и бью крепко, но без членовредительства, и бью, например, за дело, за грубость, за подлость и т. д. Пример 2-й морали: не бью слугу вовсе, потому что боюсь мирового судьи.

Первая мораль, конечно, менее верна, но зато она ближе к мистической религии, и к эстетике (победа разума и сердца над гневом и зверством есть также эстетическое явление — моральная эстетика); вторая мораль гораздо вернее, но ведь это забота об одном лишь внешне моральном результате и приводит шаг за шагом к тому общеутилитарному мировоззрению, которое и есть всемирная уравнительная революция (смешение, разрушение, вторичное упрощение и т. п.). В эстетическом же мировоззрении все вместимо!.. И все религии, и всякая мораль, даже до некоторой степени и мораль внешнего результата. Например, противно было видеть, как дурного тона помещица бьет по щекам вовсе не слишком виновную служанку (мужчина и женщина — большая разница!), мировой судья тут является орудием отрицательной эстетики; та же помещица после 61 года не только не бьет, но и сама становится интересной, ибо слуги уже начинают злоупотреблять своей свободой и притеснять ее и т. п.

Все это так... Но, увы! Не только в глазах какой попало публики, но и в глазах многих весьма серьезных, весьма влиятельных, весьма высоко в государстве поставленных людей слова „художники", „эстетик", „эстетический взгляд на жизнь" роняют практическую ценность мыслей.

Им представляется все это сейчас чем-то вроде излишества, роскоши, искусства для искусства, десерта какого-то, без которого можно обойтись.

Они никак не могут понять, что только там и государственность сильна, где в жизни еще много разнородной эстетики, что эта видимая эстетика жизни есть признак внутренней, практической, другими словами — творческой силы.

Вот что я хотел сказать.

В заключении дерзну прибавить несколько „безумных“ моих афоризмов:

1) Если видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни (т. е. ее эстетика) суть признаки внутренней жизнеспособности человечества, то уменьшение их должно быть признаком устарения человечества и его близкой смерти (на земле).

2) Более или менее удачная повсеместная проповедь христианства должна неизбежно и значительно уменьшить это разнообразие (прогресс же, столь враждебный христианству по основам, сильно вторит ему в этом по внешности, отчасти и подделываясь под него).

3) Итак, и христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить эстетику жизни на земле, т. е. самую жизнь.

4) И церковь говорит: „Конец приблизится, когда Евангелие будет проповедано везде“.

5) Что же делать? Христианству мы должны помогать даже и в ущерб любимой нами эстетике из трансцендентного эгоизма, по страху загробного суда, для спасения наших собственных душ, но прогрессу мы должны, где можем, противиться, ибо он одинаково вредит и христианству, и эстетике. ⟨...⟩

В ответ на Вашу просьбу объяснить Вам, что заставило меня оставить дипломатическую карьеру, которая шла так хорошо (и даже очеь хорошо под конец, судя по отзывам кн⟨язя⟩ Горчакова и обещаниям Игнатьева), и думать о монашестве, скажу Вам следующий афоризм: „Полуоткровенность и недосказанность часто больше вредят настоящему пониманию чужой жизни, чем совершенное умалчивание“. А с полной откровенностью я об этом в письме распространяться не могу. Если Бог поможет, наконец, нам увидаться (не отчаиваюсь!), то на словах — другое дело! Постараюсь, однако, кое-как объяснить... Причин было много разом, и сердечных, и умственных, и, наконец, тех

внешних и, по-видимому (только), случайных, в которых нередко гораздо больше открывается Высшая Телеология [1], чем в ясных самому человеку его внутренних перерождениях. Думаю, впрочем, что в основе всего лежат, с одной стороны, уже и тогда, в 1870—71 году: давняя (с 1861—62 года) философская ненависть к формам и духу новейшей европейской жизни (Петербург, литературная пошлость, железные дороги, пиджаки и цилиндры, рационализм и т. п.), а с другой,— эстетическая и детская какая-то приверженность к внешним формам православия; прибавьте к этому сильный и неожиданный толчок сердечных глубочайших потрясений (слыхали Вы французскую поговорку Cherchez la femme!*, т. е. во всяком серьезном деле жизни „ищите женщину“); и, наконец, внешнюю случайность опаснейшей и неожиданной болезни (в 1871 году) и ужас умереть в ту минуту, когда только что были задуманы и не написаны еще и гипотеза триединого процесса, и „Одиссей Полихрониадес“ (лучшее, по мнению многих, художественное произведение мое), и, наконец, не были еще высказаны о „юго-славянах“ все те обличения в европеизме и безверии, которые я сам признаю решительно исторической заслугой моей (сам Катков этой опасности не понимал или не хотел на нее указать по свойственному ему оппортунизму и хитрости)... Одним словом, все главное мною сделано после 1872—73, т. е. после поездки на Афон и после страстного обращения к личному православию... Личная вера почему-то вдруг докончила в 40 лет и политическое, и художественное воспитание мое. Это и до сих пор удивляет меня и остается для меня таинственным и непонятным. Но в лето 1871 года, когда консулом в Салониках, лежа на диване в страхе неожиданной смерти (от сильнейшего приступа холеры), я смотрел на образ Божией Матери (только что привезенный мне монахом с Афона), я ничего этого предвидеть еще не мог, и все литературные планы мои

* Ищите женщину! (*фр.*).

были даже очень смутны. Я думал в ту минуту даже не о спасении души (ибо вера в Личного Бога давно далась мне гораздо легче, чем вера в мое собственное личное бессмертие); я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о телесной смерти и, будучи уже заранее подготовлен (как я уже сказал) целым рядом других психологических превращений, симпатий и отвращений, я вдруг, в одну минуту, поверил в существование и в могущество этой Божией Матери, поверил так ощутительно и твердо, как если б видел перед собою живую, знакомую, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: „Матерь Божия! Рано! Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в высшей степени развратную, утонченно грешную жизнь! Подыми меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного, верующего и в среду, и в пятницу, и в чудеса, и даже постригусь в монахи..."

Через 2 часа я был здоров, все прошло еще прежде, чем явился доктор, через три дня я был на Афоне, постригаться немедленно меня отговорили старцы, но православным я стал очень скоро под их руководством... К русской и эстетической любви моей к Церкви надо прибавить еще то, чего недоставало для исповедания даже „середы и пятницы": страха греха, страха наказания, страха Божия, страха духовного. Для достижения этого страха духовного нужно было моей гордости пережить всего только 2 часа физического (и обидного) ужаса. Я смирился после этого и понял сразу ту высшую телеологию случайностей, о которой говорил. Физический страх прошел, а духовный остался. И с тех пор я от веры и страха Господня отказаться уже не могу, если бы даже и хотел... Религия не всегда утешение, во многих случаях она тяжелое иго, но кто истинно уверовал, тот с этим игом уже ни за что не расстанется! И всякое сомнение, всякое невыгодное для религии философствова-

ние он будет с ненавистью и презрением легко от себя отгонять, как отгоняют несносную муху... ⟨...⟩

Об отце Амвросии позвольте тоже отложить подробную беседу. Скажу только следующее: святость, признаваемая Церковью, может быть благодатью Божией усвоена людям самых несходных натур и самых разнородных умов. О. Амвросий по натуре и по уму склада более практического, чем созерцательного. „Практического", разумеется, не в каком-нибудь мелком смысле, а в самом высоком и широком. В том смысле, например, в каком и евангельское учение можно назвать в высшей степени практическим. И любовь, и жестокие угрозы, и высшие идеалы отречения, и снисхождение к кающимся грешникам. Прибавлю еще: он скорее весел и шутлив, чем угрюм и серьезен, весьма тверд и строг иногда, но чрезвычайно благотворителен, жалостив и добр...

Теорий моих и вообще „наших идей", как Вы говорите, он не знает и вообще давно не имеет ни времени, ни сил читать. Но эпоху и людей он понимает превосходно, и психологический опыт его изумительный. Иногда, впрочем, приказывает себе вслух читать некоторые рекомендованные ему небольшие статьи. Так, мою статью в „Гражданине" о связи сословных реформ Толстого и Пазухина — с замедлением прихода антихриста он велел прочитать себе 2 раза и чрезвычайно одобрил. Он „равенства и свободы" не любит, как и все духовные люди. ⟨...⟩

После 20-го августа уезжаю в Троицкий Посад. Вероятно, останусь там, если только увижу, что могу там по-своему навеки устроиться. Если же нет, то скоро вернусь. Вы из какого-то доброго и поэтического (видно) чувства жалеете, что я оставляю Оптину, а старец настойчиво уже с весны побуждает меня к этому переселению ввиду близости (там) именно той самой хирургической помощи, к которой и Вы мне советуете прибегнуть. От. Амвросий говорит: „Не должен христианин напрашиваться на слишком жестокую смерть. Лечиться — смирение". И даже торопит отъездку,

пока не холодно. Может быть, у него есть и другие обо мне соображения, о которых он умалчивает.

10) Ischuria значит полное и решительное задержание мочи. Неправильное, трудное испускание называется disuria. Disuria пренебреженная ведет к ischuria. Ischuria, если не прекратится никаким средством, влечет за собой скорую и крайне мучительную смерть или от разрыва мочевого пузыря, излияния мочи в полость живота и острого, в высшей степени болезненного воспаления брюшины (peritonitis acutissima); или от заражения крови обратно всасывающеюся мочою (uremia), при этом бред, иногда бешеный, и т. д.

Вот почему о. Амвросий и желает, чтобы я был ближе к хорошим хирургам. А если бы он сказал: „Не ездите и готовьтесь здесь умирать" (как он иным и говорит иногда), то я, конечно, остался бы.

Впрочем, не надо старческую заповедь принимать всегда в прямом и чисто практическом смысле, что „вот все у Троицы еще лучше будет". Вовсе нет; может случиться в „земном" смысле и хуже, но важны благословение в „загробном" отношении, в смысле „трансцендентного эгоизма". 〈...〉

Впервые опубликоваио в журнале: „Русский вестиик". 1903. Июнь. С. 415—426.

[1] *Телеология* — исследование конечных целей существоваиия мира.

241. В. В. РОЗАНОВУ

3 сентября 1891 г., Троицкий Посад

Дорогой и многоуважаемый Василий Васильевич. Наконец, я кое-как добрался до Троицы-Сергиева и остаюсь здесь, по крайней мере до лета, а вернее, что навсегда. Пока совершенно одинок, не выхожу из номера по слабости и

скучаю по Оптиной. В Москве пробыл всего двое суток; были у меня Говоруха-Отрок, Грингмут, Александров и другие. Говорили о Вас — и здесь я воочию увидал всю ту пользу, которую Вы мне сделали даже и маленькой статьей в „Московских ведомостях". Я это предвидел, но в Москве убедился уже вполне.

Весьма было бы приятно получить от Вас весточку.

Адрес: в Новой Лаврской гостинице № 24.

Ваш *К. Леонтьев.*

Впервые опубликовано в журнале: „Русский вестник". 1903. Июнь. С. 426, 427.

242. И. И. ФУДЕЛЮ

5 сентября 1891 г., Троицкий Посад

(Секретно)

Помните, дорогой и милый мой от. Иосиф, я говорил Вам о моих роковых десятилетиях? В 1841 отдан в 1-й раз в училище; в 50—51-м пять-шесть очень важных и тяжелых переломов*; в 1861 женюсь, испытываю первую жестокую неудачу на литературном пути; в 60-м, начале 1861 решаюсь оставить практическую медицину и задумываю ехать в Турцию; в 71-м году на Афон, вступаю навеки в духовную связь с монашеством, начинаю думать об отставке и возвращении на родину, здоровье мое, дотоле хорошее, решительно расстраивается, в семейных делах тоже резкий перелом (я не развелся, например, с женой только потому, что боялся лишить ее прав на пенсию. Забота о куске хлеба этой доброй и когда-то столь дорогой мне женщины заста-

* Первая серьезная любовь, впадение в атеизм, нестерпимая боль, разного рода новые юношеские скорби и обиды, болезнь, знакомство с Тургеневым и его одобрение и т. д. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

вила отказаться от полной свободы, на которую, заметьте, даже и от. Иероним меня благословлял, и нынешний посланник в Афинах Ону, в то время 1-й драгоман Посольства в Константинополе и мой личный друг, брался выхлопотать мне без труда развод у Вселенского Патриарха). В конце 1880-го (в конце декабря) вступаю цензором опять на службу в Москве. В 1880 же привозят жену из Крыма, совершенно помешанную и в ужасном виде! В 1880-м же и 1881 начинается первое улучшение моих литературных дел (передовые статьи „Варшавского дневника“ и т. д.). В домашних и сердечных делах тоже очень важные перемены и новости (помимо отношений к жене, которая с этих же самых пор могла быть только предметом страдания и живым укором за мою прежнюю в высшей степени нехристианскую жизнь и т. д.).

Теперь 1891-й. И что же? Опять несколько поворотных пунктов разом. Во-первых, 18 августа совершилось надо мною то, о чем я Вам говорил; с семьей я во всяком месте решился жить врозь; 16 августа появилась та статья Розанова [1], которая Вас так утешила (она и меня до того успокоила, что московские друзья, не зная другой причины (той!), заключили во мне что-то особенно благодушное и приписали все этой статье. Кстати сказать, Юр⟨ий⟩ Николаев сознался Александрову, что после статьи Розанова будет смелее обо мне писать, тоже перелом); а 25-го августа я уехал из Оптиной с тем, чтобы поселиться здесь навсегда, если возможно. Больше мне в жизни, конечно, нечего ждать, и я молюсь лишь о христианской безболезненной кончине живота и о том, чтобы „прочее время скончати в мире и глубочайшем покаянии“.

В Москве я пробыл всего $2^1/_2$ суток, никуда вследствие утомления и дурной погоды не выходил, но у меня были многие, и я был очень тронут всеобщей радостью меня видеть и нелицемерным участием. Здесь я с 31-го августа, на гостинице и весь погружен в хозяйственные заботы, нескончаемые и мелкие, но в высшей степени важные даже

по своим нравственным и религиозным последствиям. От. Амвросий благословил мне попытаться и в самую Лавру и в Гефсиманский скит поступить, но по всем наведенным здесь справкам об Лавре и думать нельзя, как по недостатку помещения, так и потому, что наместник терпеть не может допускать в ограду „мирян". Что касается до Гефсимании, то в этом истинно поэтическом и живописном скиту было бы мне очень приятно жить, но люди, заслуживающие полного доверия, предостерегают меня насчет алчности и дурного характера настоятеля от. Даниила [2], который достаточно независим от наместника, чтобы притеснять из расчетов, если вздумает, и т. п. Поэтому я, быть может, не скоро еще пойму, где мне жить, на частной квартире или на гостинице, а также и то, когда мне жену с Варей сюда выписать, в октябре или по санному пути. Я беспрестанно сижу с карандашом в руке и считаю, ибо здесь все условия для меня новы, и одна ошибка в расчетах отзовется после и на душевном настроении.

Уезжая, я благословился у старца возвратиться в Оптину* около 15-го сентября (пока еще не слишком холодно) в том случае, если у Троицы мне покажется уж слишком не по духу и не по средствам. Но 15-е еще не настало, а я уже чувствую решимость остаться здесь и испытать себя хоть в течение зимы, а в мае что Бог даст.

„По духу" я ничего, доволен. Троица уже давно была для меня после Оптиной наиболее приятным местом: город мал (я это люблю), кругом лес, близок тот „запах ладана" и видна та „черная ряса", без которых я уже и жить не могу и которые люблю даже и тогда, когда вижу все несовершенства людей, облеченных в эту рясу и с кадилом

---

* Замечу, однако, кстати, что старец как-то особенно настойчиво выпроваживал меня к Троице. Почему — не понимаю. Явный повод, конечно, близость специалистов по моей болезни, могущей причинить слишком лютую смерть. Но что-то подозревается и тайное, а что — не знаю. (*Примеч. К. Н. Леонтьева.*)

в руке. Но, не скрою, очень боюсь хозяйственной стороны, боюсь запутаться и войти в новые долги после четырехлетнего наслаждения платить старые! Боюсь-то боюсь, но утешаю себя и той мыслью, что, не проживши на квартире хоть полгода, на новом месте, ничего не поймешь. Может быть, опасения и напрасны. Вот хоть бы стол. Я неожиданно устроился здесь помесячно так дешево, что хоть бы в Оптиной. ⟨...⟩

Главная трудность моя даже и не в деньгах пока, а в плохом здоровье и неимоверной слабости ночью дыхания. Смотреть квартиры надо, пока могу еще выходить на воздух, а ходить и поблизости задыхаюсь, и вот вчера, чтобы осмотреть 5—6 квартир, проездил 2 р⟨убля⟩ с⟨еребром⟩ в карете. И сегодня будет то же. А помощника нет, со мной молодой прысковский крестьянин, который дальше оптинской гостиницы света не видал. Все это я говорю Вам, голубчик, зная истинно сыновнее участие, которое Вы во мне принимаете, а не в виде безусловных жалоб. Мне жаловаться — большой грех! Моя старость хоть и очень недужная и преждевременная, но очень счастливая! Вы это сами говорили. „Не по грехам нашим воздал еси нам!“ ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] *Статья Розанова* — первая часть статьи „Эстетическое понимание истории“ в журнале „Русский вестник“ (1891, август), окончание было опубликовано уже после смерти К. Н. Леонтьева.

[2] *От. Даниил.*— Других сведений об этом лице не найдено.

243. В. В. ЛЕОНТЬЕВУ

11 октября 1891 г., Троицко-Сергиевский Посад

⟨...⟩ ...Я здесь устроился на Лаврской гостинице до лета, недурно, летом же, с Божьей помощью, буду искать

поступить в один из здешних скитов и даже, если возможно, то и рясофор себе просить (так и от. Амвросий сам благословил „потребовать“).

Поэтому я до лета же не могу назначить и для Лизаветы Павловны с Варей окончательного места жительства. Сюда на зиму брать их невозможно. Я и сам еще никак не устроился со своим одиноким хозяйством, где же мне без опытных помощников еще другой тут дом заводить!

По видимости, у меня здесь на себя одного выходит денег до сих пор много меньше, чем в Оптиной, но, повторяю, что надо всю зиму прожить одному, чтоб понять ясно свое положение.

Куда же их деть до лета? Лизавета Павловна и слышать не хочет оставаться в Козельске, а Варю муж и свекор не желали бы там оставлять. Варя ездила в Шамордино советоваться к батюшке за несколько дней до кончины его, и он посоветовал отвезти Лизавету Павловну пока к тебе, чтобы она не так скучала и волновалась. А там, позднее, что Бог даст.

Я надеюсь, что и ты не откажешься исполнить мою просьбу, вдобавок освященную предсмертным благословением великого нашего старца. Я позволил себе, не спрашивая у тебя позволения, распорядиться, чтобы в конце октября или в начале ноября ее привезли к тебе и назначаю на ее содержание 25 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩ в месяц, которые передаст тебе Варя. И сверх того 5 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩ тебе же в руки для каких-нибудь ее утешений или мелких и нужных покупок (сверх 30 р⟨ублей⟩ с⟨еребром⟩ я эти месяцы даже и на ботинки или перчатки ее давать не в силах ни рубля, а 30 р⟨ублей⟩ могу каждый месяц). Ей самой разом в руки больше 1р⟨убля⟩ не давай, а то она тихонько возьмет билет 3-го класса и приедет ко мне. Это ужасно!

По существу дела если говорить, то моя мечта состоит в том, чтобы вы с сестрой взяли бы ее совсем на ваше попечение до моей смерти, и чтобы она жила то у тебя, то

у Маши, и чтобы только изредка ее привозил кто-нибудь ко мне для краткого свидания. А с меня, кроме денег, никакого участия не требовать.

Сам же я и на гостинице начал вести жизнь все более и более монашескую и не особенно горюю даже и об том, что Вари около меня не будет. ⟨...⟩

Публикуется по автографу (ГЛМ).

244. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

17 октября 1891 г., Сергиев Посад

Милый друг, Анатолий Александрович! Весть о кончине от. Амвросия не застала меня врасплох: я давно уже приучил мою мысль к этой утрате. Он был слишком уже слаб, чтобы можно было надеяться на продолжение его жизни. Разумеется, ни один духовник уже не может мне заменить его. Будем так доживать наш грешный век! ⟨...⟩

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб., 1911. С. 121—122.

245. В. В. РОЗАНОВУ

18 октября 1891 г., Сергиев Посад

⟨...⟩ В жизни моей теперь крутая перемена или, вернее, несколько перемен в зависимости одна от другой. Главное то, что я, так сказать, разрушаю теперь свой домашний, семейный строй, крепко сложившийся за последние 11 лет, и в ожидании возможности поступить куда-нибудь в ограду поселяюсь пока здесь один, в некоторого рода „безмолвии“.

„Безмолвие“ по-монашенски не значит „молчание“, это значит более или менее беззаботное, беспопечительное одиночество, разумеется, с постом и молитвой. И древние отцы различали два главных рода иночества — послушание (в общине) и безмолвие (одиночество). ⟨...⟩

Страхова статью [1] (о Л. Толстом) прочел с негодованием, отвращением и бешенством! Какая хитрая, подлая статья; и, с другой стороны — какая рабская преданность Толстому!..

Я так был взбешен этой статьею, что хоть сейчас возражать, и возражать грубо, беспощадно и т. д.

Но, разумеется, писать не стал. Я никогда полемикой с отдельными лицами не занимался, а теперь и тем более мне не до нее, когда я только и думаю о том, как бы поскорее расплатиться с некоторыми (старыми) долгами [2] и вовсе перестать писать. ⟨...⟩

Рядом с полнейшим согласием у нас с Вами есть непостижимые недоразумения... Так, например, для Вас лица Достоевского просты и естественны. А для меня они почти все отвратительно изломаны. А вот именно Вронский-то для меня прост и естествен, всех изломаннее в „Анне Карениной“ это Левин. Одно это „искание“ меня бесит... „Искатели“ должны быть редки и велики умом. И тогда они стоят внимания. Так и было в старину, а теперь этих вредных искателей, как собак, и кроме ненужных страданий и вреда от этого ничего не выходит. Что касается (Вы пишете) иностранного принца, в котором Вронский увидал в увеличенном виде свои же черты и сказал: „Неужто и я такая глупая говядина!“ — то это со стороны Толстого гениальный взмах кисти, но со стороны Вронского просто ошибка, от тяжелого собственного настроения. И принц, и он сам — здоровые, крепкие, светские люди — и прекрасно. А что мы, кабинетные или вообще „штатские“ люди, не таковы, нам же хуже. Кстати, скажите: который из двух героев романа „Анна Каренина“ в случае религиозного переворота стал бы просто православным, ездил бы к

от. Амвросию или даже стал бы примерным монахом? Конечно, Вронский, а не несносный этот Левин (такой же противный лично, как сам Лев Николаевич).

Постарайтесь приехать...

Умру — тогда скажете: „Ах, зачем я его не послушал и к нему не съездил!"

Смотрите!.. Есть вещи, которые я только Вам могу передать. ⟨...⟩

Впервые опубликовано в журнале: „Русский вестник". 1903. Июнь. С. 428—432.

[1] *...Страхова статью...* — Статья Н. Н. Страхова „Толки об Л. Н. Толстом" в журнале „Вопросы философии и психологии" (1891. сентябрь). Сам Толстой читал эту статью еще весной, когда она не была пропущена цензурой для журнала „Русское обозрение". Он писал Страхову: „Вы понимаете, что мне неудобно говорить про нее, и не из ложной скромности говорю, а мне неприятно было читать про то преувеличенное значение, которое вы приписываете моей деятельности. Было бы несправедливо, если бы я сказал, что я сам в своих мыслях, неясных, неопределенных, вырывающихся без моего на то согласия, не поднимаю себя иногда на ту же высоту, но зато в своих мыслях я и спускаю себя часто, и всегда с удовольствием, на самую низкую низость; так что это уравновешивается на нечто очень среднее" (Толстой Л. Н, Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 65. С. 286.)

[2] *...расплатиться с некоторыми старыми долгами...* — Это были крошечные, в несколько десятков рублей, а один в немного сотен рублей (200—300), долги разным знакомым еще в Турции. Леонтьев постоянно этим тревожился: и не тем, что он *должен* деньги („честь моя не очищена"), а тем, что, быть может, эти деньги очень нужны и, во всяком случае, очень пригодились бы давшему их. (Примеч. В. В. Розанова „Русский вестник". 1903. Июнь. С. 426).

246. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

22 октября 1891 г., Сергиев Посад

Дорогой Анатолий Александрович! Нельзя ли как-нибудь достать для меня подлинник ужасного реферата Вл⟨адимира⟩ Серг⟨еевича⟩ Соловьева[1]?! Читаю в „Моск⟨овских⟩ Вед⟨омостях⟩ и глазам своим все не хочу верить! Неужели? Неужели? Так все прямо и дерзко — в России 90-х годов?! И ни у кого не найдется силы как следует ответить![2]

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 122.

[1] *...реферат Вл. Серг. Соловьева...*—19 октября 1891 г. в заседании Московского психологического общества Вл. С. Соловьев прочел реферат „Об упадке средневекового миросозерцания", в котором утверждал, что нравственно-социальный прогресс человечества стал возможен, главным образом, благодаря атеистам („Большинство людей, производящих и производивших этот прогресс, не признает себя христианами". Соловьев Вл., Собр. соч. Т. 1—10, СПб. Т. 6, С. 357).

„Против главных положений реферата Соловьева, уже на том же заседании, на котором читался самый реферат, были сделаны очень сильные и веские возражения. Так, известный нам философский писатель Астафьев против отождествления Соловьевым задачи христианства с нравственно-социальной задачей выставлял то, что задача и значение религии гораздо шире нравствеино-социальной задачи. Другие оппоненты Соловьева (как напр. кн. Цертелев, проф. Зверев) указывали ему на то, что нельзя отождествлять задачи государства и религии и подчинять первые вторым; они могут соприкасаться, но не сливаться ⟨...⟩" („Вера и разум". 1902. № 16. С. 152—153).

[2] 21 октября 1891 г. в газете „Московские ведомости" появились сразу три сообщения о реферате Вл. С. Соловьева (М. Афанасьева, А. Ф. Омирова и Ю. Николаева).

247. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

23 октября 1891 г., Сергиев Посад

⟨...⟩ Об реферате Соловьева не беспокойтесь больше. Вчера узнал, что он будет напечатан в „Вопросах философии и психологии“.

Эта история меня сильно поразила и огорчила!..

Все мы (и я прежде всех!) бессильны, и нет у православия истинно хороших защитников. Юрий Николаевич [1] (спаси его Господи!) бьется почти что один. Но и его возражения очень недостаточны.

Неужели же нет никаких надежд на долгое и глубокое возрождение Истины и Веры в несчастной (и подлой!) России нашей?.. Не знаю, что и подумать, и чрезвычайно скорблю!..

Возражать сам, по многим и важным причинам, не могу. Перетерлись, видно, „струны“ мои от долготерпения — и без своевременной поддержки... Хочу поднять крылья — и не могу! Дух отошел! Но с самим Соловьевым я после этого ничего и общего не хочу иметь... Жду только прочесть реферат, чтобы написать это ему.

И ни от кого другого не жду такого возражения, какое нужно!

А нужно вот какую постановку — прямую:

1) Да, забота о личном спасении души есть трансцендентный эгоизм, но кто верит в Евангелие и Св. Троицу, тот и должен прежде всего об этом заботиться. Альтруизм же „приложится“ сам собою.

2) Личный альтруизм может смягчить и сделать сносными самые суровые учреждения (мы глазами, а не по слухам, видали на крепостном праве при Николае Павловиче [2]), смягчить настолько, насколько нужно, ибо излишние смягчения массам не полезны, даже и с христианской точки зрения: усиливает гордость.

3) Правда, что неверующие люди сделали гораздо

больше не для ощутимого благоденствия (это еще вопрос), а для уравнительного прогресса, чем верующие. Но тот, кто верует, поймет из этого не то, что хочет понять негодяй Соловьев, а то, что сам прогресс нехорош... и что до него, в сущности, христианству дела нет. Оно может только допускать его как неизбежность и в житейской практике мириться с ним, пока он (прогресс) не идет противу Церкви открыто. И только.

Прочтите это Юрию Николаевичу. Я уверен, что он согласится с этим, но уверен также, что так, „ребром", он не решится поставить вопрос печатно.

А то, что Александр II [3], Ростовцев [4], Милютин [5], Самарин [6] и др. не были „безбожниками"— это возражение в высшей степени невыгодное. Во-первых, в степени церковности этих деятелей позволительно сомневаться. Думаю, что большинство их было одинаково далеко и от „безверия", и от истинно-церковного христианства. Они были все именно „умеренные либералы": не отвергали и не руководились, не подчинялись. Самарин позволил себе напечатать, что есть „нравственные атеисты", которые ближе к Богу, чем многие „благородные", „высокопреподобные" и т. п. Вот их (славянофилов) церковность! Ни от. Амвросий, ни Филарет или Никанор, ни Тихон Задонский [7] этого бы не сказали. Моей племяннице, Марье Владимировне, просившей у от. Амвросия разрешения молиться за отца (который, умирая, торжественно отказался принять священника), старец дал особую молитву, где испрашивается пощада у Бога в том, что она по личному чувству дерзает за безбожника молиться... ⟨...⟩

Господи! Зачем вы все так осторожны? Уж не „практичность" ли какая-нибудь? Смотрите, пересолить недолго. Есть всему время; иной раз и эта кажущаяся „практичность" бывает в высшей степени непрактична.

Это отчасти и к Вам, мой добрый друг, Анатолий Александрович, относится. Я помню и у Вас что-то: „Ангелы кротко" и т. д.

Изгнать, изгнать Соловьева из пределов Империи нужно, а не... И т. д.

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 122—125.

[1] *Юрий Николаевич* — Ю. Н. Говоруха-Отрок (псевдоним — Ю. Николаев).

[2] *Николай Павлович* — император Николай I (1796—1855).

[3] *Александр II* (1818—1881)— русский император.

[4] Яков Иванович *Ростовцев* (1803—1860)— генерал-адъютант, деятель крестьянской реформы 1861 г. Член негласного комитета по крестьянскому делу, сторонник освобождения крестьян с наилучшими условиями. Председатель редакционных комиссий.

[5] Николай Алексеевич *Милютин* (1818—1872)— государственый деятель, поборник широкого самоуправления и самостоятельности крестьянской общины. Будучи товарищем министра внутренних дел, руководил всем ходом крестьянской реформы.

[6] *Самарин* — Ю. Ф. Самарин.

[7] *Тихон Задонский* (Тимофей Савельевич Кириллов, 1724—1783)— иерарх русской церкви и духовный писатель. Епископ Воронежский. Много сделал для распространения просвещения и улучшения нравов. Оставив кафедру, удалился в Задонский монастырь и вел там аскетический образ жизни. Привлекал к себе множество паломников.

248. А. А. АЛЕКСАНДРОВУ

31 октября 1891 г., Сергиев Посад

⟨...⟩ Вообще, эта полемика и радует меня, и волнует. Я все боюсь, чтобы Соловьев не вывернулся, но, видно, Грингмут и Говоруха не пожалели трудов, не поленились запастись справками. А я? Я могу только молиться за них, благословлять их, восхищаться их возражениями, и только!.. Ветеран, инвалид бессильно, но радостно машущий костылем своим при чтении о победах своих соотчичей...

Впрочем, хочу чужими руками жар загребать... Попытаюсь хоть советы давать. Надо бы, по напечатании реферата (хотя бы и в искаженном виде), чтобы духовенство наше, наконец, возвысило свой голос. Можно бы предложить Иванцову-Платонову или Сергиевскому [1]... А лучше всего было бы, если бы г. Петровский обратился с просьбой к великому князю Сергею Александровичу [2] уговорить митрополита Иоанникия [3], чтобы он сказал сам проповедь противу этого смешения христианства с демократическим прогрессом или обнародовал какое-нибудь краткое послание к своей пастве. Скажут: много чести? Я не согласен. Преосвященный Никанор удостоил же внимания своего Л. Н. Толстого, а что такое проповедь этого самодура и юрода сравнительно с логическою и связною проповедью сатаны Соловьева!

Не надо переходить в такой практичности через край (т. е. не прославлять посредством „анафемы“). Из двух зол — еще несколько больше прославить и оставить паству в недоумении,— конечно, первое лучше. Это раз. А сверх того, хотя я лично еще не видал ректора здешней Академии от. Антония [4] (он у меня был, но застал спящим после обеда, а теперь сам болен, но мы обменялись книгами и т. д....), но непременно напишу ему письмо, в котором буду умолять возразить Соловьеву. Опасаюсь только, что он сам (по некоторым признакам) либерал-демократ, но, однако... в какой мере? Не в такой же, в какой стал Соловьев. 〈...〉

Я предлагаю такого рода план: сперва добиться, чтобы духовенство возвысило голос — тогда для недоумевающих все будет ясно и авторитетно. Потом, когда этого добьемся, употребить все усилия, чтобы Вл. Соловьева выслали (навсегда или до публичного покаяния) за границу. Государство православное не имеет права все переносить молча! И, наконец, по высылке, сделать секретное цензурное распоряжение такого рода: его книг не выпускать, но если кто вздумает писать о Вл. Соловьеве, то можно, но подвергать,

по исключению, предварительной цензуре даже и назначенное для бесцензурных изданий: опровержения, нападки — хорошо, защита — нельзя.

Л. А. Тихомиров очень этого (высылки) боится, полагая, что это создаст ему окончательный „ореол“. Но, во-первых, если и так, то что же делать? Видно, этих „ореолов“ не избежишь при серьезной борьбе. А во-вторых, при таких суждениях забывается то легкомыслие и даже та подлость, которые свойственны всякой публике, а нашей пустоголовой и подавно. Забывают, дряни, всякого — только замолчи или удались. Чернышевского на моих глазах при жизни как раз забыли, Герцена почти вдруг бросили и т. д.

У нас этот „ореол мученичества за идею“ — соломенный: ярко вспыхнет — и потухнет скоро. Ну, да и страх что-нибудь да значит для будущих писателей: не всякому хочется в изгнание.

И еще соображение касательно самого Соловьева. Что он будет делать за границей? Положим, он может писать по-французски... Но что? С настоящими верующими католиками он тоже не согласен; они гораздо ближе к нам, чем к нему. Третьего года А. П. Саломон [5], один из самых умных и тонко образованных русских людей, каких только я знал, человек увлекающийся и сложный (в одно и то же время приверженец от. Амвросия и горячий почитатель Соловьева), говорил мне, что иезуиты Соловьевым очень недовольны и будто говорили ему (в Париже):

— Мы вашу книгу „La Russie et l'Eglise Universelle“ [6] не одобряем (несмотря на благословение Папы, данное, впрочем, автору, а не книге... Вежливость!) и будем ее влиянию всячески препятствовать. Мы не находим полезными какие-то массовые национальные движения для соединения Церквей; мы занимаемся только личным уловлением душ. (Т. е. тем же, чем и у нас верующие рады заниматься.)

Что же ему будет делать между католиками и атеиста-

ми-демократами? Там все резче и яснее, чем у нас по этой части. Придется, чтобы влиять и иметь успех, сделать что-нибудь одно из двух, „сесть на один из стульев" (между которыми он сидит теперь, по выражению Грингмута): или отречься разом и от демократии, и от православия уже явно, т. е. перейти окончательно и лично в чистый и прямой католицизм, тогда у нас от него отступятся и все наши нигилисты, и все недоумевающие полуправославные; или же стать открыто на сторону дальнейшей революции и объявить, что Папство и православие — одинаково вздор! Куда же тогда улетит его прежняя слава как мистика? Или, наконец, продолжать висеть в унынии, бессильном раздражении и без практического веса — между небом и землей...

Изгнанием можно этого достичь, снисхождением в России — никогда! 〈...〉

Впервые опубликовано в кн.: Памяти К. Н. Леонтьева. СПб, 1911. С. 126—129.

[1] Николай Александрович *Сергиевский* (1827—1892)— духовный писатель, профессор богословия Московского университета. Основал журнал „Православное обозрение".

[2] *Сергей Александрович* (1857—1905)— великий князь, четвертый сын Александра II. В 1891—1905 гг. московский генерал-губернатор. Убит эсером И. П. Каляевым.

[3] *Иоанникий* (Иван Максимович Руднев, 1826—1900)— иерарх русской церкви, в 1882—1891 г.— митрополит Московский.

[4] *О. Антоний* — Антоний Храповицкий.

[5] *А. П. Саломон* (1853—1908)— журналист, сотрудник журнала „Вестник Европы", друг Вл. С. Соловьева.

[6] „*La Russie et l'Eglise Universelle*"—„Россия и Вселенская Церковь", богословский трактат Вл. С. Соловьева (см. примеч. 4 к письму 202).

249. Л. И. РАЕВСКОЙ

1 ноября 1891 г., Сергиев Посад

Дорогая Людмила Осиповна, сегодня получил Ваше письмо и сейчас же отвечаю. Нумера „Московских ведомостей“, в которых было о батюшке [1], достану и вышлю. Сам теперь серьезного об нем писать не собирался, да это и обдумать надо; а посылаю в „Гражданин“, где об нем до сих пор не было ни слова, два-три письма, которые наполовину будут состоять из вырезок из тех же „Московских ведомостей“, собственного будет мало. Иначе сразу я не умею. Богу угодно будет, он научит, как и когда взяться за серьезный труд. Что касается до рамки, то простите, здесь некому поручить, сам не выхожу. Егор [2] мой довольно глуп, а из Москвы выписывать сюда да посылать Вам, это очень трудно, не берусь, да и не нужно, лучше я при первой возможности пришлю Вам рубля 2, Вы столяру в Козельске и закажете. На что щегольскую или модную? Была бы чистая и прочная.

Думал об Вас все это время достаточно и жалел Вас и намеревался писать Вам, да все откладывал, потому что мне все еще в Оптиной казалось, что Вам уже ни до кого и ни до чего, кроме батюшки и матери Евфросинии, дела нет.

„Угостить“ Вас издали нельзя, а сам, я думал, Вас мало уже интересую. Такое у Вас лицо всегда бывало.

Да, я согласен с Вами, и я понемножку таким становлюсь, вот уже и писать нет охоты, а пишешь кой-что по нужде (так и батюшка на-прощанье благословил).

Вот уж и без Вари жизнь впервые начинаю понимать, то есть — не скорблю.

И т. д., и т. д. „монашествую“ в безмолвии моем поневоле (без от. Амвросия) самочинном, как умею и могу. Стал больше поститься, больше молиться, гораздо меньше курить и т. д.

Молю Бога и совсем табак бросить.

И мебель, и другие вещи кудиновские мне стали не нужны...

Кстати, что же Вы взяли себе из мебели? Впрочем, не принуждайте себя на это отвечать. Это пустяки. Приедет Варя в Мазилово [3], побывает потом у меня и все скажет.

Больше нечего писать. Простите, Христа ради, право не хочется.

Я на Варю очень сердит за ее непомерно долгое молчание.

Спаси Вас Господь и помози Вам на Вашем трудном пути.

Ваш грешник-монах Кл⟨имен⟩т. [4]

Не адресуйте писем в Москву, на Сергиев Посад. Это только путает, а просто — на Сергиев Посад.

Публикуется по автографу (ГЛМ).

[1] *...о батюшке...*— то есть о смерти Амвросия Оптинского.

[2] *Егор* — слуга К. Н. Леонтьева.

[3] *Мазилово* — подмосковное село, где К. Н. Леонтьев жил летом 1885 г.

[4] *Кл(имент)т* — монашеское имя, принятое К. Н. Леонтьевым после тайного пострига.

КОНЧИНА КОНСТАНТИНА ЛЕОНТЬЕВА

Из воспоминаний А. А. Александрова

Умер Константин Николаевич от воспаления легких — от той самой болезни, от которой в разговоре со мной выражал желание умереть, предпочитая смерть от нее смерти от одной из старых затяжных своих болезней (сужение мочевого канала), мучительность смерти от которой он, как врач, хорошо знал.

Переехав из Оптиной Пустыни в Троицкую Лавру, он, имея в виду не торопясь подыскать удобную квартиру в Посаде, остановился пока в Новой Лаврской гостинице. Так как подходящей квартиры долго не находилось, то он решил перезимовать в гостинице и перешел вниз, в „графский" номер (который назывался так потому, что в нем долго жил граф М. В. Толстой, писатель по церковным вопросам). Номер этот находился в сторонке, налево от лестницы, когда входишь в гостиницу, и, перегороженный на несколько комнат, представлял собой нечто вроде отдельной квартиры. Номер был очень теплый: под ним, или почти под ним, как говорили тогда, находился котел парового отопления.

Странное дело! На Константина Николаевича, всегда очень осторожного и предусмотрительного, нашло на этот раз какое-то непонятное затмение, и он поставил свой письменный стол так, что кресло пред ним пришлось довольно близко к окну. Никого из домашних его с ним еще

не было. Он жил совершенно один с недавно им нанятым в Посаде слугой. И вот, сидя однажды за работой за письменным столом на своем кресле близ окна, в жарко натопленной комнате, он (удивительная для него неосторожность!) почувствовал, что ему очень жарко, снял с себя свою обычную суконную поддевку — и остался одетым очень легко. Следствием было воспаление легких, от которого он очень быстро сгорел. Болезнь продолжалась всего несколько дней. В последнем письме своем ко мне он жаловался лишь на легкую лихорадку. Подоспевшая, однако, к последним дням его преданная ему Варя выписала из Москвы доктора, который хорошо знал его и постоянно лечил. Болезнь за это время успела, однако, так продвинуться вперед, что доктор мог лишь признать положение его безнадежным, о чем Варя сейчас же известила меня телеграммой.

Когда Константин Николаевич лежал больной на своем предсмертном ложе, в душе его шла страстная, полная трагизма борьба между жаждой жизни и необходимостью покориться неизбежному, шел кипучий, неустанный, немолчный прибой и отбой, прилив и отлив набегающих друг на друга, друг друга сменявших волн надежды и покорности. Проводившая эту ночь у его постели Варя рассказывала мне, что, мечась в жару, в полусознании, в полубреду, он то и дело повторял: „Еще поборемся!“ и потом: „Нет, надо покориться!“, и опять: „Еще поборемся!“, и снова: „Надо покориться!“

В конце концов, ему пришлось-таки „покориться“... Предчувствие не обмануло его: этот роковой год унес его из жизни.

Не выходя из области смутных чувств и роковых предчувствий и предзнаменований, расскажу здесь кстати еще об одной маленькой касавшейся его подробности. Странное ли это совпадение или таинственное предзнаменование, не знаю. Я расскажу лишь то, что было. Пусть каждый судит сам.

В последнюю поездку мою к нему в Троицкую Лавру он дал мне последнее поручение на земле, последнюю „комиссию“ свою, как он любил выражаться. Решив остаться на зиму в Лаврской гостинице, он приступил к устройству своего нового помещения по своему вкусу. Но это был вкус строгого художника и тонкого эстетика, в глазах которого подбор в сочетании цветов, красок играл весьма важную роль. На нижнюю часть окон ему нужно было повесить занавесочки, и занавесочки эти должны были быть непременно нежно-голубого цвета — только этого и никакого другого. Он просил меня достать ему марли этого цвета в Москве — и или привезти, или, если отъезд замедлится, переслать ему. Поручение его я исполнил, но с исполнением этим случилась некоторая странность, несколько меня смутившая... Взяв с собой жену, лучше меня знавшую толк в этих вещах, я обегал с нею чуть не половину Москвы и нигде такой марли найти не мог. Наконец в одном мануфактурном магазине на Петровке нам сказали, что марлю эту мы можем достать в лавке напротив. Мы вышли из магазина, взглянули по направлению указанной нам лавки и остановились в смущении: то была... гробовая лавка. Словно по инерции, мы вошли в эту лавку, спросили нужную нам марлю, и нам ее подали. Делать нечего, пришлось взять. Марля была послана Константину Николаевичу; но повесить ее на окна Лаврской гостиницы уже не пришлось. Она могла пригодиться ему разве лишь для украшения самого последнего на земле тесного убежища, которое сейчас же вслед за получением ее пришлось заказывать.

Получив от Вари совершенно неожиданно телеграмму с известием о безнадежном приговоре доктора, мы с женой бросились в Троицкую Лавру...

Подходя к номеру Константина Николаевича, мы встретили выходившего из этого номера духовника его, старца отца Варнаву, накануне исповедовавшего и причащавшего его, а теперь заходившего навестить его и проститься с ним.

Он сказал нам, что он идет к Богу примиренным, очищенным...

Отворив дверь, мы вошли к Константину Николаевичу. Он уже был без сознания. Мне показалось, однако, что во взгляде, который он остановил на мне, когда я к нему подошел, на мгновение вспыхнуло сознание, и он хотел что-то сказать мне, но уже не мог. Мне пришлось присутствовать лишь при последнем вздохе его.

Когда этот вздох вылетел из груди его, лицо его успокоилось и просветлело. С него слетели последние тени земных забот и тревог. Он понял теперь окончательно, что „надо покориться". Он рад был, что покорился. Он успокоился.

Анатолий Александров*

---

* Александров А. А.. Памяти К. Н. Леонтьева, Сергиев Посад, 1915. С. XX — XXII.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

При подготовке настоящего издания было выявлено 704 письма К. Н. Леонтьева, в том числе опубликованных —222 и неопубликованных (по фондам петербургских и московских архивов)—482*. Принцип отбора заключался, главным образом, в том, чтобы исключить те письма, где затрагиваются чисто бытовые темы, ничего не дающие для психологического портрета автора и для картины его жизни — денежные дела, просьбы о помощи, записочки, касающиеся визитов, жалобы на нездоровье и т. п. Исключены также многократно повторяющиеся рассуждения, ничего не добавляющие к сущности дела и обстоятельствам жизни самого К. Н. Леонтьева и лишь затемнившие бы и перегрузившие текст. Предлагаемое вниманию читателя собрание писем является своего рода автобиографией, в связи с этим оно было дополнено, в качестве заключения, воспоминаниями А. А. Александрова о кончине К. Н. Леонтьева.

Д. Соловьев

---

* К сожалению, не представилось возможным ознакомиться с четырьмя из них, к графу Н.П. Игнатьеву (1870—1881). ЦГАОР, ф. Игнатьева, оп., 1, ед. хр. 3 301.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Леиина, Москва

ГЛМ — Государственный литературиый музей, Москва

ГПБ — Государственная публичиая библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедриина, Санкт-Петербург.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом), Санкт-Петербург.

ЦГАЛИ — Центральиый государственный архив литературы и искусства, Москва.

ЦГАОР — Центральный государствениый архив Октябрьской революции, Москва.

ЦГИАЛ — Центральиый государственный исторический архив, Санкт-Петербург.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Константин Николаевич
Леонтьев

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА
(1854—1891)

Составитель
Дамир Васильевич Соловьев

Редактор
И. Иванова

Редактор
Э. Милина

Корректор
М. Зимина

Сдано в набор 27.10.92. Подписано в печать 16.03.93. Формат 70×108 1/32. Гарнитура Академическая. Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,0. Тираж 3000 экз. Заказ № 63.
ГИПП «Искусство России», 1993 г.

Набор выполнен на диалоговой издательской системе ДИС
в КТБ Мининформпечати РФ
190000, Центр, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 1/3

Леонтьев К.
Л47 Избранные письма/Публикация, предисловие и комментарий Д. Соловьева. Вступительная статья С. Носова. Именной указатель.
Спб.: Пушкинский фонд, 1993.—640 с.

ISBN 5-87180-018-3